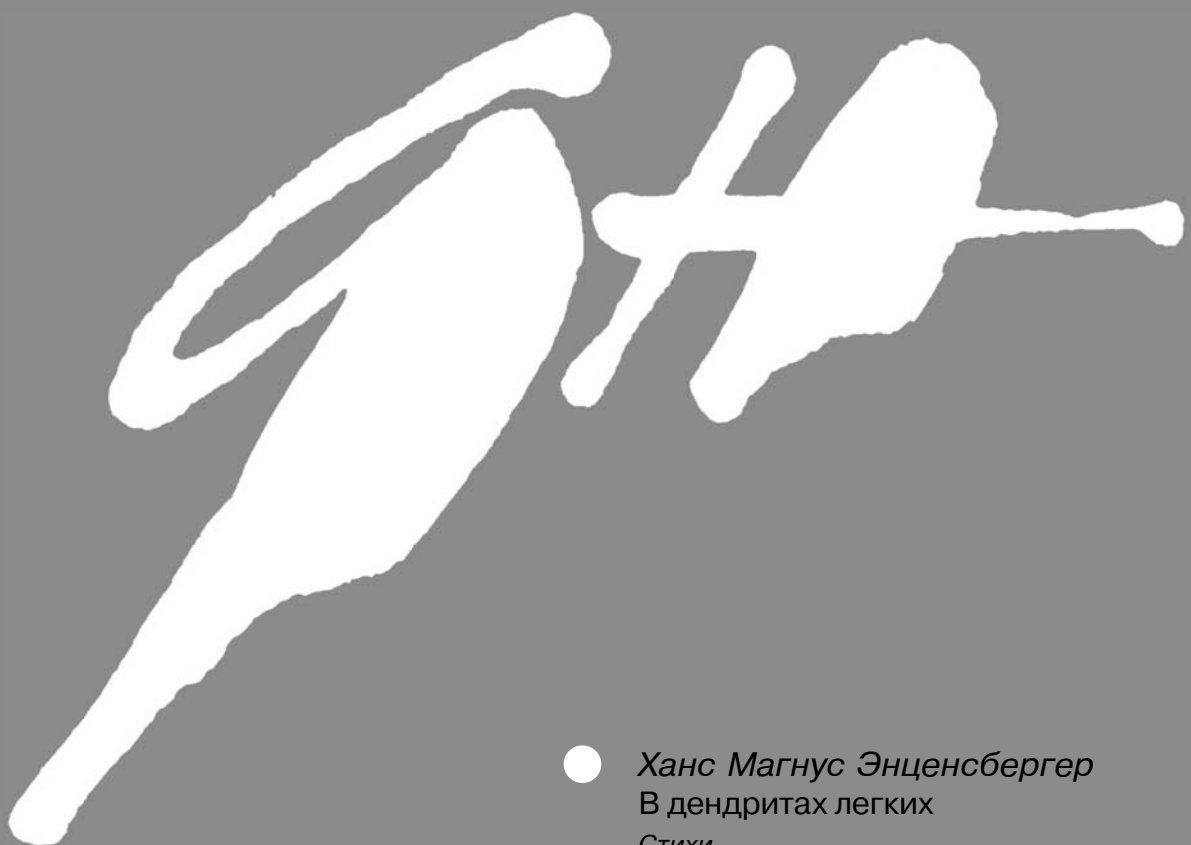
ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Ханс Магнус Энценсбергер*
  В дендритах легких
  Стихи

- *Феридун Займоглу, Гюнтер Сенкель*
  Призрачные голоса

- *Дмитрий Сучков*
  Цугцванг
  Рассказка

- *Михаил Румер-Зараев*
  Другая жизнь и берег дальний
  Литературный дневник

- *Гасан Гусейнов*
  Россия и Германия:
  встречные культурные ожидания
  Беседу ведет Ирина Доронина

ДРУЖБА НАРОДОВ 11/2012

11'2012

ДРУЖБА НАРОДОВ

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

11'2012

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА
В дендритах легких
Ханс Магнус ЭНЦЕНСБЕРГЕР; Ульрих ГРАСНИК; Шарлотта ГРАСНИК; Бенедикт ДИРЛИХ; Андреас ХЕГЕВАЛЬД **3**
Томас ВИДЛИНГ. Ира, или Рай. *Роман. С немецкого. Перевод Татьяны Набатниковой* **9**
Пауль ЦЕЛАН. Расшифровывая мир. *Стихи. С немецкого. Перевод Владимира Летучего* **37**
Дмитрий СУЧКОВ. Цугцванг. *Рассказка* **40**
Клаус МЕРЦ. Жизнь — всегда театр военных действий. *Стихи. С немецкого. Перевод Сергея Морейно* **54**
Равшан САЛЛЕТДИН. Рассказы **60**
Денис ГУЦКО. Бета-самец. *Роман. Окончание* **67**

Встреча с Другим

Феридун ЗАЙМОГЛУ, Гюнтер СЕНКЕЛЬ. Голоса призраков. *Монологи. С немецкого. Перевод Светланы Ширшовой* **136**
Александр МЕЛИХОВ. Закваска Брейвика и Закваска Саррацина **169**
Кай ЭЛЕРС. У кого есть право на жизнь? *С немецкого. Перевод Владимира Медведева* **176**

Публицистика

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ. Другая жизнь и берег дальний. *Литературный дневник* **184**

Нация и мир

Гасан ГУСЕЙНОВ. Россия и Германия: встречные культурные ожидания. *Беседу ведет Ирина Доронина* **211**

Созвучия и параллели

Юрий АНДРУХОВИЧ. Немецкий лексикон. *Из книги «Лексикон інтимних міст». С украинского. Перевод Андрея Пустогарова* **219**
Сергей ЖАДАН. Immigrant Song. *С украинского. Перевод Андрея Пустогарова* **230**

Критика

Элке МЕНЕРТ. Окно в Германию и Россию. Поздне- и постсоветская повседневность в русско-немецком культурном восприятии. *С немецкого. Перевод Александры Бассель* **241**

Книжный развал

Александр МЕЛИХОВ. Куда несет нас рок событий? **249**
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА. «Ирония судьбы», RAF и немецкие грабли **252**
Ольга БАЛЛА. Проект «Европа»: этика поражения и работа преодоления **255**
Вадим ЩЕРБАКОВ. Уроки демократии **259**
Михаил ТАРБОВСКИЙ. Философия любви **263**

Культурная хроника

Юрий ПОДПОРЕНКО. Художник и зритель — соучастники в искусстве и в жизни **266**
К нашей вклейке. Ким Асендорф

Эхо

Как по-немецки «офигеть»? *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* **268**

Summary **272**

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Ирина ДОРОНИНА, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, Фарит НАГИМОВ (заместитель главного редактора), Сергей НАДЕЕВ (ответственный секретарь)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ, Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН, Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН, Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2012

СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ
В ПЕРЕВОДЕ ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА

В дендритах легких

Ханс Магнус Энценсбергер (р. 1929)

Миг

Миг, в котором нет ничего, кроме мига.
Вот так кошка потягивается,
блаженно зевая.
Никаких планов, стремлений, угрызений совести.
Прохлада воздуха в дендритах легких,
в солнечном сплетении немного тепла.
Чистая жизнь, до самых кончиков пальцев.

Шум

Призрачная дрожь в море воздуха,
сотрясающая череп изнутри.
Мельчайшие штормы, которые проносятся
над ушным лабиринтом, пирамидой
височной кости. Вы же понимаете,
о чем здесь речь. Это не бас,
не пневматический молот, не бормашина,
напротив. Ибо мы это слышим,
когда больше ничего не слышно,
тогда, когда тихо,
до безумия тихо.
Высокочастотный звон эфира,
коему нет конца.

Это значит, никогда не поздно

Нет, нет. Слишком поздно,
чтобы сейчас еще изучать китайский.
Жаль разбитую руку
после драки, ошибку
генштаба! Испорченную свадьбу,
пропущенный мимо ушей зов о помощи —
никогда уже не поправишь.

Но это все еще ничего. Да,
мы портим, мы починяем.
Лучше, чем ничего. Но —

как быть с теми
под землей, и с теми
во мгле? Нет оправдания,
значит, нет и надежды.
Слишком поздно.

Куприянов Вячеслав — поэт, прозаик. Родился в 1939 году в Новосибирске. Окончил Московский институт иностранных языков, отделение машинного перевода и математической лингвистики. Автор нескольких книг стихов, один из пионеров отечественного верлибра; пятнадцать книг изданы в переводах на другие языки. Переводит на русский язык немецкую поэзию — от Гельдерлина и Новалиса до наших дней. Живет в Москве.

Рефлексия

Рояль, вишневая ягода, море,
Изумруд, безусловно, и вынутый нож.
Мостовая после дождя,
кончик языка и очищенное яйцо.

Чем пристальней смотришь, тем сильнее блестит,
шелк таков, и такова фольга,
крыло мотылька, зеница ока,
и неслыханно сияющее зеркало вод.

Все это блестит, но насколько отлично
все это одно от другого блестит!
(И это все преходяще.)

Загадка

Море больше чем море,
но ты его не видишь.

Море, в котором ты плывешь,
но его не замечаешь.

Море, которое шумит в твоей груди,
но ты его не слышишь.

Море, в котором ты купаешься,
но ты остаешься сухим.

Море, из которого ты пьешь,
но ты этого не чувствуешь.

Море, в котором ты живешь,
пока ты не умер.

Ульрих Грасник (р. 1939)

Сердце птицы

Осипу Мандельштаму

Когда затихает
сердце птицы,
тень ее тяжко
падает в море.

Мы не знаем
о смерти птицы —
мы видим: все лето
гнездо пустует.

Зима

Когда огромное зеркало
начинает звенеть,
расстилается длинная сеть
из следов конькобежцев —
мы неловко
выходим на лед,
я привык в скольжении
считаться с опасностью —
вечер связывает меня
неизбежным кружением —
мы ввинчиваемся
в плоть ночи —
фонарь на берегу
вдевает нить света
в каждую трещину,
в каждый след на льду.

Шарлотта Грасник (1939—2009)

Требования к модели

Накорми
своим присутствием
мои краски,
дай им свое дыхание,
стань тьмой и светом,
красным и черным,
лиловым и белым.

Закутайся
и будь обнаженной,
распусти волосы
и свяжи их в узел,
будь в усталости бодрой,
будь себе подобна,
стань себе чужой.

Не улыбайся,
затаи дыхание,
будь возлюбленной,
избегай меня,
чтобы я не забыл:
я тебя рисую.

Ожидание

Шелк и летящие ткани
я придумываю,
чтобы в них одеться,
словно я смогу в них легче
выйти из привычной тени
моей оболочки,
словно мне неизбежно
нужно преобразиться,
чтобы тебя встретить.

Зеркало,
не придет сегодня
мой любимый,
снова мне придется
в тебе умереть.

Ночью

Где мне еще быть,
если не в моем теле,
в моих руках,
моих ладонях.

Голос,
ты еще знаешь,
что это значит: идти,
идти вместе...

Радует глаз

Радует глаз
белое белье на снегу,
который только что
еще теплую подвижную ткань
заставил застыть.

Теперь оно может
ломаться
без звона.

Восприятие красок

Как она вписывает
воздух в небо
эта ветка дерева

Кричит ли здесь красное
жаждет ли здесь зелень?

Здесь сытые краски
подкармливают голодные

Встающая рано утром

Когда я просыпаюсь,
почти в одно и то же время,
мне представляется,
что все еще ночь,
такая тьма
все еще за окном.

Не слышно еще машин,
но всегда в это же время
шаги,
шаги женщины,
я слышу стук каблучков.
Это не мужская поступь.
Это быстрый смелый поход
сумеркам наперекор.

Однажды я ее встречу,
но как я ее узнаю
по одному лишь стуку каблучков
без их ночного эха?

Бенедикт Дирлих (р. 1939)

Смотреть другими глазами

Листья снова теряют свой цвет,
тени падают на твои веки.
Говоришь: в чем здесь дело,
почему из твоих глаз уходит блеск,
рьяная страсть, с которой
ты все лето каждого сверчка
изгоняешь из дома?

Я молчу, пожимая плечами:
Не на каждый вопрос можно
ответить словами.

Различия

Приходил к тебе,
и опять уходил вскоре.
Ничего не случалось.
Ты хотела меня
навсегда, а я
улучая минуту.

Самозабвение

Она вышла из купели
Ее волос водопад нежный
Принял я на себя она ко мне припала
Эхо падающего прилива
Ее язык вспыхнул алым ее кожа
Расцвела полным цветом
Благоухающий сад: даже мои пальцы
Распустились как дикие розы

Почему бы не лишиться корней

Позади меня
оплакивали матери своих сыновей
упавших летчиков

К темно-синим лепесткам лугов они взывали

К тебе моя любовь только к тебе

Новая птичья свадьба

Идет на ходулях
По улице скользкой
На коромысле
Добро свое тащит

Падает навзничь
Добро роняет

Огонь затухает
Под сырым снегом

Хребет расправляет
Вдоль по рубахе
Покидают город
Ворон с сорокой

Андреас Хегевальд (р. 1943)

Чтение

Листья лежат в книгах

Их бурые края
шелестят
между страницами

Книжные закладки
сжимают их

Дождь
прикосновения

Заставляет влажно и прохладно
ожидать ветра
который перевернет страницу

И унесет листья

Половодье

Письмо это речь
пролитая на бумагу
мало кто следит
за этим потоком

Покинутые дома
в бледном свете
стоят сухие
чернила их пощадили

Сон

Твоя усталость
отомстит тебе

Твой сон
тебе поможет

Твои сновидения
тебе покажут

Как можно
бороться с усталостью

Твоя усталость
тебя защитит

Твои глаза
смогут увидеть

Как она воздвигает
щит сна

Между тобой
и сновидением

Мертвые головы

Вечно они лежат
как пустые чаши

Без донышка и ручки
черный взгляд

В двух отверстиях
глухота

В глазных впадинах
собирается влага

Чтобы пролиться
в улыбку

Человека

Соборы

Орбитальные станции

Пирамиды

Не находят места
в витринах

Они под открытым небом

в духовном измерении

Так что люди могут
входить в них

Молиться и
Ждать

Песок

Постарайся
не плакать

Посмотри
на пустыню
сухими глазами

Уже
одна песчинка

Тебя

Если ты
не опустишь
взгляд

Тронет
до слез

Томас Видлинг

Ира, или Рай

Роман

С немецкого . Перевод Татьяны Набатниковой

Ферман взял ключик двумя пальцами, вставил его в скважину шкатулки и осторожно, чтобы не погнуть, покрутил туда-сюда. Наконец внутри тихо щелкнуло. Ферман откинул крышку.

Вместо украшений — связка конвертов, перехваченных красной резинкой. Письма тайного поклонника — тут же вспыхнула мысль — моя жена меня обманывала.

Верхний конверт был разорван пальцем, в нетерпении — видимо, чтобы еще по дороге от почтового ящика проглотить строчки возлюбленного. Ира с самого начала при распределении домашних обязанностей взяла на себя почту. Еще в Берлине, когда они, молодожены, только съехались. Потому что уже знала, что будет приходить почта, которой нельзя попадать в руки мужа. Вот она, эта почта. Тайник настолько прост, настолько на виду, слепой супруг никогда бы не догадался заподозрить открыто стоящий на комоде ящичек. Он стоит здесь так давно, что его уже совсем не видишь.

Два следующих конверта тоже вскрыты торопливо и грубо, горячечные пальцы не сложили письмо как следует перед тем, как снова засунуть его в конверт, либо оно слишком часто вынималось, перечитывалось, прижималось к губам.

А остальные — добрая дюжина конвертов — целы, не вскрыты.

Хранить непрочитанные любовные письма — какой же в этом смысл? Разгадка лежит на поверхности: после третьего письма она порвала с ним, вопреки желанию любовника. Он продолжал бомбардировать ее письмами. Когда были эти письма, сколько это длилось? Почему сейчас Ира захотела объясниться с ним начистоту и доказать этим поздним признанием, что с ее стороны то была лишь короткая интрижка?

На первых двух конвертах — старый их берлинский адрес. О боже, еще в Берлине завести на стороне любовную связь. На остальных конвертах стоял Мюнхен.

Но все, без исключения все конверты адресованы Александру Ферману.

Стопка писем Александру Ферману в шкатулке его жены. Большая часть — непрочитанные. Это значило: не прочитанные и им. А три вскрытые — нетерпеливо и грубо разорваны не им.

Он повернул первый конверт той стороной, где значился отправитель: Марианн такая-то, Фриц-Хеккерт-штрассе, Берлин, Германская Демократическая Республика. Ферман просмотрел все конверты по порядку, все перевернул. Но идентичные

Журнальный вариант.

Томас Видлинг родился в 1962 г. в Мюнхене, изучал немецкую литературу, лингвистику и славистику. Выпускник мюнхенской Школы журналистики. Известный переводчик с русского, отмечен премиями за свою литературную работу. Один из ведущих специалистов Германии по современной русской литературе. Как агент активно продвигает на Запад русских авторов.

Первый его роман «Лестница» вышел в издательстве btb (группа Random Hous). Готовится к изданию второй — «Ира, или Рай», который в сокращенном виде публикуется ниже.

Томас Видлинг с семьей, где трое детей, живет в Мюнхене.

© Thomas Wiedling

© Татьяна Набатникова. Перевод

конверты и один и тот же почерк уже давно ему все сказали. Ферман взял первый вскрытый конверт, медленно вынул письмо.

Запахло странными, старомодными духами.

Письмо было напечатано на пишущей машинке, однако в самом низу последние четыре слова синими чернилами, крупный, округлый женский почерк. Они должны были вызвать подозрение Иры еще до того, как она прочитала обращение:

Мой возлюбленный Александр!

Правая нога Фермана подломилась. Он пошатнулся, упал назад, не имея на что опереться. Позади него стояла кровать. Она и остановила его падение, Ферман не ушибся. Его левая рука все еще крепко сжимала письмо. Лежа на кровати, он продолжил чтение.

Марианн писала об Александерплац, о той июньской ночи, о боли разлуки, фразы складывались беспомощно-китчевые, профессиональное чувство стиля Фермана немедленно дало о себе знать. Она писала о доброй надежде, о прежней надежде — умышленные повторения были расставлены деревянно, неповоротливо. О новой надежде, которая теперь, возможно, сбудется. Внезапно в конце — явно другим, небрежным тоном брошенное: «Отзовись же, наконец», легкомыслие которого, однако, споткнулось о многоточие.

Дойдя до конца, он рывком сел на кровати. После машинописи последовала рукописная фраза синими чернилами, круглым размашистым почерком, без малейшего намека на нерешительность в ведении пера, всего четыре слова: «*Верная в любви Марианн».*

Он закрывает глаза и пытается представить себе Марианн. Вспоминает что-то в зеленую крапинку, круглое, как радужка вокруг зрачка. Нет, это круглые плитки кафельной печи в спальне Марианн, с такой глубокой круглой впадиной, что был оптический обман и впадинки на первый взгляд казались бугорками, как маленькие глазные яблоки. Не у Марианн, нет.

Он не видит ее — ни лица, ничего. Весь ее облик тонет в темноте.

Но вот он что-то видит, он видит ее руку, как она снимает с рычага громоздкую трубку телефона из ярко-красного пластика, чтобы никто им не мог помешать. Всякий раз, когда его взгляд, в беспамятстве упоения блуждающий по комнате, случайно падал на эту трубку, она покачивалась, свисая с комода на черном, завитом кольцами шнуре, покачивалась лишь слегка, как будто кто-то невидимый ее снова и снова подталкивал. Странно, что в паузах, наполненных лишь изнеможенными ласками, он поглядывал туда, будто обязан был контролировать. Эта красная трубка ему запомнилась. А с ней — рука, только рука, хотя ведь в тот день, в ту ночь он больше ничего не видел, кроме Марианн. Глаз с нее не сводил, не мог налюбоваться каждым сантиметром ее тела, а про все остальное забыл. Забыл под конец и про срок, проштампованный на его дневной визе в Восточный Берлин.

Но ведь встретились они впервые не в ее темной прихожей. На Александерплац светило солнце. Светило так, что он, как при всякой своей экскурсии в Восточный Берлин, удивлялся, почему ему удивительно, что солнце греет здесь так же, как на Западе, и вода в восточноберлинском фонтане плещется с таким же шумом, как в замковом парке Шарлоттенбурга.

Фонтан на Алексе он видит перед собой ясно.

Всю юность Александр Ферман воображал, что непременно опознает на этой площади что-нибудь из романа Деблина. Считалось, что мать назвала его так из уважения именно к этой книге писателя. Детей часто называют в честь писателей или других знаменитостей, если непременно хочется назвать в чью-то честь, а имена предков не подходят. Иногда называют даже в честь героев книг. Но тут его мать, должно быть, что-то перепутала. В итоге Александр Ферман стал, пожалуй, единственным, кого назвали по знаменитой книге, названной по имени знаменитой площади в Берлине, которая названа в честь русского царя Александра I. Некоторые из его друзей-славистов вещали по этому поводу что-то о могуществе судьбы и предопределении. А Ферман упорствовал — и перед ними, и перед самим собой — в том, что только в Берлине и узнал о русском патроне названия площади, когда уже твердо решил изучать русский язык и уже записался на курс. Уж если кто и сыграл роль судьбы, так это его мать. Но и она упоминала при нем только двух русских — Брежнева и доктора Живаго. Одного она ненавидела, другого любила. Имен ни того, ни другого мать не знала.

Ферман точно мог сказать, где была заложена основа его выбора в пользу изучения русского языка. Тоже в Восточном Берлине, но совсем не на Алексе. Был на улице Унтер-ден-Линден книжный магазин. Не какой-нибудь — «Русская книга». В

расточительно просторных витринах было выставлено все многообразие литературы Союза Советских Социалистических Республик. Здесь книге придавалась такая же ценность и значимость, как по другую сторону — в витринах на Курфюрстендамм — мехам, бриллиантам и марципанам. Ферман был зачарован, прежде всего, кириллическим шрифтом. Всякий раз, отправляясь в Восточный Берлин, он разыскивал этот магазин и переводил всю сумму необходимого при пересечении границы обмена в выгодные по цене, но таинственные русские книги, даже названия которых на обложке он не мог прочитать. Поначалу он верил на слово продавцам, что скупает библиотечку русской классики. Немецкоязычные книги издательств Aufbau или Volk und Welt, которые там тоже продавались за несколько восточных марок, он оставлял без внимания. Прочитает несколько первых страниц — и отставляет. Немецкие слова не говорят ему ни о чем. Или говорят ему: ты должен уметь читать русскую литературу в оригинале. Продавцы уже знают его в лицо, называют по имени. Уже в первом семестре студент отделения славистики берлинского Свободного университета обнаруживает, что классики 19 века еще могут ему пригодиться, а вот многие приобретенные тома 20 века были ошибочным вложением капитала. Список его учебного чтения предполагает совсем другой канон, чем то, что ему рекомендовали продавцы «Русской книги».

В своих дальнейших визитах в Восточный Берлин он больше не тратит внимание на книжные магазины. Зато он открывает на Александерплац нечто другое.

Поначалу Ферман не находит там ничего, кроме безмерно пустых пространств, что могло бы иметь отношение еще к деблинской Александерплац. Ферман не видит, где вообще начинается и где кончается Александерплац. Слишком много простора во все стороны. Он сам себе кажется потерянным на этих огромных просеках, которые прорубила то ли еще война, то ли уже ГДР. Площадь окружена высокими зданиями, но все они отстоят далеко друг от друга. Лишь торговый центр Кауфхаус лепится так тесно к вокзалу, что даже скрывает его. По левую руку настоящий высотный дом, по крайней мере для новичка из провинции. Напротив — панельные строения. Одно из них украшено китчевым фризом на тему социалистической дружбы между народами, из таких же цветных керамических плиток, какими обложен фонтан: социалистический рай из цветов, вьющихся растений, бабочек, птиц, голубей мира, над которыми из бронзовых пальмовых листьев бьют струи воды, чтобы затем расплескаться внизу над цветными брошами среди стилизованных пальмовых стеблей. Вся застройка вокруг площади кажется по-настоящему новой. Только купольное строение надземного вокзала похоже на остатки прежних времен. И вот в честь этой площади он наречен.

Он и последующие свои приезды сюда начинает с Алекса. Маленький ритуал. Пять минут посидеть на бордюре большого цветного фонтана. Это всегда его первая остановка в большом, сером Восточном Берлине. Плеск воды действует умиротворяюще. Тихо сидеть просто глядя по сторонам.

Ферман со своим маленьким ритуалом на Александерплац невольно вспоминает о большом ритуале, существующем в России. Его исполняют на прощание перед отъездом: некоторое время молча сидят на чемоданах, пропуская по дому тихого ангела. И он сознательно остается сидеть дольше на пять минут, уже не озираясь, а тихо глядя в пустоту перед собой и слушая не городской шум, а шелест крыл своего ангела.

...Уже битых десять минут эта женщина смотрит на него. Она поглядывала, еще когда он шел от эс-бана к площади. Она стоит под этими большими часами, словно под футуристическим зонтом, и поглядывает так, будто ждет его. Будто ждет, что он подойдет и спрячется под зонтом рядом с ней. Но он сворачивает налево к фонтану, чтобы, как обычно, немного посидеть на гранитном бордюре. Тем более что и дождя нет. Всякий раз, когда его взгляд, блуждая, снова скользит мимо часов, он видит, что она все еще стоит там, повернувшись к нему. Хотя это далековато, чтобы рассмотреть ее глаза, он воображает себе, что она опять смотрит на него. Или все еще. Смотрит прямо в его сторону, как будто они условились о встрече, но она боится двинуться к нему из-за дождя. Внезапно плеск фонтана чудится ему шумом дождя, и он в смятении смотрит на небо. Притом что каменный бордюр под его ладонями остается сухим и теплым. Когда он снова опускает голову, она все еще смотрит на него и даже, кажется, слегка кивает. Он продолжает сидеть, делая вид, что изучает механизм времени по часам над ее головой.

Циферблата там нет, лишь кольцо из крупных золотых цифр, которые, однако, бездействуют, равно как и стилизованная планетная система над ними, изготовлен-

ная из шаров и стальной проволоки. Между тем прошло уже не раз по пять минут. Может быть, цифры означают вовсе не часы, а этапы пятилетки. А путаница проволоки над ними — это крона древа познания с серебряными плодами зрелого социализма. Возможно, эта уродливая штуковина установлена только в порядке конкуренции с Западным Берлином, где посреди перекрестка на Кудамм тоже стоит футуристическая колонна времени, про которую так же трудно сказать, часы ли это, поскольку она мигает желто-красно-зеленым как светофор, но по совершенно непонятной системе. Но та хотя бы подает признаки жизни, а вот конкурент на Востоке, похоже, муляж.

Слишком долго Ферман переглядывался с ней, чтобы просто встать и уйти. Даже трамваи, то и дело проезжающие между ними, не могут перерезать невидимую связующую нить от нее к нему. После каждого трамвая каждый из них глядит, глядит ли еще другой. И вдруг она действительно идет к нему и заговаривает с ним.

То, что женщина высмотрела его, оказывает на него неведомое доселе чарующее действие. Она увлекает его за собой от фонтана еще раз под социалистическое деревцо, будто это ритуально важно — хоть раз постоять в Восточном Берлине с женщиной под этим растением. Но сразу после этого она уводит его в сторону юга, все дальше от Алекса.

Он идет за ней, почти как верный пес. Это ее территория. В первой же боковой улочке, едва отойдя от Алекса, она молча берет его за руку — не с нежностью, пока нет — а как слепого, которого нужно перевести через дорогу. Он позволяет ей вести себя. Это будет долгая прогулка — молча. Пока они идут, он пытается вспомнить, заговорила ли она с ним у фонтана или просто кивнула.

Они молчат не от смущения. Это молчание исполнено впечатлений. Он не смотрит на нее, как будто у него есть молчаливое задание запомнить число больших плит между булыжными полосами на тротуаре. И число красных человечков с растопыренными руками и зеленых человечков с молодецким шагом и рукой, указующей путь через перекресток. Перекрестков они пересекли немало. И один мост. Внизу, на черной воде Ферман замечает лодки. И запоминает светлую песчаную дорожку, по которой они долго идут под деревьями. Бранденбургский песок у Шпрее посреди Берлина. Слева сквозь кусты он видит кирпичные своды эстакады, по колено стоящие в воде. Но не успевает спросить у нее, с чего это вдруг Берлин затопило, как она сворачивает в сторону и через дыру, проделанную в сетке-рабице, пролезает на территорию заброшенного промышленного квартала. Остаток их окольного пути и дальше проходит не через жилой квартал, а через прорехи в застройке, вдоль кирпичных стен, из одного вымершего двора в следующие задворки.

Молчаливый путь рядом с Марианн с каждым шагом приближал их друг к другу. Марианн ничего не объясняла, а он все понимал. Их руки находили общий язык, они неутомимо все выведывали в ходе долгого пути, как в игре в вопросы и ответы, они сжимали одна другую, раскрывались, приникали друг к другу плашмя, сцеплялись пальцами, забивались друг в друга, высвобождались, терлись, изворачивались, смыкались вокруг пальцев другого, поглаживали большим пальцем костяшки, взаимно отталкивались подушечками растопыренных пальцев, соскальзывая в просветы между ними. Выражено все, и все давно понятно, еще до того, как они пришли.

* * *

Ферман тяжело дышал. Марианн. Он-то ее забыл. Но она его — нет. Ее не смутило то, что он не отвечал на ее письма. Она продолжала писать, письмо за письмом.

Ферман, цепляясь, пробрался назад к комоду, взял стопку конвертов и снова дополз до кровати.

В следующем вскрытом письме она рассыпалось в уверениях в любви. Случись придирчивому Ферману переводить современный русский роман в письмах, он не допустил бы таких пышных фраз, метафор и образов и перевел бы — ради достоверности — более сжато, лаконично, сдержанно, может, даже самовольно убирая лишнее.

В третьем письме та же тема, только окрашенная мольбой, временами срывающейся в театральное отчаяние. И в последних фразах вдруг совсем рассудочный тон укоризны: она, мол, вовсе не надеется на прежние чувства, на любовь, на симпатию. Ей не нужен муж. Просто Саше нужен отец.

«PS: Уж мог бы и сообщить свой новый адрес».

Саша — русская уменьшительная форма от Александр. Кому как не Ферману знать это, ведь ему уже множество раз в своих переводах приходилось отменять эти

обиходные в русском языке уменьшительные формы по требованию издательств, чтобы привести имена героев к единообразию. Дескать, разные формы имен будут путать немецкого читателя, и он будет думать, что речь идет о совсем разных персонажах.

Александр и Саша.

Никто никогда в жизни не звал Фермана этим уменьшительным именем. И собственная мать. Площадь не преуменьшают.

Великий переводчик с русского наверняка разглядит эту маленькую игру в прятки с именем.

Большой Александр. Маленький Саша.

До этого письма Ира все прочитала. Этого ей хватило для того, чтобы, недолго думая и не читая, скрыть и все остальные письма. Ира скрыла не только письма.

Ферман взял левой рукой первый нераспечатанный конверт, попытался поддеть клапан указательным пальцем правой руки и вскрыть конверт. Но правая рука сильно дрожала. Он зажал конверт в зубах, надгрыз и оторвал краешек.

Марианн резко меняет тему. Или стратегию. Видимо, полагает, что спугнула его своими любовными домогательствами. И пишет о трудностях матери-одиночки, однако не просит ни помощи, ни жалости. «Для меня важно только одно». Саша. Их общий сын. Которому нужен отец.

Конверт за конвертом вскрывались зубами.

Были заметны старания Марианн в каждом письме прибегать к другим словам, как будто им там, в гэдээровских школах, вдалбливали при написании сочинений: никаких повторений! Однако по содержанию в каждом из этих писем повторялось одно и то же. От письма к письму, которые Ферман разворачивал дрожащими пальцами, в мозгу у него громыхало: он — отец. У него есть сын.

В самых ранних письмах Саша был трудным, но самонадеянным четырнадцатилетним подростком, который начал задавать вопросы. Спрашивать об отце. Кто бы мог ему ответить лучше, чем сам отец? В шестнадцать лет у него были, по ее словам, хорошие шансы закончить школу с политехническим уклоном. Это требовало, помимо ответственного общественного сознания, которое он мог легко и просто доказать своим вступлением в Союз свободной немецкой молодежи, еще и согласия обоих родителей с образовательными идеалами социалистического государства. Дескать, вопреки всем распространяемым в капиталистическом зарубежье предубеждениям, само по себе проживание отца на Западе не являлось преградой. А лучше всего, дескать, отец мог бы добиться правильного сознания у сына, являя для него хороший пример и позитивный настрой, демонстрируя дружественное отношение к ГДР. Для этого вовсе не требовалось воссоединения семьи в Восточном Берлине, ведь есть и другие пути. И тогда дорога в будущее была бы для сына открыта.

Последние письма становились все короче и требовательней. Мол, ей угрожали. Сыну исполнилось восемнадцать, дескать, ей намекали на возраст уголовной ответственности. Что Саша в опасности и может угодить в тюрьму. Добровольно вызвавшись на 10 лет в Национальную Народную Армию, он мог бы избежать этой угрозы. Но Саша — ее единственный, он — все, что у нее есть, и для нее, как для матери, одинаково плохо и то, и другое. Неужели отец не войдет в ее положение. Дескать, органы готовы пойти навстречу и не предпринимать ответных действий на тот вред, который сын причинил обществу. Она как мать сделает все, но здесь ожидают, что и отец сделает то же. Ведь у него уже есть заслуги в деле взаимопонимания между народами. У него есть имя и влияние в Западной Германии. Можно представить себе и дальнейшие, другие услуги во имя взаимопонимания. Почему бы не в пользу второго государства немецкой земли.

С этим он опоздал. Больше не было второго государства немецкой земли. Даже если бы они затолкали его сына не в тюрьму, а всего лишь в униформу Национальной Народной Армии, чтобы он по обязанности поддерживал их диктатуру, Ферман бы этому воспрепятствовал. Тогда. Ферман бы все тогда сделал, чтобы воспрепятствовать, это он знал. Если бы он только знал. *Поворот* воспрепятствовал этому, не отец. А ведь мало было воспрепятствовать. Настоящий отец что-то делает для своего сына. Захочет ли взрослый сын хоть что-то знать о своем отце, который тридцать пять лет ничего не хотел знать о нем? Какое несчастье для сына. Но какое счастье для отца: он все равно отец. Ведь до сих пор Ферман был Ничто, тридцать пять лет своей жизни Ничто.

Этим Ничто его сделала Ира. Ее вина. И причина была в ней, как стало ясно из этих писем. Не он был бесплодным. Это она не могла забеременеть. И она хотела это скрыть.

Врачи тогда ничего не смогли обнаружить ни у нее, ни у него. Уровень гормонов, таблицы подвижности сперматозоидов, количество, качество, статистическое среднее значение, кривые вероятности и все остальные не поддающиеся учету факторы, однако, никогда не исключали остаточный процент чуда, для супружеской пары Ферманов. Ира с ее доморощенными психологическими теориями. Мол, испорченные отношения Фермана с отцом могли блокировать репродуктивную способность сына. А он ей: тогда бы половина немецких мужчин была бесплодной. Они спорили. Сошлись на том, что виноват берлинский климат. Ира разослала по клиникам южной Германии свои резюме.

В Мюнхене они продолжали свои попытки. Ира имела со всем этим явно больше забот и стрессов. Каждый месяц замерять температуру, внутренне настраиваться и что уж там еще может сделать женщина, чтобы повысить готовность к зачатию. Очень уж хотела продержаться до истечения ее биологических часов. Забеременеть никак не удавалось. Притом что однажды — в самом начале — ведь все получилось. Как он ликовал, когда она призналась ему, что у них будет ребенок. Хоть это был и не запланированный ребенок, а так называемая «авария». Они еще и года не были знакомы. Но были влюблены. Чтобы был ребенок, родители должны любить друг друга, но они не обязаны при этом быть женаты, сразу же возразил тогда Ферман. Но Ира считала, что Ферман и без того напряг своих консервативных родителей тем, что дезертировал в Западный Берлин.

Она и теперь, восстанавливая его память, потерянную в коме, и рассказывая ему заново всю его жизнь, недавно вспоминала: «Родителей ты не видел с момента своего бегства в Западный Берлин. Ты боялся показаться дома, потому что уже был поставлен на учет в военкомате Баден-Вюртемберга, и там тебя могли забрать в армию принудительно. Ведь несколько призывных повесток тебе пересылали даже на наш новый адрес в Шарлоттенбурге. Ты был рад, что почту всегда вскрываю я. Повестки ты вообще не хотел читать, тут же брал кончиками пальцев и, держа над раковиной, сжигал, а пепел потом смывал».

А тут еще и внебрачный ребенок. Уж лучше скорее пожениться, тогда все будет хорошо.

На девятой неделе началось сильное кровотечение. Ира провела одинокую ночь на унитазе. После этого она уже никогда не беременела.

Теперь Ферман начал сомневаться в той ночи на унитазе. Он усомнился и в кровотечении, и в девятой неделе. Ферман начал сомневаться в Ире. Ферман был в отчаянии.

Ферман был в ярости. Ира утаила от него его сына. Она не хотела слышать, как бьется в его груди отцовское сердце для ребенка, которого родила не она. Но его сердце билось, билось и теперь, и он был отец, хотела она того или нет. Даже когда он был без сознания, лежал в коме в реанимации, Ира, положив голову ему на грудь, могла слышать, как оно бьется. Тогда она должна была слышать его отцовское сердце. Она не могла про это забыть и знала, что обязана ему сказать об этом, пока его сердце не остановилось. Пока, черт возьми, еще не стало поздно.

В гневе Ферман затопал обеими ногами. Сидя на краю кровати, он топал — левой и правой, левой и правой. В гневе на Иру — левой. В ярости на себя — правой. Он не знал, какой ногой ему сильнее топать.

Пусть в двадцать лет он был слеп и наивен настолько, что спал с женщиной, даже не спросив ее о предохранении, но даже такой простак при следующей встрече уж как-нибудь сосчитал бы, сколько будет два плюс два. Но следующей встречи не было! Он больше никогда не видел Марианн. Да, ему бы не дали больше дневную визу в Восточный Берлин. Но ведь он ни разу даже не попытался! Из страха за нее? Нет! Из панического страха за себя, в который он дал себя вогнать тем пограничникам на переходе Фридрихштрассе.

Двое в форме вдруг очутились рядом с ним и вывели его из очереди. Несколько пожилых людей, стоявших поблизости, так странно на него посмотрели. Некоторые намеренно отвернулись. Слева от вертушки открывается серая металлическая дверь, и его вталкивают туда. За дверью его подхватывают двое других в униформе. Они эскортируют его по запутанному лабиринту из проходов и лестниц в подземный этаж, под потолком голые неоновые трубки. В конце большого подвала, уставленного каби-

нами, как в раздевалке бассейна, перегородки и двери из тонкой древесины не достают ни до пола, ни до потолка. Но сверху над ними решетка. Под потолком проложены трубы и кабели. После дотошной записи его личных данных ему позволяют сесть. Дверь запирают снаружи. Как тюремную камеру. Он запуган и не смеет даже отвернуть в сторону луч яркой, направленной на него гибкой лампы. Вместо этого закрывает глаза. За сомкнутыми веками он видит пульсирующие круги. Он слышит голоса. Допросы идут справа и слева от него в других кабинках. Обрывки слов. Повышенный тон. Потом снова мертвая тишина. В носу у него стоит запах, как от нашатыря. Чистящее средство. Или средство для приведения в чувство шпионов, контрабандистов и врагов государства, которым во время допроса стало дурно. Его они забрали потому, что его дневная виза истекла. Она была действительна только до полуночи. По прошествии половины вечности дверь отпирают, но его не отпускают, а подвергают жесткому допросу. Пограничник хочет знать, почему он задержался и где провел ночь. Ферман что-то плетет про ночную прогулку — заблудился, запутался, ни эс-бана, ни трамвая, ни такси, заснул на скамье то ли в парке, то ли в сквере. Ему не верят. Он клянется. Начинаются угрозы. Ферман подписывает бумагу об освобождении. Похоже, это скорее бумага их освобождения от него: «Настоящим заявляю, что я добровольно…» Что все показания даны добровольно, что с ним обращались корректно, и так далее, и тому подобное. Если кто-то здесь и вел себя некорректно, так это он. Никакого бланка, в произвольной форме, написанное от руки — этого нам достаточно, ведь это, в конце концов, только для нашей гарантии. На тот случай, если органы на той стороне предъявят претензии. Когда он нетвердой поступью, словно радиоуправляемый, поднимался к перрону В, где поджидал поезд эс-бана в сторону Запада, он вдруг подумал, что не помнит, чего им там наговорил. Копию протокола ему не дали. Но он у них в руках, в этом сомнений не было. Место рождения, фамилия и адрес, студенческий билет факультета славистики Свободного университета Берлина, в Западном Берлине зарегистрирован недавно, Stadtluft macht frei, как говорили в средневековье, заманивая беглых крестьян в города, городской воздух делает свободным, ведь он, дескать, и раньше свободные от лекций дни охотно использовал для посещения Восточного Берлина, а теперь что ж, не может привести вменяемых сведений, где, как, с кем провел часы, превышающие срок действия визы? Это делает его подозрительным. Но только не Марианн. Не ее. Нет, да он и не мог выдать Марианн. Поскольку не знал ни ее фамилии, ни адреса. Им пришлось ему поверить. А он почти не мог идти. Оглушенный резким запахом, удушьем — или просто оцепеневший от страха. Должно быть, им пришлось потребовать, чтоб он ушел. Не перешагивать белую контрольную линию без требования! — написано прямо на перроне. Ферман больше не хочет никогда в жизни делать что-нибудь не так. Он рад, что здесь существуют требования, которым он обязан подчиняться. Он смиренно ждет перед белой линией, когда объявят посадку.

Ира недавно напоминала ему об этой странной боязни пересечения границ. «Без меня бы ты, возможно, и носа никогда не высунул из Западного Берлина. Ты всегда говорил: «У студентов не бывает отпуска». Да и денег у тебя лишних не водилось. Твой отец отказал коммунистическому сыну даже в дополнении к ссуде, взятой на учебу, а денег, которые тебе тайком присылала мать, хватало только на самое необходимое. Твоя единственная заграничная поездка во время учебы была в Москву, и то лишь потому, что ты, как славист, выхлопотал стипендию. Не отпуск, а девять месяцев изучения языка. Все это было еще до меня.

Даже когда ты вышел из призывного возраста, ты страшно боялся пограничных постов. Что с тобой творилось, когда мы дважды пересекали их во время нашего переезда в Мюнхен на арендованном грузовике по транзитному автобану…»

На выезде из Западного Берлина это был пост Драйлинден — там они битый час прождали свои документы на обочине: видимо, оказались подозрительны, поскольку не являлись владельцами машины. Они боялись, что больше не получат назад все бумаги, которые увлекла лента транспортера. И будут потом оштрафованы из-за недостающих документов. А на другом конце транзитного участка был пост Хиршберг. Одетый в светло-серую униформу пограничник поднял к водительскому стеклу Иры свой левый рукав с зеленой повязкой, давая прочитать надпись на ней: «Пограничные войска ГДР». Постучав по стеклу, он потребовал, чтобы водительница вышла и открыла кузов. Он успокоился только после того, как полностью выгрузил и обыскал весь грузовик. Вскрыл каждую коробку. Ведь кого-то, в конце концов, можно было вывезти контрабандой в этой коробке. Убирать все самим. Зеленая повязка оставила

их одних на ледяном апрельском ветру и скрылась в натопленном бараке. Для Фермана эта работа — упаковать ящики и мебель и взгромоздить их в кузов (в Берлине это делали профессиональные упаковщики мебели) — была спасением.

С самого Драйлиндена он всю дорогу сидел на пассажирском сиденье как парализованный, уставившись на встречные фары, которые разрастались на запотевшем ветровом стекле в яркие кегли, и считал толчки на стыках бетонки. Он все время был покрыт гусиной кожей. Обдув работал на полную мощность из-за запотевших стекол, а отопление в тряском грузовике не поспевало. Дороге не было конца. Ира железно держала скорость 80 из страха быть оштрафованной и не сворачивала ни на какую придорожную парковку из страха, что с транзитной визой, может быть, вообще запрещено останавливаться и выходить из машины. А у Фермана и без того внутри что-то противилось тому, чтоб хотя бы ногой ступить на землю ГДР. В Драйлиндене ему это облегчали таблички «Покидать транспортное средство запрещено». В Хиршберге велели выйти только Ире как водителю. Ферман не пошевелился. Но снова погрузиться она бы не смогла одна. Ферман следил в зеркало заднего вида, как пограничник оставил Иру под дождем со всеми раскрытыми ящиками. Это заставило его выйти. Всю свою ненависть и гнев он вымещал, молча взгромождая ящики в кузов. Это принесло ему облегчение. Запирая кузов, он чувствовал себя заново родившимся и даже счастливым.

Обе бумажки о прохождении контроля со штампами Драйлиндена и Хиршберга он сохранил. Названия запомнились, потому что бумажки долго висели, пришпиленные к кухонной полке, как будто то были индульгенции, дорого доставшиеся, но неожиданно действенные. За это католическая Бавария стала ему тогда чуть-чуть милее.

* * *

Теперь Ферман в ярости бил себя по лбу двумя кулаками. В гневе на государство, которое больше не существовало. То, что его гнев опоздал и уходит в пустоту, бесило его еще больше.

Из-за отчаянных усилий определить, на что и на кого ему гневаться, от Александра Фермана ускользнуло нечто, осенившее его лишь после того, как он по нескольку раз перевернул все письма, сопоставляя даты с почтовыми штемпелями, и все это сквозь слезы, из-за чего печатные строчки, проштемпелеванные числа и размашистая подпись Марианн расплывались у него перед глазами, пока он вообще не перестал что-либо различать, и тогда он с протяжным воем расшвырял все письма и конверты и вскочил с кровати.

Осенило только когда он вскакивал, как будто сигнал, как у динозавра, требовал времени, чтобы дойти от кончика хвоста до черепа.

Только когда он давно уже приплясывал на цыпочках, как будто пол представлял собой раскаленную стеклокерамическую плиту, только когда он, мотая головой и скрюченными пальцами рвя на себе волосы, прыгал по комнате и дико жестикулировал, словно отбиваясь от стаи ос, его пронзило до мозга костей. Ибо он заметил: он скакал. Ибо он заметил: он жестикулировал. Всеми четырьмя конечностями.

Тут весь мир для него на секунду замер. На одну бесконечно растянутую секунду Ферман оцепенел. Потом в глубине его груди оторвался большой кусок и горячей струей пошел горлом и вырвался из его широко разверстого рта в виде протяжного крика, который больше не содержал в себе ни ярости, ни скорби. В этой струе растворилось и оцепенение ужаса, и страх медленной смерти в рассрочку, как он сам для себя определял свой паралич со времени инсульта и комы. Все в этой струе изменяло свое агрегатное состояние и превращалось в изошедшую в крике чистую радость жизни.

Можно было счесть Фермана суеверным человеком, так недолго он дивился своему преображению. Как будто втайне всегда был апостолом Господа, и его совсем не надо было убеждать в вере, он лишь скромно ждал, когда наконец и его призовут: Встань и иди!

Так естественно он воспринял внезапно наступившее исцеление, мурашки в правой подошве, неравномерное подергивание мускулов в его правом бедре. Как будто к его коже опять приставили электроды для шокотерапии. Но именно что «как будто», ибо терапевт еще в клинике объявил эту пытку бессмысленной.

Теперь Ферман сидел не на процедурном стуле. Он сидел теперь за обеденным столом на кухне, почти как раньше, на мобильном месте, как его называла Ира. Когда

он еще раз спокойно перечитывал письма одно за другим, чтобы потом, рассортированные по датам на стеклянной столешнице, приложить их к соответствующим конвертам, он увидел под столом свою правую ступню. Она постукивала в такт мелодии, которая вертелась у него в голове.

Так долго скрывать от отца, что у него есть сын — поначалу Ферман счел это за месть ревнивой жены, которая сама не могла иметь детей. Теперь же ему казалось, что с вручением этого ключа именно с таким запозданием ему и выпала на долю великая милость. Может, месть и милость неразделимы. Может, так и свершается чудо.

Ферман не верил своим глазам: его правая рука вдруг снова слушалась его, перебирала письма, складывала их, чуткими пальцами всовывала в конверты.

Нет, разумеется, он хотел. Хотел, чтобы его рука наконец снова годилась на то, чтобы как следует поднести ложку ко рту. Он вынужденно приучился есть свои супы и каши левой рукой и все еще при этом пачкался. Он хотел, как прилично воспитанный европеец, снова наконец пользоваться за столом ножом и вилкой. А есть одной только вилкой мясо, предварительно нарезанное, — это по-ковбойски.

Белому жить на Диком Западе опасно, он постоянно держит одну руку под столом на курке револьвера. Так объяснет Ферману-младшему Ферман-отец. Это делает ковбоев в глазах младшего еще менее привлекательными. Все симпатии маленького Александра — на стороне миролюбивых краснокожих. Возможно, в этом и кроется глубинная, неосознанная в момент принятия решения причина, почему его выбор во время учебы пал на язык врага. Хороший русский — мертвый русский. И в родительском доме Ферману приходится каждый день стоять за русского горой. Симпатия Фермана достается опальным. Побратим Виннету. Кто в начале семидесятых записывается в западногерманском университете на курс русского языка, тот автоматически Буффало Билл. И для отца Фермана его Александр, изучающий славистику, есть блудный сын. Хотя сыну, как и отцу, до коммунизма не было дела. Только русский язык, любовь с первого взгляда.

Письма из былой вражеской страны. На штемпелях проставлены даты, когда там еще стоял русский. Большой красный брат. Без правой руки Ферман не сумел бы всунуть письма обратно в конверты. Когда подушечка большого пальца нащупала шлиц последнего конверта и развела его, чтобы последнее письмо нырнуло внутрь, Ферман знал: его правая рука теперь годится не только для разборки писем или зачерпывания супа ложкой, но и для открывания дверей, рукопожатия и ковыряния в носу, для подтирания задницы и переключения передач, для битья кулаком по столу, для шлепанья игральными картами, для писания ручкой, для тюканья по клавиатуре, для, черт возьми, порядочного онанирования.

Он не мог оставить в покое эти письма. Эту муку. Он перечитывал их снова и снова. От чтения лучше не становилось, а все хуже.

Его правая сторона уже после первого танцевального подъема опять ослабла. Поначалу Ферман отнес это на счет своей общей усталости. Когда он захотел встать из-за кухонного стола, как тот расслабленный после встречи с Иисусом, правая его сторона подломилась, и он рухнул на кухонный пол. Из последних сил он стянул со столешницы пачку писем, ползком добрался с ними до расположенной рядом гостиной и вскарабкался там на софу. Он читал, он спал, он читал, он спал. В какой-то момент, снова проснувшись, он увидел, что снаружи и внутри темно и тихо. Когда он встал, чтобы включить свет, он хоть и дошел до выключателя в вертикальном положении, без костыля, но рывками, не столько шагая, сколько подскакивая на левой ноге. И к выключателю привычно потянулась опять же левая рука. Больше года паралич был не только в его теле, но и в голове. Из тела он чудодейственным образом начал постепенно уходить, а в голове еще сидел прочно. Как будто его инстинкт еще не доверял собственным проснувшимся мышечным рефлексам. Кроме того, мышечная атрофия, которую за одну ночь не устранишь, не способствовала его подвижности. Тренироваться придется долго.

После ночи, полной смутных снов, с отсыревшими от пота простынями, Александр Ферман проснулся в субботу лишь к полудню. Место Иры пустовало. Он подозревал, что виновата его проклятая кратковременная память, запамятовавшая, у какой подруги искать Иру в случае чего. Надо же, взять себе тайм-аут на все

выходные после того, как целых полтора года она ни разу не оставляла его одного. Но ведь это совпадало с его желанием управиться в эти выходные самостоятельно.

Не то чтобы он испытывал желание или необходимость связаться с Ирой. Тем более было излишне объявлять ей, что у него есть сын, что он отец.

Однако после того как он уже больше суток провел с этими письмами один, Ферман почувствовал потребность с кем-то поделиться. Больше всего ему хотелось бы, вообще-то, позвонить Марианн.

Телефонное справочное.

— По такому адресу, к сожалению, такой фамилии не значится. А вы уверены, что эта дама не переехала куда-нибудь? С какого времени у вас этот адрес?

— Больше двадцати лет тому назад.

— Молодой человек, да вы надо мной смеетесь? Прошу прощения, но так долго у нас данные не хранятся.

— Тогда попробуйте найти без адреса, только по имени и фамилии.

— Поиск результата не дал. Возможно, в базу не введено имя или введено сокращенно.

— Тогда только по фамилии.

— Как вы думаете, сколько номеров мне вывалил компьютер на эту, с позволения сказать, не самую редкую фамилию только по Берлину?! Да с учетом двойных фамилий, если дама за это время вышла замуж, но и свою фамилию сохранила.

— Я вас умоляю, этой даме сейчас лет шестьдесят пять.

— Лучший возраст. А женщины этого поколения легко отказываются от своей фамилии. Простите, я не хотела вмешиваться. Но больше я вам, к сожалению, ничем помочь не могу.

— Попробуйте, пожалуйста, набрать ту же фамилию, но с именем Саша. Саша, сын.

— Поиск результата не дал. Мне очень жаль. Хотите сделать еще один запрос? На один звонок мы делаем до трех запросов.

— Нет. Спасибо.

Но звонок бы все равно ничего не дал. Надо ехать. Надо ехать к Марианн в Берлин. Это самое первое, что надо сделать. Не важно, сможет ли он осилить такую поездку один или нет.

Раз он не может позвонить Марианн, надо дать ей знать каким-то другим способом, что он приедет. Ферман не был сторонником внезапных визитов. И он хотел, чтобы она была дома. Если ее дом все еще был на Фриц-Хеккерт-штрассе в Берлине.

Дать объявление в Berliner Zeitung, подумал Ферман. Воскресные выпуски читают. Тогда и адрес не играет роли, просто Берлин. Часы, встроенные в плиту, показывали 17.41. Воскресный выпуск уже давно в печати. Слишком поздно. Провести в бездействии еще одни сутки — этого он не выдержит. Завтра утром он хотел бы уже поехать. Надо, чтобы Марианн услышала о нем еще сегодня.

Услышала. Радио. Позвонить на какую-нибудь берлинскую радиостанцию. Они же постоянно передают по радио всякие приветы. По выходным у людей целыми днями бывало включено радио. Может, и Марианн включает его по выходным.

В телефонной справочной службе ему ответил, к счастью, другой голос и сразу выдал ему три номера берлинских радиостанций. Он набрал первый, попросил соединить его с соответствующей редакцией и высказал свое желание.

— Э, парень, мы тут не передаем романы, только короткие приветы. Времени в обрез. Кроме того, есть правила, с которыми приходится считаться, ну, там, закон о защите данных и все такое: никаких фамилий, никаких номеров. Мы ж тут серьезная радиостанция. Название улицы — ну, куда ни шло, а вот номер дома уже не пройдет.

Столковались на следующем послании: «Марианн с Фриц-Хеккерт-штрассе, матери сына, шлет привет давно потерянный из виду Александр: «Прости, что я так долго не давал о себе знать. Честное слово, раньше не мог. Завтра я приеду и все объясню».

После этого его соединили с модератором. Тот поначалу принял его за пьяного. После того как Ферман убедил его, что его нечленораздельное заикание есть следствие инсульта, настала очередь модератора убеждать Фермана, что будет лучше, если привет зачитает не он сам.

Двум другим радиостанциям он зачитал уже готовое послание. Эти модераторы тоже пообещали передавать его привет по ходу эфира.

Последний раз в самолете — это было с Ирой. Она постоянно нуждалась в его

руке, чтобы было за что держаться. Улетали они далеко. Они уже не выдерживали в их красивом домике в мюнхенском квартале Ау, где их бездетный брак заходил в тупик. Искусственное оплодотворение, которое тогда еще пешком под стол ходило. Суррогатное материнство, запрет на которое в Германии нужно было обходить окольными путями через заграницу. И то, и другое было для Иры неприемлемо. После двух попыток усыновления, так и не удавшихся, он и сам понял, что негоже заставлять чужое дитя склеивать их брак. До него дошло, что ему следует употребить остатки сил на то, чтобы начать жить с тем, что есть.

Они выбирали только те страны, языка которых не понимали оба. Рука об руку они шли сквозь шумные, светящиеся, оживленные большие города, в которых не понимали ни рекламу, ни уличные указатели, ни меню. Они любили сидеть на скамейке в парке среди обрывков разговоров прохожих, ехать на экскурсионных автобусах с объяснениями гида, все слова которого превращались в чистые звуки. Они были благодарны за то, что сами могли подолгу безмолвствовать. Одинаково чужой им обоим язык помогал им ничего не объяснять друг другу. И слух вновь становился свободен, чтобы просто слышать лишь голос другого, не думая о том, что хотел сказать другой. В новых чужих городах и краях они постепенно вновь обнаруживали, что понимают друг друга и что они неразделимы.

Скоро им уже не обязательно стало уезжать далеко, чтобы дистанцироваться от дома. Иной раз хватало нескольких часов езды на машине через ближайшую европейскую границу, где они тогда еще должны были показывать паспорт.

Однажды они вообще не добрались до границы, потому что угодили под настоящий водопад грозового ливня. Им пришлось остановиться на обочине. Барабанный дождь слепил окна, как будто с неба лилась не вода, а ртуть. Они в конце концов заснули, а когда снова проснулись, уже брезжил рассвет. Они развернулись на ближайшем съезде с автобана и поехали домой — и больше с тех пор никуда не ездили.

Через бюро путешествий в аэропорту Тегель он забронировал себе комнату в отеле. Условие: чтобы был лифт и полный комфорт. Он избегал слов *приспособлено для инвалидов.* И, конечно, в центре. И чтобы не заявлять наперед число ночей.

Спустя полчаса паж в ливрее нес за ним его чемодан, в то время как гроздья туристов на широком тротуаре глазели на отель, как будто он был новейшей достопримечательностью Берлина.

Александр Ферман и сам едва поверил своим глазам, когда через стеклянные вертящиеся двери вошел в вестибюль. Стеклянные капсулы лифтов устремлялись к небу, которое стеклянная купольная архитектура впускала прямо в лобби. В самом центре отельного комплекса парил гигантский цилиндрический аквариум, дотягиваясь до стеклянного купола.

Александра Фермана не удивило, когда в этом футуристическом отеле ему вручили пластиковую карточку вместо ключа с номером комнаты. Пока поднимался на лифте, забыл номер комнаты, а на карточке он не был напечатан. Еще раз спускаться в лобби ему не хотелось, и он перепробовал две дюжины дверей, поднося к замкам свою карточку, пока наконец один замок не загорелся зеленым светом. Его чемодан на колесиках уже стоял в комнате.

Ферман колебался, не оставить ли ему в комнате тросточку. Он не хотел бы предстать перед сыном с палочкой. Но и боялся крутой лестницы в доме Марианн с деревянными ступенями, вытертыми уже тогда, тридцать пять лет назад. Ферман прятал палочку под стойкой, когда спрашивал на рецепции о такси.

— Стоянка такси прямо перед отелем справа, сударь.

На вопрос Фермана, не разживется ли он у них планом города, ему ответили решительным отказом:

— Все кончились, сударь. Но у торговцев на мосту, который ведет к Острову Музеев, их так много, что им приходится их даже продавать, — портье дружелюбно ему улыбнулся.

Ферман прожил в этом городе двадцать лет, но он слишком долго здесь не был, чтобы теперь отнестись к этой наглости так же снисходительно, как к берлинскому диалекту. Ферману не пришло в голову ничего лучше, как в качестве наказания взять со стойки целиком всю стопку визитных карточек отеля и — с ответной улыбкой — сунуть их в карман плаща. Выйдя наружу, он выгрузил все визитки в ближайшую урну.

На мосту торговцы продавали со столиков сувениры и прочую мелочовку для туристов. Хотя Ферман знал адрес, он хотел непременно сам найти его на карте города, чтобы не дать потом таксисту делать дорогостоящие крюки лишь потому, что в нем виден приезжий турист.

— Мюнхен? Не был. Никогда путем и не выезжал из моего Берлина. Тут у меня найдется кой-че для такого «стенного» туриста, как ты. Возьми вот этот, он на десять грошиков дешевше, чем тот. Как грится, ейц из ейл, «жадность — это клево».

Адрес Марианн был из конца восьмидесятых. Он даже спрашивать не стал у дерзкого лоточника, есть ли на этой карте старые названия улиц. Не потому, что тот «тыкал» ему на своем берлинском диалекте, а потому, что этот молодой парень к моменту Поворота, пожалуй, только что вырос из пеленок. Кто сейчас был нужен Ферману, так это берлинский таксист стародавних времен.

На стоянке он прошел мимо трех первых машин, глядя внутрь через лобовое стекло, а в четвертую постучался, чтобы разбудить седого придремавшего старика. Пока тот опускал стекло своего старого «опеля», Фермана окружили три молодых типа, все коротко стриженные, двое покрепче, один темнокожий.

— У нас тут спереди едут, а не из середки, да?

— Без обиды, коллеги, но лучше по очереди. Вы со своей тачкой можете себе позволить еще маленько отдохнуть, — темный похлопал по крыше машины.

— Куда мы катимся, если даже в столице больше нет никакого порядка! Господин, видать, нездешние? Милости прошу ко мне вперед.

Старый таксист снова втянул свою высунутую было в окно голову и уже начал поднимать стекло, но Ферман даже не собирался следовать за молодым шофером переднего такси.

— Кто сможет отвезти меня на Фриц-Хеккерт-штрассе, к тому я и сяду.

Трое вопросительно переглянулись. Один быстро прыгнул к своей машине и достал из лотка водительской дверцы план города.

— На своем ты ничего не найдешь. — Ферман с улыбкой помахал своей собственной картой.

Между тем старик в «опеле» толкнул изнутри пассажирскую дверцу. Трое смотрели, как Ферман обходит машину и садится в нее.

— Что, из вечных вчерашних, да? — Темный угрожающе оттолкнулся от «опеля» и послал вслед Ферману движение ладонью, как будто хотел через крышу машины влепить ему затрещину. — И откуда такие берутся?!

«Опель» вырулил из очереди на стоянке. Пинок по бамперу пришелся в пустоту.

Старый таксист не произнес ни слова. Ферман смотрел из окна и почти ничего в городе не узнавал. Он вдруг сообразил, что никогда не ездил по центру Берлина в машине. У него и у Иры хоть и были водительские права, но свой маленький автомобиль появился у них только в Мюнхене. Из окна такси все выглядело по-другому. В памяти Фермана восточная часть города осталась коричнево-серой. Теперь все выглядело лучисто-светлым, начищенным до блеска до неузнаваемости. Теперь бы он согласился делать на такси крюки, чтобы обновить свою картину Берлина.

Ферман заново с болью осознал, что апоплексический удар буквально ударил по долям его мозга. Ира довольно часто пыталась объяснить ему, словно малому ребенку, что, мол, баночки с вареньем прошлых лет часто перепутываются, иной раз падают со своих полок, где они были аккуратно расставлены по датам. И что врачи не могут быть уверены, что та или иная баночка при этом не разбилась. Наверняка Ира поначалу объясняла ему это нормально; в конце концов, его жена была врачом, и до инсульта он в какой-то мере был знаком с ее профессиональным словарем. Заметив же, что больше всего пострадала его кратковременная память, она попыталась объяснить иначе. И дошла до простых иллюстраций из книжки с картинками. Ее объяснения приобретали все более озабоченный материнский тон. Он сам себе казался ребенком, который уже давно не задавал ключевых вопросов, полагая, что получил на них ответы. А потом это вдруг становится слишком стыдно. И слишком поздно.

Перед этим таксистом Ферману не было стыдно, что он так отстал от жизни со своим старинным адресом. Тот лишь кивнул, будто само собой разумелось, что шофер такси найдет в Берлине дорогу к улице, которой уже двадцать лет не существует.

Внезапно у него перед глазами возникает книжный стеллаж в квартире Марианн, который сужает и затемняет и без того тесный холл без окон. Два человека не смогли бы там разминуться, не задев друг друга. То, что книга упомянута в письме, совсем не значит, что она и теперь еще стоит там, на полке. И что сам стеллаж еще стоит там, превращая всю левую стену в сплошные книжные корешки. И что еще существует старая квартира и сам дом. Ведь многое исчезло, особенно пустыри и незастроенные промежутки, ведь каждый квадратный метр городской земли, пригодной под застройку, сулит после Поворота прибыль.

Он вспоминает большие деревянные ворота, в которые он вошел вслед за

Марианн. Но где стоит этот дом, он не помнит. Слишком давно это было. Но недалеко от Стены. От той смертельной, по-дневному ярко освещенной полосы в комнате всю ночь стоял отсвет. Это было похоже на долгие сумерки. На них он потом и возложил вину. Еще никогда до этого, а также никогда после этого он так губительно не забывал про время.

Теперь от Стены, говорят, ничего не осталось, кроме короткого участка, который охраняют как музейный экспонат. Смертельная полоса застроена или озеленена, либо что-то в этом роде, мачты заливающего света наверняка разобраны. В демократической Федеративной республике Гражданская инициатива не допустит нанесения ущерба здоровью людей заливающим светом. Многие улицы в Восточной части переименованы, с участием Гражданской инициативы или без.

Ферман смотрел на Шпрее, которую они как раз переезжали, и спросил:

— У вас есть дети?

Шофер помедлил с ответом.

— Двое внуков.

Как будто старый человек должен был сперва допытаться у своего сердца, кто для него истинные дети.

Ожидаемого встречного вопроса не последовало, но Ферман продолжил:

— У меня есть сын. Уже взрослый. Живет здесь, в Берлине. То есть он здесь вырос, у его матери.

— Развелись?

— Мы больше не виделись с тех пор, как... Саше, то есть моему сыну, сейчас лет тридцать пять. Похож ли он на меня? Люди меняются. Понятия не имею, узнает ли он меня.

— Сбежали до Поворота или только потом перебрались на Запад?

— Я никуда не сбегал. Я родился на Западе. В Западной Германии. Приехал теперь в гости. Хочу навестить своего сына. Хочу его найти. У нас не было связи. У меня есть только старый адрес. Мне повезло, что вы ориентируетесь.

Выходя, Ферман даже не глянул на табличку с названием улицы. Он понадеялся на старика и вошел в просторный, усаженный деревьями обновленный двор.

Проходя мимо батареи почтовых ящиков, он увидел на одном из них нужную фамилию. Что оказалось не по силам новейшей телефонной справочной службе, с тем легко справился старый таксист.

Теперь он досадовал на себя за свое обращение по радио. Сейчас было бы лучше очутиться под дверью нежданным-негаданным. Чтобы у нее не было времени оповестить сына. Александр Ферман, великий переводчик, старый человек с тросточкой, с провалами в памяти, с неповоротливым языком и съехавшими чертами лица.

Ферман не помнил ее лица, мог лишь вычислить, что ей подходит к семидесяти. О том, что дверь ему откроет сын, Ферман и мечтать не смел. Какой же сын живет со своей старой матерью? На почтовом ящике и у кнопки звонка перед фамилией нет ни имени, ни инициала — может статься, в квартире теперь живет только сын. То, что это могло бы означать, Ферман тотчас вытеснил из мыслей.

Лифта не было — как прежде, так и теперь.

Добравшись по прошествии полувечности до двери, он не позвонил, а взялся за старинный молоточек. Стукнул им трижды.

Шаги. Бряканье цепочки. Ключ повернулся в замочной скважине трижды. Дверь приоткрылась наружу.

Выглянула женщина, седые прядки падали на плечи. Ростом она была меньше, чем ожидал Ферман. Возможно, из-за сильной сутулости. Пергаментная кожа вокруг глаз Марианны напряглась:

— Да, я слушаю вас?

— Мне очень жаль, что я без предупреждения. Что я так.

У Фермана пропал голос. Притом что он особенно старался говорить отчетливо и звучно.

— Кто вы?

Вместо внятного ответа его высокий голос издал лишь заикание. А тут еще его правая рука бесконтрольно двинулась, и трость нечаянно ударила в дверь внизу.

Долгое мгновение она смотрела вниз, на порог, как будто что-то упало на пол.

— Чтобы этот мужчина еще раз пришел к этой двери...

Ее голос был тверд, но уголки губ дрожали.

— Мне очень жаль, что только сейчас. Я могу все объяснить.

— Не знаю, хочу ли я еще слышать эти объяснения.

Она медленно подняла взгляд, заводя при этом за ухо прядь, сползшую ей на лицо.

Ферман не выдержал молчания.

— Значит, ты меня узнаешь.

— Этот голос... Но лицо... Прошло столько лет. Даже напоминали мне об этом в последний раз уже очень давно. С тех пор я, честно говоря, все силы приложила к тому, чтобы забыть.

Она выпрямилась. Ферман испугался, что сейчас она его не впустит.

— Пожалуйста, не забывай, что я отец Саши.

Она вздрогнула.

— Кто бы мне говорил о забывчивости, только не ты.

Она рывком закрыла дверь. Ферман испугался и тут же схватился за молоточек. Но не успел им ударить, как внутри брякнула цепочка. И дверь перед ним широко распахнулась.

— Однако прошу. Если хочешь войти на минутку. Гардероба у меня по-прежнему нет. Вот тут, если ты помнишь, вешают пальто.

Она отступила на шаг и указала на ящик с предохранителями у двери. На белых фарфоровых головках пробок уже висели куртки и зонт. Ферман первым делом повесил туда свою трость.

Марианн уже шла впереди него к открытой двери комнаты. Не обратив внимания ни на его палку, ни на его скованность в движениях. Ферман не знал, то ли счесть это за особую деликатность, то ли за особую невежливость. Неторопливо выбираясь из плаща, он использовал это время для того, чтобы осмотреться.

Книжный стеллаж, эта стена из книг. Хотелось провести пальцами по волнистому ряду книжных корешков. Но отвращение к липкой паутинной серости остановило его. Вся прихожая пропахла пылью и старостью. Тот же запах, что и у пачки писем, которую он вынул из внутреннего кармана плаща и теперь, следуя за Марианн в комнату, мимолетно поднес к носу, чтобы проверить. Неужто письма так долго хранили запах жилища, где были написаны?

Марианн, вытянувшись в струнку, стояла у окна спиной к комнате. Теперь она закрепила волосы на затылке пряжкой, а на плечи накинула большой платок, как будто ее знобило. Кончики ее широко расставленных пальцев опирались о низкий подоконник. А это длинное оливково-зеленое платье до пола, что-то вроде азиатского домашнего наряда, скрывающего ступни, было надето на ней уже тогда, когда она открыла ему, или она быстро набросила его на себя только сейчас, чтобы иметь более официальный вид, Ферман затруднился бы сказать. В дверях он слишком нервничал.

Она действительно была меньше, чем тогда, намного меньше Фермана. Может, она была босиком под своим сари, и все дело было в его каблуках. Остаться в носках ему, старому человеку, было бы неприятно. Но теперь ему стало стыдно, что он не разулся. В комнату он вошел очень осторожно, чтобы на широких, выкрашенных белой краской половицах не оставить отпечатков от уличной обуви.

— Зачем ты приехал? Чего ты хочешь от меня?

— Я приехал из-за писем. Вот эти письма от тебя, целая пачка. Я получил их только сейчас. Это не моя вина.

Марианн повернулась к нему:

— Что-то не припомню, чтобы я писала тебе письма пачками.

— Ты же сама сказала: это было давно. Разумеется, ты посылала их не все разом. По одному письму с интервалом в несколько месяцев, в течение трех лет, некоторые почтовые штемпели еще видны. Вот: двенадцатое ноября 1986 года, двадцать седьмое января 87-го, четырнадцатое марта, девятое мая, двенадцатое июля 88-го. И вот последнее, шестое апреля 1989 года.

— А какой год у нас теперь? Они что, так долго шли?

— Первые были отправлены еще на мой старый адрес в Западный Берлин. Остальные в Мюнхен. Значит, ты как-то разузнала, куда мы переехали.

— Свой адрес ты мне тогда действительно не выдал. Для этого наша встреча была, пожалуй, коротковата.

Марианн опять отвернулась к окну.

— Коротковата? Для моей однодневной визы так даже длинновата. Если бы ты знала, с кем мне пришлось иметь дело на пограничном пункте Фридрихштрассе. Меня взяли, увели, обыскали, допросили — эти ваши чудесные органы.

— Наши, ваши. Каково звучит. А я-то думала, эти времена прошли.

— Хотелось бы мне повернуть время вспять.

— Тебя бы и сегодня охотно выслушали. Ты ведь и тогда уже был расположен к Востоку. А Восток был чувствителен к таким, как ты. А уж кто по собственной воле, в качестве слависта, стал изучать язык большого коммунистического брата, тот просто обязан был вызывать у нас интерес. А попавшись однажды к нам на крючок, так просто уже не уйдешь.

Двусмысленность в выражениях Марианн тотчас пробудила в Фермане массу воспоминаний. Он судорожно пытался отделаться от этого «*мы*».

Западноберлинца слависта Фермана сгубило пристрастие не к коммунизму, а к русской литературе. Будучи безвыездно заключен в Западном Берлине как призывник, уклоняющийся от военной службы, он ищет свою свободу в учебе. Он как одержимый изучает русский язык. Он должен добиться успеха, он разослал во все возможные места заявление на стипендию. Отец не оплачивает своему *коммунистическому сыну* учебу и даже отказался помогать ему в получении ссуды на учебу. Кроме того, Александр Ферман перфекционист, теории ему мало, он хочет практики. В университете ему никогда не научиться говорить по-русски бегло, это он знает точно. Только в стране. Попасть туда на продолжительный учебный срок во времена холодной войны западный немец мог только в качестве аспиранта. Он узнает об одном языковом институте, где учеба завершается шестимесячным курсом в Москве. Условие: три подготовительных курса. Это стоит больше денег, чем посылает ему тайком мать. Ровно в нужный момент один восточноевропейский фонд предоставляет ему стипендию. Однако с этими деньгами он может закончить только два курса. Несмотря на это, бланк для приема в московскую группу странным образом оказывается в его почтовом ящике. Потом все-таки спохватываются и обнаруживают, что у него не хватает одного курса и что секретариат принял его по ошибке. Официально в отказе, выданном задним числом, в качестве обоснования пишут, что в Москву допускаются только соискатели на должность учителя, а не студенты магистерского обучения. Ферман боится, что ему никогда не изучить русский язык по-настоящему. Но не проходит и месяца, как звонит телефон, и секретарша языкового института сообщает ему, что из группы выпал один участник. И что он может поехать в Москву вместо него. Не иначе, эта секретарша в него влюбилась. Ферман больше ничего не понимает в этом мире. Но не эта ли самая секретарша с самого начала советовала ему говорить в институте, что он хочет стать преподавателем русского языка? И ей пришлось как-то хитро вписывать это в его бумаги, чтобы он все-таки просочился в ту московскую группу.

Уже через две недели в Москве ему становится ясно, что и шести месяцев будет мало, чтобы не только понимать разговорный русский, но и самому бегло говорить на нем. Однако визы западных студентов в принципе не продлеваются. Но за два дня до отъезда из Москвы его вызывают в *Первый отдел.* Мужчина в форме — должно быть, кто-то вроде секретаря директора, он часто попадался Ферману на глаза в коридорах. До их слуха, дескать, дошло, что Ферман вовсе не хочет стать учителем и прививать немецким школьникам любовь к русскому языку и к Советскому Союзу. Ферман кивает, он не хочет кривить душой. Мужчина дружелюбно кивает в ответ и подсказывает: но ведь и в качестве переводчика Ферман тоже может внести свою лепту в дело взаимопонимания между народами. Дескать, он видел его выдающиеся достижения за эти полгода и лично хлопотал за него наверху. Да, с облегчением признает перфекционист Ферман, переводчик, владеющий лишь письменным языком, не может быть хорошим переводчиком. Ему вручают его паспорт, там вклеена виза на следующие шесть месяцев. Для совершенствования квалификации, написано в разъяснении. Он единственный в группе, получивший продление. Ферман думает: вот ведь каковы эти русские, они в итоге принимают решение не бездушно по предписанию, как немцы, а по-людски. Он чувствует себя замеченным, даже со стороны этого серого советского политсекретаря. В знак признательности он приносит ему бутылку водки из валютного магазина.

Во втором полугодии в Москве его включили в группу американских славистов. Но Ферман больше времени проводил в городе, применяя полученные в институте знания на практике, искал контактов с настоящими русскими, хотя контакт между западным человеком и русским, как предостерегал его один американец, таит в себе много опасностей. Ферман счел американца предвзятым и трусоватым. А удача сопутствует храбрым. Ферману повезло познакомиться с русскими, которые не были так пугливы и, в свою очередь, познакомили его с диссидентским писателем, который был очень рад отважному западному немцу. Чтобы доказать свою отвагу, Ферман переправляет рукопись романа в ФРГ с курьерской почтой посольства. Зато русский

диссидент, которому в собственной стране были отрезаны все пути к публикации, закрывает глаза на то, что этот студент еще совсем неопытный переводчик. Роман должен стать его огненным крещением. К тому же Ферман обещает найти приличное западногерманское издательство.

Переводить романы доставляет больше удовольствия, чем их изучать. Поэтому Ферман, вернувшись в Западный Берлин, откладывает учебу в долгий ящик. Он рассылает по издательствам еще сырой, черновой перевод. В искусстве перевода, к сожалению, не бывает экзамена, который можно предъявить в издательстве для большего веса. Имени у него еще нет. Имя русского диссидента тоже ни о чем редакторам не говорит. В роман они явно даже не вчитываются. Ферман получает — если вообще получает — письма с формальными отказами.

Но потом ему посоветовали одно западноберлинское издательство «квартирного типа». Оно, мол, специализируется на претенциозных книгах, переведенных со славянских языков. Издатель-одиночка, казалось, только и ждал предложения Фермана. Ферман польщен его суждением. Мол, это такой важный диссидент, не случайно он обложен у себя на родине тотальным запретом на публикации, очень удачный перевод, и где это Ферман так хорошо выучил русский язык. Смущенный и обрадованный похвалой, Ферман не спрашивает, откуда у самого издателя русский язык и остальные сведения. Так они сходятся. Начинающий и аутсайдер. Ферман уносит домой чувство, что нашел не только правильного издателя, но и друга. С кем можно не только разговаривать по делу, но и обсуждать книжный мир и перемывать коллегам косточки. Чему они и предаются при их дальнейших регулярных встречах. Поначалу новичок в книжной отрасли Ферман дивится инсайдерским познаниям издателя. Позднее Александру Ферману удается взять реванш. После удачного переводческого старта ему поступают заказы от более крупных издательств, он вращается в кругах именитых переводчиков с русского, узнает кое-какие производственные секреты. Он рад поделиться этими секретами с издателем-одиночкой. Надо признаться, Ферман почти хвастливо роняет имена, почти пренебрежительно подсчитывает, сколько коллег, оказывается, тоже вдруг взялись за книги диссидентов, он почти посмеивается над тем, какой проект слывет в их области топ-секретом. Пока в середине восьмидесятых Горбачев не объявляет перестройку, на Западе очень модно носиться с диссидентами. Ферман вместе со своим издателем от души посмеиваются над этой модой, как над хорошо охраняемой производственной тайной крупных издателей, которые лишь свысока поглядывают на мелких. Однако без этого мелкого Ферману никогда бы не выйти в большие переводчики. Мелкому издателю нечасто выпадает посмеяться над чем-то в книжном бизнесе. Пусть порадуется, думает Ферман.

— Разве ты не знал, что все западные слависты были на заметке у восточных секретных служб как потенциальные информаторы? Самое позднее после твоего задержания на Фридрихштрассе тебе должно было стать ясно, что и у Штази на тебя заведено дело. Возможно, копия была у КГБ. Я имела возможность заглянуть только в мое собственное дело в архивах комиссии Гаука. И там значилась «контактная персона» — *КП Славист.* Мне не пришлось долго гадать, кто это мог быть из моего круга знакомых.

— Я ни на кого не доносил. Тебя тогда, на Фридрихштрассе, я не выдал. И никогда вообще. Я им даже имени твоего не назвал. Я тогда был страшно рад, что не знал ни твоей фамилии, ни адреса. Теперь я страшно рад, что на твоих письмах обратный адрес написан полностью.

— Много бы я отдала за то, чтобы ни одно из этих писем до тебя никогда не дошло.

— Они и не дошли. Я обнаружил их только сейчас. Моя жена скрывала их от меня все эти годы.

— Тебе бы надо благодарить жену, а меня оставить в покое.

— Тогда для чего же ты их писала? И на всех конвертах указывала адрес отправителя. Только благодаря этому я тебя так быстро и нашел теперь.

— Я бы не сказала, что быстро, если тебе понадобилось двадцать лет, чтобы среагировать на эти письма.

— В то время ты, во всяком случае, чего-то хотела.

— Кажется, ты все помнишь лучше меня?

— Тебе лучше знать, что ты писала. Все настойчивее, все требовательнее. Потом вдруг перестала писать. Почему? Потому что Саша достиг совершеннолетия?

— Я не перестала. Я вообще не начинала, если разобраться. На западный адрес

я отправила за свою жизнь одно-единственное письмо. Да. И пожалела об этом. Я раскаиваюсь и по сей день.

— Значит, ты ничего не забыла.

Марианн ничего не ответила.

— Пожалуйста, вспомни. Ты все должна мне рассказать.

— Зачем же снова.

— Не то, что было написано в письмах. Это я и сам уже сто раз перечитал. А то, чего ты на самом деле хотела с этими письмами!

— Моим тогдашним письмом я хотела всего лишь узнать, действительно ли ты был переводчиком того русского романа, который случайно попал мне в руки. Ты ведь на удивление быстро сделал карьеру переводчика.

Ферман с трудом стерпел этот обидный подтекст. Его и без того мучила совесть, что он ни разу не дал о себе знать. А Марианн теперь еще и бередила саднившую рану. Он не мог ставить ей это в вину, однако его мозг лихорадочно все отмечал. Как будто он должен был оправдываться перед самим собой за быструю карьеру Александра Фермана.

Как он был счастлив, когда мелкое западноберлинское издательство, пока не нажившее имени, вызвалось опубликовать его перевод книги русского диссидента, с которым Ферман познакомился во время учебы в Москве. Этот русский не был именитым диссидентом. Но после «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, вышедшего в Париже в 1973 году, всякий новый советский диссидент старался привлечь к себе внимание на Западе. Для Фермана самым важным было то, что издательство, пусть и мелкое, и безымянное, все-таки донесло до читателя его, Александра Фермана, перевод, втиснутый меж двух обложек книги. Каков был тираж, он никогда не спрашивал. Даже количество проданных экземпляров его, по сути, не интересовало. Главное — честь и шанс войти в команду профессиональных переводчиков. Главное — чтобы книга попала в руки нужных людей, которые его узнают и смогут рекомендовать в дальнейшем как переводчика. Этим аргументом издатель-одиночка сумел сделать для Фермана привлекательным даже скромный гонорар.

То, что какие-то экземпляры и через много лет после выхода имели хождение именно в ГДР, должно было стать для Фермана хоть и поздним, но приятным подтверждением. Но само письмо Ферман не мог припомнить. И не оно ли стало поводом для того последнего визита в издательство, когда он надеялся выбить из них еще один авторский экземпляр. Свои-то собственные он сразу все раздал. Первые — в тот же день, когда обнаружил перед своей дверью незаклеенную картонную коробку с двадцатью свежеотпечатанными книгами. Наверное, они договорились, что издатель сам завезет ему книги, но ведь тот даже не позвонил в дверь. Ферман не знал, то ли ему обижаться, то ли радоваться, поскольку даже не запасся к тому времени шампанским. Он купит его потом в русской лавке на Кантштрассе. Выговорив себе при этом по безумному капризу возможность расплатиться за вино тремя своими новенькими книжками, поскольку в той лавке продавались и книги. Половину своих экземпляров он разослал коллегам, тщательно продумав, у кого из них есть хорошие связи с каким-нибудь крупным издательским домом. Этих коллег он знал лишь по фамилии, а они его вообще не знали. Но этот первый перевод, в который он вложил столько тщания и старания, ради которого провел столько разысканий и сделал столько редакций, мог стать действеннее любого рекомендательного письма. Когда после этого у него осталось еще несколько экземпляров, он отнес их на комиссионной основе, прикинувшись агентом самого себя, в специализированный отдел университетской книжной лавки и в книжный магазин «Киперт», чтобы студенты-слависты или его бывшие преподаватели могли подивиться. Всякий раз, случайно оказавшись неподалеку от Харденбергштрассе, он заходил в лавку и слонялся вдоль стеллажей, чтобы гордо заприметить, как из шеренги множества важных книг выглядывает голубой корешок его собственного детища. Правда, в следующий момент он испытывал разочарование, что книга все еще не продана. Он брал ее, будто желая утешить, и с важным видом листал, краем глаза поглядывая на других, настоящих покупателей. Но никому не было дела до того, чем это он так зачитывается. Иногда он сам лицемерно спрашивал у продавца, нет ли у них случайно того знаменитого русского диссидента, который недавно вышел в выдающемся немецком переводе. Результат можно было предвидеть. Но купить свой собственный свободный экземпляр — это было бы слишком. Поскольку продавцов в университетской книжной лавке в Далеме было совсем мало и в следующий раз они могли его узнать, эта игра быстро сходит на нет. А с какого-то момента книга становится ему безразлична, ведь он и впрямь начал

получать предложения на переводы от других издательских домов. На радостях он сразу соглашался, и вскоре ближайшие два года были у него расписаны. Когда во всех магазинах стали продаваться его следующие переводы, а его самого стали приглашать на выступления, ему хотелось скорее вычеркнуть из памяти свои первые дилетантские попытки самопродажи.

А первое его издательство, состоявшее из одного человека, вычеркнуло себя само. Не только из памяти Фермана, но и из адресов берлинского Нойкельна. Сквозь пластиковое оконце жестяного почтового ящика, где больше не было таблички с фамилией, Ферман в свой последний визит разглядел лишь вездесущую рекламу. Рольставни на окнах опущены. Смотритель дома ненадолго отпер ему покинутую квартиру, после чего Ферман сунул в нагрудный карман его рабочего халата пятерку. Мебель из квартиры еще не была вывезена, даже вытертый ковер лежал на месте. Не было только ни издателя, ни книг. Раньше они всегда стояли на стеллаже у дальней стены, когда Ферман заглядывал в издательство. А заглядывал он сюда довольно часто. Всякий раз он тайно упивался видом своей книги, два ряда так и голубели, как будто это был бестселлер, которым издательству лестно похвастаться перед посетителями. Большого наплыва посетителей тут, правда, не наблюдалось. Ферман был самым частым гостем еще и потому, что с этой первой книгой он и впрямь вписался в клан переводчиков с русского и вышел на выгодные контракты. Удачным стартом карьеры он, без сомнения, был обязан этому издателю-одиночке и еще долго сохранял с ним связь. Но только дружескую. Как переводчик, Ферман со следующим же заказом перебежал к другому, более крупному издателю.

В издательстве-квартирке все выглядело так, будто ею почти не пользовались. Только софа разложена в кровать, как будто издатель-одиночка здесь ночевал — хотя бы раз. Итак, этот первый его настоящий издатель теперь даже не «фирма-почтовый ящик», а просто почтовый ящик без фамилии.

В тот раз он остался без книги.

Перед его внутренним взором прокручиваются другие отрывки из фильма, словно положенные на траурную музыку.

Вот он входит в университетскую книжную лавку, теперь уже уверенный в себе, но все еще слегка важничающий, он требует свой экземпляр назад, но на длинных метрах стеллажей книги нет, как нет и в бухгалтерии отметки о продаже, должно быть, студенты украли, пожимают плечами.

Вот служащий из магазина «Киперт» выплачивает ему, как положено, розничную цену, за вычетом комиссии, за три экземпляра, проданные, по его словам, совсем недавно, а Ферман так надеялся получить книги назад.

Вот полки, на них матрешки, расписные деревянные ложки, черные эмалевые шкатулочки и подносы, много алкоголя, а вот книг в этом русском магазине совсем не осталось, продавщица не понимает по-немецки даже простой вопрос насчет трех книг, когда-то выменянных — «Сколько лет назад?» — «На крымское шампанское?». От более затруднительного вопроса насчет бухгалтерского учета закупленных или проданных товаров он поберег как себя, так и русскую.

У коллег-переводчиков подаренную книгу он, естественно, назад не просит, он поставил бы себя в смешное положение. Ведь они должны были передать свои экземпляры важным людям в издательстве и сделали это. Выйти благодаря этому на новый контракт куда важнее, чем на старую книгу.

Вот Ферман видит себя — не в Далеме, не у «Киперта» и уж тем более не у русских — перебирающим пыльные зеленые тома в книжном магазине, где еще не выкинули каталог поставляемых книг конца семидесятых. В каталоге его книга есть, но ее нет в наличии ни у одного оптовика. Никаких шансов.

Он заслужил, думает Ферман и сейчас. По крайней мере, этому издателю удалось добиться даже, чтобы книга распространилась и в ГДР.

— Но кое-кому повезло, что книга попала и в ГДР.

— Иметь такую книгу в ГДР было опасно. Еще опаснее было упомянуть о ней в письме, адресованном в Западный Берлин. Но я тогда работала на сортировке писем на Северном вокзале и по сей день абсолютно уверена, что сунула это письмо в мешок с уже проверенной почтой на Запад. Когда вскоре после этого Штази явилась ко мне сюда, в квартиру и сунула мне под нос перехваченное письмо, мне оставалось только сосчитать, сколько будет дважды два, чтобы сообразить, что сомнительное звено в этой цепи — только адресат: издательство. Штази тоже сосчитала дважды два. Они располагали только именем отправителя, но у них был почтовый штемпель, а из самого письма они узнали, по моей глупости, как оно смогло бесконтрольно

попасть в Западный Берлин. По рабочему графику сортировочной службы легко можно было установить, когда там дежурила персона по имени Марианн. И для начала они запугали меня тем, что у них на руках письмо с антигосударственной пропагандой.

Ферман видит страдальческий взгляд Марианн, полный укоризны. Впервые с тех пор, как он пришел сюда, она смотрит ему прямо в глаза.

— Мне очень жаль, что из-за моей книги ты натерпелась таких неприятностей. Но ведь я был всего лишь переводчик. Я всегда только переводил.

Такой же взгляд был у вдовы русского диссидента, когда после падения «железного занавеса» немецкий переводчик разыскал ее в Москве. Наверное, так смотрят люди, которым слишком долго пришлось кого-то ждать? Переводчик знает, он опоздал на годы. Привезенный авторский экземпляр вдова так и оставила лежать нетронутым на неопрятной клеенке кухонного столика в коммуналке, где она ютилась в бедности без вдовьей пенсии. Она смотрела на *кирпич,* как русские называют такие толстые романы, покрасневшими глазами так, будто он был не краеугольным камнем славы ее мужа, а его надгробным камнем. Могильной плитой, которую не получишь, если покоишься в братской могиле Гулага. Но ведь переводчик как-никак помог ее мужу еще при жизни этой его единственной публикацией. Переводчик уберег диссидента от забвения. А то, что диссидент еще до выхода книги загремел в лагерь, только привлекло дополнительное внимание к дебюту на Западе и обеспечило автору имя и вечную репутацию.

— Но сейчас у нас речь вовсе не о моей книге, не о моих переводах. Речь о твоих письмах. Вот этих!

Марианн его совсем не слушала, продолжая говорить о своем:

— Но вдруг они повели себя очень обходительно. Дескать, мы ничего такого не хотим. Если книжка аккуратно стоит у меня на полке, так сказать, для домашнего пользования, то пусть стоит. Я с тех пор тоже не хотела ее видеть. Никогда больше. Можешь ее забрать. Забери ее, а? Возьми и уходи! Для меня это было бы лучше всего.

Марианн оттолкнулась от подоконника и, не удостоив даже взглядом связку писем в его протянутой руке, выбежала из комнаты мимо него.

— Далась тебе эта книга! Мой сын. Ради него я здесь. Где он? Что он делает? Кем он стал? Я все хочу знать. Со времени моего инсульта я даже не знаю, чего я больше не знаю. У меня такое чувство, что я пропустил всю жизнь, не только двадцать лет. Должен же Саша наконец познакомиться со своим отцом.

Последнюю фразу Ферман произнес очень тихо, как будто говорил ее только для себя. Наконец-то было произнесено имя Саша. Может, потому, что мать больше не стояла напротив Фермана.

Она продолжала громко говорить в прихожей:

— Штази читала письма очень внимательно и изучала все возможные интерпретации. Вот и при упоминании — всего лишь мельком — пятнадцатилетнего сына без отца Штази все дотошно подсчитала, отняла девять месяцев беременности, вот и получила искомое время зачатия. Им только и осталось, что еще раз к двум прибавить два. Свидание могло состояться только к Восточном Берлине, где проживала упомянутая женская персона. Некий Александр Ферман запросил свою последнюю визу для посещения Восточного Берлина в апреле 1970 года. Я могла отпираться сколько угодно. Они уже получили искомого родителя. Но они хотели услышать это из моих уст. Чтобы в следующий момент брать на человечность: как матери-одиночке, мне, дескать, приходится не сладко, сын в трудном подростковом возрасте, а отец глаз не кажет. И было бы совсем неплохо, дескать, чтобы я напомнила отцу об его ответственности за семью, они бы это только поддержали. А писать письма на Запад из ГДР в принципе, мол, совсем не запрещено. Я, мол, спокойно могу продолжать писать тебе, рассказывая о сыне, которому так недостает отца. И что отец ведь наверняка хотел бы, чтобы сын получил достойное образование. И чего не сделает отец для того, чтобы его единственный сын имел хорошее будущее. Я могла бы оправдать себя, сослужив отечеству эту службу. Все стороны, мол, в этом заинтересованы, в конце концов, ведь явишься же ты к своему единственному сыну. Это правда, что у тебя с твоей женой нет детей?

Тут к Ферману опять вернулась способность двигаться, он недолго думая швырнул пачку писем на кровать и захромал вслед за Марианн.

Он чуть не споткнулся о нее, потому что она сидела на корточках перед стелла-

жом сразу за дверью, в темной прихожей. Он еле успел удержаться за ручку другой двери слева.

— Извини, — пролепетал Ферман, вися на ручке распахнувшейся двери.

— Я вижу, ты не забыл, где здесь туалет. Можешь не торопиться, мне еще нужно время, чтобы найти эту проклятую книгу.

Ферман не хотел показать свою слабость. Он сделал вид, что ему и впрямь надо в туалет, и закрылся изнутри. Он опустился на крышку унитаза и сгорбился.

Было слышно, как Марианн в прихожей вытаскивает одну за другой книги из тесноты стеллажа.

— Книгу забрал Саша, — негромко крикнул Ферман из-за закрытой двери.

— Не рассказывай мне про Сашу! Книжками он вообще не интересовался. Возможно, из протеста. И о том, что книга имеет отношение к тебе, я ему ничего не говорила. Я никогда не говорила ему, кто его отец.

Последняя фраза звучала сквозь дверь туалета так, будто Марианн говорила там, в прихожей, сама с собой. Ферман смотрел на яркую голую лампочку, свисавшую на проводе с потолка, и кусал губы.

— У него еще в пионерах были проблемы. Неопрятная форма, сколько ее ни наглаживай. И красный галстук толком не повязан, и необязательность, и наглая повадка. А потом он открыто отказался вступать в Союз свободной немецкой молодежи. Они не очень-то и звали, такой невоспитанный — матерью не воспитанный, — от него хлопот не оберешься. А ведь его строптивость вовсе не была направлена против социализма. Какой может быть антикоммунизм у четырнадцатилетнего подростка, не смешите меня. То были гормоны, я им так и говорила, мне ли, как матери, не знать, но они приписали это моему плохому воспитанию. Но тогда-то и вышло дело с письмом. Меня выставили на улицу, нет, не безработной, такое в ГДР было немыслимо. Из коллектора перевели в доставку, чтобы я проявила себя на ветру и под дождем. Саша тоже схлопотал себе клеймо. Немудрено, что после этого он попал в компанию, где считалось шиком поносить ГДР. Он же не представлял себе, что это за государство. Что шутки с ним плохи. Что иметь с ним дело — смертельно. Но Саша ничего не знал. Как я могла уберечь его в восемнадцать-то лет? ...Где-то здесь должна была стоять. Вообще-то я всегда все расставляла по алфавиту. Твой русский автор, на какую же он букву...

Она оборвала свой вопрос на полуслове. Ферману пришлось приложить к двери ухо, чтобы различить ее бормотанье.

— А это как сюда попало? Здесь должна была стоять его книга. А тут мое письмо. Это же письмо к нему, которое они перехватили. Они же сами собирались позаботиться о том, чтобы он его получил.

— Я бы сразу приехал, поверь мне.

— Только потому, что ты не среагировал, они и начали меня шантажировать. Но я отказалась написать еще хоть одно письмо. Все те письма, которые ты совал мне под нос, написала не я. Их сфабриковала Штази, всю пачку. Но я знаю, что там написано, в моем личном деле была копия с каждого из них. Уж они старались до последнего, этого у них не отнять. Уж как усердствовали. Они сообразили, что я догадываюсь насчет этого мнимого издательства. Правда, насчет того, что я в любой момент могла бы его провалить, обратившись в западные органы, я узнала только потом, из своего личного дела. Им-то это сразу было ясно, мне — нет. И тогда твой замаскированный офицер из оперативной связи был срочно отозван, чтобы предвосхитить вмешательство Федеральной разведслужбы. И тоже лишь окольно, из придаточных предложений в моем деле я смогла срифмовать, чего им так дался этот *КП Славист,* чего они за ним гонялись: а — помощь для КГБ, переводчик с русского на Западе, контакты с издательствами и коллегами, диссидентами, важный информатор. Из-за неудачи с письмом контакт оборвался. Распоряжение из центра Мильке: снова взять на крючок. Сигнал из Москвы: операцию *КП Славист* положить под сукно. Там уже был Горбачев, провозгласивший новую программу перестройки. Этот Горбачев хотел ослабить и немецко-немецкое напряжение. С канцлером Колем он был явно дружнее, чем с Хонеккером. А Хонеккер все упорствовал: социализм на немецкой земле победит! Говорят, этот русский президент предал коммунистическую идею в России. ГДР же стойко держалась как оплот коммунизма. Это был 1986 год. Оставалось всего три года до падения Стены. С сегодняшней точки зрения я бы сказала: была паника перед закрытием городских ворот.

Ферман на крышке унитаза молчал. Теперь ему вдруг показалось, что он забаррикадировался.

— Это вот письмо — должно быть, в какой-то момент они разыграли его с

Сашей. Чтобы доказать ему, что я от него что-то скрываю. Видимо, хотели спровоцировать конфликт между матерью и сыном, поскольку со мной одной у них дело не пошло. Родной сын должен был надавить на мать, почему она скрывает от него отца. Наверно, так и зародилась в Саше эта мысль. Свиньи, они его в это втянули. Саша становился все более строптивым и вместе с тем все более замкнутым. Со мной не разговаривал. И я не знала, почему. Я виновата, что отказалась сотрудничать. Но я хотела для Саши лучше никакого отца, чем отца-шпиона. И мне надо было об этом ему сказать. Может, и удержала бы его. Если бы я знала тогда, что тебя уже за много лет перед тем офицер Штази вел как *КП Слависта*, я могла бы выложить ему начистоту, что ты шпион, и удержать его от побега. Какой же сын захочет себе в отцы шпиона. Но об этом я узнала только из моего личного дела, после Поворота, когда уже было поздно. А надо было сразу, как только они впервые явились ко мне домой, сказать ему, кто они такие! Но ведь ему и пятнадцати не было. Он принял их за моих знакомых мужчин. Мой маленький Саша. Я никогда не могла предложить тебе отца, всегда только знакомых мужчин. Мужчины всегда были для твоей матери важнее, чем ты. Ты это слышал? Да? Ты там слышишь это за своей дверью?

Удар то ли пинком, то ли кулаком по двери туалета. Ферман вздрогнул.

— Каково это, когда сын стоит перед дверью материнской спальни и боится помешать? Он ведь даже на прощанье не решился постучаться. Может, он и стучался, а я не услышала. Какой же мальчик решится ночью войти в спальню, где его мать как раз лежит в чужих объятиях, под чужим мужчиной или сидит на нем верхом и стонет от наслаждения так, что даже не слышит, как захлопнулась входная дверь?!

Последнюю фразу Марианн выкрикнула, и после задушенной паузы Ферман услышал, как она зашлась в хриплом кашле. Он не посмел шевельнуться. Он не знал, что ей сказать.

— Они понимали, что у такого, как Саша, когда-нибудь перегорят предохранители. И спекулировали на этом. Подсадили мне в качестве любовника сексота, который должен был непрерывно следить за беспутным Сашей. А Саша долго планировал, причем тайно, ни один друг не был посвящен. От друзей он слышал, что в начале апреля 1989 года, после того, как был застрелен бежавший через Стену Крис Гефрой, по указанию Эриха Мильке приказ стрелять был отменен. И свой побег на Запад он планирует только на апрель, хотя о своем отце знает уже давно. Может быть, хочет дождаться своего дня рождения, чтобы предстать перед отцом уже совершеннолетним. В середине апреля он празднует свое восемнадцатилетие, без друзей, совсем один, со мной. Меня он специально попросил, чтоб в этот день не ночевал никакой любовник. Умница мой Саша, хитрее их всех. Штази в тревожной готовности сажает в ночную смену на прослушку под наушники человека, хотя обычно все ограничивалось записью на пленку. Но тогда ничего не произошло. После этого отбоя тревоги они уже воспринимали все не так серьезно. На следующий вечер опять явился мой любовник-сексот. Как обычно, он снял и повесил в моей спальне трубку телефона, не набирая номер, — знак для человека под наушниками, что тот может быть свободен, его рабочая смена закончилась. Сексот брал слежку на себя. Но у него на уме был только секс, а не сын. Как, впрочем, и у меня. Мы упустили Сашу. Этот сексот потом оправдывался в личном деле тем, что не мог же он гнаться за поднадзорным по Берлину в голом виде. Я не хочу оправдываться. Я виновата. И ты виноват, почему ты сразу не отнес в Федеральную разведслужбу эти заманивающие и угрожающие письма? Тогда бы мы все потеряли всякую ценность для Штази, и все бы кончилось гораздо раньше.

Из прихожей донесся подавленный всхлип. Ферман задержал дыхание. Он боялся, что Марианн опять примется пинать дверь. Но все было тихо. Так тихо, что он снова приставил ухо к двери.

— Мой маленький Саша. Я хотела всего лишь уберечь тебя, — шептала она. — Я хотела держать тебя подальше от всего этого. Ты был самым дорогим, что у меня было, Саша. Долгое время я считала, что никакой отец нам не нужен. ГДР хорошо заботилась о таких, как мы с тобой. Я могла нормально работать, как все остальные приличные женщины. Да, у меня была приличная работа на почте, нормальное рабочее время, но совесть была нечиста. Она успокаивала меня, что ты хорошо присмотрен в яслях, в группе продленного дня. Я хотела, чтобы ты у меня был. Я действительно хотела ребенка. И поверь мне, я подыскивала того, кто бы мне действительно понравился. Я же по глазам всегда видела, притворяются они или нет. И тут вдруг появился человек, по которому за десять метров было видно: честный. И он в меня и впрямь влюбился. Ну, чуть-чуть. Отступить я уже не могла. Овосистон я уже перестала принимать. Неужели я должна была еще разбираться, с Запада он или не с Запада.

Я ведь не хотела мужа для себя. Я хотела ребенка. И получила его. И потом не нашлось никого, кто годился бы тебе в отцы. Может, я была чересчур разборчива. А по мере того, как ты становился старше, я все больше убеждалась: тебе не нужен кто-то в качестве отца, тебе нужен твой отец. Я просила людей, у которых была возможность ездить в Западный Берлин, поискать там в телефонной книге Александра Фермана. Ничего не нашли. Я перебрала все варианты, как войти в контакт с твоим отцом, но не так уж много было вариантов у нас в ГДР. Я хотела сделать это для тебя, не для себя. Когда спустя несколько лет мне в руки случайно попала книга, переведенная человеком, которого звали так же, как твоего отца, я сразу же написала в издательство. Книга — самый безобидный повод для письма. Он мог бы навещать тебя хотя бы от случая к случаю. Может, это было бы даже хорошо. У тебя был красивый отец, Саша. Он был молод, моложе твоей старой матери. Может, с ним бы ты лучше нашел общий язык, чем со мной. Если бы они нам дали такую возможность. Но они не дают. Никому не дают. А я думала, что их перехитрила.

Ферман не мог больше выдержать. Он открыл дверь.

Она сидела на полу, спиной к стеллажу, покачиваясь взад и вперед и сжимая в руках письмо. Ферман опустился перед ней на колени и хотел положить ладони ей на плечи, чтобы успокоить.

— Не прикасайся ко мне!

— Прости.

— Проси прощения у кого угодно, только не у меня. Тебе бы следовало попросить прощения у Саши, но это уже невозможно, его больше нет, он ушел, ушел навсегда. И ты давай отсюда! Забирай свои проклятые письма, и чтоб я тебя больше не видела. И зачем ты только явился! Почему ты не умер! Вон. Все вон из моей жизни.

Она вскочила, побежала в комнату и в рыданиях упала на кровать. Он собрал листки с пола в прихожей и медленно двинулся за ней в комнату. Нерешительно склонившись над ней, он тихо бормотал «прости», пытаясь в это время осторожно вытянуть из-под нее другие письма, на которых она лежала ничком.

Почувствовав его прикосновение, она с пронзительным криком дернулась и, суча ногами, обороняясь, отползла подальше, к изголовью и свернулась там калачиком.

— Не приближайся, не то я вызову полицию.

Казалось, эта мысль принесла ей внезапное облегчение. Она схватила трубку со своего ночного столика. Обороняющимся жестом выставив против него левую ладонь, она нажимала кнопки большим пальцем правой. Но внезапно прервалась и отшвырнула аппарат подальше, словно ядовитую змею.

— Бессмысленно. Ничего не изменилось. 110 и тогда не помогло, когда я заявила о его пропаже. Я вызвала полицию — и кто, ты думаешь, явился? Штази! От Штази не уйдешь. Они стоят за всем, что происходит. В каждом аппарате скрыт жучок. В каждом любовнике — сексот. Все под колпаком.

Ферману хотелось хоть как-то возразить, чтобы успокоить дрожащую, забившуюся от него в угол женщину. Но если быть честным — перед собой и перед ней, — то все, что приходило ему в голову, могло сделать только хуже.

Нагнувшись над кроватью глубже, он сгреб своей негнущейся рукой письма, раскиданные ногами Марианн куда попало. Левая машинально складывала конверты в стопку, сортируя их по почтовому штемпелю, как если бы он был добросовестным служащим архива.

— Мало тебе одного письма? Из-за того письма он меня и покинул. Сбежал, потому что хотел разыскать своего отца. Которого злая мать от него утаила. С которым ему никак не давали познакомиться. Какую, ты говоришь, книгу он взял с собой? Твою, с моего стеллажа?! Это они тебе рассказали? Мне они принесли только пустой рюкзак. Хочешь на него взглянуть? Я его сберегла. Его любимый зеленый рюкзак. Больше ничего не осталось. Только этот старый, рваный мешок. Якобы растерзанный корабельным винтом, когда он вплавь переправлялся через Шпрее, где-то в районе Трептов. Как будто Саша поплыл бы с рюкзаком в апреле. Почему он не дождался лета. Уже в мае открылась граница в Венгрию, а меньше чем через полгода уже и Стены не стало. Почему?! Почему они не сказали мне правду? Сфабрикованное свидетельство о смерти. Утонул, кремирован, бесследно устранен. Ни похорон, ни могилы, во всем отказано. Потому что они его застрелили, иначе бы не кремировали с такой поспешностью. Опять выстрелы у Стены, в конце апреля 1989 года. После скандала с Гефроем они должны были скрыть это любой ценой. Даже в моем личном деле не написали правду. И по сей день Гефрой считается последним. А я не могу доказать, что был еще один, самый последний смертник

Стены. У меня остался только рюкзак. Почему они не сожгли его вместе с ним? Хорошее наследие: пустой рюкзак и пухлое дело от Штази, из-за которого меня не взяли на работу на новую, федеральную почту. Претендовать на пенсию я не могу — ни как штатная сотрудница почты, ни как жертва Штази.

У Фермана вырвался пугающий смешок. Опять припадок, какой уже не раз охватывал его после инсульта. Лицо кривится в спазматической гримасе, которую только с виду можно принять за смех. Хрип втянутого воздуха — как будто он давится смехом. Хотя единственное, чего он не мог подавить, был этот приступ, который вышиб у него слезы из глаз и вызвал судороги мышц. Но ему было совсем не до смеха.

— Ты смеешься надо мной? Ты! Вы снова смеетесь? Хорошо же вам было смеяться все эти пятнадцать лет после Поворота!

Марианн опять подняла крик.

Ферман теперь сам был не в состоянии кого-либо успокоить, ни ее, ни себя, в его голосе не было воздуха. Ему самому было впору кричать: «Утонул! Как так утонул! Как так в 1989 году!» В мозгу его бился один-единственный беззвучный слог: мертв, мертв, мертв.

Тут Марианн вдруг холодно и деловито сказала:

— Вы что, не можете оставить мертвого в покое? Нет, вы не можете. А эта каверза вчера по радио. Мой старый сосед из квартиры напротив пришел, весь взволнованный, и сказал, что мне передали привет по радио. Он пересказал мне дословно: «А теперь еще привет для Марианн с Фриц-Хеккерт-штрассе. Дорогая Марианн, помнишь ли ты еще о твоем давно пропавшем Саше? Он не нарочно притворился мертвым, просил он тебе передать, честно, пожалуйста, верь ему, мы тут в редакции сразу ему поверили, когда он позвонил в студию, верно? И теперь он несказанно рад скорой встрече с матерью. А теперь музыка для тебя». Что за жуткая шутка! Бесстыдно! Неслыханно! Опять, значит, воспряли. Не прошло и пятнадцати лет после Поворота, а крысы снова повылезли из своих нор. Где же ты пропадал со времен Поворота? Теперь ты явился и делаешь вид, будто захотел наконец познакомиться с ним. Да ты глумишься надо мной? Вам надо еще раз прикончить все ваши тогдашние жертвы? Сашу загнали в погибель. Этого мало? Меня теперь в безумие. Это что, ваш новый метод? Делать вид, как будто ничего не было, как будто все привиделось? С сердечным приветом. Твоя Штази.

Ферман был в ужасе. Этот модератор на радио полностью исказил его привет. Ферман пытался сказать Марианн, как было на самом деле, но больше не мог к ней пробиться.

— Штази-Штази-Штази! — истерично верещала она и снова принялась сучить ногами и отбиваться руками. Потом вскочила и набросилась на него с кулаками: — Вон-вон-вон!

Прикрываясь левым локтем, он отступал назад, шаг за шагом, из комнаты в прихожую, пока не уперся спиной в дверь. Дальше отступать было некуда. Приходилось сносить ее удары. Она дралась отчаянно, руками и ногами, брызги слюны летели ему в лицо, так яростно она орала. Рвала его седые волосы, дергала за одежду, царапала и била, топала ногами и пинала. То его, то дверь. Все и всех. Пинала весь мир.

Должно быть, она нечаянно задела ручку, дверь внезапно распахнулась наружу, и Ферман, потеряв опору, вывалился навзничь в пустоту лестничной площадки. Марианн продолжала тыкать кулаками в пустоту. Но потом, еще до того, как он смог подняться на ноги, захлопнула дверь.

Выждав некоторое время, он снова приблизился к двери. Приник к ней ухом. Ничего не слышно. Посмотрел в дверной глазок. Темно. Тихонько окликнул ее по имени. Никакой реакции. Робко постучал дверным молоточком. Ничего. Он не мог так уйти. Он должен был оставить ей хотя бы записку. Но у него не было с собой ничего, чтобы написать. Он обхлопал карманы брюк. Ручка осталась в его плаще. Плащ и трость — в квартире Марианн за дверью. Это ему было безразлично. Но как-то он должен был дать ей знать, где его найти. И зачем он только выбросил визитные карточки отеля. За мелкие грехи Господь Бог карает на месте.

Ключ отеля. Он достал из своего бумажника магнитную карточку с названием и адресом отеля. Скажет, что потерял, они дадут ему новую, он зарегистрирован как жилец.

Он осторожно подсунул карточку под дверь. Какое-то время ждал. Потом пошел к лестнице и с трудом захромал по ступеням. Налегал животом на перила и съезжал вниз, притормаживая левой рукой.

— Добрый вечер, сударь. Добро пожаловать в наш Аква-холл. Что бы я мог вам предложить?

Голос бармена был такой же бархатный, как полированный бетон стойки.

— Прошу вас, две двойных водки. Чистой. Без льда.

Бармен глянул на него в коротком раздумье:

— Господин поджидает еще кого-то?

Ферман отрицательно помотал головой. Бармен понимающе кивнул.

Водка на пустой желудок всегда оказывала на него уничтожающее действие, Ферман это знал с тех пор, как студентом в Москве впервые в жизни близко познакомился с этим напитком. Но с тех же самых пор он знал, что только водка мгновенно помогала ему переварить жирную, непереносимую пищу. Сейчас комок в его желудке ощущался именно так.

После первых же двух двойных протестующий желудок Александра Фермана немного успокоился.

Может, успокаивающе действовали на него и неторопливые движения бармена. Он не ходил, а скорее парил туда и сюда между раковиной для мытья стаканов, встроенным контейнером для кубиков льда и холодильником с батареей запотелых бутылок. В вежливо-внимательном, услужливом наклоне над рабочей поверхностью, на которой стояли лужицы, так что его тихая стабильная улыбка в них отражалась.

Иногда бармен подмигивал ему. Наверняка профессионально наработанное, чтобы безмолвно дать понять каждому постояльцу: тебе здесь рады, ты здесь дома. Так что Ферман в этом постепенно пустеющем баре отеля чувствовал себя заранее понятым. И так развязался язык Александра Фермана в баре отеля Рэдиссон Берлин.

— Если бы вы знали, что со мной случилось.

Бармен все еще стоял у своей раковины, перемывая последние стаканы; опрокидывая, он надевал их на щетки, утопленные в мыльной воде, крепко вдавливал их под воду, чтобы в следующий момент снова вытянуть, булькающие и клокочущие, будто они жадно хватали воздух, зная, что их неумолимо будут окунать еще и еще раз. Несмотря на шум мытья, Ферман понял:

— Если бы вы знали, чего я тут уже наслушался.

Он поставил перед Ферманом четырехгранную бутылку, которую перед тем использовал для приготовления коктейля. Будто хотел доказать, что всегда угадывал вкус своих клиентов. *Родник*. По-русски. Ферман мог прочитать кириллические буквы, но его переводческий мозг не находил для них подходящего немецкого слова. В любом случае водка. Ферман проглотил коктейль залпом.

— Иногда я думаю, — сказал бармен, — не наняться ли мне в церковь исповедником. Правда, часто не могу смолчать. Так и лезу со своими комментариями. Но из клиентов еще никто не жаловался. Иногда я даже думаю, что они рекомендуют меня своим знакомым. Вот вам кто порекомендовал этот бар? Мне надо бы потребовать надбавку к окладу.

— Разве вы как бармен работаете не с оборота? — спросил Ферман, радуясь поводу начать разговор. — Я позволю себе еще одну, да?

Ферман сам взялся за четырехгранную бутылку. Бармен кивнул, опять понимающе подмигнув.

— На здоровье. Она так и так ваша. Если хотите, можете потом взять ее с собой в номер.

Ничего себе, исповедник, подумал Ферман. Спаивает свою паству, чтобы стребовать с нее не только покаяния, но и возмещения издержек. А назавтра еще и расскажет следующему клиенту: «Если бы вы знали, чего мне тут вчера наплел один запойный придурок».

— Секретность входит в состав моей профессии. Рассказывайте, — бармен будто разгадал сомнения Фермана.

Ферман отставил бутылку, чтобы взять в левую руку самовольно налитый стакан. Правая его рука для выпивки не годилась. Потом сделал большой глоток, прежде чем начать рассказывать.

Фразы так и били из него фонтаном, как будто водку он не проглотил, а, переплавив ее в слова, вновь извергал из себя.

Его словесный поток изливался через стойку все громче, поскольку из-за алкоголя Ферман слегка потерял над собой контроль. Все громче, поскольку так Ферману легче было преодолеть свои трудности речи. К тому же непрошеных слушателей уже не было. А бармен, не останавливаясь, продолжал бесшумно наводить порядок на борту. Заполнял бутылками холодильные камеры, вытирал зеркальные лужицы, про-

чищал пивные краны из хромированной стали, протирал вымытые и уже стекшие стаканы и бокалы, расставляя их на полки. Все свои функции он выполнял стоически сухо, причем в темпе улитки — так, как будто имел в своем распоряжении все время мира.

Затем, выжидательно подняв брови, бармен поставил на стойку два стаканчика. В них колыхалась черная маслянистая жидкость, походившая на «горькую». Это выглядело как угощение.

Ферман замотал головой:

— Должно быть, я вдребезги пьян. Чего я тут понарассказал.

Ферман мотал головой так, что пошатнулся на своем табурете. Бармен бдительно успел перехватить бутылку и вытянул Фермана на место.

Это очень походило на то, будто Ферман выпал за борт в бушующем море, а товарищ втащил его назад, на корабль. Пальцы Фермана впились в бутылку, будто это был последний обломок доски, а сам корабль давно ушел ко дну. Впились так, будто ему предстояло тягаться за эту бутылку с барменом.

— Отдайте ее сюда, черт побери. Вы наверняка думаете: из-за этого пьяного клиента, который несет чепуху, вы опять не можете вовремя уйти из этой лавочки. Но это же ваша работа, черт, вам за это платят. Вся эта бутылка пойдет на мой счет, поэтому вы должны меня выслушивать до последней капли. Никаких возражений. И если я говорю: я какой угодно, но только не пьяный, вы не можете мне возражать, нравится вам это или нет! Бог вас побери, я постоялец этого отеля. Кто платит, тот и заказывает. Немецкая пословица.

Словно желая продемонстрировать, на что он способен, Ферман нырнул вниз, чуть и впрямь не сковырнувшись с табурета, сорвал башмак со своей паралитической ступни, стукнул его кожаным каблуком по бетону стойки и недолго думая вылил в него остаток водки из бутылки.

— Гость в доме — господин! Русская пословица.

Бармен даже бровью не повел. Он был хорошо вышколен и знал, как себя вести с зарвавшимися клиентами. Без перехода он задал короткий вопрос:

— Более двенадцати часов на территории ГДР, нелегально, с истекшей визой. Это не могло так просто сойти вам с рук без ответной услуги.

— Это что, допрос? Мы тут не в подвалах под вокзалом Фридрихштрассе. А вы, однако, человек осведомленный, как я погляжу! Что, сами имели печальный опыт с ГДР?

— Опыт с ГДР — да, но печальный — скорее с ФРГ.

— Тогда вы, наверное, изначально с Востока?

— Я никогда не покидал Восточного Берлина, сударь. Как вы полагаете, где мы сейчас с вами находимся? Центр Берлина, он как был, так и есть на востоке.

— Но вы же не остались идеологически на прежней почве? Под вами лишь границы переместились, мил человек. Восток теперь начинается только от Минска. А вы теперь стоите на почве Конституции, нравится вам это или нет.

— Признаться, мне не нравилось, как шло воссоединение. Вместо новой общей конституции — скорее враждебное поглощение, как это теперь называют. Притом что далеко не все то золото, что блестело в старой ФРГ. Я имел возможность убедиться в этом своими глазами.

— Значит, вы имели привилегию путешествовать? Еще скажите, что вас тянуло назад из поездки на Запад, а Запад вас все не хотел отпускать! Шутка!

— ФРГ больше не отпускала нас всех с 1990 года. И это не шутка.

— Но к двадцати процентам безработных в новых федеральных землях вы, однако, не принадлежите. Не так уж плохо — устроиться барменом в таком шикарном столичном отеле.

— Да, средства к жизни у меня есть, исключительно благодаря моим старым коллегам. А вот за то, что я стою здесь, внизу, а не наверху — администратором, как раньше, — я должен благодарить западного владельца этого заведения.

— Значит, вы всегда работали в отельном бизнесе. Учились этому?

— Я был лучшим в моем выпуске. Это была профессия моей мечты. Дошел бы до директора отеля. Но — случился Поворот.

— Почему же у вас так повернулось? Ведь хорошие специалисты нужны везде.

— Вы и впрямь очень наивны. Неудивительно, что вы попались на удочку этой Марианн.

— Почему это на удочку? Вообще, что вы себе позволяете!

— Я позволяю себе лишь немножко предостеречь вас от таких, как Марианн. Для вашей же пользы. Ведь вы не первый, кто интерпретирует это как зло с моей

стороны. Притом что я всегда желал только добра своим клиентам. Но в наши дни это больше никого не интересует.

То, что Ферман принял за надменный сарказм упрямца, было скорее обиженным разочарованием. Неужто с барменом несправедливо обошлись?

— Тут мне, пожалуй, впору и заинтересоваться?! Выкладывайте.

— Что вы хотите услышать? Что я тоже был когда-то такой же наивный? Что лишь благодаря моим успехам я получил место администратора в одном из лучших отелей? Что я хотел показать постояльцам со всего мира, в первую очередь тем, кто с Запада, что благожелательность, превосходный сервис и хороший стиль и при социализме есть нечто само собой разумеющееся? Что я был влюблен в свою работу и лишился бы своего заслуженного места, если бы не подписал? Все сотрудники в таких отелях должны были подписывать обязательство, вплоть до горничных. Не говоря уже о других девушках, которым их работенку подкидывала Штази. Я любил свою работу. Я хотел быть совершенным в своем деле, я и сейчас этого хочу. Первое впечатление по прибытии в отель является определяющим, именно его иностранный гость унесет с собой из страны. Отель таков, каким слывет. Его славу можно сгубить или защитить. Характер страны виден по ее отелям. К сожалению, новые хозяева после Поворота не интересовались моей профессиональной квалификацией. Но хуже она от этого не становится. Когда я вижу нашего теперешнего господина директора... И он уже незнамо какой по счету на этой должности, начиная с 1990 года. По-настоящему компетентных людей они разжаловали в подвал, а наверху посадили кого попало, лишь бы были незапятнанные, белые, с Запада. При этом *белый* зачастую означает только то, что он как белый лист бумаги, и сказать о нем нечего. Чего не знаешь, то тебя и не беспокоит. В конце концов, частным предприятиям не выдают сведений из комиссии Гаука о прежних сотрудниках Штази. То, что я был настолько корректен, что сам же все и выложил в своем учетном деле, ни на кого не произвело впечатления. Тупо по уставу фирмы: чтобы ни одного сексота на руководящих должностях. По принципу: сексот не бывает бывшим. Я выложил им полную копию моего дела, а они даже не взглянули на него. Одно то, что я его предъявил, для тех, кто завладел Палас-отелем, бог весть какими путями доставшимся им из госимущества, было достаточно для того, чтобы не взять меня. Предписания всегда ставились в Германии выше, чем реальные обстоятельства. Не важно, в какой Германии. Спасибо старым друзьям, что я вообще остался в том же заведении и могу работать дальше. Хоть и не наверху.

— Вот как обманчива видимость: по мне так вы работаете в баре одного из самых фешенебельных отелей столицы. А для вас это — унизительное понижение в должности.

— Мои клиенты об этом ничего не знают, и я никогда не даю им это почувствовать. Я и здесь, за стойкой бара, делаю свою работу безупречно. Переобучение я оплатил из своего кармана, без него бы мне было не выдержать конкуренции с молодыми, тут и старая дружба не поможет. В работе с клиентами считается только сервис. Клиент всегда прав.

С этими словами он поднял один из стаканчиков, условно — через воздух — чокаясь с клиентом.

Ферман принял это как маленький жест примирения. Взял наконец свой стаканчик — элегантно, как бармен, двумя пальцами. Так же, как бармен, демонстративно приподнял его, символически чокаясь.

У Фермана было чувство, что этот человек понимал его лучше, чем захотела понять сегодня Марианн. Заметила ли Марианн его попытку условиться о встрече здесь, в отеле, при помощи карточки-ключа, подсунутой под дверь? Да и ждал ли он этого? Может, он надеялся, что она придет, поэтому и засиделся в баре? Ведь она бы наверняка не поднялась к нему в комнату, а попросила бы вызвать постояльца вниз. Портье бы знал, что искомый постоялец все еще внизу, в баре. И все бы выглядело, как одна из многих договоренностей между мужчиной и женщиной, он издалека, она местная, если бы они еще и выпили в этом баре, приглушенно беседуя, как того требует обстановка, и атмосфера бы сделала свое дело, и в какой-то момент они покинули бы помещение, сопровождаемые прощальным барменским: «Доброй ночи обоим!». Для любого постороннего это выглядело бы так, что мужчина и женщина вместе идут наверх в номер. Однако бармен знал бы, в чем дело, он знал бы, что это не мужчина и женщина, а отец и мать ушедшего от них сына.

— Вы считаете, что Марианн передо мной прикидывается?

— Я понимаю вашу ранимость при упоминании вашей знакомой и то, что вы

пытаетесь ее защитить. Эта Марианн вас обманывала. И тогда, и сегодня. Поверьте мне. Единожды солгавший...

— Теперь она сломленная женщина. А тогда сама была обманута. Обманута этой проклятой Штази. Вплоть до свидетельства о смерти. Официально Саша не является жертвой Стены. Ни искупления, ни возмещения. Апрель 1989 года, каких-то полгода до сноса Стены. Эта бессмысленность. Прямо-таки надругательство, что Штази оставила ей в наследство полновесное дело. Из-за которого ее не взяли после Поворота на почту, а сегодня не выплачивают пенсию.

— Не взяли на почту, потому что раньше она привлекалась к подсобной работе, где расклеивала под паром и потом снова заклеивала письма? Немножко неубедительно. Такой подручной работы маловато, чтобы в личном деле тебя провели как сотрудницу Штази. Должно быть, она делала для них чуточку больше.

— В этом вы знаете толк, я понимаю. Вы же чуть ли не хвастаетесь своими инсайдерскими сведениями. На вашей нынешней хорошей работенке вам только того и надо, чтобы навешать на таких жертв Штази побольше собак из старого времени.

— Если вас это успокоит: вы далеко не единственный, кто попался на удочку такой дамы из Главного отдела 6: туризм, паспорта, международные отели. Никто в этом сам не сознается. Знаете, как называли в народе фонтан на Алексе? «Брошка потаскушки». Ни одна из этих дам не выходила туда без задания Штази, знаю я этот промысел, я ведь уже говорил. Правда, с толстым животом она уже не пригодна к делу. С ребенком ее отпускали. Родить ребенка — это был самый простой путь. Даже если ваша Марианн воспользовалась беременностью, чтобы расквитаться со службой, она вас все равно использовала. Сделала все для того, чтобы вы проспали срок вашей визы. И когда вы поспешали на Фридрихштрассе, она по телефону известила их, как положено по долгу службы. Пусть она даже надеялась немножко, что Штази тут же завербует молодого симпатичного западноберлинца, хотя они, насколько мне известно, никогда не предлагали сотрудничество при первом же контакте, для этого они слишком хорошо разбирались в психологии. Однако осведомлены они были прекрасно о каждом человеке с Запада, тем более, если человек частенько посещал Восточный Берлин: вы бегали от службы в армии, значит, не имели позитивного отношения к идеологии НАТО, вы славист, значит, позитивно настроены к коммунистическому братству. Тут бы Штази могла поспособствовать молодой парочке и обеспечить ей счастливое будущее. Знаете ли вы, что после Поворота многие выходили замуж за своих прежних западных любовников?

— Я женат. Женился задолго до Поворота. И считаю, что мне повезло быть женатым на таком ангеле, как Ира. Она, наверно, стыдится, что скрыла от меня письма, потому и боится мне на глаза показаться. Она не виновата, что сын ее мужа погиб. Она и знать об этом не могла. Но ее муж мог умереть, так и не узнав об этом сыне. А как врачу, ей хорошо известно, что смерть может напомнить мне о себе в любой момент, причем без предупреждения. Хотя мне всего пятьдесят шесть, я считаюсь больным из группы риска. И тут уж ей пришлось показать мне эти письма.

— А нужны ли вам были эти письма, если вы так радикально вычеркнули из сердца и из памяти Восточный Берлин и эту восточноберлинку? Не могла же Марианн предположить, что на вас так травматически подействует пережитое на Фридрихштрассе. Чтобы больше никогда не попытаться установить контакт! Штази, однако, сделала из этого свои выводы и очень хитро, очень долго, очень мягко вела *КП Слависта* на очень длинном поводке. Не характерная диспозиция для двойной жизни. Однако профессиональное честолюбие ослепит кого угодно, как вы можете видеть и на моем примере. Когда с трудом созданного, вошедшего в доверие издателя пришлось отозвать, Штази некоторое время делала попытки со своей испытанной подсадной уткой, а потом принялась давить на зов крови. Только откуда Штази было знать, что это не Александр Ферман глух, а его жена слишком чуткая?! Начальник вскипел, наплевал на мягкий подход и приказал, чтобы вас открыто призвали к продолжению той шпионской деятельности, которую вы годами, сами того не зная, исправно исполняли.

— Довольно, да послушайте же, вы!.. Этот погибший сын — и мой сын тоже! Но разве это моя вина? Кто, черт возьми, у кого должен просить прощения?

Ферман рывком привстал с табурета, подтянувшись на руках, и налег на стойку, будто хотел схватить бармена за грудки. Табурет под ним опрокинулся. Ферман повис в воздухе, лишившись опоры, поскольку правая его нога застряла в хромированных перекладинах. Он стал заваливаться набок вместе с табуретом.

Когда бармен вел его к одной из диванных ниш вдоль задней стены, Ферман

вновь и вновь пытался глянуть вниз, туда, где должны были находиться его ноги. Он больше не чувствовал их как следует. Он и не видел их толком. Поле его зрения было обрезано по краям. Бармен тоже представлял собой лишь парящее рядом туловище с руками, которые сейчас как раз усаживали Фермана на серую низкую софу.

Он хотел вымолвить бармену свое благодарное признание:

— Ну и скорый же вы!

Однако неповоротливый пьяный язык оговорился:

— Ну и шкура же вы!

Ферману хотелось, чтобы бармен продолжал говорить. Но больше он его не слышал. Больше он его не видел. Ферман вдруг остался один-одинешенек в этом баре, или на этой кушетке, или где там еще. Один в этом моднейшем, шикарнейшем отеле в центре Берлина. Он был просто очень далеко оттуда, где ему положено быть. И такой усталый. Ему самому ни за что не добраться наверх, к себе в номер. Слишком устал. Только бы упасть. Здесь и сейчас.

Александра Фермана подхватили под мышки, подняли с софы две сильные руки, которым было явно не впервой выпроваживать из бара напившихся клиентов.

Провожатый уже затолкал его внутрь лифта, держа перед собой так плотно, что, должно быть, дышал ему прямо в ухо.

Ферману было стыдно, что кому-то приходится его сопровождать. Он не знал, куда прятать глаза. Смотрел в потолок, потом смущенно потупился.

Ужас охватил его с запозданием в секунду. Он не увидел пола под ногами, лишь зияющую черную дыру. Он инстинктивно схватился руками сзади себя, чтобы удержаться за провожатого. За открыто скользящую мимо него шахту он не мог удержаться, он бы поранил о шершавый бетон еще целые пока ладони.

Потом он понял, что кабина лифта стеклянная. Совершенно стеклянная, вся целиком. Ему вспомнился гигантский атриум в лобби отеля, его кратковременная память больше не подводила его, вспомнились стеклянные капсулы, которые носились вверх и вниз по внутренней стене атриума. Даже глядя на них со стороны, он тогда чувствовал дурноту. Теперь же Ферман находился внутри и пулей несся вверх, но ему казалось, что он в свободном падении.

Вниз он упорно не смотрел, только наверх. Металлический обруч вокруг крыши стеклянной капсулы был единственным, что ее держало. Это не внушало большого доверия. И по бокам две дуги, за счет которых она, видимо, и двигалась вдоль магнитных шин. Футуристическая стеклянная банка для консервирования — Ферман пытался отвлечь себя мысленной шуткой.

Слава богу, теперь она начала все больше озаряться сверху голубым светом. Это тоже облегчило Ферману мысль о черной дыре под ногами. Вверху даже стало посверкивать и поблескивать. Световые рефлексы криво метались по темному небу. Звезды, думал Ферман, метеориты в небе над Берлином. Внезапно это небо оказалось вокруг него со всех сторон, и Александр Ферман очутился посреди этого неба. Но ведь я же хочу к себе в комнату. Он бросил взгляд на цифровую панель, чтобы узнать, на уровне какого этажа они находятся. Но не увидел никаких цифр, только стрелочки из красных светодиодов, которые бесконечной чередой устремлялись вверх. И вдруг он обнаружил: небо было цвета морской волны. Александру Ферману казалось, будто он едет в лифте, но не приедет никогда. Он услышал, как кто-то сказал: «Не выходить». Тогда как другой голос в нем кричал: «Я уже тут, я уже тут».

Пауль Целан

Расшифровывая мир

С немецкого. Перевод Владимира Летучего

* * *

НАДЛОМЛЕННЫЙ ГОД,
с заплесневелой горбушкой
хлеб безумья.

Пей
из моих уст.

* * *

БРОСИШЬ ли надписанный
якорный камень?

Меня-то ничто здесь не держит:

ни ночь живущих вокруг,
ни ночь неукрощенных мук,
ни ночь тех, кто многорук.

Приди, отвали вместе со мной этот камень
от двери Непобедимого Крова.

* * *

УШЕДШИЙ В НОЧЬ, пособляющую
процедить звезду через лист
вместо губ:

остается
еще кое-что безрассудно растратить –
как растрачивают деревья.

Летучий Владимир Матвеевич (р.1943) — переводчик немецкой поэзии и прозы, среди наиболее значимых переводов — стихи и проза Р.М. Рильке, отмеченные премией Австрийской республики для переводчиков, а также полное собрание сочинений Г. Тракля, стихи С. Георге, П. Целана и многих других немецких и австрийских авторов. Живет в Москве.

* * *

ТО, что нас
бросило друг к другу, со-единив,
теперь заставляет распасться,

Одинокий камешек мира, все дальше от солнца,
плачет, стихая.

* * *

В ВЫСШЕЙ точке времени,
расшифровывая мир,

зависает чайка;
мел формируется,

со льда, снизу,
кивает некто
с самым опасным из всех
именем.

* * *

МЫ, КАК ХРАНИТЕЛИ морского песка,
в Неве-Авивим;

не целованный
камень плача,
шелестел в ветре,
прежде чем стать собой,

он ощущался на наших губах,
он кочевал
вместе с нами,

нам передалась
его белизна,

мы передаем себя дальше:
и тебя, и меня;

ночь, да будь осторожна,
ведома песком,
бережней уноси
нас вдвоем.

* * *

КОЛЬЦО, в напряженье дуги,
бросает тебя со скворцами
вслед стайке слов,
оставившей этот мир;

стреловидная, если ты прилетишь со свистом
ко мне,
я узнаю, откуда,

я забыл, откуда.

* * *

НЕ ВПИСЫВАЙ СЕБЯ
между мирами,

верь следу слезы
и обучайся жить.

* * *

ПЕРЕМЕНА МЕСТОПРЕБЫВАНЬЯ:
иди к себе, сомкнись с собой
в пропавшем без вести
земном свете,

я слышал, мы были
лозами неба,
что и остается доказать,
спускаясь сверху
вниз, к нашим корням,

два солнца имеется, ты слышишь,
два,
не одно –
ведь так?

* * *

ПЕРЕД МОИМ,
с отсветом погоды, коленом
замирает рука,
коей ты
проводишь по своим глазам,

звон
обретает уверенность
в круге, которым я обвел
нас двоих.

Впрочем, иногда
небо умирает
раньше наших
осколков.

Дмитрий Сучков

Цугцванг

Рассказка

«В Германии будет свернута рекламная кампания, слоганом которой была фраза «Jedem das Seine» («Каждому свое»), — причиной для этого стали многочисленные жалобы на «оскорбительный» характер кампании.

Щиты с надписью «Jedem das Seine» были размещены на 700 автозаправочных станциях. Это была совместная акция компании Tchibo, предлагавшей посетителям заправочной станции выпить кофе, и производителей бензина Esso. Авторы концепции рекламной кампании не знали, что эта фраза была написана на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд, а кто-то вдобавок посчитал, что она «может восприниматься в Германии как призыв к массовым убийствам».

Представители Tchibo уже принесли извинения всем, чьи чувства оскорбила рекламная кампания, и пообещали убрать все щиты как можно скорее.

Ранее этот слоган использовали в своих акциях в Германии Nokia, Rewe, Microsoft и McDonalds. Каждый подобный случай вызывал критику в адрес компаний».

В уголовную полицию Альфред Хендке пришел из армии. На его глазах разваливали берлинскую стену, но это его особо не впечатлило. Развалили и развалили, чего уж теперь, рыдать от счастья, что ли. А ведь люди рыдали. И плясали, и целовались. Целовались со всеми подряд. В смысле друг с дружкой. И выпивали. Прямо на улице. И тоже с кем попало. Несколько раз предлагали и ему. Он показывал на автомат, на погоны, и виновато, но твердо отказывался. На него смотрели с недоумением. Потом пристала какая-то журналистка, просила повернуться так, эдак, фотографировала. Он попозировал ей как мог, но когда она потянула за автомат, взял ее за руку, за худенькую такую лапку, и отвел лапку в сторону. Так она и осталась стоять, с поднятой рукой. Получилось, что она держит ее в фашистском приветствии. Альфред рассмеялся и показал ей средний палец. Он видел, так в американском кино посылают на хер. Журналистка повесила фотоаппарат на шею и показала ему в ответ два пальца с обеих рук.

— Ты псих! — крикнула она по-английски. Альфред понял ее, он учил английский в школе.

— Каждому свое! — крикнул он в ответ по-немецки. — Йедем дас зайне.

Журналистка наклонила голову, как ворона, задумалась. Вспоминай, вспоминай, умница. Нам, немцам, не надо вспоминать, что это за волшебные слова. Он повернулся и пошел в казармы. Пришел, и там митингуют. Какие-то важные дядьки из бундесрата. Орут, аж очки запотели, флагами машут. А в столовой хоть шаром покати. И вечером всех отпустили по домам на три дня. Да все бы и так разбрелись,

---

Дмитрий Борисович Сучков родился в 1959 г. в городе Грозном. Учился на филологическом факультете Грозненского университета. Служил в Советской армии. В 1986 г. поступил в Литературный институт им. Горького. С 1997 г. по 2010 г. вел авторскую литературную программу «Соглядатай» на радио «София». В 2004 г. в издательстве «Парад» вышел его роман «Shit & меч». Печатается в «толстых» литературных журналах.

Рассказы из книги «Грозненские рассказки» можно прочитать в Интернете на сайте АПН: http://www.apn.ru/authors/author643.htm. Последняя публикация в «ДН» — «Палатошные рассказки», № 11, 2007. Живет в Москве.

бардак царил жуткий в городе. Он пришел домой, никого не было. Зато холодильник был забит пивом. Альфред выпил пива и завалился спать. Опрометчивый поступок, после пива спать. Обязательно приснится какая-нибудь чепуха. Летающие голые девки, камень в пропасть из-под ноги, визг покрышек за спиной. Чепуха и чепуха, а страшно. Просыпаешься оттого, что орешь как резаный. И в сортир мчишься на полусогнутых. А все пиво!

Когда он вернулся через три дня в часть, оказалось, что теперь он живет в новой стране. В новой так в новой, кто б спорил. Но из благоприобретений от объединения Альфреду досталось только одна радость, он познакомился со своим дедом. Дед оказался здоровский старикан. Он и надоумил Альфреда пойти в полицию.

Поскольку инспектор Хендке был мужчина обстоятельный, то снов он принципиально пытался не смотреть. Но они, подлые, таки пытались ему присниться. Может, чтобы спасаться от них, он послушался деда и пошел служить в уголовку. По такой службе особо не разоспишься. За день надергаешься так, что потом и не вспомнишь, как ботинки в прихожей снимал. Если хватило сил это сделать. А если уставалось не особо, Альфред шел махнуть рюмку-две в забегаловку у трамвайного круга. Там работал его знакомец еще со школьных времен, хохотун Хупперт. Зануда при этом еще тот. Гундит, гундит, потом зальется как соловей. И опять гундит. На радио похоже, о! Только без сигналов точного времени.

Но сегодня ко всяким глупостям добавилась уж совсем наиглупейшая. Приехал какой-то кекс из Берлина и объявил, что будет проводиться учебная тревога. Но не чего-то там тревога, а тревога компьютерная. А кто курсы еще не закончил и в компьтерах ни бум-бум, и полный чайник, тот пускай себе валит домой. Если понадобиться, у всех есть рация. Да и просто мобильная связь. Ни бум-бум оказалось всего трое чайников на весь отдел. Пришлось тащиться к Хупу в забегаловку. Поскольку в дому родном убиралась фрау из фирмы бытовых услуг «Свободные руки».

В подвальчике было тихо, пролетарский народ еще работал, а забулдыги еще не проспались со вчерашнего. Посетителей было двое, пенсионеры из этого же дома. Похрюкивая погасшими трубками, старички сосредоточенно решали бесконечную и безнадежную шахматную задачу из затрепанного журнала. Фигуры на доске стояли как вкопанные.

— Мое почтение, уважаемые! — Инспектор помахал старичкам рукой. — Я посмотрел ответ в следующем номере, подсказать?

Это была дежурная шутка. Старички вежливо изобразили в ответ улыбки и зашуршали спичками.

Хендке подошел к стойке и с удовольствием огляделся. Да, все было точно так же и тогда, когда он пришел сюда в первый раз. Только старина Хуп был помоложе, не такой пузатый и не такой лысый. Зато девушка за его спиной не постарела ни на йоту. Все тот же синий муаровый воротник, шикарная люстра за спиной, непонятные красные фрукты в вазе по правую руку, золотые тюрбанчики шампанских бутылок. А может, это никакие и не фрукты? На помидоры похоже. «Фоли-Бержер», — в который раз инспектор попробовал про себя волнительные слова на вкус. Сладко. Надо бы доехать, в конце концов до этого Парижу. Хотя и понятно, что выйдет из такого вояжа. Выйдет, как всегда, разочарование. И девица эта давно померла. Найти могилку? Сыщик он или кто. Да и не сложно, наверное. Он вычитал в энциклопедии, что девушка эта, Сюзан, стала потом любовницей первого биографа этого парня, художника. Вот только парень этот к моменту запечатления красотки Сюзен был уже дряхлым старичком. Интересно, волновала ли она его как женщина? Скорей всего, скорей всего. Французы, они такие, живчики.

Хупперт достал из-под прилавка две початые бутылки коньяка и поставил перед Альфредом.

— Подешевле, подороже?

— Ни то ни се! Свистни своему монтенегру, пускай сварганит омлет с колбасятиной. — Монтенегрой он называл, и совершенно справедливо, повара-черногорца. — Три яйца, три ложки сливок, и травы там всякой побольше.

— В ночь пойдешь в засаду? — Хупперт заулыбался. — Снова будешь албанцев в турецкой общаге гонять? Или курдов в русской? Вот только как ты их различаешь? По запаху?

— Давай, наливай. — Инспектор ткнул пальцем в пивной крантель. — Никаких засад. И никаких курдов. Компьютерная тревога у нас. Чуешь, чем пахнет?! — инспектор тяжко вздохнул.

— Снова надерут тебе задницу! За то, что ты враг прогресса. Ты же до сих пор

даже не знаешь, где в твоем телефоне список последних звонков. И время выставить не можешь. Ты ретроград, Альф!

— Да дело не во мне на этот раз. Дело в тебе! — Инспектор таинственно глянул по сторонам.

— Не понял.

— Американцы подарили нашему управлению такую штуку, которая автоматически снимает кассовые показания во всех торговых точках города. В магазинах, в прачечных, в кинотеатрах. Короче везде. Везде, где в помещении есть телефон. Ну, и касса, понятное дело.

Хупперт посмотрел на телефонный аппарат, висящий на стене между флагом футбольного клуба «Карл-Цейс» и здоровенными лосиными рогами, увы, пластмассовыми.

— И что с того?

— Все показания сводятся в компьютер и потом отправляются в налоговое управление. И если там твоя декларация не сходится с тем, что насчитал компьютер, получай повестку. А дальше... Дальше ты и без меня знаешь. Лучше и не думать. Чего ты ручонки-то вытираешь? Вспотели?

— Ничего не вспотели. И когда ж это заработает все?— Хупперт продолжал смотреть на телефон, но уже с прищуром.

— Сейчас испытания. Натаскают наших парней, что и как. Потом поправки надо внести в закон. Думаю, не раньше чем через полгода. Это в лучшем случае. Через год уж точно.

— Полгода, угу. Понятно. — Бармен посмотрел на телефон, как на таракана в чашке с кофе, вздохнул. — Но и без телефона нельзя. Многие заходят позвонить. А уж заодно и пивка, или рюмашку.

— Так тебе чего волноваться? Ты же все по-честному, нет? — Инспектор принял кружку, лизнул пенную шапку. — Ой-ой! А что это еще за румянец у нас проступает на честном лице? Какой-то болезненный румянец, Хуп.

Пытка неожиданно закончилась, поскольку хлопнула входная дверь и в кафе ввалилась Паулина, топая солдатскими ботинками.

Паулина работала стажером-секретарем в одном с Хендке отделе. Помимо этого, она училась на юриста, волонтерила в доме престарелых и в свободное время зажигала в качестве «фронтвумен» самой отвязной в Веймаре металлической команды, от одного названия которой Альфреду мерещился запах горелой резины и его начинало подташнивать. Группа называлась «Antiglobalipsis». Самое же важное в жизни инспектора Пау делала тайно, она скидывала в компьютер за Альфреда всю его, требующую электронного вида, служебную документацию. Хендке же, в порядке взаимовыручки и ответного дружеского жеста, раз в месяц ходил к обер-бургомистру Штефану Рольфу и клятвенно заверял его, что стажер Паулина Рольф со своими братьями по трэшу, траву не курит, колесами не закидывается и, более того, медленно, но верно, склоняет в католичество всех бусурман, приходящих каждую субботу поугорать на концерты в рок-клуб на Гросмуттерлайте. Он и сам туда приходил. И когда ему на глаза попадался очередной отморозок с гляделками, остекленевшими от дури, инспектор лично проводил с ним воспитательную беседу. Насколько она умещалась в рамки закона, не нам судить. Да и само это выражение «синий омлет» скорее похоже на грубую народную метафору, но никак не на диагноз из протокола медицинского освидетельствования. Да и до протокола надо еще доползти.

— Тебе надо пойти на компьютерные курсы, Альф. — Девушка достала из рюкзака морковку, редьку и яблоко. — Или у тебя скоро начнутся неприятности. Я даже знаю, когда. — Она выщелкнула лезвие из перочинного ножика и начала зачистку и нарезку вегетарианского боекомплекта.

— Когда? — Инспектор поддержал разговор автоматически, все его внимание было приковано к рукам Паулины. Его снова, в непонятно уже который раз, заворожил этот веер тонких взмахов и плавных отчерков. Казалось, что пальцев у нее не десять, а больше. Это как с той низенькой собачкой на прогулке, умилялся инспектор. Он даже нашел репродукцию этой картины, но имя художника не запомнил.

— Неприятности у тебя начнутся ровно через месяц. На следующий день после того, как я уеду в Мюнхен.

— Что ты там забыла? — заволновался Хендке.

— Семинар. Две недели. Вот тебе телефон. — Перед инспектором порхнула в воздухе и приземлилась на стойку визитная карточка. — Это моя приятельница. Она тебя знает. Позвонишь ей, она расскажет куда, когда и все прочее. Договорились?

— Угу. — Инспектор теперь смотрел на то, как Паулина ест. Как двигаются ее губы, щеки, как проступают на виске и исчезают ниточки вен.

Вот съедена долька яблока, следом кружок редьки. За ним длинный морковный лепесток.

Насколько же я ее старше, задумался он, быстро посчитал и не стал расстраиваться. Смешно расстраиваться, если каждый раз цифра у тебя получается одна и та же. А еще смешней расстраиваться после того, как ты уже три раза видел ее с этим сутулым парнем с серьгой в губе. Дурацкие бакенбарды какие-то. Забиваюсь на ящик пива, что он их подвивает щипцами! Серьга, кстати, тоже дурацкая.

Вот только она, видимо, думает по-другому.

— Так ты обещаешь мне, да?

Ее голос на выдохе щекочет ему шею. Даже сидя рядом, за стойкой, она все равно на голову ниже его.

Обещаю? Что я должен пообещать? Ах да, чертовы компьютерные курсы. Стрелочки, кнопочки, шаг первый, шаг сто первый.

— Заметано. Ты права, надо. Сегодня же позвоню. — «Часиков в семь позвоню, а потом как врежу... чего-нибудь наотмашь успокоительного. И выключу на хрен все телефоны, пускай потом начальство обделается до скрежета зубовного. И до закуривания сигареты с фильтра». — Давно хотел тебя спросить. Но это личное, учти.

— Ты про это? — Паулина провела обеими руками по бритой голове. — Не смущайся. Рано или поздно все про это спрашивают.

— И что ты всем отвечаешь?

— Сделай, как я.

— В смысле?

— Обеими ладонями ото лба. Медленно. Вот так. Давай, и все поймешь!

И Паулина сунула инспектору под нос свой бритый затылок.

Обалдевший инспектор Хендке, взрослый баварский мужчина, рост 183, вес 90 кг, уложивший как-то на асфальт за полторы минуты четверых сутенеров одной с ним комплекции, в общем, вполне себе крутой и конкретный парень, с изумлением обнаружил, что у него дрожат руки и что неплохо бы их вытереть бумажным полотенцем. Ведь гладить девушку по голове потными руками не принято. Не гигиенично. А уж про хорошие манеры и говорить не приходится.

Поэтому Альфред продышался на раз-два-три, вытер руки салфеткой и сделал это.

— Классно? — спросила Паулина.

— Угу! — промычал в ответ Альфред.

— А мне по кайфу втрое больше твоего, прикинь. Такая вот песня. И с перхотью не морочишься. Альф, ты чего, заснул? Или заторчал?

— Заторчал, — честно ответил инспектор. — Поэтому пойду вздремну.

Заметим, что когда инспектор встречал Паулину без формы, а в сценическом наряде, а такое случалось несколько раз, первым его желанием, однозначно подсознательным, было дернуть наручники с ремня, приплющить бритоголовую к стенке, двумя щелчками стальных носков неуставных «катерпиллеров» раздвинуть ноги в леггинсах с флюорисцирующими черепами, глодающими друг друга и ... И что? Зачитать права? Проверить документы?

Вот так и нарвешься на нервный срыв прямо на службе.

Из всех этих буйств своей подкорки инспектор сделал строгий вывод. Если в здравом уме бродят такие непристойные мыслишки, то что же может разыграться во сне. Нет, отказываемся мы сны смотреть вообще. Эдак досмотришься и до порнушки. И доказывай потом самому себе, что ты ни при чем.

Поэтому каждый раз, увидев во сне, что сон его накрывает и предполагает вовлечь его в некую сомнительную историю, Хендке просыпался и брел на кухню. Там он мутил коктейль из настойки корня валерьянки и дикого лавра, выпивал его, запивал это дело стаканом горячего шоколада и, будь здоров, не кашляй. Спи себе дальше, никто в твою чумную голову уже не постучится.

Кроме будильника. Его-то инспектор нынче и выключил, когда вернулся домой. Инспектору хотелось выспаться. В субботу ожидался футбольный матч. А это значит, что пара-тройка его подопечных, из числа горячих арийских парней приложат толику усилий и в отдельно взятых пивных недосчитаются в целости кружек, стульев и зубов. Или чего похуже.

Умудрился же без двух минут пенсионер, отец троих детей, уважаемый сантехник Клаус Зугге разнести вставной челюстью витрину в ресторане «Орешник». Подавал, говорит, угловой. С правого фланга. Бедная, бедная фрау Зугге! Что она скажет

бедным деткам?! Где рождественские подарки?! Почему папа Клаус все время молчит, как Мадонна в церкви Святого Якоба? И спит, страшно подумать, на кухне, на канапе.

Да, футбол штука диковатая. И что делать инспектору Хендке? Правильно, повысить бдительность. Как? Да выспаться просто. По че-ло-ве-чес-ки! Вырубаем будильник на фиг!

И инспектору конечно же незамедлительно приснилась Паулина. Хорошо, хоть одетая. Пусть и в трико для занятий аэробикой. И нижнее белье, тьфу ты, опять двадцать пять, под трико не наблюдалось. А что наблюдалось, понятно.

Делать нечего, инспектор, иди на кухню, сдавайся, подумал он себе во сне. Надо стряпать дурман-коктейль, иначе беда. Но Альфред решил не спешить и еще самую малость поглядеть, что Паулина будет делать. Но не аэробикой же заниматься, в самом деле! И он угадал, до аэробики дело не дошло. Паулина достала из-за спины тонкий кожаный хлыстик и подмигнула. Вульгарно подмигнула, инспектора даже передернуло, вот они, хэви-металлические повадки, эх-эх! А дальше — больше, взмахнула хлыстиком и по сапогу себя — хлоп! И по другому — хлоп! И опять по первому — шлеп!

Так спать нельзя, строго сказал себе инспектор Хендке и открыл глаза. У постели на полу сидел Деблин и бил хвостом по паркету.

Между ушами Деблина вспыхивал зеленый огонек. Инспектор сообразил, что это автоответчик телефона сообщал с журнального столика, что его кто-то достал. И достал по полной программе. Если кто-то звонил пять раз подряд, умная машинка включала функцию «форс-мажор» и включалась мигалка. А после десяти повторных звонков автоответчик начинал и разговаривать.

— Деблин, выключи эту штуку, я уже встаю. И не стучи своим шерстяным поленом по паркету.

Альфред посмотрел на часы. Спросонья зеленые цифирки плавали в глазах, дрожали и сливались.

Деблин тоже посмотрел на будильник и гавкнул два раза.

Инспектор усмехнулся:

— Два часа, говоришь. Допустим. А минут сколько? Молчишь, то-то. Нечего умничать.

Зеленый огонек снова замигал. Хендке взял трубку.

— Ты чего не подходишь?

— А вы уже звонили, герр обер-бургомистр?

— В прошлый раз ты упрямо врал, что заснул в ванной с включенным плеером. Сегодня хотелось бы услышать что-нибудь позаковыристее. Или подостовернее.

Инспектор сладко зевнул и промычал:

— Газон подстригал. Такой ответ подходит?

— Подснежники пробились? Или у тебя газон с подогревом?

— И то и другое.

— Опять нестыковка. Соседи-то твои тревогу не поднимали. Ночь, зима, ревущая газонокосилка.

— У меня газонокосилка с глушителем.

— Ладно, хватит глупости болтать. Бери Деблина в охапку и дуй к новой бензоколонке по дороге на Бланкенхайн. Все уже там. Да не слишком спеши, гололед.

Обер-бургомистр Штефан Рольф знал инспектора, если так можно выразиться, с нулевого цикла. Его дочка и мать Альфреда подружились в «Школе будущих матерей». Да так закадычно подружились, что родили своих мальчиков в один день и выписались из больницы вместе. Так что трехдневного возраста Хендке-младший приехал в отчий дом на машине обер-бургомистра. Такой неслабый ход. Думаете, зазнался с ходу? Ничего такого. Дрых всю дорогу, даже не пискнул. Но шутки шутить с Альфом герр Рольф по жизни не позволял. Субординация. По телефону, да, пожалуйста. А на людях не моги. Такие уж немцы незыблимо завернутые по разным осям координат. С одной стороны, всей страной могут орать «Ура» какой-нибудь отмороженной сволочи на трибуне, а с другой стороны, стесняются ткнуть от избытка нежности при людях кулаком под ребра своего почитай что внука. Или дать ему дружественного подзатыльника. А как хочется иной раз! Вон он какой уже великовозрастный! И службист отменный. Того и гляди, в столицу заберут.

Альфред и Деблин ехали не спеша. Хотя обещанного гололеда и не наблюдалось. Другая беда, зайцы. Мало им того, что переоделись в свои зимние маскхалаты и в упор их не разглядишь, так еще и свечками из кювета, фить, выпуливаются. И чуть ли не в лобовое стекло.

Спрашивается, чего не спим по ночам? Волки давно перевелись, только филины да совы остались. Так они не вами, ушастыми, мышами заведуют.

Деблин сидел рядом с инспектором и зорко всматривался в две полосы света от фар, бегущих под колеса. Тоже зайцев караулит, охотничек!

Возле заправки стояли две патрульные машины, одна из Йены. Значит, дело серьезное. «Скорая помощь» за ними, одна штука. О чем это нам говорит, уважаемый Деблин? О том, что пострадавший, или пострадавшая, имеются в единственном лице.

Альфред не стал парковаться рядом с коллегами, а вырулил в сторону, под окна пристройки кафе-магазина. Он поставил машину так, чтобы можно было легко выехать на любую из трех дорог, ведущих от заправки.

Одна дорога вела восвояси, оттуда они только что с Деблиным приехали. На нее бы хотелось, чем быстрее, тем лучше. Вторая вела на Йену. Делать там нечего, своих инспекторов там хватает. По третьей дороге Хендке никогда не ездил. Поскольку вела она в никуда. И ездили по ней исключительно любители проверять на прочность свои внедорожники. Чтобы, пробарахтавшись по колдобинам пару часов, убедиться что карты не врут и дорога заканчивается у полотна узкоколейки. Когда-то там была площадка под погрузку леса. Другим концом узкоколейка упиралась в лесопилку. До войны лесопилка жила честной лесопильной жизнью. Однако почти сразу после мая 1949-го весь лесной массив был прирезан к заповеднику. И жизнью там стали заведовать кабаны с барундуками.

Инспектор достал из бардачка меховые руковицы.

— А ты, уважаемый, сторожишь машину, пока. И не включай, пожалуйста, радио. Как в прошлый раз, — сказал он собаке.

Деблин откашлялся и оскорбленно отвернулся.

На парковочной площадке за заправкой болтались на ветру ленты «ахтунг-стоп», прихваченные наспех к фарам и бамперам полицейских машин. Прожектор со «скорой» освещал небольшой пятачок, где вокруг кучи грязного тряпья, так показалось инспектору, суетились люди в белых халатах и Йоффе, окружной инспектор. Прочие стояли ближе к лесу, около «Гелендвагена» обер-бургомистра. Судя по клочьям пара, взлетавшим из-под капюшонов, служивый народ согревался чайком-кофейком.

Альфред обошел по дуге кучу тряпья. Вернее то, что могло показаться несведущему человеку тряпьем. Разглядел он и цепочку следов, которые шли от леса к этой куче, где и заканчивались. Значит, кто-то шел себе, шел, и вот пришел. Или пришла. Инспектор не любил иметь дело с покойниками. Но приходилось. Пусть и не часто. Покойников все не любят, если это не свои, родные покойники. Хендке же не просто испытывал неловкость, брезгливость, страх или что-нибудь такое. Он не любил их по сугубо личным мотивам. Начиная думать про то, что вот это мертвое, холодное тело недавно, совсем как он и прочие люди, дышало, ходило, говорило, он следом начинал представлять себе и других покойников. Тысячи, десятки тысяч. Первый раз в Бухенвальд отец возил его еще до школы. Тогда он в первый раз увидел то, что называют «оловянные» глаза. Или «свинцовые»? Такие были у отца, когда он его водил по лагерю.

— А Баскервиль твой где? — Обер-бургомистр налил из термоса кофе и протянул Альфреду.

— В машине сидит, медитирует. Чего будем искать? Или уже нашли? — Инспектор кивнул головой в направлении кучи тряпья и глотнул кофе. Небо щекотнул акварельный мазок корицы и столовая ложка джина. Ну, ясное небо, розовый закат, в кофе заряжен джин. И я даю зуб на холодец, что это «Лондон Хилл». Вот на таких рубежах и не работает патриотизм. Джин мы пользуем английский, сигареты курим английские, французские или турецкие. Все остальное уже китайское. Теперь осталась плановая реплика. С чего он взял, что я люблю кофе без сахара?!

— Без сахара. Как ты любишь. — Обер-бургомистр тоже глотнул кофе, и на стеклах его очков снизу проступили два туманных полумесяца. — Искать будем берлогу. — Он повел подбородком в сторону кучи тряпья. — А там у нас покойник. Который из этой берлоги выполз. Старичок. Совсем старый старичок. Который отправился в гости к Богу сегодня ночью. Выполз из берлоги, прогулялся по лесу, подошел к заправке и помер.

— Грибник, что ли?! Хотя зима.

— Да нет, это было бы скучно и никому не интересно. Кроме его родных. А наш дедушка одет в лагерную робу.

— Сбежавший из тюрьмы?! Он что, к нам из Румынии пришел?

— Сомневаюсь. Весь абсурд этой ситуации в том, что лагерные лохмотья, в которые он одет, вышли из моды в 1945 году. А на руке у него номер, татуировка.

— Я не совсем понимаю. То есть я совсем не понимаю. Так что произошло?

— А что тут действительно произошло? — Обер-бургомистр обратился к подошедшему Йоффе. — Вы же что-то написали в вашем протоколе. Огласите, будьте любезны.

Окружной инспектор вынул из планшета несколько листков, включил фонарик и, водя столбиком света по бумагам, начал читать.

— Я, автомеханик Дитрих Плитц, могу сообщить следующее. Около 12 часов полуночи я вышел посмотреть, не забыл ли закрыть щитовую. То есть дверь в нее. Потому что снег сильно пошел. Туда нападает снега, мало ли что. И смотрю, на меня от леса идет человеческая фигура. Шаг сделает и остановится. Медленно идет. Тут реклама, которая на крыше, она загорелась ярко. Ее нам позавчера поставили. Она так и должна загораться, сначала не горит, потом потихоньку начинает светиться, а потом сразу ярко. И реклама этого человека осветила. И я увидел его ясно, потому что он стоял прямо в отсвете от букв. Там сильные галогеновые трубки. Он света испугался и закрыл лицо руками. Потом посмотрел сквозь пальцы. Он растопырил пальцы и посмотрел. Тогда он тут же закричал. Но голос его был тихий. Если бы днем, я бы его не расслышал. Но потому что ночь и тихо, я его расслышал. Как он закричал. Хотя он сделал это очень тихо. Слова были его вот такие. Я запомнил их, потому что он их повторил. И потом еще раз повторил. Он кричал так.

— Кто вовремя не приходит, получает то, что остается — Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der bekommt, was ubrigbleibt.

Вот эту поговорку он и крикнул. Потом он хотел перекреститься. Это я так подумал, потому что обычно люди так поднимают и так делают пальцы, когда хотят перекреститься. Но он только так сделал руку, но не перекрестился. Так он ее держал, и она сильно дрожала. Потом он упал. Я подбежал к нему и проверил пульс на шее. Так нас учили делать на курсах первой помощи. Пульса я у него на шее не нашел. Тогда я послушал у него его сердце. И сердца его я тоже не услыхал. И он был уже совсем холодный. Я подумал, что он, наверное, замерз сильно уже давно, а тут и совсем умер от переохлаждения. Ведь температура была минус десять ниже нуля. Согласно инструкции, я вернулся в служебное помещение и позвонил в полицию и диспетчеру. О чем они и зарегистрировали мои доклады. Это делается автоматически на том телефоне, куда звонишь. До приезда окружного инспектора Йоффе я из служебного помещения не выходил. На бензоколонке в этот промежуток времени до ноль-ноль часов пятьдесят минут никто не приезжал и не приходил. Подпись. Все!

— А вот и старина Деблин! Принес нам фонарик, молодец! — Обер-бургомистр захлопал в ладоши.

Хендке обернулся. Пес сидел за его спиной в нескольких шагах и смотрел в небо. В зубах Деблин действительно держал фонарик.

Альфред допил кофе одним глотком, положил пустой стаканчик в карман и стал раскачиваться с пятки на носок. В брошюре «1000 и один способ остаться невозмутимым», которую какой-то вредитель забросил ему в почтовый ящик, говорилось, что так надо делать, когда очень хочется чем-нибудь запустить в ребенка или животное. Деблин подходил под обе категории. Если раскачиваться больше пяти минут и представлять тихий морской прибой в рассветный час, то «реактивная перцепция задней доли левого полушария растормаживается». И ты спокойно принимаешь любой удар судьбы, вплоть до термоядерного. И ничем ни в кого не бросаешься.

— Это наглая Божья тварь, — пояснил инспектор. — Разблокировала замок дверей в машине. Небольшая такая кнопочка.

— А потом открыла бардачок и достала оттуда фонарик. Проверила батарейки в нем. Ну и так далее. — Йоффе ухмыльнулся.

— Фонарь лежал на заднем сиденье. Я забыл его взять. Но хотел.

— Достаточно, господа! Веселиться будем после работы. — Обер-бургомистр сполз с сиденья и затопал сапогами. Замерзли ноги, кофе с наполнителем до них не достает. — За работу! Рассвета ждать смысла нет, света от него прибавится немного. Давай, Альфред, руководи своим вундеркиндом. Хотя и без него следы видны, как в учебнике. Если старик прошел сюда по лесу ночью, один и без фонаря, то вы уж худобедно пройдете по его маршруту, в обратную сторону. Йоффе! Давайте-ка посмотрим по твоему волшебному ящику, что у нас здесь вокруг да около.

Окружной инспектор принес ноутбук, пристроил его на капоте.

— Аэрофотосъемку? Или натовские из космоса? Спутниковые обновляются раз в неделю. — Он потыкал кнопки, по экрану побежали картинки.

— А разница есть? — полюбопытствовал Хендке.

— Особой нет.

— У меня карты с собой, километровки, — подал голос егерь. — Старенькие, правда.

— Тоже хорошо. Все пригодится! — Обер-бургомистр протер очки и посвистел носом, проверяя на насморк. — Ну что там твоя техника?

— Вот так. Сейчас укрупняем. Все, вот в таком приблизительно виде. Мы с вами вот здесь.

— Все? Крупней не будет?

— Нет, с этой машинки не будет. Слабосильная она. Эта загогулина, дорога к узкоколейке. — Инспектор повел пальцем по экрану. — Вот это лесопилка. Она там встроена прямо в склон, уже развалилась, поди. Это просеки, с другой стороны холма. Там еще до войны чего-то бурили. Сланец искали, что ли, или глинозем какой-то. Но ничего, я так понимаю, не нашли. Вот здесь, это километрах в десяти, ближайшая дорога.

— И откуда мог прибрести наш великовозрастный покойник?

— Вот ближайшие селения. Но если бы оттуда кто-нибудь ушел ночью в лес, мы бы уже об этом знали. Да и не дойти оттуда старику, далеко. Домов престарелых и хосписов поблизости нет.

— Значит, он свалился с неба?! Он мог на чем-нибудь доехать, а потом пойти пешком.

— Тогда мы найдем его автомобиль. Или то место, где его высадили. Вот только о дедушке в таком маскарадном костюме нам бы сообщили. Кто бы его ни встретил.

Деблин подошел к Йоффе, обнюхал его ботинки, поднял морду и громко, с оттяжкой зевнул. Все засмеялись.

— Намек понял, не дурак. Сейчас начальство даст команду и вперед.

— Вы останетесь здесь, Йоффе. По следам пойдут инспектор Хендке с многоуважаемым Деблиным и Гюнтер. Он здесь хозяин все-таки. — Обер-бургомистр кивнул егерю. — Но перед походом, господа, все в кафетерий. Надо перекусить, я там распорядился. Неизвестно, сколько вам блукать придется по лесам. Там же и термосы с кофе. Йоффе, вы поедете с медиками в больницу, оформите там все как положено. А я здесь побуду, газетчиков встречать. Это воронье скоро налетит. Альфред, прихватите рацию. Мало ли что там с мобильной связью, в этих трущобах.

— Чащобах. — поправил градоначальника Хендке.

— Хрен редьки не слаще, — отмахнулся обер-бургомистр.

Следы свалившегося с неба старичка привели Хендке и егеря прямехонько к заброшенной лесопилке. Где обнаружилась первая неожиданная находка, а именно вполне себе рабочая и обихоженная циркулярная бензопила.

— Музейный экспонат. В идеальном состоянии. Тэк-с, и заводской номер имеется. Машинный завод Андреаса Штиля, 1935 год. Неужели рабочие оставили здесь этот агрегат, когда уходили? Чтобы наш труженик инструмент бросил, не поверю. Веришь ты в такую пролетерскую халатность, а, Гюнтер? — Альфред похлопал бензопилу по стальному боку.

— Похоже, кто-то запасался в моем заповеднике дровишками, — хмыкнул егерь в ответ. — Запасаться-то запасался, но из леса эти дровишки так никуда и не вывезли. А то б я знал. Да и дороги отсюда нет. Только по узкоколейке. Так она заросла напрочь.

— А ты вон в том сарае посмотри. Какой-то он не совсем заброшенный по виду.

Егерь дошел до бревенчатого сарая, пнул дверь. Та послушно открылась внутрь.

— Точно. Не так чтобы много, но есть. Под истопку напилены. Кубометра три здесь. Но было еще сколько-то, весь пол в опилках.

— Смотрим дальше. — Инспектор вошел в бытовку, где уже фыркал по углам Деблин. — Слышь, Гюнтер, похоже что наш старичок, а больше некому, здесь бывал частенько. И чайком тут баловался. С сухариками. И тушенкой. Когда запасался дровишками. Значит, где-то рядом и оно.

— Оно, что?

— Логово его. Или берлога, как выражается герр Рольф. А здесь и полотенце есть. И мыла кусочек. И обувка. Военного образца. Фасон заповедный, такие в армии уже не носят. Много-много лет. Такие нынче можно увидеть только в кино. В документальном кино. У мадам Рифф ен шталь.

— Кто такая? — Егерь зашел в бытовку и огляделся.

— Была такая тетенька, за кино отвечала в Третьем рейхе. Под руководством небезызвестного говорливого психопата. По фамилии Геббельс. Не к ночи будь помянут.

— Опа! Еще привет из прошлого. — Егерь помахал в воздухе ржавым бидоном. — Вот и топливо для пилы. Запасливый был товарищ, наш старичок. Керосин! Ке-ро-син! Когда ты вдыхал в последний раз этот волшебный запах, Альфред?

Инспектор старательно завспоминал. Действительно, когда? И вспомнил.

Тогда он приехал к деду на рождественские каникулы на дачу. То ли пятый класс, то ли шестой. Все было как и всегда: лыжи, санки, штрудель, по телеку чемпионат мира по хоккею, наши рубятся с нашими, но медали у эсесерщиков, чехов и шведов. Все это было так привычно и так предсказуемо, что мальчик Альфи закручинился, затомился и начал уже подумывать наплести деду чего-нибудь несусветного про телефонный звонок мамы безнадежно больного одноклассника и смыться. Засыпая в необъятном дедовском кабинетном кресле после двух тарелок «хоппель-поппеля» он соорудил в дремотной голове сложное вранье с чудовищными подробностями.

Ему уже привиделся худенький, болезненного облика Карл, его сосед по парте. Обложенный грелками, горчичниками, компрессами и страшными гильзами шприцев, лежащий на операционном столе. Альфред с ужасом увидел, как подкатываются глаза Карла и как по горлу его пробегает судорога. Надо было срочно закричать, и Альф уже собирался это сделать. А делать он это умел. Да так, что у окружающих закладывало уши. Ненадолго, минуты на полторы-две. Вполне достаточно, чтобы быть услышанным.

Вот и сейчас, связки его напряглись, он повел во сне головой, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. Но тут во сне, где загибался ни в чем неповинный Карл, стал растекаться сладкой и приторной волной неизвестный запах. Боже праведный, да это он помер, это ж от него пованивает, обалдел юный другомучитель. Альфред разрыдался и стал отбрасывать от умирающего явно бесполезные уже шприцы и грелки. И пальцами, тихонечко так, попытался приладить зрачки умершего на место. Куда там! Пальцы скользили по глазным яблокам, те пружинили, выскальзывали и вновь ныряли под веки. Альф понял, что от ужаса он сейчас просто напрудит в штаны. Зато все исчезнет, проверено. И Карл будет жив навеки. А штаны постираются, не беда.

Голос деда опустился прямо сквозь мучительно сладкую вонь. Тэц-тэц-тэц, строго зацыкал сквозь зубы дед, не вопить, не орать, мой маленький ландскнехт. Твердый и прокуренный дедов палец постучал Альфреду по лбу.

— Это снег. Снег во всем виноват, — сказал дед.

Что он говорит? При чем тут снег?! Как снег может быть виноват в том, что Карл в его преступном, дурацком сне оказался втянутым в жуткое вранье, после чего взял да и помер.

— Снег свалил старую ель. И прямо на провода. Будем теперь до завтра без света. Это в лучшем случае. Понятно? — Дед уже не стучал пальцем по лбу, а шуршал и брякал чем-то на полке над кроватью. — Сейчас зажгу лампу, и пойдем посмотрим, что там творится. Пойдешь со мной?

— А чем так пахнет, а, деда? Даже воняет. У меня сладкие слюни во рту от этого. — Чиркнула спичка и Альфред открыл глаза.

— Это керосин! — Дед повел ладонью по желтому прозрачному кувшинчику в железном горшочке с дырочками. Горшочек был вставлен в разлапистую треногу. — Ке-ро-син! — восхищенно повторил он по слогам. — У меня в подвале запасец. Стратегический. Вот и пригодился. Вставай, пойдем на улицу. Там такой снегопадище, загляденье! И жуть!

— Ты чего, Альф! Эй, очнись, начальник! Не спать!

Лесник помахал рукой перед лицом Хендке. Деблину это не понравилось, и пес показал леснику клыки. И предупреждающе рыкнул.

— Да я и не сплю! — отмахнулся инспектор. — Вспомнил просто, про керосин.

— Выпил, что ли, когда по ошибке?

— Ага. Две канистры. С колой и чипсами. Пошли, посмотрим, собака, что там у нас.

Деблин, как и положено честному служаке, поставил хвост пистолетом и озабоченно зафыркал у хозяина под ногами.

— Керосином наш дедуля циркулярку заправлял. Если, конечно, это он здесь хозяйничал. А бидончик у него еще тот. — Гюнтер посветил фонариком на облупленный жестяной бок фляги. — Свастика, орел, знакомые все лица. Бидон тоже из Третьего рейха. И все прочее здесь тоже из того же музея, похоже. О, я даже стихами заговорил! — Егерь усмехнулся. И в усмешке этой слышалась плохо скрываемая досада. Ну не любит современный добропорядочный немец оглядываться туда, в эту черную пропасть. Всегда готов, но не любит. Совесть тоже отдыха требует.

— Дикая история. — Хендке достал рацию. — Я на связи, господин Рольф. Докладываю! На старой лесопилке нами обнаружены предметы, оставшиеся с войны. Нет, ничего опасного. Во всяком случае, пока. Покойник здесь дрова пилил. А для чего человеку дрова нужны?! Пойдем дальше по следам, тропа тут. Снегом присыпано, да. Есть, выступаем. До связи!

Рация запищала, отключаясь. Деблин гавкнул на нее, из леса ему откликнулось стылое эхо.

— Ну что, Гюнтер, по кофейку, перекурим и вперед, на мины.

Тропа закончилась у подножия большого холма. И закончилась ничем. Вот просто уперлась в изножье холма и привет, тупик. Вилась себе, вилась, аккуратная такая и скончалась. И Деблин встал. Обернулся на инспектора, встряхнул головой и сел. Потом зевнул и глаза прикрыл. Дескать, работу свою закончил. Все, что требовалось отследить, отслежено, и притомился я в этом качестве. Буду перерыв перерывничать. Вы вон к кофе прикладываетесь то и дело, а я, кроме снега, никакой закуски не имею. Что с вашей стороны, господа, свинство как таковое, вот. А то я не знаю, что у обоих галеты в сумках. А у егеря еще и два бутерброда с сыром и сосиской.

— Это надо так тебя понимать, Деблин, что мы пришли?! Ты это хочешь сказать? — Инспектор был озадачен таким поворотом событий. Всего он ожидал от лесовичка, на избушку выйти, землянку. Даже парашют найти, не вопрос. Но чтоб вот так упереться в пустое место! — Слушай, Гюнтер, а что там ты про какие-то штольни говорил? Это где?

— Это с другой стороны горки. Да их взорвали, когда нас с тобой еще на свете не было. Чтобы никто туда случаем не рухнул с дурных глаз.

— А давай-ка, Гюнтер, снежок здесь слегка почистим. Сдается мне, что кое-что мы нароем. Может там лаз какой.

— Если бы у старика там была берлога или нора, мы бы и так увидели. — Егерю явно не хотелось ковыряться в снегу. — Я думаю, он ошивался на лесопилке, а сюда просто забрел непонятно зачем, да и вернулся.

— Ага. И так много раз. Пока тропку не протоптал. И на лесопилку он прибрел с дискотеки. В модных, слегка поношенных шмотках. Только одежка его вышла из моды тогда, когда вернулись из плена последние герои вермахта. Ладно, посвети тогда. А я поковыряюсь в этом тупичке.

Инспектор достал нож и начал методично втыкать его в снег в том месте, где заканчивалась тропка.

— Даже до земли не достаю, дерн. — Хендке вытер нож об рукав. — Костерок надо развести. Не тащиться же сюда еще раз с лопатой.

Тем временем Деблин, деликатно отошедший в сторону кустарника справить свои мальчуганские делишки, заворчал, сунулся мордой в снег и деловито стал копать.

— Ежа нанюхал, — пояснил егерь. — Или крота. Да только до них не дороешь. Окопались, утрамбовались и дрыхнут.

— Нет, это не его линия жизни. Он у меня пацифист, — возразил инспектор. — И почетный член Гринпис.

Пес тем временем самодовольно заурчал, сунул морду в отрытую ямку, ухватил что-то зубами и потянул из земли. Но что-то, или кто-то, вытягиваться не собиралось. Тогда Деблин уселся на зад, уперся в землю лапами поосновательней и потянул снова. На этот раз эффект случился. Да такой, что и егерь и инспектор не завопили только потому, что вопить на морозе оба считали занятием неполезным для здоровья.

Холм вздрогнул, снег на нем просел и в том месте, где обрывалась тропка, в склоне обозначился круглый контур, метра два в поперечнике.

Хендке выхватил пистолет, Гюнтер скинул с плеча карабин.

Деблин с интересом посмотрел на перепуганных мужчин и громко, с явной издевкой, чихнул.

Круг в холме натужно застонал, обрисовался по периметру тусклой оранжевой полосой и поплыл вверх. Когда оранжевая полоса увеличилась до ширины ладони, круг поехал в сторону, а из-под него начала выползать винтовая лестница. Процедура предъявления входа в загадочную берлогу продолжалась несколько тягучих минут. Которых хватило на то, чтобы мужчины вернулись в сознание.

— Что и требовалось доказать! — выдохнул инспектор Хендке и снял пистолет с предохранителя.

— Интересно, там еще старички остались? — сказал Гюнтер и приладил поплотнее приклад карабина к плечу.

И только Деблин продолжал пребывать в благодушии и полнейшей беззаботности. Он даже не стал дожидаться, пока люк откроется до конца, подбежал к выползающей лесенке и зацокал по металлическим ступенькам вниз.

— Может, не надо? — спросил егерь.

— Чего не надо? — спросил инспектор.

— Ему — туда.

— Если он туда поперся, значит, там не опасно. Было бы опасно, он бы уже на сосне сидел. В дупле. И прикидывался дохлой белкой особо крупных размеров. Сейчас доложусь герру Рольфу и пойдем следом.

— Если поступит приказ. И от моего начальства тоже. — Егерь, не опуская карабина, отошел к тому месту, где Деблин открывал открывалку и посветил в ямку. — Здесь кольцо на цепи.

— Понятно и так. Это бункер. Из которого наш дедуля и прибыл в наш бренный мир. — Хендке достал рацию. — Алле! Это я. Мы нашли бункер, откуда старик пришел. Нет, не заходили. Судя по тому, что Деблин ничего не докладывает, там никого нет. Нет, вертолету тут сесть негде. Хорошо, посмотрим. Да просто идите от лесопилки по нашим следам. Недалеко, на лыжах минут сорок. Слушаюсь!

Инспектор подошел к люку и посвистел. Через минуту послышался цокот когтей и на лесенке показался Деблин.

— Ну и что там у нас, приятель? — спросил собаку инспектор.

Пес захлопал глазами и завилял хвостом.

— Чисто, говоришь?! Ладно, пойдем посмотрим. А ты, приятель, — обратился он к егерю, — покарауль здесь у открывашки. Вдруг эта штука закроется по каким-то своим соображениям. Или из вредности. Штука-то фашистская, мало ли чего.

— Подождали бы саперов все-таки. Ты-то холостой, а у меня семья, хозяйство.

— Нечему там взрываться, Деблин сам себе врать не будет. И у него тоже семья и хозяйство.

— Это как?

— Я у него семья. А хозяйство у него, сам знаешь, в каком месте находится. Там же, где у всех приличных собак.

* * *

— История не просто идиотская. — Обер-бургомистр Штефан Рольф не спал уже вторые сутки. От выпитого кофе погуливало давление и насморк таки вступил в свои законные права, нос подтекал и распух. — Она теперь имеет и очевидный антисемитский душок. Слушай, Альф, а почему те, кто делали закладки в бункере, не подумали о радио, о рациях?

— Почему же не подумали. Все там было. И в достаточном количестве. Как и все прочее. Но, как всегда, педантичность не учитывает фактора точечного форс-мажора.

— Это что еще за хиромантия? Просвети старика.

— Это как с молнией. Никто и никогда не может сказать, в какое место она шандарахнет. Все аккумуляторы и зарядные батареи лежали в отдельной, специально оборудованной камере. Но какой-то любопытный, зубастый и дотошный зверок решил посмотреть, что там такое. Потому что это оказалось единственное место в бункере, которое не было, судя по всему, обработано родентецидами.

— Я горжусь тобой, мой мальчик. Такое умное слово мне бы в жизнь не выучить. А что оно означает? Я знаю только про зарин и зоман.

— Так называются ядовитые вещества, нацеленные именно на грызунов. Зверек в камеру залез, погрыз слегка то, се, и был таков. Но дырочка на волю от него осталась. Дальше работали осадки. Так наш герой-беглец оказался без связи с внешним миром.

— Но электричество же у него было. Генераторы там какие-то.

— Видимо, он был плохой электрик. — Инспектор Хендке вспомнил, что он, например, тоже, кроме как поменять лампочку, ничего больше в этом загадочном мире электричества не решится сотворить.

— А как он вообще попал в бункер?

— Боюсь, этого мы в точности никогда не узнаем. Остаются только догадки. Когда американцы вошли в лагерь, охраны уже никакой не было. Кого от кого охранять?! И какая-то часть узников просто разбрелась. Кто-то домой побрел, кто-то пошел поискать еды. И большинство из этих почти уже мертвецов были, мягко говоря, не в себе. Я думаю, что наш парень, то есть даже не парень, а юноша, почти еще

ребенок, как-то выбрался из лагеря еще до прихода союзников. Тогда, когда восстание было в самом разгаре. Суматоха, пальба, охрана разбегается. Смотрит, можно уйти. Он и почесал. Совершенно при этом не соображая, что происходит и что будет дальше. Брел себе, брел и набрел. Решил переждать, заодно в себя прийти. Посидел в бункере, осмотрелся, понравилось ему. Еды на сто лет вперед, сигареты, винный погреб. Кинозал опять же, пластинки, библиотека. Отличная, кстати, библиотека. Где-то наци ее конфисковали, видать, в свое время. — Инспектор отодвинул от себя переполненную пепельницу и защелкал пультом кондиционера. Тот засипел и сизые перекаты сигаретного дыма дернулись и поплыли к вытяжным решеткам на потолке. — А тут и хобби он себе придумал, шахматы вырезать. Вырезал он по комплекту в год, я посчитал. Спешить ему было некуда, и работал он на совесть. Первые комплекты получались довольно корявые. Но потом, год за годом, фигурка за фигуркой, он прибавлял и прибавлял. Последний, просто шедевр, изумительной тонкости работа. Каждое лицо, как живое.

— Какое лицо?! У фигурок шахматных?

— Да, они все с человеческими лицами. И в одежке человеческой. Белые в лагерных робах, черные в военной форме. И всегда одни и те же лица, из года в год. В основном мужские и юношеские, женских всего три — белая королева, черная королева и белый офицер. А ушел он к нам, видимо, после того, как понял, что еще одну шахматную партию ему не осилить. Собирался в дорогу основательно. Выпустил на волю своих птичек. Сжег фотоархив и все дневники. Ну, предположительно, что дневники. Может, это были философские трактаты.

— Или гениальный роман, — эхом откликнулся из-за стола обер-бургомистр. — «Человек без свойств — 2». Малая кровь.

— Может, и роман. В общем, собрался и пошел на встречу с человечеством. Идет себе потихоньку, подмерзает. Бредет в полшага, сил-то уже немного осталось. И думает думу тревожную. О том, что его ждет впереди. Кто его встретит? Есть ли жизнь на Марсе? Индийские йоги, кто они? Не знаю я, о чем он думал. Может, о девушке любимой. Шел и считал, сколько лет может быть ее внукам. И выходит он из леса. А тут! Ух ты, что такое? Впереди — свет! Волшебный неземной свет! Красный, синий, фиолетовый, снова красный. Играет все, переливается. Сполохи, сполохи! Волны, водопады, фонтаны. В небо, об землю, веером. И вот он почти бежит на этот расчудесный свет. Так красиво, думает он, может светиться только спасение. И счастье. Да-да, это именно что спасительный свет, божественный свет! Неопалимая купина! И слезы застят ему глаза. Да и зрение у него уже того, неважнец. Слабо видит он, возраст-то ого-го. А свет чудесный все ближе, ближе. Все, пришел! Он продирается сквозь кусты и замирает. Да это какие-то буквы! Это какие-то слова. Он вытирает дрожащей рукой слезящиеся глаза, сердце рвется из груди. Он щурится, шаг, другой... И наконец он читает. И прочитал он весьма знакомую ему фразу.

Тут инспектор Альфред Хендке спрыгнул с подоконника, повернулся лицом к окну, за которым продолжала неистовствовать метель, воздел руки к небу и закричал:

— Jedem das Seine! Каждому свое! Приехали!

— Тише, Альф, не кричи. — Штефан Рольф громко высморкался. — Давай-ка лучше выпьем за упокой его души. Да, уже звонили из архива. Пока никаких данных они не нашли. Я попросил Магду, чтобы она туда съездила, проконтролировала это дело. Пока она не звонила. Потом начнется другая история. Когда мы узнаем, как звали нашего затворника, начнется поиск родственников. Скорей всего, какие-никакие, а родственники обычно находятся.

— И обычно в Израиле, — отозвался Альфред. — Или на Колыме.

— Колыма, это где? В Польше, что ли? — полюбопытствовал обер-бургомистр.

— Это в России. Около Северного полюса. Там тоже были концлагеря. Те из русских, кто выживал в наших лагерях, ехали на перевоспитание в родные, советские.

— Да, Альф, в этом безбожном мире за каждым вторым углом прячется по фашисту.

— А за каждым первым по коммунисту.

— А за каждым третьим по беженцу. Которого хотят догнать и убить и первые, и вторые. — Штефан Рольф достал рюмки и фляжку. — Давай, мой мальчик, по дежурной.

— Не могу, дядя Штеф! Надо ехать к деду.

— Как он?

— Врач сказал, что вопрос нескольких дней.

— Тогда я выпью за него. Передавай ему от меня поклон и слова утешения.

— Я понимаю, что это может прозвучать глупостью, но у меня такое складывается впечатление, что он ждет смерти, как праздника. Не знал, что так бывает.

— Он же верующий человек. Так что его можно понять. Он прожил достойную жизнь, тебе можно только гордиться им. И достойно уйти, это тоже серьезный мужской поступок.

* * *

Эрих Хендке полулежал в кресле-качалке на веранде второго этажа. Но смысла в этом особого не было, окна замерзли, и не было видно ни пихтовой аллеи, предмета его особой гордости, ни каменной часовенки, тоже его собственной постройки, ни колокола над воротами усадьбы, который даже зимой на закате ловил бронзовым боком лучи солнца, если таковое светило, и посылал земляничного солнечного зайчика прямо сюда, на веранду. Посылал ему, умирающему Эриху, почтенному старцу девяноста трех лет, почетному гражданину округа Эрфурт прощальный привет. По бокам кресла стояли две капельницы, а за креслом, почти вплотную, чуть слышно гудели два мощных масляных обогревателя. Но Альфред, сидящий рядом с дедом, так намерзся за ночь, что все равно его то и дело пробирал рваный ознобчик. Старик слушал рассказ внука с неподвижным лицом, только время от времени жал на кнопку пульта, приходила сиделка и протирала ему лицо, почти уже незрячие глаза беспрерывно точили слезы. Нет, он не плакал, так из него выходили влажные остатки жизни. Хендке-младший вообще не помнил деда плачущим.

За все время, пока Альфред рассказывал, только один раз легкое дуновение улыбки дрогнуло на губах герра Хендке. В том месте, когда Альфред рассказывал про керосин.

— Такая вот печальная история, дед! В газетах подняли шум, рекламу уже демонтируют по всей стране. — Инспектор вглядывался в лицо умирающего, и как всегда, когда он чувствовал рядом присутствие или даже тень приближающей смерти, ему начинало казаться, что вокруг, до горизонта, ломкие, дырявые тени покойных начинают вставать из земли. Вот и дед скоро уйдет к ним. Что же со всем этим делать?! Молиться? Он пробовал, становится только хуже.

Старик шевельнул губами.

— Что, дед? — Альфред привстал и пригнулся к старику.

— Номер. Ты не помнишь номер? У него, на руке.

— Нет, я не запомнил. А зачем? Я могу позвонить, спросить. Позвонить?

Эрих Хендке покачал пальцем, не надо.

Альфред вспомнил, что забыл показать главный трофей своего ночного похода.

— Да, я взял с собой его последние шахматы. Думал, тебе будет интересно. Хочешь посмотреть?

Старик кивнул.

— Лупу.

— Что? Прости, я не понял.

— Захвати лупу. Почти не вижу. Глазки смотрят туда. — Хендке-старший показал пальцем вверх и тень улыбки снова соскользнула с белых губ.

Альфред сходил к машине, принес шахматы, а лупу нашел на столике у кровати деда, где среди шприцов, пузырьков и таблеток с изумлением обнаружил распечатанного крупным шрифтом «Фабиана».

Старый Хендке так долго рассматривал шахматные фигуры, что Альфред, наконец отогревшийся, начал задремывать. Проснулся он от деревянного перестука, шахматы коротким водопадиком ссыпались с доски, которую старик не удержал в скрученных подагрой тонких лапках. И только две пешки, белую и черную он ухватил и не выпускал.

— Возьми белую, это он. — Прошептал старик Хендке и дернул рукой, которая прижимала белую пешку.

— Кто он? — Альфред стал собирать фигуры с пола.

— Твой парень. Не помню имя.

— Какой мой парень? — Инспектор снова нагнулся над дедом. — Ты про что?

— Это тот, кто к вам пришел. Я знал его. Давно. Там он делал шахматы из глины.

— Ты его знал? Шахматы из глины? Ничего не понимаю. Там, это где?

Старик попытался протянуть ему черную пешку, но та кувыркнулась из-под его руки и запрыгала по полу. Растерянный инспектор прихватил ее и подал деду. Но тот растопырил пальцы и, как крыльями, протестующе замахал руками от себя.

— Деда, не волнуйся! Ты чего?

Хендке-младший увидел, что дед пытается поднять правую руку, но давно обездвиженные мышцы не справляются с этой непосильной задачей. Тогда старик стал заваливаться на правую сторону, пока его подбородок не уткнулся в плечо. Правую

руку он умудрился-таки распрямить, и вытянул ее вперед, помогла ручка кресла. Он чуть подвернул голову и посмотрел прямо туда, где висел, сейчас невидимый, бронзовый колокол над воротами. Рот его широко раскрылся и уже даже не свистящим шепотом, а на горловом выдохе, как будто он собирался выхаркнуть из горла слизь или гной, старик...

* * *

— Я не могу тебе описать этот звук. Это был не крик, не вопль, он и говорит-то уже еле слышно. — Альфред задумался, и Паулина тут же подсунула ему под руку свою бритую голову. Инспектор засмеялся, погладил девушку по макушке, но смех получился невеселый. Паулина замурчала и заскребла по стойке ногтями.

— Пау, я тебя умоляю! — Наклонился к друзьям бармен. — Это стойка была сделана еще при моем прадеде. Мне что ее, циклевать потом?!

— Герр Хупперт, вы удивительный зануда. Я сейчас позвоню дяде Штефану и скажу, что у вашего монтенегра, — она кивнула в сторону кухни, — просрочено разрешение на работу.

Бармен сделал губы дудочкой.

— У-у-у.

— Она шутит, Хуп! Разве я позволю кому-нибудь нарушить твой покой. И оставить себя без свиных ножек по-черногорски. Принеси нам еще по кружечке.

— Так что он крикнул, твой дедушка? — спросила Паулина.

Альфред достал блокнот с ручкой, написал в нем два слова и показал девушке. После чего листок из блокнота вырвал, порвал, сложил клочки в пепельницу и поджег.

— Это очень странно. Мне всегда казалось, что уж он-то как раз самый-самый... Я забыла это дурацкое слово.

— Политкорректный?

— Нет, другое.

— Толерантный?

— Вот! Толерантный.

— Но это еще не все. Потом прибежала сиделка, сделала ему укол. Он заснул. Я тоже решил не уезжать, пошел в библиотеку, залег там. Устал, намотался. Часа через два Марта меня будит, вас, говорит, дедушка зовет. И просит шахматы захватить с собой. Прихожу, дед уже в порядке, только руки ходуном ходят. Достань мне, шепчет ту черную пешку, что я держал. А откуда я помню, какую он держал? Он тогда снова пешки черные посмотрел и одну из них, ту самую, мне отдает. — Инспектор сделал долгий-долгий глоток.

Паулина от нетерпения пихнула его локтем в бок.

— Не томи! Вот вреднюга.

— Так вот, дает он мне эту пешку и говорит: «А это я!»

Альфред достал из кармана черную фигурку и поставил на стойку. Фигурка изображала худенького подростка в форме, сапогах и в узнаваемой фуражке. Руки подросток держал на «шмайсере». Старательный художник умудрился вырезать даже нарукавную повязку и две, известные всему миру, буковки на ней.

— В солдатики играем? — Снова подошел к Альфреду и Паулине бармен.

— Да, Хуп! — Хендке-младший сжал пешку в кулаке так, что побелели ногти. — Впадаем в детство. Как и многие в нашем непростом возрасте.

Паулина накрыла руку Альфреда своей.

— Погладь меня по голове еще раз, пожалуйста. Теперь это можно делать только тебе.

Мобильник, лежащий перед инспектором на стойке, засветился и сказал голосом Паулины.

— Новое сообщение для инспектора Деблина и его собарика Альфреда.

— Кто там? Не с работы?

— Это дед.

— Проинтуичил. Что он пишет, если не секрет?

— Для тебя уже ничего теперь в моей жизни не секрет.

В сообщении было написано:

«Ищите его данные в списках «14 F 13». Прощай. Не молись за меня».

Справка. Акция «14 F 13» в немецких концлагерях означала особое распоряжение по поводу больных и слабых заключенных, согласно которому они умерщвлялись.

Клаус Мерц

Жизнь — всегда театр военных действий

С немецкого. Перевод Сергея Морейно

От переводчика

Клаус Мерц — яркий пример поэтического достоинства,
иллюстрирующий знаменитую фразу А. С. Пушкина:
«Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел».
По словам Манфреда Папста, он празднует жизнь,
говоря при этом о разлуке, смерти и бренности.
Это удивительное качество в последнее время
все реже и реже демонстрируется русскими поэтами.
Я, пожалуй, назову лишь Арсения Тарковского,
который легко опровергал утверждение Виктора Цоя:
«Война — дело молодых» (в трактовке «Поэзия — дело молодых»).
Слишком велико искушение и на шестом десятке
писать, используя поэтические клише юности,
на том уровне пафоса (страсти и страстности),
что как-то уже не соответствует опыту равновесия,
умению отпускать ситуацию, способности быть над схваткой.
Тем самым из стихов изгоняются гармония и покой.
Мерц, в свою очередь, тоже отнюдь не бесстрастен —
но это, скорее, пафос отсутствия пафоса, триумф баланса,
заставляющий вспомнить о самом Вильгельме Майстере.
Современная швейцарская поэзия — в отличие от прозы —
практически неизвестна русскому читателю.
Более того, в предпочтениях ценителей поэзии немецкой
наблюдается явный перекос — от кристально чистого Гюнтера Айха
в сторону более эффектного внешне Пауля Целана.
Возможно, строфы Мерца на русском языке
в какой-то мере соединят в себе
скульптурность минимализма Целана
с пастельным скепсисом Айха и приоткроют узкие врата
наслаждения тишиной, звучащей в слове.

С.М.

Клаус Мерц (Klaus Merz) — поэт, прозаик, сценарист, критик. Родился 1945 г. в Швейцарии, в г. Аарау (кантон Ааргау). По образованию филолог, культуролог.

Живет в коммуне Унтеркульм (Швейцария). Автор семи книг стихов (последние — «Из праха», 2010) и более десяти книг прозы, в т.ч. два романа и повесть. Лауреат многих литературных премий: Золотурна (1996), Германа Гессе (1997), Липп (1999), Готфрида Келлера (2004), Швейцарского фонда Шиллера (2005), кантона Ааргау (1992, 2005).

Сергей Морейно — поэт, переводчик, литературовед. Родился в 1964 г. в Москве. Окончил Московский физико-технический институт. С конца 1980-х — в Риге, был близок кругу журнала «Родник». Переводит польскую, немецкую, латышскую поэзию. Автор десяти книг стихов. Постоянный автор нашего журнала. Живет в Саулкрасты под Ригой.

Из книги «Краткое сообщение»
Kurze Durchsage, 1995

За город

Крайние дома
атакуют пустое небо.
Из каминных труб идет дым.
Слышно звяканье якорных цепей.

Одни лишь водостоки
сулят нам кратковременную
зацепку за город.

Трава прозрения

Принять
и заметить:
слова понимают
тебя. Иногда.

Артефакт

Вот камень, возьми.
Вот глаз, возьми.

Внутри камня
склеп, выруби.

В тот склеп
глаз, клади.

В сосредоточенной слепоте
видишь, как он прекрасен:

в этом склепе твой глаз,
врубленный в камень.

Из книги «Пряжа»
Garn, 2000

Завтрак на траве

«Того и смотри, из рукава куртки у нее выскочит ствол, и она запрет нас всех в той вон подсобке», — шепчет кассирша смотрителю, когда, с брезентовым раскладным стулом через плечо, женщина требует в кассе пятидесятипроцентную скидку. Затем она останавливается перед самой большой картиной на выставке, раскладывает свой походный стул, садится и вперяет взор в великого француза: дамы обнажены, мужчины в шляпах.
Она развязывает шнурки, сбрасывает туфли, пальцы на ногах скрещены; она вынимает из кармана куртки свой ланч:
«Я не люблю есть в одиночестве, однако с некоторых пор не всякое общество мне подходит, мой господин», — отбривает она спешащего к ней смотрителя. И вонзает зубы в хлеб.

Пасха по-римски

Туалеты в воде по самые уши, вернее, по щиколотки. Вернувшись обратно в зал ожидания, обнаруживаю, что у пунктов назначения над нашими головами с каждой минутой меркнут их нимбы. (Лишь мужчину в резиновых перчатках ничто не в силах сбить с толку.) Остается вопрос: как станет жить тот, кто только что плотью и кровью отдался Ему посреди огромной площади? И Пилат, что и следующим утром за банковской стойкой, не приходя в себя, намыливает свои холеные руки.

Звездное ралли

Мотоциклист ставит тяжелую машину к бордюру и с тростью для слепых продолжает свой путь. Да, так оно бывало и раньше, тихо говорит его спутница, когда на высокой скорости мы зажмуривали глаза — в прежние времена. Теперь это пригождается нам в наших кратких поездках.

Внимание, розыск

В глубине леса прошлым воскресеньем мы набрели на трамплин лесничего. Предположительно, экстраординарно хороший лесник — ради борьбы с вредителями и чтобы приветить кукушку — с помощью своей пружинной доски в нужный момент катапультируется прямо в лесные кроны. С вчерашнего дня о нем ни слуху ни духу.

В Хельсинки

Он носит костюм в полоску и тщательно подобранную к туфлям красную летнюю шапочку на голове. Он собирает пустые бутылки и с этого живет в одном из столичных предместий. Я натыкаюсь на него у витрины мебельного магазина, где он с удовлетворением сравнивает свой гардероб с бело-зеленой маркизой элитного дома.
Когда же мы, рассматривая полароидный снимок, для которого он послужил гротескной моделью, совместными усилиями искали общий язык, он был немного смущен, но по-английски корректен: I prefer Latin.

Без женщин

Вчера прямо посреди улицы была обнаружена пара бесхозных лаковых туфель. Зрелище невыразимой потерянности — не будь эти туфли столь ошеломляюще красными (их игривые носы уставлены в сторону железнодорожной насыпи) среди серости бетонного ограждения. Лишь день спустя мы узнаем, что самоубийца была босой.

Оксфорд-стрит, пять часов вечера

Световые брызги
на миг превратили улицу
в кафедральный собор.

Голубыми бичами
«скорые» изгоняют
торговцев из храма.

Над отхожими местами
горит: «Идите с миром!».

Высокая мода

В темноте
стоя у перил,
объемлющую нас
легкость слышим.

Ее платье
из крыл летучей
мыши.

Из книги «Из праха»
Aus dem Staub, 2010

Военно-полевое

Сквозь Тракийскую низменность
дорога возвращает нас в город.
Родопы с Балканами окаймляют
пологий край. Инструктор
демонстрирует монумент
в память павших во все-
разрешающей битве:

Летние травы
от гордых воителей
только след мечты

вписал в дневник Мацуо Басё
на поле Хирайзумэ.

Пинакотека

Тучи стягиваются
легко и неотвратимо
дождь льет, льет.

Одна женщина оделяет
нас млеком, другая же
расчесывает волосы, три
сотни лет кряду:

Отнюдь не к живым, говорит
Мальро, но к статуям
да приидет блаженство.

Виперсдорф, после

1

Колесо тихо шуршит
по плоскости, скользя
под теневыми апрошами
Короля-солдата. Большие
коридоры, малые рондо. Сокол

и жаворонки уже высоко, лук
и стрелы. Средь бела дня
тонет за деревней «трабант»,
дружелюбные жители замерли
перед убегающими вдаль домами.
(Спокойствия ради за каждой
калиткой бдит овчарка.) После
по обочине долго петляет
заяц-зомби, ветер вместе
с тучами покидают сцену.
В палисаде каменный гном
берет свою лопатку и роет
яму в графском песке: в честь
A. Z., отставного лесничего
по прозвищу «Волк». Он спас
бабушку и внучку из брюха
зверя. Над честным булыжником
випердорфских аллей
теперь асфальт.

2

Повсюду аккурат белые грибы,
«бабки», говорят приехавшие сюда
швейцарцы, огребая добрую
взбучку от лесника-саксонца.
Осенью он менее всего склонен
к поблажкам. — Но при всем том
мы, знаешь, не рассчитывали
на это последнее тысячелетье,
что твой, дочка, суженый
таки вернется домой с войны.
Меж тем бесплатные
развлечения, а еще духовые,
но не духовные, спаси-и-сохрани.

3

Этот при- и убывающий свет,
еще бродячие тени облаков, еще
несущий головокружение ветер.
Еще один день подбрасывает мне
бабочку, с которой я знаком, утиная
эскадра поднимается в воздух.
Стрекозы жируют над опустелым
складом ядерных фугасов в бору:
один кадр на взмах ресниц, недо-
слащенный свет оседает на моей коже
бисером пота. Холодными пальцами
я записываю партию дрожи.

Поздний гость

Жизнь — всегда театр военных
действий. Сказав это, он
стягивает сапоги и носки.
И тотчас засыпает за столом.

Свет

Есть фразы,
что исцеляют,

и дни, что
легче, чем звук

Есть голос,
что я узнаю,

прежде чем
позовут.

Рим

Едва проснувшись, ты
натыкаешься взглядом
на собственные мраморные плечи.

В открытое море

Корабль базилики,
ведомый свыше, держит курс на тот свет.
Команда поет на хорах.

Краковская пасха

Кукушка зовет.
Дрозды славят Аушвиц-2.
На Казимеже в синагоге старик
сторож, он расправляет мне
в полутьме воротник
плаща, по-отечески.

Равшан Саллетдин

Рассказы

Приятного дня, фрау Грэта

В одно из тех прелестных весенних берлинских утр, когда отчаянно хочется жить и побриться, в тесном торговом офисе мобильного провайдера «Vodafone» на Карлсбергер-аллее сто шесть собралось довольно много людей. Себастиан и Эрих мешались под ногами уже больше часа, выполняя свои нелепые обязательства: фотографировали каждый угол, измеряли рулеткой длину и высоту торговых стендов, проверяли яркость ламп, подсвечивающих логотип. Но главным образом — хохотали. Хохотали бесцеремонно, после каждого проделанного действия, по-немецки непосредственно и без какого бы то ни было стеснения. Смеялись как шалопаи, или точнее — переростки. Так проходил их рабочий день и соответственными были результаты: медленными, вялыми, но параноидально дотошными и безошибочными. Непонятно кому могла понадобиться информация, которую они собирали и аккуратно записывали в протокол, но есть догадка, что на скрупулезной информации этой пока еще держится могучая европейская цивилизация.

Кристиан, единственный продавец в павильоне, крутился как мог, чтобы справиться с очередью в шесть человек — довольно нетипичной для начала дня. Кристиан с детства был кудряв, остронос, с отрочества носил очки и вымахал до такого роста, что, встав на носки, мог запросто дотянуться до лампочки над своей головой. С таким ростом можно было смело играть в баскетбол хотя бы за команду района, а вечерами подрабатывать в барах Кройцберга — в местных забегаловках очень любят высоких барменов, очевидно из-за той легкости, с какой они способны достать бутылку с самой высокой полки. В павильоне же Кристиан пользовался худыми длинными руками, чтобы, делая как можно меньше движений, с высокой скоростью и КПД доставать коробки, которые желали его покупатели. Кристиан всегда имел склонность к технике, мог подолгу тыкать кнопки какой-нибудь новой миниатюрной женской модели мобильного телефона, тонущего в его ладони, с усердием и без жалости к потерянному времени, только лишь чтобы понять, каковы его преимущества перед остальными и в чем его новшество. Поэтому Кристиан был здесь.

А вот зачем чернокожий мужчина в рабочей куртке с кудрявым воротником, бледнолицый клерк и парень с девушкой — очевидно, пара, стояли в очереди, разглядывая телефоны на крутящихся стендах, предстояло еще узнать, и Кристиан с уверенностью шел к этому, довольно быстро разъясняя впереди стоящим клиентам достоинства и недостатки интересующей техники.

Настала очередь Грэты и Зака. Как многие пожилые люди, они умели создать облако спокойной, умиротворенной медлительности вокруг себя. Зак по большей

Саллетдин Равшан Санжарович — прозаик, родился в Кузбассе, работал мебельным мастером и проверяющим на предприятии лесного хозяйства. Автор книги прозы «Настоящие рассказы Равшана», в 2011 г. вошел в шорт-лист премии «Дебют». Постоянный автор журнала «Сноб», ведет литературную колонку в журнале «Muslim Magazine». Живет в Берлине. В «ДН» печатается впервые.

части молчал и проницательно всматривался через очки, как бы взвешивая, стоит ли предлагаемая овчина выделки, Грэта же задавала вполне детские, очаровательные вопросы. Кристиан вежливо объяснял каждый шаг и вся очередь, не смущаясь, создавала впечатление уравновешенности, будто для каждого настоящим счастьем было проснуться с утра только для того, чтобы встать в водафоновскую толкучку.

Кристиану не приходилось стараться быть вежливым и обходительным, этим наделили его родители, а потому того требовало скорее воспитание, нежели предписание начальства и корпоративная политика. Он принялся объяснять Грэте о преимуществах немецких телефонов перед корейскими и пытался разбавить информацию довольно безобидным юмором. Грэта подхихикивала и отвечала в том же тоне — такой вот у них образовался диалог. Грэта поинтересовалась, сколько процентов будет составлять скидка для пенсионеров, парень ответил, что двадцать, но якобы не понимает, зачем ей знать об этом, и что даже если она предоставит документы о том, что она уже на пенсии, он ни за что не поверит. Грэта опять засмеялась — смелые шутки, граничащие с нахальством, достигали цели.

Зак смотрел сквозь очки то на Грэту, то на Кристиана. Парень понравился ему, и казалось бы, ну что может испортить настроение в это чудесное апрельское утро, но с Заком произошло то, чего не происходило вот уже, пожалуй, два десятка лет: ему не понравилось то, что парень понравился Грэте.

Грэта заполнила необходимые бумаги и передала их продавцу. Затем они оба подписали годовой тариф, Кристиан упаковал коробку с трубкой в цветной пакет, прочитал имя на договоре, и с улыбкой протянул:

— Приятного дня, фрау Грэта.

Не «фрау Габер», не «фрау Грэтхен», не «Зак и Грэта», не «герр и фрау», не просто «фрау», не «друзья» и не «товарищи» а так просто — «фрау Грэта», будто она хорошенькая девушка.

Чтобы добраться до Шарлоттенбурга, они дождались семерки и сели впереди, откуда лучше видно дорогу. Один крупный русский писатель, находясь в Берлине, страдал от уверенности, что через два десятка лет трамвай исчезнет, как когда-то исчезла конка, и видел в этом очарование вымирающего вида, но и теперь, и сколько угодно лет назад, вот ведь, смотрите: уже не позвякивает, а мчится так, будто только что родился. Грэта осталась в легком и приподнятом настроении, как часто бывает, когда женщина поверит в неожиданный комплимент.

За годы, проведенные вместе, они признавались в своей любви друг к другу всего трижды или четырежды, да и то главным образом в другой половине жизни, а потому это легко списывалось на юношескую горячность. Последний раз случился на Рождественской ярмарке, когда Грэта прочитала и озвучила надпись на кремовом прянике у лоточника: «Ich liebe dich». Зак не видел, как она читала, и ему показалось именно то, что показалось, он повел бровью и, надо сказать, порядочно смутился. Переспросив же и с облегчением осознав, что так гласил пряник, всего лишь пряник, он с благодарностью сжал ее руку.

Теперь они были дома, в Шарлоттенбурге, милом и тихом, и все пошло как прежде, как было до того, пока они не съездили во Фридрихшайн, в поликлинику и за новым телефоном. Удивителен весенний Шарлоттенбург: полный обещаний, как нераскрытый ароматный цветок, словно построенный из кофейных и шоколадных кирпичей, на каждой парадной, рядом со звонком — узкие таблички с фамилиями жильцов, в каждом есть свой Вагнер, Шуман или Верхувен. Иногда в одном подъезде могут соседствовать Шенберг и Рихтер, Кеннеди и Ягода. Кажется, словно по намеренному распределению, в любом из подъездов Шарлоттенбурга живет свой поляк, и иногда такой поляк, выгуливая недолетка-спаниеля, поставит без спросу на подоконник первого этажа пластиковый стакан с кофе, поправит съехавшую на глаза шапку крупной вязки, да свернет неторопясь пузатый косячок с марихуаной, ощущая себя подростком на заднем дворе дома престарелых.

Они переоделись в домашнее и, если такая мелочь может сделать людей чуточку ближе друг к другу, она это непременно сделала. Ревность — это ревность, как ее ни назови. Зак никогда бы не произнес про себя этого слова, как набожный не будет произносить имен нечисти — даже самое нелепое отрицание часто много легче

очевидного признания. Он никогда бы не посмел говорить напрямую о том, что его по-настоящему заботит. Он бы предпочел говорить о погоде, о политике, о соседях, но не о том, о чем хочется. Заку нравится наблюдать, а не говорить. Ему нравится все, что угодно, но не говорить. Ему нравится думать. Мысль возникает одномоментно, как воспринимается симфония дирижером — целиком; когда она течет во времени, когда проговаривается — это конец ее жизни, а не рождение. А Заку хотелось бы быть ближе к рождению. Пожелание приятного дня казалось ему нахальством. Было в том что-то грязное. Нет, под ним не было каких-то намеков, ничего подобного, и парню даже можно было спустить с рук — но грязной была эта страшная обоюдность, взаимность, то, что Грэта позволила себе реагировать на реплики, то, что она, как маленькая девочка, повелась на игру, когда он стоял рядом. Словно не было там его, Зака, верного мужа, а было только пустое место. И все ведь при чужих людях, при людях, которые наверняка были не полными дураками, чтобы не заметить.

В кухне, если в это время Зак находился в гостевой, Грэта привыкла говорить чуть громче, чем обычно. Она знала примерный уровень громкости, на которой Зак ее услышит, и не превышала его. Зак действительно разбирал все, что она говорит, но для того, чтобы ответить, ему приходилось кричать, потому что Грэта уже его слышать не могла. Это выводило Зака из себя.

— Ты почему молоко не пьешь? Просил купить, и не пьешь.

— Оно прокисло.

— А чего ты его не пил?

— Как? Оно же прокисло.

— Вот оно и прокисло, потому что ты его не пил.

— Как его можно было пить, это кислое молоко?

Зак знал, — пока отец был жив, он всегда повторял ему: женщинам следует говорить лестные прелести и смешные глупости — они так открываются, — об остальном же с ними разговаривать бесполезно. Но с Грэтой можно было поговорить и об остальном. О многом остальном они проговорили в свое время, пока она не взяла в привычку включать свой внутренний бесперебойный радиоприемник. Вот тогда она становится невыносимой. Они давно не находили минутки ни для лести, ни для глупости, но ведь уже не в том возрасте они пребывали, и было бы странно. Зака поразило то, насколько ее подкупила простая, самодовольная фраза. Насколько легко можно поймать человека на себялюбии, как мало нужно, чтобы создать его день.

С возрастом, обычно после пятидесяти, день начинает терять значение как функциональный временной отрезок, гораздо более важными становятся неделя, месяц или даже год. Центрифуга времени разгоняется. Ты глядишь на нее глазом серебристо-синей стрекозы, влитой в янтарь, и в каждой фасетке глаза одномоментно, согласно тому же принципу, что превращает разложенные на столе, собранные вместе карты таро в разлитый во времени предначертанный сюжет с началом, продолжением и концом, отражается день, брат-близнец предыдущего. Другими словами, ты — скучающий ночной сторож собственных дней, которые решили выступить перед тобой все вместе, скопом, на старомодных экранах, пока ты откинулся в кресле и не можешь наклониться обратно из-за приступа остеохондроза.

Вечер не сулил многого, но обеспечил раздумьями. Наконец наступило время сна. Кровать расстелена, включен ночник, Грэта присела на мягкое, укрыла колени и подложила подушки повыше, чтобы удобнее устроиться с книгой. В последнее время мерзли ноги, и она надевала носки из верблюжьей шерсти, иногда даже засыпала в них, чтобы случайно не потревожить Зака ночью холодным прикосновением. Зак решился, на что обычно не решался. Это было то самое нежное, на что способен его — конечно не сердце — голос.

— Грэтхен, хотел сказать.

— Да? Не гаси пока свет.

— Не буду. Не буду врать, ты не самая лучшая женщина, которую я встречал. Лучшей все-таки была моя мама, но ты точно на втором месте после нее.

Грэта отреагировала мгновенно, инстинктивно, как бывший боксер-профессио-

нал, в котором дремлет пружина, которая сама собой просыпается, чтобы уберечь голову от удара.

— Спасибо, милый. Ты мой любимый, мой герой.

Зак крякнул, потянул шею и поцеловал жену в щеку, чуть дольше, чем обычно. Потом завернул плечи в одеяло и повернулся к своей стене.

Что-то свербило внутри него.

— Что ж, тогда спокойной ночи, фрау Грэта.

Грэта не подумала, что эта фраза была родной сестрой той, с которой начался день. Она ответила просто, с любовью — так, как ответила бы всегда:

— Спокойной ночи. Спокойной ночи, герр Зак.

Я так давно не видел сенбернаров

Молодой и, если верить довольно поверхностным и нечистым на руку журналистам, многообещающий документалист Дима Коняжкин прибыл в Берлин на небольшой фестиваль авторского кино со своей мини-ретроспективой. Немцы очень хотели показать два его старых фильма: «Светоч» и «Запах соли». Первый — про звонарей Псковского монастыря, второй — про жизнь провинциального клоуна. Уже когда Дима собирал вещи, ему пришло письмо с вежливой просьбой заменить какого-то бельгийца, одного из участников жюри короткого метра, у которого то ли резко изменились планы, то ли что-то мешало ему приехать на фестиваль. Извиняясь, что придется поселить его отдельно от других членов жюри и в отель ниже классом, по той причине, что номера членам жюри бронировались заранее, Диму поселили во вполне себе приятный четырехзвездочный отель, в котором был включен завтрак и ужин, и все было бесплатно, кроме мини-бара.

После тихой и дружеской пресс-конференции, посвященной открытию, на которой раздавали буклеты и памятные атрибуты фестиваля, Дима погулял по Боксхагеннерштрассе, выпил смородиновой настойки в «Даче» и отправился к себе. В гостиничном коридоре у него прихватило спину, он зашел в номер, снял френч, лег на кровать и уснул прямо в джинсах и рубашке. Когда проснулся, понял, что встать не может — от любого движения спина начинала стрелять так, что ноги подворачивались. Дима позонил консьержу, пришел официант из рум-сервиса, принес полотенце, спирт, чайник горячей воды и сделал Диме компресс на поясницу.

Когда официант ушел, Дима полежал то на левом, то на правом боку. Плечи и спина затекли, лежать больше не было сил. Тогда он с большим трудом поднялся, дошел до туалета, в туалете, включив воду, почувствовал, что его мутит, потыкал в глотку двумя пальцами, но позывные не прошли. Зато кровь подступила Диме к голове, давление поднялось, и все вокруг, в пятнах и разводах, закружилось перед глазами. Дима присел на холодный кафельный пол, а подняться обратно уже не мог. До кровати пришлось добираться ползком, по-пластунски.

Через пару часов Дима вызвал врача, тот внимательно выслушал жалобы, осмотрел больные места и заключил, что Дима надорвал поясницу. Прописал мази и пояс, наказал один день полежать в постели, и заверил, что послезавтра будет бегать, как подросток.

Наутро он позвонил в штаб фестиваля и сказал, что болен, прямо в номер ему принесли шесть дисков с теми фильмами, которые должны были показывать в тот день в конкурсной программе. Проигрыватель в номере имелся, и Диме осталось попросить только, чтобы раз в полтора часа приходила уборщица и меняла ему диск. Весь день смотрел он работы молодых кинематографистов, они нагоняли скуку, и Дима даже два раза засыпал. Он впервые был членом какого-нибудь жюри, и совесть не позволяла ему проматывать скучные фильмы, поэтому он лишь радовался, что смотрит их в одиночку: в любой момент можно закрыть глаза или громко и недовольно цокнуть языком.

Спину не отпустило ни на следующий день, ни днем позже. Диски продолжали приносить прямо в номер, и он просматривал их у себя. С сильнейшей тревогой Дима

заметил, что стало неудобно и трудно шевелить ногами. Рефлекторно, от боли в пояснице, он поджимал их стопами внутрь и, когда трогал икры и голень, ему казалось, что кожа на них толщиной, как у моржа.

Затем приехал чей-то личный врач и один из координаторов фестиваля, и Диму увезли в клинику во Фридрихшайне. Там его ощупали доктора, прописали уколы в попу и постельный режим. А какой мог быть у Димы еще режим, когда он уже совсем не мог ходить? Тем временем фестиваль закончился, Дима выделил для себя довольно смешную и бойкую историю из Хорватии — по крайней мере, от фильма не хотелось спать или застрелиться, но большинство членов жюри проголосовало за скучнейшую социальную короткометражку из Израиля — разумеется, на тему арабо-израильского конфликта. К тому времени Дима уже не мог самостоятельно уехать обратно в Россию, и его билеты на самолет пропали.

Диму оставили в палате на три дня и стали обследовать. Предположения выдвигались разные: от кисты до перелома крестца. Но симптомы отсутствовали, а анализы не подтверждали. Когда Дима лежал, его ничего не беспокоило, но лишь стоило сделать попытку подняться, и спина капризничала, таз защемляло, а ноги немели. Опасения по поводу позвоночника, слава Богу, оказались напрасными, врачи пришли к выводу, что недуг возник на нервной почве и должен пройти сам собой, нужно только соблюдать правильный режим, дать организму передохнуть, не нагружать его переживаниями и не очень много думать, а если и думать, то в основном о хорошем. В больнице с ним маялись еще два дня, после чего сказали, что не видят причин держать Диму дольше.

Заботливые и напуганные немцы выделили от фонда фестиваля путевку в небольшой пансионат в тихом месте в Панкове. Годовая виза позволяла Диме пробыть в Европе еще достаточно времени.

В Панкове к Диме приставили сиделку, пожилую крупную женщину, она совсем не говорила по-английски, а Дима знал по-немецки только «Дайте мне, пожалуйста» и «Иди ко мне, моя маленькая кошечка». Дима принялся читать привезенный с собой сборник прозы Ингмара Бергмана, но литература не лезла в голову.

Дима стал больше курить. Он курил, и курил, и курил. Сиделка не скрывала своего отношения к этому, по каждому требованию доставляя инвалидное кресло с Димой в специально отведенную курительную комнату в пренебрежительном молчании. Массажиста Диме дали такого: рослого турка с крепкими руками. Дима предпочел, чтобы с ним работала женщина, но никогда не попадал на ее очередь.

За недостатком движения, от лежачего образа жизни, имевший генетическую предрасположенность Дима стал полнеть. Но даже не это было самым противным — а убогая инвариантность человеческого тела в том, что касается выбора горизонтального положения. Дима насчитал всего девять возможных поз, которые следовало менять в течение дня, чтобы не умереть от отеков и пролежней. Перестань Дима ворочаться в постели, его организм просто отказался бы работать. Из-за этих не сказать болей — медленных пыток — Димино сердце стало ожесточенным. Он грубил медсестрам и называл их по-русски курицами, хотя они не могли его понять. Он щелкал пультом у себя в палате и злился от того, какое миссионерское и пресное телевидение у них в Европе. Он понял для себя, что политкорректность в таком виде, в каком она здесь представлена — это моральная кастрация, но рассказать об этом было некому.

Тогда Дима попробовал писать. Он завел тетрадку и стал записывать в нее рубленые фразы, которые приходили на ум. О том, что человек сотворен из пыли, и всю жизнь танцует в пыли, пока в нее же не вернется, и что все вокруг полыхает огнем, а у нас не работают органы чувств, чтобы это заметить, и мы превратимся в уголь прежде, чем заплачем от боли. На другой день он перечитывал записи, и понимал, что не мог этого написать. Он, который снимал звонарей в Псковском монастыре. Он спрашивал медсестру по-русски, не она ли чиркала в его тетради, а когда та в замешательстве поднимала брови и переспрашивала по-немецки, чего он желает, смеялся и называл ее курицей.

Во время прогулок — а вернее, катаний в инвалидном кресле — он познакомился с Милошем — молодым чехом, живущим в Венгрии. Дима прозвал его просто Босс.

Они сразу понравились друг другу и не умолкали ни на секунду, пока были вместе. Милош катал Диму по внутреннему дворику вместо медсестер, распугивая стариков, дремлющих на лавочках. Диме нравилось, что у Милоша еще не пропал задор, характерный для юношеского возраста. Милош был живой, веселый и неугомонный, а тому, в свою очередь, нравились Димины циничность и хамство. Людям вообще гораздо чаще импонируют циники и хамы, а не скромняги и молчуны.

У Милоша был серьезный нервный срыв, следов которого Дима так и не разглядел, отец отправил его подлечиться в Германию. Через неделю после безделья в Панкове Милош предложил Диме поехать к нему в Будапешт. Дима, представив, в какую черную дыру молчания снова попадет, оставшись один в Панкове, согласился. Милош усадил его в свою машину, свернул и вместил кресло-каталку в багажник, сам сел за руль, и они поехали.

Будапешт мгновенно влюбил в себя Диму: старинные подъезды с марроканскими лампами, маленькие магазины за железными жалюзи, пабы без кухни, где много пойла и больше ничего, лавки предсказательниц и гадателей таро, тату-салоны, клубы, фанаты, скины, бляди. Босс прикатил Димино кресло в старейший будапештский бордель с непроизносимым названием. Ведь то, что написано на вывесках на венгерском языке, невозможно прочесть правильно — наверное, даже Бог путается в их падежах, склонениях и дифтонгах. Охранник помог Боссу затащить кресло по лестнице. В этом борделе Босс оставил его, и вернулся лишь через два часа.

В борделе Диму обхаживали обаятельные стриптизершы с силиконовыми частями тела и осанками балерин. После они с Боссом сели в ресторанчик у драматического театра. Выпили сливовой паинки, ели гуляш, потом в ресторан завалилась шумная компания. Судя по виду — театралы: лощеный жиган, актрисульки, усатый режиссер со студенткой-ассистенткой.

— Я понял, что нам нужно, Босс. Я поставлю спектакль. Вот с теми шлюхами, Босс. Ты видел их? Ты их видел? Вся Европа будет нашей. Она уже наша, осталось ее только взять.

«У меня появился серьезный повод обратиться к тебе, — писал Дима своему продюсеру в Москве, — все мы стоим на пороге страшной трагедии, в то время как я решил поставить об этом спектакль в одном маленьком будапештском театре».

Продюсер Женя, как всегда, решил, что Дима чокнулся, но Дима еще никогда его не подводил. Он сел на поезд «Москва—Будапешт» и приехал.

Вместе они нашли крохотный подвал, полусквот, располагавшийся в бывшем нацистском бункере, переосмысленном в кабаре. Там можно было снимать помещение практически за идею. Отбить денег от затеи шансов практически не было, но Женя, хороший и преданный друг, видел, что иначе Диму можно было потерять навсегда, ему необходимо было занять себя работой, чтобы не наложить на себя руки из-за своей временной ограниченности. То, как изменился Дима, сразу бросалось в глаза: он стал нервным и импульсивным мизантропом. Они договорились, что потратят на постановку не больше трех недель. Дольше у них просто не хватило бы денег. Они сняли одну на двоих старенькую квартиру, и стали жить только театром.

Спектакль назвался «Дон Мурло и Радуга». Шляпы с плюмажем, грубые женщины, которые, не боясь показаться вульгарными, закидывают ноги на кулисы и плечи партнеров. Мужчины в котелках и с венгерскими усами.

— У нас должно быть больше усов, больше котелков, — повторял Дима. — Мы их вздрючим, всех вздрючим.

Потом он подходил к каждому персонально:

— Ты поняла? Ты поняла хоть, чего я добиваюсь от тебя? Мне нужна страсть, которая сжигает изнутри. Ты знаешь, что это такое? Страсть, а не танец ковырялочка.

Сначала над Димой исподтишка подсмеивались, перешептывались, но он был заражен тем, о чем говорил, он давил всех по одному, и ни у кого не находилось ни сил, ни профессионализма, чтобы сопротивляться.

— Вы делаете последнее шоу на планете Земля. Последнее, что увидят люди перед тем, как все разлетится к чертовой бабушке — ваши ноги и сиськи. Мы все взрослые люди, давайте не будем делать вид, что это кого-то смутит.

Они наняли шестерых актеров из той компании, что Дима и Босс встретили в тот

день в ресторане. Одна из путан тайком приходила к ним на репетиции. Женщины из местного варьете слышали фамилии Станиславский и Чехов, и, скорее всего, поэтому сочли за честь поработать с русским режиссером.

Выпал снег, редкий европейский снег — деликатесный, на вес кокаина. Прохожие и животные ополоумели от него, позавязывали шарфы, выпучили глаза, чтобы получше разглядеть. По поводу спектакля случилась встреча с журналисткой. Пришла вчерашняя студентка, обозревательница какого-то глянца, освещающего городские события недели. Дима, брызгая слюной, проповедовал ей:

— Меня не привлекают ни море, ни пустошь, ни речки, ни овечки. Меня, как режиссера, привлекает только розовое и сладкое человеческое мясо.

Он распалялся:

— Только молоток для колки льда может противостоять совести.

Наступил день премьеры, Дима крутился на колесах между гримеркой и рубкой осветителя, проверял и надзирал, но все давно шло по накатанной. Сначала ты тянешь спектакль на гору, но как только механизм заведен и все до одного человека завербованы, он начинает создавать себя сам, со скоростью несущейся с горы, ворованной из супермаркета, нагруженной доверху тележки.

В ожидании Дима попросил вывести его на воздух, чтобы перевести дух и порасскинуть мозгами. Ассистент хотел составить компанию, но Дима попросил оставить его в одиночестве.

Он закурил шестую сигарету. Между ним и здравым смыслом — метр чугуна. Хорошо вот так сидеть на улице — только, как ток в обледеневших проводах, в пальцах назойливый тремор. Глаза устают, от этого постоянно хочется их потереть, и переносицу, и лоб тоже, и, может быть, подрать ногтями макушку под волосами, но те, кто рядом, могут решить, что чесотка. Да и черт с ними, пожалуй, стоит и подрать. Скоро станет понятно, что его работа — никому не нужные несколько тысяч слов, пустота, умноженная на число с тремя нулями. Но пока об этом стоит заткнуться.

По пузырящемуся тротуару прогуливалась пара, на поводке у женщины косолапил лохматый, размером с теленка, сенбернар. Его нежно-розовые десна выглядывали из-под щек, его стекающая морда сильнее других частей тела во власти сил земного притяжения. Медведь, настоящий красавец.

— Боже, сенбернар, — подумал Дима. — Я так давно не видел сенбернаров. Спаси, спаси меня, мохнатый сенбернар.

Потом бросил окурок в снег — тот сам проложил себе тоннель в глубину. Пошевелил пальцами ног. Стоп, разве такое возможно? Дима попытался приподняться на ручках кресла и слегка опереться на ноги. Мышцы впервые за долгое время не протестовали, в них было достаточно силы, чтобы удержать его. В них было столько скопленной силы, что можно было сломать столб, если разбежаться и пнуть. Дима встал рядом с креслом, ощупал затекшие, словно зачехленные на зиму колени. Плед, которым его укрывали, теперь упал и лежал на мостовой, рядом. Дима немного постоял, помялся. Как теперь объяснить это остальным? Зашел в предбанник перед входом — постоял, помялся и там. И вдруг понял — это стало очевидным — что давно сошел с ума. «Ну и ну», — подумал Дима и пошел куда-то наугад.

Денис Гуцко

Бета-самец

Роман

Часть третья

Зимовка

Под фиолетовым холмиком глаза вовсю орудовал проснувшийся еж, обустраивался в новеньком жилище. Тесновато, но если постараться — поднажать спинкой, поскрести лапками, — можно устроиться чуть просторней. Главное, сообразил Топилин, не переводить здоровый глаз с одного предмета на другой слишком резко. Еж тогда пугается, распушает иголки. Двигать оставшимся глазом следует плавно, а лучше поворачивать голову.

По дороге Топилин заглянул в «Просто аптеку». Простоаптекарше в том виде, в котором он перед ней предстал, Топилин не понравился. В ответ на его просьбу посоветовать что-нибудь для бедного глазика она брезгливо послала его в поликлинику. И эта брезгует. Впрочем, как иначе? Брезгливость — норма жизни. Все брезгуют всеми. Любой посторонний вызывает брезгливость неодолимую, всепроникающую. Брезгливость пронизывает здесь все — как магнитное поле. Брезгуют здороваться, заговаривать, смотреть. Иметь что-то общее, одно на всех — брезгуют больше всего. Смотришь на них: как брезгливо перемещаются они по собственноручно загаженным улицам, как стоят на остановках, брезгуя смотреть на себе подобных, как говорят с собственными детьми, как едут в набитых маршрутках, от попранной брезгливости страдая невыносимо, как заходят в лифт, как сидят за соседними столиками в ресторанах, как заправляют машины, как они молчат, как спрашивают дорогу, как покупают, как продают, как требуют долива пива после отстоя пены, — и брезгуешь принимать их всерьез.

Эти? Шутишь. Да кто они такие?!

Купил просто бодяги. Единственное средство от синяков, которое сумел вспомнить.

Испачканную одежду снял в гараже. Разделся до трусов. Одежду отбросил к летним покрышкам.

Прижимать примочку к глазу быстро наскучило. Сделал себе марлевую повязку.

— Вот пуля пролетела и ага, — напел он, любуясь собой в зеркале.

А еще бывает, продолжил он тему, навеянную простоаптекаршей, еще бывает, один из них звонит другому из них, и тот другой из них, которому звонят, вдруг меняет лицо неузнаваемо — так, что пугаешься от неожиданности; он расплывается счастливой улыбкой, сладостно прижимает телефон к уху и громко, так, чтобы слышали все другие, которые вокруг, говорит: «Рад тебя слышать, брат! Как дела? Когда увидимся, брат?» Чудо! Другой, который в телефоне, каким-то образом умудрился сломить его брезгливость. Телефонный припадок братства заканчивается, поговоривший приходит в себя. Лицо гаснет, улыбка прячется за сдвигающиеся хитиновые чешуйки.

Окончание. Начало см. «ДН», 2012, № 10.

Стоя с очередной сигаретой у окна, видел, как проехал к своему дому Антон. Заметил свет в его окнах — издевательски посигналил.

— И тебе приятных выходных.

Антон сделает, как обещал: разберется до конца. Интересно, как именно? О фирме можно забыть, понятно. Долю свою продать не даст. Но наверняка будет еще что-то, контрольное в голову.

«Все эти годы чувствовал, что ты гнида в маске» — или как он сказал? Как бы там ни было в оригинале, «гнида в маске» симпатично.

Да, не вышло ничего. Всю жизнь только того и добивался, что учил себя спасительной простоте. Проще, Саша, как можно проще. Без нравственных причуд, без хотелок нереальных. Без возвышенных излишеств, от которых квелые души пучит, как слабый желудок от экзотического блюда. И вышел полный пшик от твоей простоты. Вонючий зело. Несварение жизни, Саша. Чем лечить, непонятно.

Не дождавшись действия обезболивающего, смешал себе джина с тоником. Повязку снял. Дыши себе, ежик.

Ладно, выяснили: жил вторым номером. Чужим пробавлялся.

Но какой был выбор, Саша? И когда был упущен, черт возьми? Где приключился подлог?

На виду лишь визит рэкетирской делегации. Но ведь смешно полагать, что — именно тогда. Что вчерашние пэтэушники унесли в бездонных карманах своих адидасовских курток настоящую жизнь, подкинув взамен туфту.

Эй! А ну положь где взял!

Ерунда. И не было никакого подлога. Сам отдал Литвинову: держи, Антоха, верю в тебя, распоряжайся. Инвестировал — и угадал же. Угадал, дивиденды получил немалые. Так ведь цель и была такая: деньги и свобода. Не та площадная свобода, которой подманивали в стойла испуганное разбежавшееся стадо, а реальная, подкрепленная твердой валютой.

Допустим, согласился бы отстегивать прыщавым быкам из «Якоря», не побежал бы к Антону, попросту не нашел бы его, не встретил возле «Версаля» — и что? Здравствуй, моя настоящая жизнь? Все пошло бы иначе: суетись, буржуйчик, плати быкам, не забывай ментов... а там одну крышу сменит другая, потом этих перестреляют, тех пересажают... налоговая полиция, вместо быков — маски-шоу... И это в лучшем случае, если успел подняться. Если не успел — точка. Большая жирная точка. Двери захлопнулись. Стой, не дергайся. Ковыряйся за грошовую прибыль, пополняй местный бюджет — и завидуй тем, кто умело его приходует. Шансы вырваться своими силами из мелких лавочников, по всему судя, были мизерны.

И вот тут — надо же, какая встреча — привет, Антон, давно не виделись. Сколько лет, сколько зим. Отлично выглядишь. Чем занимаешься, как поживаешь? Я? Да так, не жалуюсь... Комфортабельное стойло, первосортный корм — не то что у этих, из общего коровника. Пора бежать, дела? Конечно-конечно. Рад был встрече. Забегай, если что... Мууу!

Ближе к вечеру Топилин вспомнил о мешке, оставленном в багажнике. Спустился в гараж, вынул его и принес в каминную комнату. Стол пришлось расчехлить, обнажить беспомощно перед коварной пылью, невидимо затаившейся в воздухе.

Гардероб был пестрым. Двубортный костюм — среднестатистический, из средней паршивости ткани. Сшит в любореченской фирме «Саншайн Престиж». Владелец фирмы Александр Шанин — Саня Шанин, бывший зэка по части инвалюты. Обожает проводить планерки матом и метать в нерадивых подчиненных пепельницами. В кругу своих, однако, цитирует Шекспира — пять-шесть сонетов он знает наизусть. На светских застольях, при расфуфыренной жене под боком, может начать рассказывать, с вызовом глядя собравшимся в глаза: «Когда меня в тюрьме изнасиловали в первый раз...» Интересный Саня Шанин, сумасшедший, но живой.

Далее. Две пары брюк. Ничего примечательного, этикетки липовые, сшиты подпольно. Куплены скорей всего на вещевом рынке «Атлант», который держат братья Шахназаровы, вольные борцы и большие филантропы: известны своими новогодними пожертвованиями на детские дома.

В брюках тихонько звякнули ключи. Вынул, вытащил из мятого клетчатого платка, в который они были завернуты. Один ключ массивный, с длинной рельефной бородкой, побуревший от времени. Второй плоский, с треугольными зубками в обе стороны.

Футболки, четыре штуки. Махровые перчатки. Такие до сих пор можно увидеть у

почитающих свободную торговлю бабушек выложенными возле горок чеснока и бочковых огурцов.

Кроссовки «Найк», сорок третий размер. На размер больше топилинского. Жаль, что не «Адидас». После встречи с рэкетирами из «Якоря» Топилин питает слабость к этой марке. Если бы оказались «Адидас», можно было бы принять это за знамение и долго его расшифровывать. Правда, ежик?

Шерстяную водолазку темных тонов Топилин приложил к плечам, примерил. Великовата, но сойдет. Когда-то носил точь-в-точь такую.

Две настоящие, новенькие сорочки «Хуго Босс» Топилин выложил на стол, не разглядывая. Интересно, как Анна смотрела на то, что Сережа купил себе «Хуго Босс»? Сама она ни разу не шиканула перед Топилиным в дорогом и стильном. Даже когда траур сняла. Вряд ли пилила его за это, на нее не похоже... но скорей всего огорчалась. Как она себя вела, когда они ругались? Уж не у окна ли стояла? А Сергей — тот, скорее, метался. Пинал некстати подвернувшийся стул, стучал кулаком в прабабкин стол, пытаясь выбить из клокочущей пустоты самое точное, самое ядовитое слово.

— Как камень на шее, — кричал. — Ты как камень на шее, не дернешься. Из дурости живу с тобой.

— Жил, — поправляла она негромко.

— Что? Что ты сказала?!

А она не отвечает. Смотрит на него и не отвечает. И так ложится свет на ее лицо, что он не может разглядеть — как она на него смотрит. Не видит, как в оливковой ее роговице он падает навзничь... летит спиной вперед, широко раскинув руки, округлив бубликом рот. И не поняв ничего, не разглядев — а может быть, наоборот, разглядев наконец слишком разборчиво, он бросается к ней, словно усталый, затурканный салажонок на амбразуру...

Отодвинул от себя тряпье.

Скучно без чужой жизни, да? Пристрастился ты, Саша.

Среди ночи распахнул здоровый глаз, уставился в темноту. Разбудил при этом ежа. Тот всполошился, истыкал полголовы иголками. Прижал ежа ладонью. Тихо ты, успокойся.

Сна как не бывало. Будто так и пролежал тут полночи, ворочал мысли свои негабаритные, муздыкался с ними так и эдак, пытаясь хоть как-то рассовать-пристроить.

Самое мерзкое из предстоящего — встреча с Антоном. А без этого не обойтись никак. Тот и в армии любил встретиться с тем, кого недавно отоварил: поговорить, в диалог втянуть пренепременно — выяснить планы на жизнь, уточнить, понятно ли, за что получил. Общителен Антон после драки. Истинный альфа-самец: не просто так подминает, с перспективой. <...>

Принял горячий душ. Выпил кофе, стоя у окна, глядя в растекающуюся над синей рощей молочную струйку. Затопленные этой струйкой звезды нервно мерцали, отбивали тревожную морзянку. Приготовил вторую чашку. Допив, подумал, вытащил провод кофемашины из розетки, отправился в каминную.

Одежки Сергея скинул обратно в мешок, сверху пристроил кофемашину. По условиям игры одну вещь можно взять с собой. Не считая сигарет. И теплых носков, и шапки. Ну, еще белье... мыло... шампунь. И бодяга.

Набралось две сумки, считая провиант. Но в главном Топилин остался непреклонен: переоденется в Сережину одежду.

Выбрал саншайновский костюм. Все должно выглядеть торжественно и чинно. Это не бегство, а организованное отступление. Временно. До подхода основных сил. Рукава длинны, сидит мешковато. Но в целом не так ужасно, как ожидал. Правда, кроссовки под деловым костюмом делали его похожим на начинающего бомжа. Но это мелочи в сравнении с исполинским страхом, который моментально вырос за спиной, как только он надел на себя одежду того, из-за кого четко отлаженная, идеально функционировавшая жизнь, плод кропотливого труда и тошнотворных компромиссов, размозжилась в мелкие дребезги, на полном ходу влетев в коварный мертвый тупик.

А что, если этот путь не имеет ответвлений? И приведет туда же, куда Сергея привел?

— Можно, конечно, прогнуться, — сказал он одноглазому человеку в зеркале. — Извиниться. Будет не намного противней, чем было. Не намного унизительней. Не ты один такой, чего...

Постоял, послушал — что там, внутри? Вроде ничего. Только страх. Нормально для сорокалетнего труса. Главное — не делать ничего под его диктовку.

Любореченск у него за спиной сиял гигантской рухнувшей люстрой, в «Яблоневых зорях» было темно по-деревенски. Никакого электричества. Лишь луна из-под плотных облаков.

На въезде шлагбаум, закрытый на обычный навесной замок. Граница. Город — кирдык. Дальше — настоящая глушь, исконная, не приукрашенная провинция. В нескольких дворах лениво тявкнули собаки. Топилин бросил машину на обочине: утром загонит, когда проезд будет открыт или сторож объявится, поднырнул под шлагбаум и пошел, время от времени выставляя вперед руку. Отвык от такой темноты — слепой, сплетенной с тишиной в единую ткань. Та самая — глухая дремучая тьма, сосущая мозг через беспомощный зрачок. Невнятные шепотки ветвей, блики и царапины света — для того только, чтоб подманить, помочь тебе кануть в беззвучную беспросветность. Где-то в ней посеяны люди — разные, но одинаково страшные. Жестокие, несчастные, глупые и всезнающие, мятущиеся и тонущие в скуке, даже влюбленные — и те страшны. Люди из темноты. Прорастают тихонечко, впитывают силу. В чем сила, брат? Ответят каким-нибудь штампом лубочным. Но вдруг шагнет тебе навстречу другой, промолчавший — и нож под ребро. Или потребует спасти его самого — запросто, будто он и впрямь тебе брат. Может вежливо спросить, который час — но и это не просто так, а непременно напугав тебя до смерти. Так-то. Провинция: привет из мрака. Здесь вам не тут. Отсюда — туда, незнамо куда. За семь морей, в огонь и в воду. Поди, в ногах-то правды нет. На семи-то ветрах все за семью печатями. Потому и некому нашего чеботаря перечеботарить, а колпак его — перевыколпаковать.

Чтобы рассмотреть номера и названия улиц, приходилось подходить вплотную к воротам. Кое-где просыпались собаки, и тогда тишина взрывалась пронзительным лаем. Собачьего концерта от края до края, впрочем, не случилось. Теперь и собаки сами по себе.

Номер сто тридцать два по Окраинной улице обнаружился в самом конце поселка. Озяб, пока шел. Справа соседский участок, слева вдали — военный аэродром. Двухэтажный кирпичный домик. Сбоку прилеплен металлический гараж. От ворот до крыльца — утоптанная тропинка. Другая — от крыльца за угол дома. К туалету, догадался Топилин.

Как он тут вообще жил, вчерашний сочинитель рекламы? Как и чем здесь можно продержаться полтора года? Деньги у него, наверное, оставались. От тех сбережений, которые растренькал на дурацкую журнальную затею. Но чем тут заниматься? Утро и целый день, и потом долгий неподвижный вечер.

Голосовал ли он на трассе попуткам, когда все-таки отправлялся в город? Или шагал по обочине к автобусной остановке, не глядя на проносящиеся мимо машины?

Участок обнесен рабицей, натянутой на вкопанные в землю обрезки труб. Навесной замок. Старый, массивный. Лег в руку, как холодная металлическая лапа. Возвращался, брал эту увесистую лапу в свою ладонь. Чаще всего мрачный. Особенно если от Анны.

Кстати, обзавелся ли он другой женщиной? Женщинами?

Входил, не глядя на свой лоскут земли, — и сразу в дом... Земляное, дачное совсем не интересовало его. Творческая, стало быть, личность... творец в изгнании. Как жилось ему в цитадели обиды? Походка размашистая — так он шел навстречу вывернувшему из-за угла «лексусу», так проходил и эти двадцать шагов к крыльцу.

Топилин вставил ключ в замок.

А вот оно и дно. Располагайся.

Первым делом пришлось поработать в гараже. Раз уж есть гараж, машину с утра лучше загнать внутрь, чтобы не выдавала. Раскидал по углам разнообразный хлам: рейки, лопаты, бидоны, ржавые ведра, ящики и еще бог весть что, покрытое плесенью и утратившее узнаваемый вид. Заодно согрелся.

Грязную работу Сережа не любил.

Хорошо ему было вначале. Особенно в девяностые, когда по серым советским улицам Любореченска покатились первые карнавалы рекламы. Сам Топилин тогда полной грудью вдыхал разогретый ацетон, клея самопальные кроссовки, а вслед за этим по крохам выстраивал собственный кооператив. А Сережа, модный создатель билбордов и баннеров, уже смаковал вкуснейшие творческие деньги и говорил с прохладцей клиентам: «Нет, раньше никак. У меня очередь. — И еще, строго так, говорил: — Я не прикоснусь к чужим эскизам. Я все делаю сам, с нуля». Стращал

начальство собственным увольнением, в плохую погоду брал до работы такси. Думал, так будет всегда. Но потом подползли другие времена — нынешние. Времена серых квадратных людей, обожающих складывать в бесконечную мозаику безупречные серые квадраты. И закончились кормившие Сережу карнавалы. Потому что сотворить серый квадратный билборд может любой балбес. За три рубля, между прочим. И лучше уж делай, как просят. И вообще здесь никого не держат.

Топилин встал на крыльце, прикурил. Не торопился входить — втискиваться в этот кирпичный пенал с видом на вертолетное поле.

Мог бы запросто оказаться на его месте, да. Закончил бы художественное училище, перед дипломом и сразу после — курсы по изучению графических редакторов. И вперед, к вершинам билбордов.

Как здесь жить, однако? Без всего? <...>

Ладно — без всего. Дело привычки. Но ради чего? Приперся сюда ради чего? Предстояло придумать — ради чего жить. Давненько этим не занимался.

Рассвело. Солнце размазалось по фарфоровому небу бледным желтком. По тугому ноябрьскому воздуху время от времени прокатываются огромные жестяные бочки: далеко, на противоположном краю вертолетного поля прогревают моторы.

— Хорошо, что он здесь собаку не держал, — сказал Топилин, накрывая ладонью подмерзшего своего ежика. — Пришлось бы зверушкам привыкать друг к другу.

Достал телефон. Вытащил из телефона сим-карту. Подержал на ладони. Крошечный невесомый прямоугольник, старый привычный мир. Бросил симку себе под ноги. Посмотрел на нее, как она торчит из раскисшей земли хрупким ноготком, отчаянно зацепившимся за край. Поднял, сунул в карман: мало ли, пригодится... Вставил новую сим-карту, позвонил маме.

— Слушаю.

— Это я, мам. Не разбудил?

— Нет, я уже проснулась.

— Это мой новый номер. Сохрани, пожалуйста.

— У тебя номер новый? А на старый больше не звонить?

— Мам, меня не будет какое-то время на связи, ладно? Я тут в область уезжаю. Заброшенный хутор, телефон толком не ловит. Отдохнуть хочу. От всех подальше.

— Давно пора.

— У тебя с деньгами как?

— Нормально. С деньгами нормально.

— Я буду названивать, но не регулярно.

— Как обычно? Или еще нерегулярней?

— Как обычно. — Подумал, спросил как бы между прочим: — Как там Зинаида? — Мама молчала. — Алло, мам?

— Сынок, у тебя все в порядке?

— Почему вдруг спрашиваешь?

— Потому что ты вдруг про Зину спросил. Впервые, кажется.

— Подумаешь, спросил... Нормально у меня все.

— Видимо, врешь. Ну да ладно, лишь бы на пользу. Ты уверен, что не хочешь мне рассказать?

— Ага, уверен.

— А с Зиной все как обычно. Только почки немного застудила в гостях. На балкон выходила, а там ветер. Говорила ей: не выходи раздетая...

— Остальное, значит, в порядке. Вот и замечательно. Пока, мам. Целую.

— И я тебя. Не пропадай, сынок.

Отключил телефон, батарею вытащил: кто его знает, насколько настойчив окажется Антон. Может попросить людей в погонах, те вычислят по сигналу. Пропах он Антоном Литвиновым насквозь. Всюду он. Вездесущ, как строительная пыль. Изжить бы. На первое время, глядишь, и хватит.

Стоило Топилину перешагнуть скрипучий порог, из каждого угла на него хмуро уставились обитавшие там вещи — второсортные и несвежие. Выключатель щелкал, но матерая тьма его робкие щелчки игнорировала. Топилин включил фонарик в телефоне. Давно отвыкший обращать на отдельные вещи излишне пристальное внимание — разве что при покупке полюбуется, — Топилин все, что вплывало в луч фонаря, высовывалось навстречу открытому глазу, оглядел почтительно и даже как будто головой покивал, как делал, знакомясь с важной персоной. На первом этаже, где под лестницу втиснулась кухня, его внимания удостоились: сковорода (А, сковорода! Очень приятно, надеюсь, сойдемся), кастрюля (нужно будет замутить какой-нибудь

совместный проект — не против?), плита на газовом баллоне (О! Наслышан, давно мечтал о встрече) — ну и так далее: тарелки, полотенца... с остальными позже, если позволите.

На втором этаже его встретили кровать, стол со стулом, клетчатый плед на спинке стула, чугунная «буржуйка», простенький металлический сейф, оказавшийся к тому же незапертым. В сейфе ноутбук. Поспешил включить. Ура! Загрузился без пароля. На рабочем столе картина Аверкампа Хендрика «Зимний пейзаж»: крошечные голландские человечки катаются на коньках по заледеневшей площади... Пристроил ноутбук на кровать, на расстеленный спальный мешок. Сел рядом, выдавив из кровати оглушительный скрип. Поторопился Сережа, выставив на ноутбуке зимнюю заставку.

* * *

<...> Однажды — Анна тогда еще не успела решить, что все очень, очень серьезно, — Топилин заметил: он не чувствует ее запаха.

Это всегда было для него важно. Если женщина нравилась, ждал с волнением во время первой близости, когда парфюм иссякнет и он впервые вдохнет ее собственный запах. Многие романы заканчивались на первом вдохе. Угадать невозможно: свежайшие с виду красотки, случалось, пахли прокисшим борщом. С другими, чья внешность притягивала его несильно, Топилин задерживался ради вкуснейшего утреннего запаха, то с прозрачной кислинкой, то горько-сладкого. С Анной и здесь было необычно. Она вообще не пахла. Для него, по крайней мере. Просыпались рядышком утром, когда духи вытерты о простыни, о кожу его — и она не пахла.

— Ань, не могу понять. У тебя нет запаха.

— Договаривай, чего уж. Ань — прозрачная жидкость без вкуса и запаха...

— Ну, Ань!

— А, точно! Извини. Правильно говорить: Нуань — это с древнекитайского. Прозрачная жидкость без вкуса и запаха...

— Да погоди ты! Дело в том, что ты первая женщина, запаха которой я не чувствую.

— Да ты что? Ай-ай, некомплект. А нужно, да? Может, меня начать кормить чем-нибудь? Не знаю... чем-нибудь с запахом... ананасами там, малиной или, наоборот, солеными огурцами, воблой, но от этого жажда, а мне по ночам в туалет далеко. Шоколадом можно. Тебе вообще какие запахи нравятся?

— Перестань кривляться, — прошептал он, уткнувшись в ямку под теплым маленьким ушком. — Сама знаешь, почему так. Все это знают. Тем более парикмахерши.

— Что сама знаю?

— А все. — Он тронул губами шею. — Я потому не чувствую твоего запаха, что ты совсем своя. Родная. Как оказалось... Я же своего запаха не чувствую. Вот и твоего тоже. Где ты? Где я?

Рассмеялась тихонько и больше уже не болтала об огурцах и малине.

Скучал по ее умению отмолчаться в важный момент: сколько всего ненужного рассыпалось об это молчание, сколько по-настоящему важного не затерялось в лишних словах.

Помолчав, поцеловала его коротко в губы, села сверху.

— Да вот же. Вот ты. Вот я.

Ничего подобного он не ожидал: диковинное чувство пиетета ко всему происходящему с ним сию минуту, здесь и сейчас, переполняло Топилина. Пиетета на первый взгляд беспредметного, поскольку пробуждала его любая мелочь. Разводил огонь в печке, намазывал масло на зачерствевший на сквозняке хлеб, кипятил воду в закопченном чайнике, вытирал пыль, мыл полы, затыкал бинтами щели в оконных рамах — все откликалось в Топилине этим выспренним, смущавшим его чувством. Впрочем, и мелочи заметно подросли в цене. Не натаскает дров — будет мерзнуть: газом не натопишь, да и баллон почти пуст. Не вымоет пол — начнет предаваться страданию: вот развел же ты, Саша, свинарник. Позавтракает слишком рано — быстро проголодается, придется рано обедать, вечером возжелает плотного ужина, а привезенные с собой продукты нужно растянуть еще хотя бы на неделю, пока окончательно сойдет синяк под глазом. Не хотелось снова показываться в Любореченске в таком виде.

Так что же дальше? Ради чего и куда?

Очень выручал Сергеев ноутбук, в котором Топилин обнаружил массу фотогра-

фий, еще на какое-то время занявших его внимание. Вертолетное поле под разными углами, в разных нарядах: вечерних — пурпурных и синих, будничных — черно-белых. Дачи. Кривые заборы. Бочки для полива с одинаковой надписью «Соляра, в/ч 31278». Рассохшаяся кадушка, в щелях которой поселился мох. Кровать с шишечками на остриях спинок и просевшей до земли сеткой, на которую выложены оранжевые тыквы. Фотосессия ворон: вороны на ветках, вороны на снегу, клюют, целятся зрачком в объектив, кичатся крыльями. Пятнистая дворняга по имени Боб, как следовало из названий файлов. Много портретов. По большей части люди пролетарского вида. Кто-то раскрылся — и лезет взглядом в душу. Другие зажаты, глядят бессмысленно, как из паспорта. Чаще всего Сергей фотографировал их за работой. Автомастера на фоне гаражей, вымазаны машинным маслом. Портные обоего пола — эти сняты в производственном интерьере, среди швейных машинок и раскроечных столов. Портреты портных особенно удачны. Образцово-показательные портные — любо-дорого.

Участок Сергея располагался на приподнятом крае поселка, немалая его часть как на ладони. Первая же прогулка убедила Топилина в его открытии: «Яблоневые зори» — царство гаражного бизнеса. Ближняя к трассе линия почти сплошь состояла из гаражных мастерских. В двух-трех дворах, судя по обилию коробок и ящиков, выложенных высокими рядами, торговали овощами и фруктами. В одном пекли осетинские пироги. Хотя кто их покупал, для Топилина осталось загадкой: ни разу не видел, чтобы возле пирогов остановилась проезжающая машина. Собственные огороды были запущенными и часто завалены автомобильным хламом: битыми бамперами и крыльями, изношенными покрышками. Где-то в глубине поселка располагался и тот наверняка нелегальный швейный цех, в котором Сергей фотографировал портных.

Анна не отпускала. Все мысли стекались к ней. Старался, как мог, отвлечься. Сейчас важно было отдалиться от всего, что осталось в Любореченске. Чтобы не бежать по кругу. Чтобы прорваться.

Снилась часто. Сны без сюжета. Стоит, смотрит...

Сразу после краткосрочной простуды, когда, устроившись на стуле, приставленном спинкой к перилам крыльца — так, что вытянутые ноги удобно улеглись на противоположные перила, — Топилин наслаждался исходом болезни, вкусом капуччино из кофемашины и первой сигаретой, от которой приятно кружилась голова, во двор сквозь дыру возле ворот прошествовал Боб. Топилин узнал его сразу. Чертыхнулся про себя: «Значит, был у него пес. Приперся все-таки...» Первую минуту знакомства Боб с крайне удивленным выражением на крупноватой бело-рыжей морде изучал сидящего на крыльце незнакомца в знакомой одежде. «Ты кто?» — гадал он, задумчиво подергивая кончиком хвоста.

— Чего надо? — осведомился в свою очередь Топилин, и, едва прозвучал его голос, Боб залился истошным лаем. Гавкая и повизгивая, нарезал по двору стремительные круги, время от времени подлетая вплотную к крыльцу: «Уходи! Уходи вон! Уходи сейчас же, захватчик!»

Собачья психоделия какое-то время смешила. Но уж больно громок был Боб.

Он умолк, стоило Топилину вынести из дома шмат колбасы. Пес разделался с колбасой прямо на крыльце, умудряясь при этом многозначительно заглядывать Топилину в глаза: «Другое дело. Так ты здесь новый хозяин? Я тут питаюсь, имей в виду».

Мама говорит, Антон звонил несколько раз.

Сначала интересовался как бы между прочим. Потом стал налегать: куда Саша подевался, срочно нужен, где его найти? Разволновал маму. Мама заключила, что у старинных партнеров приключился обычный буржуйский разлад. Кое-что о жизни по законам барышей и чистогана мама знала: однажды деньги перестают делиться на два — и друзья превращаются во врагов.

— Ты поэтому и спрятался? Ты ведь не станешь строить козни. В тебе-то я уверена... А он, видимо, затеялся с тобой враждовать. Так? — Чувствовалось, что мама готовилась к разговору. — Саша, ты в серьезной опасности? Скажи... То есть... в криминальном смысле?

— Нет, мама, — ответил он искренне. — В криминальном — это вряд ли. Не волнуйся.

— Но Антон за тобой охотится? Мне так показалось.

— По-дружески. Просто соскучился.

— Саша, можно я к тебе приеду? Ты далеко?

— Не очень, мам... Но не надо ко мне, ладно?

— Как всегда.

— Ну почему же «всегда»?..

— Саша, я не буду взывать к твоим сыновним чувствам, жаловаться на свои переживания. Сам все понимаешь. Раз ты прячешься, значит, тебе так нужно. Значит, я потерплю. Подожду, пока у тебя все утрясется. Но ты не пропадай, пожалуйста. Присылай мне каждый день что-нибудь — письмо или эсэмэску. Хорошо?

— Хорошо.

— Саша, вот еще что. Если речь о деньгах, то просто отдай их. Просто отдай и все. Не нужно из-за денег...

— Хорошо, мам, как скажешь.

Топилин усмехнулся, повторив про себя: «Отдай и все». Даже обидно. До сих пор мама преспокойно принимала те самые деньги, от которых сейчас с не меньшим спокойствием предлагала отказаться. Не что иное, как деньги, добытые им в расчетливой дружбе с Антоном, превратили тягостный уход за Зинаидой в предприятие, не чуждое комфорта. Врезаны в крест удобные мягкие поручни, облегчены балки, уменьшена нагрузка на позвоночный столб... появилась возможность поставить свой подвиг на паузу и передохнуть... Периоды обострения можно пережидать в клинике именитого профессора, а не в бесплатной клоаке с общими палатами и горластыми медсестрами.

Будто подслушав его мысли, мама продолжила:

— Саш, не сомневайся. Мы с Зиной вполне сможем жить, как когда-то. Бедно. А ты, Саш... ты новые заработаешь...

— Как скажешь, — хмыкнул он уже в голос.

Что задевало его особенно глубоко — он понимал, что так и будет: она сможет. Сможет без сиделок и отдельных палат и запросто вернется к сухарям и овсянке, и будет ходить за бедной Зиной до самого конца.

Знать бы, что и сам сможет — начать жизнь заново. И, что немаловажно, начать свою собственную.

— Сашенька, расскажи хотя бы в двух словах, что у вас случилось.

— Мам, ничего из того, что ты себе придумала. Никаких дележей.

— Правда?

— Мам... Я тебе потом расскажу все. Обязательно. Когда сам разберусь. А насчет пожить бедно, так это ты не переживай. Это очень даже может быть.

Когда подсохла намокшая из-за забитого желоба стена, Топилин сумел частично ответить себе на вопрос, чем занимался целыми днями Сережа. На фанере, которой была обшита верхняя комнатенка, отчетливо проступили матовые круги размером с кулак. Кругов было много, они сходились в большой круг, постепенно сгущавшийся к центру и детским солнышком лохматившийся по краям. Облезлый теннисный мяч с самого начала лежал на полке рядом со спичками и неработающим фонариком. Сунув под голову подушку, Топилин откинулся поперек кровати, запустил мячом в стену, и мячик послушно к нему вернулся, выбив из фанеры крепкий гудящий звук.

— Здорово.

Топилин метнул мячик снова, угодив на этот раз дальше от центра «солнышка», так что мяч пришлось ловить, оторвавшись от кровати.

— Еще и физкультура!

Следы от его бросков отличались от прежних более светлым оттенком и четким контуром. Особенно если смотреть сбоку.

— Идешь? — спрашивает он Боба. — Я за дровами.

Решил быть строгим хозяином. Но с Бобом это не очень-то проходит. На всю топилинскую строгость у него один ответ: я сам знаю, как лучше. Лежит себе на крылечке, постукивает по доскам хвостом. Дескать, а кто хозяйство охранять будет, пока ты со своими дровами? Иди уж, я как-нибудь один управлюсь.

— Знаешь, собака, вряд ли мы уживемся. Я из-за тебя на диету сел, а ты со мной идти отказываешься. Лентяй блохастый.

«Да иди уже, копуша». И Топилин уходит один.

Тонкий наст, хрустнув, проваливается и приглушенно трещит под подошвой. Вслед за этим с поднятой ноги осыпается скрытый под настом, подсушенный морозом снег. Можно не пробиваться через заснеженное поле, дойти до самой лесопо-

садки по грунтовым дачным улочкам. Но Топилин нарочно отправился напрямки. Весело идти вот так, почти вслепую, сощурившись до узеньких щелок в сверкающую белизну, похрустывающую, густо политую синим. Если перетерпеть резь в глазах, можно разглядеть впереди и саму лесопосадку, полуживую, чернеющую сухими скособочившимися деревьями. На ближнем краю лесопосадки — особенное место. Сейчас, под снегом, там почти ничего не видно — торчат кое-где цветастые пластиковые уголки, банки и бутылки. Но Топилин успел побывать там в дни оттепели, столь основательной, что снег стаял по всему поселку. Даже окраина вертолетного поля высовывала бурые земляные пятки из-под сползшего одеяла.

Зрелище, которое открылось Топилину среди иссыхающих деревьев, завораживало. Мусор застилал землю настолько густо, что местами скрывал ее напрочь. Картина для Любореченска обычная. Но всмотревшись, Топилин разглядел детали и, не в силах оторваться, пошел от ствола к стволу. Вперемешку с пивными жестянками, стекляшками, пакетиками из-под чипсов, сигаретными коробками и окурками под ногами у него морщились раздавленными червячками использованные презервативы. Другие были вдавлены в кору, резиновыми капельками болтались на кустах. Невысокое дупло заполнено слипшимся резиновым клубком. Надорванные квадратики упаковок — словно опустевшие скорлупки... Вряд ли в посадку наведывались с клиентами плечевые, промышлявшие на трассе. Скорей всего, относительно тихое местечко недалеко за городом, на отшибе, облюбовала неприхотливая любореченская молодежь. Топилин вспомнил, что часто по вечерам замечал искорки габаритных огней среди деревьев: «Занято», — сигнализировали они.

Возможно, трахнуться на этом пятачке — как сходить в модный клуб. «Ты ездил к дачам? Нет?! Ты что, чувак! Все наши там поперебывали». Это важно не меньше, чем разбираться в моде, в марках машин и мобильников, важно успевать отмечаться там, где поперебывали все наши.

Интересно, каково это — трахаться среди залежей резины, заряженной несостоявшейся жизнью? Тишина — и мертвые под ногами скользят. <...>

Войдя в лесопосадку, он быстро выбирает подходящий поваленный ствол, принимается обламывать ветки, наступая ногой в основании и оттягивая обеими руками. Их он заберет в следующий раз, связав с валежником, который подберет тут же. Некоторые ветки не желают ломаться. Недостаточно высохли. Топилин не упорствует: можно дотащить и так.

На обратном пути он выходит на вертолетное поле, на широкую тропу, прорвавшую снежный покров до самой земли, — там легче тащить. Тропа тянется вдоль всего поселка. То в утрамбованном снеге, то в обнажившейся земле встречаются следы подкованных лошадиных копыт. Перестук этих копыт будит Топилина по утрам, в начале девятого. Регулярно — в четные будние дни и в один из дней выходных. Гулкий ритмичный галоп слышен издалека. Гнедой конь довольно крупен, с красивой мускулистой шеей. Мощно выбрасывает ноги, сея во все стороны густые снежные вихри. Наездницу видно плохо. Только распаленные морозом пунцовые щеки. Остальное — карандашным летучим наброском. Но и этого достаточно: наездница прекрасна. Она проносится со стороны воинской части, обратно возвращается другим маршрутом, ближе к темнеющим на дальнем краю поля лопоухим вертолетным тушкам. Дачники говорят: новая полковничья жена. Летом вообще зрелище не для слабонервных. Грудь — как баскетбольные мячи. Конная прогулка у нее вместо зарядки, по возвращении она отправляется в спортзал. Почти всегда, если только не занят чем-нибудь неотложным, Топилин наблюдает за скачущей полковничьей женой из окна верхнего этажа.

В ноутбуке Сергея, в отдельной папке с мечтательным названием «Верхом», он обнаружил множество ее снимков, сделанных с той же точки. Она определенно занимала Сергея. Что, в общем, понятно: мимолетное вторжение сказки не может не занимать человечка из домика-пенала. Сергей надеялся, видимо, сделать хороший снимок. Но ракурс был неудачный. Слишком далеко, высоко — линии под этим углом спрессовывались, теряли экспрессию. А Сережа оказался слишком застенчив: так и не вышел в поле, откуда наверняка открывался желанный вид на краснощекую всадницу.

Топилин пожалел, что не прихватил своего фотоаппарата: Сергеев был разбит во время ДТП и остался в качестве вещдока у капитана Тарасова. Было бы интересно сделать то, чего не решился сделать Сережа, — подкараулить ее в поле, поймать в объектив струи пара из конских ноздрей; выброшенные широким махом копыта, натянутые коленями трико, сапожки, вставленные в поблескивающие стальные стремена, и колючий внимательный взгляд из-под высокого жокейского шлема.

Сергею недоставало куража, чтобы преуспеть в роли папарацци. С куражом была у него напряженка.

Пресловутую рекламу, вознесшую когда-то Сергея Митрохина на профессиональный Олимп, Топилин в ноутбуке не обнаружил. Даже в корзине. Пусто. Все удалил. Видимо, Сережа действительно верил, что начал новую жизнь.

Топилин тщетно пытался понять, в чем она состояла. Попробовал примерить ситуацию на себя. Полтора года в дачной глуши... Рассуждая здраво, вряд ли протянешь полтора года на одном только благоговении к сбору дров и намазыванию масла на зачерствевший хлеб. Должно за этим что-то следовать.

В голове его вертится назойливая мысль: случался ли у Анны с Сережей секс, когда он приходил к ней из «Яблоневых зорь»? На ночь принципиально не оставался. Но пятиминутки страсти вполне могли иметь место.

А вдруг — ведь глупо же верить в собственную исключительность в отношениях со зрелой женщиной — вдруг в какой-то из своих визитов Сергей тоже взял ее нахрапом?

Ему показалось, конечно, что — силой. Анна позволила ему так думать.

Наверняка не смотрел ей в глаза, где жалость и собранность, и безнадега волчья, тянущая душу, и черт еще знает что, страшное и ослепительно нежное.

Позволила ему так думать. Позволила ему...

Топилин прекрасно помнил, как это выглядит. С Сергеем было бы так же.

Сунула себя алчущему, перепуганному: «На! На, не плачь».

* * *

Черные груди сопок. Гладкие, с приплюснутыми вершинами. Груди со спрятанными сосками. Теперь я знаю, что бывают такие. Старшина Бану завел в военном городке женщину с такой грудью. Тоня — новенькая продавщица в военторге. Каждый день Бану рассказывает о ней в столовой. Взахлеб, подкатывая глаза и причмокивая мясистыми губами. В ключевых местах подкрепляет рассказ жестами — вроде тех, какими пользуются рыбаки, описывая чемпионскую рыбалку. «И тут она разворачивается. Уууу, как-кой вид. Стоп, говорю, сто-оп. Или экстренная посадка случится». Азартно орудует ложкой в гороховой каше. Откусывает половину хлебного ломтя, вталкивает торчащий кусок большим пальцем. Приближаясь к кульминации, немного понижает голос. Но говорит еще четче, слышно каждое слово. С ним за столом его компания — прапорщики и дембеля. Слушают, замерев, с напряженными полуулыбками. Перебирают под столом ногами, головы склонили в трепетном внимании. Диверсанты в засаде. Погодите, диверсанты в засаде, Бану еще не кончил. «И тут наши сосочки выполза-а-ают. Такие крохотные. Зубами так — хвать, а ну, иди сюда! А второй? Вылазь-ка, давай, давай, иди ко мне, я тебя съе-е-ем».

Я сижу на бордюре за полосой препятствий. Отошел подальше от казарм. Этот ночной пикантный ракурс, этот грудастый ландшафт только и спасает меня от свальной дневной тоски, которой — по уставу и без — на огороженном куске солончаковой степи самозабвенно предаются полторы тысячи молодых мужчин цвета хаки. Днем здесь натоптано. Тяжелые подошвы утюжат тактическое поле, звонко терзают плац, шаркают по асфальту возле казарм. Днем здесь солдатские шумные сапоги, грубые солдатские дела. Ночью весь этот вздор прекращается. Через час после отбоя, когда вместе с фонарями гаснут цвета и ночь застывает мозаикой силуэтов, здешнее пространство раскрывается по-настоящему. Нужно лишь повернуться лицом к сопкам. И сразу видишь, какое это женское пространство. Плавное. Текучее. Спелая плоть развалилась в бархатистой духоте, дышит истомой. Над лежащей женщиной широко развешено парчовое лунное полотнище. Улыбаясь, протягиваю руку, пробегаю пальцем по линии между черным и парчовым. Теперь — спасибо старшине Бану — я знаю, что бывают груди с сосками, которые нужно выманивать. Осторожно, как глупенького зверька из норки.

— Вылазь, давай, вылазь.

* * *

Никаких загадочных и опасных, которых ожидал встретить в первые минуты, отыскивая в кромешной тьме Сергееву дачу. На редкость спокойные, предсказуемые люди. Подходящее окружение для решившего отлежаться на дне.

Зимовали в нескольких сотнях домов. Примерно над каждой третьей крышей поднимался дым. Многие из обжитых домов были основательные, кирпичные: люди перебрались в «Яблоневые зори» из города, продолжая ездить туда на работу. Но

было немало и таких, которые жили в поселке безвылазно. Топилин прозвал таких обитателей поселка полярниками. Далеко не все здесь держали гаражный бизнес. Кто-то сдавал квартиру в Любореченске, кто-то успевал заработать достаточные для выживания деньги, устраиваясь на работу в теплый сезон. Кому-то приплачивали не живущие на дачах состоятельные соседи за то, что полярнички до весны присмотрят за их участками. Некоторые были заняты в старинном бизнесе живущих возле воинской части: варили и поставляли солдатам самогон.

Топилин питал к этим людям практический интерес, как «чайник» к матерым спецам: у них он подглядел, как очищать талую воду замораживанием, у них — с переплатой и долгими уговорами — покупал тележку-другую угля и баллонный газ. Но поселковые полярники притягивали его не только этим.

Одна черта объединяла зимующих узами не менее тесными, чем объединяют, к примеру, общая болезнь или хобби: феноменальное умение довольствоваться малым — никогда не поднимаясь на его защиту раньше, чем опасность утраты подкрадется вплотную. Притом что и чувство опасности было притуплено.

— Витек, у тебя фундамент просел, ты видел?

— Видел, чего.

— Может стена обвалиться.

— Да он так два года, как просел, — отвечал Витек насмешливо — дескать, не нужно нервов, Саша, и продолжал разглядывать старую покрышку на предмет изготовления из нее ведра. — Я за ним слежу, не ссы.

Словом, они умудрялись жить в такой концентрации пофигизма, какая в представлении Топилина с жизнью была несовместима.

Пили сдержанно. Были заняты.

Поговорка «Голь на выдумку хитра», казалось, описывала для них достоинство высшего порядка — с такой неутомимостью полярники пускали в дело самый разнообразный хлам: из покрышек и пластиковых баллонов вырезались ведра и сумки, сетки от кроватей складывались в беседки. В нескольких дворах красовались ветряные динамо-машины, собранные из железяк, цвет и вид которых выдавал их сугубо военное происхождение. Особый шик, как уяснил Топилин, состоял в том, чтобы питаться всю зиму собственной картошкой, а круче всего — одной лишь картошкой, даже если хватало денег разнообразить рацион.

— Еще даже половины не съели, — с гордостью заявлял один полярник другому. — А только картоху, считай, и едим.

— Совсем ничего больше? — почтительно уточнял второй.

И первый с гордостью подтверждал:

— Совсем. Детьми клянусь.

— А мы не выдержали, — вздыхал его слабовольный собрат. — Съездили в город, натащили еды.

— И как там, в городе?

— Слушай, их как будто еще больше стало. Все куда-то едут прям средь рабочего дня. Шум, гам. Потом целый день отлеживались. Вы-то в город не собираетесь? Нам бы лампочку купить. Перегорела.

Человек задумчиво пожимал плечами, смотрел в снежный студень у себя под ногами — и было ясно, что он сейчас перебирает в голове припасы: спички есть, соль, лука хватает, масло... нет, в город пока незачем.

«Маньяна», — мысленно договаривал за них Топилин, представляя, что вот сейчас грянет самба над поселком из поникших и помятых, давным-давно не работающих ретрансляторов, и из домов выскочат парочки в теплых куртках, в толстых свитерах — и начнут танцевать, смеясь и улыбаясь друг другу. Они и впрямь не походили больше на любореченцев: мягки, неторопливы, всегда готовы вступить в долгий подробный разговор — и нет в них брезгливой мрачности, вечного каменнолицего уныния, пронизывающего любореченские улицы.

Глядя на всех этих людей, отказавшихся от прелестей полуторамиллионного города в пользу полунищей жизни в поселке без канализации и водопровода, электричество по расписанию, Топилин удивлялся уже не количеству их, а тому, что они определенно довольны своим положением.

Сосед по участку объявился, когда Топилин конопатил ватой окна. Приехал на старенькой золотистой «CRV». Широк в кости, лысоват, с виду лет пятидесяти.

— Сосед! — игриво позвал он, стоя за сетчатым забором.

Подозрительно оглядел показавшегося на крыльце Топилина, но игривую свою манеру сохранил.

— Что-то ты на себя не похож, сосед, — сказал сосед. — Одежка вроде твоя. А внутри ктой-то незнакомый.

«Так и есть, ты верно заметил, — всем своим видом подтверждал грустивший на крылечке Боб. — Аж не знаю, что делать». После того как Топилин запретил ему гадить у крыльца и стал выставлять за дверь на время своих завтраков и обедов, Боб демонстрировал глубочайшую депрессию.

— Саша, — представился Топилин, подходя к сетке.

— Сема, Семен, — представился сосед. — Серега-то говорил, небось, про меня. Мы с ним нормально так контачим. Он-то сам на месте, нет?

Пожали руки, Сема молча уставился на Топилина, ожидая пояснений.

Из слов Семена было понятно, что о смерти соседа он не знает, и Топилин — сказались, видимо, недели, проведенные в скуке, под стук плешивого теннисного мяча — решил воспользоваться его неосведомленностью.

— Меня Сережа пустил пожить.

— Я так и понял.

— Мы одноклассники.

— А сам где?

— К тетке уехал. В Саратов.

— Я по-о-онял, — протянул Сема таким тоном, будто был искренне удивлен тому, что действительно понял Топилина.

— Весной обещал наведаться. Я пока присматриваю.

— А-а-а, хорошо. И за моей заодно присмотришь. Сразу видно, что приличный человек, не колдырь. И Сережа такой же. Не пил, ничего... Так, значит. А то вдруг съехал, не предупредил... Считай, и у моей дачки сторож есть. Не трудно, думаю, одним глазком? За Сережиной и за моей заодно. У тетки он, значит...

Сема начал осторожно похихикивать, пригласительно эдак: «Не правда ли, смешно как? Весело как, не правда ли?» Приглашал законтачить.

Разыграть перед соседом состоявшегося неудачника, одноклассника Сергея, показалось Топилину недостаточно. Сема располагал к большему. Вся его оплывшая, но подвижная фигура и безупречно выбритые рыхлые щеки, и особенно отполированные с кремом плохонькие ботинки предупреждали: внимание, счастливый обыватель.

Перекинулись несколькими фразами о преимуществах и недостатках жизни в поселке, и Сема ушел к себе, а Топилин закурил возле крыльца.

Сосед Сема вызвал у него отчетливую неприязнь. При этом Топилин неохотно соглашался с тем, что и сам он — но только лишь по формальным, исключительно по формальным признакам! — такой же точно Сема, разве что сортом повыше (по крайней мере, был до недавнего времени). Но старался-то он не ради мещанского рая. Не ради первосортных вещей. Ради свободы старался прежде всего. Остальное приложилось.

Сема был ему неприятен, как неприятно подлиннику соседство с дешевой подделкой. «Ладно, — уговаривал он себя. — Не обостряй».

А вот проведи сюда воду, канализацию и газ, рассуждал Топилин масштабно, как и положено заплутавшему одиночке, — и пофигистов-полярников быстренько сменят такие, как этот. Аккуратные, но убогие. Безнадежные. А следом, когда уже будет проложен асфальт и появятся фонари и милицейский пост, придут такие, как я... такие, каким я был... в общем, придут. Потому что место по здешним меркам хорошее. На пригорке, и простор. К тому времени одни бывшие полярники — те, кто дрогнет и вернется в гадкий город, — будут бомжевать. Потому что невозможно вернуться к тому, что проклял. Другие зацепятся где-нибудь на окраине, в каких-нибудь тараканьих малосемейках. И незаметно сопьются, избалованные горячими батареями и круглосуточным телевидением. Круговорот людей в природе. Нормально в принципе. Но почему-то не хочется больше замыкать эту цепь... быть на вершине пирамиды. Не то чтобы вообще, но вот конкретно здесь и сейчас — нет, не хочется. Брезгливо...

Он как раз докурил и бросил окурок в баночку из-под чая, служившую пепельницей, как Сема вышел снова.

— Слушай, — сказал он вкрадчиво. — А Сережа не собирается, случаем, дачу продавать?

— Собирается.

— А за сколько?

— Не знает пока. Просил меня выяснить к весне насчет цен. Ну и вообще... Покупателя подыскать.

Сема сделал движение бедрами, напомнившее Топилину Боба, когда тот принюхивается и всматривается, пытаясь понять, пора ли молотить хвостом в знак величайшего уважения к кормильцу или этот подозрительный тип опять вынес несъедобную хрень.

— Мил человек, так я ж тот, кто ему нужен. Я, — выдохнул Сема с тихим стоном и погладил себя по груди. — Пусть мне продаст. Я и цену дам нормальную. И человек приличный, можно не бояться, что кину, — он снова шевельнул бедрами. — У меня ж брат на пенсию собрался. Хорошо бы ему дачкой на пенсии обзавестись. Нам бы как раз бы рядышком.

Вскоре они сидели в доме Семена, возле шипящей, трепещущей синим цветком газовой плиты и пили из термоса чай с малиной. Чай с малиной был хорош.

— Здорово же?

— Здорово.

— Я еще такую наливку делаю... ммм... Прихвачу непременно в следующий раз. А какие у нас тут огурцы вырастают! Сергей, тот не любитель с землей возиться, факт. А нам бы только дорваться. Не иначе — зов крови. Хотя и в городе выросли. Но предки-то из деревни.

К чаю прилагались теплые домашние пирожки, напеченные Семеновой женой. С разнообразной начинкой: яблоко, капуста, рис с яйцом. Знал, знал толк в мелких усладах. Ехал всего лишь дачу осмотреть, проверить, не потекло ли где, не разбило ли ветром окно — а на десерт себе припас малиновый чай с пирожками, с видом на заснеженный сад: благообразные заботливо подрезанные деревья, кусты, обвязанные на зиму мешками.

В родной среде обитания Сема не производил впечатления человека ничтожного и разбросанного. Отнюдь. В том, как он тщательно промокает пролитые мимо чашек капли и тщательно устраивает стул — чтобы и гостю не мешать, и в стенку не утыкаться взглядом, — в том, как он тщательно улыбается и хихикает, чувствовалась религиозная цельность.

И всем этим он лишь сильнее раздражал Топилина.

Если загнет еще что-нибудь возвышенное, наполненное экзистенциальным восторгом, будет сложно удержаться от грубости. Счастливым обывателям средней руки в топилинском миропорядке запрещено прикасаться к экзистенциальному. Пирожками и малиной угощай — это пожалуйста. Дальше не лезь.

А Сема лез:

— Если рядышком с братом здесь осесть, может, и совсем сюда перебрались бы со временем. Протянут же сюда газ когда-нибудь. Может, еще при нашей жизни. Тут воздух, раздолье. А что вертолеты, так это ерунда. Сущая мелочь. В городе машины — какая разница? Так мы бы на двух участках чего бы только не вырастили. Я, к примеру, кабачки люблю. Но тут же не развернешься. Картошка-то важнее. Может, и улей бы завели. Брат у меня башковитый.

Казалось, вот он, человек, умеющий нанизать предлагаемый хаос на нить безоговорочного смысла, насладиться ясным результатом своих трудов. О чем бы ни принимался рассказывать, получался духоподъемный отчет о путешествии по молочной речке вдоль кисельных берегов: сорок банок огурцов этим летом закатали, пять банок малины, а как хорош шашлычок на свежем воздухе, да с помидорчиком, сорванным с собственной грядки... Слушая Сему, поддакивая ему время от времени, Топилин, словно поддаваясь гипнозу, вспоминал о своем собственном, брошенном на произвол судьбы свежеотремонтированном доме.

Он съездил домой неделю тому назад. Выстирал одежду, принял пенную ванну, с коньяком и сигарой, стряхивая пепел прямо на пену. Вышел в махровом халате, в мягких тапочках, пиццу в микроволновке разогрел. Проклятая пыль была повсюду. Затянула брошенные холостяцкие пенаты белесой пеленой, так чемоданы в аэропорту обматывают защитной пленкой. Из каждого угла — из каждого элитно отделанного угла — тянуло вокзалом. «Вокзальщиной, — уточнил Топилин. — Если есть цыганщина, тем более должна быть вокзальщина». Елена Анатольевна явно забросила уборку, с сожалением подытожил он. Поднялся в спальню. На кровати от Елены Анатольевна записка: «Александр Григорьевич, месяц я доработала. Жду дальнейших указаний. Позвоните, пожалуйста».

«Ну вот — доработала, — усмехнулся про себя Топилин. — А как же, позвольте, ответственность, преданность? Как же забота о хозяйском имуществе? Хозяин пропал в круговоротах эпохи, но старая верная служанка продолжает содержать вверенный ей дом в идеальном порядке. Ждет, так сказать, и верит, все глаза проглядела, все тряпки стерла, дожидаючись... Хрена лысого. Задаром впахивать дураков нет.

И это, конечно, правильно. Но сколько было преданности холопской во взгляде, упреждающей угодливости… «Завтра, Александр Григорьевич, ветер обещали. Вы, я заметила, окно на ночь приоткрываете. Так я теплое одеяло на нижнюю полку переложила, если захотите… чтобы не замерзли, не дай бог». Зачем обманывала? Нехорошо. Вот все мне ненастоящее досталось, все. Даже холопство».

— Да ладно кочевряжиться, — сказал он вслух, усаживаясь в любимое кожаное кресло. — Ты и сам ведь ненастоящий.

Ну, кое-что настоящее. Вот кресло. Мэйд ин Итали. Пять лет как куплено, а до сих пор ни единого скрипа, кожа мягкая, ласковая.

В окне, в дальнем конце улицы — угол дома Литвиновых. Когда он был женат на Вере и они занимались любовью в этом кресле, Вера просила не задергивать шторы: все равно стекла тонированные.

Пробыл дома несколько часов. Подождал, пока высохнет одежда, погладил джинсы.

На фирме Антон наверняка все устроил, можно не рыпаться. Дом нужно будет продать. Жить дальше с видом на Литвиновых ему противопоказано. Однако вернуться в свое развороченное настоящее было невероятно сложно. Все заново. Не с нуля, конечно. Если в финансовом смысле. Но ведь заново. Без Антона. А без Антона он, похоже, разучился.

Не сейчас. Чуть позже. «Маньяна, транкила», — заверил он себя и уехал в «Яблоневые зори», прихватив фотоаппарат и теплые носки.

— Все хочется тебя Сергеем назвать.

— А?

— Задумался? Говорю, все хочется тебя Сергеем назвать. Одежда-то его. Так и вертится на языке.

— Как говорится, хоть горшком, только в печку не ставь.

— Кстати, он у меня кипятильник одалживал… такой, совдеповский…

— Да, на кухне лежит. Принести?

— Не-не. Пользуйся. Это я так. Вспомнил. Ты с Сережей-то созваниваешься?

— А как же. Часто. Отсюда, правда, плохо берет.

— С других мест еще хуже. Здесь лучше всего по поселку прием. Горка ведь.

— Созваниваюсь. Раз в неделю примерно.

— Так может, ты меня и сосватал бы? Как покупателя. Чего тянуть-то? Аж до весны?

— Я цену пока не выяснил.

— А я и цену выясню. Сегодня же.

Сема смотрел влюбленным взглядом.

— Что, так сильно нужен участок?

— Ну… не помешало бы… с братом под боком.

— Но ты ж смотри… Я ведь не могу друга объегорить. Я буду цену проверять. Мне точная нужна.

Хозяин подлил дымящегося ароматного чая.

— А какая она, точная? Здесь и в лучшие времена продавались два-три участка в год. Соседний поселок, это который «Степной», тот вообще не ориентир. Там уже и газ по меже кинули, и асфальт обещают, — Сема волновался. — Да и здесь участки все разные. Те, что ближе к трассе, дороже. Так что хрен его знает с ценой этой. А мы… с братом в смысле… мы в долгу не останемся, если что. Если поможешь.

Топилин многообещающе кивнул.

Сосед Семен смешил своим дилетантским запалом. Лебезит умеренно, вполсилы — но взглядом печальным, лирично-просительным как будто намекает на большее: на возможность прогнуться как следует, поползать, если нужно. Грубейшая, непростительная ошибка. Абсолютное непонимание правил. Разве можно предлагать благородный коммерческий откат и при этом вести себя так, будто торгуешься с гаишником, ломаешь перед ним непутевого простофилю, с которого и взять-то грешно. Такие торопыги топорные попадались Топилину в его любореченской жизни среди муниципальной мелочевки, субподрядчиков, начальничков по хозяйственной части. Эти частенько нарывались на возмущенные крики: «Вы что же, взятку мне предлагаете?!» А потому что не понимали, малахольные: ничуть не меньше результата важен в откате стиль. Сдержанность. Элегантность. Ощущение избранности. Не упрашивай женщин, не выгляди похабно, предлагая откат.

Сема придвинул судок с пирожками поближе к горящей конфорке — чтобы не остывали. Нет, с этим чурбаном нужно было кончать.

Он вспомнил Шанина с его историей тюремного петуха, которой он любил

зарядить в лоб слишком гладкому собеседнику. Если немного подправить, адаптировать к современности… почему бы нет?

— Откинулся гол как сокол, — вздохнул Топилин и отхлебнул чаю. — Ни одежды, ничего. Следаки все из дома вынесли. А чтобы следы замести, подожгли… Я ж один, без семьи. — Он неторопливо выбрал самый румяный пирожок, понюхал, откусил половину. — Хорошо вот так, домашнего пожевать после казенных харчей.

Сема кивал сочувственно.

— А-а-а, из тюрьмы? То-то я смотрю, в чужой одежке. — Топилин скорбно задрал брови. — А за что сидел, если не секрет?

— Хакерство. Банк один местный труханул. Так, несильно.

— Вон что. Факерство… И много дали?

— Да уж не поскупились. Пять лет. А я взял-то там сущие крохи.

— Ого. Пять лет.

— Да еще общий режим вместо поселения. Банкир зарядил кому надо. Вот и впаяли.

Помолчали, прихлебывая.

— Так что, поможешь с покупкой? — потащил его Сема назад, к животрепещущему.

Топилин невольно поморщился. Сделал вид, что не расслышал куркуля.

— Когда меня в первый раз в тюрьме изнасиловали, — сказал он, спокойно глядя Семе в глаза, — я вешаться пошел, — и дальше продолжил, насладившись пунцовым Семиным смущением. — Ремешок был у меня. Узкий такой, брезентовый. Место нужно было присмотреть. Не везде же и повесишься. Камера была общая, не дали бы там. — Смотрел на Сему так, как смотрел на своих слушателей Шанин, рассказывая эту историю: с вызовом и насмешкой — мол, не ожидал такого услышать, заюшка? Ничего, послушай. — Во-от. Вышел за бараки, иду. Там узкий проход такой. Слева бараки, справа стенка, фабричный склад. Вышка сзади. Иду, в горле ком. Ведь ни за что, по беспределу опустили. Статья не та, и я ничем таким не прокололся. Я после узнал — смотрящий там был долбанутый, Рыбак. Его через год за беспределы свои же завалили. Там же, на зоне… Вот. Пошел, значит, вешаться. Возле медпункта фельдшер стоит, звонит кому-то. Переглянулся с ним. Он отвернулся. Думаю: последний человек, которого я в жизни своей увижу. А небо синее. Воздух медовый. Решил: за предпоследний барак зайду, там — к водосточной трубе, и до свиданья, сволочи. Дошел. Труба. Что, говорю себе, давай. Как теперь жить? Отомстить ты им не сможешь. Это ж не кино, и ты не Ван Дамм. Будешь теперь петухом. А будешь вякать, будут бить, а потом все равно… Пять лет впереди… Стою так, смотрю на эту трубу… ржавая такая… И голос внутри: не торопись, отобьешься в следующий раз. Я ему: заткнись. А он опять: да ладно, в другой раз отобьемся, вот увидишь, покури пока. И сигарета, как назло, последняя в пачке. Как издевка какая-то. Сигарета, говорю ему, последняя, это знак. А он мне: какой на хрен знак, у тебя в другом кармане еще пачка. В общем, уговорил. Не повесился я.

Топилин жестом попросил долить чаю. Сема вылил прохладные остатки, катышки линялой малины вывалились в чашку.

— Так с домом-то поможешь? — сипло пробормотал Сема и промокнул вспотевший лоб. — По рукам?

— По рукам, Сема, по рукам, — бодро ответил Топилин, вставая и с размаху вставляя руку в протянутую ладонь.

Ладонь у Семы была твердая и непомерно широкая. Будто кирпич, обтянутый тряпицей, пожимал. Основательная была ладонь.

Он вышел, не прощаясь. Ему нужно было договорить. Чужая жизнь шла у него горлом, не захлебнуться бы. Заскочив в дом, Топилин схватил со стола пакет с остатками сервелата и выглянул во двор. Боб лежал на крыльце, тоскливо глядя в морозную пустоту.

— Иди сюда, — позвал его Топилин, покачав пакетом, и Боб влетел внутрь, хлеща себя хвостом по бокам.

— Спрашиваешь, что дальше? — говорил Топилин, сидя на табурете и бросая Бобу полукружья колбасы, которые отрезал неторопливо узким, наполовину сточенным ножом. — Недели две меня не трогали. Я, как мог, берегся. А потом меня изнасиловали во второй раз. Отбиться ни хрена не удалось. Хотя старался. Но не удалось.

В ожидании очередного куска Боб нетерпеливо поскребывал когтями по дощатому полу.

— Такие дела. Все, конечно, с тех пор изменилось. Поднялся, живу, дай бог

каждому. Из тех, кто в тюрьме меня тогда... тогда пользовал, ни одна тварь из грязи не выбралась. Многие вообще поумирали. Кто от водки, кто от болезни. Кого-то убили. А я... я живу по-королевски, что там. Но знаешь, что самое хреновое? Знаешь? Вот самое, самое хреновое в моей истории? Не знаешь, я вижу. В лучшие минуты, когда, казалось бы, счастлив и все такое, я обязательно подумаю: а может, зря я тогда послушал внутренний этот свой голос? Нет, не утвердительно говорю — мол, зря. Понимаешь? Спрашиваю: может, зря?..

Сам не заметил, как стал рассказывать от себя: Шанин никогда не говорил ничего такого о своих раздумьях — что было лучше, повеситься в тюрьме или стать миллионером.

Дожевав последний кусок, Боб облизнулся и осторожно лег, не отрывая взгляда от Топилина.

— Ладно, оставайся. Спасибо, что выслушал.

Наблюдая за тем, как Сема прогуливается промеж одетых в мешковину кустов, похожих на зонтики, Топилин продолжал думать про Шанина. Посторонний человек, а прицепился. К его освобождению за валюту уже не сажали. Валютой свободно торговали на каждом углу. Припрятанные перед арестом доллары заметно выросли в цене, и Шанин выкупил полуживую швейную фабрику, с которой в Любореченске началась приватизация. Договорился с кем следовало о результате торгов и выкупил. И за следующие пять лет превратил полуживую фабрику в огромное швейное производство. А если бы отдал эти деньги следователям, как ему намекали, не пошел бы в тюрьму. Смотрящего, из-за которого Шанина запетушили, и вправду убили. Только Шанину это уже не помогло.

Сергею незачем было отсюда выбираться.

Вернуться домой, в ветхую коммуналку, где пришлось бы каждый день вспоминать о разбазаренных деньгах — несостоявшемся начальном взносе за ипотеку, вернуться на работу, где нужно было всего-то забыть о прошлом и встать в общий строй?.. Но как отдать на поругание серому стаду сиятельное прошлое, вернуться к жене, с которой даже поскандалить невозможно, к сыну, взросление которого похлеще китайской стены? Зачем все это? Когда можно остаться здесь, в тихом лагере тихо сбежавших. Покинуть неудобную любореченскую жизнь — с ее неподъемными понтами, на которые денег все равно не хватит никогда, с вечными пробками, с ее окончательным и провинциально карикатурным разделением на бар и людишек... Остаться здесь — и снимать закаты. И уважать себя за то, что научился выживать без канализации и центрального отопления.

Как бы навязчиво ни звучала кубинская «маньяна», когда Топилин размышлял о «Яблоневых зорях», более всего в том, что Сергей полюбил свою жизнь в поселке, его убеждала льдистая картина Аверкампа, которую поневоле приходилось рассматривать каждый раз, включая Сергеев ноутбук. Топилин не сомневался, что Сергей не случайно выложил эту картину на рабочий стол. Крошечные человечки, размеренно катающиеся на коньках, перебрасывающиеся шайбой, сплетничающие в узком кружке... немой голландец выписал их с такой любовью, по-детски земной и чистой, не вожделеющей никаких горних высот — ибо что может быть выше любви всепринимающей? Кисть его будто шептала: «Да нет ничего другого, только это: благонравные соседи, налаженный быт. Маленькие радости маленьких людей». А это кто, распластавшийся ничком, да так, что свалилась шляпа и отлетела трость? Не сам ли Сережа? Ничего, сейчас к нему подкатится человечек в синих штанах, чинно рассекающий коньками лед, и поможет подняться.

— Вот ваша шляпа. Ушиблись? Позвольте, я вас докачу.

— Окажите любезность.

Топилин придумал, чем завершить свою дачную отсидку: он устроит выставку фотографий Сергея. Наверняка Сергей был бы рад такому событию.

И Анне должно понравиться.

* * *

Армейская служба не была предусмотрена в моей жизни. Студентов художественного не призывали уже несколько лет. Но лучшего выхода из лабиринта Зинотавра я не нашел.

К чужой невзрачной тетке, хромой и вроде бы сумасшедшей, которая хоть и не откалывала ничего противоестественного, но, по словам мамы, в любую минуту могла, я привык быстро. Запах взбрызнутого фурациллином тлена выветрился. Молчаливый шаркающий призрак, оставляющий после себя редкие загадочные следы —

стопку разглаженных конфетных фантиков, коробок с высушенными косточками от яблока, мандарина и абрикоса, тяжелый фигурный ключ на шнурке (судя по длине шнурка, носившийся на шее) — особых неудобств не доставлял. Ее голос не дотягивался дальше ее руки. Казалось, смысл ее жизни — производить как можно меньше звуков. Однажды я подглядел за тем, как она съела суп, ни разу не зацепив ложкой тарелку. Съела, остатки промокнула хлебом, встала к раковине и принялась мыть посуду под тоненькой струйкой воды — так трубы меньше шумели. Лишь со своей негнущейся ногой не могла она справиться — подволакивала, чиркая по полу тапкой. Но и это делала невыносимо тихо. Не шла — кралась по дому. Когда нам случалось оставаться с нею вдвоем, Зинаида почти не появлялась из своей комнаты. Выходила лишь в туалет и к телефону, когда ей звонила мама с работы, справиться о самочувствии. Уверен, отца Зинаида не вспоминала, ни о каких душевных переживаниях относительно их коротенькой интрижки, окончившейся катастрофой для семьи Топилиных, не могло быть и речи. Не знаю достоверно, как выглядела ее большая трагическая любовь во времена «Двенадцати месяцев», но в наш дом въехала тетка простая, как табурет, напрочь лишенная способности испытывать большие чувства. Ни слова сожаления, ни слезинки, ни единого всхлипа в подушку. Никаких признаков души страдающей. Даже ее шизофрения была какая-то неубедительная: без галлюцинаций и бреда, без жутких мимических калейдоскопов. Ей было неудобно — надеюсь, ей было неудобно — оказаться в доме своего бывшего любовника на попечении его бывшей жены. Но воспоминания о Долгопрудном наверняка помогали Зинаиде справляться с любой неловкостью. А навыки незаметной жизни, освоенные в совершенстве — даже дверь в туалет, неизлечимо скрипучую, она умудрялась открывать почти беззвучно, — полагаю, вселяли в нее уверенность, что она здесь никого не обременяет: Мариночка сама позвала, а я тихонько, я и ем немного, и никуда не лезу.

Одним словом, сама Зинаида была досадным, но легко избегаемым феноменом. Беда была в другом. О возвращении отца можно было больше не мечтать. Родители оформили официальный развод, папа поселился у Валюши, бросив работу врача и освоив «челночный» бизнес турецкого направления. Но главные приметы необратимости папа приносил с собой на наши встречи. С каждой такой встречей на нейтральной полосе — чаще всего в том самом парке, в который мы с мамой когда-то ходили читать, — он делался все более чужим. Шел чужой походкой. Смотрел чужим взглядом издалека. Пугался этого взгляда и старался исправить, посмотреть как положено, с отеческой лаской — но получалось только хуже. Он говорил чужим голосом — каким-то истрепанным, непривычно пустым. Воспринимался чужим, едва ли не таким же чужим, как Зинаида. Я встречался с ним, кажется, для того лишь, чтобы снова и снова удивляться: разве так бывает? И так быстро? Поначалу я думал, это игра — это он играет со мной, хочет донести нечто важное, то, чего не доверишь словам. Но скоро смирился: никакой игры, это мой новый папа.

Он никогда не заговаривал со мной о Зинаиде: ни о том, что было между ними, ни о том, как живется мне в разоренном раю. Виртуозно избегал любых поворотов беседы, которые могли завести в запретную область. Зато мы много говорили о его новой работе — турецких поездках за коврами и серебром. Мама тоже не расспрашивала об отце, когда я возвращался домой после наших с ним встреч. Будто я, как когда-то, уходил гулять в компании с томиком Анны Андреевны — впрочем, тогда она, бывало, интересовалась: «Что читал?» — и услышав ответ, улыбалась краешками губ, уходила, унося в глазах строчки только что названного стихотворения.

Никто ни о ком не вспоминал. Никто ни о ком не говорил. Будто и не было ничего до Зинаиды. Не было нашей особенной — особенным счастьем счастливой — семьи. Книжные стеллажи, театральные кулисы — коридор судьбы прям и прекрасен... Ничего этого. Пустота. Они жили и вели себя так, словно выбрались на необитаемый берег после кораблекрушения. Надежды на возвращение нет, но главное — нет и сожалений.

Наше с мамой путешествие по священному книжному миру закончилось раз и навсегда. Пока она лепила и налаживала новый быт, вращающийся вокруг больной Зинаиды — оформляла медицинские бумажки, записывалась в списки ожидающих лекарств, ездила с больной на осмотры, — я, как мог, демонстрировал ей полное равнодушие к вчерашним святыням. Стопка книг, принесенных специально для меня из библиотеки, пылилась в гостиной. «Колымские рассказы» так и остались не дочитаны. В доме начали появляться женские романы с приторными названиями и вызывающе безвкусными обложками — их читала Зинаида.

Я усиленно делал вид, что увлечен живописью, учебой в художке. На самом деле учеба давно была заброшена. Я хоть и посещал занятия, работы сдавать перестал,

прилежно зарабатывал по всем предметам «неуды» и, бравируя перед однокашниками многочисленными «хвостами», тихонько сползал к отчислению. К живописи я остыл. Перспектива стать посредственным художником, отчетливо проклюнувшаяся впереди, ничуть не вдохновляла. Впрочем, сама по себе судьба посредственности не пугала меня. Как говорится, не до жиру.

Настоящая причина моего отвращения от книг и мольберта состояла в непреходящем чувстве опасности, которое вызывали во мне любые проявления высокой культуры с тех самых пор, как все закончилось Зинаидой, шаркающей костяной ногой по моему дому. Я сделал выводы. Я не желал такой жизни. Если душевный пыл, разжигаемый посредством высокой культуры, приводит в действие невидимые поршни, толкающие по пути к обрыву (на спасительный взлет к успеху и славе я как посредственность рассчитывать не мог), если чем выше, тем губительней падение — следует прекратить поддерживать огонь в этой топке. И жить спокойненько в прохладе. Как все.

У сказки о высоком провальный финал, Саша. Спасайся, пока не поздно.

Мама, конечно, все понимала. И про книги, и про живопись. Про мой испуг. Молчала. Точнее, ждала. Давала мне время прийти в себя. Не хотела мельчить. Я чувствовал это каждую секунду, проведенную с ней, — как она ждет, как тикают усталые часики, как тяжело ей наше затягивающееся отчуждение, которое я ни за что не решился бы преодолеть: тишайший Зиномонстр, обитавший на ее берегу, не оставил шанса на возвращение той близости, которой ждала мама. В самых ужасных своих фантазиях я представлял, как мы втроем сидим в парке и читаем: я — заброшенного Шаламова, мама что-нибудь из «Иностранки», Зинаида — книжку с декольтированной мулаткой на обложке. Мама наливает чай из термоса с драконом, протягивает Зине... та отхлебывает и передает кружку мне. А ведь скорей всего так и было задумано: в ее скандальном подвиге мне отводилась сложная роль сподвижника и адвоката — помогая ей отбить Зинаиду у болезни, у диспансера, оккупированного зэчками, я тем самым должен был оправдать все и узаконить.

Но я боялся этого буквально до дрожи в коленках. До панического удушья. Превратиться в брата милосердия возле пустейшей особы, по нелепому недоразумению разрушившей мою семью?

Я желал стать простым, как сама спасаемая особа, как Костя Дивный, — и мне казалось, что нет ничего сложного в том, чтобы достичь такой простоты, и даже большей. Любой, какая потребуется. Мое тогдашнее существование уже напоминало анабиоз, из которого не обязательно ведь возвращаться в прежние эмпиреи.

* * *

Конюшня расположилась за лесополосой, на краю вертолетного поля. Дорогой «итальянский» кирпич, ондулиновая кровля. При этом ни одного прямого угла, ни одной ровной плоскости: солдаты строили, как могли.

Топилин заявился, улучив момент, когда на конюшне играла музыка, струился из трубы сизый угольный дымок. Одет был в самое затрапезное, доставшееся от Сергея: синяя спортивная куртка, порванная в нескольких местах, вытертые лыжные штаны. На голове трикотажная шапочка с оторванной нашивкой. Одной рукой Топилин протягивал коньяк «Remy Martin», другой — сигары «Hecho a Mano».

— Отметим день лапландских ВВС? Больше не с кем. А очень хочется.

Вертолетный конюх отреагировал философски.

— Блядь, — грустно размышлял он, стоя на пороге и разглядывая гостинцы в руках у Топилина. — Можно залететь. Командир со своей поссорился, шляется где-то. Может с проверкой припереться. Но может и не припереться... Входи, — оборвал он в нужном месте мыслительную цепочку и распахнул решительно дверь.

В каморке было относительно чисто. Полы подметены, на столе вымытая тарелка. На тумбочке семейная фотография на фоне военкомата: папа и мама, взволнованные, но улыбающиеся, и Коля — уже стриженый, уже примеривающий суровый взгляд защитника отечества. На стене возле двери — другая рамка: большими жирными буквами выдержка из устава, напоминающая о том, что ждет солдата, самовольно покинувшего часть.

— Я все тоже собирался к тебе заглянуть, — сказал Коля. Голос негромкий, но внятный — вполне соответствующий внешности: черты лица мягкие, покатые, но лицо не похоже на обмылок, не выскальзывает из-под взгляда. — Живем, считай, через поле. Скоро год как. А все не знакомы.

Котировки росли. Коля принял его за Сергея. Подумав недолго, Топилин решил,

что такой поворот его, пожалуй, устроит. В конце концов, не для того ли и затевался маскарад? Не лучший ли это способ добиться желаемого: спрятаться от самого себя, от самого себя отвлечься. Побыть усопшим — почему бы нет? Здесь его считают живым. К тому же их многое сближает.

— Говорю, живем через поле. Ты на одном конце, я на другом. Считай, соседи. Собирался заглянуть, когда мой приказ вышел. Не с кем было тоже отметить. Но потом как-то... в общем, не заглянул.

Нужно было решить, какого именно Сергея разыграть перед Колей. Реальный Сергей — аскет-неудачник — был исключен с ходу. Перед ним был самый натуральный дембель, уже дождавшийся приказа министра обороны об увольнении в запас и доживающий в армии последние месяцы. А представить служивому неудачника — все равно что войти с женским макияжем в футбольный бар. На дембеля, правда, Коля был непохож: никакой отвязности, задерган, как новобранец. Но чем-то он тронул Топилина с первых минут знакомства. Возможно, веснушками на кукольных скулах.

— Мне тебя видно, когда ты в сортир идешь. Это ж как раз на мою сторону... Смотрю, думаю: надо бы познакомиться. Но все откладывал, блядь. Думал, блядь: как прийти, че сказать? Парился, короче.

Конюшенное хозяйство освещалось электричеством от хрипатого дизеля, запертого в тесный бетонный карцер с желтым трилистником на двери «Осторожно: радиация!». За дизельной высились две кучи — угольная и навозная.

Коня звали Ятаган. Коля величал его Яшкой.

— Только хозяйка запрещает его Яшкой звать.

— Почему?

— Хрен ее знает. Вообще Юля дура больная. Между нами говоря.

И Коля завел длинный рассказ о том, как Юля его мучает. Казалось, целый век ждал одинокий воин человека, который все это выслушает.

— Если, к примеру, стремя плохо держал, когда подсаживал, она может и по спине хлыстом зафигачить. Нервная, блядь. На прошлой неделе приехал на нем к столовой без подхвостного мешка, он посрал, а Юля из окна заметила — так она командиру, шалава, нажаловалась.

Так и закончилась сказка о волшебной наезднице, которая проносится по заснеженному полю в фонтанах бриллиантовых брызг. Четырежды в неделю. Волнующая и заманчивая.

Бутылка «Remy Martin», распитая из армейских болотного цвета кружек, сделала их друзьями.

Сергей сочинился сам собой. Синяк под глазом сошел не до конца, и нужно было как-то объяснить его происхождение. На подоконнике лежала резиновая полицейская дубинка. Глядя на нее, Топилин вспомнил, как однажды стал свидетелем разгона пикета любореченских несогласных возле Дворца спорта. Это место, как узнал в тот день Топилин, специально было отведено для митингов молодых да борзых: тихий центр, вокруг позднесоветские девятиэтажки, начавшие когда-то вытеснять частный сектор, но остановившиеся на полпути одновременно со строительством коммунизма.

Когда Топилин вывернул с Пантелеевской, несогласных уже прессовали вовсю. Уже волокли в спецавтобус какого-то буйного, спешившего прокричать бабушкам в окнах и курильщикам на балконах о свободе слова и гражданском долге. По тротуарам сонного перекрестка как ни в чем не бывало шагали прохожие, за спиной у Топилина остался буднично шумевший проспект. Тем верней приковали его внимание эти дурные мальчики и девочки, столь страстно подставлявшиеся под полицейские дубинки при полном отсутствии зрителей.

Топилин вышел из машины. Несколько блюстителей оглядели его с ног до головы и молча отвернулись. Один из митингующих стоял посреди фонтана, сбежал туда от разгоняющих. С виду чахлый, с тонкими длинными руками. Очки, наверное, снял перед началом заварушки. То и дело затевался кричать длинные, явно не подходившие для кричалок фразы: про конституцию, про полицейское государство. Наконец в фонтан спрыгнул здоровенный полицейский. Подкрался сзади, с размаху приложился дубинкой по спине. Парень дернулся и упал ничком, обдав блюстителя водой по самую промежность. Тот раздраженно скривился и, ухватив за ворот несогласного, принялся окунать его в воду. Выдергивал мощным рывком и вновь погружал с головой. Бетонный коробок, сложенный фасадом Дворца спорта и домами, сотрясал молодецкий гогот.

Коля пил дорогой коньяк с таким воодушевлением, так трогательно сопел и прикрывал от удовольствия глаза, что Топилин наливал себе поменьше: пусть солда-

тик поблаженствует. К сигаре тот прикладывался редко. Туго надувал щеки и, выдыхая, вытягивал шею, как делает большинство сигарных новичков — будто указывая дыму направление.

— А ты пропал, я смотрю. Печка не топилась. Не видно тебя было.

Топилин посмотрел пристально. С мужественным прищуром.

— Акцию проводили, — сказал он и густо пыхнул сигарой. Клуб дыма ударился в низкий потолок, вывернулся лохматым бубликом и пополз к приоткрытой для вентиляции двери. — Чуть не повязали, еле ушел, — продолжил Топилин, с удовольствием осваивая упругие интонации подпольщика, решившегося на откровенность с достойным собеседником. — Отлежусь немного, пока утихнет — и на новый адрес. Больше не вернусь сюда. Место, считай, паленое. Если бы они не ленились, давно бы нашли.

Всматриваясь в настороженно притихшего Николая, Топилин чувствовал себя актером, длящим паузу при гробовой тишине в зрительном зале. Пыхнул сигарой еще раз, плеснул коньяка в кружки.

— Не понял... — Коля понизил голос. — Ты, что ли... — он так и не договорил.

— Да, — кивнул Топилин. — Левоцентристский крайне правый маргинальный радикал. Политический враг, деструктивный элемент и заноза в бетонной жопе. В Любореченске налаживал партийную сеть.

— Фу-ты, — с облегчением вздохнул Коля. — Я думал, террорист.

— Ни в коем случае. Миру — мир. Я вообще в душе вегетарианец. Мясное для маскировки ем.

— Думал уже, ты за мной пришел.

— Для чего бы это?

— Хрен вас знает. Отравить или еще что. Или завербовать. — Они посмеялись. — А я думаю, что за тип через поле живет? Шоблается тут с фотиком, щелкает всякую хрень. И ты тут, такой, про акцию говоришь... Нихренасе! Даже струхнул малехо. Что за акция-то?

— Осенью дело было. Наши парни по всему городу стрелок на асфальте понарисовали: «Элитные бляди». И стрелочки эти сходятся прямиком к разным государственным зданиям: к администрации, к прокуратуре, к представительству президента. И под каждой стрелкой — мобильник какого-нибудь высокопоставленного хрена. Министра там, прокурора...

Коля хохотал так, что Яшка в своей конюшне нервно заржал, ударил копытами. Сдерживая смех, Коля подбежал к двери, выглянул.

— Нормально все, Яш, — крикнул он. — Не дергайся. — Досмеялся, сказал: — А в части ничего про это не слышно... Никто не рассказывал ничего.

Топилин фыркнул насмешливо. Вообще-то он никогда российской политикой не интересовался — тем более с оппозиционных колоколен. В Едре тоже не состоял. В отличие от Антона Литвинова мог себе позволить (были в положении второго лица свои плюсы, были). Взгляд иногда задерживался на каком-нибудь особенно выдающемся конфузе, но интересоваться предметно затяжным русским затишьем Топилин не видел смысла: простоватое большинство, неплохо в общем накормленное и пока нетрудно забалтываемое, покрытое качественным телесигналом, определяет ситуацию на много лет вперед. И сломать инерцию дремы, очевидно, некому. Ко всему прочему, тучные прибыли «Плиты» были возможны исключительно в рамках того, чем не стоило интересоваться предметно.

И все-таки, случайно ухватившись за образ политического смутьяна, который, казалось, не сулил ему ничего, кроме провала, Топилин почувствовал себя так, словно ошибся номером — а там давнишний знакомый. Забытый напрочь и не очень-то близкий. Но сейчас его чертовски приятно слышать.

— Прикольно вот так, наверное, — сказал Коля. — А семья как?

— Никак. Семья в нашем деле непозволительная роскошь.

— Ну да. Ясен-красен.

Выпили за успех следующего предприятия топилинской организации, название которой он разглашать отказался, сославшись на конспирацию (на самом деле не успел придумать названия — а примыкать к существующим маргиналам и борцам не решился, поскольку ничего о них толком не знал).

На гражданке Коля жил-поживал с родителями в Светлограде Ставропольского края. Занимался конным спортом. Поступил в вертолетную часть «прямиком по спецзаказу» полковника Мурашова, которому нужен был конюх: молодая жена увлеклась верховой ездой. Вот-вот на дембель, и Коля пребывает в пьянящем предвкушении вольной жизни: старых корешков, новых телок, пенистого пива на свежем воздухе.

— Хотя, блин, вопрос. Есть тема, чтобы здесь остаться. Полкан предлагает на

сверхсрочку. Кричит: квартиру выделю, оклад хороший. А сюда какого-нибудь чурека посадить, чтобы я им, значит, командовал. Оно и можно бы. Если бы не Юля. Сильно вредная, блядь. Властная. Так держится — хочется в морду ей дать, хоть она и баба. Любит, чтобы перед ней пресмыкались. А сколько можно? Вот где. — Он резанул себя ладонью по горлу. — Хватит. Достала. — Потянул сигару, сказал задумчиво в покатившийся дым: — Если бы Юля не была такой тварью, а так...

Теперь, глядя на летящую по заснеженному полю всадницу, Топилин вспоминал, что зовут ее Юля и она такая властная, что конюху Коле хочется дать ей в морду, хотя она и баба. Впрочем, обмен был равноценный. Вместо прекрасной амазонки Топилин получил увлекательную игру в подпольщика, преследуемого, но несгибаемого.

Странные мальчики и девочки, которых хлебом не корми — дай отведать дубинки, сделались немного понятней. Тоже игра. Только контактная. Очнуться вдруг посреди чужой отупляющей жизни, испугаться: так будет всегда. И рвануть против течения, не особенно понимая — куда и зачем. Лишь бы против. Лишь бы прочь из чужого, тесного, затмившего горизонт. Сшибиться с давящей махиной — до крови, до сломанных ребер — и вздохнуть облегченно: жив, вырвался, жив... Игра беспроигрышная. Нужно только к дубинкам привыкнуть.

А что, если бы Сергей на самом деле подался в политические хулиганы? Не первой молодости мужичок, бывший рекламщик, сварливый, достаточно упрямый, чтобы испортить себе жизнь... Да нет, вряд ли. Не его стиль.

* * *

Наглядным доказательством несовместимости «высокого» с реальной жизнью стало исчезновение из нашего дома всех тех красивых и тонких людей, которые переполняли его до водворения Зинаиды. То есть они какое-то время приходили, высказывали маме красивые и тонкие слова поддержки, показательно сюсюкали с Зинаидой, шепотом сожалели об уходе отца — но большинства из них не хватило даже на второй визит.

То, с чем я сталкивался, укореняясь в художке, лишь убеждало меня в моей правоте.

Здание училища было ветхим. Фасады осыпались фрагментами и фрагментиками — об этом складывались веселые студенческие рассказы: кто-то получил куском лепнины по темечку или откусил пончик, припорошенный песком. Приземления наиболее крупных фрагментов, потенциально чреватые серьезными последствиями для проходивших мимо, становились поводом для попоек в сквере училища, во время которых на середину скамьи выкладывались перевязанные траурными ленточками или раскрашенные во все цвета радуги осколки. Все это продолжалось до тех пор, пока от училища не отвалился балкон. Стоявшие на нем студенты сильно покалечились, но по счастливой случайности остались живы: балкон упал на хлебовозку. В художке после этого появился новый завхоз — сотрудник колонии для малолетних Николай Феоктистович Ртищев. Бывший вертухай, получивший по начальным слогам своего ФИО прозвище Нифертити, оказался не в меру деятельным и сразу предложил ввести форменную одежду для учащихся. «Форма не обязательно должна быть консервативной, черной или синей, — напирал он. — Она может быть и творческой». «В полосочку», — шутили в ответ студенты. Кирилл Агафонов даже заявился на занятия в полосатой пижаме и был отправлен преподавателем от греха подальше домой. С эпохой Нифертити категорически не угадал: его инициативу с формой высмеял даже директор, любимый студентами Леонид Бавальский. В отместку завхоз собрал свидетельства того, что Бавальский практиковал зачисление бесталанных абитуриентов за мзду, и передал компромат в прокуратуру. Тогда за это еще карали. К тому же Нифертити добыл фотографию, запечатлевшую директора с выпускниками на фоне училища, в окнах которого красовались голые натурщицы Ирка и Танька. На исход дела повлияла, видимо, и заинтересованность самого Нифертити, а также его связи в карающих органах. Бавальского сняли, бывший вертухай стал директором любореченской художественной академии. (Незадолго до этого художка повысила статус: переименование в университеты и академии тогда было повальным.)

Человек пятнадцать старшекурсников, цвет студенческой богемы, среди которой было модно всякое вольнодумство, от пренебрежения канонами ремесла до махровой антисоветчины, заключавшейся в рисовании карикатур и третировании преподавателей, замеченных в симпатиях к «красноперым», затеяли забастовку, примкнуть к которой великодушно было предложено и мне — единственному перво-

курснику. Я был удивлен и от нечего делать примкнул. Многие мои однокашники сочли бы за счастье принадлежать к компании «отпетых», как их — не без симпатии — называл уволенный Бавальский. Костяк компании состоял из студентов, большинство которых хотя бы раз либо отчисляли, либо «прорабатывали» на педсовете: за пропуски, за пьянки, за экстравагантные выходки. Случалось, и за приводы в милицию. Кто-то отслужил в Афганистане. Кто-то бросил мореходку. Одни успели обзавестись прошлым, у других водились деньги. Тот работал на бензозаправке и «толкал» налево бензин, этот фарцовал польскими джинсами и гонконгскими часами. Коротко говоря, все это были люди хоть и не самые одаренные (одаренные просиживали в студиях до позднего вечера и норовили окончить экстерном), зато очень броские на вид и увлекательные, как приключенческий роман.

— Эй, Топилин, пойдем с нами, против Нифертити бастовать, — бросил мне несостоявшийся моряк Самошка, когда вся компания проходила мимо меня по коридору. И я пошел. Все одно лучше, чем отправляться на «три одинаковых буквы» — лекцию по истории изобразительного искусства. Почему позвали, я не спрашивал. Моя фамилия красовалась в списке кандидатов на отчисление, вывешенном возле деканата. Забить на учебу накануне призывных восемнадцати считалось признаком крутизны и неординарности.

— Ну что, прогоним вертухая из храма искусства?

— Прогоним!

— Тюремщики не пройдут!

— Не пройдут!

— Разливай.

Забастовка проходила так. Вместо того чтобы идти на занятия, мы собирались в сквере, скидывались на пиво, и кто-нибудь отправлялся в «Ракушку» — пивную недалеко от набережной. Дожидаясь гонца, забастовщики курили, цепляли проходивших мимо девушек и время от времени произносили язвительные речи в адрес Нифертити. Предполагалось, что со временем к нам примкнут и остальные студенты. И мы «заставим их вернуть нам Бавальского». Вернуть Бавальского, как я догадывался, должны были те же люди, которые когда-то назначили главным режиссером в «Кирпичик» бывшего комсомольского начальника Суровегина. То есть я как бы выходил на битву с теми, кто однажды выдавил из театра моего отца. И как бы должен был что-то чувствовать по этому поводу. Но не чувствовал.

О том, что уволенный Бавальский брал взятки, среди бастующих было принято говорить так:

— Брал-то он только с бездарей. И пусть. Кому от этого плохо? Зарплата у него была с гулькин нос. Человек-то хороший.

По мере опустошения пивных емкостей насмешки над «вертухайской властью» и возмущения по поводу того, что «по всей стране перестройка, а у нас...» сменялись темпераментными разговорами об искусстве, о предназначении художника, о личности и толпе (термин имел широкое применение: под «толпой» подразумевались и районная гопота, и тупые домашние, подходящие к служению искусству с обывательскими мерками заработка и статуса, и даже сволочи-дружинники, доставившие накануне кого-нибудь из компании в вытрезвитель). Особенно темпераментно говорил Агафонов, призывавший взорвать наконец любореченское болото подлинным искусством, провести какую-нибудь сногсшибательную ослепительную выставку, растормошить город раз и навсегда.

По своему обыкновению, Агафонов сразу же выбился в лидеры пивной забастовки. Не знаю, как это у него получалось, но к какой бы компании ни прибивало переменчивого Кирюшу, всюду он занимал место вожака и вдохновителя.

В студенческой среде Кирюша прослыл гением. Он водил избранных к себе домой на экскурсии, где показывал огромные полотна, выдержанные в придуманном им жанре «инстинктивного концептуализма». О его работах было принято говорить исключительно в превосходной степени, потрясенно склоняя голову и причмокивая, смешивая слова «аллюзия» и «бессознательное» с умеренными порциями мата — для остроты восприятия. Кроме того, Кирюша постоянно пребывал на грани отчисления, а однажды даже был отчислен. Работы его — те, которые я видел (а я однажды побывал в числе избранных экскурсантов), не вызвали во мне ничего, кроме недоумения. Оголтелый эпатаж, практиковавшийся Кирюшей, лишь выпячивал банальность образов. Эйфелева башня с торчащим из-под ног кабаньим членом (генезис детали Кирюша разъяснил в названии: «Эйфелева башня с кабаньим членом»). Толстая волосатая задница под фетровой шляпой, в строгом костюме (названия не помню). Синий ангел с бутылкой «Столичной» и килькой в томате («Синий ангел»). Картины

были выполнены топорно, в манере «тяп-ляп-наив», говоря языком Робика Патканяна, преподававшего живопись и композицию начальным курсам. Почитатели Кирюши, однако, рассуждали о комплексном влиянии Матисса и Гогена и даже в потеках краски выискивали мастерский замысел. Меня от всего этого тошнило. В любом карандашном наброске Нинки искусства было больше, чем во всех Кирюшиных полотнах. Но кто знал Нинку? Зато Кирюша мог прийти на занятия в пижаме или оставить в унитазе кирпич, осыпанный обрывками туалетной бумаги со следами кирпичной же крошки, или бегать по тротуару, распугивая прохожих трелью велосипедного звонка. И вокруг вздыхали:

— Художник, что вы хотите.

Глупо рваться в статисты к дутым героям. Еще один довод порвать с миром искусства (хоть и было все решено, доводы следовало копить для поддержания боевого духа). <…>

Будущее — как оно виделось борцам за изгнание Нифертити — сводилось к самоутверждению творческой личности в косной и враждебной среде. При этом рецепт такого самоутверждения был вопиюще прост и состоял, собственно, в непрекращающемся противопоставлении творческой личности тупорылой вертухайской власти, узколобому официозу, провинциализму Любореченска — да мало ли… было из чего выбрать. Мы не такие, как эти кабинетные лизоблюды (варианты: как эти гэбэшные стукачи, как эти тупоголовые совки). Мы — другие. Ура.

Один наносил краску случайными предметами, попадавшимися под руку: утюгом, медицинской банкой, мухобойкой. Другой налегал на инсталляции из разобранных кубиков Рубика, оловянных солдатиков и бутылок из-под кока-колы. Третий делал аппликации из ржавой жести и битого стекла.

Перед тем как покинуть академию, я немного сблизился с ними. Побывал на нескольких вечеринках, на «квартирнике», где выставлялась чья-то графика. Успел даже продемонстрировать свои работы и выслушать осторожные комплименты: здесь комплименты не раздавались просто так, «за то, что вижу», — предстояло заслужить подходящую репутацию. Можно было упросить преподавателей, сдать в авральном порядке все «хвосты»… Но к тому времени идея-фикс о целебных свойствах казарменного опыта созрела и вела меня прямиком к цели. По телевизору тогда много говорилось о дедовщине, о голодном пайке. Я был уверен, что такое испытание пойдет мне на пользу.

А забастовка в сквере закончилась недели через две. К ней мало кто примкнул, новое руководство ее игнорировало.

Тем же летом в любореченском кооперативном туалете прошла выставка, гвоздем которой стали работы Кирюши Агафонова.

Здравствуй, армия. Лечи, как умеешь.

* * *

Его давно тянуло в этот дом с мезонином — резиденцию председателя дачного кооператива. Просторный белый дом выделялся среди остальных устарелым фасоном: окна пouже, пропорции не те. Мезонин был страсть как живописен — своим балкончиком, резными наличниками на двери и скатах островерхой крыши. Несколько раз Топилин проходил мимо основательных ворот с наваренными проволочными львами, но за отсутствием убедительного предлога войти не решался. Одно дело военно-воздушный конюх. И совсем другое — Иван Рудольфович, председатель «Яблоневых зорь».

Наружность пожилого председателя Топилин детально изучил по фотографиям в ноутбуке Сергея. Их было много. Натура действительно была достойна внимания, щедра и фотогенична. Нос крупный и при этом хрупкий на вид. Мужественная линия рта. Морщины, будто культивированные по методике «Стареем красиво». Длинные волнистые волосы, посеребренные сединой как раз в меру: благородная примета мудрости, моложавый патриарх. Больше всего Топилину понравился черно-белый Иван Рудольфович, сидящий нога на ногу, едва выступающий из темноты: длинные пальцы аккуратно сплетены, голова чуть набок, во взгляде сложная смесь упрека и призыва.

Однажды Топилин наблюдал за тем, как председатель, одетый в узорчатый шелковый халат гранатных и зеленых оттенков, стоя на своем балконе, тряс кулаком в сторону балки и кричал:

— А ну, перестали дурью маяться! Я два раза повторять не стану!

Кисточки на поясе покачивались, как львиные хвостики. Отдельно порадовали

антикварные ругательства, которыми председатель осыпал маявшихся дурью: «шельмы» и «олухи».

Четырежды в день с церемониальной неспешностью Иван Рудольфович совершал путешествие от своего двора к располагавшейся неподалеку трансформаторной будке: в девять утра — чтобы включить электричество в поселке, в полдень — чтобы выключить, потом вечером, в семнадцать ноль-ноль — чтобы снова включить и в двадцать один ноль-ноль — выключить окончательно на ночь.

В один из тихих морозных дней, надев парадный Сергеев костюм марки «Сан-Шайн» под привезенное с собою пальто «Iceberg» — у Сергея в гардеробе обнаружились одни лишь куртки, — Топилин отправился к председательскому дому. Подгадал точнехонько к полудню. Иван Рудольфович, лязгая ключами, выходил из трансформаторной будки. На плечи накинута парадная офицерская шинель без погон, под шинелью коричневый свитер домашней вязки.

— И опустилась тьма на «Яблоневые зори», — сказал Топилин приветливо, подходя к председателю со спины.

Тот обернулся, посмотрел на Топилина долгим серьезным взглядом — излишне серьезным, как показалось Топилину.

— Как видите, обошлось без тьмы, — ответил он без тени улыбки, растягивая и придерживая слова, как бы пробуя их на вкус. — Тот рубильник, о котором вы упомянули, находится совсем в другом месте.

И вроде бы настал момент протянуть руку и представиться — но что-то в председательском взгляде останавливало Топилина.

— Я тут у вас поселился, — сказал он, заняв руки размашистым жестом, похожим на движение плавающего брасом. — Около месяца.

— Меньше, — поправил его Рудольфович и оглядел с головы до ног совсем уж подробно, всмотрелся в каждую деталь и даже, казалось, о каждой успел что-то такое подумать.

Встреча была прохладной.

— Д-да, — подтвердил Топилин. — Точно. Меньше. Никогда не дружил с календарем, а тут и вовсе время как-то расплылось...

Председатель хрустнул ключом в замочной скважине трансформаторной будки и, вынув его решительным офицерским жестом, сунул в карман — как пистолет в кобуру.

— Чем обязан? — поинтересовался, поправляя шинель на плечах. — И тут же кивком головы пригласил Топилина в сторону дома. — А то легко оделся, — пояснил он. — Как бы не простыть.

Они зашагали по заснеженному гравию, которым была засыпана дорожка от трансформатора до председателева дома.

— Да, похолодало.

— Минус десять.

— Теперь уж подержится.

— Да.

— Так и снега может навалить.

— Не исключено. Зима все-таки. Так чем обязан, Антон Степанович?

Топилин споткнулся от неожиданности. Это было уже слишком. К одиннадцати выпадал туз, а внутренний голос уверял-божился, что будет ровно двадцать одно.

— Осторожней, кое-где ямки, — заметил председатель, с деланным любопытством поглядывая по сторонам.

Времени на обдумывание не было. Он, конечно, успел побыть здесь и бывшим зэком, и деструктивным маргиналом. Но напялить маску Антона... Метко, Иван Рудольфович. Не в бровь, а в глаз. Вот даже левый глаз кольнуло как будто. Ой. «А давай! — Топилин покосился на председателя. — Семь бед — один ответ, однова живем, два сапога — пара, трое с сошкой, один с ложкой, ни эллина, ни иудея. Была не была».

— Так вы знаете? — спросил Топилин, торопливо склеив грустную мину.

— Я здесь все знаю, — ответил председатель, с особенно четким звуком ступая по гравию. — Положено.

Дальше молчали. Топилин внимательно слушал гравий. Антон вряд ли стал бы говорить о важном на ходу — и уж точно не стал бы без специального приглашения.

Подойдя к воротам, Иван Рудольфович толкнул приоткрытую створку:

— Милости прошу.

— Благодарствуйте, — ответил Топилин в тон председателю на старомодный манер и засомневался: не решит ли, что его передразнивают. — Обалденный дом, — добавил он на всякий случай.

Во дворе неожиданная встреча — Боб собственной персоной. Лежит на деревянном настиле, которым укрыта на зиму клумба под окном. Морда мечтательная. Переглянулись, Боб нехотя поднялся и, держа хвост и голову к земле, отправился за угол. «Ну, ладно, спалил, — говорила его понурая спина. — А потому что кормить нужно лучше».

— Этот у всех помаленьку пасется, — махнул на Боба председатель. — И у меня тоже.

Верхнюю одежду оставили в темной прихожей. Топилину были выданы тряпичные бахилы с резиночкой. «Не в музее, но чистоту чтим», — с достоинством заявил хозяин. Сам он переобулся в домашние кожаные туфли, серую шинель сменил халат с кисточками. В комнатах ярко горел свет, плотные шторы были задернуты наглухо. Из мезонина доносились сбивчивые трели канарейки. Прошли в гостиную с включенным электрокамином.

— У меня отдельная ветка, — бросил Иван Рудольфович, приглашая гостя в низкое кресло перед журнальным столиком. — Должны же быть какие-то привилегии за мои административные мытарства... Они, шельмы, знают про это. Раньше вякали время от времени. Теперь перестали.

Дождавшись, когда Топилин усядется в кресле, Иван Рудольфович занял кресло напротив, в два приема превратившись в свой черно-белый портрет работы Сергея: закинул ногу на ногу, сцепил длинные пальцы на впалом животе.

— Полагаю, у вас ко мне дело, Антон Степанович?

— Совершенно верно, Иван Рудольфович. Хотелось бы угольком разжиться в следующий завоз. Это возможно?

— Для нас ничего невозможного нет. — Он покачал носком туфли. — Сколько?

— Тут я профан... кубов, думаю, десять.

— Десять... не многовато ли? Впрочем, извольте, десять так десять.

Председатель задумчиво кивнул. Топилин заметил мимоходом, что они снова изъясняются на чистом тургеневском — но исправляться уже не стал. Тем более что Иван Рудольфович держался без малейших признаков неудобства.

— А позвольте встречный вопрос, Антон Степанович... Вы, что же, надолго собираетесь у нас задержаться?

— Да как получится, знаете.

— Угу.

Топилин никак не мог сообразить, чем расположить к себе Рудольфовича. Коль скоро тот видит перед собой Антона Литвинова. И непонятно при этом, как он к Антону Литвинову относится. Или не относится никак? Просто так надувает щеки, от пристрастия к надуванию щек... Вообще с непреднамеренным убийством, как знал теперь Топилин, — та еще головоломка. Быстрые современники давно приучены выбирать готовые мнения, как товары в гипермаркете: на этой полке у нас традиционализм... ну, там, «око за око», то да се... здесь — как бы взвешенно, но как бы уклончиво, бла-бла-бла, статистика, примеры... там вон, видите, за календариком — там анекдоты на тему... если еще осталось, быстро разбирают. Загвоздка, однако, в том, что, если с умышленными убийцами все более или менее ясно, готовых шаблонов, применимых к неумышленным, на полках не сыскать. А выстроить собственное отношение к случившемуся — работа весьма кропотливая. Очень важны подробности, самые мелкие. А где их взять? И когда с этим копаться?

Ивана Рудольфовича, впрочем, никак нельзя было причислить к разряду современников. Вживую председатель производил впечатление не то что рафинированного интеллигента, но интеллигента консервированного. Закатанного в банку по всем правилам кухонной науки лет эдак сто тому назад. Ну не изъясняются так сегодня. Не наклоняют вот так вот голову, не молвят: «Чем обязан?»

— Ванюша! — пропел из соседней комнаты женский голос. — У нас гости?

Вошла жена Ивана Рудольфовича. В метафайлах Сергеевых фотографий она значилась как Жанна К. На совместных с мужем портретах либо стояла рядом, уложив руку на мужнино плечо, либо обнимала его за плечи из-за спины. Лет пятидесяти. Одета в вязаный свитер фиалкового цвета. Разглядев гостя, упорхнула, не дожидаясь, пока ее представят.

— Я ведь с Сережей, можно сказать, дружил, — сообщил Иван Рудольфович, драматично разомкнув пальцы и высыпав их на ручки кресла, как на рояльные клавиши.

Топилин почувствовал, что Рудольфович созрел высказать нечто существенное.

— Какой он был? — вырвалось у Топилина.

После драки с Антоном все чаще и, главное, все охотней он действовал и говорил импульсивно. Начинало нравиться.

Председатель в очередной раз препарировал его холодным взглядом.

— Какой, говорите? Начитанный. С хорошим вкусом. Мыслитель. Человек, здраво оценивающий реальность. Словом, такой, каких немного теперь осталось.

— Вот как, — пробормотал Топилин, стараясь не сбить наметившийся председательский монолог.

— Именно так. — Он заговорил с воодушевлением, внезапно отринув свой могильный снобизм. — Именно такой человек, Антон Степанович, закончил жизнь под колесами вашей машины.

Топилин молчал, с интересом глядя прямо в лицо председателю: так-так, что дальше? Поднявшись рывком, Иван Рудольфович принялся ходить по комнате, от окна до электрокамина, где успевал погрузиться в зыбкие танцующие блики.

— До сих пор ловлю себя на том, что мысленно заговариваю с Сережей каждый раз, когда мне в голову приходит какая-нибудь важная, беспокойная мысль... простите за тавтологию, я взволнован... Как бывало раньше, когда он был жив и радовал меня своими визитами, и мы вели беседы, спорили иногда. В перерывах между нашими встречами, несмотря на то, что в последнее время они случались чуть не каждый день, я — да, представьте — частенько продолжал наш диалог, все не мог остановиться, досказывал то, что упустил... Он был исключительно интересным собеседником.

— Ванюша! — плаксиво позвала его супруга. — Тебе нельзя волноваться.

Председатель остановился, облокотившись на спинку кресла.

— Мне его очень, очень не хватает. Здесь таких больше не водится, — председатель грустно поджал губы.

Топилин вздохнул.

— Поверьте, — сказал, — мне искренне жаль, что так получилось.

Иван Рудольфович взял с журнального столика пульт, уменьшил мощность камина. Вернувшись в свое кресло, запрокинул голову на спинку. Так они посидели какое-то время, слушая кухонную возню Жанны К.

— Не мог понять, куда он пропал. Мобильник отключен... Потом одного из наших дачников встретил в городе. От него и узнал: сбит на трассе недалеко от поселка. Кинулся расспрашивать. Нашел телефон Юрия Кирилловича, у него тут участок. Какая-то шишка в МВД. Он сначала отпихивался, мои расспросы ему не понравились, но потом под большим секретом назвал ваше имя... и статус в общих чертах описал. А потом вы объявились. Я поначалу порывался к вам наведаться, — сказал он, прикрывая ладонью глаза. — Хотел высказать все... Но потом задумался. Этот ваш поступок, приход сюда... в зиму... из комфортабельной жизни... в аскезу и отшельничество, в которых так долго прожил Сергей, и то, что вы оделись в его одежду... очевидно, чтобы лучше его понять... Это выдает в вас человека неравнодушного, страдающего. — Он оторвал ладонь от лица. — И это меня остановило.

Топилин выбирал между вялым позывом открыть председателю правду о себе — и желанием доиграть эту нешуточную партию, в которой партнер зашел уже так далеко.

«Простите, Иван Рудольфович, что не открылся вам сразу. Дело в том, что я не Литвинов, я не убивал вашего друга». Сложность была в том — чем продолжить это признание: как объяснить Рудольфовичу, кто таков Александр Топилин, какое отношение имеет к фигуре Антона Литвинова и к смерти Сергея? Не соучастник даже — свидетель. Рядом сидел. «Я, Иван Рудольфович, давнишний приятель Антона. А оказался здесь потому... потому, Иван Рудольфович, что это происшествие, Сережина смерть и... все, что за ней последовало... всего я не могу вам сейчас рассказать... словом, я здесь потому, что вдруг осознал... не сочтите за экзальтацию... словом, что меня на самом деле как бы и нет. Понимаете? Не понимаете? Как бы вам... От моего имени жил какой-то посторонний, противный мне человек и нажил постороннюю противную жизнь. Эта жизнь, Иван Рудольфович, чем-то смахивает на дисциплинированный полевой бордель, неотрывно следующий за победоносными полками. Понимаете? Не понимаете? В общем, не убивал я никого, до свиданья». И на выход (не забыть снять бахилы). А если остаться сидеть, Рудольфович наморщит свой точеный, облагороженный питательными масками лоб, прищурится и спросит: «Извините, кто вы такой, вы сказали? Я как-то не вполне...» — и пальцами воздух потрогает, будто нащупывая. Но ничего не нащупает. Под недоумевающим взглядом его прищуренных глаз Топилин начнет стремительно таять и разрушаться, сотрясаясь в прощальных конвульсиях. «Куда же вы?! Эй!»

Топилин навалился локтями на колени.

— Вы все поняли. Мне, в общем, нечего добавить. — Но все же добавил: — Тяжело.

Иван Рудольфович плакал, аккуратно вытирая слезы согнутым указательным пальцем.

— Трагическая история, — сказал он бархатистым полушепотом.

На кухне плакала супруга Ивана Рудольфовича. Канарейка давно умолкла — ее накрыли, чтобы не мешала.

— Когда ко мне пришел Семен с расспросами о стоимости дач, — сказал Иван Рудольфович, — и рассказал, что Сережин друг обещал договориться с ним о покупке...

У Топилина трусливо екнуло в животе.

— Надеюсь, вы ему не сказали?

— Что вы, — председатель красиво поднял брови. — Но я вдруг с новой остротой почувствовал, как мучительно ваше теперешнее положение, как вам непросто принять случившееся.

Они молчали как-то по-новому. Совместно. Словно пережив объединяющий катарсис.

«Какое на этот раз изящное ненастоящее. Мастерское, виртуозное ненастоящее», — думал Топилин, рассматривая возможность разбить журнальным столиком электрический камин. Потом поклониться грациозно и молча выйти (бахилы не забыть!).

— Хорошо, что вы пришли, хорошо.

У председателя зазвонил мобильник. Взглянув на экран, он извинился перед Топилиным, высморкался в возникший из пустоты платок и нажал на «ответ».

— Да! — бросил Иван Рудольфович в трубку совершенно другим, сухим командирским голосом. Послушал, добавил: — Иду. Пороть вас нужно, да некому.

Они вышли вместе. Возле крыльца председателя дожидалась странная делегация: три одетых в одинаковые серые комбинезоны субтильных мужичка. Двое из них выглядели лет на тридцать пять, третий был постарше и покрупнее. Всех их Топилин опознал по фотографиям из ноутбука.

— Снова косяк, Иван Рудольфович. В смысле, ну, ошибка. Разнобой пошел, — сказал старший, услышав шаги на крыльце.

Председатель попрощался с Топилиным, побаюкав его руку в своих чутких мягких ладонях, и, придерживая наброшенную на плечи шинель, зашагал, сопровождаемый людьми в комбинезонах, в сторону разлапистых сосен, темневших наискосок от его дома. Взглянув вслед удаляющейся четверке, Топилин заметил, что переулок в той стороне плавно скатывается в довольно глубокую ложбину, в которой вытянулось странное подслеповатое здание с узенькими ветровыми окошками там, где должны бы располагаться обычные. Увенчанные покатыми пластиковыми навесами, окошки вытянулись вдоль грубо оштукатуренного фасада. В здании было два этажа, похоже оно было на обрубок тракторной гусеницы. <...>

Вернувшись из своего монастырского вояжа и уладив мировую, Антон лип к Анне постоянно. Анна Николаевна то, Анна Николаевна это. Отвезти ли вас? Встретить ли? Прислать ли водителя или, может быть, Сашу? А Саша тихонько глотал свое бешенство и делал лицо. И как же невыносим был соблазн разозлиться на Анну, оттопырить презрительно губу, уйти со сцены, гордо завернувшись в шумный плащ идальго.

Как много его — Антона Литвинова. А ведь казалось — только бизнес, ничего личного. Жаль, не удалось его побить. Ребячество, конечно, но хоть что-то...

* * *

Когда месяц светит тускло, как сейчас, черные груди, торчащие на востоке, особенно хороши. Без лишнего света, разъедающего иллюзию подробностями, я легко представляю себя степным великаном, явившимся на свидание к степной великанше. Раскинулась нагая в ожидании любви, и я готов обрушить на нее трепещущие тонны ласки — но пока еще медлю, пока растягиваю... Спасибо старшине Бану — теперь я знаю, что, чем дольше, тем лучше. И что когда ей приятно, она все для тебя сделает, все. Про «все» в исполнении Тони старшина Бану рассказывает с особенной гордостью.

Жизнь, оставленная мной на гражданке, раздражала бесконечностью болтовни. Что в телевизоре, что в студенческой богеме — всюду зудели разговоры, не только не подразумевавшие никакого дела, но почитавшиеся за дело первостепенной важности. Я никак не мог предположить, что в армии погружусь в атмосферу не менее

болтливую, чем в компании «отпетых». Здесь, разумеется, не рассуждали о творческой личности и косной толпе. Солдатская рутина была насквозь пропитана порнобайками.

Дедушки, предвкушающие увольнение в запас, на посиделках после отбоя, в прокуренных каптерках, под самогонку или чифирь мечтают о том, как дорвутся до своих Светок и Люсек или завалят наконец когда-то несговорчивых Наташек и Татьян. Перекур салажат, затянувшийся без офицерского или дембельского присмотра, почти неизбежно заканчивается сагами о половых подвигах на гражданке — и даже самым зачуханным, истерзанным казармой в лохмотья дают досказать, прежде чем высмеять. Болтают не только о случайных половых трофеях, но и о девушках — своих невестах, говоря высоким штилем. Женатые — встречаются в части и такие — поддаваясь общей болтливости, пускаются в воспоминания об исполнении супружеского долга.

Жара здешняя, что ли, влияет? Или это мне всюду чудится порнушка?

Иногда мне кажется, я единственный девственник в полку. Весь мой сексуальный опыт, не считая разглядывания картин с обнаженной натурой и ночных поллюций — голая Зинаида на сцене «Кирпичика», да еще однажды проходил мимо студии живописи, и была приоткрыта дверь, за которой натурщица, раздеваясь, жаловалась кому-то на комаров: «Кусают же, а ты не шевелись». В рядах вооруженных сил, в окружении говорливых самцов, готовых обсуждать друг с другом любой половой акт — не только собственный, но и виденный в кино, — девственность превращается в неподъемный груз.

— Зема, дай ту картинку, с негром и блондинкой. Пойду вздрочну перед сном.

К пошлости снаружи привыкаешь легко. Достаточно чем-нибудь ее объяснить: трудной жизнью, грубой средой — да чем угодно, назови хоть защитной реакцией, и пошлость становится чуть ли не поводом для жалости. Впустить пошлость внутрь, чтобы сделаться как все, чтобы стать простым, как я мечтал, отправляясь в армию, оказалось нелегко. Мешал, полагаю, вкус. И другие рудименты «высокого».

Я попробовал. Написал письмо Нинке — неожиданно подлое по замыслу. Написал, что многое понял, очутившись здесь, понял, насколько она мне дорога. Просил приехать. Под свидания с приезжающими телками сослуживцы освоили заросли в балке за ремротой. Управлялись между закатом и вечерней поверкой. «Приедет — трахну, а на гражданке сразу брошу» — простую эту мысль я гонял в голове целыми днями. И еще придумал, как отвечать тем, кто съязвит насчет Нинкиной внешности: «Вы бы знали, какие она вещи делает...»

Письма того я не отправил. Сначала ждал, пока уйдет в отпуск почтальон Величко, про которого было известно, что он вскрывает письма и особенно понравившиеся оставляет себе. В коллекцию. А потом я получил письмо от мамы, в котором она — чудесное совпадение — писала, что встретила на улице Нину. Только и всего: встретила на улице, Нина была, как всегда, приветлива, очень интересная девушка, подрабатывает рисованием детских комиксов, передавала тебе привет. Но и этого — упоминания Нинки в письме матери — хватило по уши. Спохватившаяся совесть устроила мне такой разнос, что я впал в бессонницу на двое суток. Двое суток без мгновения сна. Реальность плавилась, как асфальт на дневном солнце. Под конец я будто снился сам себе наяву. Тогда-то я и начал ходить сюда, к сисястым этим сопкам. Оказалось — то, что нужно. Пусть ботан и чистюля-девственник. Это я лучше сохраню и научусь притворяться. Они не заметят. Даром, что ли, детство провел за кулисами?

Да уж, простота дается непросто. Зато внешне я — баловень судьбы.

Вряд ли я выдержал бы испытание, к которому себя привел. Потому что нет никакого испытания. Дедовщина не испытание вовсе. Ненормально считать испытанием коллективное надругательство, за которое поруганные мстят тем, кто пришел им на смену. Я-то воображал, отправляясь служить, как воспитаю в себе храбрость и стойкость. Фантазировал, как даю решительный отпор и меня оставляют в покое: живи как хочешь, Саша, хрен с тобою. Но тут храбрым и стойким не позволяют жить как им вздумается. Машина работает без сбоев. Крепышу, который навалял пятерым дембелям своей роты, пробили череп черенком лопаты. Его продержали неделю в медпункте и перевели куда-то в стройбат. За год в части пять побегов и один суицид. Всем казалось, Зюзя спокойный покладистый чмырь. А он после визита родни, в первом же карауле, взял и выстрелил себе в рот.

Но я от казарменных радостей отделен. Не вкушал ни единого дня. Служу штабным писарем. Блатное место.

Под конец карантина, который проходил в брезентовых палатках, растянутых

возле медпункта, всех нас, стриженых салажат, выстроили в три шеренги, и начальник штаба подполковник Стеблина сказал рыкающим хрипловатым басом:

— Кто умеет писать без ошибок и рисовать? Шаг вперед.

Я к тому времени уже успел прочувствовать, насколько армейская реальность гаже моих схематически-романтических представлений о ней. Поджилки уже тряслись. Было несложно догадаться, что на армейской помойке, куда я прибыл подкорректировать себя, умение писать без ошибок и рисовать — навыки спасительные.

Подполковник Стеблина сразу же взвалил на меня большую и срочную работу: перепечатать списки личного состава, залитые вследствие протечки крыши дождем (источавшим, правда, сильный кофейный аромат). На все про все было выделено двое суток, которые я и провел в штабе безвылазно. Работа была готова чуть раньше срока. Стеблина был доволен. Так с тех пор и повелось, я обосновался в штабе.

Живи, ботан. Повезло.

И я живу. Можно сказать, живу припеваючи. Офицерского самодурства здесь не много, терпеть его легко. Это ж не портянка в рот и не сапогом «в фанеру». Целый день в штабе, за переписыванием приказов — кое-что от руки, кое-что на печатной машинке. Раз в неделю выпуск «Боевого листка»: сообщения об отправленных на гауптвахту, «актуальные» цитаты из уставов, календарик Великой Отечественной («в этот день подразделения Краснознаменного Ордена Ленина…» и т.д.). Ночую там же, в штабе, на диванчике. Само собой, на зарядку не бегаю. На поверку выхожу не всегда — только если дежурный из вредных, а таких в части не много. В расположение роты заявляюсь изредка по собственной прихоти — на людей посмотреть, новости послушать. Моя койка в роте стоит заправленная. В тумбочке зубная щетка, пустой тюбик пасты, мыльница — на случай какой-нибудь непредвиденной дотошной проверки. Когда я выдвигаю ящик и смотрю на эту мыльницу в белесых потеках, на истрепанную неведомо кем щетку, мне кажется, я подглядываю за жизнью моего двойника, которому не повезло: он не умел писать без ошибок и рисовать, место писаря ему не досталось. Двойник мой всегда в отлучке — то ли на постирушке, то ли заслан раздобыть сигареты «Космос» сухумского производства — здесь почему-то принято считать, что сухумские вкуснее, — или сапоги кому-то надраивает… да мало ли дел у ротного чмыря.

Я задвигаю ящик — и мне хорошо. Не зря все-таки книжки читал. Не зря кисточкой по холсту елозил. Видишь, пригодилось.

Почти в каждом письме — пишу я регулярно, монотонно-успокоительно — я убеждаю маму не приезжать ко мне в часть. Она столь же регулярно сетует, что и впрямь приехать ко мне не может: боится оставлять Зину одну, а присмотреть за ней некому, у всех теперь дел невпроворот. К своему дню рождения на всякий случай подстраховался, написал и ей, и отцу, будто бы на это время в полку намечен полевой выход, и мы почти месяц пробудем в палаточном лагере где-то на границе с Калмыкией — хоть и не Кавказ, но почта туда все равно, говорят, не доходит. Просил, чтобы и в часть посылку не присылали: пропадет. Все прошло гладко. Ни посылки, ни телеграммы. Никто из сослуживцев не поздравлял меня в столовой, не требовал проставиться в честь днюхи. Я был избавлен от казарменной пьянки в свою честь, пусть даже рискнув прослыть жлобом.

Мне было бы это тяжело. Разделить с ними свой драгоценный… совсем еще недавно драгоценный, исключительной важности праздник. Мне казалось это столь же отвратительным, как если бы меня вывели перед строем и заставили рассказать о себе правду — всю, подчистую: как мы с мамой читали в парке книги, как я нес Сорину трость, как писал стихи, по нескольку дней выдавливая из себя желанное слово, как блуждал в сказочном будущем, полном творчества и упоительной чистоты — и как все обернулось под конец Зинаидой. И пока я это рассказывал бы, они передавали бы друг другу мои детские фотографии, как совсем недавно передавали сложенные по размеру внутреннего кармана кителя, потрепанные и засаленные, в пятнах и брызгах картинки из «Спид-Инфо».

После отбоя посидел перед любимыми сопками — вот и весь праздник.

Было немного грустно — и пустовато. Оно и неудивительно: разбазаренные закрома нечем наполнять. Гуляет по ним ветер, метет шелуху. Главное убеждение, с которым я добрался к своим девятнадцати: интеллигентность, нацеленная в святость, обязательно оканчивается крушением. Когда ожидания задраны до неба, а совесть тиранствует без меры, не признавая скидок на времена и обстоятельства, — «зинаида» неизбежна. Та или иная.

С этим разобрался. Но дальше — ни тпру ни ну. Застрял.

В армии — там, где не положено рассуждать, — я надеялся опроститься до

нужного уровня. Спастись от смертельно высокого. Разведать секреты живучести. Но служба близится к экватору: забыты злобные деды, топтавшие салажат моего призыва, близится время, когда мой призыв будет ходить в «черпаках», а там каких-нибудь полгода — и они сами станут дедами и примут в свои нетерпеливые повзрослевшие руки других, новеньких салажат. Будут давить и ломать, лепить мрачное свое подобие. Я же, как в самые первые дни, болтаюсь в пустоте. И не знаю, как подступиться. Чтобы и слиться — и душу не выблевать. Хоть и поднаторел в амплуа штабной блатоты и парня такого, как все, на самом деле не изменился ни на йоту. <...>

Я наблюдаю за казармой, казарма наблюдает за мной. И никаких подвижек. Даже с представителями своего призыва не получается сблизиться. То есть со мной общаются — но выдерживая такую дистанцию, будто я известный в полку стукач. Или беглец, которого только что отловили и на первый раз вернули обратно в часть, не стали отправлять под суд, дабы не портить полковую статистику. И вот все ходят вокруг беглеца кругами. Вроде бы чморить его надо, в землю втаптывать: сбежал... самый умный, что ли? Но вдруг опять в бега подастся — не оберешься потом трендюлей от командиров.

Мне кажется, я притворяюсь на «отлично»: искусно матерюсь, бегло рассказываю о телках (после всего, что я здесь слышал, сочинить себе порно-биографию было делом пустячным). Но они почему-то не верят. Я чувствую. Принимать принимают в любой компании — все-таки я штабной писарь, первым узнаю много важных вещей: когда ожидается марш-бросок, когда приходит дембельский приказ, — но не верят. Я думаю о том, как они надо мной потешаются за глаза, начинаю волноваться и тут уж точно сбиваюсь. С другими здешними блатными у меня складывается чуть лучше. Все-таки все мы — хлеборезы, почтальоны, медбратья, ответственные за спортзал, водители командиров и особистов — отдельная каста. Счастливчики, отдаленные от общего дерьма, приближенные к какому-нибудь благу.

* * *

<...> Он вцепился в Топилина мертвой хваткой. Готов был откладывать дела ради их встреч, напоминавших чем-то встречи анонимных алкоголиков. Его хищное сочувствие к тому, кого он принял за убийцу своего близкого приятеля, было достойно профессионального внимания доктора Хорватова. Но Топилину оно было только на руку. Отправляясь к Рудольфовичу, он подолгу простаивал перед зеркалом, репетировал. Быть Антоном Литвиновым казалось чертовски интересно. Куда интересней, чем, например, Шаниным. Или даже Сергеем — особенно если говорить о настоящем Сергее, а не о том, который является стремянному Коле.

К тому же у Рудольфовича можно было принять горячую пенную ванну.

Их посиделки проходили по одному и тому же сценарию. Топилин выходил из ванной, они устраивались в натопленной гостиной, вытянув ноги к мультяшному пламени электрокамина. Жанна Константиновна подавала им кофе, шоколадок-печенюшек в хрустальном вазоне и, посидев для приличия, посудачив о последних событиях в поселке, которые также не отличались разнообразием — соседка с мужем поругалась, к старику Михалычу «скорая» приезжала, — уходила готовить обед. Если в мансарде принималась журчать канарейка, Жанна Константиновна отправлялась к ней и пресекала пение специальным чехлом, сшитым из синего армейского пледа. А Рудольфович рассказывал Антону о Сергее. Душещипательно. Как стойко тот переносил тяготы дачного быта, как был глубок и талантлив.

В начале, когда в председателе только разгорался мемуарный пафос, Топилин внимал ему в строгом целомудренном молчании, стараясь не ерзать в комковатом кресле, не менять слишком часто позу. Позволив Рудольфовичу углубиться, растратить первый жар, он начинал задавать уточняющие вопросы, ответы на которые постепенно переходили в горькие раздумья о современности.

— Я сразу его приметил. Таких видно. И речь, и манеры. И увлечения. Разве посредственность разглядела бы в нашей дыре всю ту красоту, которую нафотографировал Сережа? Вы видели?

— И был очарован не меньше вашего, поверьте.

— Думаю, он и в тот вечер... в свой последний вечер... собирался что-то снять. Увлекся, вышел на трассу, и...

— Вон что...

— Он был такой глубокий... Да. Глубокое в море плоского — сегодня это редчайшая, ценнейшая находка. К слову, для меня нынешние времена — не времена вовсе.

Так... набросок. Что о них скажешь? В чем их содержание? Как ни скажи, хорошо или плохо, все выйдет невпопад. Все будет — ни правда, ни вранье.

— Верно подмечено, Иван Рудольфович. Ни то ни се. Туманы-растуманы.

Вжившись в образ, Топилин, как мог, придерживался оригинала: сохранять лексику удавалось не всегда, но жесты воспроизводил прилежно, меткие и пружинные. Головой поводил, как он: слегка закидывал назад, словно для того, чтобы воротник затылком пощупать. Так увлекался, что к концу беседы нет-нет, да и проверит макушку: на месте ли волосы.

— Безвременье окружает нас, Антон Степанович. Эпоха Междупрочим. Ничего нигде. Пауза, пустота. А жить-то надо! Жить-то, дорогой мой, надо!

— Согласен на все сто, Иван Рудольфович. А ведь Сергей, царство ему небесное, от этого безвременья и бежал. Нет, он не был неудачником.

— Чушь! — поморщился Рудольфович, словно отвечая невидимым оппонентам, считавшим Сергея неудачником. — Только человек недалекий мог так считать. Ему удача выпала, какая мало кому выпадает: вырваться. Из фальшивого вырваться, освободиться.

— М-да... И вот как все закончилось...

Председатель отвечал долгим уважительным молчанием, иногда накрывал руку Топилина своей мягкокожей рукой — за что Топилин присуждал себе максимальное количество баллов. Бывало, загадывал: вот сейчас — пожмет или просто помолчит? За похлопывание по плечу начислялось пять баллов, за вздох с последующим молчанием — три, за вздох без молчания — один утешительный балл.

— Непростое у вас положение, Антон Степанович. Ох, непростое. Не устану это повторять. Даже не знаю, что посоветовать. Да. Крепитесь.

— Стараюсь, как могу, Иван Рудольфович.

Готовность председателя превратить в бесконечный сериал поминки по Сергею можно было объяснить желанием продемонстрировать собственную изысканность. Занять место поводыря и наставника — иди, мол, на голос, и будет тебе счастье. Это могло быть обычной реакцией квалифицированного болтуна, истосковавшегося по достойному слушателю.

Но было еще что-то.

Вскоре Топилин узнал, что именно. Бездетный председатель не только питал к покойному Сереже чувства почти что отцовские — он растил из него наследника. Точнее, преемника в управлении швейным цехом, располагавшимся в балке — в здании, похожем на кусок тракторной гусеницы.

— Предприятие, как вы догадываетесь, нелегальное... ну, в бумажном смысле... Надеюсь, вам это не претит?

— Помилуйте, Иван Рудольфович!

— Что ж, я не сомневался в том, что вы сморите на вещи разумно. Так же и Сережа на это смотрел. К слову, порядки на нашей пиратской «Зорьке» — в любой государственной конторе могли бы позавидовать. Зарплаты выше средних в районе по отрасли, я слежу, отпускные платим. Вот премию передовикам надеюсь у хозяина к празднику выбить. Держимся принципов, не побоюсь этих слов, справедливости и гуманизма. И все это благодаря усилиям вашего покорного слуги. Да. Поверьте, мне есть чем гордиться. А ведь не сойдись мы с хозяином — имени его я вам, простите, назвать не могу — в цеху были бы совсем, совсем другие порядки. Бесправие, озлобленные гастарбайтеры, анаша и пьянство. При прошлом управляющем так и было. Так и было, да. Поджигали цех в отместку за увольнение. И если бы я вовремя не погасил...

— Что вы говорите!

— Да-да. И это было.

Изготавливали на «Зорьке» самый разнообразный контрафакт, копируя с предоставляемого заказчиком оригинала: спортивные сумки и костюмы, кепки, костюмы деловые, платья и юбки, а также униформу, медицинские халаты, детские слюнявчики, трусы и пижамы.

Иван Рудольфович собирался переезжать в Калининград, где неожиданно получил наследство от тетки, скончавшейся в возрасте ста двух лет. Предполагалось, что тетка оставит квартиру сыну. Но сын не ухаживал за ней в старости — и вот она отомстила. Наследство наследством, а бросать любимое детище — «Зорьку», в которой сумел навести порядок гуманный и справедливый, председателю было жалко.

— И ведь Сергей почти уже освоил все тонкости... управление, производственный процесс, бухгалтерия, закупки. Талантливые люди талантливы во всем.

— В который раз убеждаюсь.

Ключевая деталь никак не давалась Топилину: Иван Рудольфович был настолько колоритен, что псевдо-Антону в этом дуэте никак не удавалось исполнить первую скрипку, хотя бы коротенько. Не то чтобы случая не выпадало. Наоборот, их было предостаточно. Но Топилин раз за разом упускал. Опомнится, когда уже поздно: «Черт! Что же я тогда этого пономаря не перебил, не убавил хоть немного...» Играть Антона, не сделавшись центром сюжета — все равно что рассказывать притчу и забыть развязку.

— А знаете ли вы, милый мой Антон Степанович, что Сережа мечтал заработать здесь деньги и снять кино?

— Широкая натура... мечтательная...

От председателевой болтовни начинало подташнивать. Было очевидно, что он может тянуть тянучку бесконечно.

— При всей своей утонченности Сережа был человеком основательным, Антон Степанович. Основательным и... вот я бы сказал, обучаемым. Это сегодня важно. Да. Хотя, знаете, он рассказывал, что когда-то был другим. Ветреным. Представьте.

— Надо же.

— А еще говорил, что в глазах жены давно стал занудой и не считает нужным ее в этом переубеждать... то есть не считал... нужным. Да и стоило ли? Если она сама не понимала, — говоря об Анне, Иван Рудольфович заметно раздражался. — Не могла простить ему неудачу в одной затее.

— Слышал, — буркнул Топилин. — Наводил справки.

— Интересно было бы взглянуть на эту курицу. Я много раз ему говорил: плюнь. Плюнь, Сережа. Не твоя. Забудь. Женщина, судя по всему, исключительно меркантильная. — Иван Рудольфович покачал носком туфли. — Разве мог такой человек, как Сергей, встретить в ней счастье?

— Это очень важно — правильная женщина, — соглашался Топилин.

— Ах, Антон Степанович, если бы не эта нелепая смерть! — вздохнул председатель, ставя брови домиком. — Если бы... Ах, Антон Степанович! И Сережу жалко, но и вам не позавидуешь. Позвольте вопрос э-э-э... щекотливый... А дело-то на вас завели? Просто для информации. Или...

В тот раз Топилин успел. Резко встал, молча пошел по комнате. Антон непременно сделал бы так. Решившись сказать что-нибудь важное, продемонстрировал бы для начала, насколько свободно он чувствует себя на чужой территории. Несмотря на сложность вопроса. И щекотливость, да.

Он мог поддакивать. Сколько угодно, не жалко. Быть искренним, когда захочет. С тем, кого выбрал сам. Но не нужно загонять его в угол, мсье председатель. Никогда. Этими всхлипами, непроницаемым валом воспоминаний о случайно убиенном Сереже. Не надо в угол. Не мое это место. Мне нужно вдоволь пространства. Для начала. Там поглядим.

Дойдя до разлапистого фикуса, Топилин щелкнул ногтем глянцевый лист, развернулся и пошел обратно.

— Видите ли, Иван Рудольфович, — сказал он быстрым, но спокойным голосом и почувствовал плотную волну уверенности: так, хорошо держишься, давай дальше. — Положение мое действительно непростое. — Пресек взглядом попытку председателя вставить реплику — обожди, сейчас я говорю. — Подробности перед вами выворачивать не стану. Что меня гложет, да как. — Он навис над председателем, став спиной к камину. Скрестил руки на груди. — Главное, о чем мы с вами должны договориться — мы не обсуждаем всю эту юридическую лабуду. О'кей? Не касаемся. Вообще никак. Ясно? — Дождался, пока председатель сообразит, что тут следует кивнуть. — Не потому, что я боюсь это затрагивать, — продолжил, мягко качнувшись с пяток на носки. — Но мне исключительно неприятны эти гнилые ментовские темы. И сопрягать их со своей судьбой я не желаю. Понятно? Я сам себе правосудие.

— Хорошо-хорошо, я безо всякого... — успел промямлить председатель, сбиваясь с тургеневского.

Топилин снова дошел до фикуса, предоставляя Ивану Рудольфовичу возможность осмыслить услышанное. Лист все еще качался. Здесь следовало развернуться на каблуках с резким скрипом, пачкая паркет. Развернулся. Председатель оторвался от спинки и устроился на самом краешке кресла, чтобы не пропустить ни одного слова, высказанного негромко, но веско.

— Я не потому так говорю, что у меня мания величия, Иван Рудольфович. Я, пока бизнес свой отстроил, многое успел. Узнать. Сделать. Случались иски от хитросделанных, и сам я банкротился, когда мне нужно было. Дважды. И я слишком хорошо

знаю, что такое... — он повел головой, — что такое эти наши суды и прочая. Не могу я отдать им себя. Понимаете? Гнушаюсь. Злодеем я никогда не был, а так... как бы вам объяснить... Вот, к примеру, пользовали вы бабенку за сходную плату. Нормальная такая бабенка была, толковая, все при ней... Вы уж простите мои фантазии... навеяло. Стало быть, пользовали ее, пользовали, а потом вдруг, пардоне муа, у вас с конца закапало. Ай-ай. Бегом лечиться. Вы к доктору, а там — она. Она, оказывается, доктор. Венеролог, видите ли. Сертификаты на стене, грамоты, благодарственные письма. Будете вы у нее лечиться? А?

Развел руками — дескать, ответ очевиден — и сделал несколько шагов по комнате. Если председатель сейчас затянет какую-нибудь благоглупость, придется его осадить. Умей слушать паузы, говорун.

Не затянул.

— Тут, Иван Рудольфович, все ясно как божий день. Если немного уточнить метафору, я там стольких за сходную плату имел, что идти мне туда за правосудием... — Он махнул рукой, будто бросил что-то себе за спину. — Обойдусь как-нибудь. Сам разберусь. Сам. Без этих... в общем, блядей ваших в мантиях не нужно мне под нос совать. Ни в коем разе.

Председатель страдальчески косился на тонкую филенчатую дверь, за которой темнел силуэт Жанны Константиновны: собиралась войти в зал — и вот налетела на непечатное. <...>

С формулировкой «раз уж ты от Антона своего сбежал» Марина Никитична нарушила многолетнюю договоренность и тоже позвала его на праздник оливье и шампанского. От матери отбиться было проще.

— Че-та я щас не понял, — сказал он с босяцкими интонациями, как когда-то в детстве, изображая соседей маме на потеху. — Че за новые годы, мамаша?

— Стало быть, ждем, — поспешила подытожить Марина Никитична. — Часов в десять.

— Ой-ой-ой, мамаша! — возопил Топилин. — Не нада тока передергивать. Это как-то, скажу я вам, не по-родственному, ей-богу.

— А ну, говори нормально!

— Мам, ну ты чего вдруг? — Топилин послушно заговорил нормальным голосом. — Что за сбой в системе? У нас же уговор: Зиночка отдельно от Сашеньки.

— Это у тебя, Сашенька, насколько я понимаю, сбой. А у нас с Зиночкой все как обычно. Тьфу-тьфу-тьфу!

— Поздравляю.

— Вот придешь и поздравишь.

— Нет, мам, не приду. Ты же знаешь, я не люблю этот елочный шабаш. И ты никогда не любила. Зачем зазываешь?

Марина Никитична никогда не упрашивала. А тут не удержалась.

— Саша, ты прячешься от своего Антона...

— Ни от кого я не прячусь.

— Не перебивай, пожалуйста. Ты уехал из города, сменил номер телефона. Ты бросил фирму, на которую столько лет угрохал...

— У меня творческий отпуск.

— Как ты думаешь, могу я тут сидеть спокойно, зная, что у тебя серьезные проблемы? Я переживаю, сынок.

— Я заеду, — пообещал Топилин. — Обязательно. Только не на Новый год.

— Антон твой приходил.

— Зачем?

— Ну, как... Ищет тебя. Глазами рыскал. Пытался, видимо, понять, бываешь ты у меня или нет. Подарок мне принес. Про Зину забыл, невежа.

— Ух ты! Какой?

— Плюшевую белку, — помолчав, ответила Марина Никитична. — Я вообще стараюсь не подавать вида, что знаю о вашей размолвке.

— Мам, размолвка — это у дяденек с тетеньками.

— Кстати, твой Антон такой набожный стал! — оживилась Марина Никитична. — Вошел, икону ищет. Мол, а где тут у вас? Перекреститься ему нужно.

— Все, мам. Некогда мне с тобой про моего Антона тары-бары разводить.

— Да и я не собиралась. Давай о тебе поговорим.

— Что обо мне-то? Отдыхаю. Воздухом дышу. Все, мам. Некогда. Сейчас как раз самый воздух, пока ветер не переменился. Пойду подышу. Целую. <...>

Пригласил и Коля, демобилизация которого задерживалась по личному распоряжению полковника Мурашова до тех пор, пока на смену ему среди призывников соседних частей — а военкоматы на этот раз со спецзаказом не справились — не отыщется новобранец, имеющий навыки ухода за лошадьми. В качестве утешения на время новогодних праздников Коле был обещан телевизор. Относительно Колиного приглашения Топилин колебался. В гостях у вертолетного конюха, которого он щедро веселил рассказами об антиправительственных выходках вымышленной группы «БоЕк», ему было уютно, как не бывало уже очень давно. Так почему бы не посидеть напоследок? И все же Топилин предвидел, что вид новогоднего Коли — а разжившийся телевизором Коля, с пультом в руке, с Киркоровым в глазах, вряд ли избегнет дураковатой восторженности — порядком подпортит общее впечатление. И под бой курантов развеется очарование домика, пропахшего кирзой и Яшкой, — как однажды сам Коля развеял очарование грезы об утренней наезднице.

Название «БоЕк» Топилин расшифровывал по-разному — например, как «Боевые клоуны».

— А «е» откуда? — уточнял Коля. — Там же «е» не должно быть.

И Топилин отвечал, пожимая плечами:

— Без «е» сегодня никак. Особенно в политике. Без «е» только черви плодятся.

Потом он придумал «Бойку» новую этимологию — дескать, это начало украинотюркской фразы «Бо ек порядку». Наконец, однажды со строгим лицом Топилин сообщил Коле, что на самом деле — раньше он не мог ему этого открыть, раньше он его проверял — «БоЕк» составлен из начальных слогов имени и фамилии миллионерши Боккаччо Еко, которая разработала и пустила гулять по свету концепцию «смешных революций» (благо, Интернета на конюшне не было и проверить его Коля не мог).

В боевого клоуна Топилин перевоплощался легко — будто и впрямь долгие годы только тем и занимался, что подтрунивал над припухшей властью: рисовал на стенах карикатуры на тандем, устраивал жестокие розыгрыши городским чинушам, с некоторыми из которых в своей реальной жизни здоровался за руку.

Реакция Коли на его россказни была по-детски непосредственной. Слушать, как он заходится от смеха, Топилин мог часами.

Коле особенно нравилась история о том, как, по всем законам шпионских фильмов отключив сигнализацию и видеонаблюдение, по веревочным лестницам «бойки» проникли в гараж любореченской мэрии и разрисовали новенькие «майбахи» и БМВ мясистыми задницами в шляпах: Ромчик любил фетровые шляпы.

— Вот только жаль, они в таком виде из гаража не выезжали. Но мы все на камеру сняли. Два миллиона просмотров в Ютьюбе.

Коля хохотал и смотрел на него восхищенно. Было приятно читать восхищение в глазах того, кто в два раза тебя моложе. И Топилин старался.

Чуть менее года своей подходящей к концу службы Коля прожил на конюшне почти безвылазно. Полковник Мурашов и теперь отпускал его в увольнительные редко: Юля была против. Да и Яшка не одобрял отлучек своего конюха. Как только замечал, что из кирпичной хибары выходит вместо Коли незнакомый боец, тут же начинал буянить: ржал, ясли лягал.

Коля смертельно скучал. С появлением Топилина он принялся осваивать волнующую практику самоволок: предупредив дневального на КПП, прихватив рацию, приезжал верхом к Топилину в гости. Благо, недалеко, через поле. Из Топилинского окна КПП как на ладони, и даже если дневальный предупредить забудет, можно успеть вернуться, заметив выезжающую машину. Зловредному Яшке в каждой такой самоволке перепадал какой-нибудь лошадиный деликатес: яблоко, морковка или горсть рафинада, и он стоял во дворе как паинька, тихонько пофыркивая и в предвкушении вкусного пожевывая голые ветки яблонь.

Топилин к таким встречам готовился: Колину веру в боевых клоунов нужно было подпитывать чем-то материальным. Однажды, например, запасся окурками разных марок. Женские для убедительности испачкал грифелем красной гелиевой ручки, завалявшейся в бардачке «тигуана». Хранил до отказа набитую пепельницу в ящике стола, дабы окурки не заветрились. Когда заявился Коля, Топилин вынул пепельницу и как бы не нарочно пронес перед самым его носом. Коля тут же всполошился, за локоть поймал:

— Оп-па! У тебя баба была?!

— Да нет же, какая баба, — ответил Топилин, словно оправдываясь. — То есть баба, но не в том смысле. Это бойки мои приходили. Видишь, вон, Алик «Мальборо» курит, Мамонт «Честерфилд». А эти вот, тонкие — это Иришка. Всю ночь, блин, сидели, терли за свое.

Коля кивал головой: понятно.

— Че, опять затеваете?

— Да затеваем, — как бы нехотя признавался Топилин. — Хотим к рекламной панели подключиться, такая громадина возле парка Горького, видел?

Коля не видел: парк значился в списке объектов, запрещенных для посещения во время увольнительных — там собиралась неформальная молодежь, которая могла научить военнослужащих плохому.

— Ну, не важно. В общем, хотим подключиться и ролик прокрутить. Чувак будет в маске Путина его голосом говорить. Сначала скажет: «Вы меня слышите, бандерлоги?» Потом на ломаном английском: «Лет ми спик фром май харт», — задушевно так, ну, ты знаешь, по-путински. И дальше уже монолог такой, с рефреном «не дождетесь». Один из наших уже сочиняет.

Сверкающее снежное поле с редкими бурыми проталинами бесконечной разреженной цепью прочесывали опоры ЛЭП. За полем тянулась серая линейка забора. Узелок КПП вспухал посредине забора. Слева над забором серели бетонные крыши военного городка, справа — узеньким полосатым поплавком всплывала вышка ЦУПа. Дальше — летное поле, исчерканное вертолетными лопастями, и снова снег. Все, из чего помимо седла и навоза, да еще скулящей ненависти к полковничихе Юле состояла Колина воинская служба. Топилин смотрел на далекий бетонный забор, за которым тянулась армейская жизнь, столь хорошо ему знакомая и памятная — с утренней побудкой и военной рутиной, дедовщиной и самодурством начальства, с вечными кашами и яичницей на праздник, — и думал: «А ведь повезло парню, что к коню приставлен. С такими-то миниатюрными габаритами и детским смехом наверняка быть ему перемолотым казармой в пыль. Сломали бы всенепременно. Кого и ломать, как не таких смешливых недомерков? А тут, на отшибе — уберегся. Поедет домой нетронутым, живым».

* * *

С Антоном мы вместе призывались. Правда, ни на пересыльном пункте, ни в поезде его никто не видел. Он присоединился к группе новобранцев перед самым КПП: вышел солдатик из белой «Волги», кивнул приветливо сопровождавшему нас офицеру, встал в строй. Про Антона много разных слухов ходило. Говорили, что он сын командира части, сын командира округа, еще чей-то сын. Антон насмешливо темнил, с любыми слухами соглашался, сам распускал самые нелепые — например, будто в армии он прячется от бандитов по программе защиты свидетелей. Или что он крестник Ельцина. Однажды мне надоели эти басни и, улучив минуту, когда командир пребывал в хорошем расположении духа, я спросил его про Антона.

— А сам Литвинов что говорит? — переспросил почему-то Стеблина.

— Говорит, сдал в суде цыганского наркобарона. Менты, говорит, обещали программу по защите свидетелей, он им поверил. А они его сюда — вроде как спрятали.

Сняв фуражку, чтобы не слетела, командир расхохотался, хлопая себя по ляжке и запрокидывая голову.

— А то я слышал, его в сыновья мне записали, — сказал он, отсмеявшись и водрузив фуражку на место. — Папа у него первый секретарь обкома. Любореченского, кажется.

— А почему же он служит? — ляпнул я, испытывая на прочность благостное настроение командира.

Оно оказалось прочным в тот день.

— Вообще-то, товарищ солдат, — заметил командир, переходя на легкий рык, — служба в вооруженных силах является священным долгом каждого гражданина Российской Федерации. Не считая того, что служба в армии необходима для поступления в некоторые учебные заведения. Усек?

— Так точно, усек.

— Вот и молодец. Вытри пыль на подоконнике и из кактуса бычки повынимай.

Подполковник Стеблина был человеком настроения. Случалось, я огребал от него за то, что какой-нибудь затрапезный приказ по части оказывался слегка примят или испачкан по краешку копировальной бумагой. В другой раз мне сходил серьезный прокол — к примеру, он заставал меня спящим на штабном диванчике (у моего будильника, который заменял мне крик дневального, иногда случались сбои). Зато я печатал набело с запятыми. И не бухал. Но выше всего начштаба оценил мое умение украсить забор нашей части надписями: «Внимание! Караульный стреляет на поражение!»

— Надо же, — сказал он, уважительно понижая голос. — Без всякой разметки, а ровно.

Антон служит водителем у полкового особиста. Вместе они выглядят довольно комично. Капитан Петраков невзрачный, как речная мелюзга. Не за что слову ухватиться. Лицо, глаза, нос, рот, уши, брови... Рост средний. Голос слышный. Если не знать, как все было на самом деле и почему Литвинов проходит службу при особом отделе, можно было предположить, что ладного здоровяка, умеренно усатого, с красиво слепленной коротко стриженной головой, Петраков выбрал себе в водители, повинуясь закону притяжения противоположностей.

Вот уж у кого получается быть своим для каждого, всегда и несмотря ни на что. Поговаривают, будто Антон по пятницам предоставляет начальнику письменный отчет обо всем увиденном и услышанном в подразделениях. Но и эти разговорчики, и печать мажора, которая дорого бы стоила кому-нибудь другому, Антону не стоят ровным счетом ничего.

Вообще избирательность и невнятность правил, по которым живут люди в казармах, для меня — китайская грамота. Лишь дедовщина возведена у них в абсолют. Ни один из законов не соблюдается с той оголтелой последовательностью, с какой отстаиваются священные основы дедовщины: первые полгода ты раб, последние полгода ты князь. Ни одно из преступлений, если оно не направлено против дедовщины, не карается здесь огульно, но всегда с оглядкой на преступившего. Вроде бы воровать у своих, то бишь крысятничать, смертельный грех. И вроде бы даже сурово карается. Один из «молодых» третьей роты, пойманный на воровстве из тумбочек, был подвергнут унизительному наказанию: салабонам приказали его избить, после чего на воришку помочился каждый желающий. Но я много раз и до и после этого случая слышал своими ушами, как другие бойцы едва ли не во всеуслышание хвастались воровскими трофеями: один умыкнул в бане новенькие портянки, другой ночью под носом у дневального раздобыл в соседнем взводе сатиновую подшиву. Понять, как это действует, вприглядку невозможно. Но переселиться в казарму, даже в статусе «черпака», я не решаюсь.

— Привет. Как дела?

— В норме. Как у тебя?

— В порядке.

Весь год наши с Антоном отношения полностью вписывались в схему «я наблюдаю, за мной наблюдают». Особому отделу отведено место на отшибе, в батальоне связи. Поэтому встречаюсь я с Антоном главным образом в столовой. Наша каста ходит в столовую под конец, когда подразделения начинают ее покидать и там становится свободней. Он подсаживается за мой столик, я подсаживаюсь к нему. Нам часто есть чем поделиться.

— Что слышно, Антон?

— На Кавказе, Санек, совсем жопа. Из округа несколько команд в Чечню отправили. Но нас не тронут вроде. У тебя что слыхать?

— Скоро новая форма должна прийти.

— Ну наконец-то!

— Нам хотели старую афганскую «песчанку» сбагрить. Комчасти отказался. С зампотылу окружным поцапался даже по телефону, я слышал.

— Да там сейчас зампотыл никакущий. Мой говорил. Какого-то пентюха с улицы взяли, дерьмо разгребать.

— А в Чечню, говоришь, не отправят?

— Не должны. Хотя я бы, наверное, не против на месячишко.

Дембельские проводы были в разгаре, когда на вещевой склад завезли долгожданную новую форму — пришедший на смену допотопной хлопчатобумажной брезентовке полевой камуфляж, предмет солдатских вожделений, ничуть не меньший, чем прогулка с девушкой в балку за ремротой. Камуфляж ждали еще зимой, а пришел он летом, незадолго до дембельского приказа. Начальник склада прапорщик Иванец предложил новую форму в подразделения не выдавать, пока не уйдут дембеля: какой смысл одеть их с иголочки и тут же отправить домой? Командир части согласился, но вот незадача: через неделю был назначен окружной смотр и пройти он должен был в новой форме.

Решили переодеть всех, кроме дембелей, которых поставят в наряды и на смотр не возьмут. Форму выдали за два дня до смотра. Но в первую же ночь в злосчастной третьей роте, славившийся особо жесткими дедами, пропало восемь

комплектов камуфляжа — как раз по числу дембелей, дожидающихся отправки домой со дня на день.

Когда наутро восемь салабонов явились на построение в хэбэшных обносках, скандал вышел грандиозный. Командир части, полковник Бондарь, орал благим матом. Отменил завтрак и обещал задержать все увольнения из части до тех пор, пока не обнаружится пропажа. Кажется, дембеля были готовы к такому раскладу и ради того, чтобы вернуться домой в заветном камуфляже, согласны были задержаться на службе. Бояться же им было некого. Комчасти поставил их перед строем, требовал, чтобы мерзавцы сознались и вернули форму, но те лишь пожимали плечами: знать не знаем, не брали, зря поклеп возводите, тырщ мандир. Тем, кто вернет украденную форму, обещано было повышение в звании и десятидневный отпуск домой. Третья рота молчала. Стукачество само по себе позорно. Но стучать на своих дедов считается здесь уделом последнего чмошника. Тех, кто настучал на своих дедов, чморят всем полком. Дед — а точнее дембель — предыдущего призыва Димка Шавардин в прощальную ночь с пьяных глаз разломал тумбочку дневального. Дежуривший по роте сержант Липатов предпочел взять вину на себя и отсидеть на губе, но Шавардина не выдал. В знак благодарности Шавардин, отправившийся наутро домой, оставил Липатову свой ремень, а Липатов через десять суток ареста вышел с гауптвахты в ореоле героя.

Итак, третья рота молчала. Тогда Бондарь в духе внедрявшейся тогда повсюду демократии выстроил полк перед штабом и оставил стоять, приказав офицерам удалиться.

— Через полчаса вернемся, — сказал Бондарь. — Проведем поверку. Кого не будет на месте, считается в самоволке. Подумайте пока. Покумекайте.

Как только офицеры ушли, строй сдержано загудел. Все и так остались без завтрака. А командир и дальше грозил репрессиями. Дембеля других рот, не решившиеся отобрать у своих салаг форму, роптали. Одно дело задержаться в части ради новенького камуфляжа, другое — запросто так. Но роптали они негромко и безадресно. В третьей роте дембеля как на подбор были безбашенные.

— Мешок с формой я в окно выбросил, — прозвучал вдруг громкий и спокойный голос Антона.

Тишина быстро расползалась по строю, от правого фланга, где стояли спецподразделения.

— Что ты сказал? — Сява Уральский, один из тех самых безбашенных, двинулся в сторону Антона.

Следом потянулись остальные.

— Вы со мной, пацаны, ни о чем не договаривались, — продолжал Антон, слегка угнув голову. — Притащили среди ночи... Так дела не делаются.

— Ты че, охренел, молодой? — бросил другой дембель, Миша-Доктор. — Тебе мозги подлечить?

— Я так считаю, — продолжил Антон, не обращая внимания на подступивших вплотную дембелей и глядя куда-то сквозь них, будто в глубокой задумчивости, — ваш приказ вышел? Вышел. Вам домой ехать не сегодня завтра. Вы в части кто? Деды? Нет. Вы теперь дембеля. Так? Вам салабоны масло уже не отдают. Вы сами постели свои застилаете и подшиву себе пришиваете. Все правильно, по закону. Так и положено. Так какого хрена вы у салабонов форму должны отбирать? А? Если бы вы дедами были, никаких вопросов. Берите. Никто бы вам слова не сказал. Но вы не деды. А это уже не по закону, Миша, не по закону. Ну, так? — обратился Антон ко всем.

И строй, успевший сомкнуться ломаными кольцами вокруг Антона и восьмерых дембелей, неожиданно дружно выдохнул: ну да, да, все так, правильно говоришь. Безбашенные переглядывались. Такими растерянными и... обычными — не самые рослые, не самые крепкие — их в части еще не видели. Заметно было, что каждый из них примеривается к тому, чтобы броситься на Антона с кулаками. Но офицеры хоть и оставили солдат одних, покуривали неподалеку. Формы-то уже нет, а влипнуть за драку можно по полной.

— Короче. Я мешок еще ночью, как только вы ушли, в окно выбросил. Не знаю, почему до сих пор не нашли. По закону нужно жить, пацаны, понятно? Как до вас жили и после вас будут жить.

Уверенность, с которой держался Антон, гипнотизировала. По рядам прокатилось: «Конечно. Если каждый так будет, что получится? Вышел им дембель — все, уже не деды. Не положено».

Безбашенные, словно очнувшись, принялись крыть Антона на чем свет стоит и называть особистской подстилкой, и угрожать, что нос ему из затылка вынут.

— Полегче, милые, — усмехнулся Антон с таким нехорошим холодком, что все угрозы безбашенных показались невинным бурчанием. — Один мой звонок — и все вы хрен домой доедете. И особый отдел тут совсем ни при чем.

Уже слышались приближающиеся шаги офицеров — не выдержали назначенного получаса, звучали команды взводных.

Часть стояла перед штабом еще какое-то время. Пока дневальный по столовой, Мирошник из первой роты, тайком несший завтрак своим дедам в санчасть, не наткнулся на мешок с формой.

Под впечатлением от случившегося в тот день я решился на некоторую дерзость: посоветовал командиру штаба, чтобы безбашенных отправили домой в тот же вечер. Тот опешил. И ответил мне как-то совсем не по-командирски:

— Так их завтра отправляют, одной командой. Всех на смотр, а этих с утреца на вокзал.

— Лучше прямо сегодня на вокзал, тырщ мандир, — сказал я, опасливо пряча глаза. — Может большая неприятность выйти. Из-за той формы.

И на вокзал с восьмерыми дембелями, лютыми и обиженными, отправили старшину Бану. Ох, и ругался же он!

— Тонька белье в секс-шопе прикупила. Такое! Со специальными дырками. А тут с этими быками дубоголовыми всю ночь на вокзале пришлось бухать. «Бану, ты что, брезгуешь? Бану, ты нас уважаешь? Бану, с дембелями даже менты пьют». Тьфу!

Антон был прекрасен в те дни. Слава его была беспредельна. Дежурные по кухне добровольно жарили ему мясо. Не на комбижире, на настоящем растительном масле. Со специями.

Антон ел мясо, ни от кого не скрываясь, и щедро угощал тех, кто к нему подсаживался.

И я, я тоже любил его всем сердцем. Так легко и глумливо расправиться с зажравшимися дембелями-отморозками, из-за которых мог пострадать весь полк! Конечно, он был героем. Мне даже замечталось, что после его выходки в полку начнут меняться порядки. И омерзительная дедовщина… ну, если не прекратится, то станет немного гуманней. Упорядочится, что ли.

* * *

Просторный асфальтированный двор, раскинувшийся за забором, который с двух сторон срезал склоны балки и поднимался вровень со строением, был вычищен от снега и даже как будто помыт. В углу красовались два красных микроавтобуса «фольксваген» и вазовская «четверка». Из-за угла вразвалочку вышли два мохнатых ирландских волкодава, сука и кобель. Следом, догоняя их на коротеньких, бодро барабанящих лапках, выскочил Боб. Увидел Топилина, сделал вид, что они не знакомы. Ирландцы остановились посреди двора, флегматично взглянув на председателя, Боб скользнул под микроавтобусы.

— У него ж тут пассия, — пояснил мимоходом Рудольфович. — Кое-как к Берку в доверие втерся, что только не претерпел, бедолага. Все надеется, когда тот отвлечется, Брину его оприходовать. Давненько не подступался, правда.

Внутри Топилина встретили такие же чистота и порядок. Гладко оштукатуренные стены выкрашены в приятный цвет перезрелого лайма. На стенах — стенгазеты. Топилин даже остановился, чтобы удостовериться. Так и есть — стенгазеты. Под размашистым заголовком «Наши ударницы и ударник» кривенькие строчки в три столбца заполняют просветы между фотографиями: сверху ударницы на фоне стены, снизу они же в семейном кругу. Ударник оставался в одиночестве на обеих своих фотографиях — очевидно, за отсутствием семейного круга. На следующем ватмане, озаглавленном «Наш досуг» — работники цеха, исполняющие номера художественной самодеятельности: гитара, чтение чего-то с листка, жонгляж бабинами ниток.

— Сережа снимал, как вы догадались уже, наверное, — заметил Иван Рудольфович, останавливаясь возле Топилина.

— Отлично фоткал, — заметил остановившийся на почтительном расстоянии бригадир.

Председатель обратил наконец на него внимание.

— Иди, Евгеньич, иди, — сказал он. — А то сейчас зайдем, там опять галдеж на все помещение. Кому это надо?

Бригадир прошел в конец коридора и нырнул на лестницу. Топилин принялся вчитываться в строки стенгазет: «На Пасху отдохнули еще лучше, чем на Девятое мая. Много пели. Провели турнир по бадминтону». <…>

Нет, не собирался Сергей отсюда выбираться. Не то чтобы некуда — Анна, разумеется, приняла бы вернувшегося из «Яблоневых зорь» беглеца с той же легкостью, с какой после его гибели преступила через траур. И жила бы с ним, в его нытье, с его глобальной обидой под боком. Незачем было Сереже отсюда выбираться. Бывший маэстро билбордов ухватился за перспективу занять место Рудольфовича в «Зорьке», будто там его действительно ждала новая жизнь, в которой он готов был начать что-то заново, что-то назначить целью, чем-то жертвовать, о чем-то мечтать. Выбор, на вкус Топилина, странный. Но после экскурсии по «Зорьке», где в терпкой гармонии абсурда смешались цеховое подполье и кружковая совдепия, копаться в Сережиных мотивах сделалось непреодолимо скучно. Вероятно, так было бы все-таки правильно и душевно, и даже выглядело бы благородно — понять, как доживал свою неудавшуюся жизнь тот, кто свел его с Анной, долгожданной Анечкой, — но Топилин после стрекота швейных машинок, после стенгазет «Зорьки» стремительно терял к покойному всяческий интерес. О мертвых либо интересно, либо ничего, решил он.

Удивился, услышав топот копыт: Юля никогда не выезжала два дня подряд.

Выглянул в окно и подозрительно прищурился. Вдоль снежной кромки верхом на Яшке надвигалась какая-то необычная Юля. Ядовито-сиреневая шевелюра, развевающиеся пестрые одежды. Вроде бы даже крылья за спиной — качаются, дрожат. Открыв окно и прислушавшись, Топилин понял, что Юля скачет под музыку — поверх перестука копыт доносилось: «Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне б такую!»

Высунулся по пояс в окно: что за бред? Губы ярко-алые, ноги в полосатых, осиной расцветки чулках. И сапоги золотые. И сиськи — громадные, как ведра, скачущие во все стороны так, что казалось — сейчас оторвутся и пометелят своим ходом, обгоняя коня.

Наездница приблизилась, и Топилин чуть не вывалился от смеха на крыльцо: в седле сидел раскрашенный Коляша — в новогоднем серебристом парике, в каком-то безумном, а-ля Пугачева, балахоне. Музыка неслась из магнитофона, спрятанного в вещмешок у него за спиной.

Топилин слова не мог выговорить от смеха. Лишь тыкал перед собой большим пальцем, задранным кверху. Ряженый тем временем перевел коня на шаг и, поравнявшись с воротами, заставил его обернуться несколько раз по кругу — дабы продемонстрировать все прелести костюма. К каждому ведерку груди приторочен флажок ВВС, на спине болтаются два настоящих бюстгальтера внушительного размера. «Ах, какая женщина! Как-ка-а-ая же-э-энщщщина!»

Яшка недовольно скалился, но вертелся.

— Я умру сейчас, Коля! — выкрикнул Топилин сквозь смех. — Хватит!

Коляша кокетливо сделал плечиком, покачал бюстом — и поскакал вдоль дворов, во многих из которых уже маячили хозяева, привлеченные музыкой и аляповатой фигурой в седле. Покрасовавшись перед каждым домом, позволив каждому зрителю вдоволь отсмеяться и отмахать руками, Коля пускал коня дальше, к следующему хохочущему двору.

— Ты заценил? — гордо спросил он по телефону минут через двадцать, когда, видимо, был смыт грим и шутовской костюм спрятан в безопасное место.

— Коля, ты лучший. Я так лет двести не смеялся. Как заново народился, честное слово.

— Даже помаду попросил пацанов прикупить. Чего только от них не наслушался. Ты в следующий раз должен меня на видео заснять, чтобы я им показал. А то задолбали.

— Не вопрос, Коль. И видео, и фото. Только предупреди.

— А лифчики, веришь, настоящие, Юлины. Сам лично добыл. С веревки спиздил, когда сушились. Домой на память повезу.

— Ты бы чашечки к дембельской форме своей пришил. На погоны.

Назавтра представление повторилось. Заблаговременно предупрежденный эсэмэской, Топилин снял его с двух ракурсов: сначала из окна, потом от ограды, крупным планом. Поселок тоже ждал. Судя по обилию зрителей, дачники Окраинной улицы позвали соседей из домов, откуда обзор поплоше.

Когда в следующий раз вдоль окраины «Яблоневых зорь» поскакала настоящая

Юля, ее встретил смех едва ли не такой же, какой встречал ее карикатурного двойника. Крайне удивленная, Юля придержала коня, пустила шагом. Потом и вовсе остановилась, оглядела себя со всех сторон, ерзая в седле, как ужаленная, чем вызвала волну гомерического хохота. Крикнула: «Придурки!» — хлестнула Яшку и ускакала.

С тех пор Коляша время от времени повторял свои выездки, каждый раз добавляя в шоу что-нибудь новенькое: то грудь вывалит — зеленую, сшитую из прорезиненного армейского ОЗК с соском из шеврона, то пронесется в противогазе с торчащими проволочными ресницами, то заставит Яшку кланяться, надев ему на голову кружевной Юлин бюстгальтер.

— Она никак в толк не возьмет, что происходит, — счастливо ухмылялся Коляша. — Даже у меня спросила: чего они ржут, как идиоты?

— А ты?

— Сказал, цыгане приходили, промоакцию делали — пакетик конопли бесплатно, на пробу. Курят теперь, говорю, все повально. Сутками хохочут. Бывает, даже спать не дают.

— Серьезно? Так и сказал?

— Зуб даю, Саша. Слово в слово. Она аж в лице перекосилась. Понимает, что издеваюсь. Но ничего, схавала.

* * *

Мы очень сблизились с Антоном. Признаться, я и сам того хотел, но инициатива принадлежала ему. Скорей всего, я не решился бы сделать первый шаг. Все-таки я — не более чем писарь. А он герой и всеобщий любимец.

Поначалу Антон наведывался ко мне в штаб после отбоя, улучив момент, когда дежурный по части отправлялся проверять караулы. Дневальные и помощники дежурного волновались из-за его визитов: они рисковали угодить на гауптвахту, пропуская его. Но это же Антон. И они пропускали.

Я горжусь нашей внезапно начавшейся дружбой.

Теперь Антон остается ночевать у меня. Нечасто, обычно в пятницу или субботу. Дополнительный матрас я прячу в старом сейфе, который стоит на лестнице, ведущей в штабное бомбоубежище. Случается, проговорим полночи, выползаем на утреннее построение в последний момент, небритые и не выспавшиеся.

Я боялся разочароваться в Антоне. И зря. Никакой порнушки, ни слова про баб. Разве что чуть-чуть, самую малость. Все-таки мы в армии. Он даже матерится редко, и всегда к месту. Говорим о жизни на гражданке — о чем еще говорить? Антон рассказывает, как ему жилось при «партийном» папе: в школу на «Волге», лето в «Артеке», собственный видеомагнитофон с фильмами Чака Норриса и Брюса Ли. Бывает, делится воспоминаниями о вкусностях из спецраспределителя — но сдержанно. Меня Антон расспрашивает о многом. После того как я признался ему, что мой отец долгие годы негласно руководил самодеятельным театром, Антон стал интересоваться, как устроена жизнь за кулисами: какие там порядки, какая иерархия. Я рассказываю ему много о себе. Больше, чем кому бы то ни было. Почти всегда правду. Привираю чуть-чуть. Точнее, утаиваю. О причине ухода отца из театра сказал: «Не нашел общего языка с новым руководством». Про Зинаиду пока молчу.

— Слышь, Сань, — сказал однажды Антон, когда мы разлеглись по своим матрасам; шел дождь, стучал по фонарю за окном, отчего свет в окне пульсировал. — Я не пойду в органы служить. Я еще когда в армию шел, сомневался. На хрена, думаю, эта лабуда с портянками? У отцовских корешей сыновья — никто не пошел. Но у пахана мечта, чтобы я чекистом стал. Он сам когда-то хотел. По здоровью не прошел. Вот, блин, пришлось служить... Я тут присмотрелся, подумал... не, точно не хочу. Всю жизнь под кем-то ходить, под кого-то подстраиваться. Тут вон, в части, они хотя бы полгода всего в салагах помирают, а там-то поболе придется. Тут все четко. А там еще неизвестно, чем твое салабонство закончится. Служу вот. Два года коту под хвост... По папиной прихоти.

Я почувствовал в ту ночь такую близость, что не смог уснуть до рассвета. Ведь я тоже по ошибке здесь. Тоже глупая причуда — правда, своя собственная. Но и родители — вот же совпадение — сыграли в моей истории далеко не последнюю роль. Вот ведь как! Удивительное какое совпадение.

Не обязательно мне становиться таким, как эти, из казарм, решил я тогда с облегчением. Такая простота неприемлема.

Идут они лесом, все эти дивные твари.

Примитивное, может, и живуче. Но не делать же из живучести культ. Другому нужно учиться. Другой простоте.

Если куклы просты, с виду прост и кукольник.

Антон лежал на полу, по другую сторону стола, сопел. А я с опаской и одновременно с нетерпением думал о том, как расскажу ему всю правду. На этот раз всю до конца. Даже про то, что отец мой — тот самый, гений «Кирпичика» — сбежал к рыночной купчихе, коврами торговать. Про Зинаиду расскажу. Нужно только собраться.

Год службы за спиной. Антон сгонял в отпуск и теперь мается животом: успел отвыкнуть от казенной пищи. Начштаба и мне предложил съездить домой, но я отказался. Чем вызвал у него глубокое недоумение. Пришлось сказать, что моя бывшая девушка собирается замуж и мне было бы тяжело увидеться с ней: чувства еще свежи, рана не затянулась.

— А, — кивнул подполковник Стеблина. — Тогда конечно. Чпокнуть-то ее успел?

— Обижаете, тырщ мандир.

Маме я написал, что отпуска в части запретили из-за того, что один из отпущенных в прошлый раз подался в бега. Мама огорчалась. Писала, что подумывает о том, чтобы все-таки оставить Зину под чьим-нибудь присмотром и приехать ко мне. Я ее отговаривал. Написал подряд три письма. А потом у Зинаиды случился приступ, и мамина поездка отменилась сама собой.

Приезжал отец. Поговорил со Стеблиной тет-а-тет, и меня отпустили на ночь за пределы части. Отец снял номер в здешней гостинице с двойным названием: «Советский колхозник» — «Генерал-отель». Накормил меня до отвала, мы погуляли под стрекот сверчков, и наутро он уехал, оставив мне плотную пачку денег. Письма его, бравые и оптимистичные, я редко дочитывал до конца.

Пришел новый призыв, и ко мне прикомандировали салабона, отучившегося в педагогическом два семестра. За оставшийся без малого год я должен поднатаскать его в писарском деле и по возможности научить рисовать. Салабона зовут Леша Ломов, но на прозвище Лом он не тянет: ажурно тонок, огромные синие глаза, как у персонажей японской манги, и красивые женские пальцы. Окрестили моего салабона Леликом. В полном варианте — Лелик-Болик, как польскую жвачку. Еще один везунчик.

Первое время после карантина, уже откомандированный к штабу, Лелик ночевал в казарме, в минометном взводе. Как и следовало ожидать, тамошние деды не снесли у себя под носом бесхозного салагу, с побудки до отбоя прохлаждающегося с бумажками. После того как Лелик явился ко мне из казармы, хромая на обе ноги — минометчики настучали по голеням, — я определил ему для ночлега коридор на втором этаже, в предбаннике оружейной комнаты. Не ночевать же в одной комнате с салабоном. Тем более Антон оставался у меня все чаще.

Рисует Лелик плохо. Перерисовать что-нибудь в карандаше кое-как может, да и то, пока нарисует, резинкой протрет бумагу до дыр. Но рисовать с натуры не научится никогда. Так же, как писать без ошибок, не подглядывая в словарь.

Я подумываю о том, чтобы попросить Стеблину подыскать мне другого преемника. Хотя Лелика мне искренне жаль. Тот в свою очередь догадывается о моих намерениях. Переживает и всячески лебезит.

Не помню, как и когда это началось. Но точно без меня. Легче всего было бы сказать, что все вышло само собой: мы все-таки в армии. Но нет, не само собой. Хоть и без моего участия. Лелик даже упирался вначале немного.

— А разве Антон тоже мой дед? — спросил он как-то, заканчивая с моими сапогами.

К тому времени, как он это спросил, Лелик уже несколько месяцев исправно менял нам с Антоном подшиву, чистил наши сапоги. Сначала управлялся в штабе, с моими сапогами и кителем. Потом бежал к Антону. Ужин нам носил из столовой. Когда Антон оставался на ночь в штабе, Лелик будил нас, прибирал за нами постели. Постучится, войдет, «Через десять минут построение», — скажет, к примеру. Поставит сапоги поближе к матрасам. И стоит, ждет, когда мы отправимся в туалет умываться, чтобы можно было прибраться за нами.

Тут дело вот в чем. Мое участие во всем этом сводилось к тому лишь, что я позволял Лелику салабонствовать. Ни разу пальцем не тронул. Все устроил Антон. Скорей всего, ему это не стоило особых усилий. Несколько раз просил меня прислать Лелика в особый отдел после отбоя — помочь: то пол помыть, то петли смазать. После чего тот и начал подшивать, чистить и прибирать. Полагаю, обошлось без рукоприкладства. Хотя как-то поутру, перед умывальником в туалете я видел у него синяки на ребрах. Но кто его знает, где были добыты те синяки? Кто-нибудь мог и в

столовой приложиться, и в бане: синие глаза его были вызывающе большие, а силуэт волнующе тонок.

И то сказать, в сравнении с жизнью остальных салабонов у Лелика все равно был тихий семейный курорт.

Но вот мы с Леликом сидим у меня в писарской: сейчас он дочистит сапоги — и спать. И вдруг он спрашивает:

— А разве Антон тоже мой дед?

Я совершенно растерян. Притворяюсь, будто у меня так зачесалось между лопаток, что я слова молвить не могу, пока не почешу.

— Я понимаю — ты, — продолжает рассуждать Лелик, пока я заламываю руку к лопаткам. — Я к тебе назначен. Ты меня всему учишь. А он? У него же подразделение другое. А?

Он откладывает сапог, подходит и чешет мне спину. Залазит прямиком под майку и чешет. Старательно, сначала левую лопатку, потом между лопатками, потом правую. От его прикосновения мурашки гадливости бегут у меня по всему телу. Молчу и боюсь пошевелиться. Жду, когда он закончит.

— Все? — интересуется он, но руку из-под майки не вынимает.

— Спасибо, — отвечаю. — Все.

— Он же особый отдел, — чувствуя, что со мной это можно, Лелик присаживается на краешек стола. — А ты... и я... мы при штабе. Вот и получается, что он мне никакой не дед. Или как, Саш? Он, конечно, твой друг... Но мне и другие говорят...

— Что говорят?

— Говорят: чего ты Антону все делаешь? Он тебе никто. Не дед.

Хорошо бы сейчас застрелить Лелика. Прошить очередью фигурно, восьмеркой или крестиком, как старший по стрельбам прошивает на стрельбище мишень, когда в распечатанном цинке остаются патроны. А лучше взорвать. Вынуть из стола гранату, выдернуть чеку и всучить Лелику: «Беги к сопкам. Так будет лучше для всех».

— Я ничего не говорю, мне не особенно достается. Другие вообще умирают. В первой роте так вышло, что по четыре дембеля на одного. Вот это вешалка! Но все же... Я даже не против, что до деда тебе еще два месяца. Это мелочь. Подумаешь, два месяца. Но я просто насчет порядка...

Что особенно мерзко, он разговаривает со мной задушевно, как с родным. Я его дед. Хотя и преждевременный. Всего-то на два месяца. Для Лелика это не вопрос. Но и еще кое-что теплится в его голосе. О другом родстве не прочь напомнить мне Лелик-Болик. Он тоже ботан, как и я. Два семестра в педагогическом, это вам не фунт изюма. «Мы с тобой одной крови, ты и я, — слышится мне в словах синеглазого. — Вчерашние лягушата-студентишки, которым посчастливилось оказаться в безопасном месте, куда не достают эти дикие твари. А Антон чужой, он чужой нам, чужой».

— Я готов тебе все делать. Без проблем. Как положено, Саш.

Что я могу ответить? Человеку, который только что и сапоги мне начистил, и спину почесал... Я отвечаю максимально расплывчато:

— Все нормально, Лелик. Все нормально.

Умение отвечать расплывчато уверенным голосом — важный навык. Лелик замолкает, и вскоре, справившись с собой, я отсылаю его спать — холодно и как будто даже строго. <...>

* * *

<...> Я не мог отказаться. Отказавшись, обидел бы Антона. И, в общем, это могло кончиться плохо.

Многое изменилось с того дня, когда ко мне для обучения писарскому делу был приставлен синеглазый Лелик. Дело он кое-как освоил. Писал и печатал медленно, поскольку поминутно лазил в словарь. С запятыми по-прежнему обращался бесчеловечно. Впрочем, в последнем его все равно некому было уличить: командиры и сами грамотностью не блистали. Зато Лелик наконец-таки научился нравиться начштабу. Выправка у него обнаружилась отменная, строевые выкрутасы он проделывал ловко, с офицерским щегольством. Когда подполковник Стеблина входил в писарскую, Лелик так упруго вставал, выстреливал над столом такой жизнерадостной пружинкой, так ладно вскидывал аккуратный подбородок, что начштаба прощал ему и медлительность, и неумение писать на заборах без разметки.

— Во-от, — говорил он мне, указывая фуражкой на Лелика. — И ты бы кой-чему поучился у своего сменщика. Девки на гражданке будут пищать, когда к ним с осанкой, да весь такой бравый. Я тебе говорю.

С Антоном у Лелика сложились те замысловатые, несколько даже таинствен-

ные, на мой сторонний взгляд, отношения, которые складываются порой между салагой и его дедушкой: у салаги нарождается искренняя преданность, у деда — братская нежность, старательно скрываемая под надлежащей суровостью. Я видел такое в подразделениях. Бывало, так понравится дедушке расторопный салага, что тот забирает его себе в безраздельное пользование. И с того момента салага обслуживает только одного своего деда. Если, конечно, дед статусный. Или духовитый. Словом, если может себе позволить изъять салагу из общего оборота. Случались даже ссоры среди дедов из-за стоящих салаг. До драк, правда, не доходило. Драться дедам друг с другом западло. А уж крепкая задушевная дружба между дедом и его вчерашним салагой, перешедшим в ранг молодого, которого, как они говорят, дед всему научил, — дело и вовсе обычное.

Такие вот отношения сложились у Лелика с Антоном — с поправкой на то, что Лелик по сроку службы уже молодой, а по жизни по-прежнему салага. Ситуация, в общем, путаная. С салагой деду дружить никак нельзя, а с молодым очень даже можно. В итоге Антон то учит Лелика за какой-нибудь прокол, то откровенничает с ним, как когда-то откровенничал со мной.

— Я вот смотрю тут на многих, даже на свой призыв, — говорит задумчиво Антон, пока Лелик управляется с его сапогами. — У них, блин, мозги еще по-старому работают. Медленно. По рельсам катятся, блин. Как у моего папика.

Одетый по полной форме, но босой, он растянулся на командирском топчане, закинув руки за голову. Его тянет поговорить. Раньше за такими разговорами мы коротали с ним ночи. Мажор и ботан делились сокровенным. Рассказывали друг другу истории из детства. Было интересно. Теперь, когда у Антона есть Лелик, ему достаточно того, что тот его слушает и, отрываясь от надетого на руку сапога, задерживает на нем вдумчивый небесный взгляд.

— Они когда вернутся, — кивает Антон в сторону КПП, — ох, им тяжело будет. Там теперь быстро нужно кумекать. Быстро, понимаешь? Они тут опухли. Школа жизни, блин. Масло съели — день прошел... Ну-ну... Они и там так же будут... Такие дела, Леля. Ты слушай, что дедушка говорит, слушай. Потом спасибо скажешь.

От некоторых салабонских дел Антон старается Лелика избавить. Полы, например, Лелик теперь редко моет сам. Антон договаривается с другими дедами, те выделяют в помощь Лелику своего салагу.

В нашей тесной компании я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке. Я начал бегать по утрам. В смысле — выходить на зарядку. Чтобы выглядело солидней, я и Лелика с собой таскаю. Он, правда, пытался отлынивать. Но я заговорил об этом при Антоне, который давно уже по полчаса перед обедом и ужином ходит на спортплощадку, и попытка саботажа была пресечена.

Короче! Мне непременно нужно было сохранить место второго в нашем трио. Я никак не мог отказаться.

Подготовка началась задолго до приказа.

Прежде всего Антон договорился с Мацегорой, который присматривал за спортзалом и офицерской сауной. По сроку службы Мацегора «черпак», но в спортзал без него не попасть. А круче спортзала места нет. Приглашены были самые авторитетные деды, с которыми Антон водил дружбу. Пятеро. Миша из первой роты, Костя-Шуруп из второй, братья Тишкины из третьей, двойняшки, и двухметровый весельчак Репа из роты связи. Выпивку и закуску пронесли в часть недели за две. Антон назначил отвал на первый выходной день после приказа, когда дежурным по части встанет Митя — Вася Митюк, новенький лейтенант, перенявший Тоню у старшины Бану. С Митей, как все уже знали, можно договориться обо всем без проблем. По приемлемым расценкам. За то, чтобы не заглядывать после отбоя в спортзал, Митя попросил полтинник. Основные расходы на все понес Антон. Остальные, кроме Мацегоры, который предоставлял территорию, выложили кто сколько мог.

Проституток было заказано три. Но явились только две.

— Третья заболела, — нервно хихикала темненькая, заглядывая каждому в лицо. Старалась выяснить, есть ли тут опасные. От меня и от Репы сразу отвела взгляд. На Мише ее взгляд задержался. Ему она повторила развернуто, с заискивающей улыбкой: «Заболела подруга. С утра, главное, все нормально, а как ехать, блядь, заболела».

Дембеля тщательно улыбались в ответ. Рассредоточились вдоль шведской стенки, напротив проституток, усевшихся на стопку матов. Переминались с ноги на ногу. По обычаю побритые наголо в день выхода приказа об увольнении в запас, дембеля светлели голыми черепушками и, казалось, именно из-за этого ощущения наготы

чувствовали себя сковано. Я уже раз десять погладил свой мягкий, продуваемый сквознячком «полубокс».

Проститутки тоже не искрились весельем. Квелые какие-то. Не фонтан. При свете свечей, расставленных на гимнастическом коне, сложно было разобрать и внешность их, и возраст. Мне смутно припомнился рассказ Шурупа о том, как он выбирал на улице путану, подсвечивая себе спичками.

Уловив общие мысли, темненькая поднялась, далеко потянувшись руками и пригнув голову, будто влезала в тесную одежку. Обширная задница ее на какой-то миг зависла над матами. Она игриво ойкнула, распрямилась рывком, сказала:

— Работала вчера. Все болит.

Шагнула к уставленному свечами коню, ближе к свету, чтобы ее можно было рассмотреть. Но стояла шпалой, как приезжая на деревенской дискотеке.

— В смысле обои клеила. У себя в общаге, — пояснила она, так и не дождавшись реакции солдат. — Обои, — показала даже, подняла руки вверх.

Ее крашенная в радикальную блондинку подруга осталась сидеть на матах. Она не произнесла до сих пор ни слова. Вид у нее был глубоко отсутствующий.

Один только Мацегора выглядел естественно — деловито раскладывал на матах, за спинами у проституток, закуску и выпивку из вещмешков. Стучал кружками, откупоривал с легким причмоком магазинные банки с соленьями.

— Сервелат здесь хороший, — задумчиво произнес Мацегора, на что Репа тут же отреагировал:

— Да режь и его тоже. Справимся.

Посмеялись нестройно.

Вошел Антон, следом Лелик. Среди дембелей произошло некоторое движение, которое можно было перевести так: «Что, и салага будет?».

Ни на кого не глядя, Лелик отправился прямиком к матам, помогать Мацегоре.

Подойдя к темненькой, Антон звонко шлепнул ее по заднице.

— Да не ссы ты, Вика, все будет в лучшем виде. Солдат шалаву не обидит.

Этот шлепок привел в движение всю компанию. Солдаты двинулись к матам. Уставленные тарелками с горками искромсанной колбасы, соленых огурцов, хлеба, маты были похожи на поляну, густо изрытую кротом.

— Я вообще-то не Вика, я Лика, — сказала темненькая, осторожно трогая Антона за локоть. — Вика — та, которая не пришла.

— А эта — Кристина? — спросил Антон.

— Анжелика.

— Что такая смурная, Анжелка? — отрывисто, с нотками недовольства в голосе, обратился Антон к сидящей блондинке. — Умер кто?

Та посмотрела на него совершенно безразлично, но потом все же соорудила на лице приветливое выражение.

— Не выспалась просто. Давайте, что ли, выпьем.

В следующую секунду Лелик протянул ей кружку, в которой, покачиваясь, поблескивала водка.

— Что это? — спросила Анжела, обернувшись к Лелику. Тот молчал, так что ей самой пришлось разбираться. Приняла у него кружку, принюхалась. — Водка? Ой, а можно мне что-нибудь послабже, мальчики?

Лелик бросил короткий взгляд на Антона и, вернув кружку с водкой на мат, вытащил откуда-то из звякнувшего полумрака бутылку пива.

— О, пивасик, — радостно прогнусавила Лика. — И я хочу.

— Пива два ящика всего, смотрите, — предупредил Мацегора.

С появлением Лелика он незаметно прекратил хлопотать с сервировкой и сейчас, отойдя в сторонку, возился с вещмешками: сворачивал их, стягивал, педантично поправляя каждую складочку. Отмежевался от Лелика, хоть и был с ним одного призыва. Не хотел, чтобы его ставили на одну доску с хроническим салабоном. Лелик, как ни в чем не бывало, продолжал делать бутерброды с сыром.

— Пусть пиво пьют, если хотят, — махнул Антон. — Лишь бы не квасились. — Он вопросительно посмотрел на Лику: — Да?

— Не будем.

Лелик, оказывается, уже разлил. Разобрали. Антон произнес тост:

— За настоящих мужиков. У всех тут свой путь был. Но главное — каждый остался мужиком. Нас мало, но мы в тельняшках.

Сдвинули с глухим стуком кружки, проглотили, кое-кто блаженно выругался. То, что никто ничего не добавил к тосту, Антона, похоже, огорчило. Кажется, он ждал

подтверждений от этого клуба матерых, прошедших в отличие от нас с ним все ступени дедовщины, что они принимают его за равного.

— А музыка где? — поинтересовался Репа. — Как-то без музыки стремно.

— Блядь! И правда. Где музыка? — оживился Шуруп.

Мацегора кивнул в сторону сауны.

— Туда отнес, — пробубнил он и покосился на спину Лелика — дескать, пусть этот сходит.

— Давай, давай, Мацик, не тормози, тащи сюда, — Антон начал раздражаться.

Не сработал номер. Пришлось Мацегоре топать за магнитофоном самому. По губам Лелика пробежала язвительная улыбка.

— Анжела на соседку мою похожа, — шепнул мне Рома Тишкин. — Копия.

— Такая же... эээ... смурная? — не сумел подобрать я слова взамен.

— Да вроде нет.

Появилась магнитола формата «батон». Мацегора подключил ее к удлинителю, дотянувшемуся почти до середины зала. Долго и нехотя, понукаемый дембелями, прибавлял звук.

— Больше не могу, мужики, — уперся он. — Правда. Снаружи кто-нибудь услышит. На хрен нам такой облом?

— Да кто услышит? С Митей все проплачено.

— А если командира принесет? Припрется с проверкой. Как в прошлом году. Пришел, дневальным запретил дежурного предупреждать — и давай народ палить.

— Палить или пялить?

— А?

— Слышь, Мацик, — сказал Репа, поленившись растолковывать ему каламбур, — у нас тут телки, все дела. А ты нам про проверки тулишь. В своем уме, нет?

Мацегору и Лелика — как ни старался Мацегора улизнуть поближе к дембелям — усадили рядом, в самый дальний угол.

— Смотрите, орлы, — сказал им Дима Тишкин. — Если что, вы самые трезвые должны остаться. Задача ясна? Так что не налегайте.

Танцевальные ритмы, нарезавшие пространство дерганными ломтиками, существенно облегчили процесс. Казалось, всем стало легче двигаться и говорить. Под Яки-Ду, Кая Метова и Ветлицкую дружно принялись есть и выпивать. Сначала стоя, потом расселись на расстеленные плащ-палатки. Солдаты пили водку из кружек, проститутки пиво из горла.

Лика крепкая, крестьянского замеса. Основательные плечи, мясистая шея. Анжела стройнее. Имена, само собой, не настоящие.

Лика моложе Анжелы. От силы двадцать пять. Анжеле, похоже, перевалило за тридцать. Когда Анжела поворачивается к свечам, в уголках ее глаз рассыпаются тонкие морщинки. С ними лицо Анжелы становится интересней. Оживает. У морщинок приятный рисунок. От них и глаза как будто делаются выразительней. Видимо, я долго изучал, как морщинки меняют лицо Анжелы. Шуруп подмигивает мне с противоположного края застолья, указывая на Анжелу. Спрашивает доверительным тоном, как будто по секрету, но совершенно не пытаясь понизить голос:

— Тебе эта больше понравилась?

По его молчанию и застывшей улыбке я понимаю, что он ждет от меня ответа. Пожимаю плечами, говорю:

— Сойдет.

— Сойдет, — соглашается Шуруп. — Под водочку.

— Зато водка не разбадяженная, — подхватывает Репа. — Хорошая. Меня уже забрало малехо.

У Репы с Шурупом завязывается долгий разговор про водку: какая лучше, как выбрать, какая раньше водка была.

Антон слышал, как Шуруп отозвался о его проститутках. И ему не понравилось.

Обнаружив, что все это время не пил, я выпиваю в несколько приемов почти что полную кружку. Да, намного лучше той, которую распили в день выхода приказа.

Антон держится хозяином застолья, пробует втянуть в беседу путан.

— Что-то вы все молчите, милые.

— А че говорить?

Догадавшись, что распоряжается здесь Антон, Лика как будто караулит его реплики. Отвечает быстро, как положено отвечать салабонам на вопросы старослужащих.

— И то правда, — соглашается с ней Антон. — Сейчас еще понемногу — и париться пойдем. Как там, Мацик, нагрелось?

— Должно.

— Ну, проверь, блин! Должно…

Шуруп произнес стихотворный тост с матерком — за то, чтобы все срослося.

Лика с Анжелой пожаловались, что озябли в спортзале, и их отправили на верхнюю полку. К ним присоединились Антон, Рома и крупногабаритный Репа. В лопатку мне упирается коленка Анжелы. Время от времени захмелевший Рома принимается сравнивать на ощупь грудь Лики и Анжелы. Наклоняется к одной, мнет ее, замеряет пальцами, тянется к другой. Свободную руку кладет мне на плечо.

Мест на лавках хватило только дембелям и путанам. Мацегора с Леликом остались стоять возле двери. Привалились с непринужденным видом к стене, а глаза опущены отвесно вниз: на уровне глаз у них дембельские промежности.

Мацегору снова отправили за музыкой, и скоро в предбаннике запульсировали, пошли по кругу Яки-Да, Кай Метов, Ветлицкая.

— Мы с Анжелой на прошлой неделе у нового русского были. — Лика разговорилась. — Есть тут один. Крутой, аж пиздец. Несколько магазинов, рынок, свадебный салон. Толстолобики у него на входе стояли, человек десять.

Похоже, приступ разговорчивости, напавший на Лику, вызвал недовольство Анжелы.

— Да че ты, че? — адресуется к ней Лика. — Дай пацанам расскажу.

И все смотрят на Анжелу. А та пожимает плечами и просит Лелика подать ей пива. Лелик высовывается в предбанник, отклячив свой идеальный зад, и, дотянувшись до бутылки, возвращается внутрь. Откупоривает бутылку о край лавки, протягивает Анжеле. Все вдруг обратили внимание на Лелика. Сложен он божественно.

—Ептыть, ты в стриптизе не танцевал? — интересуется Дима. — Спортом, что ли, занимался? Или, может, балетом?

— Нет, — отвечает Лелик, застенчиво улыбаясь. — Ничем не занимался. Само…

Его первые слова за весь вечер.

— Слышь, у него и банан ниче так привешен. — Рома тычет Лелику между ног. — Смотрите, везучий, блядь, какой.

Разговор некоторое время вертится вокруг проблемы размеров. Дембеля призывают путан рассудить их спор: имеет значение или не имеет. Обе единогласно успокаивают вопрошающих, что размер совсем никакого значения не имеет — главное, чтобы мужик был хороший, с пониманием.

— Так вот, были мы у нового русского, — возвращается Лика к начатой истории. — Дом три этажа, экскурсии можно водить. Мебель — я такую даже в кино не видела. Кровать, как три этих сауны. Короче, дело не в этом. Черт, пиздец, какой крутой. И тут Анжела с ним была, а я, короче, отдыхала. Пошла по дому пройтись. И, слышьте, захожу, короче, в одну комнату, и не пойму. Че за херня. Свет включила, смотрю, а посередине песочница. Это, короче, детская, с игрушками, горка там, а посередине песочница. Прикинь, реально песочница, с песком. Я даже потрогала. А мужик не иначе что-то вколол себе, всю ночь нам с Анжелой покою не давал. Я, когда с ним побыла, спрашиваю… ну, язык же без костей… говорю, на хрена тебе песочница в доме? Он, короче, разозлился. Что я туда пошла. Двинутый какой-то.

Вернулись в спортзал. Лику увел Антон в кладовку для хранения инвентаря. Из кладовки раздавался звонкий металлический скрип. В предбаннике осталась Анжела. Первым, вытянув длинную спичку, с ней отправился Репа и застрял надолго, так что его подгоняли криками из спортзала: «Давай скорей! Не будь эгоистом».

Выпили, поели. Из кладовки со свечой в руках вышел улыбчивый Лелик. Его встретил раскатистый хохот. Следом появились Антон с Ликой, замотанные в простыни.

— Так-то, — весело крикнул Антон. — Теперь человек может с гордостью сказать, что своему дедушке свечку держал.

Задув свечу, Лелик подошел к матам. Трусы его топорщились.

Лика сразу же попросила налить. Пиво давно закончилось, и путаны пили вместе со всеми водку.

— Репа все еще шпилит? — спросил Антон, приняв кружку и оглядев сидящих. — Он же раньше пошел.

— Как заведенный.

— Он же раньше пошел. Мы еще тут закусывали.

Запив водку фантой, Лика отправилась мыться.

Вскоре вернулся Репа. С прикуренной сигаретой, в наброшенном на плечи

офицерском плаще, заменившем ему халат. Мацегора пробубнил, что плащ за ним по ведомости числится, а курить лучше возле двери — но настаивать не решился.

— Ну, как? — поинтересовался Дима у Репы, доедая бутерброд.

Репа пожал плечами.

— Ну, так... Рожала. И ноги небритые.

Мне показалось, Антон нахмурился.

— И что? — Дима огорченно переглянулся с братом. — Совсем как в банку?

— Да нет, нет, — ответил Репа, встретившись взглядом с Антоном и усаживаясь на плащ-палатку. — Иди уже.

Со стороны сауны показалась Лика, замотанная в простыню. Антон толкнул меня в плечо:

— Иди, корешок. — И прошелестел упаковкой презерватива возле уха.

Подошла Лика, вопросительно остановилась возле матов. Я поднялся, забрал у Антона презерватив, и мы с Ликой двинулись в сторону кладовки.

— Я нужен? — бросил мне вдогонку Лелик и встряхнул коробкой спичек.

— Нет. Отдыхай.

Лику покачивало, она успела изрядно набраться.

— Слушай, — сказала она заплетающимся языком, беря меня под руку. — Ты же в курсе, что да как? — посмотрела на меня, продолжила: — Оплачена только классика. Только классика. Все остальное за отдельную плату.

— В курсе, — ответил я ей.

Вместо двери — занавеска. Никогда прежде не был у Мацегоры. В кладовку втиснута кровать, между ее щечками и стеллажами можно пробраться разве что боком. Зато у кровати срезана передняя спинка. Чтобы, войдя, сразу развернуться и лечь. Лика стянула с себя простыню и, скомкав, забросила на полку стеллажа. Встала на кровать, опустилась на четвереньки, прогнув широкую спину и высоко задрав зад. Кровать скрипуче комментировала каждое ее движение.

— Кровать скрипит, — прокомментировала и Лика.

Лодыжки мокрые, на пятках канва засохшей мыльной пены.

Я стоял, не шевелясь. Не дождавшись меня, Лика оглянулась через плечо.

— Так не хочешь? А че, слышь, молчишь? — Она легла навзничь, несколько раз свела и развела колени, оставила ноги разведенными. — Мне говорить? Некоторые любят, чтобы говорить. Другие кричат: заткнись. Говорить, нет? Мне, короче, один как-то впаривал, что у меня голос приятный. Сам такой цуцик, сначала на «вы» начал. Квартирка неплохая. Газетка, слышь, с объявлениями лежит возле телефона. Все, какие были, красной ручкой обвел. Переживал. Трахнул меня, потом еще час заказал, и мы с ним, сука, разговаривали. Пьем вино и разговариваем. Сейчас и не вспомню, о чем. Я ему: ты еще час, говорю, оплати, я тебе всю свою жизнь как есть расскажу. А сама, такая, думаю, че рассказывать-то, на целый час?

Язык у нее все сильней заплетался, глаза слипались.

— Отъезжаю, не могу, — пробормотала Лика, проваливаясь в сон. — Пять минут.

Она уснула мгновенно. Даже похрапывала. Я подумал: не услышали бы в спортзале. Ее храп. Тишина в кладовке тоже могла привлечь их внимание. Я толкнул кровать коленом. Лика только промычала в ответ. И шире раздвинула ноги.

Взявшись за изголовье, я принялся его раскачивать. Кровать визгливо заскрипела. Чересчур монотонно, наверное. Но сойдет. Не будут же они прислушиваться. Каждый раз, когда спинка билась о стену кладовки, мне казалось, что Лика сейчас проснется, расхохочется и с криком: «Прикиньте, умора какая!» выскочит из кладовки в спортзал. К счастью, Лика спала крепко. Лишь храп иногда прерывался, но через несколько взвизгов начинался заново. Мясистые телеса гуляли. Пупок ходил вверх-вниз черным взволнованным зрачком, а если качнуть кровать боком, раскоряченные ляжки блестели в темноте рыбьими тушками. Я посматривал на циферблат часов. Десяти минут хватит.

— Да я после чмыря твоего не пойду, — слышалось из-за занавески.

— А Лелик никакой и не чмырь, — возражал Антон.

— Сказал, не пойду.

— Как хочешь. Я ему обещал. Бери, значит, Анжелу.

* * *

<...> С сумерками туман сгустился еще больше.

Топилин лежал под ворохом одеял, опустошенный и маленький, пытаясь за-

снуть. Нужно было позвонить маме, расспросить о Зинаиде. Но делать это решительно не хотелось, а мама на такие вещи не обижалась.

Кто-то напевал снаружи. Мужской басовитый голос. Похоже, сосед, Сема. Мычал неразборчиво, но весьма жизнелюбиво. В качестве аккомпанемента — звуки метлы.

Топилин долго терпел этот мелодичный мык, но потом все же вылез из-под одеял, выглянул в окно. Так и есть, Сема неспешно расчищает от стылой грязи дорожки.

Он надеялся отлежаться. Подождать, пока Сема закончит, уйдет в дом. Но мочевой пузырь протрубил подъем, пришлось вставать и бежать во двор.

— А я уж думал уходить, — приветливо крикнул ему сосед, когда он трусил мимо него к сортиру.

Топилин отмахнулся — мол, погоди, не до тебя пока. Вернувшись, вымыл руки в бочке, зацепив тонкую ледяную корку с краю. Вытер руки об зад лыжных штанов, потом под мышками, о свитер. Подошел. Пожали руки над забором.

Густой молочный туман растекался, казалось, совсем невысоко над крышами. Было тихо. Только в глубине поселка, из какого-то преждевременно загулявшего дома доносилась музыка — гнусавый шансон.

— С Сережей не созванивались, нет?

— Нет.

— На Новый год-то будете созваниваться? Поздравить там друг друга...

— Будем.

— Так ты ж не забудь про меня ему сказать. Я уже и деньги стал собирать.

— Скажу, конечно. Помню.

Топилин смотрел на соседа и продолжал гадать: почему этот тихий и наверняка положительный человек — не мерзавец, не лодырь — вызывает у него такую острую неприязнь?

— Что ж, — Сема потер сухие широченные ладони, — давай, может, накатим по маленькой? Ты как?

Топилин послушно пожал плечами.

— Давай накатим.

— Давай здесь пока. Тебе ж не холодно? Ну и мне. Здесь хорошо. Я люблю вот так, на просторе, на просторчике, — приговаривая: — С такой зимой скоро почки на деревьях набухнут, вот увидишь. — Сема вынул из глубокого внутреннего кармана куртки початую бутылку армянского коньяка. Разлил по крошечным стальным рюмкам, появившимся оттуда же. Влез еще глубже в недра куртки, достал «Сникерс».

— Будем! — скомандовал Сема и добавил: — Всем назло.

— Будем, что ж. Всем назло — это довод.

Коньяк вошел нежно и многозначительно. Не сговариваясь, шумно потянули воздух ноздрями. Воздух был мокрый, глубокий вдох оседал в носу прохладной росой. Приходилось обтирать. Сема делал это быстрым коротким движением, будто отщипывал от носа лишнее.

— Отличное пойло, — сказал он. — Жалко, мало. С интересным человеком можно и поосновательней.

Топилин уловил намек.

— Да есть вроде еще, — буркнул он. — Есть у меня.

— Под настроение че б не выпить? Приехал вот, вырвался. — Он сощурился в плотные сумерки. — Хотим с братом на земле обосноваться, а жены упираются. Но это дело поправимое. Первое время трудно будет, это да. Так не сразу и Москва строилась, правильно говорю?

— А то.

Вторую Топилин уже выпил по-настоящему, придержав во рту перед тем, как глотать. У коньяка был легкий привкус стали. От шоколадного батончика отказался.

— У брата спиногрызов-то двое. Дочка замужем, сами живут. Сын вот тоже собрался, брат думает ему квартиру освободить. У меня один сыночек. Двадцать три уже, никак по жизни не пристроится. Бродит с одной работы на другую. Эх... Хотелка у нынешней молодежи отросла ого-го, а куда ее пристроить, не знают. Давай, кстати, чтоб хотелось и моглось... Или как там?

— Да так, так.

— У самого-то дети есть?

И тут над ними раздался птичий клекот. Негромкий и отрывистый, на два гортанных слога. Мужчины замерли. Какое-то время смотрели друг другу в глаза, потом уставились в нависший над головами туман. Невидимая стая приближалась плавно,

как будто кралась в слепом молочном сумраке, чреватом бедой. Перекличка заканчивалась, они ненадолго замолкали и начинали снова, ближе и отчетливей. И было в этих приглушенных спокойных звуках все: испуг молодых и сдержанная мощь бывалых, полная уважения к мозолистому труду перелета, и зов, и прощание, и мечта об удачной стоянке — скорей бы закончился туман, и отчаяние тех, кто устал, и радость преодоления. Сама жизнь — опасная и восхитительная — клекотала у них над головами. Казалось — руку протяни.

— Поздно ведь, зима, — прошептал Сема, втягивая голову в плечи. — А они летят.

Стая проплыла, близкая, но невидимая. В какой-то момент Топилину показалось, что он услышал, как маховые перья шелестят в воздушном потоке. Проплыла, и все стихло. Только шансон гнусавил на окраине поселка.

Они молча выпили.

— Так ты Сереже-то позвонишь? — спросил Сема задумчиво: видно было, что спешит ухватиться за возлюбленную свою утопию — с братом, на земле, простор...

— Да умер Сергей, — сказал Топилин. — Умер. Давай-ка, налей. Помянем.

Коляша уехал неожиданно, днем тридцать первого декабря. Позвонил, сказал взволнованно:

— Слушай, Сань, тут начсклада пришел, документы мои принес. Он с женой, блин, поругался, хочет из части на вечер уехать, отмазка ему нужна. А документы, прикинь, еще вчера были готовы. Все печати, все. Короче, он говорит, поехали на вокзал отвезу, посажу на поезд. К Яшке одного тут приставят... нашли, короче.

— Сейчас буду, — просто ответил Топилин. — Отвезу вас.

И он отвез Коляшу с прапорщиком на вокзал. Прапорщик был пьян и молчалив и, очевидно, доругивался мысленно с женой. Мимо скучающих ментов, сквозь заверещавшую рамку, Топилин пронес вещмешок с дембельскими пожитками («Дембель не должен поднимать ничего тяжелее ложки», — напомнил Топилин Коляше). В вещмешке дембельская форма и альбом, чему там еще быть? Коляша показывал ему однажды — так себе альбом, топорный, но фотографии Яшки, а также Коляши, гарцующего на Яшке, вышли неплохо. Костюм полковничихи Юли, поразмыслив, Коля забирать не стал: «В Светлогорске не поймут». Прапорщик и на вокзале пребывал в мысленной схватке с гадиной женой (несколько раз у него вырвалось вслух: «Гадина, вот же гадина»). Он то и дело отлучался покурить и к Топилину с Коляшей не проявлял ни малейшего интереса. При прапорщике они заговорщически молчали. Коляша всем своим видом намекал: не буду же я при нем расспрашивать тебя про бойков. Топилин всем своим видом намекал в ответ, что понимает Коляшины намеки. Однако стоило прапорщику убежать с очередной сигаретой на перрон, их настигала непреодолимая неловкость. Говорить почему-то было не о чем даже наедине. Байки о «бойках» Топилина больше не вдохновляли, а сам Коляша только и мог что вывалить время от времени отрывистое проклятие в адрес полкана и его полканши, из-за которых он теперь встретит Новый год в поезде.

В зале ожидания дремали несколько помятого вида граждан. Их и рассматривали, да еще пустое, с несколькими заполненными строчками табло.

Попрощались коротко, быстро отвели взгляды, и Топилин вернулся в поселок, прихватив прапорщика, который вышел на проспекте Рихарда Зорге, успев за пятнадцать минут законопатить ему уши рассказами о гадине, которая даже в Новый год не может, чтобы не подосрать.

Оставалось пережить Новый год. Топилин устроился поперек кровати, раскупорил бутылку «Наполеона» и запустил на ноутбуке купленный заблаговременно, на хакерском развале, сериал «Homeland». Кино было, по всему видать, хорошее, но на первой же постельной сцене Топилин напрочь выпал из сюжета и спустя какое-то время поймал себя на том, что не понимает ни черта из происходящего в homeland'е: кто сволочь и кто враг. Выключил, взялся за проверенный теннисный мяч. Примерно через час теннисный мяч отправился в форточку в направлении Большой Медведицы, а Топилин оделся и вышел покурить.

Он остановился метрах в ста от домика, обернулся и не спеша оглядел предлагаемую систему координат. По сторонам от тропы белел пушистый, не успевший растаять снег. Над головой мерцали звезды. За спиной и справа насыпали тонких ярких крестиков фонари воинской части, чуть дальше военный городок отстреливался от зимней тьмы то кустистыми фейерверками, то ослепительными головастиками ракетниц. Раскинувшийся перед ним поселок, в честь праздника не отключенный на

ночь от электричества, парадно сверкал окнами. Над крышами катилось заполошное, надсадное «ура». Топилин обернулся и посмотрел на переливающийся разными цветами одинокий огонек на дальнем краю поля: в Коляшином домике встречал Новый год под разгульные песни о главном незнакомый Топилину новобранец в/ч 31278.

Топилин двинулся обратно. Предстояло отыскать-таки точку, в которой концентрация новогодней тоски окажется минимальной.

В городок въехал запросто. Патруль слонялся где-то на въезде, неподалеку от клуба. Топилин доехал до котельной и, выключив на всякий случай фары — не хватало только объяснений с праздничными военными, что он тут делает и кто он такой, — проехал между забором техпарка и громадной бурой лужей, серебристым кружевом подмерзшей с краев. Добрался до площади перед офицерским клубом, встал в переулке, на темной стороне. Пришло сообщение от Коляши: «С наступившим!». «С наступившим, дружище, — набрал в ответ Топилин. — Как-нибудь нагряну. Бо ек порядку».

Топилин закурил, приспустив окно.

С балкона размеренной гулкой очередью отстрелялся фейерверк, следом жахнуло несколько ракетниц. За углом, в ярком свете фонарей, перед ним распахивалась небольшая площадь. Пятиэтажки и офицерский клуб. Из подъезда, чуть не налетев на топилинский «тигуан», выскочил военный. Без знаков различия, в одной тельняшке. С пятикилограммовым мешочком сахара в руке.

— О-о-о, сейчас чайку попьем! — приветствовали его с балкона, скрытого от Топилина деревьями.

Девяносто шестой встречали вместе: бывшая семья плюс Зинаида. Саша не ожидал, что такое возможно. Отец уже укоренился в новой семье, родители общались редко и болезненно. К тому же Зина... Но отец мамино предложение о совместном Новом годе принял почти без колебаний — перезвонил в тот же день и сказал, что согласен, продукты привезет заранее, с них только елка.

Он привез и выгрузил гору одинаковых пакетов, из которых по-хозяйски принялся выгружать на кухонный стол всевозможные деликатесы. Мама вежливо интересовалась:

— Артишоки? Это вкусно? На что похоже?

Отец громко, бойко отвечал что-то про артишоки, про настоящее шампанское, про фуа-гра из крошечных треугольных банок. Саша не слушал — но жадно наблюдал за посвежевшим, необычайно энергичным отцом, каким в последние годы его не видел. Хотелось запомнить каждую черточку этого напрочь забытого Григория Дмитриевича, снова такого искристого, уверенного в себе.

Праздника, как и следовало ожидать, не вышло. Папа и мама больше не были папой и мамой. Ничто не было прежним, и Саша не понимал, зачем нужна была демонстрация. Но все старательно отыграли свои роли. Побитый жизнью Зиноид, вернувшийся в привычное состояние тихой зажатости, легче всех остальных справился с поставленной перед ним задачей — не драматизировать, держаться непринужденно, все в прошлом и возврату не подлежит. Весь вечер Зинаида ласково улыбалась столовым приборам и беззвучно смеялась шуткам отца. Григорий Дмитриевич с такой же ласковой и неодушевленной улыбкой сказал ей несколько фраз: поинтересовался ее здоровьем, похвалил новую прическу и попросил передать горчицу к холодцу.

«И как отцу удалось натаскать эту каменную дуру на роль? — в который раз удивлялся Саша. — И главное, чем в ней можно было увлечься? Вот уж загадка природы».

Дабы избежать натянутых пауз — сын молчал, сославшись на то, что до сих пор не очухается от армии, жена хоть и затевала безобидные общие разговоры, быстро выдыхалась — Григорий Дмитриевич много рассказывал сам. В основном о своих поездках и различных казусах в бизнесе. Анекдотов о новых русских он знал огромное множество и рассказывал их с лукавым огоньком в глазах — дескать, я ведь и сам новый русский, кто бы мог подумать.

Саше казалось, он физически ощущает эту его радость, бьющую через край. Слышит, как все у него там журчит и заливается. Отцу было радостно, что можно так — что он так может. Ушел из семьи, женился на Валентине. Взял в руки налаженное ею дело, и оказалось, что умеет справляться со стихиями бизнеса не хуже, чем когда-то со стихиями театра. Я и не такое могу, смеялись его глаза.

Артишоки оказались невероятной гадостью и долежали, надкушенные, до самого конца. Дожевала только Зинаида.

Часов около двух Григорий Дмитриевич напомнил, что прямо из-за стола уезжает в деловую поездку, к Уральским горам. Вскоре под домом раздался тирлинькающий автомобильный сигнал, и отец выскочил на улицу как был, в сорочке с закатанными по локоть рукавами. Не в силах вынести застолье на троих, Саша поднялся и вышел тоже — якобы в туалет.

— Митрич, — услышал он в приоткрытое для вентиляции окно. — Валентина Олеговна седни моей звонила, пытала страшной пыткой: правда мы уехали или нет. Моя-то отпиралась, как партизан.

— Не проговорилась, нет?

— Не.

— Точно?

— Да точно. Я ж рядом сидел. Только, Митрич, если твоя, пока нас нету, опять приступится, моя же и сболтнуть может. Бабье дело такое, знаешь, языкастое.

— Вот что, Петя, из гостиницы позвонишь ей, скажешь, что с меня магарыч, если будет язык за зубами держать. Для Вали мы с тобой уехали вчера и точка.

— Скажу, чего б не сказать.

После того Нового года Саша видел отца еще несколько раз. Лукавый огонек вспыхивал, но не так ярко.

Быстро завязав с турецкими коврами, Григорий Дмитриевич занялся поставками сахара.

Сахарный дефицит, разразившийся в девяносто третьем, держался в Любореченске долго: как все южане, любореченцы были любителями домашнего консервирования и поставляемый с перебоями сахар раскупали подчистую на варенье. Еще в девяносто третьем, как только сахар из магазинов исчез, Григорий Дмитриевич уговорил Валю выдать ему все, что было в наличности, и отправился на Урал за сахаром. В горячем девяносто четвертом КамАЗ сахара в Любореченске уходил по тройной цене, и очень скоро вчерашний врач и режиссер самодеятельного театра, как тогда говорили, поднялся.

Он гонял сахар несколькими машинами, время от времени — для контроля за водителями и поддержания деловых связей на местах — отправляясь на закупку лично. Своих денег на развитие бизнеса стало не хватать, Григорий Дмитриевич — не исключено, что из альтруизма — занимал под пятнадцать процентов в месяц у приятелей, тех самых, которые знавали его вторым режиссером «Кирпичика» и лором Первой городской. Отдавал строго в срок. Что превратило его в кормильца многих «кирпичников», располагавших свободной тысячей баксов.

Весной того же года Григорий Дмитриевич решил купить джип. Поосновательней. Мог себе позволить. Присмотрел на авторынке двухлетний «хаммер» из Германии. Заплатил продавцу полную сумму и забрал машину, но с условием, что покатается, присмотрится — а через неделю, если машина ему не понравится, он ее вернет. Продавец, видимо, такое условие всерьез не воспринял — как и самого Григория Дмитриевича. Выглядел вчерашний театрал соответственно, хотя и старался вжиться в новый образ, как мог. Григорий Дмитриевич покатался неделю и — надо же — пригнал «хаммера» обратно. Дескать, не мое, не подходит, забирай, как договаривались, отдавай деньги назад. Продавец крутанул пальцем у виска, разнервничался и возвращать деньги отказался. Не кидаться же на него в драку. И Григорий Дмитриевич отправился к Федору Палому, вору в законе, который присматривал за несколькими районами Любореченска. Попросил рассудить его с нетвердым на слово продавцом. Собрались в ресторане филармонии. Вор выслушал стороны, выпил-закусил и присудил продавцу «хаммера» деньги вернуть, а машину забрать — согласно уговору. Тут подали десерт — а Григорий Дмитриевич сладкого не ел. Воодушевленный удачным для него исходом неприятного дела, решил подышать воздухом. Выходя из-за стола, бросил помрачневшему продавцу: «Какой же я был баран, что с тобой связался!» Ему казалось, так тоже можно — с грубоватой иронией, с беззаботным смешком. Тут поднялся и вор в законе, остановил Григория Дмитриевича, вытер салфеткой рот, головой покачал. Говорит: «Так ты, стало быть, баран? Я, стало быть, только что за барана вписался? Нехорошо, нехорошо». И не только свой приговор отменил, но еще и обязал Григория Дмитриевича выплатить ему кругленькую сумму в счет возмещения морального вреда: «Чтоб я за барана вписался — за такую подставу можно и по-серьезному с тебя спросить».

Двадцатью минутами позже Григорий Дмитриевич, грустный и напившийся в стельку, сел в «хаммер» и умчал от филармонии. На ближайшем перекрестке не

вписался в поворот и на полной скорости влетел в угол главпочтамта. Подушек безопасности в двухлетнем «хаммере» из Германии не оказалось.

Сашиного отца проводили в мир иной под шепоток кредиторов, оплакивавших сгинувшие доллары. Деньги на момент его смерти оказались вложенными в товар, а его сахарная империя — состоящей сплошь из предателей: оптовые покупатели, водители, посредники либо утверждали, что давно рассчитались с Григорием Дмитриевичем сполна, либо возвращали вдове жалкие копейки.

Федя Палый скрупулезно взыскал с нее все, что следовало взыскать согласно вынесенному им вердикту.

Часть четвертая

Последние сборы

К воротам подъехала громкая, как пулемет, колымага. Двери хлопнули, и в хрупком первоянварском воздухе рассыпались молодые резкие голоса. Человек пять парней и девушек.

— Хо-хо, вот это домина. Замок, бля.

— Нормально. Только в сортир далеко пиздячить.

— Так это только в начале.

— Да ты-то, ясно, после первой начнешь ссать где попало.

— Райка, заткнись, сказал. Че ты все нарываешься?

— Сам заткнись.

— Открывай давай. Хуля уставился?

Прошлепав по луже, подошли к воротам. Голоса стихли один за другим, вернулась тишина, но уже не такая, как прежде — изломанная и зыбкая. Нехотя Топилин разлепил глаза, оторвал голову от стены и сделал глубокий вдох, раздумывая, крикнуть ли прямо из кухни: «Кто там?» или все-таки подойти к двери.

— По ходу, кто-то живет, — услышал он знакомый голос, и сердце его подпрыгнуло.

Это был Влад.

Пока позвякивала сетка и гудели металлические листы ворот под весом перелезавшего через ограду человека, Топилин успел пересечь кухоньку, тихонько откашлялся, пригладил всклокоченные волосы и замялся на пороге: нужно было сделать лицо. Не выходить же с физиономией пойманного воришки.

Влад стоял посредине двора: капюшон, как обычно, накинут на голову, руки утоплены в карманах объемной зимней куртки. Его приятели, осматриваясь, входили в отворенную калитку. Девушки остались снаружи. Компания прибыла на старенькой видавшей виды «девятке», дочерна тонированной, с обтрепанным «Веселым Роджером» на антенне.

— Привет, — сказал Топилин, запахивая полы стеганой безрукавки и, чтобы не расходились, скрестил руки на груди.

Смерив его холодным взглядом, Влад едва заметно наклонил голову к плечу, точь-в-точь как делала его мать.

— О! Это что за хрен? — громко удивился подошедший к Владу парень, посверкивая зрачками из-под трикотажной шапки. Голос как у взрослого мужика.

— Бомжара, что ли? — поинтересовался следом второй.

Влад молчал. Похоже, обдумывал сложившуюся ситуацию.

— Ты кто, чувак? — обратился парень в шапке к Топилину. Похож на младорэкетира, навещавшего обувщика-Топилина на заре его предпринимательской жизни. И какой волшебный дуэт составляют они с Владом.

— Отца своего так спросишь, — бросил Топилин «шапке» и просительно посмотрел на Влада: выручай, неохота с твоими объясняться.

Подростки притихли выжидающе. Праздничное настроение выключено, взгляды мрачнеют. Несколько секунд, которые тянулось общее молчание, были неприятны. Будто столкнулся со стаей вольных дворняг на безлюдном пустыре («В глаза не смотрим. Проходим ровным уверенным шагом, еще немного, так...»). Всего-то по пятнадцать-шестнадцать, от силы семнадцать лет. Тому — хмурому гномику — вообще больше четырнадцати не дашь. Вот ради чего все-таки стоит быть богатым, так это чтобы пустырей таких избегать и сами чтоб к тебе не наведывались.

Наконец Влад принял решение. Повернулся к Топилину спиной.

— Здесь, короче, подождите, — сказал он, повернувшись к приятелям. — Я в дом пойду. Хочу с этим, — капюшон качнулся, — кой-че перетереть.

— Да кто это, Владька? — не удержался гномик.

— Слышь, а че, нам туда нельзя уже? — откинувшись назад, «шапка» выпятил в сторону дома пах, оттопырив при этом карманы спортивных брюк спрятанными в них кулаками. Заводился с полуоборота. Горячий малый.

— Нельзя, — резко, но по-прежнему негромко ответил Влад.

— Да какого хера, Владя? Сам же нас позвал. Что это за пидор вообще, можешь объяснить? — стоя к Топилину боком, «шапка» выбросил в его сторону прямую руку.

Топилин вздохнул: не хватало еще с детьми в разборку встрять. Беззвучно выругался и вернулся в дом. Сразу поднялся наверх.

— Капа, ты че моросишь, как укуренный?

Казалось, Влада от его нервического приятеля отделяет непроницаемая перегородка, за которой ничто не может нарушить сосредоточенного спокойствия.

— Тебя как человека просят: подожди здесь. Видишь, накладка вышла. Объясню потом. Не хочешь ждать — можете уебывать. Сам доберусь.

— Вла-адь, все отменяется? — крикнула девчонка из-за ограды, и раздались быстрые нервные шаги: «шапка» вышел за калитку.

И вот это Анна называла: «Владька уже взрослый совсем»? Жуть малолетняя...

Вскоре явился Влад, переставил стул от окна к простенку возле двери, сполз пониже, широко расставив колени. Руки сцепил на животе. Этот точно не стал бы в конюхах у Юли прозябать. И в сказки про «бойков» никогда не поверил бы. А начни ему лапшу на уши вешать — срежет так, что мало не покажется.

— Как мама?

Этот вопрос подросток проигнорировал.

— Давно здесь живешь?

— С ноября.

Влад кивнул, помолчал, глядя в пол.

— Зачем? — Он посмотрел на Топилина.

Скривив губы, тот окинул взглядом стены. Будто только что и сам над этим задумался: зачем? Отвечать не всерьез и невпопад этому малолетке с повадками абрека казалось немыслимо. Будто, войдя, он воткнул проводок ему в голову и при первом же небрежном ответе последует удар током. Усевшись на кровать, Топилин щелкнул выключателем. Лампочка вспыхнула желтоватым мерцающим светом, как свеча. По случаю праздников председатель обещал не отключать электричество раньше полуночи.

— Да так... Трудный период. Вот... отсиживаюсь. Думаю за жизнь.

Снова кивнул.

— А вы, значит, хотите тут погулять? — спросил Топилин. — Я могу уехать.

Цокнул зубом.

— Уже не хотим. Я передумал.

Настаивать Топилин не стал: никакого смысла. Да и ехать на самом деле никуда не хотелось и не моглось.

— Тебя там Антон ищет.

В голосе Влада, когда он произносил это имя, послышалась отчетливая, дорогая сердцу злость. Когда-то такая же злость переполняла самого Топилина, стоявшего под окнами дома, из которого Влад однажды ушел, чтобы стать взрослым совсем.

— Пусть ищет. Мне он пока не нужен. — Не церемонясь, Влад смотрел на него внимательно и цепко. Неприлично цепко. — С переездом у вас все нормально получилось?

Влад и на этот раз не ответил.

— Ты еще долго здесь жить собираешься?

— Не знаю, — Топилин потянулся за сигаретами. — Ты не против, я покурю?

— Кури.

— Если ты... как наследник... не против, то я бы еще здесь пожил немного.

Ответил, не задумываясь:

— Живи пока, ладно. Только одежду его не носи.

— Хорошо, я... — потянулся к безрукавке, будто прямо сейчас собирался снять; не снял, но пообещал твердо: — Не буду носить. Извини. Может, чаю? — Он нажал кнопку электрочайника.

— Будешь уезжать — здесь все оставь.

— Хорошо.

Топилин пристроил пепельницу себе на колено.

— Я сам потом разберусь. С его вещами.

— Хорошо.

Что-то изменилось. Топилин чувствовал это с самого начала разговора — здесь, наедине. Сам Влад изменился. Речь его изменилась, стала более человечьей. Даже повадки изменились немного. «И этот, что ли, не на своем месте?» — мелькнула невнятная догадка.

«Девятка» коротко посигналила. Решив, что Влад сейчас уйдет, Топилин заторопился.

— Влад, ты почему мне про маму не отвечаешь? С ней все в порядке? Может, это и не мое дело, но... — Свалился в это «но», как в яму — непонятно, как выбираться. — Как знаешь, конечно, но...

Подросток встал, роняя капюшон с головы, прошелся в несколько осторожных шагов по комнате, оглядел ее неторопливо, потрогал стол, спинку кровати, треснувшую чашку. Плащ-палатку, висящую на гвозде, оттянул от стены, отпустил. Губы поджаты. Показалось даже, взгляд потеплел. Что-то связано было у него с этим куском брезента, задубевшим от времени и пыли. Плащ-палатка была просторная, под ней легко могли укрыться от дождя двое, мальчик и взрослый мужчина, к примеру. А то и все трое. Топая под проливным дождем к автобусу. В одиночку можно было и вовсе усесться на скамейке во дворе, подоткнуть везде, подвернуть — и сидеть, слушая, как барабанят сверху капли... постепенно брезент промокает, барабанная дробь становится мягче... Парень тосковал по отцу. Всеми силами старался задавить это чувство. Держался сколько мог, но и когда сознался себе в том, что не совладал — на новогодней вечеринке, что ли? — не позволил себе нарушить собственное табу. Решил притащить с собой веселую компанию. Спрятаться за ними. Вдруг поможет... В крайнем случае нацедил бы из себя украдкой то, что Топилин в его возрасте выплеснул бы открыто.

Вскипел чайник. Громко отщелкнула кнопка.

Затушил сигарету, пепельницу опустил на пол.

— Тут папин ноутбук, — сказал Топилин, суетливо наклоняясь к сейфу. — Может, ты заберешь?

Вытащил ноутбук, смотал провод, Владу протянул. Тот принял молча.

«Жаль, не поймет ведь про Хендрика Аверкампа. Рассказать бы».

На Топилина подросток больше не смотрел. Все разглядел, что нужно было. Шнырял жадным взглядом по углам, выискивал теперь другие важные детали.

— Там у него много фотографий. — Топилин все-таки стащил с себя безрукавку, повесил рядом с плащ-палаткой. — Очень хорошие. Правда. Я думаю, отличная выставка получилась бы.

Влад перехватил ноутбук поудобней.

— Мать рассказала мне про вас двоих, — сказал.

Все-таки замкнулась цепь, хоть и отвечал на все вопросы как следует.

— Да?

— Да.

Трудно приноровиться к аномальной взрослости. Режет глаза и уши. Как сеанс спиритизма: стоит дитя и разговаривает с тобой потусторонними голосами.

— Да, Влад... вот так все у нас сложилось...

Молчит. Больше ничего не собирается сообщать по этому поводу.

— Если хочешь, можем поговорить.

«Девятка» снова посигналила, на этот раз протяжно.

— Очень хорошо отец твой фотографировал. Умел. — Топилин попытался уцепиться за Сережу. «Помоги, потом сочтемся!» — Я давно таких хороших фотографий не видел. — Подросток шагнул к лестнице. — Может, запишешь мой номер, Влад?

Подумав, согласился:

— Пиши на бумажке.

— Может, в телефон себе вобьешь?

— Не, в лом. Лучше пиши.

Пришлось писать на червонце, вынутом из кармана брюк.

— Если решишь насчет выставки, я помогу устроить, — сказал Топилин, пока выводил циферки тупым огрызком карандаша. — Но лучше весной, посетителей больше будет.

Последнюю фразу произнес уже в затылок, покрываемый капюшоном: Влад выглядывал в окно. Забрал у Топилина купюру с номером его телефона, вышел на лестницу.

— А этот твой Антон совсем, блядь, достал, — сказал он, спускаясь. — Мать не знает уже, куда от него деваться. Унять некому потса.

Глухо ударила дверь.

* * *

<...> Передняя пассажирская дверь неплотно закрыта. Топилин не придал этому значения: водилось за ним такое, в гараже частенько бросал машину незапертой. На сигнализацию не ставил. Бывало, и ключ в салоне оставлял. Как только завелся и тронулся с места, дверца бардачка раззявилась — и тут он заподозрил неладное. Выехал за ворота, вернулся, прикрыл ворота гаража — как всегда, продев в замочные ушки проржавевший сварочный электрод, въездные ворота запер на замок. Потянул немного время: поправил наклонившийся столб ограды. Уже догадывался, что произошло. Не понимал, что делать после того, как убедится. Можно, конечно, в милицию сходить, написать заявление. Собственно, обязан сходить, написать заявление... Но какой в этом смысл? Кто будет искать? В новогоднюю сиесту...

Он сел в машину и заглянул в бардачок.

Травмата в бардачке не было. Больше ничего не взяли.

— Ну не придурок ли...

С размаху хлопнул обеими руками по рулю. И еще раз.

— Идиот!

После взрыва ярости медленно приходил в себя, пытался обдумать ситуацию внимательней. Теоретически, конечно, могли стащить и полярники. Задолго до визита малолетней компании. Витек, бывало, ходил мимо участка в воинскую часть, доставляя заказ самогона. И все-таки наиболее вероятна версия, ужалившая мозг в первую секунду: сперли малолетки, топтавшиеся во дворе, пока он разговаривал с Владом.

«Осторожно: дети!»

Гнал довольно рискованно по грязной запруженной трассе, хотя понимал прекрасно, что незачем: прошло три дня, «Стример» давным-давно осел в подростковом тайничке. Не факт даже, что у Влада. Воришки могли скрыть от него добычу.

Футбольный интернат с общежитием располагался на восточной окраине. Кратчайший путь — вокруг Любореченска, по прилегающим к городу деревенькам. Но тащиться по их узеньким щербатым дорожкам, когда нервы поют, как струнный оркестр, было немыслимо. И Топилин заложил десятикилометровую петлю по объездной. <...>

Анна нужна непременно. Без нее не получится.

Именно к ней прилепиться и быть — одна плоть. К ней, к парикмахерше Анечке, у которой синяя бабочка вспорхнула с бедра и верткие устричные губы.

И нужно что-то решать с Владиславом Сергеичем. Разрулить с травматом и что-то решать с самим.

Но как это сделать? Как это делается? Как влезть в берлогу к малолетке? Что сказать? «Привет, малыш, давай дружить»? А дальше? Строить отношения, ага... Он же из параллельного мира — поди пересекись. Заискивать? Выманивать рублем? С уроками помогать, играть с ним в компьютерные игры? Что с ним, черт побери, делать — с неопознанным Владькой? Будет ходить на его матчи, кричать: «Нужен гол!» или что они там кричат... Чтобы когда-нибудь, как решающую победу, посверкивая счастливой слезой и облегченно вздыхая, отметить наедине с Анной эпохальное событие: Влад назвал его «дядя Саша».

Вот это перспектива!

Машина подала сигнал: пора заправляться. До Любореченска хватит, но там на заправках очереди длинней. Поколебавшись, решил заправиться.

Пока заправился, пока попил кофе из автомата, разглядывая окрестности, растерзанные недавним дорожным строительством, паника прекратилась. Раньше не замечал такого — все эти вывороченные валуны и корни, торчащие вдоль плешивой, не обсаженной деревцами обочины, брошенные сваи, горки застывшего лишнего асфальта и вездесущий мусор, витающий в воздухе и уже осевший, — постылая неухоженная земля всасывала панику, как губка всасывает воду. Глупо выходить из себя здесь, где даже новая трасса выглядит вот так вот. <...>

С Владом встретиться не удалось. Вахтерша долго морщила лоб над таблицей, лежавшей под стеклом на ее столе, после чего провозгласила:

— Тренировка у них. После часу приезжай.

В дверях столкнулся с тем отвязным верзилой из Владькиной компании, который сверкал глазами из-под шапки и швырялся грубыми словами. Шапку он успел снять, совал ее в карман куртки.

Топилин не стал делать резких движений. Если и есть шанс исправить ситуацию, то только поговорив с Владом. Преградил мальцу дорогу.

— Скажи-ка, отрок, можешь ли ты позвать мне Влада Митрохина? Очень нужен. И очень срочно.

Парень поспешил скроить высокомерную физиономию, голову откинул, будто лег на спинку дивана. Думал.

— Зачем тебе? — спросил.

— Затем.

Снова думал.

— Не могу, — сказал он. — Тренировка у них до часу. Хочешь, сам иди. Только он с тобой говорить сейчас не станет.

— Почему это, достойнейший отрок, радость родителей и отрада учителей?

— Достал, бля! — проворчал отрок и двинулся дальше. Рефлекторно Топилин схватил его за запястье. — Слэшь ты, руки свои уберррее! — разразился парнишка на весь вестибюль, да заливисто так, с бубенцами.

— Еще слово, истеричный мой отрок, и я тебе глаз на жопу натяну, — сообщил Топилин с ледяной улыбкой, крепче сжимая пальцы. — Будешь в обе стороны моргать.

Помогло.

— Сказал, тренировка у него, только началась, — заявил кликушный, заметно подрастратив запал. — Пусти, говорю.

Стоявшие в вестибюле мужчины мрачно рассматривали Топилина.

— До встречи. О, отрок.

Пожалуй, кликушный был прав: срывать Влада с тренировки не стоило.

Посидел в машине, поглазел на запруженную улицу.

Ждать было долго, ждать он не умел. Два часа могли измочалить его основательно. И Топилин отправился к Анне на новую квартиру.

Обстоятельства, правда, неудачные. Обстоятельства не те.

Про травмат он ей говорить не станет. Пока не нужно. Сначала с Владом обсудит.

Думал — устроит красивую встречу с цветами. А тут вон как...

Нажал на звонок и прислушался. Тишина. Подождал, позвонил снова — то же. Открылась соседняя дверь, выглянула молодая женщина — по-домашнему, в тонкой футболке.

— Здесь никто не живет.

— Как? Совсем?

— Да. Ремонт раньше нас сделали, а так и не въехали, — сказала она, переступая через пушистого позевывающего кота, вышедшего поглядеть, кого там принесло в такую рань. — Не знаете, где их искать? А то мы хотели тут тамбур перегородить. Все так делают...

— Нет. Не знаю. Сам вот ищу...

— Жаль.

Подцепив кота ногой в толстом шерстяном носке и перенеся его, послушно повисшего, через порог, женщина исчезла за дверью.

Покурил на открытом балкончике, который вел с этажа на лестницу, — там же, где они с Анной курили, когда он показывал ей квартиру... высокие потолки, просторный холл... Сделав несколько затяжек, вынул телефон, вдавил сигарету в кирпичи и позвонил Анне. Зря стучало в висках. Аппарат абонента был отключен или находился вне зоны действия сети.

Топилин вернулся на площадку. Настроение было такое, будто опоздал на рейс. Самолет еще стоит — вон он, красуется крылатым телом, лобастая морда еще только примеривается к небу. Но уже не пускают. Посадка окончена. И блата никакого, чтобы договориться. Можно постоять у витража, посмотреть, как он вырулит на дорожку, побежит, поднимется над разлинованной землей — и идти сдавать билет. Жизнь унеслась далеко вперед. Догоняй, если сможешь.

Что-то очень важное состоялось, догадывался Топилин. Без него. Пока ковырялся в себе, мечтая о том, как преодолеет проклятье второстепенности и будет сам себе голова, пока присматривал себе другую судьбу — упустил, быть может, главное.

Уходи, чего. Снова опоздал.

— Да вон же он, — махнул поджарый старичок в окно. — Мяч пинает.

Шагнув дальше по коридору, Топилин посмотрел туда, куда ему показали, и увидел Влада на футбольном поле, покрытом яркой пластиковой травой, обтянутом по периметру сеткой такой же расцветки. Влад был одет в зимнюю спортивную форму. Свободная трикотажная шапка, надвинутая на брови, делала его похожим на верзилу-дружка. Уменьшенная копия.

— А вы ему кто? — дружелюбно поинтересовался старичок. — Родственник?

— Нет, я... знакомый матери, — замялся Топилин. — Никто, в общем. По делу.

— Жаль. Жаль, что никто. — Старичок быстрым четким движением завел руки за спину, будто пташка крылья сложила. — Я здесь при школе завучем. Хороший парень. Спортсмен перспективный.

Выпалил и дальше пошел, сцепив руки за спиной.

Влад лупил мячом в обтянутый резиной переносной щит, стоявший на бровке поля. Мяч отскакивал, Влад подбегал к нему, отходил на новую позицию, бил. Большинство ударов ложилось недалеко от потертого красного круга в центре щита. Те, что отправлялись в защитную сетку, подросток сопровождал колючим взглядом, поджимая, будто проглатывая, губы. Уже знакомое — запомнилось после встречи на даче.

Заметив его в окне, Влад задержал на секунду взгляд и продолжил упражнение. Он явно не собирался уходить с площадки. Пришлось идти к нему.

— Привет. — В ответ подросток кивнул, не взглянув на Топилина, и всадил мяч точнехонько в центр мишени. — Есть пять минут? Поговорить бы.

Отлетевший от щита мяч проскакал вдоль ворот, Влад подошел к нему, подцепил носком бутсы и резким рывком препроводил в руки. Топилин невольно вспомнил кота, которого похожим финтом, но нежно и неторопливо, соседка Анны водворяла из подъезда в квартиру.

— Тренировка закончилась?

— Надо кое-что отработать.

«Ну что, есть контакт?» — всматривался в него Топилин.

— А у вас праздники уже закончились?

— Да сколько можно.

Казалось, последний удар, точно в яблочко, должен был поднять ему настроение. И Топилин готов был принять за доказательство этого любую мелочь: спокойную линию рта или расслабленную походку, которой Влад подходил, зажав под мышкой мяч. Впрочем, если парень и пребывал в хорошем настроении, это все равно не делало его открытым. Пожалуй, выглядел он сегодня даже более замкнутым и неприветливым, чем на даче. Тогда показалось, в его глазах мелькнул интерес. Чуть ли не симпатия. Показалось.

— Посмотрел фотографии?

Ответил не сразу. Какое-то время рассматривал Топилина с таким видом, будто выбирал из двух предлагаемых вариантов: промолчать или все же ответить.

— Посмотрел.

— Классно, правда? — спросил Топилин и тут же выругал себя за обветшалое это «классно». — Портреты, и пейзажи тоже. — Влад неопределенно пожал плечом. Что скорей всего означало: это не буду с тобой обсуждать. — Насчет выставки не решил? — Топилин попробовал зайти с козырей.

— Нет.

Просить уточнений: что стоит за бесцветным «нет», Топилин не стал. Кроме того, что подростка приходилось переводить, как с малознакомого языка, делать это следовало быстро, с ходу, не мельтеша и не переспрашивая. Иначе, подозревал Топилин, Влад развернется и уйдет. И так держится на тоненькой ниточке. На непонятном каком-то капризе.

— Ну, смотри, Влад. Мое предложение в силе. Когда захочешь. Я, кстати, с дачи съезжаю.

Взяв мяч в обе руки, Влад стукнул им несколько раз себе под ноги.

Топилин понял, что больше всего отталкивает его в замкнутом подростке, — пожалуй, не сама эта замкнутость, а то, что Влад, очевидно, не испытывает от нее ни малейшего дискомфорта. И ему искренне безразличен дискомфорт Топилина. Не Влад, а какой-то инопланетянин из упавшей тарелки: готов до поры до времени потерпеть докучливое любопытство землян — пока свои не прилетели, — а там уж не обессудьте. Взять бы его за грудки, вытрясти из него хоть горстку откровенных слов.

— Я только что к вам на новую квартиру заезжал. Хотел с мамой твоей поговорить. Не застал ее. И на звонок мой она не ответила.

Постучал мячом оземь по-баскетбольному, вернул под мышку. Снова рассматривал. При этом в глазах ни тени вопроса. Вообще взгляд его недвусмысленно заявлял: мне все с тобой ясно, только время на тебя терять... «Эй! Что там тебе ясно? Когда успел?» — хотелось крикнуть. А все же под этим взглядом Топилин действительно чувствовал себя прозрачным.

— Мы там не живем.

Влад метнул мяч в сторону углового флажка, возле которого уже собиралась на тренировку следующая группа.

— Не живете?

Топилин слышал, что копирует его манеру речи: скупо и без эмоций. Но остановиться не мог. Делал это непроизвольно. Даже сейчас, когда сердце встрепенулось от неожиданного известия: Анна так и не переехала на новую квартиру.

— Вы не живете там?

— Нет.

— Почему?

Они двинулись ко входу в общежитие: на поле началась разминка. Не доходя до двери, Влад остановился: внутрь Топилину нельзя, и снаружи время его истекает.

— Ведь все было готово. Почему вы не переехали до сих пор?

— Мать от его квартиры отказалась. Сказала: ошиблась, когда соглашалась.

— Отказалась?

— Да.

То, что говорил Влад, вызывало на лице Топилина выражение облегчения. Скорей всего, оно и заставляло подростка говорить дальше.

— Даже извинилась, блин, перед ним. При мне было. Она спецом попросила, чтобы я приехал. Сказала: хочет, чтобы мужчина рядом был. Ну, я приехал.

— Куда приехал?

— Домой, куда... Они дома у нас разговаривали.

— Понял, понял.

— Он пригрузил, твой Антон.

А вот и первые эмоции. Повылазили, как шило из мешка.

— Конкретно пригрузил. Ты в курсе?

— В курсе. То есть. Нет, откуда? Я с ним с прошлого года не общаюсь.

— Совсем?

— Совсем. А что?

— А то. Достал, говорю. От матери не отстает. Гонит: не могу вас оставить. Типа не по-божески будет. А он хочет по-божески. Типа совесть его мучает. Из-за отца. Гонит: буду вам помогать во всем. Деньгами там и по-всякому. Мне, типа, по жизни помогать хочет. Кричит: ему это поможет... Поможет, блядь, покой обрести.

— Понятно, — сказал Топилин, чтобы избежать ненужной паузы.

— Короче, достал до печени. Думает, все здесь купил... И мать, конечно, виновата. — Он посмотрел с вызовом. И ты виноват, сказал его взгляд. — Дура была, когда согласилась его хату взять. Он, ясен хер, все равно бы от суда откупился. Но брать у него не надо было ничего. Ошиблась, чего там... Но потом же передумала. Правильно?

— Да, конечно! — поспешил согласиться Топилин. — Конечно, это главное. Всегда дается второй шанс. По крайней мере, сильным.

— Сказала ему русским языком: не хочу ничего, отстань. А он грузит. Мать уже и номер сменила. Он, короче, за меня теперь взялся, — сказал Влад, почему-то понизив голос.

Топилин не нашелся, что сказать, только мину скроил озабоченную.

— Тоже, блядь, приезжает, как ты. — Он кивнул на Топилина. — Интересуется, как я поживаю. Планшетник привозил. Я не взял.

Снова взгляд талдычил обидное: все с тобой ясно, все ясно с тобой, все с тобой ясно.

Влад двинулся к двери, Топилин остановил его испуганным жестом — про травмат чуть не забыл.

— Влад, нам еще кое о чем поговорить нужно. Серьезно.

Молчит, но не возвращается — дескать, говори, но недолго.

— Я насчет пистолета.

— Какого?

Скучающий вид. Бровь нетерпеливо приподнята. Точно — его дружки сперли.

— Насчет травматического пистолета своего, насчет «Стримера»... У меня из машины травмат пропал. Как раз после твоего визита и... твоих друзей.

— Серьезно?

— Влад, это опасная штука. С ней можно в беду попасть.

— Серьезно?

— Влад... просто верните и забудем об этом. Всем же лучше будет.

— Слышь, а че ты мне это тут вешаешь? Я с тобой наверху сидел.

— Я знаю, что это не ты, а кто-то.

— Слышь, иди в ментовку, че... заявление пиши. Я про твою пукалку ниче не знаю.

Развернулся и пошел, не оборачиваясь.

— Влад, давай нормально поговорим. Посидим где-нибудь, потолкуем.

— Некогда.

* * *

Антон взглядом отослал Томочку в приемную.

На ней длинная черная юбка ниже колен, без разреза. Волосы перекрашены в скромный соломенный цвет. Даже как будто косметика потускнела, и парфюм какой-то простенький, цветочный.

— Отсортируй пока по районам, — бросил ей вдогонку Антон. — Потом скажу, что дальше.

— Хорошо, Антон Степанович.

По правую руку от него, там, где раньше стоял телефон, появился новый аксессуар: настольный календарь в форме церковной луковицы с врезанными по окружности экранчиками, на которых зеленоватым светом, как часы в метро, высвечивались какие-то даты. Божественные праздники, предположил Топилин.

— Садись уже. Стоит как чужой.

Топилин устроился на диване возле аквариума.

— Кофе?

— Можно.

По привычке потянулся вправо. Рука споткнулась о пустоту и тут же перелетела налево, куда был переставлен телефон. Неудобно. Приходится разворачиваться всем корпусом. Ткнул в кнопку селекторной связи.

— Тома, нам два кофе. Мне без сахара.

В голосе дребезжит волнение. Несколько смущен, но быстро берет себя в руки. Заметно, что ждал этой встречи и не терпится ему добраться до главного. Но боится спугнуть. Будет подступать издалека, чутко сужать круги.

Последние сомнения были развеяны: Антон предложит примирение. Пальцы сцепил в замок, вроде бы даже шею втянул: смотри, какой я крошечный, неопасный.

— Как дела?

— Нормально. Как у тебя? Как фирма?

— Дома все тип-топ. День рождения малой справили. Зря не пришел, кстати. Мама о тебе спрашивала. И Оксана.

Топилин слегка растянул губы, изобразив на лице нечто неопределенное. То ли: «мои запоздалые поздравления», то ли «не говори ерунды, как я мог прийти».

— Здесь вон, — кивнул на стопку картонных папок, — завал приключился. Не успел до праздников разобраться. Забыл, точнее. Пришлось, видишь, выйти. А ты...

— Я мимо проезжал. Смотрю, машина стоит. Решил, раз ты здесь...

— Мощностей-то уже не хватает, — Антон как будто случайно перебил Топилина, — мелочовки набралось до фигища. Очередь до марта месяца.

Тамара принесла кофе. Поставила чашку Антону на стол, потом перед Топилиным на угол аквариумного столика. Выйдя, очень долго, с осторожностью сапера прикрывала за собой дверь, дабы избежать малейшего стука. Топилин готов был восхититься преображением Тамары. Но с первым глотком кофе передумал. Кофе беспощадно горчил — видимо, приготовила без сахара обе чашки.

— Антон, я, как ты понимаешь, ухожу из фирмы, — перешел Топилин к делу, как только осела горечь во рту. — Мне причитается четверть... если ты еще не провернул допэмиссию. Работу оценщика я готов оплатить из своей доли.

Отхлебнув в свою очередь кофе, Антон усмехнулся.

— Сказал же ей, без сахара. Ты же слышал? Четко-внятно сказал. Эх, — покачал головой, — Тома, Тома. Поставил чашку на стол, отодвинул подальше. Будто шахматную фигуру через всю доску. — Ну, что ты, Саша, сразу так? — сказал с упреком.

Погладил пятерней череп, как другие поглаживают в задумчивости лоб.

— Во-первых, ты мне в морду дал, — шутливо возмутился Антон и снова сцепил пальцы. — Ну, так? Возможно, я немного тебя спровоцировал. Не нарочно. — Он мотнул головой. — Мне, в общем, непросто это признать, Саша. Но — да. Спровоцировал. Сказал немного фривольно об Анне, хотя уже знал, что у вас... как бы... ну, отношения. Но, согласись, это не тянуло на реальную пиздюлю. — Антон вопросительно улыбнулся. — Это все твои нервы, Саша. Ну, так же ведь? Скажи.

Прислушиваясь к себе так чутко, как только мог — как ребенок, оставленный на весь день один дома, прислушивается к шагам на лестнице, как работавший всю ночь спасатель прислушивается к пустоте за последней стеной, — Топилин пытался понять: преодолена ли паскудная бета-сущность — или по-прежнему тверда ее хватка и она все еще хозяйничает в его судьбе своими умелыми, натренированными на недобор руками, велит прибиваться и приноравливаться, в шаге от победы шепчет: «Сойдет и так, расслабься»? Первое, что отметил Топилин: он не переживает больше ни тихого восторга от причастности к литвиновскому клану, ни приступов зоологической нежности к вожаку-кормильцу.

— Антон, давай не будем в этом ковыряться, — попросил он, улыбаясь собственным мыслям: он вообще много улыбался в последние дни.

— О как! — Теперь и Литвинов улыбался во всю ширь. — В табло, значит, настучал и точка... хм... А поговорить? — Он всплеснул руками. — Знаешь этот анекдот про колхозного осеменителя?

— Знаю.

— Ну вот. Без «поговорить» тут никак, Саш. — Допил кофе одним глотком. — Я, Саша, первый готов извиниться за то, что... скажем так, неловко выразился насчет Ани. Прости меня, Саша. Я неловко выразился.

Топилин вздохнул. Ладно, давай поизвиняемся друг перед другом. Хуже не станет.

— И ты меня прости, Антон. За то, что накинулся. Это были нервы, да.

— Ну, вот. Полдела сделано. — Череп под ладонью Антона на этот раз даже скрипнул. — Эхх, выпить бы! И нельзя. Пост.

— Ты можешь мне ответить? Как будем расходиться?

— Заладил.

Волнуется, отметил Топилин. Важно, какую он цену предложит. Обоим понятно, что торг неуместен.

Поднявшись из-за стола, Антон прошелся вдоль кабинета, остановился у закрытого шкафчика, в котором располагался бар, постучал тихонько по дверце, будто просился внутрь.

— Н-да, сейчас бы в самый раз.

Он вернулся обратно, но садиться не стал. Облокотился о спинку кресла. «Началось», — поморщился Топилин, ухватив знакомый охотничий взгляд — пристальный, по касательной.

— Вот сколько лет мы с тобой... дружим, и ты всегда, всегда уходил от искреннего разговора. И это всегда меня напрягало, Саша. А как ты думал? Обидно. Вроде бы друзья. С одной тарелки, как говорится. А настоящей искренности от тебя никогда не дождешься. Как шпион, ей-богу.

— Да, с искренностью были проблемы. Хотя я старался. Впрочем, ты не путаешь ли искренность с признательностью? В этом-то я больше преуспел. Нет, честно. Бывало, сидишь в кабинете, смотришь в окно и думаешь: а ведь не было бы ничего без Литвинова, ничегошеньки не было бы. Ну, что-то, конечно, было бы. Но ведь и благодарность, если настоящая, хватает через край.

Антон решал, улыбнуться или нет. Не стал.

— Выделываешься, — буркнул, пожав плечами. — Хотя бы сейчас, раз уж пришел, мог бы до конца раскрыться. Ну, не знаю... из уважения к прошлому, что ли. Все-таки столько лет. Столько всего вместе пережили. А что касается твоей просьбы, так на это время нужно, Сань. Чтобы все путем устроить. Я же не буду фирму продавать, чтобы с тобой рассчитаться. Это ж твой каприз, на хрена мне такое счастье — от семьи кусок отрывать? Ну, так? Признаюсь, первая мысль была — послать тебя и точка. Мало ли, что там по бумагам. Сколько ты тогда вложил? Можно пересчитать с учетом инфляции — и до свиданья. Хотя я тебе больше скажу. Какая разница, кто сколько вложил? На этих вложениях, что ли, бизнес построен? Скажи. Если бы с Ромчиком с самого начала не договорились, не было бы и «Плиты» никакой. Так?

Широко развел руками. Впервые с начала разговора позволил себе жест, не окороченный на полпути.

— Это я, Саша, вначале так думал. — Антон махнул рукой у себя перед лицом — дескать, забудем об этом. — Потом понял, что не по-божески так. Нельзя так... после

всего... Ты пока возвращайся, работай, а там... Ну, что... если будешь настаивать, ладно, оценим все, обмозгуем. Выделим тебе дочернюю фирму...

— Нет, Антон, — сказал Топилин и подвинулся на край дивана, чтобы подняться и уйти: беседа приблизилась к финалу. — Говорю тебе искренне, как ты хотел: в фирму я не вернусь.

— Полная самостоятельность...

— Все, закрыли тему. Возьму, сколько дашь. Согласен пересчитать с учетом инфляции. Так даже лучше. Ты прав.

Отходя торопливо от стола, Антон толкнул кресло, оно прокрутилось несколько раз вокруг оси.

— Все-таки надо, надо... как же так, с другом-то, — мягко рокоча, повторял Литвинов, пока вытаскивал из бара бокалы, салфетки, бутылки. — Думаю, могу такой грешок себе позволить. — Он подмигнул Топилину. — На Новый год в детдом пожертвовал сто косарей. И на кладбище дорожки в двух кварталах отремонтировал. Можно. Потом батюшке исповедуюсь, попощусь, если что. Дополнительно. На хлебе и воде, если что. Не вопрос.

Антон больше не сдерживался. Речь, движения, занимаемое пространство — все свидетельствовало о том, что Литвинов отбросил первоначальный план, состоявший в том, чтобы подкрадываться и поджидать. Выпустил себя на волю.

И Топилин остался.

Для того на самом деле и пришел — выдержать выпускной экзамен, перед тем как заявиться к Ане.

Вероятность того, что удастся договориться с Антоном о разделе бизнеса, действительно была мизерной. А вот понаблюдать за самим собой под нажимом альфы было интересно.

Через час, сидя по разные стороны просторного литвиновского стола, они добивали бутылку «Caol Ila», закусывая орешками и колбасой.

— Вообще-то он первым делом сказал, чтобы я подвергся всем положенным от государства взысканиям.

— Ах, все-таки...

— Что «все-таки», Саша?! Не начинай. К тому времени ты все уже уладил. Не отматывать же назад. Понимаешь, нет? Ты-то ладно. Кореш. А перед вдовой как, перед Анной? Это же тебе не игрушки.

— Антон, может, хватит про нашу страстную дружбу? Что ты, в самом деле?

— Что опять?

— Да ты через слово... Сколько можно.

— Не понимаю тебя, дружище.

— Поясню. Не было дружбы, Антон. Альфы не дружат с бетами, беты не дружат с альфами. Дружат только равные. Все просто.

— Что за хрень? Альфы, беты...

— Это долго.

— А я и не спешу.

— Я спешу. В общем, вкратце так. Беты — это такие, как я. Те, что при альфе... не знаю... генетически так прописано или приобретенное — у всех же по-разному. В общем, это те, кто пристроен под какого-нибудь альфу. Поэффективней желательно. И все у них в шоколаде, если не рыпаются.

Антон морщил лоб.

— И заметь! Бета — это тебе не какая-нибудь лямбда, сигма или омега. В отличие от этих, каждая бета всегда, хотя бы раз в жизни, имеет реальный шанс стать альфой. Всего-то и нужно — на одну голову подрасти. По крайней мере, попробовать. С омегами-то все ясно. Омегам — чем альфа, понимаешь, самцовей, тем милей. Лишь бы здоровья на всех хватало. Природа, ничего не попишешь. А бетам, им, сердешным, горизонты открываются всякие, перспективы. Они, вот же в чем самая трудная хрень, они каждый раз выбирать должны: стелимся или попробуем, стелимся или пробуем?

— Слушай, ни хера не ясно. Вот даже с пол-литрой.

— Короче, Антон. Альфы не дружат с бетами. Они ими пользуются. Без них и пирамиды никакой не выстроить. Без них и престиж не тот. Беты не дружат с альфами. Они их подсиживают — но это не наша с тобой история, нет — кормятся от них, иногда манипулируют ими. Короче, беты тоже пользуются альфами. И еще как.

— А-а-а! — складки на лбу Антона распустились. — Так я же с того и начал! Ты еще как меня попользовал. Это да.

— Мериться давай не будем, ладно?

— Тьфу ты! Кстати, не хочешь в «дочку» уходить, не надо. Нам все равно нужно мощности наращивать. Вот и открыли бы для тебя самостоятельную фирму. Так по налогам лучше. ИП небольшое, пока на вмененке, потом патент возьмем. Или как там теперь, не помню. Или хочешь, поставлю тебя на совсем новое направление? Я тут подумываю пасеку в Озерцах организовать. Там возле монастыря есть участки дармовые. Клевер, разнотравье... Перспективное дело, между прочим.

Взгляд Антона проскочил по лицу Топилина: не мелькнула ли заинтересованность?

— Ты, кстати, про монастырь не договорил, — напомнил Топилин.

— Ах, да. В общем, сказал, чтобы я наказание принял. Ну, типа от светских властей. Суд, все дела.

— Ммм.

— А тогда уже все уладилось.

— Угу.

— Я, Саша, отцу Феофану не стал говорить, что у нас без суда обошлось. Человек в монашестве с двадцати лет. Еще при советской власти постригся. У него в представлении все, как раньше было. Насчет судов там и прочая... Понимаешь?

— Допустим.

— Насчет того, что вдове с жильем помог, отец Феофан очень даже одобрил. Одобрил. Сказал, что лучше мне вдову с ребенком по жизни не бросать, помогать им. Они без кормильца теперь, ну и... Про то, что Сережа покойный им давно уже никакой не кормилец был, я тоже промолчал. Это же не главное. Да, корешок?

— Да, корешок. Молодец.

— Главное мир в душе обрести. Так ведь? Скажи.

— Точно, корешок. Мир в душе — это главное.

— За него и выпьем.

Чем дальше, тем безнадежней запутывался Топилин. Не понимал, как следует проходить этот экзамен, который сам себе устроил. Где билеты, где задания? Что говорить и как держаться? Все, что лезло в голову: смутить Антона, свободней держаться, больше и жестче говорить — все выглядело жалко. Второстепенно, так его разэдак.

Можно было вломить про воцерковление Антона. Про его новенькую веру, напоминающую то сувенирную лавку, то спа-отель. Но это смотрелось бы хамством. Ладно бы новая рукопашная. А если Антон решит его словом пригвоздить: «Не думал, Саша, что ты такой хам», — и взгляд отведет страдающий. Нет-нет. Во-первых, это ничего не решит. Во-вторых, вопрос крайне деликатный, религиозный все-таки.

Что особенно огорчало: вассальский пыл, конечно, иссяк, но и свободы игристой не было. Не было чувства «как хочу, так и будет», которое вело его в самом начале — в тот недолгий период после армии, прожитый на свой страх и риск — без Антона. Не было свободы. Ни малейшего просвета. Короста колдовская отвалилась — но под ней не обнаружилось прекрасного принца. Все тот же средней паршивости мужик. Сытый чужим. Всюду второй и опоздавший.

Зря остался.

— И, видишь, еще какая штука, Сань. Вины-то за мной никакой.

— Опять двадцать пять, — ввернул Топилин, но Антон его не слышал.

— А ведь все равно гложет. Так, блядь, гложет, жизни нет. Душит и все тут. Уже даже мысли дурные в голову лезут: может, лучше было бы на зону? По крайне мере, отвлекся бы. Я и на зону уже съездил. Которая под Петровкой. Ты не знал? В газетах писали. Карпович договорился там с начальником тюрьмы. Я благотворительность им возил. Фрукты там, сигареты. Белье.

— Белье?

— На самом деле посмотреть ездил.

— Чего лишился?

— Ты, Саша, не подначивай. Тоже, заешь... Посмотреть я ездил, что да как.

— Посмотрел?

— Насмотрелся, блин. Сами пусть в своем дерьме бултыхаются. Какое, на хрен, взыскание от государства? Там того государства... Половину всего, что я привез — Саня, кореш, я еще уехать не успел — тут же смотрящему оттаранили. Понял?

— В общем, не подошло тебе?

— Ни хрена не подошло, корешок. Мне под уркой чахоточным ходить — на хрен не впало.

Разнервничался, принялся разливать виски по стаканам.

— Стало быть, в общих чертах правильно уловил, — заметил вслух Топилин, вспомнив свой монолог о потаскушке-венерологе в «Яблоневых зорях».

Антон только поморщился: надоело просить корешка разъяснить свои загадочные высказывания.

Тамара была отправлена домой с указанием наклеить на дверь офисного корпуса объявление, которое Антон набрал и распечатал собственноручно: «Все ушли на фронт. Не беспокоить».

— Это если охранник с проходной припрется.

Откровенного разговора, к которому призывал Литвинов, так и не состоялось. Стараясь не отставать от Антона, Топилин, как обычно, перебрал, и вскоре, придавленный алкоголем, погрузился в апатичное молчание. Антона, впрочем, это не смущало. Сам он говорил без умолку, посматривая на Топилина, как переговорщик, который только что прочитал записку, извещающую о том, что его условия приняты — но придется соблюсти этикет. Топилину он наливал теперь понемногу. Его же стакан пустел и наполнялся с прежней скоростью.

Придвинулся совсем близко, Топилин ощущал его дыхание на своей щеке.

— Я тебя, Саша, очень понимаю. Очень, — шептал он. — Анна редчайшая женщина. Блин, не знаю, как точнее сказать. Живая. Вот, точно! Живая. — Антон отстранился. — Ты только в морду опять не бей. Я от чистого сердца. Вот те крест. Удивительно, как она такой осталась в этом своем гадюшнике. Не знаю... я бы точно не смог. Сейчас отказывается на новую квартиру переезжать. — Он прожевал очередной бутерброд с колбасой, одновременно оценивая реакцию Топилина. — Знал об этом, нет? Отказывается. Там, у себя живет, на Нижнебульварной. Ну, ничего... Даже телефон сменила. Ничего, и с этим справимся... Правильно? Ну, взбрыкнула женщина. Мало ли. Пройдет. Пройдет, ничего. Я сейчас с сыном ее отношения налаживаю. Врать не буду, получается с трудом. Но ничего... как там... лиха беда начало.

О том, что настала глубокая ночь, напоминал оглушительный рев двигателей, проносившихся время от времени за стеной машин. Свет падал из коридора в распахнутую дверь. Вода в бассейне ходила широкими тусклыми волнами, сонно помешивая пропахший хлоркой полумрак. Голый и отчаянно пьяный, Топилин стоял на краю бассейна. Любовался переливами — то на потолке и колоннах, то на воде — и представлял, как прыгнет с бортика вниз, взорвет водяную гладь, взметнет фонтаны брызг, как прокатится гулкое эхо под потолком и волны ухнут о бетон.

— Не могу свет включить, — сказал Антон, возвращаясь. — Прикинь, забыл, где выключатель.

Он запустил тапками в разные стороны и бросился рыбкой в воду. И взорвалась водяная гладь, и взметнулся фонтан, и тени закружились вихрем.

— Говнюк, — бросил Топилин в пенистое пятно, расползающееся там, куда нырнул Антон.

Он вынырнул с пронзительным рыком, будто очередной ночной болид, заблудившись, протаранил стену бассейна.

— Холодная! — крикнул Антон и, шумно отфыркиваясь, поплыл к ступенькам. — Срочно нужно топлива подбавить.

Поднявшись на бортик, принялся выуживать мобильник из кармана запутавшихся брюк. Операция давалась ему с трудом.

Передумав нырять, Топилин уселся на лавку.

— Я в фирму не вернусь, Антон. Это закрытая тема.

Антон никак не отреагировал. Вызванный с проходной охранник, потасканный мужичок неопределенного возраста, перенес в бассейн выпивку и закуску, достал простыни и полотенца из кладовки, включил свет и вслед за Томой был отправлен домой.

Топилин, при охраннике стыдливо прикрывшийся локтем в позе роденовского мыслителя, внимательно наблюдал за тем, как Антон запросто, без малейшего замешательства, разбрасывает указания: это давай сюда, это туда поставь.

— Нам тут лишние уши не нужны, а? — подмигнул Антон Топилину, плюхаясь рядом на лавку. — Любопытные, спасу нет.

Они выпили и синхронно впали в задумчивость. Молча закурили.

— Охота тебе все портить, Санек? Я-то что... Карпович на тебя обидится.

— Пофиг твой Карпович. Слава богу, пофиг мне твой Карпович. Настолько пофиг, что я даже не ожидал от себя. Хочу за это выпить, — потянулся он к бутылке.

Антон недоуменно повел плечами, но выпить налил обоим. Даже чокнуться не отказался.

— Нырять будешь?

— Вода холодная?

— Не то слово.

Он хотел сказать, что лучше подождет, пока наберется горячая, что он достаточно этой зимой намерзся, но всмотрелся в Антона и, качнувшись, поднялся с лавки.

Вода оглушила и обожгла, горло и грудную клетку перехватило стальными обручами. Он не слышал уже, как следом за ним, улюлюкая, в воду бросился Антон.

Пока опускался отломившейся сосулькой ко дну, успел вспомнить о «Яблоневых зорях»: болтливый огонь в буржуйке, допотопный электрический обогреватель, ворохи теплых одежек, одеяла, спальный мешок.

Вынырнули, хватая ртами, кусая воздух — как гусеницы твердый и гладкий плод.

— Оххрене-е-еть!

— Я ж предупредил!

Топилин добежал до стопки простыней, выхватил одну, завернулся. Антон дрожащими руками уже плескал в стаканы коричневатой струей «Бурбона».

После сауны, пунцовые и дымящиеся, завалились в скрипучие пластмассовые кресла, обнаруженные возле кладовки.

— Я всегда удивлялся, как ты умеешь все усложнять, Санек. С Анной так разнервничался. Чего, спрашивается.

Топилин не отвечал — да и не слышал толком Антона.

«Второстепенность невозможно преодолеть на чужой территории, — подытожил Топилин. — Это пункт номер один. Нужна собственная территория, по-настоящему своя. И с самого начала нужна была своя собственная территория. Второе... Второе будет позже».

— Да кому от этого лучше, Саша? — внушал ему Антон, придвинувшись вплотную. — Тебе, что ли? Давай начистоту. Вот как на духу. Тебе что, лучше остаться без бабла? Без фирмы? В нашем возрасте, Саша, это не то что глупо. Это, согласись, преступно.

— Ты меня посадишь?

— Саша, давай уже по-серьезному.

— Ни за что.

— Почему, Саша?

— По-серьезному нам с тобой, Антон, нужно было лет пятнадцать... ну, лет десять назад разбираться. Сейчас кроме как по-смешному, боюсь, не получится уже.

— Что ты буровишь, Санек? Ни хрена не понимаю.

— Я говорю, всему свое время, кореш.

— Нет, ты точно там на дачах мозг на хрен выморозил.

Если бы Давид, вместо того чтобы завалить Голиафа...

— С Анной, кстати, давно виделся?

— Пшел вон, сказал.

— Ну, все, все. Не лезу.

Если бы Давид, вместо того чтобы завалить Голиафа, устроился бы к нему в замы и восхищался бы его мощью и собственной карьерной ловкостью, история вышла бы смешная до колик. Потому что в финале какой-нибудь залетный ангел непременно поведал бы заместителю Голиафа альтернативный сюжет.

— Так про что я?

— Про бабло.

— Да. Тебе лучше с нуля начать, да? Сейчас, когда у тебя серьезные отношения. А у нее взрослый ребенок. А там, Бог даст, у вас еще свои пойдут. А?

Все-таки правильно сделал, что пришел. Сколь ни целительна была зимовка, а где-то в глубине, за причудливым выступом души, притаилось последнее сомнение. То самое, которое так красочно и подробно, ночь напролет пересказывает ему Антон. Нужно ли отматывать до нуля... не лучше ли воспользоваться ситуацией, если уж поворачивается подходящей стороной?

— Что бы ты тут ни плел, а я тебе нужен, Саня. Как пятнадцать лет назад. Даже больше теперь. Согласись.

Сомнение испарилось, как плевок на раскаленной буржуйке, стоило Антону изложить свою картину грядущего мира. Только с нуля, Саша. Только под корень. Все остальное пошлость. И похоже, Сашок, нет ничего пошлей, чем быть пошлым поневоле.

— А мне, дорогой мой корешок... прямо тебе скажу... ты мне тоже очень нужен.

Я тебе обещал как на духу — вот слушай. У Ани, конечно, капризы. Пройдут... Но пока они пройдут... И этот Владик ее. Упертый, как... — Кресло под ним жалобно пискнуло. — Вроде идет на контакт, но, знаешь, есть подозрения, что только так, для отмазки. Типа, чтобы от матери меня отвлечь. Нет, я не то чтобы наседаю. Не особо. Но она, Саня, сама здесь виновата. Все обговорено же было. А она берет и от квартиры отказывается. И все рушит. Понимаешь? И что мне тогда? Всем только лучше будет, Саш. Ты при деньгах, устраиваешь себе новую жизнь. На здоровье. И у меня все в ажуре, все по-божески. Даже если она от меня... лично, — он дважды ткнул себя куда-то в ребра, — ничего принять не захочет... понимаешь... все равно же, если ты со мной останешься, это ж тоже не просто так. Это ж чего-то тоже стоит.

Скорей всего, Антон по-своему понимал молчание Топилина. А притихший Топилин в красках представлял себе утопию, выношенную Антоном Литвиновым в эти слякотные зимние дни.

Вот Александр и Анна Топилины просыпаются в уютной семейной спальне. Напротив окно, сочащееся полуденным светом. На полу по разные стороны от кровати цветными пушистыми горками свалены халаты. На тумбочках фужеры из-под маргариты. Нет, лучше бокалы из-под вина. Донышки испачканы присохшими остатками, похожими на красные бессонные зрачки. Дверь открывается, и входит Антон. А следом за ним какие-то люди в синих комбинезонах. Нет, лучше в желтых. В ярко-желтых комбинезонах с нагрудным кармашком, на который нашит обновленный логотип фирмы «Плита».

— Мы на секунду. Не помешаем, — бросает Антон и, указывая на потолок одному из пришедших с ним людей, единственному в компании блондину... или нет, толстяку, говорит вполголоса: — Вот. Подшпаклевать. Там, где трещина. Обои сменить. И шторы подберите построже. Блондин или толстяк бодро кивает, бодро шуршит карандашом в блокноте. — Будет лучше, вот увидишь.

Следующий эпизод: обветшалый частный дворик, заваленный расчлененными ржавеющими велосипедами, деталями от безвестных механизмов, граблями и лопатами. Беседка из побуревших растрескавшихся реек. В беседке стол, накрытый клеенкой, на которой кое-где просматриваются еще васильки и маки. За столом сам Топилин, подле него улыбчивый Влад, Анна с глазастым младенцем на руках и ее растерянные, но изо всех сил улыбчивые родители. Чайник, накрытый войлочной бабой. Или самовар. Самовар лучше — и чтобы из краника капало в специально подставленную, треснувшую в позапрошлом годе чашку. Четко так капает, с полновесным бульком. Пока кто-нибудь не переливает набравшуюся воду обратно в самовар. Тогда какое-то время капает тихо, беззвучно почти. Калитка со скрипом отворяется, и входят родители Сергея. Входят и останавливаются, перетаптываются с ноги на ногу.

— А вот и мы! — слышится веселый голос Антона. — Принимайте, хозяева, гостей!

— Все! Давай так! — Антон тряс его за плечи, зачем-то наставив ему в лицо толстенный фломастер. — Кто кого перепьет, так и будет. Понял? У тебя фора — будь здоров. Сачковал же. Но пусть. Вот, сюда смотри. Я выпиваю рюмаху и пишу время. Вот тут, — он махнул фломастером, — на стене. И ты. Выпиваешь и пишешь время. Только без мухлежа. Все по-честному. Чья запись последняя, тот и выиграл.

Он встряхнул Топилина.

— Все, начинаем. Смотри, не говори потом, что не понял. Я пойду в сауне погреюсь. До скорой встречи.

Но живым я его больше не видел.

Я проснулся от противного перезвона, влетавшего в открытую дверь. Или оттого, что замерз до тяжелой дрожи. Или от совокупности всего противного и тяжелого, что обыкновенно окружает и наполняет похмельного мужчину сорока с небольшим лет, ночевавшего в пластмассовом кресле перед заводским бассейном, облепленного сырой простыней и несколько часов не ходившего по нужде. Добежал до душевой кабинки, отлил. Подошел к лавке, по которой растянулись блюдца с закусками. Глотнул «Бурбона» из горла.

«Полегчает. Жди», — велел я себе и принялся напяливать одежду. Все было сырое. И пахло, как простыня, хлоркой.

На ближайшей к столу колонне в несколько строчек записано время: 03.20, 03.30...

Трезвонил — настойчиво, но с почтительными паузами — охранник, пришедший

на смену. Очевидно, был предупрежден своим предшественником, отосланным домой, о неординарной ситуации на объекте. Я несколько раз позвал Антона, морщась от раскатистого эха, и, все еще дрожа, отправился на проходную впустить охранника.

Вернувшись, заглянул в натопленную сауну. Пусто. Одежда Антона осталась сложенной на краешке лавки. Значит, не ушел. Снова звал его. Кричал, что собираюсь уходить. Попробовал вспомнить номер мобильного. Тут же десятки голосов в голове принялись выкрикивать числа, как будто я заглянул в комнату, в которой проходил городской турнир по игре в лото. «А зачем я его ищу?», — удивился я. Даже сел от удивления. Или оттого, что меня с самого пробуждения покачивало. Или просто захотелось присесть на дорожку.

— Вот и все, — крикнул я в потолок, сплетенный из полосок теней и солнечного света. — Вот и все, корешок!

Разжевал ломтик лимона, надеясь хоть немного освежить во рту.

За пиджаком пришлось идти в кабинет Антона, по переходной галерее, через вестибюль с новогодними гирляндами, мимо бывшего своего кабинета, через общую приемную с пластиковой елкой.

Если выходить через проходную, придется идти мимо охранника. Идти мимо охранника не хотелось. Магнитный ключ от пожарного входа валялся у Томы на столе, поверх черновых смет. Спустился по дальней лестнице, прошел на площадку.

Антон лежал на левом боку, подвернув под себя руку и прижавшись лопатками к стене. Рот полуоткрыт. Другая рука закинута за голову. Простыня, которую он связал узлом на плече, сбилась комом на груди. Над углом правой брови, ближе к виску, темнела красная точка. Крови вытекло совсем немного.

Мой «Стример» валялся тут же. Я зацепил травмат носком, переступая с ноги на ногу.

Главное я понял сразу: Влад.

Дальше похмельная голова работала с натугой, но в общем без сбоев. Мысли хоть и давались тяжело — каждую приходилось тащить, словно шкаф через просторный зал, с грохотом и пыхтением — я не упустил ни одной детали и все сделал тщательно. Хорошо, кстати, что не пришлось тратить время на раздумье — как поступить. Иначе мог не успеть.

На двери в офисный корпус по-прежнему висел прикрепленный Антоном листок с приказом не беспокоить. Его должно было хватить на первое время, чтобы сдержать любопытство охранника. Но для верности я прокрался к этой двери и запер ее на засов.

Когда устанавливали видеонаблюдение по периметру «Плиты», Антон приказал вывести сигнал и управление системой на мой компьютер. Одной из моих обязанностей был контроль за работой сторожей: не покрывают ли несунов, не устраивают ли ночных шабашей — в бассейне, к примеру.

Найти нужную запись не составило труда.

Влад правильно подметил, что с камер, установленных по-над забором и над проходной, пожарный выход не просматривается. Он прокололся лишь в одном: проглядел камеру, установленную на противоположной стороне улицы, на фонарном столбе.

Подошел впритирку к забору. Капюшон надвинут на лоб, на плече спортивная сумка. О встрече, судя по всему, было договорено заранее. Мне Антон по каким-то своим соображениям решил не говорить — полагаю, готовил нам с Владом сюрприз. Собирался разобраться сразу с обоими. Стукнуть себя в грудь, сказать: «Да что вы, мужики, ей-богу!».

Нажав на кнопку звонка, Влад повернулся спиной к двери. В этот момент капюшон сполз на затылок, приоткрыв нижнюю часть лица. Ждал полторы минуты, пока ему открыли. Еще через четыре минуты вышел. Я кое-что домыслил для этих четырех минут — пока не знаю, насколько был близок к реальности. Скорей всего, он выстрелил сразу, как только вошел. Мог сказать что-нибудь перед этим. Они даже могли перекинуться несколькими короткими фразами. Если верно предположение о том, что Влад выстрелил сразу и несколько минут после выстрела провел возле рухнувшего Антона, это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что убийство было случайным.

Влад стрелял в лицо. Влад был настроен серьезно, но рассчитывал лишь нанести увечье. Не знал, что с такой дистанции выстрелом из «Стримера» можно убить. Потому и стоял там, над телом Антона, осмысляя случившееся, решая, как действовать дальше.

Мне очень хочется верить, что было именно так.

Почему Влад пришел рано утром, в день новогодних выходных в «Плиту», я тоже пока не знаю. Возможно, Антон пригласил его ходить в заводской бассейн: полезно для позвоночника.

Я остановил регистрацию видеосигнала и стер записи со всех камер, сделанные после Нового года. Потом открыл в «Блокноте» лог-файл и отредактировал вручную дату остановки регистрации. Теперь получалось, что система перестала записывать перед самым боем курантов, в ноль-ноль часов минувшего года. Могло сойти за программный сбой. По крайней мере, я на это рассчитывал. Впрочем, следователь с видеокамерами особенно не возился.

Протерев травмат, я взял его в правую руку, чтобы оставить свои отпечатки.

Зашел в кабинет Антона. Проверил его мобильник, оставленный в пиджаке: несколько пропущенных звонков от жены. В исходящих тоже ничего незнакомого: с Владом они не созванивались.

Уладив технические детали, сходил в бассейн за остатками «Бурбона». Почему-то постеснялся лезть к Антону в бар. Как только головная боль растворилась в новой порции алкоголя, сама собой сложилась версия, которую я выложил ментам. Выпивали с партнером, мирились после прошлогодней ссоры. Бассейн, сауна. Задремали. Почудилось, что кто-то вошел в здание через пожарный вход, я спустился туда, подошел к двери, сзади меня окликнул притаившийся Антон — решил пошутить — от неожиданности я испугался. Пьяный, спросонья. Повернувшись, выстрелил. Случайно. Не глядя. Пьяное непредумышленное убийство.

— Такие дела, — сказал я, разглядывая семейную фотографию на стене: Антон и Оксана целуют в сплюснутые щеки смеющихся детей. — Простите.

Все было готово для последнего шага. Сердце испуганно дернулось. Если бы не похмельный пресс, заметалось бы, заверещало тонущей мышью.

Очень хотелось потянуть время. Чего-то эффектного захотелось напоследок. Душевного разговора, на худой конец. Перед трагическим финалом (перед тем, как выйти под шквальный огонь или, вот, предаться в руки правосудия) герой звонит дорогому для него человеку — не подозревающему, в какой переплет угодил звонящий герой, и они ведут милый поверхностный разговор, звучащий пронзительно в силу известных зрителю обстоятельств. Вечная слабость таких, как я, сбежавших из библиотечных чащоб: пронзительное.

Анне я позвонить не мог. Подержал палец над маминым номером, но и ей не позвонил. Испугался, что размякну и все в последний момент провалю (а это я умел капитально). Словом, обошлось без эффектных концовок.

Вызвав полицию, я спустился к проходной. Охранник в своей стеклянной каморке настраивал антенну на портативном телевизоре. Из шипящей пурги на экране выскакивали куски праздничного новогоднего концерта. На шатком столе, когда охранник проворачивал антенну, покачивался в металлическом судочке холодец — уже помазанный волнистыми полосками горчицы из тюбика — и ложка, воткнутая в уголок, качалась игривым хвостиком.

— Сейчас полиция приедет, — сказал я ему, словно речь шла о доставке пиццы. — Впустите их, пожалуйста.

— Понял, — ответил он громко и радостно, как будто отвечал из концертного зала, мелькающего сквозь помехи на экране. — Впущу.

— Пусть в кабинет к Антону Степановичу поднимаются.

— Понятно. А что-то случилось?

По инерции он продолжал шурудить антенной — так что в наш разговор периодически врывался телепраздник.

— Обещали в течение получаса подъехать, а там кто их знает.

— Подъедут. Сейчас без пробок.

Эпилог

Каждый день мне вспоминается взгляд Оксаны из-под траурного платка. Мы столкнулись в коридоре следственного управления. Меня привезли на допрос. Я шел по стоптанной красной дорожке — всего-то и нужно было проскочить мимо трех кабинетов и нырнуть в четвертый. Я уже заметил ее и молил Бога... ну да, я вдруг бросился молить Бога, горячо и многословно, как заядлый православный... Я молил Бога, чтобы Оксана не обернулась. Она стояла в раздумье над лестничными пролетами, положив руку на широкие деревянные перила. Но за несколько шагов до кабинета следователя конвойный меня обогнал и, жестом велев остановиться, постучался. И Оксана обернулась на этот стук. Ее взгляд уперся в меня над плечом конвойного. Конвойному долго не отвечали из-за двери, Оксана долго на меня смотрела. Так внимательно, словно пыталась выудить в моих глазах что-то, что можно унести с собой. Ненависти в ее взгляде не было. Мне даже показалось в первую секунду, что она кивнула мне, здороваясь — скорей всего, машинально. Не знаю, разглядела ли она то, что искала. Вряд ли.

Дело мое поручено старшему следователю Коломийцу Михаилу Ярославовичу. Старше меня лет на пять. На допросах умеет расположить к себе — уважителен и вдумчив. Но тем вернее загоняет меня в угол. На каждом допросе мы просматриваем запись следственного эксперимента, во время которого я показывал, как именно спустился к пожарному выходу, как все случилось. И Коломиец снова и снова делится со мной своими сомнениями: «Неубедительно, Александр Григорьевич. Зачем пострадавшему было прятаться под лестницей? Потом, вы наверняка заметили бы его, спускаясь. Боковым зрением. Пострадавший был крупный мужчина». Коломиец не верит, что я выстрелил из «Стримера» с перепугу, обернувшись на шутливый крик пострадавшего. Отрабатывает версию умышленного убийства. Разнюхал про нашу с Антоном драку на виду у нижнебульварной коммуналки, но про меня с Анной — пока нет. Зачитывал мне куски из показаний жильцов дома. Ничего существенного. Даже Софочка почему-то воздержалась от обличительных резкостей.

Адвокат у меня тоже неплохой. По крайней мере, впечатление производит убедительное. Назначенный адвокат начал наше знакомство с того, что очень торопится — и вообще был неприятен по всем статьям, от грязных туфель до ребяческой манеры вертеть в руках айфон. Единственным адвокатом, которого я вспомнил, оказался Вадим Валентинович Патай, который вел дело депутата Каширина.

Литвинов-старший добился встречи со мной. В неофициальном, как водится, порядке. Встреча прошла там же, в кабинете следователя. Коломиец оставил нас наедине. Владимир Карпович сухо задал несколько вопросов — тех же самых, которые задавались мне на первом допросе (хотя ответы на них, собственно, и составляли мои первоначальные показания). Спрашивал, как все произошло, почему я пришел в «Плиту» с травматом, а потом прихватил с собой, отправившись к пожарному выходу. Я отвечал то же, что отвечал Коломийцу.

— Что-то я не припомню за тобой такой нервозности, Саша, — сказал Владимир Карпович подавленным голосом. — Чтобы обернуться и выстрелить. И где? В помещении собственной фирмы.

— Пьяный был, Владимир Карпович, мы пили всю ночь, — начал я.

Но на этот раз Литвинов-старший не желал выслушивать то, что наверняка было знакомо ему из моих показаний.

— Да знаю, знаю, — перебил он меня. — Пили всю ночь, ага... — Поднялся. — Не верю я тебе, Саша. И точка. Объяснить не могу почему, но не верю. Чувствую, что ты врешь. А меня мое чутье еще никогда не подводило, ни разу.

Сунув руки в карманы пиджака, Литвинов отошел на несколько шагов от стола, за которым мы сидели. Какое-то время постоял ко мне спиной.

— Ты врешь, — сказал он твердо, не оборачиваясь. — Выстрелил умышленно. Наверное, снова подрались. Кишка у тебя заиграла, вот ты и выстрелил.

Я молчал. Какой был смысл ему перечить? Я вдруг совсем разучился врать.

— Я тебе обещаю, что сделаю все, — ронял он презрительно через плечо, — все,

что можно... и чего нельзя... чтобы ты получил по максимуму. И чтобы в тюрьме тебе небо было с овчинку.

Он ушел, больше мы не виделись.

Моим пребыванием в СИЗО Владимир Карпович не озаботился, и я живу здесь — грех жаловаться. В камере на четверых я сейчас один, а до недавнего времени делил ее с Валерой Шелеповым, обвиняемым по 125-й статье — оставление в опасности. На пороге его дома умер зверски избитый прохожий, которому он не решился открыть дверь.

Валеру перевели в соседнюю камеру.

О том, что меня закрыли, Аня узнала на третий день из «Вечернего Любореченска» (трагическое происшествие в «Плите» газеты освещали на первых полосах). Еще через два дня она вышла на начальника СИЗО. Говорит, через его двоюродного брата, у жены которого долгое время работала, пока та не закрыла парикмахерскую.

Аня много чего успела уладить со здешним начальством. Деньги на мой «грев» она выручила с продажи квартиры, той самой, новенькой, возле Пионерского сквера. Поэтому и Валеру от меня перевели, и мобильный телефон мне передают регулярно раз в неделю.

С Анечкой мы встречались здесь же, в СИЗО, уже трижды. Не в комнате для свиданий, поскольку следователь Коломиец «в интересах следствия» отказывает и ей, и маме в свиданиях. Для такого рода встреч — в обход интересов следствия — в СИЗО отведен читальный зал с отдельным от библиотеки входом. Не знаю, посещают ли эту комнату с журнальным столиком и раздвижным диваном любители уединенного чтения, но мы с Аней здесь не единственные посетители: каждый раз в комнате заметны следы чьего-то недавнего пребывания. То винная пробка на полу, то стол передвинут.

Правды она не знает. Влад ей не признался. И я не говорю. Зачем? Решил сесть за Влада — садись.

Страшно, конечно. Но ни писать, ни говорить об этом я не хочу.

Анечка считает себя виноватой в том, что случилось. Если бы не согласилась на мировую с Антоном, ничего бы не было. Я не решаюсь ей сказать, что тогда и у нас с ней ничего, скорей всего, не было бы.

Через девять месяцев, в конце октября, если все пойдет как положено, у нас с Аней кто-нибудь родится — девочка или мальчик.

Мама... с мамой я не виделся. Аня предлагает устроить нам встречу, но я пока не готов. Пока звоню. Надеюсь, мама не проговорится Коломийцу про эти звонки, когда тот вызовет ее к себе. Я-то ей все, как мог, объяснил — но Коломиец ушлый, может уцепиться и выпытать. Первый мой звонок мама встретила слезами и попросила дать ей время взять себя в руки. Вскорости перезвонила, и мы проговорили минут десять, пока охранник не устал стоять на стреме.

Я сказал ей только, что не стрелял в Антона умышленно. Она не расспрашивала.

— Я обязательно добьюсь свидания. Тогда, Сашенька, если захочешь, все мне расскажешь.

Чаще всего с мамой мы говорим о вещах, не имеющих отношения к моему нынешнему положению.

Возможно, постаралась моя трудолюбивая фантазия, но мне кажется, мама подспудно ждала... нет, конечно, она не ждала, что ее сын отправится на скамью подсудимых за убийство... но все эти гладкие годы ждала катастрофы. Словно не могла допустить всерьез, что все закончится той сытой пустотой, которую я изо всех сил выдавал ей за предел своих мечтаний.

— Зина тебе привет передает.

— Спасибо. Передавай и ей от меня.

Вчера созванивались с Аней. Она сказала, что Влад хочет встретиться со мной наедине.

Полностью роман Дениса Гуцко «Бета-самец»
выйдет в начале 2013 года в издательстве АСТ.

Феридун Займоглу, Гюнтер Сенкель

Голоса призраков

Монологи

С немецкого. Перевод Светланы Ширшовой

Один

Эту вину не смоет никакой дождь. Слова ее только приукрашивают. Кол в спине, камень в сердце, я насвистываю мелодию, и если она выйдет гармоничной, я тут ни при чем. Это моя сущность. Такова моя натура — другие тоже приходят откуда-то и добиваются, чтобы им дали пищу. Ради пищи я живу по-немецки, у меня нет проблем с погодой. Под горячим солнцем, там, где я жил раньше, я должен был долго бегать, по многу часов каждый день, чтобы в конце концов что-нибудь получить. Здесь я тоже бегаю и, когда прихожу с работы домой, моя жена кладет мне что-то на тарелку, потом — десерт, потом — прекрасная семья. Она-я живем в съемной квартире. И все-таки это роскошь — такая хата с неба не падает. Не хватает только ребенка, но мы заводить его не хотим из-за сомнительного анализа. «Клавиатура заблокирована», — говорю я своей жене, и она смеется, потому что знает: это термин из инструкции для мобильной связи. И она говорит: «Итак, мы поняли друг друга, а именно — на немецком». Эта деталь важна. Мы вживаемся, но какими методами? Вот такими: она и я, муж и жена, общаемся между собой новыми чужими словами. Полчаса, больше мы не выдерживаем, но и этого достаточно. Она-я спрятаны, все время спрятаны, кто нас найдет, должен еще родиться. Мастерски это все. Как мы достигаем минимума, минимально выделяемся, мастерски — в каком смысле? мастерски в том смыс-

---

Феридун Займоглу (Feridun Zaimoglu) — немецкий прозаик и сценарист турецкого происхождения, в 1965 г., когда ему было пять месяцев, переехал со своими родителями из Турции в Германию и до 1985 г. проживал в Берлине и Мюнхене, после чего постоянно живет в Киле. Как журналист он пишет литературную критику и эссе для немецких газет Die Zeit, Die Welt, SPEX и Tagesspiegel. В 1999/2000 гг. работал в национальном театре Манхейма драматургом. В 2000 г. на экраны вышел фильм «Kanak Attack» режиссера Ларса Беккера по мотивам книги Займоглу. В 2005 г. Займоглу получает литературную стипендию немецкой академии вилла Массимо в Роме. По итогам римских впечатлений Займоглу пишет книгу «Интенсивный Рим» («Rom intensiv»). Займоглу пишет романы и сценарии на злободневные темы, часто критикуя социальные условия в Германии. Его дебютом стал роман «Kanak Sprak» (1995), текст которого часто читается в школах и на комедийных сценах страны. Также он известен по книгам «Leyla» (2006) и «Liebesbrand» (2008), по фильму «Kanak Attack» и театральной постановке «Schwarze Jungfrauen» («Черные девственницы») (2006), сценарий для которой он написал вместе с Гюнтером Сенкелем.

Гюнтер Сенкель (Gunter Senkel) — немецкий драматург, родился в 1958 г. Живет в Киле. Вместе с Феридуном Займоглу написал множество сценариев для фильмов и театральных постановок. В конце 70-х гг. Сенкель служил в Бундесвере, после чего расклеивал плакаты, работал экспедитором и сортировщиком бутылок. Он начал изучать физику, но бросил ради места в книжном магазине в Киле. С 1997 г. занимается авторской деятельностью. Вместе с Займоглу он создает сценарий для фильма «Ожог» («Brandmal»), который получил премии и часто представляется в чтениях, но так и не вышел на экраны. Многие драматургические работы соавторов выходят в виде печатных изданий.

© Feridun Zaimoglu / Gunter Senkel
© Светлана Ширшова. Перевод

ле, что цвет нашего тела черный, несмотря на это мы не бросаемся в глаза. На нее-меня смотрят все, так же в нашем квартале, но «белые» не отличают «черных» друг от друга, они их даже путают. Ладно, о ней люди говорят: это женщина. Обо мне люди говорят: это мужчина. Но в основном говорят люди — «черный»; этого достаточно. Я хорошо нахожу общий язык со всеми, кто признает мою жизнь и знает: их жизнь тоже имеет свою ценность и обоснованность. К ветвям липнут остатки непогоды, после дождя, в городе, а я иду и иду, ранним утром, каждый день, и я не смотрю в лица. Это мимолетные лица, они торчат между двумя плечами, они приклеены к телу, они летят. Так я создаю свою историю. Африка не здесь, мой образ жизни запрещает мне, чтобы из-за этого гудели мои ноги. Работа дает свободу. Это обсуждают, и соседи говорят: «Он добропорядочный мужчина, потому что у него есть мужество уходить из дому, целовать жену и идти на работу. В наше время он нужен, черный; важный босс делает ставку на его ремесло, хороший человек». Что? Недоверие? Откуда бы им знать? Я не паркую машину в неположенном месте, у меня вообще нет машины, перед моей дверью нет лужи и нет земли. Я не ору в прощальное воскресенье, соблюдаю покой в выходные дни и праздничные вечера, слежу, чтобы коврик перед моей квартирой не был дерьмом. Человека можно распознать: по его обуви и по чистоте коврика. Четкая граница между улицей и жилищем. Очень важное замечание, пожалуйста: у меня нет свинства в крови, мою компетентность не сбить никаким градом. Мои шансы велики, что город меня не отравит, ведь о моих страхах он знает немного. В этом жена мне очень помогла, ее достижения несомненны. Для меня. Для всех, которые знают. Свинство она уничтожает мокрой тряпкой. Территория, на которой она стоит или идет, это ее зона. Важная вещь в ее жизни: что ее beautycase[1] никогда не пустеет. Знай она, что я сплю с собаками, она бы возмутилась. Я — особый молодой человек. Обо мне мечтают всякие свиньи. Они все скроены по одной модели: personal interest money prophet[2]. Короче, сутенер. Они тоже так пробиваются, эти money prophets[3]. Дверной коврик между ними и мной, четкая граница между мужчинами, трахающими мужчин… И мной, у которого есть жена. Они — свиноподобные, они хотят быть как женщины, но единственное, что у них есть от женщины, это их дырка для сранья. Животных привлекает падаль. Я не хочу ублажать мужские тела, я верю в одно, вынужден соглашаться с другим, но я приехал сюда не для того, чтобы затыкать дырки для сранья: дырки фальшивых женщин, дырки мужчин, которые используют свой задний проход для секса. Свиноподобного привлекает мертвечина, и так как он является пророком богатства, у него много денег, столько денег, сколько я не имею, денег, которые так мне необходимы. Монеты — мое будущее, то есть они создают мое будущее. Кто-нибудь слышал о союзе больных мужчин? Я не имею с этим союзом ничего общего, я вообще не признаю болезнь. Мужчина должен лежать с женщиной, мужчина с мужчиной под одним одеялом — больной союз. Бог не имел этого в своих планах. Я делаю свою работу.

Утром уходят из дома, это правило, но я отсыпаюсь до четверти десятого. Ночью я занимаюсь своим бизнесом. Бывает, что я должен долго шататься, нужно время, чтобы какой-нибудь свиноподобный обратил на меня внимание. Они, свиноподобные, чаще всего худющие, как евреи в лагере. Они заботятся о фигуре. Они пахнут дорогим одеколоном или женским мылом. Они носят кожаные шмотки, потому что кожа облегает тело. Некоторые из них выглядят как нацисты времен войны. Но это только одно слово из многих, большинство их слов сплетаются в безобразные знаки, бесстыдные знаки. Они говорят так, чтобы быть смешными, я знаю свою жену, я должен держать это все при себе. Иначе во сне она отрежет мне яйца, это мой большой страх, который никогда не проходит. Я выхожу только в выходные, в рабочие дни я остаюсь со своей африканкой. Она темнее меня, поэтому наши дети родятся настоящими «черными». Моя чернота такая, как цвет ее ладоней — большие руки у нее, крепкое тело у нее, в порыве безумства она могла бы похоронить меня под собой. Один свиноподобный мне рассказал: есть мужчина, которого нанимают старые женщины. У этих старух широкие проходы между древесными стволами — между их толстыми ногами. Мужчина бреет перед этим — перед чем? перед чертовски-мерзко-пахнущим актом — голову, но не брови, щетину, но не баки. Он бреется. Он намасливает голову. Потом ныряет с головой по самые плечи в проход старой женщины. Старуха вздыхает, и вздыхает, и вздыхает. Мужчина через полминуты выныри-

---

[1] Косметичка (*англ.*).

[2] Любитель читать проповеди о собственных интересах и о деньгах (*англ.*).

[3] Любители читать проповеди о деньгах (*англ.*).

вает обратно и требует свои деньги... Он рассказал мне это, этот свиноподобный, и он посмотрел на меня. Я был в ярости, в большой ярости. Потому что он хотел, чтобы я... чтобы я вытянул обе руки, чтобы я... чтобы я сжал руки в виде шара, и чтобы я потом нырнул в его задний проход. Это честно?! Что он мне предлагает? Я для него что — его мясо? Или он думает, что мое мясо... как это называется?.. станет механическим поршнем? Что я буду в нем перемешивать, как поварешка — в супе? Что? Это честно с его стороны? Я сразу встал на дыбы! С меня станется. Смотри! Я могу читать по руке. В моей линии жизни нет разрыва. Хотя бы минимум морали, чтобы я мог работать, а свиноподобные меня ненавидят, так как у меня дома порядочная африканка. Которая меня ждет. И я не могу допустить, чтобы в порыве ярости она разрубила меня на части. Чтобы она отняла у меня мужественность. Я ложусь только с женщинами, а обратное делаю ради денег.

Около полуночи я прихожу в зону. Раньше, года три назад, юные шлюхи тоже выходили туда на охоту — шлюхи-мужчины с маленькими задницами и в узких брючках. Они стояли, изогнув бедра, как погнувшиеся уличные фонари. Стайка маленьких, подлых, воняющих мылом щенков. Их гавканье до сих пор в моих ушах, они имели на меня зуб, между нами была конкуренция. Однажды они меня подловили, хотели в одном-единственном кровавом бою решить вопрос о разделе территории. Турецкие, арабские жиголо — они выли и урчали перед маленькой церковью, они вертелись вокруг собственной оси и вокруг оси свинства. Один закон отменяется, и как следствие этого — возможность стать голубым. Я-то не продам свою традицию за чью-то похвалу. Откажешься от традиции — и, как следствие, Бог покарает тебя гомосексуализмом. Иисус висел на кресте в маленькой церкви, и Он допустил, чтобы эти вонючие собаки звенели своими побрякушками, и хрипло дышали, и хищничали. Это наказание. Я спрятался в подворотне и смотрел. Они сделали что? Они схватили юношу, новенького юношу с девичьим лицом. Они прижали его к земле, он лежал на лице, они сняли с него брюки и трусы, он сопротивлялся. Они засовывали гальку ему в зад, он вертелся на мостовой. Его щеки потом были расцарапаны, огненные штрихи на красивом лице. Они — жестокие учителя, поэтому я сжался в темноте. Красавчик больше никогда не выныривал: он был принцессой, которой свиноподобные надели золотую корону. Однажды я встретил его — и потому, что я слаб, и потому, что он был красивой девушкой, мы, стоя, сделали нечто прекрасное, и он сказал: «Откуда ты? Отсюда или оттуда?» — «Оттуда! — сказал я. — Я здесь в гостях, все остальное — ложь». А он сказал: «У тебя больше рук и ног, чем у человека с нормальной сексуальной ориентацией, ты можешь оставить свою жену себе». Я влепил ему оплеуху, и это был конец. Может, и жаль, что я ему не помог, позже, когда он был придавлен к полу вонючими собаками. Традиция теряет силу, и тебе приходится думать, как бы заработать побольше денег. А все свободные деньги — в руках у свиней.

Я прихожу в зону только к полуночи, я брожу вокруг, как человек, который не нашел, что ищет. Тех собак больше нет, они давно двинулись дальше, квартал приходит в упадок, в сорок ты здесь еще считаешься молодым. Женщин-мужчин мучают сексуальные амбиции, перед зеркалом они делают себя красивыми или жесткими. Поэтому там травля, поэтому там ненависть. Они — гомосексуальные графики-рекламисты, они работают головой, фантазия мучает их, в них слишком много места для идей, собственно, они снова хотят обладать принцессой. Но вместо этого видят меня. Я на месте, цвет моей кожи привлекает их, я еще относительно молод, но не молод по-настоящему. Свиноподобные не прочь повеселиться, ради того они и зарабатывают такую кучу денег. В их темницах течет кровь. Я туда ни ногой, спросите, почему? Потому что у них каждый сам себе голова: каждый сам решает, присоединиться к компании или нет, а потом они трахаются все в стае. График-рекламист прочитал мне стишок:

Черный негр у Черного моря стоит,
Черную крайнюю плоть теребит.
Смотри, какая прекрасная сцена:
Из черного тюбика — белая пена...

Как-то он меня спросил: «При последнем траханье тебе кровь накапала на обувь?..» Я посмотрел на свои ботинки и заметил парочку темных капель — это был конденсат, накапавший с пивной бутылки. Это два примера. Они, эти женщины-мужчины, могут фантазировать только в одном направлении, и я иду в этом направлении... а потом назад, в предрассветные сумерки. Я позволяю с собой заговорить, рано или поздно такое случается. Я стою на улице. Я избегаю голубых полицейских,

потому что в свободное время они иногда тоже рыскают вокруг, ищут себе кого-нибудь. Нельзя быть таким тупым, чтобы верить в их любовь. Или — в их обещания покровительства. Они обещают африканцу постоянный статус. Один из той вонючей собачьей шайки поверил. Один, два, три раза полицейский его оттрахал — и не заплатил. «Тебя, африканчоночек, я сделаю игроком нашей команды», — сказал он. Но не сдержал слова. Я не знаю, где сейчас этот парень. Одним меньше — меньше давления конкуренции. Со мной всегда заговаривает один, я остаюсь немым, руки в карманах куртки, куртку я ношу также и летом. На вино он меня не приглашает, приглашает на шаурму. Полоски мяса, красный перечный соус, от семи до одиннадцати картофелин фри, еда на бумажной тарелке. Если я ем с ним у стойки, это отличная сделка: он платит, с набитым ртом не разговаривают, итак, мы не разговариваем. Арабы за стойкой видят во мне извращенного европейца. Они обязаны принимать у себя голубых, но в общем-то это оскорбляет их честь. Голубые заскакивают внутрь, еда им нравится, и когда молодой араб, накладывая мясо в хлеб, поворачивается, свиноподобный может уставиться на его задницу. График-рекламист как-то сказал мне: «Зад должен быть таким тонким, чтобы его можно было натянуть на член». У каждого свои тараканы... Ладно, я ем, он ест, он платит, мы покидаем араба, который не смотрит на наши задницы, мы уже на улице и проходим мимо кабака. Он устроен как пляжный бар. Там сидят африканцы моложе двадцати, они тоже приглашены — толстыми женщинами. Негр любит вес, это правда. Толстые муже-женщины держат африканцев в кулаке. Я знаю двух мужчин, которые там занимаются бизнесом. На рынке рабов нужно иметь длинный и толстый бурав, это условие. Иногда один африканец идет с муже-женщиной в туалет. Они заходят в кабину и закрываются. Женщина стоит, мужчина опускается на колени и лижет. Лижет до боли в мускулах. Это вступительный экзамен: кто выдерживает, тому повезло. Кому повезло, имеет надежду. Там столько насекомых, что без факельного шествия не разгонишь. Крики жаждущих спасения я слышу по многу раз на дню. Но вопрос вот в чем: кто мне брат? Это свиноподобные. Они — за безнаказанность. Есть там одна толстая муже-женщина, мы ее называем Элегантной Гусыней. Почему? Потому что она всегда говорит: «Если уж элегантно, то до конца!» Она святая, и она сумасшедшая, и она — гусыня. Она видит меня на стороне свиноподобных, она подбегает и кричит: «Негр, твой Цамма-Цынга окрещен?» Она имеет в виду мой бурав. И она кричит: «Мяснику даже мощи сгодятся!» Если она подстерегает меня по пути от свиноподобных домой, она кричит: «Твой козырь побил, негр?» Фрау Элегантная Гусыня — муже-женщина, у которой на содержании четыре или пять африканцев. Со мной ее негритянское племя было бы укомплектовано, но я на такое не соглашаюсь. За это дают мало денег. Дома, у того клиента: все предметы обстановки имеют острые края. Он обнес свою территорию кольями. У него дома тоже нет вина для меня, в основном я пью воду из-под крана. Дорогую воду в холодильнике я не трогаю. Я знаю, его это радует. Что включает в себя цена? Диванную подушку под моим задом: сиденье жесткое, а я хочу сидеть мягко. Он терпит это. Молчать плохо. Иногда свиноподобный встает, идет в туалет, спускает воду. Чтобы все выглядело натурально. Чтобы я ему верил, что у него слабый мочевой пузырь. Об этом он рассказал мне еще при первой встрече. Хитрая свинья знает народную мудрость. Лгун должен помнить о своей лжи, иначе его уловка будет раскрыта. Итак, он держит все свои маленькие очковтирательства в голове. Я, значит, слышу шум спускаемой воды, слышу, как он потом моет руки. Наверняка на самом деле он смотрится в зеркало. В аптечное зеркало. Он раскрывает боковые створки, чтобы увидеть свой профиль и справа, и слева. Может быть, он возбужден. Может быть, доволен. Он думает: «Негр должен это сделать. Он для этого приспособлен». Он думает: «Я люблю его руки». Что я делаю между тем? Молчать плохо. Я напеваю. Что-нибудь. Негромкую песню. Я напеваю шлягер. Непременно немецкий. Это порождает доверие. Я сразу замолкаю, когда он заходит в комнату. Его вину не смоет никакой дождь. Но на коже его черепа — капли воды. Свиньи бреются везде: там, где торчит их бурав, вокруг заднего прохода, выбривают себе грудь и ноги. Я — нет. Женщина любит мужчин, почему? Потому, что у женщины тело безволосо, и она любит свою противоположность. Мой клиент садится рядом со мной и рассказывает о муке, своей муке, — держать вес. Он нарезает сырые овощи кубиками и кружками и ест столько, чтобы чувство голода пропало — на час. Никакого шоколада. Никакого жира. Никакого мяса. Или — только раз в месяц. Все остальное было бы виной и нарушением правил. Толстые мужчины кончают в садистских подвалах. Они хлещут мальчиков-рабов, пока кровь не начнет капать на сапоги. Я не толстый, и у свиноподобного со мной нет проблем. Мы сидим рядом на диване, и я слушаю о его больших проблемах. Если он говорит о других женщинах, кривит лицо. Они создают

конкуренцию. Лучше всего мир без женщин, говорит он, они делают из мухи слона. Лучше всего квартал, где живут только мужчины, молодые мужчины с пушком на лице. Лучше всего город, где свиньи носят кожаные брюки, брюки с разрезами спереди и сзади. Город мальчиков любви. На этом его голос срывается, и я тянусь к нему, вытаскиваю его бурав наружу, наружу из узкого пространства. Делаю из своей ладони пещерку. Мы соединяемся: он должен перед этим подать сигнал. Перед этим он вскрикивает: СЕЙЧАС! И моя пещерка ухватывает его бурав крепче и крепче, я дергаю его бурав быстрее и быстрее, и когда он извергается, пещерка распрямляется и снова становится моей правой рукой. Я оставляю его пыхтеть, бегу в туалет и мою правую руку. Никогда больше. Никогда — хуже. Свиноподобный предложил мне денег за мою шоколадную дырку. Но нет! Что подумает моя жена о муже, который разрешает себя буравить. Эту вину не смоет никакое добро. Каждая африканка в постели оторвет яйца мужчине, который захочет трахать ее, сам будучи оттраханным. Лучше я умру, чем такое. Нет! Это продолжается недолго. Может быть, десять минут. Он закрывает глаза, я закрываю глаза. После этого все, как прежде. Я всего лишь механик, пару движений рукой, больше ничего. Свиноподобный дает мне несколько купюр, он понимает мою тяжелую ситуацию. Я не в том положении, чтобы быть на виду у всех и каждого. «Ты вдвойне обосран, — говорит он, — ты вдвойне черный: черна, во-первых, твоя кожа и, во-вторых, — сама жизнь». Но это всего лишь разговор для снятия напряжения — после того, как он облегчился. Он мог бы теперь попросить меня остаться на ночь. Он мог бы наутро принести мне кофе и бутерброды в постель. Он мог бы попробовать перевернуть меня на живот и засунуть свой бурав в мою шоколадную дырку. За это дал бы побольше денег, чем пара купюр. Но нет! Перед нашей маленькой игрой я подробно объяснил ему свою идею. Нет темной зоны, не нужна и интерпретация. Мальчики любви — тем такое нравится, они охотно остаются на ночь и получают добавку. У меня же дома жена, и она тоже имеет свои права. График-рекламист подыскивает себе постоянного друга, у него нейродермит, растрескавшиеся губы. Не тот мужчина, на которого обратит внимание другой свиноподобный. Желанны мальчики любви, собаки из своры, потому что они получают удовольствие от удовольствия, а не от сострадания. Им не придет в голову говорить об остатках непогоды на ветвях, о муках голода, о больших деньгах, которые зарабатывают старые свиноподобные. У них — молодые, еще не изношенные шоколадные дыры, до остального им дела нет: даже до собственного страха, что угодишь в ловушку. После, как и во все прошлые разы, я быстро смываюсь. Втягиваю голову в плечи, смотрю только вперед, иду все дальше и дальше, пока не оказываюсь за пределами квартала. Почти всегда там меня перехватывает Элегантная Гусыня. Рядом с ней какой-нибудь африканец. «Мой трахальщик», — говорит она, и всем, кто рядом, стыдно, только не мне. «Вы, негры, хотите, поменяться местами?» Спрашивает она. Мой ответ таков: «Это уже чересчур». Она смеется, я исчезаю. Негр рядом с ней, ее мальчик любви, тоже смеется, после это принесет ему проценты за любовную службу. Моя жена никогда не смеется, когда я прихожу с работы.

Я даю ей одну купюру, и, поскольку она ведет хозяйство, — еще одну. Она сразу прячет их между грудями, там ее сейф. Позже она припрячет деньги, я не знаю, где ее заначка, хотя долго искал. Мы едим. Одновременно смотрим телевизор. Бывают дни, когда мы почти не обмениваемся словами. Она говорит только о своих родственниках и немного обо мне. Для нее я все равно что воздух. Я же обращаюсь с ней, как с дамой. Она нюхает меня и довольна, что не чувствует запаха другой женщины. Женских волос на мне тоже нет. А что еще происходит в моей семье, никого не касается.

Два

Я чищу кастрюли, я чищу сковородки, и я могу, если захочу, поцарапать тефлоновое покрытие проволочной щеткой, но они всегда догадываются, кто это сделал, и я получаю минус-пункты, они меня уже называют Минус-Марок, я заткну им глотки, когда-нибудь, но тогда, дорогуша, им уже мало не покажется. Мои руки почти целый день в мыльной пене, я смотрю вниз и вижу мутную воду, она доходит мне до локтей, а вся эта подгоревшая ерунда — объедки — плавает сверху, и я совершаю круговые движения щеткой сперва по часовой стрелке, потом — против, прячу испорченную кастрюлю и окидываю взглядом пол — нет ли на нем мусора. Безукоризненно чисто, безукоризненно аккуратно должно тут все быть, я тут, помимо прочего, исполняю роль проверяющего: уж если я пропускаю через свой контрольно-пропускной пункт какого-то члена кастрюльно-сковородочного общества, человек этот приобретает

статус достойного члена; и мавр справа от меня тоже проверяет, одновременно в быстром темпе вытирая посуду.

Дежурный Мавр и я, дежурный Минус-Марок, — сердце и почка всего кухонного производства, хотя, разумеется, на самой нижней ступени, тут я не строю себе никаких иллюзий, не воображаю, например, что шеф похлопает меня по плечу и скажет: «Парень, не будь тебя, нас бы всех давно вышвырнули». Собственно, такая возможность вполне реальна, тут не больно-то поболеешь, и я от работы не уклоняюсь, но шеф и его адъютанты знают, где мое больное место: я же призрак, меня вообще как бы нет, если я буду создавать им проблемы, шеф просто придет и скажет: «Ты уволен». Семь дней в неделю я занят, мои руки выглядят так, как будто принадлежат утопленнику. Мне передают большую кастрюлю, я ее принимаю, опускаю в мыльную воду и именем Господа нарекаю Джессикой, потом появляется следующая кастрюля, все кастрюли — женщины, в своем воображении я играю с их крышками, под водой я тискаю их сиськи и между делом широко ухмыляюсь. Поэтому среди кухонного персонала я известен как Помешанный Минус-Марок, это моя полная боевая кличка здесь, в обществе многих поваров, которые радуются, что могут смотреть на нас, негров-монголов, сверху вниз. Е... я ваши белые фартуки! Мы — ничто, пердеж для людей там наверху, в ресторане. Видел бы ты, какие там классные телки, они выглядят супер, и я уверен, пахнут они тоже хорошо. Но верхний этаж для нас табу, мне-то, в общем, плевать, а вот Дежурный Мавр за годы, что здесь работает, совсем сбрендил и впадает в дикую ярость, стоит только кому-то затронуть эту тему. Думаю, когда-нибудь эта ярость перейдет в буйное помешательство, он схватит кухонный секач, взлетит вверх по лестнице, по пути, возможно, пырнет парочку младших поваров, тех, которым хватит глупости, чтобы встать у него на пути. А наверху Мавр превратит в хладный труп первого попавшегося мужчину, провинившегося лишь в том, что сидел за одним столом с классной бабой. Я пытался взывать к его совести, говорил: «Ты и я, мы работаем здесь и получаем деньги, не разрушай этого только из-за того, что у тебя давление в мошонке, иди в бордель и трахай проститутку». Но негры слушают демонов, они не принимают советов от белых, Дежурный Мавр каждый раз мне объяснял, что его тошнит от трансвеститов-фиджийцев в борделе, а другие проститутки не хотят трахаться с негром, что остается, это фиджийцы, которые зажимают свои члены, чтобы выглядеть как женщины. Я понимаю его проблемы, но толку-то что, он мне все уши прожужжал жалобами вроде: «Я бедный черный мужчина, никто не хочет осушить мои слезы». Ну и?! Никто его сюда не приглашал, пусть возвращается обратно к маме в Африку, толстогубые головорезы мумба организуют для него встречу на высшем уровне и непременно споют песни о любимой родине и любимых слонах, которые хоботами достают бананы. Этот мужчина — труп, он отольет не в тех кустах, и тогда головорезы мумба отрежут ему голову и поссут в горло. Я бешусь на таких экзотов, здесь родной язык немецкий, здесь немецкое культурное достояние, здесь имеет хождение немецкая марка, называемая сейчас евро, но дело-то в том, что Германия держит Европу в кулаке. Я так вжился, что прихожу в согласие с действительностью, действительность меня не кусает. Я араб, Минус-Марок, феллах со слегка смуглым цветом кожи, что никак не делает меня мумба-юмбой. Шефа зовут Фриц, это не настоящее его имя, он обсирает нас всех, может весь день напролет не делать ничего другого, как только врать, и врать, и врать. По мне, так и пусть себе. Он хочет заставить нас поверить, будто по бедности не может купить себе новую одежду, при этом он зарабатывает раза в три или четыре больше, чем я, — и все равно бродит вокруг понуро, как больной зверь, в отрепьях, и хочет, чтобы мы ему сочувствовали, клянчит у нас сигареты. В перерывах мы, мойщики посуды, выходим на задний двор и едва успеваем сделать пару затяжек, как Фриц уже здесь и просительно заглядывает мне в глаза: я, значит, должен протянуть ему пачку, он вытаскивает сразу две сигареты, одну закуривает, а вторую закладывает за ухо. Он — шантажист, эта свинья, он знает, что может нас, нелегальных мумба-юмба, пнуть коленкой под зад; а начальница отдела кадров, стерва, милостиво треплет его по щеке, и свинья-Фриц чуть ли не хрюкает от удовольствия, гордо поглядывая вокруг: мол, полюбуйтесь, черномазые, я ей симпатичен, а вот к вам она поворачивается спиной, и вы таращитесь на ее сладкий задик, вам очень хочется, да только нельзя... У нас свободный рынок тел, что мне мешает подойти к кадровичке и прямо сказать: «Женщина, я единственный в своем роде, смотри не промахнись!» Но я не совсем безмозглый, я внизу, она наверху, такого не потерпит ни одна женщина, ни одна не захочет продать себя ниже своей цены, не влюбится ниже своего уровня, не пожелает себе свинского будущего, никакой женщине не нужно, чтобы мумба-юмба дарил ей розы — тем более что классическая модель ухаживания так и так уже в заднице.

Араб — это не просто араб, это враг, с которым каждая п...а здесь ведет войну, при встрече с любой женщиной я должен сперва пройти проверку на благонадежность, а это длится и длится, потому что скепсис, который имеют здесь женщины, выглядит так, как будто у них за спиной мировая война с мужчинами. Кадровичка думает: «Минус-Марок? Это всего лишь крепление для пениса». Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что она видит во мне только пенис, а остальные части тела воспринимает как что-то вроде держателя для мобильника — но вот именно, что не для мобильника, а для пениса. Пока я могу здесь мыть посуду, все остальное дерьмо мне по барабану, человеческие отношения я получу в другом месте.

А именно, в танцкафе. С вечера субботы до обеда воскресенья я свободен и для начала встаю под душ — стоять полчаса под горячей струей и думать о чувствительном проникновении... Ну хорошо, признаюсь: я стою в душевой кабине и представляю себе кадровичку голой, я уже немного в нее втрескался. Длинные светлые волосы, которые она закалывает наверх, маленький классный носик, как у пекинеса, голубые глаза и ноги — бог мой, какие у нее ноги! — если я начну лизать снизу, это будет длиться вечность, пока я не окажусь между ее ног... Итак, сверху меня мочит горячая вода, а я тем временем представляю себе духи кадровички. Я схожу с ума! Каждый раз я становлюсь почти ненормальным. Но это все — профилактические меры, ты ведь не можешь заявиться в танцкафе как мумба, чтобы все сразу увидели, какое у тебя содержание гормонов. Женщины тогда попрячутся в тени, они боятся, они и так очень боятся южан, которые врываются как буйволы. Я, напротив, — само спокойствие. Я прихожу в трахбар и знаю, как ведется игра: в нишах сидят женщины от-после тридцати, настоящие женщины, не девчонки, болтающие о женском движении, хотя должны были бы говорить только о девчачьем движении; итак, в нишах сидят хищные кошки, и они мурлычат, мурлычат, сам же я должен делать вид, будто призывный рев хищника в дикой чаще — нечто совершенно нормальное. Я пока что стою, заказываю дешевое-дорогое шампанское, а они, разумеется, тем временем меня рассматривают, и вот что им сразу бросается в глаза: этот мужчина не немец, но и не латино, что же остается? Албанец. Югослав. Грек. О черт, араб. В этот момент тебе лучше всего прикинуться дурачком и принять позу распятого, тогда киски в нишах опять начнут молоть языком и от тебя отвлекутся. Самое важное в танц-трах-кафе «Сахайм», что женщины тебе звонят по телефону со своего столика, у каждого столика есть телефонный номер, каждый номер это дорога к счастью или несчастью, ты садишься и ждешь, пока не зазвонит, а после звонка, как правило, мумба-юмба допускают грубейшую ошибку: они с диким видом начинают озираться по сторонам, потому что сразу хотят понять, какая женщина и из какой ниши держит сейчас в руках трубку. Если после этого мумба-юмба снимает трубку и говорит «Халло», никто не отвечает или он слышит женщину, которая бормочет: «Ах, нет...» Я, когда раздается звонок, смотрю только на телефон, поднимаю трубку и вежливо говорю: «Да, слушаю!» Уже хорошее начало. Немного баса в голосе — именно что немного, иначе женщина разоблачит в тебе актера и огонь в печи погаснет. Поддерживай огонь печи! Я говорю: «Да, слушаю!» Она: «Как тебя зовут?» Это секунда ужаса. Если я назову свое имя, то тут же вылечу из игры, если придумаю другое, буду лгуном, а каждая женщина — в самом деле, каждая — имеет на неправду собачий нюх. Поэтому я говорю: «Сегодня вечером у нас маскарад. Ты, красавица, получишь имя... Жаннетта». И тут лед тает. А знаешь, почему? Потому что я ей дал имя, которое носят почти исключительно девушки. Я имею в виду, что имя Жанетта — это на вес золота. Печь горит, то есть, между нами говоря, *ее* печь горит, и я чувствую запах ее печи, хотя от женщины меня отделяют четыре, или пять, или пусть даже всего две ниши. Я кладу трубку, это главный закон, должно оставаться напряжение, никаких лишних комплиментов, никакого скрытого свинства — я идеален в роли деликатного кавалера, открывшего для Жанетты ворота в рай. И тогда передо мной уже стоит женщина, с секундной скоростью я должен решить: хочу я ее или не хочу? Но я хочу, ясное дело, так как то, что я вижу — это русалка из ниши, а не ведьма из пещеры, поэтому я вскакиваю и жду, пока она сядет. Мы оба сливаемся с темнотой, снова возвращаемся в темноту сладостной ниши, я — наполовину тень, и она — наполовину тень; тут-то и начинаются танец, поединок, война, изысканность... Посудомойщик и Жанетта... Иногда я называю ее Русалкой Жаклин, или Дженнифер, или Джессикой, или Яниной, или Юлией. Свежие имена. Кирстен и Улла — это смерть, Сильке и Хайдрун — это смерть, а вот Кларисса — тоже красивое имя. Я накапливал имена в моей голове, но посудомойщик и Ева-Роза — это вершина. Я влюбился в одну женщину, сильно влюбился, и инстинктивно назвал ее Евой-Розой, верное решение пришло сразу, как только я ее увидел, верное решение пришло, когда судьба привела ее в мою нишу, все в ней было Евой-

Розой, от светлых волос до маленьких ног, ее тело было Евой-Розой, и я не мог отвести глаз. Я не крутая свинья, я всего лишь не остолоп, иначе не смог бы вынести все это дерьмо, но когда я увидел Еву-Розу первый раз, в нише, я влюбился в нее тотчас же, как дурак, а она сказала следующее: «Жизнь не сахар». Сказала она лениво и отхлебнула глоток дорогого-дешевого шампанского. Мне пришлось овладеть собой — нет, неправда, я вовсе не овладел собой, я смеялся, смеялся до слез, мне было весело, так ужасно весело, то есть мне все казалось очень смешным, и ей это не понравилось. Ева-Роза была серьезной женщиной. Вообще-то женщинам нравится, когда мужчины их заставляют смеяться, но именно эта женщина не любила смеющихся мужчин. Я все-таки взял себя в руки. Она расспрашивала меня обо мне и моей профессии, о моей сраной биографии, и я с ходу выболтал все: марокканец, не агрессивен, как и большинство моих соотечественников, сюда приехал, чтобы получить образование, легко выучил язык, но учился потом спустя рукава, пока меня не вычеркнули из списков студентов, а раз ты уже не учишься — вон из общежития, вон из страны. В моем паспорте значится: разрешение на проживание — только на срок учебы в университете. Что ж, я ушел на дно... Вообрази: я рассказываю абсолютно незнакомой Еве-Розе мою историю — и срать хотел на последствия, ни на секунду не задумался, что доверяю ей свою тайну и она запросто может меня выдать. Но ей было все равно... Проклятье, я отклонился куда-то в сторону — от своей линии, хочу я сказать. Но оставим общие рассуждения, частности куда важнее. В танцевально-трахательном кафе каждый более или менее порядочный мужчина находит себе более или менее красивую женщину, таков закон, а у кого это не выходит, в чьих планах намечается трещина, тому лучше обратиться к врачу. Итак, вернемся к Еве-Розе. Я, значит, исповедуюсь перед ней, а она сидит безучастно, курит, пьет и не смотрит мне в лицо, показывает свой профиль — и я вдруг ловлю себя на том, что пересчитываю ее веснушки. Эти веснушки надо было видеть: на носу, на щеках... Будь моя воля, я бы отшвырнул стол, чтобы ничто нас больше не разделяло. Не меньше получаса делал я свой доклад, а потом наконец заткнул пасть. Тут надо заметить, что в этой игре имеется еще одно правило: никогда не расспрашивай женщину о ее личных делах, жди, пока она сама проговорится о каких-то подробностях, а до тех пор довольствуйся маленькими красивыми выдумками, которыми она с тобой делится. Ева-Роза сказала мне, что она в разводе и что я не должен комплексовать из-за того, что работаю посудомойкой, она сказала: «Я вообще не люблю людей». Она сказала: «Я здесь в первый раз, странное место, я хочу напиться, ты хочешь переспать с женщиной, но я не знаю, сойдемся ли мы сегодня». И все же в конечном итоге она оказалась в моей комнате; у меня нет квартиры, у меня только комната с душевой кабиной посередине, и все сгруппировано вокруг этой душевой, все, в чем я нуждаюсь и что имею: матрас, лампа, шкаф, маленькая кухонная ниша... Не важно... Роман наш продлился месяц, потом она выкинула меня из своей игры, так как на самом деле не была разведена, а просто устала от мужа, я же был для нее вроде мальчика по вызову, с которым она провела в общей сложности семь ночей. Игра окончена, ее нет, я по-прежнему влюблен... Я сгорал от любви, но ничего поделать не мог, в танц-трах-кафе она больше не приходила, и через пару недель я подумал: хватит любовного хныканья, жизнь не сахар. Итак, я начал засматриваться и на других женщин, что тут поделаешь, я не воздвигаю домашних алтарей для строптивых красавиц и не преклоняю колена перед кумиром, такое не для меня. Все женщины были милы со мной, они со мной действительно хорошо обращались, а маленькие красивые выдумки не ранят Минус-Марока, с этим я могу жить, я с этим хорошо живу. Вообще, немецкие женщины: они наши лучшие союзницы, они протягивают нам руку и помогают перелезть через стену, они сами встают перед нами стеной, защищая, когда небо темнеет от кружащихся хищных птиц. Ладно, насрать на поэзию, я просто хочу сказать вот что: тут есть и такие, и такие женщины, одни считают нас, иностранцев, свиньями и предпочли бы пригвоздить к дубу; другие готовы баловать и даже — сколько-то времени — любить. Это звучит как теория, но у меня нет теорий, по мне, так все должно проходить проверку практикой, и что в итоге останется — то и есть нормальные будни.

Сначала я был настоящим зубрилой, я думал: головастый мумба пробьется, он должен учиться и получить диплом; я читал уйму книг, а потом просто бросил все это: чтение, умные мысли, которые ни на что не годятся, занятия, вообще учебу. Я нигде не видел столько тошниловки и духовного онанизма — в одном флаконе, — как в университете. Е..л я это дерьмо. Они все тупые, но задирают нос так, будто у них на груди орденские планки, они выглядят как пидоры-орденоносцы, я от одного взгляда на них впадаю в уныние. Ни тебе Джессики, ни Жаклин, ни Дженнифер. А только

какая-нибудь заурядная Хайке, или Дагмар, или Фрауке, или Ханна. Это не подлинно человеческое сообщество, скорее — скопленье животных, наслаждающихся четвертинкой свободы; и ни одна свинья не была свободна по-настоящему, и я тоже хрюкал с этими свиньями… Ветчина делается из ягодиц свиньи, ты знал это? Я тогда с удовольствием жрал ветчину, а потом какой-то полуиндус, хотя я его ни о чем не спрашивал, показал на мою тарелку и заявил: «Ты трескаешь ягодицы свиньи!» Я ему чуть не врезал: я не нуждался в том, чтобы меня просвещали, но этот тип корчил из себя великого просветителя. Он ошивался в университетской столовой, а я как раз послал к черту мою учебу и убивал время в той же столовке. Полуиндус сделал ставку на высшее образование и все читал какие-то *таврические* книги, тайком поглядывая на женские задницы, он вообще был маньяком задниц, задница тут, задница там, он называл себя *Доморощенным Фу-Рейдистом*, так он представился, я тогда ему сразу сказал, чтобы он заткнул свою глупую пасть. Сначала — та история про свиные ягодицы, потом — целая философия по поводу женских задниц из марципана, крошки которого он бы с удовольствием подлизывал… Я ему сказал: «Ты больной, парень. Лечись». Полуиндус был по матери наполовину немец, а по отцу наполовину албанец; уже плохо: что касается генов, ему достались неправильные порции. Неудивительно, что он стал фетишистом задниц. Благодаря ему я получал разную временную работу — сраную, разумеется; работу для албанцев, за пару центов в час, где ты пашешь с пяти утра до пяти вечера, а за каждый перерыв у тебя отчисляют из зарплаты. И постоянно я должен был выслушивать от этого ненормального его жопную теорию: «Забудь про щель Венеры, — говорил он, — наслаждайся щелью задницы!» Этот тип не понимал шуток: всякий раз, когда я предлагал ему заглянуть к его братьям по духу и пожелать им хорошего дня, он грозил, что перережет мне кухонным ножом перемычку между ноздрями — скверная угроза; я думаю, полуиндус отнюдь не шутил. Пусть люди думают, что хотят, меня это не колышет, пока они не наступают мне на яйца; я со всем согласен, пока они не втягивают меня в какое-нибудь дерьмо. Но в том-то и заключалась проблема: задофетишист предложил мне работу посудомойщика в отеле, тогда он сам там работал; итак, в одной компании оказались Дежурный Мавр, сумасшедший анальный албанец и я, мы просто из озорства рычали песню о веселых ремесленниках, хором втроем, а немецкая рота с Фрицем во главе смотрела на нас исподлобья: как же, какие-то мумба-юмба орут святейшую немецкую песню, в то время как сами немцы отскабливают гарь от кастрюль или оттирают забрызганный жиром кафель; мумба-юмба знай себе распевают хиты, пока немцы чистят засорившиеся раковины. По сути, подспудно велась психологическая война, и каждый это знал, но албанец все-таки переусердствовал. Как-то к нам заглянула кадровичка, и каждый из нас затаил дыхание и уставился на нее; боже, она была нашим секс-символом, мы видели ее в наших снах, мы трахали ее призрак каждую чертову ночь, а она была комендантшей концлагеря, нацистская форма подошла бы ей классно, в своих мечтах я одевал ее только в нацистскую форму и потом набрасывался на нее. Короче, она как-то в очередной раз заглянула к нам, что и привело к роковым для албанца последствиям: она пролаяла пару приказов и снова ушла, а этот сумасшедший через пару минут сказал, что сделает перерыв, — и исчез. Через сколько-то времени начинается суматоха, все немцы выбегают из кухни, Дежурный Мавр и я — вслед за ними, и тут мы видим лежащего на полу албанца с разбитой в кровь мордой, хотим помочь ему. Но Фриц говорит: «Парень попытался изнасиловать начальницу отдела кадров. Если хотите, то, конечно, можете ему помочь…» Мы застыли на месте, словно окаменели, потому что, как бы это сказать, согласно неписаному закону всех мужчин детей не трахают, и женщин тоже не трахают, когда они этого не хотят; если бы мы помогли полуиндусу, мы бы нарушили этот неписаный закон, поэтому мы просто смотрели на бесчестную свинью и не шевелились, даже когда Фриц дал ему пару пинков и лицо албанца превратилось в пюре. Дежурный Мавр и я тогда просто ушли с места происшествия, а позже, когда немцы вернулись, не стали интересоваться, чем можно загладить такого рода позор. Я, помимо прочего, и из-за того злился, что теперь Мавр и я находились под подозрением, будто и мы тоже можем затащить кадровичку в кусты, — потому что всех мумба-юмба считают одного поля ягодами. Фриц, свинья, так и сказал мне в лицо: «Ты ничем не отличаешься от албанца». Но я другой, чем анальный фетишист: да, я хотел бы пригвоздить кадровичку к матрацу, в своем воображении я ее раздеваю по нескольку раз на дню, но против ее воли ничего не случится, совсем ничего. Что у нас на повестке дня? Мытье посуды. А когда я выхожу в город, я беру паспорт приятеля, полицейские не могут отличить нас, ориенталов, друг от друга, так же как и мы не замечаем различий

между маврами. И меня тоже часто проверяли полицейские, они сравнивали фотокарточку в паспорте с моей оригинальной рожей — и отпускали меня.

Со мной все в порядке. Когда-нибудь — может, скоро — я женюсь на немке и стану полностью легальным — легальнее была бы разве что счастливая любовь с такой женщиной, как Ева-Роза.

Три

Тут совсем не так, как я представлял себе Германию.

Долгое время я был в Италии. Точнее сказать, в Риме. Там я жил в районе на окраине города. Квартал назывался Браветта.

Эта территория не для богатых людей. Те, у кого есть деньги, давно переехали.

Там есть участок с шестью гигантскими блочными домами. Думаю, в каждом живет больше тысячи человек. Эти десятиэтажки раньше были социальным жильем. В любом случае они принадлежат городу. Большинство квартиросъемщиков съехало, уж не знаю когда, и каждая освободившаяся квартира тотчас захватывалась нами. Квартплату никто не платит.

Город снабжает эти дома электричеством и водой. Никто не оплачивает счета. Люди, которые живут здесь давно, говорят, что раньше между домами были просторные газоны. Сегодня там в грязи скапливается мусор. Город постоянно предоставляет в наше распоряжение голубые мешки для отбросов. Каждый складывает свой мусор в мешок. Когда мешки наполняются, люди выкидывают их из окон. В итоге мешки громоздятся между домами. Если один из них падает на дорогу, кто-нибудь подбирает его и отбрасывает туда, где он не будет мешать. Через пару дней дорожки между домами превращаются в лабиринты. Мешки громоздятся так высоко, что за эту стену и не заглянешь. За две недели первые кучи достигают четырех-пяти метров в высоту. Зимой пахнет неприятно, летом вонь просто невыносима. По три недели мусор бродит на солнце. В нем заводятся черви, появляются стада крыс, а из окон летит все больше мешков.

Раз в три недели приезжают мусорщики и все собирают. Они наведываются сюда в количестве ротного состава, с целой флотилией мусороуборочных машин. Пока они работают, невдалеке ждут карабинеры. Они следят, чтобы не возникло проблем. Проблем не возникает.

Мусоросборщики нас не любят. Они ненавидят грязь, которую мы создаем. Им это в лом — каждые три недели копаться в нашем дерьме. Но куда же девать мусор? Здесь живет несколько тысяч человек, мусорных контейнеров нет. Да от них и не было бы никакого проку. Сколько контейнеров нужно выставить, чтобы уместить мусор такого количества людей? И где их выставлять? Участок окружен высоким забором. Внутри забора свободных мест больше нет.

Наши люди тоже не любят мусоросборщиков. Для них мусорщики — это представители города, который не признает их прав. Но при чем тут мусорщики? Перестань они вдруг приезжать, и здешние жители от силы через два месяца задохнулись бы в собственных отбросах.

За домами — гигантская автостоянка, солидный кусок земли, превышающий по размеру футбольное поле. Раньше, когда здесь еще жили итальянцы, места для машин жильцов вполне хватало. Сегодня вся площадка загромождена вагончиками для жилья — их несколько сотен — и старыми прицепами. На стоянке живут цыгане. Машины, в своем большинстве, никогда уже ездить не будут. Они по многу лет не трогались с места. Многие люди соорудили себе пристройки из картона, дерева, пластиковых материалов. Это напоминает маленькие садовые участки, но только без зелени. Повсюду натянуты бельевые веревки. Мужчины целыми днями сидят перед вагончиками, а матери с детьми тем временем попрошайничают на городских перекрестках. Пока водители ждут сигнала светофора, они суют им под нос своих детей и требуют денег. Другие вымогают деньги в трамваях — у стариков и туристов. В вагон, скажем, заходят три женщины с десятком детей, и сразу начинается галдеж. Дети кричат, возятся на полу со своими игрушками, матери ругаются, дети начинают носиться вокруг, раздается рев, пассажиры в панике пытаются уйти с их пути, много движения — и через пару остановок вся группа снова выходит. Тогда обнаруживается, что у кого-то пропал кошелек. Так обстоит дело с цыганами, живущими на автостоянке. Молодые цыганки выходят на работу по вечерам. До поздней ночи они стоят под козырьками автобусных остановок, на выездах из города, и поджидают клиентов.

По краю стоянки тянется забор. За ним ничего больше нет. Только лужайки и

пустыри. И еще — неглубокая лощина посреди маленького заповедника. На другой ее стороне, примерно через километр, на пологом возвышении стоят виллы богатых. От нас видны их сады, их маленькие парки. Они живут на окраине настоящего города. По ту сторону гряды начинается Нуово Монтеверде, красивый жилой район для римского среднего класса. Дома там не превышают пяти этажей, внизу сидит портье, садовники ухаживают за зелеными насаждениями. Между домами приличное расстояние, что в этом городе считается настоящей роскошью. Там я работал.

Все, живущие в блочных домах, что-то делают. Мы не цыгане. Мы не попрошайничаем. И не обворовываем людей. Мы хотим работать.

Большинство из нас днем находится в городе и что-то продает. На каждом большом перекрестке в Риме что-нибудь да продается. Многие люди занимаются тем, что протирают стекла автомобилей. Где-то неподалеку всегда стоит старая машина, в которой имеется все необходимое. Мыло, принадлежности для мытья, а иногда даже туалет, если поблизости нет доброжелательного хозяина бара, разрешающего пользоваться его туалетом.

Другие предлагают водителям зажигалки, освежители воздуха или бумажные носовые платки. Носовые платки идут нарасхват. Воздух в Риме плохой, в нос набивается пыль. Поэтому носовой платок нужен каждому.

В Риме имеется даже такой мост через Тибр, где туристы могут купить любую фальшивку. Начиная с часов фирмы «Ролекс» и кончая дамскими сумочками от «Гуччи» — тут есть абсолютно все. Как только туристы сходят с моста, служащие финансовой инспекции тут же хватают несведущих, и им приходится платить штраф. Продавцов фининспекторы не трогают, на мост они не заходят. Это традиция.

Я стою перед маленьким супермаркетом, разложив на подстилке CD и DVD. Люди в округе знают меня, и иногда кто-нибудь что-нибудь покупает. Хозяин супермаркета не возражает. За это я ему помогаю. Когда приходит новый товар, я распаковываю ящики на улице. Потом заношу коробки с товаром внутрь. Разрываю картон на кусочки и выкидываю их в контейнер для бумаги. Пластиковые упаковки попадают в контейнер рядом. Если срок годности продуктов истекает, я их забираю домой. И плюс к тому каждый день мне суют купюру.

Это семейное предприятие, и я считаюсь чуть ли не членом семьи. Все члены семьи работают здесь. Многие клиенты — старики. Они приходят закупаться, а донести сумки до дому не могут. Поэтому мы им помогаем и тащим сумки с продуктами до квартиры. Иногда покупок бывает так много, что при всем желании не дотащишь. Тогда мы везем сумки в старом «фиате-панда» до дверей дома и потом заносим их наверх. Время от времени мы делаем перерыв. Отправляемся в ближайший бар и выпиваем по чашечке эспрессо. Это хорошая жизнь.

Бывает, что весь наш квартал окутывается серой пеленой и пахнет горелым пластиком. Причина всегда одна. Люди из блочных домов в раздражении подожгли одну из мусорных свалок, заполняющих промежутки между домами. Тогда эта гора мусора тлеет часами. Потом появляются пожарники и тушат ее. Если ветер дует из Браветты в сторону Монтеверде, он гонит туда облака чада и в половине нашего квартала пахнет пожаром.

Со своей подругой я познакомился в таком блочном доме. Она приехала из Германии, где играла в театре. Но ее настоящей специальностью был уход за стариками. Проработав несколько лет по профессии, она открыла в себе артистический талант и поступила на актерские курсы. В Германии хороших ролей ей не предлагали. Ее мать была итальянкой, и она всегда мечтала жить в Риме. В итоге она переехала в Рим, чтобы там реализовать себя. Но в Риме ее никто не ждал. Ролей было очень мало, а если у нее и появлялась возможность играть, она, как правило, ничего за это не получала. У нее была маленькая квартирка в старой части Монтеверде, и, чтобы заработать на квартплату, приходилось браться за все. Три дня в неделю она работала в социальной службе по уходу за стариками. У нее был маленький мопед — служебное транспортное средство, — и она навещала одну пожилую итальянку, мою соседку по этажу. Эта женщина жила здесь еще в ту пору, когда наши блочные дома были совершенно нормальным кварталом с так называемыми социальными квартирами. Когда другие съехали, она осталась. Теперь она была старой и передвигалась с трудом. Она не выходила из дому, так как боялась, что, вернувшись, найдет свою квартиру взломанной и занятой черными.

Скорее всего, она была права. Если кто-то исчезал и не появлялся пару дней, бездомные вламывались в его квартиру и обустраивались. В блочных домах всегда не хватает места и всегда очень шумно. Некоторые люди просто уходили и оставляли двери открытыми. Тогда мы знали, что появилась новая жилая площадь. Иногда кто-

то умирал. Тогда приезжали городские и забирали труп. Все прочее они оставляли как есть, и никому не было до этого дела. С итальянцами, еще живущими в блочных домах, все понятно: у них нет семьи, которая бы о них заботилась.

Мою подругу зовут Соня. Мы с ней познакомились в подъезде. Она тогда очень боялась, что, пока будет обслуживать женщину, ее мопед на стоянке разберут по частям, но ее машину никто не тронул. Мы сразу понравились друг другу, и она пригласила меня на обед в свою маленькую квартирку. Потом мы прожили вместе почти два года.

В один прекрасный день она мне сказала, что собирается вернуться в Германию. Она спросила, не хочу ли я поехать с ней. Я спросил ее, хочет ли она за меня замуж. Она этого не хотела. Я не мог в Германию. Я, в общем-то, не имел права находиться и в Италии, но все же: к Риму я привык и неплохо там устроился. Она разобралась со своей квартирой и через пару недель уехала.

Иногда мы разговаривали по телефону. Недолго, ведь международные звонки дороги. Месяца через два я собрал свои вещи и поехал к ней. Я хотел сделать сюрприз.

Она не особенно мне обрадовалась. У нее появился новый друг, и она получила ангажемент в театре. Она знала пару полезных людей, а те знали еще пару полезных людей, и в конце концов меня устроили в общежитие. Мне здесь не нравится. Шестеро мужчин живут в одной комнате на десяти квадратных метрах. У нас три двухъярусные кровати, мы спим по двое, друг над другом. Это старые армейские койки, совершенно продавленные. Если я лежу наверху, то боюсь упасть. Сплю я плохо. В комнате слишком жарко, и теплый воздух скапливается под потолком. Если я сплю внизу, это еще хуже. Я боюсь, что верхняя койка обрушится и я буду погребен под ней. Если тип сверху отсутствует, я лежу на спине и смотрю наверх. Через стальные пружины я смотрю на старый матрас, и мой взгляд скользит по контурам пятен. Судя по тому, что на матрасе образовались корки, он уже насквозь пропитался изливающимися из мужиков жидкостями. Соседи мои без конца меняются. Я не хочу спать под ссыкуном. Многие мужчины перед сном дрочат. Делать это в сортире они не могут, так как там все время толпится народ. Никому не позволят занимать туалет так долго. У нас один туалет на восемь комнат. То есть на пятьдесят мужчин.

Квартплата маленькая, Соня уже все уплатила. Но я не могу выходить в город и не знаю, где мне работать. Здесь все по-другому, чем в Италии, люди не любят нас, черных. Я устроился уборщиком в своем же общежитии.

В Германии чище, чем на юге, но это чистота — холод. Воздух холодный, люди холодные, и улицы тоже холодные. Итальянцы не любят иностранцев, тем более — если ты черный и внедрился в их страну нелегально. А что дело обстоит именно так, они понимают с первого взгляда. Сразу. Но если они узнают тебя поближе и ты им понравишься, все это уже не имеет значения. Тогда ты становишься частью их семьи или, во всяком случае, — почти частью. Ты ешь то же самое, что едят они, пьешь то же, что и они, и работаешь наравне с ними. Пока — вечером — не отправляешься к себе домой.

Для Сони я не часть семьи. Я даже не имею статуса бывшего друга. Она платит за мое общежитие и иногда сует мне пару купюр, но лишь для того, чтобы я не действовал ей на нервы, чтобы держался от нее подальше. Она не хочет представлять друзьям негра как своего бывшего друга.

Я часть Рима, а для нее Рим отнюдь не стал моделью успеха. Всякая немецкая женщина, попадая в Рим, мечтает когда-нибудь познакомиться с богатым итальянцем — таким, который ей скажет, что работает в мире моды, таким, который будет многозначительно смотреть ей в глаза, как это показывают в старых фильмах.

В Риме прекрасно, в Риме тепло, солнечно, но если у тебя нет денег, это не модель успеха. Это тяжкая работа: ты должен постоянно бороться, чтобы наскрести на квартплату и иметь хоть чуточку личной жизни. Абсолютно не модель успеха. Если моя подруга вернулась домой, потому что ее большие мечты не осуществились, то Рим для нее это новый жизненный опыт, классно проведенное время, что-то наподобие отпуска — но с красивой жизнью в bella Italia[1] как раз получился облом.

Я — лишь часть этого ее опыта, отпускной приятель; но отпускному приятелю ничего не светит дома у немцев. Особенно — если он черный и у него нет требуемых документов.

---

[1] Прекрасная Италия (*итал.*).

Я не люблю эту страну. Тут дело не в личных отношениях, я не люблю и другие страны. Сначала я жил в Испании, но я не знаю испанского языка. Я говорю по-французски, итальянски, немного по-английски, немного по-немецки, а вот по-испански — нет. Из Испании я уехал и поселился во Франции.

Французы слишком много о себе мнят. Ладно, там я не бросался в глаза. Многие молодые французы выглядят так же, как я, но между ними и полицией идет непрерывная война. Постоянно нужно убегать, потому что кто-то что-то натворил, и тогда копы хватают кого попало, лишь бы он выглядел как я. Белые французы не отличают черных друг от друга. Поэтому они задерживают первого встречного негра. Темнокожим французам это по барабану: кто может выслать их из страны и куда? Они такие же французы, как и белые. Но я-то приехал в Европу не затем, чтобы поджигать автомобили. Я хочу работать, я хочу есть, я хочу наслаждаться жизнью.

В следующем месяце меня обещали захватить с собой люди, которые едут на машине в Турин. Они выбрали путь через Бреннер[1]. Чтобы избежать таможенного контроля на швейцарской границе. Для меня это оптимальный вариант. Они сделают небольшой крюк и высадят меня в Болонье. Оттуда я поездом доберусь до Рима. И снова буду дома.

Четыре

Это именно что постель и только. Зато мне свойственно нечто особенное. Не нужно показывать на постель и говорить мне: «Это только выглядит как деревянная кровать, застеленная свежим бельем, а на самом деле есть не что иное, как рабочее место». Такая женщина, как я, имеет свое мировоззрение: уж если я родилась на свет, то почему бы мне не быть разборчивой. Я всегда ношу приличный макияж, это удивляет мужчин из моего окружения. Что мешает им сделать мне комплимент? Я такая, какая есть, и такой женщине мужчины охотно рассказывают маленькие красивые истории, кончающиеся фразой: «Ты великолепно выглядишь, Нора». Такой псевдоним показывает, что я знаю себе цену, он как бы окрашивает меня в пастельные тона. Я оказываю особого рода услуги, за деньги. Я дружу с женщинами, которых можно назвать экспертами по мужчинам, иногда нахожу время посидеть с ними в каком-нибудь уютном уголке. Мы болтаем: о нашем «рабочем инвентаре». Каждая из нас, проявив усердие, может заработать себе на вполне приличную жизнь. И мы, девочки, охотно показываем друг другу свои вещи, свои новые дорогие вещи. Золотой браслет, например, или шелковые колготки. Одна девочка купила себе люстру с настоящими гранеными хрустальными каплями, хотя повесить эту люстру ей негде. Свет преломляется в хрустале, девочке это кажется трогательным. Я больше всего радуюсь тем подаркам, которые делаю себе сама. Я подолгу коплю деньги на дорогой подарок, а потом иду и покупаю его, не торгуясь. Тот, кто пытается сбить цену, показывает свою вульгарность. Я ведь тоже не говорю красивому сильному мужчине в моей постели: «Я получила удовольствие, и потому возьму только половину обычного гонорара». Я никогда не сбавляю наполовину секс — и, соответственно, не сбавляю цену. Мы не бессмертны, поэтому я просто возделываю свою ниву. Я болтаю почти с каждым мужчиной: в основном о его жене. Мужчины спрашивают: «Как уговорить жену, чтобы она позволяла делать с собой все то, что я только что проделал с тобой?» Я отвечаю: «Припугни ее немного. Но ни в коем случае не бей, не заламывай ей руки за спину, не причиняй боли и не кусай. Женщина поймет тебя, если ты будешь забираться на нее, улыбаясь».

Ведь достичь взаимопонимания нетрудно, я для того и существую, чтобы помогать мужчинам. Они меня слушаются. В следующий раз с гордостью объявляют, что уже приучили жену к использованию смазки. Видишь, говорю я, между делом я занимаюсь и устроением семейного счастья. Может, я прирожденный преподаватель, может, я могла бы отдаваться как женщина высшей ценовой категории. Но тогда, боюсь, поток клиентов сильно уменьшился бы. Я могу себе все это представить и по-другому. Совсем по-другому, гораздо колоритнее. Мой бизнес? Суперпостель. То есть плоскость. Я лежу на плоскости, я сама есть плоскость, и мужчина, который лежит на мне, — тоже плоскость. Это трехмерное пространство постепенно сводит меня с ума, и с другими девушками происходит то же. Но я нахожусь здесь по своей

[1] Пограничный перевал в Восточных Альпах, между Австрией и Италией.

воле. Меня никто не принуждает к работе, которой я занимаюсь. Мои наихудшие враги — женщины снаружи. Быть порядочной еще не значит быть честной. Никто не упрекнет меня в том, что я на стороне мужчин. Я их прекрасно знаю: знаю, как они потеют и пыхтят и как им хочется поцеловать меня в губы. Им говорили: ни одна проститутка не позволяет целовать себя в губы. Меня может целовать каждый мужчина. Но я сама решаю, приму ли его язык в свой рот, или нет. Щетина колется, но я нахожу это возбуждающим. Бывает, что я перехватываю инициативу. Вдруг начинаю целовать своего партнера. Один мужчина меня спросил: «За это придется доплачивать?»

Как-то я посмотрела из окна вверх и увидела чайку, перелетающую с одной крыши на другую; я хорошо видела ее брюхо и большой кусок размокшего хлеба в ее клюве. Ее преследовала другая чайка, но первой удалось оторваться от завистницы. Все только вопрос смекалки. Я — смекалистая во всех отношениях. Бордель сегодня это не бордель вчера. Заведений с субтильными девушками во фраках больше нет, теперь в моде темпераментные стервы в сапогах с отворотами. Они кричат хрипло, как чайки, если клиенты проходят мимо, — будто готовы раздолбить весь тротуар. Я не встаю в общий ряд и не позволяю оценщикам глазеть на меня. Когда сексуальная потребность становится непреодолимой, настроение у мужчин портится. Они уже не могут сделать самого простого движения рукой, хотят что-то взять и промахиваются, предметы падают на пол, или такие мужчины начинают натыкаться на углы мебели. Тогда они понимают, что должны найти подружку на время. Я — подружка на время. Меня не заманивали обманом в страну чудес Германию. Один мужчина тайно встретился со мной в моем городишке, и он мне сказал: «В нашей стране они все воняют из жопы!» Он носил сапоги с рисунком как шкура далматинцев. И пестрые шмотки. Он курил длинные сигареты, и он выжидающе смотрел на меня. Я сказала: «Оставим ненужные околичности. Каковы условия работы?» — «Хорошие», — сказал он. Не прошло и нескольких недель, как я была здесь; необходимые документы оформляли какие-то агенты в Германии, подробностей я не знаю, но я бы в любом случае никого не выдала. Когда девушку завербовывают, с ней заключают контракт на работу в каком-нибудь большом отеле, но показываться в этом отеле ей потом не придется. Знаешь, как мы сами себя называем? Мы называем себя «объединенные европудреницы». Для порядочных дам мы — угроза. У нас ноги длинней, чем у них, и их мужья раздевают нас глазами, а жены тащат своих благоверных прочь, пока им не взбрели на ум всякие глупости. Но мы крадем у этих мужчин покой. Рано или поздно они заявляются к нам или заказывают нас по телефону. Я работаю не только в этом городе, я могу выехать на пару недель и в Цюрих, Антверпен, Амстердам. А вот французов я ненавижу, они грязные между ногами. Они, не помывшись под душем, приходят сюда и хотят засунуть свой острый конец мне в рот. Сначала я соглашалась. Но потом пришла к своему патрону и заговорила с ним об этом. Он знал, что я не хочу доставлять ему неприятности. С того времени мне официально разрешено не вступать в деловые контакты с французами. Патроны очень веселились по этому поводу. Надо же, именно французы! Культура, свобода, Шанель... Один патрон рассказал, что французский король и придворные подхалимы отливали просто в темных закоулках дворца. Я ничего не имею против моих патронов, они знают, что я хорошо понимаю, во что я впуталась. Суперпостель. Плоскость. Иногда пудреницы впадают в тоску по родине, и тогда они могут согласиться на недостойное предложение со стороны государственных органов: дача показаний, право свидетелей на защиту, разрешение на проживание в стране. В таких случаях вряд ли можно говорить о всамделишной тоске по родине, так как девушка действует во вред своей оставшейся на родине семье — ведь патроны за ее семьей наблюдают. Если предательница там объявится, ее сразу же схватят. Она тут рассказывает детские сказки, она клевещет на постоянных клиентов. Они попадают в тюрьму, их репутация рушится, они считаются осквернителями женщин. Патроны — это табу для предательницы, они могут найти на родине ее семью и отомстить. Иногда я читаю газеты. Мы, старательные красивые девочки, иногда выныриваем в репортажах как бедные, бедные Лизы. Знаешь ты, чего не понимают респектабельные женщины? Я куртизанка высокого класса, я поднялась из низов наверх, но я остаюсь шлюхой. Я, одетая или голая, — шлюха. Я, бодрствующая или спящая, — шлюха. Я — мечтающая, или делающая покупки, или моющаяся под душем, или трахаемая клиентом, или простуженная... шлюха. При этом я остаюсь женщиной. Одной иллюзией меньше — одной купюрой больше. Рано или поздно, но все получится — это наш девиз, девиз проституток, которые знают, что делают. Легко заработанные деньги, тяжело заработанные деньги, приятные клиен-

ты, плохие люди... — милость будет дарована тем, кто лучше других ориентируется в грехе.

Сплетни — злые истории о нас, которые распространяют порядочные дамы или закабаленные ими мужья и друзья. Эти дамы воюют с нами. Мы, женщины, — против них, женщин. Мужчины же мечутся между нами. Почему я должна удивляться, что они сбиты с толку? На жердь забора была надета детская варежка, прошлой зимой я пошла гулять и увидела ее — и удивилась. Я удивляюсь облачным разводам в далеком небе. Я удивляюсь шуршанию моих шелковых колготок, и мой теперешний клиент тоже этому удивляется, от чего его сексуальная потребность становится непреодолимой. В Цюрихе я была представлена влиятельным богатым мужчинам. Увидев мою красоту, они чуть не слетели с катушек. По здешним законам я вне закона — но тем не менее вращаюсь в высших кругах. Представь! И я должна ненавидеть свою жизнь? Такого удовольствия порядочным дамам я не доставлю. Но один раз, один-единственный раз за все время, меня подставили — предложили одному подонку. Патрон потом заверял меня, что он ничего об этом не знал. Я ему не верю. Подонок повел меня на ужин, и я сразу обратила внимание, что он постоянно кусает нижнюю губу. Когда принесли счет, он вытащил свою ручку «Монблан» и долго проверял цифры, прямо-таки их изучал. При этом он изгрыз две зубочистки. Я сразу распознала в нем человека, который дорожит своими зубами. Позже в отеле он хотел извращений... ну ладно, я назову вещи своими именами: он чуть не откусил мне соски грудей, он в кровь искусал мне губы. Он хотел... хотел, чтобы я засунула в него свой указательный палец, очень глубоко. Я его предупредила, что длинный женский ноготь вызовет боль. Но он этого хотел. В итоге я вошла в него, и он плакал, он плакал от счастья и от боли.

Патрон заехал за мной и, увидев мое плохое настроение и кровоточащие губы, начал расспрашивать. Я сказала: «Я сделала свою работу, я ни на кого не сержусь, просто бывает иногда, что даже такой дорогой девочке, как я, попадется подонок». Он заставил меня коротко рассказать, что случилось, потом отправился разыскивать подонка, вернулся обратно и сунул мне в руку пару купюр. Он сказал: «Существует наценка, если моей девочке причиняют боль».

У нас с ним прекрасные отношения. Иногда я должна его обслуживать, у меня это не вызывает затруднений. Он любит, чтобы было немного жестче, чем в классической постельной истории, после секса с ним я чувствую себя усталой, но и освеженной — парадокс. Мои патроны любят меня, потому что — я люкс для других мужчин, но ничего из себя не строю. Одну пудреницу пришлось приводить в чувство, она вдруг начала вести себя как порядочная дама, случайно оказавшаяся в борделе. Так нельзя, иначе у тебя разобьется сердце, иначе ты заболеешь. Та девушка расцарапала себе вены на запястье, так как слишком часто стояла у окна и смотрела наружу. Тоска проникала ей в голову, и в тело, и во внутренние органы: она словно преобразилась, но это преображение не пошло ей на пользу. Она вдруг ни с того ни с сего захотела освободиться от зависимости. Главный патрон для начала привел ее к одному подонку. Вернувшись, она утверждала, будто была изнасилована, — а проститутку, мол, нельзя насиловать, и она не хочет больше всем этим заниматься. Я отвела ее в сторонку и сказала: «Что ты имеешь в виду под «всем этим»? Зачем ты сюда приехала? Для чего в тебя вкладывали деньги?» Она впала в безумие, которое влечет за собой беду. Внезапно... пудреница оказалась без защиты. Без защиты. Без документов. Вот что значит по-настоящему «нелегально»! Она пыталась протестовать, и патроны объявили ее вне закона. Неприятный сюрприз — причем касающийся всех нас! Патроны куда-то ее увезли и для острастки отрубили ей кончик мизинца. Это было первое взыскание. Такое происходит чаще, чем мы думаем. Происходит с женщинами, настаивающими на том, чтобы их желания исполнялись немедленно. Преобразившаяся девочка теперь часто пугалась и царапалась, отказывалась обслуживать клиентов. Она кричала, что ее порядочность ставят под сомнение, она орала, как посаженная на кол. Нужно было что-то предпринимать. Один из патронов сказал, что она подрывает корпоративный дух: так рассуждают наши хозяева, для которых бизнес есть своего рода война, а женщины в этой войне — лишь средство. Преображенная вынырнула снова, на сей раз после жесткой обработки, и выглядела так, будто упала с крутой горы. От нее избавились. Кто не хочет по-хорошему...

Я не привыкла экономить, я почти все трачу. Я не добрая девочка из сказки, которая все деньги посылает домой. Мой отец может жить со своих контрактов, моя мать собирает купюры и монеты в маленькие и большие банки. Иногда я посылаю им неожиданную посылку с не очень дорогими подарками. Они ведь не знают, что я работаю... проституткой. Моя красота — мое богатство. Когда-нибудь моя авантюр-

ная жизнь закончится, я превращусь в развалину, и к тому времени мне обязательно надо скопить какие-то сбережения. Иначе я закончу подзаборной шлюхой, игрушкой скверных мужчин. Пока есть такая возможность, нужно извлекать прибыль из своей превосходной физической формы. Время от времени вдруг приходит известие, что нашему заведению угрожает опасность, это значит: нужно мгновенно собрать самое необходимое, а «балласт» бросить на произвол судьбы. Длится такая акция не более получаса, после чего девушки и патроны смываются, а незваные гости, ворвавшись в дом, обнаружат лишь пустые апартаменты «модели». Редко такими гостями бывают полицейские чиновники, почти всегда оказывается, что нас спугнули конкуренты из другой фирмы, тоже занимающейся торговлей женщинами, — из зависти к нашим стабильным доходам. Наши патроны прошли огонь и воду, их на мякине не проведешь. Есть только один пирог, и патроны сражаются, чтобы отхватить себе кусок побольше.

Только профаны выставляют своих женщин на улицу. Один или два дня все идет нормально, но потом копы загребают всех девочек — «ласточек асфальта». Старомодное выражение, но оно в точности соответствует положению этих легко одетых дурочек. Они попали к сутенеру, который на длинных дистанциях неизбежно проигрывает. В один прекрасный день какому-нибудь громиле с тюремной татуировкой приходит в голову идея продавать проституток. У него нет никаких полезных связей, он просто цепляется за навязчивую идею, которая обещает ему легкую наживу. На улицах стоят героиновые девочки, они готовы на все, лишь бы поддерживать пожар в своей крови, — готовы обслуживать любых подонков. Они не чистые и не ухоженные, у них красные пятна и прыщи на видимых частях тела. С ними и обращаются, как с дешевым товаром. Они беззащитны перед вымогательствами и проверками. Я — профессионалка; мой главный патрон и другие, подчиненные ему патроны тоже работают высокопрофессионально. Они впадают в гнев и прибегают к ножу, только если у них нет другого выхода, то есть в экстремальных ситуациях. Как правило же, предпочитают держаться в тени. «Модели» и постоянные клиенты. Контакты только по мобильному, никогда — по городскому телефону. Никаких постоянных адресов. И никаких налогов. Это профессионально. Я — Pretty Woman[1]. Само собой, я смотрела этот фильм, и, само собой, никакой богатый красивый мужчина не возьмет в жены проститутку. Но достаточно одной мечты. Если хочешь знать, мы, девочки, все охочи до той материи, из которой созданы наши грезы, а грезим мы в те мгновения, когда нас трахают. У меня три дыры, на которые падки мужчины, и если это не подонки, они могут использовать меня как хотят. Есть прейскурант, есть неписаный закон, согласно которому клиент не имеет права затрахать девочку до смерти. Клиенты, как правило, бывают вежливыми. Я раздеваюсь почти догола, сижу с мужчиной за столом в номере отеля, и он свободно и безнаказанно смотрит мне между ног. На то место, которое, как он полагает, всегда чешется. Этот клиент заплатил много денег, чтобы пялиться на меня, и я несу ответственность за ублажение его пениса. Вежливому мужчине я редко отказываю в его не очень извращенной просьбе — ведь, в конце концов, я хочу произвести на него впечатление. Да, правильно. Это похоже на собеседование с работодателем, и я каждый раз волнуюсь, независимо от того, знаю ли уже пенис данного клиента: я чувствую себя актрисой, которая представляется режиссеру, чтобы получить новую роль. В душе я осталась девочкой, и у меня девчачьи мечты. Один мужчина уходит, другой приходит, и я ничем не связана. Понимает ли это порядочная женщина? Я думаю, нет. Точнее, она понимает, но это внушает ей отвращение. А вот мужчины такого отвращения не испытывают. Один клиент сказал мне: «Я не верю своему счастью — что вижу тебя голой». Мне, чтобы быть счастливой, друг вообще не нужен. Почему? Трахать меня и так трахают, подарки и деньги я тоже получаю. Я не профанка — сейчас это называют «любительница»? Любительницы накручивают на палец волосы и предаются мечтам. Мечты опустошают их — опустошают вплоть до вагины, функционирующей даже тогда, когда мысли женщины далеко. Но ведь мужчина платит тебе, чтобы ты сосредоточила все внимание на нем, и он сразу замечает, если женщина только играет проститутку, а на самом деле таковой не является. Дело доходит до жалоб, но, собственно, уже после второй жалобы ты можешь считать, что пропала, ибо с каждой ситуацией, вызвавшей недовольство клиента, патрон разбирается самолично. Я борюсь, чтобы выстоять.

Я все думаю о комплименте того мужчины: «Я не верю своему счастью, что вижу тебя голой». Он сказал эти слова, как будто хотел произнести тост. Это мне польсти-

[1] «Красотка» — американский фильм 1990 г., режиссер Гарри Маршалл.

ло. Так сильно, что я теперь иногда становлюсь перед зеркалом и смотрю на свое отражение. Этим телом я делаю карьеру, от этого тела мужчины дуреют. Они заказывают меня, они наслаждаются мною час или несколько часов. Могут ли порядочные, легально живущие женщины понять такое? Я думаю, нет. Они слишком заняты тем, что рожают детей и меряются с мужьями силами. Как они меня ненавидят, так же и я ненавижу их. Я люблю трахаться. Теперь это сказано. Да, я это люблю. Я трахаюсь за деньги. Я трахаюсь с каждым мужчиной, который умеет себя вести и не причиняет мне боли. Я трахаюсь, потому что люблю разнообразие. Я люблю любовь к траханью. Это неприлично? Я думаю, да. Во всяком случае, то, что я люблю любовь к траханью — куда чудовищнее, чем мой сомнительный общественный статус. Ведь, как бы то ни было, я существую здесь, не важно, с документами или без. Я нелегалка скорее из-за своей морали, которая никакая не мораль, и из-за своего сладострастия, которое откровенно является таковым. Я боюсь темноты. Ну и что? Я оставляю на ночь включенную лампу. Я боюсь подонков. Ну и что? Я поговорила об этом с торговцем девочками, который никогда не признается, что понимает женщин, — и тем не менее он меня понял, так как мы с ним говорим на одном языке. Вообще-то я хотела бы сниматься в порнофильмах, но это я себе запретила. Фильм нарушает все границы, он переходит из рук в руки, и когда-нибудь мои родители удивятся, что мужчины на них косо смотрят. Тайну нужно оберегать, пока это возможно, а моего настоящего лица не знаю даже я сама.

Главное, что у меня есть работа.

Пять

6 февраля 1996 года я приехала во Франкфурт-на-Майне. Мужчина лет сорока встретил меня в аэропорту и привез в маленькое местечко под Висбаденом. Я заключила с его семьей договор на полгода, нанявшись к ним на работу в качестве Au-pair[1].

Оказалось, что у мужчины есть молодая жена и две дочери. Старшей — десять, младшей — три года. Они жили в большом доме, стоящем на склоне одной из гор Таунуса, с прекрасным видом на долину. Гараж был рассчитан на две машины. Каждое утро мужчина на своем БМВ отправлялся на работу во Франкфурт, а жена на внедорожнике отвозила старшую дочь в школу в Висбаден. В доме было много комнат, каждая из девочек имела собственную, но еще оставалось достаточно места. Мне выделили комнату в подвале, рядом с мастерской и прачечной. У меня было окно, но если я выглядывала из него, то видела только кусочек газона во впадине перед окном. Я сразу спросила, не могла бы я переехать повыше, но хозяева ответили, что комнаты им нужны для приема гостей и они не видят смысла в том, чтобы каждый раз, когда приезжают их друзья, я меняла бы комнату. Так что моя часть красивой панорамы ограничилась куском дерна перед подвальным окном. Мы договорились, что я буду получать деньги на карманные расходы — 90 марок — раз в две недели, задним числом. Я истратила все деньги на дорогу, и хозяева дали мне аванс 50 марок, но собирались потом вычитать эти деньги из первых выплат, по 10 марок. Они еще пообещали показать мне в ближайшие дни окрестности. После чего я пошла в мою подвальную комнату и стала разбирать вещи. Перед сном я открыла окно, высунулась из него, насколько это было возможно, и закурила сигарету, так как в доме царил строжайший запрет на курение, а ключ от входной двери я еще не получила. И вот я висела так, посматривала на доступный для меня кусочек звездного неба, выдувала облачка табачного дыма в холодный ночной воздух и думала о том, не зря ли вообще я сюда приехала. Хоть я радовалась, что наконец вырвалась из дому, но в этом месте чувствовала себя невыразимо чужой и сейчас с удовольствием вернулась бы в киевскую квартиру моей матери. К тому времени, как я закончила курить и думать, комната совершенно выхолодилась. Я не поняла, как включается отопление, а поскольку в доме уже все спали, я просто поплотнее закуталась в одеяло. Проснулась я с ужасной простудой. Я была так простужена, что целую неделю провалялась в постели и все это время ничего делать не могла. Женщина приносила мне горячий чай и таблетки. Кушать я поднималась наверх и ела вместе со всеми, а так лежала в постели, только по ночам высовывалась из открытого окна и искуривала свой запас сигарет. Один блок я захватила с собой из дома, зная, что в Германии сигареты очень дорогие. Каждую ночь я выкуривала пачку и думала о доме. Я помнила, что обычно

[1] Помощница по хозяйству (*франц.*).

делают по вечерам мои друзья, и представляла себе, что я сейчас тоже с ними. Соскучились ли они уже по мне? Я думала о Петре и Олеге, и стоило мне подумать о них обоих, как я опять понимала: хорошо, что я тут, а не дома.

Через неделю худшее осталось позади. Температуры у меня больше не было, чувствовала я себя значительно лучше. Я теперь помогала женщине готовить и мыть посуду, утром играла с ее младшей дочерью в саду, и после обеда — тоже. Женщина чуть ли не каждый день возила старшую дочь на какие-то курсы или спортивные соревнования, мы с ней почти не виделись. Через сколько-то дней мои сигареты закончились, и мы с младшей девочкой пошли в деревню, чтобы купить новые. Я нашла небольшую лавочку, но она уже была закрыта, так как работала только до полудня. Я нашла деревенский ресторан, но и он был закрыт, потому что еще не наступил вечер. На наружной его стене висел сигаретный автомат, но толку-то что — в кармане у меня была только купюра, полученная в качестве аванса, и ни одной монеты. Я хотела найти кого-то, кто разменял бы мне деньги, но тут девочка начала хныкать, она хотела домой. Пришлось возвращаться — и большую часть пути тащить ее на руках. Когда мы уже почти дошли, нас догнала мать на своем внедорожнике. Она остановилась и спросила, почему мы не в саду возле дома. Я объяснила, в чем дело, а она сказала, что ей не нравится, когда ее дочь слоняется по окрестностям только для того, чтобы купить мне сигареты. Мы, значит, вернулись в сад, и я стала, как всегда, играть с младшей девочкой. Но все время думала о сигаретном автомате и планировала вечернюю вылазку в деревенский ресторан. Я хотела чего-нибудь выпить, разменять деньги и, может быть, с кем-нибудь познакомиться. Но я все еще не получила собственный ключ от дома. Я заговорила об этом с женщиной. Она сказала, что пока не успела заказать для меня новый ключ, но займется этим в ближайшие дни. Она определенно еще сердилась, что я ходила с ее дочерью в деревню за сигаретами. Поэтому я воздержалась от вопроса, не могу ли я воспользоваться одним из их ключей, чтобы вечером сходить в кабак. Я подумала, что ей такое вряд ли понравится.

Вместо этого вечером состоялся серьезный разговор: хозяева сообщили мне, какую работу я должна выполнять в доме. Они, мол, пригласили и приютили меня не для того, чтобы я играла с ребенком в саду и больше ничего не делала. У них уже есть двое детей и они нуждаются в помощнице, а не в третьей дочери, за которой тоже нужно ухаживать. По-ихнему выходило, что я должна целый день убирать, стирать, готовить и присматривать за детьми. Жена хотела снова выйти на работу, она раньше занимала хорошее место в бутике, принадлежащем одной крупной фирме, и это место для нее сохранили. Я, дескать, должна взять на себя все ее домашние обязанности, чтобы у нее снова появилось время для работы.

Я была в шоке. Я совсем не так представляла себе свою жизнь в качестве Au-pair. Вернее, я вообще не задумывалась, как все это будет выглядеть, но уж точно я мечтала не о том, чтобы попасть в богом проклятую провинциальную дыру и проводить свои дни так: стирать грязное белье, развешивать его на веревках, позже снимать, складывать и убирать в шкаф, перестилать постели, заполнять и разгружать посудомоечную машину, накрывать на стол и убирать со стола, раз в день пылесосить все комнаты и чистить ванную.

Когда я заключала контракт, я думала: о'кей, я буду жить в пригороде Франкфурта, интересного города, с которым смогу познакомиться поближе; и мне действительно этого хотелось. А получилось, что я до сих пор не выбралась даже в сраную деревенскую пивную, чтобы купить сигарет. Я злилась, но я сказала себе: «Постарайся как-нибудь все наладить». Несколько дней я работала очень старательно. Казалось, женщина мною довольна, и я попросила ее одолжить мне на пару часов машину, чтобы я могла осмотреть окрестности. Я получила отказ.

Она не поверила, что у меня есть водительские права. Прочитать документ она не могла, но сказала, что даже если это в самом деле права, то вряд ли их признают действительными в Германии. Дерьмо! За кого она меня принимает, эта женщина? Мне двадцать четыре года, у меня есть не только права, но и аттестат зрелости, а кроме того, я закончила техникум по специальности, которая здесь называется «наука о питании». Я маленького роста и в то время, о котором рассказываю, была очень худой. Поэтому выглядела моложе своих лет. Но ведь это еще не повод, чтобы обращаться со мной как с маленькой девочкой. В общем, со мной случилась истерика.

Большей части того, что я тогда кричала, женщина не поняла. Когда я в ярости, я пользуюсь только родным языком. Потом я отправилась в деревенскую лавку и наконец купила себе сигарет. Выкурила несколько штук, поостыла и вернулась. Хозяин тоже приехал раньше обычного — жена конечно же ему позвонила, и они

вместе приняли решение. Я, дескать, должна покинуть их дом. Они во мне как в помощнице больше не нуждаются.

Я собрала свои вещи, мужчина спросил, должен ли он заказать для меня билет на самолет. Я сказала, что хочу попасть на главный вокзал Франкфурта. Оттуда отходят автобусы за границу. Я хотела наконец оказаться во Франкфурте. Я хотела увидеть большой город. Я хотела всего, чего мне так не хватало в деревне.

Хозяин довез меня на машине до вокзала, сунул мне 150 марок и пожелал удачи. Это было мило с его стороны. Может, он и хотел со мной переспать, но я не спрашивала, а сам он ничего не сказал. Не прошло и часа, как у меня появилась куча новых знакомых. Пару недель я кантовалась на вокзале, пока моя ярость не улеглась. Потом встретила одного мужчину. Он приехал из Берлина во Франкфурт на одну выставку. По вечерам он брал меня на выставочные вечеринки, а когда все закончилось, спросил, не хочу ли я поехать с ним в Берлин. У него была там квартира, он обещал выделить мне комнату — и так я оказалась в Берлине. Я его не любила, но он был нормальный мужик и все у нас шло хорошо, пока через пару месяцев он не предложил мне выйти за него замуж. Тут, конечно, у него получился облом. Я ведь ехала в Германию не затем, чтобы выйти замуж за немца, а наоборот — потому что не захотела выходить замуж дома.

Дома у меня был друг, и мы собирались пожениться.

Мы ходили в одну школу и все последние годы были вместе. После школы я пошла учиться на диетолога, а мой друг учился на пианиста. Он был очень талантлив. Он мне нравился, но чего-то в нем, на мой вкус, не хватало. Я знала, что мы поженимся, когда он закончит консерваторию, но в последние два года он часто отсутствовал, а я шаталась по ночному городу и выискивала злачные места, которые меня всегда привлекали. В то время у нас вошли в моду наркотики. Я знала, что они собой представляют с точки зрения химии, мы это проходили в техникуме, но когда я сама попробовала наркотики, доступные у нас, их воздействие меня восхитило. Настоящей наркоманкой я так и не стала, но пробовать каждый раз что-то новое люблю до сих пор. В этой среде я познакомилась с одним мужчиной, который сразу же захотел со мной переспать. Он был полной противоположностью моего друга — какой-то блатной с татуировкой по всему телу. Мне, собственно, ничего в нем не нравилось, но животная сила его сексуального желания меня подкупала. Он любил меня, называл своей принцессой, он делал для меня все, но меня пугала уже одна мысль о том, что он сделает, если узнает, что я фактически уже замужем. Отвязаться от него я не могла, а срок, когда мой друг собирался жениться на мне, подступал все ближе. Мне пришел в голову только один способ выпутаться из патовой ситуации: я должна уехать, причем поскорее и как можно дальше. Я не знала, что меня ожидает, если я соглашусь работать как Au-pair. Для меня это был просто способ бегства. В школе я учила немецкий, поэтому и поехала в Германию. Кроме приемной матери, у которой я жила до самого отъезда, я ни с кем своими планами не делилась. В один прекрасный день я просто села в самолет — и до свидания.

Ни одного из этих двух мужчин я больше не видела, но всегда обходными путями старалась узнать, как у них дела, — хотела увериться в том, что они не будут меня преследовать. Пианист в конце концов женился на музыкантше, а второй своими темными сделками, видимо, навлек на себя крупные неприятности. Уже много лет о нем никто не слыхал.

Я осталась в Берлине. Одно время хотела учиться на фармацевта, но немцы не признали ни моего аттестата зрелости, ни свидетельства об окончании киевского техникума — и не допустили меня в университет. Вдвойне жаль, потому что как студентка я получила бы разрешение на долгосрочное пребывание в стране и имела бы право на дешевые проездные билеты. Но хорошо уже то, что я не привлекаю к себе внимания. Я очень хорошо говорю по-немецки, только с легким французским акцентом, потому что в школе французский был у меня основным языком, и немецкий я воспринимала как бы через фильтр французского. Большинство людей, знакомясь со мной, принимают меня за француженку. Я не спешу их разубеждать.

Я часто бывала в университете. Я познакомилась там с несколькими студентками с моей родины, и вскоре мы организовали своего рода землячество. Одна девушка одолжила мне на время свои документы и помогла получить доступ к студенческой бирже труда.

Студенческая биржа оказалась странным заведением: человек рано утром приходит в приемную, где стоит кофейный автомат, и вместе с тридцатью или пятьюдесятью такими же, как он, неприкаянными тусуется там, ожидая, что ему предложат

работу. Половину таких тусовщиков составляют иностранцы, другую половину — немцы, которым студенческий билет нужен лишь для того, чтобы найти какую-нибудь случайную работу и сэкономить на социальных взносах.

Некоторые из этих «вечных студентов» явно слишком долго курили травку. Они довели себя до такого состояния, что для большинства работ не годились. Другие были настоящими психами. Они разговаривали сами с собой, от них неприятно пахло, и время от времени кто-то из них произносил пламенную тираду о чем-то, понятном только ему одному. Мне казалось, что нормальный человек просто получит шок, если заглянет сюда, ожидая увидеть обычных студентов, и наткнется на таких образин. Как бы то ни было, работу предлагали редко, часто мы целыми днями торчали в кафетерии неподалеку и ждали, не подвернется ли хоть что-нибудь. Там я и познакомилась со своим теперешним другом.

Он тоже родом из Киева, а учился на физическом факультете. Сейчас он пишет докторскую. В следующем году, когда защитится, он вернется домой, и я, наверное, тоже поеду с ним. Мы вместе уже три года, все это время я живу у него, и у нас все в порядке. Я бы не назвала наши отношения великой любовью, но у меня больше нет желания менять мужчин. Кроме того, здешняя жизнь уже не доставляет мне такого удовольствия, как прежде.

Ни о какой солидарности между восточными европейцами теперь и речи нет. Раньше мы все сидели в одной лодке, у нас были одни и те же проблемы, и мы помогали друг другу. Поляки, болгары, чехи, словаки, литовцы... Сейчас они вступили в ЕС и пользуются соответствующими правами. Мы же, так сказать, остались за бортом. Раньше я здесь почти не встречала легальных поляков, а сейчас все они имеют легальную работу и нормальные жилищные условия. Может, это связано с тем, что прежние мои друзья вышли из студенческого возраста, но с большинством из них все связи у меня прервались.

Иногда я думаю, что со времени своего приезда в Германию я ничего не делала, кроме как убивала время. Это похоже на долгую вечеринку, но рано или поздно наступает момент, когда тебе уже не хочется веселиться. Тогда ты радуешься, если не ты приглашал гостей и, значит, ничто не мешает тебе уйти... Я хочу наконец снова заняться чем-то полезным. Я хочу работать по специальности и одновременно учиться на фармацевта. Я знаю, что я это потяну. Здесь я скучаю и чувствую, что не имею шанса себя проявить. Пришло время попробовать что-то новое. Я с надеждой жду будущего года, когда вместе со своим другом вернусь домой и смогу наконец пользоваться всеми легальными возможностями.

Шесть

Мой муж мог починить все. Особенно старые вещи. С новыми техническими аппаратами у него порой возникали проблемы, пока он не находил причину, почему что-то не функционирует, но со старыми — никогда. Он любил механику: внутреннюю жизнь часов и пылесосов, электродрелей и автомобилей. Мы, русские, ни от чего не отказываемся. Ни от шариковой ручки, ни от пришедшего в упадок старого дома. Если что-то сломается, будет починено.

В основном муж мой работал в садах. В этом городке у каждого есть собственный дом. Участки приобретались еще в то время, когда немцы не строили дома так тесно один к другому, как это происходит сегодня — из-за того, что цены на недвижимость возросли. Сады большие, люди могут вложить немного денег в уход за ними, и у моего мужа всегда было полно дел. Он подстригал живые изгороди и кусты, следил за фруктовыми деревьями, разбивал цветочные клумбы и выкапывал однолетние растения, когда они отцветали. Садовые пруды периодически нуждаются в чистке, садовые беседки — в новой покраске, да и в самом доме тоже постоянно надо что-то чинить. Кровельный лоток забился, и вода попадает на пандус, чего не должно быть, или одна черепичная чешуйка отвалилась и должна быть водворена на место... Краска на фасадах многих здешних домов тоже уже очень стара. Маленькие облупившиеся места мой муж обычно заделывал сам, чтобы хозяину не пришлось обращаться в дорогую малярную фирму. Люди, для которых он работал, любили его. Он не мог пройти мимо хороших кусков дерева, оставшихся после весенней обрезки деревьев. Отпиленные березовые ветки и прочее в таком роде он уносил к себе и после мастерил из этого декоративные ящики для цветов. В каждом саду, за которым ухаживал, он поставил как минимум один такой ящик. Цветы для ящика он подбирал по своему усмотрению. Мой муж всегда точно исполнял пожелания хозяина дома, но что каса-

ется этих цветов, тут он никому не позволял вмешиваться. Цветочные ящики были его подарками, а подарки не делаются под заказ. Ни один ящик не походил на другой, и цветы в них тоже выглядели по-разному. Сейчас, когда муж мой больше не работает, люди сами сажают цветы в ящики. Бывает, что ящики остаются пустыми, однако никто до сих пор свой ящик не выбросил.

Сестра моего мужа вышла замуж за человека из нашей деревни, который переселился в Германию лет двадцать назад, и, поскольку его предки были немцами, никаких проблем с гражданством у него не возникло. Вскоре после его переезда сестра мужа приехала к нему, а через несколько лет после свадьбы тоже стала немецкой гражданкой. У них трое детей, старший уже не живет с родителями. Он служит в армии и, по его словам, ему там нравится. Мы с мужем приехали сюда восемь лет назад и поселились в доме моей золовки. Тут хватает места для всех. Мы тоже хотели стать гражданами Германии, но жизнь здесь тем временем сделалась более трудной, и немцы теперь не хотят принимать русских эмигрантов. Нам посоветовали вообще не подавать заявления на получение гражданства, чтобы не пускать в ход громоздкую бюрократическую машину. Мол, пока мы не проявим себя с негативной стороны, никто нами интересоваться не будет. Немецкий мы выучили еще дома... — в общем, мы остались здесь.

Но мы снова и снова задумывались, не вернуться ли нам назад. Нам хотелось еще успеть завести детей, неплохо бы троих, но то, что годилось для нас, для детей бы не подошло. Как бы все это происходило в Германии — школа, прививки детям? Что будет, если дети начнут болеть, а у нас нет ни больничной страховки, ни свидетельства о рождении — вообще ничего? Сейчас, конечно, думать о таких вещах слишком поздно, но я очень жалею, что у меня нет детей. Я не хочу другого мужа, а если б даже нашла его, в моем возрасте женщине уже не стоит рожать.

Каждый год летом мы ездили домой и два месяца проводили с родными. Адский номер — с нашим старым «комби», до крыши забитым подарками и всякой полезной всячиной для родственников. Такая поездка длилось несколько дней и ночей, остановки на отдых не предусматривались. Однажды муж от усталости съехал с дороги, машина перевернулась и осталась лежать на пашне. Он умер раньше, чем подоспела помощь. Мы похоронили его на родине, потом я вернулась в Германию, одна.

Тут я могу заниматься полезными делами; тут место, к которому мы с мужем уже давно привыкли. Работа помогает забыть боль. Я делаю то же, что делала до того, как умер мой муж. Я помогаю некоторым пожилым дамам по хозяйству. Работа всегда одинаковая: убирать, пылесосить, стирать, развешивать белье и снова снимать его, когда оно высохнет, перестилать кровати и все в таком роде. На родине я выучилась парикмахерскому делу, поэтому многим женщинам, которых обслуживаю, я еще и стригу волосы. Старые дамы по-своему тщеславны, но мне это приятно. Они радуются, когда волосы у них красиво подстрижены. Они смотрят на себя в зеркало, на их лицах светится блеск молодости, и я вижу, что они счастливы.

Мои клиентки — в основном пожилые женщины, сейчас одиноко живущие в доме, который раньше был очагом для всей семьи. Дети разъехались: они работают и поселились со своими семьями там, где могут заработать деньги. Если они и приезжают, то только на Рождество, на Пасху или ко дню рождения — и вовсе не для того, чтобы помочь по хозяйству. В Германии молодые не особо заботятся о своих пожилых родственниках. В городах стариков отправляют в дома престарелых, где они ведут растительное существование и в жизни практически не участвуют.

Здесь, в этом маленьком городке, до такого еще не дошло. Не все традиции разрушены, и молодые люди, живущие тут, обычно держат старых родственников в своем доме. Но и они не особенно стремятся взваливать на себя связанные с этим обязанности. Если у них есть возможность за деньги перепоручить кому-нибудь неприятную часть работы по уходу за стариками, они этим пользуются. К одной семье я прихожу каждые два дня на несколько часов и ухаживаю за старой дамой, которая очень слаба и еле может передвигаться. Я убираю комнату, навожу порядок, и, если женщине этого хочется, везу ее — в инвалидном кресле — на прогулку. Через несколько минут мы оказываемся на дороге, ведущей к лесу.

Женщина родом не отсюда. Она выросла в деревне, которая сейчас находится на территории Польши, вышла там замуж и родила двух дочерей. Ее муж ушел на войну и не вернулся. Возможно, он погиб на русском фронте. В последние месяцы войны она бежала вместе с детьми и оказалась в этой общине. Одна дочь не пережила бегства, с другой она поселилась здесь. Ее дочь потом вышла замуж за местного. Старая дама не любит рассказывать о том времени: все, что я знаю, я слышала от членов ее семьи. Когда мы в лесу, она рассказывает о собственном детстве. Кажет-

ся, что все воспоминания старых людей ограничиваются временем их детства, будто ничто другое, что у них еще было в жизни, в этом возрасте значения не имеет. Старая дама рассказывает о голубике, которую она с сестрой и подружками когда-то собирала в лесу, чтобы потом продать на рынке. Она рассказывает об озере, в котором купалась летом, и в ее рассказах столько подробностей, что мне порой кажется, будто я сама вижу те места, о которых она говорит. Озеро Вобланзер — я даже не знаю, где в современной Польше такое искать, но если закрою глаза, то иногда вижу его: окаймленное с одной стороны лесом, с другой — полями, и с песчаным пляжем вдоль берега.

Нагулявшись в лесу, мы делаем небольшой крюк и оказываемся на центральной площади общины. Там есть итальянское кафе-мороженное, и старая дама приглашает меня на чашечку капучино. С первыми лучами весеннего солнца итальянцы возвращаются из Италии, и мы сидим у них на террасе. Старая дама откровенно наслаждается, и когда я привожу ее обратно домой, я знаю, что она заранее радуется нашей следующей прогулке.

Местечко, где мы живем, имеет налаженную инфраструктуру. Доходы почти всех жителей так или иначе связаны с расположенным неподалеку военным аэропортом, пока что не пострадавшим от программы экономии. Многие находятся на военной службе, другие работают на базе как гражданские. Тут есть четыре супермаркета, один винный магазин и десятка два частных лавочек. Еще имеются ратуша, и общинный центр, и туристическое бюро, которое организует автобусные экскурсии в близлежащие города. Когда здесь проводятся учения, самолеты постоянно кружат над головой, и иногда бывает очень шумно, так шумно, что приходится зажимать уши. Но никто не жалуется всерьез на этот шум, каждый понимает: гул моторов — условие благосостояния здешней общины. Если военную базу закроют, всем, кто живет благодаря ей, придется уехать куда-нибудь еще, и тогда местечко просто вымрет. Всякий раз перед очередным правительственным обсуждением мер по сокращению военного бюджета здешние жители очень нервничают, но до сих пор, слава богу, нас эти меры не затронули.

Еще одна пожилая дама, которую я обслуживаю, живет в доме на другом конце нашего местечка. Я езжу туда на велосипеде, когда хочу ее навестить. Две маленькие улочки через тот квартал, где живу я, потом — мимо супермаркета, вокруг церкви и еще немного, по Деревенской улице наверх. В конце Деревенской улицы я сворачиваю, снова проезжаю две маленькие улочки. Дом стоит в конце тупикового переулка, на развороте.

Я занимаюсь обычными делами: стираю, убираю, меняю постельное белье. Здесь я работаю два раза в неделю по три часа. Из гостиной, через ведущую на террасу дверь, я вижу сад. Там стоит цветочный ящик, сделанный моим мужем еще в то время, когда он ухаживал за садом этой дамы. Ящик пуст. Новый садовник цветов не сажает. Когда мой муж умер, муж его сестры иногда наведывался сюда, чтобы косить газон, пока хозяйка не нашла себе нового помощника, но новый помощник не может заниматься садом регулярно, так как он работает в местной мастерской по ремонту сельскохозяйственных машин. Там у него большая нагрузка, и взвалить себе на шею еще больше работы он не в силах. Кроме того, у него есть семья, о которой нужно заботиться.

Старая женщина переехала сюда лет пятнадцать назад. Раньше она жила в городке неподалеку от Гамбурга. Ее муж там работал, но окрестности им не нравились. Как только муж вышел на пенсию, они начали подыскивать себе красивое место, где хотели бы вместе встретить старость, — и купили дом в нашей общине. Муж разбил красивый сад с прудом, цветами, кустарником и фруктовыми деревьями. Восемь лет назад он умер, после чего за их садом некоторое время ухаживал мой муж.

В доме мало что изменилось. Почти все вещи умершего остались здесь. Иногда женщина что-то отдает, пальто или куртку, если видит, что кто-нибудь сможет этим пользоваться, но она не старается избавиться от вещей. Она часто путешествует, принимает участие в культурной жизни общины, однако нового спутника жизни не ищет. Я ее понимаю. Я думаю, если женщина действительно решила прожить всю жизнь с одним человеком, после его смерти она не будет искать себе нового мужа. Это не значит, что моя подопечная превратила свой дом в мавзолей: она живет и радуется жизни, но в гараже на садовом стуле висит шерстяная куртка ее мужа, как будто он ненадолго ее снял, потому что ему стало жарко от работы, как будто он может в любой момент вернуться и снова надеть куртку.

Трудно сказать, что меня ждет в будущем. Сейчас мне тридцать девять, и я живу в местечке, которое мне нравится. Я знаю здесь многих людей, и многие знают меня.

Люди, для которых я работаю, любят меня и нуждаются в моей работе. По правде говоря, у меня нет необходимых документов, чтобы находится и работать здесь. Мой муж умер, но я живу в семье его сестры, и у меня здесь два племянника и племянница. Я, с точки зрения закона, — нелегальная эмигрантка, и, если задумываюсь об этом, мне иногда кажется, что я сплю; но, к счастью, все это не имеет ничего общего с моей повседневной жизнью, и я даже сомневаюсь, в самом ли деле это так важно.

Семь

Курд

Обо мне никто не должен беспокоиться, моя история — это моя история, она никого не касается. Я ушел в подполье из-за убийства во имя чести. Это значит, что я застрелил на рыночной площади мужчину, который плохо говорил о моей младшей сестре. Он относился к клану, который требует кровь за кровь. И око за око. Убийство во имя чести влечет за собой кровную месть. Это моя история. А история колумбийца такова:

Колумбиец

Ты когда-нибудь задумывался, почему бананы в супермаркете всегда выглядят такими свежими, желто-зелеными? Если бананы пролежат долго, их кожура становится коричневой. Поэтому все бананы, сгружаемые с корабля, уже должны были бы быть темно-коричневыми. Но это не так. На время плавания содержание кислорода в трюме намеренно понижают, бананы транспортируются в азотной атмосфере. Кислород делает кожуру коричневой. Не хватает кислорода, бананы остаются внешне абсолютно свежими, хотя они пролежали столько же, что и те, которые полностью побурели.

Это мне объяснил колумбиец.

Дома у него были долги, ну и кто-то предложил ему работу. Он должен был сопровождать до Антверпена контейнер с бананами, в котором спрятали пару килограммов кокса, и там проследить, чтобы кокс этот благополучно забрали. Тогда, дескать, долги его будут прощены, а сверх того ему обещали, что, когда дело будет сделано, он получит обратный билет на самолет и деньги на карманные расходы. В общем, он берет еду на дорогу, незаметно проскальзывает на пароход, находит маркированный контейнер, который взялся охранять, и устраивается поудобнее. Но едва судно покинуло порт, как его обнаруживает один из матросов и говорит: «Можешь считать, что ты уже мертвец». Дескать, из-за нехватки кислорода он бы не добрался живым до пункта назначения, какой-нибудь портовый рабочий нашел бы при разгрузке его труп, и все. И еще матрос сказал, что если на судне обнаруживают нелегального пассажира, его сразу выкидывают за борт. На самом деле такого уже давно не делают, но колумбиец-то этого не знал. Он сдуру выбалтывает матросу, что должен охранять груз кокса и потом получить за это деньги. Матрос говорит: «Я знаю место, где тебя никто не найдет. Я обеспечу тебя едой и даже дам пару одеял, чтобы ты мог нормально спать. Когда мы придем в порт, ты провернешь свою сделку, а деньги мы поделим пополам». Колумбиец соглашается. Что ему еще остается?

Время пролетает незаметно. Наконец они в порту. Они перерывают содержимое того контейнера. Ничего. Никакого кокса. Только чертовы желто-зеленые бананы. Они обыскивают еще два контейнера. Везде бананы.

Моряк зол. Он думает, что колумбиец его надул. Колумбийца трясет. Он знает: его обвели вокруг пальца. Но он без понятия, что тут на самом деле произошло. Кто-то пометил не тот контейнер? Или украл кокс? Или кокса вообще не было, и все это только отвлекающий маневр, чтобы копы занимались его трупом, пока в другом месте другой человек спокойно сгрузит товар? Или просто кто-то желает его смерти?

В итоге колумбиец сбегает. Позвонить своим работодателям он не смеет. Домой — тем более. На самолет у него денег нет, а если б даже и были, он боится, что дома его уже ждут и предъявят счет за исчезнувший груз.

Он сбегает, он улепетывает из порта и находит убежище в городе. Он завис у одной южноамериканской семейной пары, он до сих пор боится, что в один прекрасный день кто-нибудь к нему заявится и спросит, куда девалась такая уйма кокса.

Нас с колумбийцем сближает то, что оба мы должны прятаться. За цент спасения не купишь. Какой-нибудь молодой засранец может нас узнать. Тогда он наберет телефонный номер или пойдет в чайную и шепнет кое-что на ухо старому засранцу. Не пройдет и часа, как мы будем трупами. Арабы считают собак вредителями, а

вредителей они уничтожают так: вставляют дуло винтовки в собачью задницу и нажимают на курок. То же самое может произойти и с нами. «Экстравагантная экзекуция», так это называет колумбиец, но мне не до смеха, мне это действует на нервы. Я не общаюсь с другими курдами, это моя стратегия выживания. Зачем мне заводить дружбу с человеком моей национальности? Кто знает, как он себя поведет, если ему засунут в жопу дуло дробовика и попросят назвать мой адрес? Он меня выдаст. С тем колумбийцем я познакомился в борделе, он трахал одну полячку, потом вышел из комнаты, а я зашел — и тоже трахнул полячку. Когда я вышел, он ждал в коридоре. Это меня встревожило.

Он ухмыльнулся и спросил: «Ну как она тебе понравилась?» Я ответил: «А тебе?» — «Классная», — сказал он. И я тоже сказал: «Да, классная». Так мы с ним стали друзьями. Так один человек находит другого. При качке надо держаться крепко. За дверной косяк. За край стола. На худой конец, за собственные колени.

Мы наблюдали друг за другом — как мы держимся, — так и познакомились. Все стулья уже заняты. Все меняется. Ничто не осталось таким, каким было при нас. В этом я с колумбийцем согласен. Здесь многие молодые парни ходят в спортивных куртках, мужчины постарше — тоже; поэтому и я ношу спортивную куртку. Я привлекаю внимание тем же, чем привлекают внимание другие. Это делает меня невидимым. Так как здесь все держат рот на замке, я и этим не отличаюсь от прочих. Маленькие одолжения здесь, маленькие преимущества там. И уже можно как-то существовать. С криминальными типами я не общаюсь. Я ухожу с их пути. Люди находят работу и в других частях мира, но я не дурак, чтобы следовать их примеру. Они действуют, я бездействую. Моя жизненная история завершилась. Дальше — история вьетнамца:

Вьетнамец

Время от времени я встречаю одного вьетнамца. Раньше он торговал сигаретами. В ГДР он был гастарбайтером, потом Восток развалился, и Запад хотел отправить его домой, в его социалистическую народную республику. Но вьетнамец решил, что при капитализме жить интереснее, и стал продавцом сигарет.

Вьетнамцы всегда казались мне такими бедными и оборванными, я их почти жалел и думал: как он может с этого жить? Но, похоже, вьетнамцы совсем не слабаки. Капитализм теперь и до них добрался, но расслабляться они себе в любом случае не позволяют.

Сейчас мой знакомый вьетнамец занимается чем-то другим. Я иногда его встречаю и спрашиваю, как дела, но он ничего не рассказывает. У него, дескать, все хорошо, есть кое-какой доход — но что конкретно он делает, он не говорит.

Он не обижается, что я называю его вьетконговцем. Сперва я думал: эти узкоглазые невесть что о себе мнят. Но теперь я склоняюсь к тому, что им просто плевать на белых, белый для них — как булыжник, о который можно споткнуться. Никогда еще ни один вьетконговец не ругался и не дрался с белым, этого не допускает их философия. Они делают дружелюбное лицо и бормочут что-то невнятное. А на самом деле, может, проклинают меня, когда я прохожу мимо. У меня к ним очень романтическое отношение: они победили американцев, и с тех пор американская киноиндустрия пытается выиграть войну на киноэкране. Мой романтизм зашел так далеко, что я даже влюбился в одну их красавицу. Я, конечно, прежде узнал, что она не замужем: боевые искусства вьетконговцев вошли в легенду, и портить отношения с желтолицыми мне ни к чему. Я заговорил с девушкой — мы с ней говорили по-немецки, в темном подъезде. Она не хотела, чтобы ее видели с чужим белым мужчиной, я это понимаю.

Она могла бы уйти. Но она стояла и смотрела мне в глаза, колени у меня подгибались, я держался за стенку. Я сказал: «Ты чудо как прекрасна, ты изумительно красивая женщина». Она сказала: «Ты мне льстишь... Так мило и старомодно». Я сказал: «Нет, я правда так думаю». Мы говорили какие-то слова, чтобы преодолеть смущение, потом я спросил, могу ли ее поцеловать, а она отрицательно качнула головой и протянула мне руку. Я держал ее руку в темном подъезде. Нелегальная любовь... Эта девушка — часть народа, имеющего героическую историю, а такой народ наверняка способен на большую любовь. Девушка любовалась мною, я любовался ею. Все могло бы закончиться этой одной встречей, но... не закончилось, а развивалось дальше, и дальше, и дальше. Она поцелуев не хотела, или же во Вьетнаме поцелуи это что-то запретное, и женщина целует мужчину лишь тогда, когда готова ему отдаться. Я только держал ее за руку и иногда целовал руку, она это позволяла. Нас одолевало смущение, при каждой тайной встрече. Я подарил ей дорогие настоящие розы, и у роз был цвет ее щек, и я не считал это китчем. Это слово я выучил в

Германии. Китч значит «чересчур». Наверное, китчем для нее оказался я сам, потому что она больше не приходила на свидания. Она исчезла. И я тогда пошел к вьетконговцу и стал расспрашивать его о вьетнамских женщинах и об их культуре. «Какая еще культура?– сказал он. — Для нас важнее обычаи». — «Для меня тоже, — воскликнул я, — для меня тоже!» — «Нет, — сказал он, — вы хлопаете в ладоши, вы топаете ногами, тут и не пахнет культурой». Но я пришел к нему не за этим. Он ругал меня, насмехался надо мной, и я это все допустил. Переждал. Проявил терпение. В конце концов он сказал: «Она неприкосновенна. Выкинь из головы идею, что можешь найти с ней свое счастье. Она для тебя недосягаема. Ваши уловки открылись. Ее семья не хочет белого в своем доме. Их дом неприкосновенен»... Говорят, будто здесь свободная страна, будто Германия свободная страна, но тут можно встретить не-немцев, мужчин и женщин, для которых важны обычаи, культура и пунктуальность. Угрозу вьетнамца мне пришлось принять всерьез: они не угрожают просто так. А ведь я уверен, что у нас с той девушкой могла бы получиться большая любовь...

Мы, малоазийцы или ориенталы, — дьяволы. Стыд и позор: нам стыдно за позор, которым нас покрыли другие. Я стою на этой традиционной позиции. С холодной головой и ледяным сердцем я когда-то принял решение, и я расправился с тем, кто опозорил наше честное имя. Это была экзекуция в соответствии с неизменным законом. А экстравагантность мне ни к чему. Тому парню было суждено попасть в ад, и он принял смерть от моей руки. Я привык быть свободным. Законы меня сковывают, законы на меня давят. Что хорошего, если бы я сделал ему предупреждение? Тогда бы он насторожился. Он бы подготовился и нанес удар первым. В тот день я встал рано и сел завтракать с матерью, отцом и моими незамужними сестрами. Пришло время спросить их в последний раз. Я спросил: «Вы этого хотите?» Моя младшая сестра ответила первой: «Его голова должна разлететься, его голова должна расколоться». Моя мать сказала: «Его смерть — наше избавление». Мой отец сказал: «Ты уверен, что оружие не взорвется в твоих руках?» Я был уверен. Я также знал, что того подлеца теперь ничто не спасет. Я сказал: «Я сделаю это для своей младшей сестры. Ничей змеиный язык больше не будет ее бесчестить». Она разрыдалась. Я поцеловал руки матери и отцу и вышел из комнаты. Прощание не было долгим. Я его застрелил. Кто-то из его клана застрелил моего отца. Моя семья уехала из деревни. Мне потом сообщили, что моя младшая сестра вышла замуж. Все должно оставаться в тайне. Я порой ловлю себя на том, что стою перед зеркалом и подношу указательный палец к губам. Ни звука! У стен есть уши, у моих преследователей есть уши... Невозможную жизнь я веду: будто сам не верю, что она закончится хорошо. В необходимость оберегать свою честь я тоже больше не верю. Полячка в борделе, она для каждого раздвигает ноги, лишь бы заплатил... она и меня принимает; полячка бесчестна, с точки зрения традиции, но она красивая женщина — по моему разумению. Конечно, я бы поостерегся на ней жениться, о реабилитированных проститутках говорят, что они подвержены рецидиву. Я не могу стряхнуть с себя все обычаи и связанные с моим кланом мысли. Но я могу решиться жить независимо от понятия чести. Прошло много времени, прежде чем полячка стала мне доверять. Сейчас я чувствую, что она меня действительно обнимает, а не просто пассивно впускает в себя. Она не испытывает стыда, потому что я не покрываю ее позором. Все у нас складывается хорошо. Она нелегально работает, я нелегально живу: такими бывают встречи в наше время. Свет не освещает наши пути, но мы идем этими путями, пытаемся не возмущаться, пытаемся вести себя правильно. Я бываю пьян только в своей комнате. Я никогда не напиваюсь снаружи. Иначе может случится, что я потеряю контроль над собой. Может случиться, что кто-то позвонит в полицию из-за пьяного курда, и тогда у меня потребуют документы. Один промах, и тебе конец. По необходимости я стал порядочным человеком. Я ставлю на стол перед собой стакан анисового шнапса, стакан воды стоит рядом, и я, макая белый хлеб в фелафель[1], произношу тосты: за того парня, который запятнал имя моей сестры. За мою мать, чей лоб избороздили морщины. За руки моего отца, скрюченные подагрой. На мою деревню и мою родину мне плевать. Кто оглядывается назад, для того уже все кончено. Я не смотрю назад, худшее время осталось позади. Я знаю одного китайца. Его история такова:

Китаец

Сын друга одного из друзей этого китайца несколько лет назад утонул. Он собирал раковины-сердцевидки вместе с другими мужчинами, потом начался при-

[1] Гороховая паста. (*Прим. пер.*)

лив, и он вдруг пропал. Китаец говорит: «Так случилось...» Я спрашиваю о подробностях, он молчит и в упор смотрит на меня, пока я не отвожу глаза. Он боится, что я полицейская ищейка? Но что я мог бы рассказать о нем полицейским? Подозреваю, что речь идет не о сыне друга одного из его друзей, а скорее о его собственном сыне. По лицу этого китайца ничего не прочтешь. Его глаза, его лоб, щеки, рот — кирпичи одной стены. Я говорю ему, что китайцы поставляют самых крепких в мире солдат, кто станет на пути такой волны, захлебнется и утонет. Китаец на это отвечает: «Я был солдатом. Ты прав». С вьетконговцем он еще не обменялся ни словом, а я-то раньше думал, что народы Дальнего Востока ищут взаимопонимания. Китаец и я как-то сидели за чашкой чая в задней комнате у знакомого владельца лавки, и тут вдруг китаец заговорил о Тибете. Тибет, дескать, это часть Китая, и тех мятежных свиней нужно было примерно наказать, чтобы тупой меч империалистов не отрезал Тибет от Родины... Китаец — пропагандист старой школы, я видел таких партизан, они умеют привлекать маленьких людей громкими словами. Китаец при мне снимает носки и шевелит пальцами ног, ему все равно, что я смотрю, для него это обычное дело. Он живет без документов, но никому и в голову не придет потребовать у него паспорт. Когда я спрашиваю, что он думает о здешних людях и об этой стране, китаец медлит с ответом. Потом наконец говорит: «При легком бризе не нужно сопротивляться воздуху. Тогда ветер тебя не опрокинет. Сила — в голове. Если голова перегревается, человек совершает ошибки и вводит в заблуждение других. Я с самого начала не предпринимал никаких обманных маневров. Ты и немцы, вы думаете, что я темная лошадка, потому что я не выворачиваю свое внутреннее наружу. Но кто же так поступает? Разве что дети. Или сумасшедшие. Я просто дышу, вдох-выдох, вдох-выдох... Это не какая-то мудрая философия. Это обычная человеческая печаль. Вы же делаете из меня Конфуция».

Он прав. Из меня тоже делают Саладина, вождя сарацинов и победителя крестоносцев. Я над этим смеюсь. Лицо китайца — как камень. Китайцу нет нужды устанавливать предупредительные знаки, никакой посторонний не проникнет на его частную территорию, его душа несет вахту на внешней границе. Может быть, этот человек изменился после смерти юного собирателя ракушек, может, раньше он был другим — кусачей собакой. Но свои застольные привычки он сохраняет. Китайцы, когда едят, чавкают и удовлетворенно кряхтят, они прижимают край пиалы к нижней губе и быстро-быстро выхлебывают содержимое ложкой. Салфеткой они пользуются только в самом конце, когда ставят пиалу с ложкой на стол и откидываются назад. После еды у китайца бывает такое лицо, как будто перед ним только что открылись ворота в рай.

Восемь

«Африка Это Тупая Свинья», Afrika Ist Dumme Sau: обрати внимание на начальные буквы, получается AIDS. Вирусу AIDS противостоят AIMS[1], то есть ЦЕЛИ черного мужчины. Aids и Aims — они как зло и добро, черное и белое, ночь и день, никто не может изменить цвет собственной кожи, никто не обманет закон природы, заложенный в нем самом, любая философия признает мою правоту, все ведь ясно: Aids против Aims, а это значит, мы фехтуем нашими членами; белые, своими «мучными червяками», которых они считают оружием, — против нас, африканцев, с нашими длинными штуковинами; их болезнь, которую они вырастили в лабораториях, мы получаем как бонус за то, что уже заразились чумой христианства. Подумай сам, зачем священники заставляют нас, африканцев, жрать эти круглые белые вафельки?! Мы ведь по их милости не лекарства глотаем, мы глотаем по-настоящему омерзительную дрянь, которая просачивается сквозь диафрагму и стенки внутренних органов, и тогда эта дрянь у цели, на нашей длинной штуковине, и тогда эта вафля начинает жрать нас: из вафли выходят солдаты дряни, они вонзают свои штыки в нашу длинную штуковину. Или — как вы думаете, почему священник, который служит чуме, заставляет нас целовать крест и нам говорят: вы, мол, можете целовать эти два перекрещенных члена, но целовать друг друга вы не должны, слюна смешивается,

[1] AIMS — Ассоциация международных миссионерских организаций, основанная в 1985 г. в США, с 1993 г. существует как самостоятельная организация, ее немецкий вариант — AIMS Deutschland. AIMS расшифровывается так же, как «обмен», «информация», «мобилизация», «стратегия». Слово *aims* (англ.) означает «цели».

болезнь «Африка Это Тупая Свинья» переходит от одного рта к другому, и в конечном итоге вы все вымрете. Что у нас, африканцев, лучше всего получается? Закон природы в том, что вы, белые, мертвы, а мы, африканцы, живы, и у нас, африканцев, нет проблем, потому что мы трахаемся и не подыхаем от этого, тысячи лет мы так жили, пока вы не пришли и не стали рассказывать сказки: чума, мол, приходит не от креста, не из лаборатории, а от взбесившихся обезьян, которые кусают людей, — и вы, африканцы, если не будете защищаться, умрете. Тут-то и возникает болезнь «Африка Это Тупая Свинья», тут-то и расцветает торговля презервативами, в которых тоже запрятана противная дрянь, и я этой дрянью будто бы должен губить свой длинный член... Нет уж, я слишком умен, чтобы стать жертвой заговора белых, заставляющих нас, черные народы, говорить «Да» и «Аминь». А если кто-то вдруг скажет: «Не целовать крест! Не одевать презерватив!» — тогда ярость белых народов обрушивается на нас, как тысяча чумных эпидемий. Мне потребовалось много времени, чтобы разобраться вот в чем: на каждом корне сидит разрушитель, разрушающий и меня самого, хотя я живу в вашей климатической зоне, сперва жил в демократической Германии, потом — в единой. Мне все пути к нормальной работе перекрыли, я теперь продаю наркоту — любому, кто платит; плохая — здешняя погода, а в том, что я продаю наркоту человеческим отбросам, ничего плохого нет; мы здесь основали Африку: здесь на перекрестке, здесь возле станции городской электрички, здесь на площади, где мы контролируем маленький участок земли, царят свои законы, свои маленькие правила, ибо тот, кто приходит к власти с помощью денег, не может не вводить дисциплину — это не вызывает вопросов у меня, у всех нас. Губим мы кого-то или не губим, нас вообще не колышит; что-то уходит, приходит что-то новое, я даю, я беру, а местные леваки, хоть они и белые, говорят: «Руки прочь от наркодилеров», и еще они говорят: «Мы отсечем руки государственному террору»; у левых дисциплина толерантности, зато нас ненавидят турецкие матери, так как думают, что их сыновья учатся у нас, африканцев, торговать, тут они ошибаются, но в другом — нет: мы в самом деле не прочь засунуть наши длинные штуковины в их дочерей, которым нравится наша кожа, которым нравится наш стиль; мне сорок пять, и тем не менее в меня влюбилась турецкая девушка, все влюбляются во всех, и я никогда не крал девичьей чести, я просто стою то там, то тут, и со мной иногда заговаривают, и вдруг передо мной стоит девушка и говорит, что я должен выпить с ней кофе, и когда она произносит «кофе», она думает, что у меня кожа кофейного цвета. Я не против, только я сейчас на работе, я не принуждал ее со мной заговаривать, но турецкие парни снова ее отвлекли, прежде чем я придумал, что ей ответить; может, я и послал бы ее куда подальше, но это было бы мое свободное решение, а эти парни украли его у меня, хотя сам я не крал девичьей чести; соблазнительное часто превращается в уродливое, и я больше никогда не слыхал о той девушке, но я абсолютно уверен, что она была переполнена любовью ко мне, она даже несколько раз мне снилась, обычно мне ничего не снится, абсолютный нуль, и только когда у меня оживают чувства, я вижу во сне женщину; я совершенно уверен, что с ней у нас сразу возник бы любовный контакт, я не меняю безопасную сторону на опасную. Заледеневший, вплоть до своего корня, и все поступающие снаружи сигналы фальшивые, и моя позиция шаткая, кое-что, правда, еще сохраняется в голове, и кое-что — этого больше — в теле: таким я иногда бываю, и тогда я отчетливо вижу поставленный мне предел, порог, вижу ножные кандалы и наручники, которыми скован, я дергаюсь, а кандалы и наручники впиваются в мою плоть, поэтому через порог я переступить не могу. Я всегда ношу спортивную обувь, чтобы успешно убегать от полицейских, мне нужна резиновая подошва, каучуковая подошва нужна, один большой прыжок — и ты спасен. До нас тут были другие африканцы, мы были армией, и чужакам пришлось отступить, двое сделали большой прыжок в наш лагерь и тем спаслись; двести африканцев здесь, если мы поднимем их по тревоге, кто сможет нам противостоять, две сотни африканцев, смешанного состава — женщины, дети, старики, — и они прибегут по тревоге и станут щитом, который нам нужен, чтобы исчезнуть, слившись с задним планом; я нахожусь между этим щитом и задним планом, потому что мне за сорок, — и я связываю обе стороны; пока мне не исполнилось пятьдесят, я своего добьюсь, я должен добиться, потом мне уже не выдержать конкуренции молодых; те, что называют себя нашими братьями, на самом деле никакие не братья, я, правда, не беженец, но и беженцы не сделали ничего плохого, а с точки зрения политики мы, африканцы, всегда выступаем только как племя против другого племени. Врагом становится тот, кто открыто заявляет, что он твой враг, а такого со мной в демократической Германии не случалось, поэтому я не кричал, что я их враг, зато они кричали, чтобы я проваливал — чтобы перемахнул через Стену и был таков; в Восточной Германии меня не любили, и вьетнамцев, желтых недомерков, — тоже; вас, мол, позвали сюда партийные бонзы, мы вас не звали — так кричали «мучные мешки» вокруг нас. Только с

женщинами все складывалось иначе, для женщин мы, африканцы, были приключением в мешке, дюжиной приключений, вот они и покупали нас мешками да дюжинами; траханье считалось тогда личным, не политическим делом, и трахаться с африканцами было модно, а поскольку я тоже люблю приключения, я обрюхатил одну здешнюю женщину, я, правда, не очень уверен, что сделал это именно я, но цвет ребенка, по крайней мере, совпал с моим. Я другой, чем большинство африканцев, женщина с моим ребенком во чреве за год увеличила свой вес вдвое: раз за ней не доглядишь — и она уже потолстела, раз ослабишь поводья — и она дочиста выжрала холодильник, а все никак не наестся досыта, не наестся — и все ругается со мной, все ругается. В общем, я смылся, а что сейчас делает она? Наверняка похудела, но с другим африканцем она снова удвоит свой вес и родит от него ребенка, каждый мужчина будет получать ее в двойной упаковке: худая-толстая, худая-толстая — и так до тех пор, пока она не подхватит болезнь «Африка Это Тупая Свинья» и не умрет. И опять-таки мое оружие против этого — AIMS, цели черного мужчины, который живет и любит, не теряя собственных убеждений, а на то, что «мучные мешки» вытворяют со своими мучными червяками, мне глубоко плевать, поскольку я знаю, что «Африка Это Тупая Свинья» враждебна ЦЕЛЯМ черного мужчины. Если меня кто и бесит, так только желтые недомерки, в демократической Германии они имели валюту, у них был свободный доступ к интершопу, и они могли заполучить множество толстых-тонких женщин, но их программа такова: никаких смешений, деловые контакты — это пожалуйста, но в остальном четкие границы, желтые недомерки не сходят с ума от работы, у них один день похож на другой, а другой — на третий; я как-то зашел к ним в лавку, но мог находиться там лишь до ее закрытия, ни на секунду дольше. Иначе они скисают, подозревают тебя в дурных намерениях, я хотел просто поговорить, но для них это пустая трата времени, они говорят как птицы, очень громко, они родом не из другой страны, они родом из потустороннего мира, они — чирикающие мертвецы. Бизнес для них на первом месте, бизнес для них — это все. Теперь здесь кишат леваки, они — антикапиталисты, для них все люди легальны; мне хватает времени, чтобы думать, пока я передаю пакетики из рук в руки, и вот я думаю: я, как африканец, наживаюсь на капиталистах, что у всех этих типов вызывает одобрение, но сами-то они антикапиталисты, а соседство того и другого производит комичное впечатление; не культура соседствует с культурой — в одном квартале соседствуют капитализм и антикапитализм. Что, если я таки стану большим боссом? Я сделаюсь в их глазах плохим из-за своих высоких заработков, но одновременно останусь хорошим из-за цвета кожи? После проблемы AIDS и AIMS это вторая проблема, которая работает в моей голове, пока я работаю, и один из братии наркоманов вдруг спрашивает меня: «Ты, случаем, не раздваиваешься?» Он заметил, что единство тела и головы у меня ни к черту, потому и задает свой вопрос, я что-то говорю, рассказываю анекдот. Но напрямую не отвечаю. Я раздваиваюсь? Кто знает. Мне доводилось наблюдать, как люди раздваиваются или разрываются между одним и другим; приятного мало, скажу я вам, после такого голова разбухает, а тело сморщивается, и такой человек уже не может спокойно стоять у светофора или толкать перед собой тележку с покупками: эти раздвоившиеся типы видят помидор, а думают о нападении. Они уверены, что на них напали солдаты, красный цвет сводит их с ума, они вспоминают вещи, которые никогда не происходили, им достаточно бросить в супермаркете взгляд на помидоры, и они начинают безумно орать или вообще слетают с катушек. Один внезапно атаковал меня в супермаркете, он подошел сзади и заорал, я чуть не отдал концы, а этот тип колотил меня, он орал, и я бросился бежать. Такие, как он, — ненормальные, у них ежедневно бывает по два взрыва в голове, в их поведении нет логики, сбежать от них — лучший метод, с этими типами я сталкиваюсь по работе; ужас — женщины с пенисом: это мужчины, которым нужен мой товар, но денег у них нет, они предлагают свои задницы, всегда, и всегда-всегда-всегда у меня в голове возникает сигнал; «Африка Это Тупая Свинья», думаю я, эти типы приходят прямиком из лаборатории, они нашпигованы всякой дрянью. Я прогоняю их прочь. Я сам ухожу прочь, я удаляюсь от дряни, иначе дерьмо покроет меня. Желтые недомерки — чирикающие мертвецы, эти дрянные типы — воющие мертвецы, только я один еще жив. Женщина с пенисом — это ужас. Ужас, если кто-то больше недели думает: «Все сигналы — неправда». Фильтруй сигналы, распознай главный сигнал — и тогда все у тебя будет хорошо. Я африканец, и я не принимаю дряни, это сигнал. Пока мне не исполнится пятьдесят, я должен стать большим боссом, это сигнал. С юными африканцами у меня хороший контакт, я не нарушаю их покой, я веду себя скромно, я предупреждаю их об опасности, они мне доверяют, и поэтому они, в свою очередь, предупреждают меня и сильнее привязываются ко мне — это сигнал. Прыжок — и ты спасен. Однажды я пропустил сигнал: Стена рухнула, и я оказался в жопе, потому что никто теперь не нуждался в моей работе, а у женщин из демократической Германии было множество

приключений за рубежом, и я вдруг стал как обесценившаяся бумажная купюра; этого важного сигнала я не заметил — мы, африканцы, все его не заметили. Новая организация общества. Новая жизнь. Один африканец не добьется ничего, но две сотни африканцев — это сила в капитализме, она течет как вода, но вверх — вопреки законам природы; она течет снизу вверх. У кого жажда, должен подставить горсть, должен сам немножко вскарабкаться вверх, должен... Ничего он не должен, но может многое. «Ты, белый, — моя тюрьма», — сказал мне один белый; он сказал, чтобы я запомнил это предложение и при каждом стрессе говорил первому встречному белому: «Ты, белый, — моя тюрьма». Смешно. Что же тогда, белый должен говорить первому встречному черному: «Ты, черный, — моя свобода»?! Мне здесь не хватает логики; белый, который меня поучал, неплохой человек, но мне в нем не хватает логики, я не могу сделать прыжок, это как-то связано с чистой и нечистой совестью, а тот белый считал, что логики не хватает именно мне. Как-то раз он приглашает меня в гости, я прихожу к нему, и пью его воду, и ем его пирог, и он говорит: «Вы обладаете силой, у нас она тоже была, но мы ее потеряли... Куда она девалась?» Он — левый, дочери у него нет, потому ему и волноваться не о чем и он может спокойно пригласить меня в гости, не боясь, что я хочу просто его использовать, чтобы подобраться к девушке; такие мысли порой посещают вас, белых, думаю я, работая, — но я еще не раздвоился, пока еще нет. Белый говорит: «Вы хороши в музыке и спорте, зачем же ты продаешь наркоту? Верь в свою силу!..» Я-то в свою силу верю, я ему так прямо и говорю, а потом добавляю: «Мы, африканцы, просто любим бывать на свежем воздухе, наркота здесь ни при чем». А он? Он не может не понимать, что я шучу, потому что я подмигнул, но он вдруг корчит из себя учителя и говорит: «Человек в своей жизни не должен быть лжецом...» Он берется объяснять мне смысл жизни, он объясняет, что быть негром — нелегкая задача, а потом начинает перечислять имена африканских знаменитостей, он знает их всех, и он уговаривает меня тоже стать знаменитым. А я ему объясняю, что стану большим боссом еще прежде, чем мне исполнится пятьдесят, — и называю имена белых знаменитостей, я знаю их всех. Он понимает, что я опять подшучиваю над ним, и после этого случая больше меня к себе в дом не приглашает, только иногда останавливается на противоположной стороне улицы и все смотрит, смотрит на меня, покачивая головой, — потому что он разочарован тем, что я не суперспортсмен и не супермузыкант, а всего лишь супердилер. Люди, у них, как правило, нет под ногами твердой почвы реальности, брат может оказаться совсем не братом, а вон тот африканец свихнулся на солдатских легендах, он мне говорит: «Солдат ест в любой момент, когда для него находится пища, и солдат спит всегда, когда представляется такая возможность, потому что не знает, когда ему снова удастся поесть и поспать, приказы — его жизнь...» Этот африканец толстеет, он спит в свободное время — где же тут солдатская мораль? Я не солдат. Солдаты убивают, солдаты принимают наркоту, но солдаты не стоят на станции городской электрички и не продают всякую дрянь. Я тебе привел два примера чудаков, которые страдают, так как они видят в своих грезах то, что видят, и при этом живут тем, чем живут: они мечтают о суперспортсменах, они мечтают о солдатах, но это все только сраный сон без настоящих людей, зато с героями, которые становятся рекордсменами, которые натренированы для войны, и люди аплодируют их рекордам; а вот я стою под дождем, снаружи, я пока не большой босс, и мне приходится разговаривать с женщинами-при-пенисе, с антикапиталистами, с воющими мертвецами — и ни одна знаменитость не спешит протянуть мне руку, чтобы поздравить с победой. У фаната солдатской жизни есть друзья среди белых, которые его поздравляют, потому что, как они говорят, он супермузыкант, только без микрофона, и, дескать, все новые крутые музыканты когда-то были гангстерами. Я ненавижу это слово. Где мы живем? В Америке? Нет, в объединенной Германии, а это большая разница! Тот солдат-африканец стоит не на американской улице, он продает не крэк, и никакая голливудская камера его не снимает — тем не менее он носит камуфляжные штаны, заправленные в сапоги, живет лживой легендой, и «мучные мешки» поздравляют его, а молодые женщины щупают мускулы на его предплечье и тоже поздравляют. Я в бешенстве, отчасти — из-за его сексапильности, это он сам так говорит: «Я сексапильный». Он — покупатель дряни, и у него почти все друзья — белые, они обеспечивают ему защиту, потому что он нелегал, как и я, он тоже порвал и выкинул свои документы; друзья кладут руку на его мускулы и называют его Dealerking[1], это американское слово, так что ему следовало бы поменять свое имя и называться впредь Джонни или Джо; я знаю, я ему немного завидую, он уже сейчас знаменитость, хотя не поет и никакой музыки пока что не сочинил. Его белые

[1] Король дилеров (*искаж. англ.*).

друзья, которые все носят бейсбольные кепки, говорят: «Важно твое мироощущение, выраженное в тексте, а не гармония или мелодия — это все вчерашний день. Ты должен просто быть супердилером...» Солдат-африканец верит, что он звезда, звезда латиноамериканских герильо, он теперь носит не только камуфляжные брюки, заправленные в сапоги, но и камуфляжную куртку и камуфляжное кепи; он мне недавно сказал: «Я продаю дрянь понарошку, в фильме; то, что я делаю, — просто сцена из фильма». Я ответил ему: «Покажи мне камеру...» Он только усмехнулся: мне сорок пять, ему двадцать пять, это большая разница, у него есть будущее, он думает — мое будущее истекло. Но я смеюсь над ними всеми. Скоро я буду супербоссом. А они все умрут.

Девять

Традиция — это большой валун, закрывающий вход в пещеру, а дьявол пинает и пинает его копытами, пинает много раз, но не попадает внутрь, мое место там внутри защищено, рог дьявола не колет меня, не ломает меня. Что за счастье. С детьми дьявола бороться нелегко, они прослеживают твои пути, пути, ведущие в никуда, потому что ты уже обнаружил слежку; они с радостью запрыгивают тебе на спину, чтобы ты повалился навзничь, поломав себе какую-нибудь косточку, — тогда у детей дьявола будет перед тобой преимущество. Мое первое правило: обращай внимание на то, что нарушает порядок, и кто что затевает против простого народа. Приспешники дьявола не имеют рогов, но все равно они продувные бестии, эти вульгарные мальчишки ловко запускают грешную руку в твой теплый карман. С ними также и девчонки, много девчонок, которые вытягивают из носа козюли или размазывают сопли по губам, чтобы простой человек почувствовал к ним жалость. Чтобы он замедлил шаги — тогда они его окружают, шумят, попрошайничают, свистят, поют, потом вдруг весь выводок исчезает, словно сам черт смахнул их своей поганой метлой, простой человек идет дальше, входит в какой-нибудь магазин, выбирает для себя, скажем, красивый кухонный агрегат, хочет заплатить... И тут оказывается, что деньги у него пропали. Все-все. Большая печаль! Это — цыганская традиция?! Нет, это позор. Я хочу сказать то, что думаю: мать-попрошайка, препоручающая воспитание своих детей дьяволу, обычно дрессирует собственного мужа, приучая его вылизывать ее сковороду. Ты ведь понял, что я имею в виду: лицо мужчины исчезает в промежности женщины, и он выделывает губами и носом всякие акробатические номера; такое в жизни случается, мы все не ханжи, я навидалась мужчин, которые приплясывали и трепыхались передо мной, потому что они хотели в меня войти; но я впускала в себя только самых лучших, Господь выдолбил в женщине один-единственный вход, и я просила простых здоровых мужчин входить в меня через этот вход, а ничего прочего не дозволяла. Мою сковороду никто не вылизывал. Никто не переворачивал меня на живот и не пробовал со мной извращения. Правильное слово я сейчас вспомнила: именно, извращения. Эти чертовы дети — отбросы воспитания, так как у себя дома они учатся извращениям, и жрут извращения, и видят извращения во сне, и их матери им говорят: «Мы все должны как-то жить, но другие — нелюди, нецыгане — живут лучше нас, поэтому выметайтесь сейчас из дому, а в конце дня принесите мне красивые-красивые подарки...» Такая мать умножает извращения, и извращения становятся правилом. Это низко! Вонь идет до самого неба, до моего неба, на которое я смотрю каждое утро, и я думаю: Бог Вседержитель, благ ли Ты, если не искореняешь извращения, творимые перед моими гневными глазами, если не развеиваешь вонь Твоим ветром, если позволяешь детям проявлять их коварство? Мы ведь живем в свободной стране, в Германии? Да, это так. И у детей, о которых я говорю, есть немецкие документы? Да. И большая семья, выгоняющая свой выводок на улицу, находится под защитой немецкого закона? Да, так есть, так будет, и Господь Вседержитель не ополчается против них. Каждое утро в своей молитве я говорю: «Неужто это правильно, Господи? Хочешь ли ты мне что-то сообщить через посредство извращений, творящихся вокруг меня, — чтобы я по ночам больше не скидывала во сне одеяло? Нужен ли мне переводчик с Твоего языка, который меня успокоит и объяснит, что оседлые цыгане, живущие по немецкому закону, творят неправое дело? Доживу ли я до их поражения? Кому же дожить, как не мне? Господь Вседержитель, Ты могущественен в небе, я могущественна во главе моей семьи, которой я преподала чистые правила. Чтобы они не крали из карманов мелочь. Чтобы их направлял Ты, а не дьявол, у которого из пасти воняет, как от десяти дохлых крыс. В моем доме господствует дух добра. Люди же снаружи выстраиваются в очередь, как будто бывает бесплатное масло, они одурманены грехом, Бог Вседержитель, а Ты все же строишь для них гешефт, еще и подставляешь руки, чтобы им легче было

карабкаться вверх...» Таковы мои утренние молитвы, вопросы и вопросы, а Он до сих пор не подарил мне ни одной красивой купюры, ни золотого амулета, ни кровати с оздоровительным матрасом, в котором я нуждаюсь из-за больной спины. Я — цыганская мать; дети сами по себе совершают плохие поступки, они должны мне кланяться, потому что я могу дать им то, за что, собственно, отвечает Бог Вседержитель: научить их, как правильно жить, и как держаться на людях, и как можно, а как нельзя зарабатывать деньги. Я сравниваю себя с другими матерями, и как же они себя называют? Стая. Боже, помоги мне, что это — стая? Они давно здесь, и их копилка полна. Их копилка звенит, моя — нет. Кто я? Я не из стаи. Большая разница. Матери из стаи посылают своих дьяволят на улицу и на прощание крепко дают им по шее, это наставление, которое означает: не приходите домой без добычи, иначе я перегрызу вам горло! Парни и несколько девчонок выходят на охоту, на вокзалы, на торговые улицы, во все те места, где простой человек занимается своими делами, — и простого человека обкрадывают, а Господь Вседержитель не перегрызает ворам горло. Если моих детей схватят, перед ними разверзнется ад, но детей матерей из стаи никто к ответу не привлечет, потому что хоть они и засранцы, но их матери имеют немецкие документы. Традиция! Традиция — в моем золотом сердце, извращение — в их латунных сердцах. Эти чертовы дети сперва дерутся в школе, потом замечают, что им светит из будущего, начинают учиться и учиться, обгоняют турецких и арабских детей — а потом, глядишь, они уже владельцы страховой конторы или частной врачебной практики, и если я, цыганская мать, приду к такому врачу на прием, он даже не станет со мной разговаривать на истинном, нашем языке. На самом верху оказываются эти чертовы дети, а в самом низу стою я. Что прикажете делать? Я должна платить, как и все. Правильно ли это? Хороший товар — сам себе похвала, хороший человек не должен себя рекламировать, хорошее и так замечают. Почему я должна платить? Я слышу, как хрустит лед в их сердцах, они же знают, каковы мои дела, они дают мне скидку на лечение зубов или на массаж спины, но, несмотря на скидку, мне приходится основательно раскошелиться. Хотят ли порядочные люди быть обобранными? Я могла бы наслать на них шайку грабителей. Я говорю своим детям: «Нет, это слишком. Нет, мы простим этому человеку, что его сердце заледенело. Нет, вы не должны его бить, ведь врачебные осмотры дороги, а меня все-таки всегда обслуживают со скидкой. Кто не признает свой народ, а только делает скидку, тот когда-нибудь будет стоять перед Господом Вседержителем совсем голый, и его грешная кожа в адском пламени покроется волдырями...» Я удерживаю свою семью от мести, я говорю: «Мы тоже сделаем для них скидку», — но иногда мне приходится успокаивать своих кулаками. Мои дети панированы в сухарях любви, их поджаривали — готовили к жизни — с любовью. Они чисты, но мне пришлось объяснить им, что люди лгут. Сами они поняли бы это слишком поздно, их бы успели обворовать. Ты должен знать, как ломают волю простого человека, — чтобы самому быть простым человеком, но... хорошо защищенным от таких приемов. Лучшие слуги — бывшие убийцы. Посмотри на мои руки: это руки, которые знают, как гасить человеческую жизнь. Никогда я этого не делала. Никогда не подавалась туда, где дьявол рычит: «Сделай это!» Я такого не делаю. Поэтому моя семья — не шайка убийц, ведь я их кое-чему научила, и они должны были бы передо мной кланяться и давать мне на руку больше, чем дают сейчас. Больше денег — больше счастья. Мои дети уходят из дому, а вечером приходят назад и складывают передо мной хорошие вещи. Больше золота, больше денег — больше счастья. Я потела животом и ногами, восседая на маленьком троне, как красивая пластиковая кукла, которая сидит рядом со мной в уголке дивана, я так расставила ее ноги и руки, что она сидит, прислонившись спиной к вышитой подушке, и каждый посетитель думает, он должен взять ее в руки, а ее платьице я сшила сама; итак, я, как эта милая куколка, сижу на троне, это моя сила и мое достижение, благодарить за это мне некого. Господь Вседержитель забрал к себе моего мужа, забрал своевременно, потому что мой муж не был сильным человеком и не сопротивлялся детям дьявола; мне приходилось его спасать, чаще, чем я бы хотела, в конце концов они его погубили, они выцедили из него всю кровь, провести так, как он, свои последние годы не захочет ни один мужчина. В битвах он себя плохо проявил. Я ему говорила: «Муж мой, ты мог бы укрепить свое господство над этим сбродом, если бы вел себя жестче...» Но нет, он не хотел, и я взяла на себя эту грязную работу, а вся слава досталась ему одному: я вышла из дому с моими детьми, мы с ними спрятались во тьме, мы затащили на нашу сторону тьмы двух из тех чертовых детей и сотворили с ними очень страшные вещи. Ни слова об этом! Это была необходимая дрессировка, после они много дней не могли нормально ходить. Потом они затащили одного моего ребенка на свою сторону тьмы и причинили ему большие страдания, с тех пор он вообще не отваживается выйти на улицу, он сидит в соседней комнате, и хорошо еще, что терпит меня и других детей, но мы должны стучать в его дверь и входить поодиноч-

ке, прикрывая дверь за собой. Так что мне мою жертву пришлось мучительно выхаркать, а муж мой не был на такое способен, он очень, очень много пил, и ночами... ну да, ночами он лежал на мне, своей бабе, в чем ничего худого нет. Но однажды я заломила ему руку за спину и избила его, поскольку до меня дошел слух, что он облизывал сковороду проститутки, а это нарушает мою традицию, я ему так и сказала: «Я предлагаю тебе себя каждую ночь, а тебе стало скучно? Ты в своей крысиной пасти приносишь ко мне домой возбудитель болезни и целуешь этой крысиной пастью мои губы, ты капаешь слюной в мой рот, а я глотаю ее. Что у меня в желудке?..» Поэтому я и избила его, и если бы мои дети не вмешались, я бы тогда проломила ему череп. Я долго размышляю, я выискиваю знаки и доказательства, но потом я мщу. Господь Вседержитель не одинок, у него есть я. Иногда нужно вызывать дьявола и вступать с ним в борьбу, его тело покрыто золотым блеском, я соскребаю с него кончиком пальца немного золота и втираю в свой лоб. Золотая метка — с этим я могу жить дальше, золотая метка на лбу придает мне силу. Озорники из стаи кричат мне вслед: «Золотая метка, золотая проститутка!» Они избегают моей близости, они боятся меня. Я везде рассказывала, что меня навещал дьявол и что я украла у дьявола немного золота. Моя злость с тех пор сильнее их мелочной злобы.

Они хотят потягаться со мной силой? Что ж, я готова.

В этом городе не хватает злой бесплодной женщины, способной одним своим взглядом разрывать цепи, скоро такая женщина появится, бабам из стаи и их высокопоставленным сынкам лучше поостеречься. Меня на мякине не проведешь! Их жилища — стыд и срам для цыган, это норы слепых, но мне достаточно выбить посох у них из рук, чтобы вместо стыда и срама воцарилась цыганская гордость. Злая бесплодная женщина, такая как я, берет лист бумаги, подносит его ко рту, наговаривает старые слова и молниеносно его разрывает — тогда в дома и в крысиные пасти веет несчастьем, тогда тело становится мерзким, а промежность горит огнем, из материнского чрева с кровью выходят куски нерожденного ребенка. Проклятье вам, бабы из стаи! Кто вы такие, чтобы так мало ценить меня?! Мы стали тем, что мы есть, ибо мы — госпожи проклятья, мы набираем в легкие воздух и тушим своим дыханием любой домашний очаг. Потому что стоит нам потереть руки, как поднимается ураган, срывающий трубы с крыш и опрокидывающий детские коляски, а если мы оттопыриваем нижнюю губу и протыкаем ее иголкой, только быстро, только легко, чтобы покарать кровную вину, тогда пол начинает сотрясаться и по ковру пробегает рябь. От одного нашего слова вы теряете душевное равновесие, вас тошнит, вы выблевываете желчь своих грехов, соки своей алчности. Я — сила и ночь традиции, я омрачаю дневную сторону древней мудрости, потому что я должна выстоять против нашептываний баб из стаи. Женщина, сильная и полная соков, может погубить любого мужчину, я смеюсь над мужчинами, которые размахивают руками и ругаются и пытаются меряться силами со мной, так как думают, что они хорошо вооружены. Это я — госпожа — хорошо вооружена, мое копье проникает внутрь, копье же мужчины висит снаружи, я избила своего мужа, и он сказал: «Женщина, ты побеждаешь, я понял!» Он задохнулся под моим весом, он хотел дышать, потому и признался в своем поражении. Другие семьи тоже признают свое поражение в борьбе со мной. Их мелкие делишки! Другое дело я! Уже скоро, очень скоро я выпущу на волю свой дьявольский выводок, у каждого из моих детей на лбу золотая метка, она не сделает их бесплодными, она сделает их злыми. Я скажу им: «Возвращайтесь к истокам, вернитесь в страну, где молодые девушки мечтают о том, чтобы мужчина облизывал их сковороду. Поймайте нескольких таких девушек, приведите их ко мне, а остальное пусть вас не заботит. Я сама позабочусь о том, чтобы эти девушки стали моими злыми детьми: одна ночь, две или три ночи — и они будут послушны. Они будут послушны мне, то есть будут принаряжаться и выходить на улицу. Они будут послушны мужчине, способному заплатить, то есть будут показывать ему свои сковороды, на которых скворчит масло. Дайте мне пять или десять таких сковородочек, сказала я своим детям, и мы положим начало новой красивой истории, в которой будем не теми, кто прислуживают, а теми, кто приказывает. Это только начало. А что случится потом? Нам нужны жестокие мужчины, нам нужны мужчины, которые бьют своих жен, которые после двух стаканов шнапса затевают драку. Таких мужчин хочу я иметь, они должны выстроиться передо мной в шеренгу, и каждому я прошепчу на ухо страшную угрозу, и с этого момента они будут меня бояться и будут мне послушны. Я награжу их деньгами, золотом и сковородочным счастьем. Они станут творить зло от моего имени, ради этого будут жить и умирать, в этом находить свою гордость. Тогда в этом городе разверзнется ад. Моя злость одержит победу над матерями из стаи и над их детьми-дьяволятами, потому что у меня более сильная поддержка дьявола и я могу превзойти их всех. Осталось лишь несколько минут до большого удара, все начнется вот-вот. Я даже лисе могу завязать хвост узлом. Я говорю моим детям: «Мы первыми закрутили барабан, так

можем ли мы допустить, чтобы маленькие убогие стаи собирали плату? Или на наших лицах написано, что нас можно обводить вокруг пальца, столько лет безнаказанно присваивая себе звонкую монету? Начнем с этого города, наберитесь терпения!» У меня нет немецких документов, но на моей стороне — право злой бесплодной бабы, и против моей традиции их травяные амулеты не имеют никакой силы. Сначала потихоньку просочиться сюда, сначала медленно собирать тонкие бумажники, складывать их в одну кучу, пересчитывать мелкие купюры, сначала затаиться в этом городе за живыми изгородями и постепенно выведать его тайны. Я знаю, чем они живут. Они предлагают защиту. Они обворовывают простого человека на улице. Они продают пьянящую травку и опьяняющий порошок. Они получают детские деньги. Я не смогу добиться благосостояния, пока существует их благосостояние. Я управляю многими детьми и мужчинами, они ждут, моя бедность вызывает у них сожаление, но я им говорю: «Начинайте отсчитывать дни по пальцам, ждать уже недолго». Обманут мной всякий, кто утверждает: «У этой женщины нет денег, чтобы прожить хотя бы два дня, у нее рваная юбка, она бормочет безумные речи, дети и мужчины ее клана просто суют ей что-нибудь, чтобы она не умерла с голоду. Все прочее, о чем она болтает, — цыганские сказки...» Они ждут, пока я пройду мимо них, и думая, что теперь я не могу их услышать, шепчут свои извращенные слова обо мне. Но скоро я буду матерью состоятельного клана, а головы этих шептунов разорвутся. Разве я хожу по улицам с чашей для подаяний? Разве я сижу на земле перед входом в какую-нибудь церковь? Разве я шарлатанка-целительница? Разве я раскладываю карты простому человеку, чтобы его обмануть? Время от времени я запихиваю маленькие подушечки под свою одежду, обматываю ноги под толстыми чулками полотенцами и так расхаживаю по улицам; тогда я вижу, как они радуются, слышу, как они говорят: «О Боже, у нее водянка, и плоть ее комками выпячивается наружу, это раковые опухоли, скоро она будет лежать в могиле...» Я люблю их обманывать, пусть они верят, что меня пожирает рак, и что моя кожа шелушится, и что у меня на спине растут волосы, ибо дьявол любит шутки и дразнит меня, злую бесплодную женщину. Господь Вседержитель тоже дразнит меня, ежечасно и каждодневно, я к этому привыкла и не жалуюсь. Я обрезаю кончики своих волос, приклеиваю их на верхнюю губу, а потом выхожу из дому и прогуливаюсь перед ними. Они шепчут: «Эта баба становится мужчиной, в ней происходит дьявольское превращение». Охотней всего я бы показала им свою сковороду и крикнула: «Тут вам нечего вылизывать, как вы любите, меня вам нечего стыдиться, я старая женщина, стыдитесь лучше себя самих!» Мои дети хотят мне добра, они уводят меня домой, подальше от детей дьявола, которые глазеют мне вслед и чувствуют полную растерянность. Они боятся меня, а многие даже ненавидят. Их ненависть идет мне на пользу, их ненависть возвращает мне силы, я ем и пью их ненависть, каждый укол их ненависти продлевает еще на один день мою жизнь.

Я не умею ни читать, ни писать, буквы и слова — картинки перед моими глазами; человеческому уму, конечно, нужна пища, но моя пища — не книги, а планы на будущее. Время у меня еще есть, оно не убегает от меня, я могу ждать, пока ненависть баб из стаи и их детей-дьяволят усилится, я могу сидеть здесь на софе и прокручивать в голове грядущие дни, проверяя их на ошибки. Мои враги снаружи прижимают свои лица к оконным стеклам и закатывают глаза, они хотят меня подразнить, но дразнить меня не имеет права никто, кроме Господа Вседержителя и дьявола-озолотителя; мальчишек из других семей родители нарочно посылают сюда, чтобы они кидали в меня прищепками, они спускают штаны, они дудят через нос и засовывают себе в уши горящие спички. Они кривляются, передразнивая меня, эти шимпанзе-тролли! Ничего, моя злость уже нанесла им ущерб, и, поскольку они ущербны, вся их сила уходит только на игры.

Я быстро двигаюсь, я могу дышать через рот и нос, не храпя, другие бабы в моем возрасте уже имеют проблемы, они чистят свои сковороды и распыляют духи против вони своего тела. У меня же дома не сыскать ни пылинки, я заставляю своих девочек вытирать пыль и подметать полы, ведь никогда не знаешь, когда нагрянут гости. Не знаешь, в какой момент к тебе явится смерть или богатство. Я говорю своим детям: «Прислушивайтесь! Не ходят ли под нашей дверью, на цыпочках, враги, чтобы шпионить за нами — поскольку предчувствуют, что скоро грянет удар?..» Они тоже отсчитывают дни по пальцам. Они запаслись оружием, но их оружие, как и их золотые амулеты, расплавится от одного моего взгляда. Деньги — золото — счастье... Счастье — золото — деньги... Золото — деньги — счастье... Я буду чистить их сковороды.

Александр Мелихов

Закваска Брейвика и Закваска Саррацина

Эта история совсем недавно случилась с моей финской коллегой по имени Сиско (имя подлинное, я не стал бы шутить так глупо). Сиско ужасно боялась исламистов, и когда ей все-таки по зову службы пришлось отправиться в Турцию, она не решилась даже сесть в самолет и отправилась в Стамбул путем «Убийства в Восточном экспрессе». Вопреки Агате Кристи, драма началась лишь в Стамбуле, когда Сиско пересела в автобус до Анкары. Автобус был чистый, снабженный работающими кондиционерами, в дороге постоянно разносили вкусный чай с восточными сластями, однако исламисты тоже не дремали: рядом с Сиско села типичная шахидка в черном хиджабе. С мужеством отчаяния Сиско потребовала у нее предъявить билет — билет оказался в порядке.

Через час Сиско решилась подзакусить и через силу съела два банана. А еще через полчаса и соседка достала из шахидского пояса осыпанный мелкими зернышками бублик и робко предложила половинку неверной соседке. И та запылала от стыда, что не сделала этого первой. Но ведь в Европе никому и в голову не приходит угощать соседей!

Террористка кое-как владела английским и рассказала, что живет в Болгарии, в турецкой деревне, но ей посчастливилось пристроиться уборщицей в анкарском отеле, и раз в месяц она отвозит прикопленные лиры своему семейству в Болгарию. Однако встречавший ее в Анкаре брат выглядел уже стопроцентным исламистом — черноусый, решительный, он сразу кинулся вытаскивать чемодан Сиско из автобусного подполья, затем докатил его до самого метро и там еще долго объяснял, где ей следует выйти, и она не могла не вспомнить, что во время бесчисленных европейских пересадок ей никто ни разу не предложил помочь. А она-то думала, что в исламских странах мужчина гордо шествует впереди, а закутанная в чадру женщина униженно семенит сзади под непосильной ношей.

Анкара оказалась совершенно современным городом — чистые благоустроенные дома выглядели достаточно однообразными, чтобы считаться модернизированными, но Сиско знала, что исламизм и является реакцией на успехи модернизации. То, что на улицах ей не встретилось ни единой чадры, что аккуратные платочки часто сочетались с джинсами, а полным-полно женщин свободно гуляли вообще без платков, — это тоже ее не успокоило: неизвестно еще, что ждет этих бунтовщиц. Сама же она заранее обзавелась длинной черной юбкой, которая ее и сгубила. Перебегая улицу на иссякающий зеленый свет, Сиско наступила на непривычный подол и, спасая висевший на левом плече компьютер, упала на выставленную вперед правую руку. И едва не потеряла сознание от боли. Запомнилось ей только, что с этой минуты ее постоянно окружали турецкоподданные. Незаметным образом они перенесли ее на тротуар, подстелили неизвестно откуда взявшийся коврик, не переставая выказывать искреннейшее сочувствие, вызвали явившуюся через десять минут «скорую помощь», помогли побережнее уложить ее на носилки санитарам, которые всю дорогу тоже говорили ей какие-то утешительные слова...

Она и в травматологическом отделении рядовой больницы среди крови и стонов тоже ни на миг не оставалась одна. Ее тут же отправили на рентген, а пока она на кушетке дожидалась результата, к ней постоянно подходили и выражали сочувствие и товарищи по несчастью, и служители, а один старичок-подметальщик снова принес ей половинку обсыпного бублика. Есть его она не могла — только сжимала в руке, когда ей под местным обезболиванием вправляли выбитый локоть...

И вправили хорошо. А затем во все дни ее турецкого пребывания рука на перевязи вызывала самое искреннее сострадание у всех — от коллег до кассирш в супермаркете, — так что бедной Сиско оставалось лишь повторять: «Какие добрые люди эти турки!».

Но, к сожалению, люди объединяются в нации не ради сострадания к кому-то, а ради экзистенциальной защиты, ради обретения чувства собственной красоты и величия. И если модернизация приходит в мир как торжество ординарности, то они рано или поздно потянутся к тем, кто хотя бы пообещает им что-то более высокое. Конфликт культур имеет объективную причину — конкуренцию самовозвеличивающих грез. Но мы еще и сами обостряем его своими превентивным высокомерием и страхом.

Лично я с детства был наслышан и начитан о страшных турецких казнях: с живых сдирают кожу, сажают на кол, — «на кольях скорчась, мертвецы оцепенелые чернели»... Потом на смену кольям пришли ужасы армянского геноцида, однако, отправляясь в Анкару по приглашению одной общественной организации, занимающейся правами инвалидов, я, разумеется, об этих кошмарах не вспоминал. Зато, собираясь к первому завтраку в абсолютно европейской гостинице, я не мог не вспомнить Марка Твена, пытавшегося позавтракать в тогдашней турецкой столице в эпоху первой российской либерализации.

«Двери маленькой закусочной у самого базара были отворены настежь; тут и стряпали, и ели. Повар был грязен, ничем не покрытый стол — тоже. Повар нанизал колбасу на проволоку (возможно, янки и доныне не знают слова шампур. — *А.М.*) и положил ее на жаровню. Когда блюдо было готово, он отложил его в сторонку, но тут вошел печальный, задумчивый пес и ухватил кусок; впрочем, сперва он обнюхал жаркое и, верно, признал в нем покойного друга. Повар отобрал мясо у пса и подал его нам. Джек сказал: «Я пас...» — и все мы спасовали вслед за ним. Потом повар испек большую плоскую пшеничную лепешку, положил на нее жареную колбасу и направился к нам. По дороге он уронил ее в грязь — поднял, вытер о штаны и подал нам. Джек сказал: «Я пас...» И все мы спасовали. Повар вылил на сковороду несколько яиц и задумчиво поковырял вилкой в зубах, вытаскивая застрявшие куски мяса, — потом той же вилкой он перевернул яичницу и поднес ее нам. Джек сказал: «Опять пас». Все последовали его примеру. Что же было делать? Мы снова заказали колбасу. Повар вытащил проволоку, отделил соответствующую порцию колбасы, поплевал на руки и принялся за работу. Тут мы все разом спасовали».

Дела давно минувших дней. Сегодняшний турецкий завтрак — это чистота, вкуснота и даже теплота, а не простая вежливость в обслуживании. Особенно если учесть, что подают, как правило, не девушки, а жгучие брюнеты, не уступающие прекрасному полу в терпении и доброжелательности.

Марк Твен, отпустивший по хорошей затрещине едва ли не всем святыням, исключая американскую демократию, припечатал исламский мир жестоко и беспощадно. Грязь, нищету и болезни он назвал самыми верными признаками мусульманского правления.

Тем не менее в турецких городах, которые мне пришлось объехать этим летом, я не видел ни одного нищего и даже ни одного человека, который бы выглядел хоть сколько-нибудь опустившимся. Разумеется, это не означает, что проблема бедности в Турции решена: при любом процветании какая-то часть населения будет жить беднее прочих. Однако проблемы нищеты и бездомности, похоже, остались позади.

Мой турецкий Вергилий, носивший вполне нашенское имя Саид, был левым интеллектуалом, учившимся в Европе, и, как положено интеллектуалу, относился к власти вполне критически. Но когда я обратил его внимание на отсутствие бездом-

ных, его немножко даже передернуло, как будто я похвалил турок за то, что у них не убивают на улицах: ну, разумеется, если человеку негде жить, ему что-то дадут!

Российский корреспондент, проживший в Турции почти десять лет, с полной простотой произнес удивительную формулу: многие проблемы решаются добротой. И верно: если бы мы приходили на почту, в поликлинику, в сбербанк и нас при том же материальном качестве обслуживания встречали не просто вежливо, но прямо-таки душевно, наша жизнь сделалась бы куда привлекательнее без всякого роста ВВП. И не добротой ли отчасти объясняется еще и то, что Турция стоит на одном из последних мест в мире по уровне самоубийств, а, следовательно, на одном из первых по уровню экзистенциальной защиты.

В этом отношении за турок можно только порадоваться, но отсюда же легко заключить, что они не захотят ассимилироваться в Европе — обменять свою первосортную защиту на третьесортную, прохудившуюся.

Я проехал по Турции не меньше тысячи километров, и мне не попалась на ровном асфальте ни единая выбоина. Возделана была решительно вся земля, кроме скал и соленых озер. Кирпичные дома фермеров были сплошь двухэтажными, один другого респектабельнее — уже с трудом вспоминалось, что бывают на свете такие явления, как покосившийся забор и провалившаяся крыша. (Речь, подчеркиваю, идет лишь о Западной и Центральной Турции; о «Дальневосточной» в путеводителе говорилось лишь то, что это суровый прекрасный край, куда, не зная броду, лучше не соваться — Ирак, курды…) У себя на родине турки не проявляют ни малейшей склонности к социальному паразитированию, в котором их обвиняет Саррацин (не утверждаю, что несправедливо). Успешная модернизация позволила ядру развалившейся империи обеспечить себя всем, что необходимо для пристойной жизни. Кроме красоты и высоты: архитектура в основном напоминает лужковскую Москву — помесь сундука и аквариума, а в высоту заметным образом устремлены одни лишь минареты, как в современной Москве одни только сталинские высотки. Что неизбежно ведет к усилению ислама в Турции и к романтизации сталинской эпохи в России. Ибо ни один народ не может жить ради бытового самообслуживания, он должен постоянно расширять пределы человеческих возможностей, ставить какие-то мировые рекорды, чтобы избавлять своих сочленов от ощущения исторической второсортности.

И советская империя об этом старалась не забывать даже на пороге последней либерализации. Однако презрение к общепиту ее добило.

Не потому, что он был как-то особенно ужасен, но потому что он был унизителен. Народ можно обирать ради какого-то высокого дела почти безнаказанно. Но когда высшей целью объявлено благосостояние трудящихся, для презрения к их быту не остается никаких оправданий.

Система экзистенциальной защиты — главное, что связывает человека с его народом и объединяет народы в цивилизации. И народу с ординарно успешной судьбой, живущему без высоких целей, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда, осуществить такую защиту очень трудно: уровень самоубийств и депрессивных расстройств, снижение готовности рисковать и жертвовать — в частности трудиться не только ради собственного благополучия, но и ради продолжения рода — все это индикаторы износившейся экзистенциальной защиты, а именно она манит пришельцев ассимилироваться, сделаться частью сильного бессмертного целого, именно она есть главный соблазн ассимилироваться.

Но сегодня этот индикатор вялотекущего экзистенциального отчаяния мало кого способен соблазнить. Зато индикатором отчаяния острого становится агрессивный утопизм, вульгарный или квазинаучный.

Пока больше года шли споры, безумен или нормален Андерс Брейвик, мне постоянно приходила на ум одна и та же мысль: они готовы лечить, сажать, только бы не вдумываться. Хотя если бы Брейвик даже и оказался душевнобольным, его чудовищная акция все равно осталась бы ничуть не менее значимым социальным симптомом. Еще лет сорок назад, посещая лекции по психиатрии в клинике Скворцова-Степанова (за что ему, кстати, такая честь? Он ведь даже не был пациентом этой больницы), я обратил внимание, что довольно многие пациенты в гипертрофирован-

ной форме выражают страхи или мечты множества нормальных людей: они оказываются увеличительным стеклом, через которое можно заглянуть в душу общества. Однако никто не воспользовался лупой Брейвика.

Помогла, как всегда, удача. Поджидая в университете приятеля-социолога, я разговорился с его студентом по обмену из Швеции, который русский выучил только за то, что на нем, пусть и с акцентом, можно разговаривать без политкорректного лицемерия — приехал, можно сказать, за свободой слова.

Всю жизнь круглый отличник, спортсмен и в каком-то смысле даже комсомолец, он в престижном шведском университете постоянно получал сниженные баллы за недостаточную либеральность своих эссе. Он и мне клялся, что относится с уважением и сочувствием к любому народу, к любой культуре и религии, но к собственному народу и собственной религии — все-таки с большим. Даже с гораздо большим. Что усугубляется еще и тем, что он ощущает себя глубоко верующим христианином и не хочет, чтобы его религия сделалась принадлежностью религиозного меньшинства, до чего, как ему кажется, осталось не так уж много времени, если говорить о молодом поколении.

На мое замечание, что верить можно и в одиночку, он резонно возразил, что даже для отправления религиозного культа требуется материальная инфраструктура, — по крайней мере, в наши дни, когда люди отвыкли приносить вере серьезные жертвы и не готовы снова начинать с катакомб.

Это касается и вообще поддержания привычного образа жизни, а он уверен, что рост, например, изнасилований связан с притоком мигрантов, хотя эта тема настолько запретна для обсуждения, что приходится ориентироваться на слухи, которые, возможно, все изображают гораздо хуже, чем есть на самом деле.

Мой шведский собеседник был настроен чрезвычайно мрачно — ему грезилась какая-то европейская реконкиста, которая выдвинет лидеров, не менее отмороженных, чем Брейвик, но гораздо более расчетливых и красноречивых, умеющих воодушевлять и организовывать, как это умели Гитлер и Муссолини, Ленин и Троцкий, ему грезились штурмовые отряды и концлагеря. Сам он был абсолютно нормален, и эти видения внушали ему не восторг, а страх, но более всего его страшило то, что цензура политкорректности не позволяет не только делать что-то для предотвращения этих кошмаров, но и обсуждать проблему — хотя бы в академической среде. И он надеялся найти эту среду в России — на территории, как он это называл, интеллектуальной свободы.

Такой взгляд на нашу страну показался мне крайне непривычным, но в каких-то европейских кругах он, возможно, не столь уж исключителен. Поскольку этот шведский парень и выглядел вполне нормальным, и, главное, прожил жизнь нормального человека, не склонного ставить жизнь на карту даже ради теоретически близких ему целей. Идеалы хорошо, а счастье лучше — именно так рассуждают нормальные люди.

Но когда огромная масса людей начинает испытывать страх, что их вытесняют из привычной им материальной или духовной ниши, непременно находятся личности, в которых этот страх и его следствие озлобленность концентрируются до степени свирепой агрессивности и жертвенности. Эти люди ненормальны лишь в том смысле, что они редки, но появление их нормально, то есть закономерно.

Гитлера ради самоутешения можно называть бесноватым, однако его появление и успех нормальны. Можно потешить себя, клеймя Сталина параноиком, однако и его торжество есть нормальное явление. Порождать чудовищ — для кризисных времен это нормально.

Когда народовольцы убили лучшего российского царя-реформатора, они руководствовались социалистической сказкой, с высоты которой успешное развитие страны представало невыносимым гнетом, ведущим к краху. И Толстой в письме к наследнику призывал его «воздать добром за зло», ибо дело не в самих убийцах, а в их «закваске». Бороться же с духовной закваской, с ложными идеалами, считал великий непротивленец, можно, лишь противопоставляя им более высокие и привлекательные идеалы.

Зато жертвенность во имя сколь угодно опасной и ложной идеи непременно

придает ей романтический ореол, особенно в глазах молодежи, мечтающей о доблестях, о подвигах, о славе. И этот ореол уже мерцает во многих интернетных отзывах. Противопоставляются же им одни проклятия.

Лично же я считаю, что закваской сегодняшней антиисламской агрессии служат вовсе не какие-то сверхвысокие идеалы — их нет и не может быть у человека рационального, — но простой страх за свое будущее, за свой образ жизни, за свою экзистенциальную защиту. Борьба с этим страхом и была бы борьбой с закваской Брейвика — она же, в сущности, и закваска Саррацина: его частью общеизвестные, частью сомнительные конструкции порождены той же самой силой, что и выстрелы Брейвика, — страхом. И не имеет никакого значения, насколько справедливы его суждения о чьем-то превосходстве или чьей-то ущербности — никакие научные или псевдонаучные данные не будут признаны стороной, которая станет испытывать страх быть вытесненной из той ниши, к которой она привыкла или на которую, как ей кажется, она по праву претендует.

Не логика управляет страхом, а страх управляет логикой. Однако для ослабления страха люди должны ощутить, что их кто-то защищает. А если они почувствуют себя беззащитными — нет ужасов, перед которыми они остановятся. Страх не ослабляется ни нотациями, ни тем более государственными репрессиями — он их только обостряет: ага, значит и государство на их стороне! Ну так будем защищать себя сами.

Геноцид сегодня считается чем-то зверским, нечеловеческим. А в ассировавилонские времена наоборот кичились грандиозностью убийств и опустошений: «Как буря устремился я на врагов. Я наполнил их трупами горные овраги. Я окружил, я завоевал, я сокрушил, я разрушил, я сжег огнем и превратил в пустыри и развалины. Вытоптал поля, вырубил сады и виноградники. Дикие ослы, газели и всякого рода степные звери стали обитать там».

Это был, можно сказать, гордый, романтический геноцид, усматривающий в истреблении целых народов путь к славе и бессмертию.

К счастью, с этих варварских времен протекли века и тысячелетия. Но обратимся к самому, пожалуй, гуманному в истории девятнадцатому веку и к самой просвещенной и демократической стране того времени — к Британской империи. Еще в середине века белые фермеры организованно охотились на тасманийских аборигенов, а тогдашние интеллектуалы предавались размышлениям, являются ли темнокожие людьми или это какие-то особо умные обезьяны.

Это, так сказать, геноцид свысока, те, кто его творят, считают истребляемых какими-то недочеловеками.

Высокомерный геноцид может естественно переходить в рациональный: если так можно поступать с недочеловеками, почему нельзя точно так же обойтись и с людьми или даже целыми народами, которые тебе кажутся чем-то опасными: нет человека — нет проблемы. Окончательное решение лучше промежуточного.

Первая мировая война. Тогдашнему турецкому правительству представляется, что армянское население, оказавшееся в прифронтовой зоне, враждебно настроено по отношению к мусульманской Турции и готово помогать христианской России — так почему бы не избавиться от этого населения?

Но просто перебить огромную массу людей, как это делалось во времена царя Ассаргадона, уже стало не вполне приличным. Что ж, тогда к классическим погромам и резне можно присоединить депортацию: выгнать беспомощных людей в пустыню и гнать их без пищи и воды, пока не упадет последний. И тогда можно будет на ясном глазу утверждать, что это было не намеренное убийство, но всего лишь массовая смертность из-за дурных условий содержания.

И все это под носом у так называемых «цивилизованных» держав, поглощенных собственными делами — изо всех сил старающихся уничтожить друг друга. Так что ужасающая репетиция Холокоста прошла без помех, будущие нацисты получили убедительный сигнал: никто не вступился за армян — не вступятся и за евреев.

Типичный геноцид двадцатого века правильнее всего назвать прагматическим. Устраивают его уже не классические варвары, но вполне образованные и «модерни-

зированные» люди, какими были тогдашние «младотурки» Талаат-паша, Джемаль-паша и Энвер-паша.

А Германия в тридцатые годы двадцатого века и вообще была едва ли не самой «цивилизованной» страной мира — она и поставила массовые убийства евреев на фабричную основу, позаботившись даже о психологии убийц, чтобы немецкие солдаты не слишком переживали, убивая беспомощных людей, включая грудных младенцев: из этих гуманных соображений расстрелы были заменены газовыми камерами, а закапывание в землю — сожжением трупов.

Важную функцию в немецких лагерях уничтожения выполняла и «бесполезная жестокость». Она должна была расчеловечить будущие жертвы, сделать их отвратительными, чтобы убийцы видели: это не люди, это свиньи.

Все это делалось во имя построения дивного нового мира, в котором будут править сильные и самоотверженные: германский геноцид был геноцидом утопическим.

При этом современные турки и немцы самые приятные люди на земле. Но кто же тогда творил все эти кошмары? Это творили мы, люди. Не турки, не немцы, но люди вообще — страшные существа. Если людям покажется, что какие-то личности или даже целые народы представляют угрозу для жизненно важного их достояния или для драгоценной их мечты — нет такого преступления, на которое они не пойдут, — и при этом еще и объявят преступление подвигом: как бы и нам не дожить до той поры, когда Брейвика объявят национальным героем.

Геноцид не есть нечто зверское — звери не стремятся к окончательному истреблению своих конкурентов, это стремление человеческое, слишком человеческое. И он, увы, возможен и в современной Европе — по той простой причине, что возможен он везде и всюду.

Притом осуществлять его станут не какие-то исключительные изверги, но обычные люди, которые до поры до времени чаще всего и не подозревают, на что они способны, когда потребуется выполнить самые жестокие приказания начальства, — об этом говорят известные эксперименты Милгрэма: больше половины испытуемых соглашаются причинять страдания, связанные с риском для жизни, под давлением элементарных лозунгов типа «Вы нас подводите!».

Как же смягчить жесткость в отношениях между народами, жесткость, всегда готовую обернуться жестокостью? Хорошо известно, что неприязнь, а затем и вражду, доходящую до ненависти, порождает всякая конкуренция. А сотрудничество в каком-то достойном деле наоборот порождает взаимную симпатию.

Среди достойных общих дел вспоминаются совместные запуски космических ракет, совместная помощь жертвам стихийных бедствий и эпидемий, но мало, мало…

Если бы почаще заменять международную конкуренцию международным сотрудничеством! Особенно в громких масштабных делах, вызывающих гордость за род людской и, стало быть, укрепляющих экзистенциальную защиту не за счет друг друга, но благодаря друг другу.

И отдельных людей, и целые народы озлобляет конкуренция. Пока они живут в отдельных квартирах, они и не испытывают друг к другу особой неприязни. Однако квартирный вопрос, необходимость жить в коммуналках их испортила. Поэтому, если мы хотим снизить взаимное озлобление, мы должны по мере сил расселять коммуналки или, по крайней мере, не создавать новых. А заодно — почему бы и не помечтать — исподволь формировать новые квазиимперии, которые создавали бы «новые исторические общности», способные создавать более мощную экзистенциальную защиту, нежели защита национальная. Не поленюсь повторить, что империя вовсе не высшая форма национализма, как часто думают, но, напротив, преодоление этнического эгоизма во имя более высокого и многосложного целого.

Зрелые империи управляются имперской аристократией, считающей себя выше интересов даже собственного этноса, и формирование многонациональной имперской аристократии было бы важнейшим проектом и современной России, и современной Европы. Вспомним, что главные ужасы в Турции начали твориться именно при переходе от империи к национальному государству, а до того слово «тюрок», случалось, даже применялось как презрительная кличка к неотесанным анатолийским

крестьянам. Это было тоже своего рода революцией, когда Кемаль Ататюрк провозгласил, что родиться турком — большое счастье. И отвергнуть это счастье можно разве лишь ради чего-то заведомо большего.

Однако отказаться от национального и даже расового единства во имя единства гражданского не так-то просто — умозрительному всегда очень трудно одолеть зримое и привычное.

Как-то мне пришлось участвовать в маленьком международном проекте под руководством самоуверенной и образованной чернокожей англичанки, как она себя аттестовала. Попутно разъяснив нам, что в современном мире имеет значение лишь гражданская идентичность, а идентичность этническая есть архаизм и расизм. Ты гражданин России, значит, ты русский, разъясняла она татарину, а ты гражданка Финляндии, значит, ты финка, растолковывала она русской, и надобно ж было такому случиться, что на следующий же день Барак Обама победил на президентских выборах в США. И наша англичанка со слезами счастья (я не преувеличиваю!) восклицала, что теперь она может сказать своим детям: вы ничуть не хуже других, вы такие же, как все!

Так что от книг, от логики мало что зависит. Социальное мышление всегда подтасовывает в пользу максимального психологического комфорта, максимальной экзистенциальной защиты, и никакие Саррацины не изменят этих человеческих потребностей, которые — а вовсе не цифры и факты — всегда определяли и будут определять человеческое поведение. Люди всегда будут ненавидеть тех, в ком станут угадывать угрозу для своего материального или психологического благополучия, тех, в ком ощущают будущего победителя в конкурентной борьбе, а в книгах станут выбирать только то, что придает респектабельности их страхам и надеждам.

Это будет делать и та, и другая сторона — восхищаться тем, что льет воду на их мельницу, и возмущаться тем, что работает против них, клеймя конкурентов нацистами, фундаменталистами, паразитами или расистами.

Сарацин предлагает меры, вынуждающие к ассимиляции, но главным ее орудием всегда был соблазн. А сегодняшней Европе нечем соблазнить пришельцев: продемонстрируйте сначала, что вы красивее и счастливее нас, не думают, так чувствуют те. Да, да, чтобы ассимилировать, надо обольщать! А что в нас обольстительного — и в европейцах, и в россиянах? Когда кавказские джигиты, десятилетиями сражавшиеся с российской армией, со временем превратились в самые надежные ее подразделения, обольстил их не русский мужик, не мещанин и не интеллигент, но русский аристократ, не уступавший горцам в достоинстве и бесстрашии. Именно аристократия каждого народа есть главное незримое орудие и ассимиляции, и контрассимиляции.

Вытеснение конкуренции сотрудничеством, вовлечение конфликтующих этносов в захватывающее историческое дело, формирование полинациональной аристократии, способной пленять и обольщать, — или уж отделение сильных от слабых, успешных от неуспешных стеной если не материальной, то хотя бы информационной, — я не вижу других путей для ослабления межнациональной и межрасовой ненависти.

Максимальный информационный апартеид. С глаз долой — из сердца вон. Это, по крайней мере, оттянет взрыв.

И притом останется надежда, что когда глаза в конце концов откроются, для взрыва уже не будет сил. Проигравшая культура уступит пьедестал, не успев хлопнуть дверью погромов и концлагерей.

Жалко ее, сердешную, конечно, но погромы и концлагеря все равно бы доконали.

Кай Элерс

У кого есть право на жизнь?

С немецкого. Перевод Владимира Медведева

В 90-х годах прошлого столетия, собственно говоря, с глобального поворота, при котором распад Советского Союза совпал с большим скачком мира в «глобализацию», мозговые центры американских служб, а вслед за ними немецкие авторы — такие, как исследователь терроризма профессор Бременского университета Гуннар Хайнзон, самый известный сегодня в Германии философ Петер Слотердайк, а также Тило Саррацин — заговорили об угрозе мирового демографического кризиса. Разразиться он должен, по их мнению, в течение ближайших лет, самое позднее в 2020 — 2030-х годах, то есть именно тогда, когда в «развитом» мире огромные массы молодых людей из слаборазвитых стран — на публицистическом жаргоне: «youth bulge»[1] — не смогут более найти у себя на родине места в обществе, дающего им право на жизнь, в то время как индустриальные страны будут испытывать острую нехватку собственной молодежи. Это создает фундаментальную угрозу глобальной цивилизации, готовиться к отражению которой следует заранее. Под «цивилизацией», само собой, подразумевается исключительно цивилизация западная.

О концепции «Мир 20:80»[2], разработанной на основании оценки экономических и демографических показателей, заговорили уже на легендарной конференции, которую Михаил Горбачев созвал в сентябре 1995 в «Фермонт-отеле» в Сан-Франциско, чтобы проконсультироваться с избранными представителями международной элиты — «всемирным мозговым центром» — о том, каким предстоит стать будущему миру. Основной вопрос, который выкристаллизовался в ходе конференции, — что делать с армией «лишних», образовавшейся в результате сочетания свобод и гло-

---

Кай Элерс (Kai Ehlers) — немецкий публицист, специализирующийся на анализе преобразований на постсоветском пространстве. Автор книг: «Горбачев — это не программа. Встреча с критиками перестройки». Изд. Konkret Literatur, 1989; «Насильно к демократии? — В лабиринте возрождения между Азией и Европой». Изд. Verlag am Galgenberg, Hamburg, 1991; «По ту сторону Москвы — 186 и одна история об освобождении от внутреннего рабства» Изд. Schmetterlingsverlag, Stuttgart, 1993; «Вызов Россия: От принудительного коллективизма до самоопределяющего общества. Подведение итогов приватизации». Изд. Schmetterlingsverlag, Stuttgart, 1997; «Эрос информального: Российские импульсы глобализации нового типа по ту сторону капитализма. О нужде самоснабжения и добродетели самоорганизации» Изд. Edition 8, 2004; «Гарантированный минимум для всех как средство для достижения интегрированного общества» Изд. Pforte, 2006, 2007 и др. Официальный сайт: http://www.kai-ehlers.de.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

[1] *Youth bulge* (*англ.*) — «избыток молодых», демографический приоритет молодежи.

[2] Концепция предполагала, что в следующем, 21 столетии, для функционирования мировой экономики будет достаточно 20 процентов населения, большей рабочей силы не потребуется. (*Прим. ред.*).

бального прироста населения. Неизвестно, высказывался ли по этому поводу Горбачев; можно предположить, что его заботил лишь диалог о «новом мышлении». Прорыв в решении проблемы совершил известный американский стратег Збигнев Бжезинский, который объявил, что вводит глобальный «tittytainment»[1]. В пущенном им в оборот неологизме английское слово, обозначающее женскую грудь, со смыслом «развлечения». С помощью этого современного варианта принципа «хлеб и зрелища» предполагалось «утихомирить» 80 процентов человечества.

Не станем обсуждать циничный характер намерения превратить подавляющую часть населения планеты в контролируемых потребителей. Более важно то, что, вопреки обоснованным опасениям критиков, это невозможно осуществить в полной мере. Даже если бы удалось из всего человечества сформировать общество, управляемое «биовластью», то и в этом случае было бы чрезвычайно трудно установить и поддерживать необходимые системы манипуляции и контроля. Однако подлинная причина сложности приведения подобной стратегии в жизнь — это противоречия, заложенные в господствующих сегодня глобальных экономических механизмах. Они функционируют только тогда, когда происходит циркуляция: капитал — товар — возросший капитал. А для этого необходимы потребители, у которых есть деньги на покупку товаров. Социально исключенные «лишние» денег не имеют, поскольку в «слаборазвитых» странах сокращаются или вовсе отсутствуют средства на социальную поддержку безработных. Бедные страны некогда колонизированного мира лишаются финансов, региональных рынков и лучших рабочих рук и одновременно заваливаются мусором «изобилия» из индустриальных стран. Подрастающие молодые люди становятся «лишними» не только для производства, они также «излишни» и в качестве потребителей. Они живут, даже не сознавая себя частью человеческого общества, и перешли в какую-то иную форму существования. Эти люди не только «лишние», они к тому же живут за счет «изобилия» — то есть того, что остается от обеспеченных слоев общества, — и накапливают энергию, нуждающуюся в выходе как пар в котле с герметически закрытой крышкой.

Однако вернемся к Бжезинскому.

Сокращение экономического оборота и сведение его к формуле: «капитал — возросший капитал» выталкивает из игры сектор конкретного рынка, живущего за счет фактического производства и потребления, так что поле деятельности остается за рынком финансовым. За деньги покупается и продается все большее количество денег, предметом купли-продажи становятся даже долговые обязательства, однако все это не только не решает проблему, но и, как показывает опыт прошлого, неизбежно ведет к более глубокому кризису. Не помогает выходу из него и массовая печать денег, так как они поступают не к потребителям и в товарное производство, а вбрасываются в спекулятивный оборот.

И вот именно здесь решением могло бы стать дальнейшее развитие идеи Бжезинского о введении общего обеспечения для всего человечества. Подобная мера в рамках глобального сообщества могла бы полностью изменить не только понятие «экономика», но и — что еще более важно — изменить отношение к ценности челове-

---

[1] Ганс-Петер Мартин и Герольд Шуман в книге «Западня глобализации: атака на процветание и демократию» так описывают этот эпизод Форума: «У всех на устах выражение Збигнева Бжезинского — «тититейнмент». Этот убеленный сединами ветеран политических баталий польского происхождения, в течение четырех лет бывший у Джимми Картера советником по вопросам национальной безопасности, по-прежнему занимается вопросами геополитики. Придуманное им словечко — комбинация из слов «tits» (сиськи, титьки) и «entertainment» (развлечение) — призвано ассоциироваться не столько с сексом, сколько с молоком, текущим из груди кормящей матери. Возможно, сочетание развлечений, в какой-то мере скрашивающих безрадостное существование, и пропитания, достаточного для жизнедеятельности, будет поддерживать отчаявшееся население мира в относительно хорошем расположении духа» (цит. по: http://via-midgard.info/news/1823-novaya-model-yeto-mir-2080.html).

ческой личности, человеческому достоинству. Если экономика начнет ориентироваться не на самовоспроизводство капитала, а на спрос и потребности, произойдет новое разделение труда, при котором производительность будет измеряться не производительностью труда, а его распределением между всеми. Все люди окажутся включены в общество, а не выброшены за его границы как «лишние» или как подлежащий ликвидации «человеческий мусор», и это вернет им статус личностей, а не сырья и отходов мегамашины по производству прибыли.

Очевидно, что такое усовершенствование идеи Бжезинского весьма далеко от предложенного им «тититеймента». Во всяком случае, идея не дала желаемого результата, а потому в ход пошли «более эффективные» варианты предотвращения предполагаемой угрозы, основанные на американских исследованиях 90-х годов, сценарии 1995 года «80:20» и производной от них модели Гуннара Хайнзона. Небольшая статья позволяет лишь упомянуть о них, однако некоторые аспекты следует рассмотреть подробнее.

Для предотвращения «*конфликтов, создаваемых "youth bulge"*» (Хайнзон выделяет эти слова курсивом) руководство западных стран преусматривает в качестве «защитных средств» на ближайшие двадцать и более лет активный экспорт западного «права собственности» в страны с избытком населения и фильтрацию иммигрантов, въезжающих в промышленно развитые государства. Допуск на въезд получает только самые лучшие из армии «лишних», нежелательных останавливают на границе. Кроме того, считаются полезными гражданские войны в странах с «переизбытком молодежи», а также войны между ними, в ходе которых может быть «ликвидирован» излишек населения. На всякий случай следует соблюдать бдительность и быть готовым к превентивному военному вторжению в страны с «переизбытком молодежи», чтобы опередить возможную агрессию со стороны тех из них, у которых, как подозревается, имеются для этого технические возможности.

Реальность осуществления этих стратегических замыслов можно проследить по политике США последних лет, включающей глобальное расширение НАТО и его превращение во всеобщего кризисного менеджера, из чего становится совершенно ясно, что именно в данных стратегических соображениях выступает под эвфемизмом «бдительность».

«Мирное» решение

Вернемся еще раз к той части рассуждений Хайнзона, где он выдвигает мирное решение констатируемой им глобальной проблемы перенаселения. Начнем с его воззрений на «право собственности», которое он предлагает ввести в странах, развивающихся, по его определению, «исключительно путем производства перенаселения». Обоснования модели Хайнзона не особенно оригинальны, однако они позволяют ясно проследить, куда ведут господствующие стратегии. Его аргументация строится на различении владения и собственности.

Как считает Хайнзон, мощь современной Европы возникла благодаря переходу от владения к праву собственности, и было бы ошибочным определять наше общество терминами «капитализм» или «рыночная экономика», как это принято делать вслед за Марксом. Различные авторы, начиная с Маркса и кончая его «рыночно» аргументирующими критиками, стремились «возможнее точно и лаконично обрисовать оба эти понятия в качестве решающих двигателей экономики». Однако основа экономики, по словам Хайнзона, заключается «ни в капитале, ни в рынке, а в собственности. Ее невозможно увидеть или взять в руки, она не имеет вкуса и запаха — это правовое основание, запечатленное на бумаге».

Разграничение владения и собственности, пишет далее Хайнзон, является фун-

даментальным для понимания экономической деятельности, так как не владение, а только письменно заверенная собственность дает возможность давать долговые обязательства и получать процент. И напротив, при владении не может быть никакой экономики, а возможно исключительно «материальное использование».

Этот пункт Хайнзон поясняет на примере пашни: «Коммерческое использование поля, а следовательно, и хозяйственной деятельности на нем возможны только в том случае, если к праву владения присоединяется еще и право собственности. Можно сказать, что сама земля позволяет всего лишь производить продукт, в то время как ограда вокруг нее дает возможность вести экономическую деятельность. При этом ограда символизирует право собственности и не рассматривается как просто столбы с натянутой на них проволокой, которые можно кому-либо передать. В обществе, основанном на частной собственности, крестьянин, будучи владельцем земельного участка, может пользоваться землей сам или сдавать ее в аренду и одновременно получать дополнительную выгоду от права собственности на нее. Он может это право заложить, чтобы получить денежную ссуду, или дебетовать его для обеспечения денег, которые он самостоятельно эмитировал... Денежная единица, будь она отчеканена из металла или напечатана на бумаге, — является также правом вмешательства в собственность ее эмитентов и запускается в обращение только путем создания долгов».

Согласно этой модели, хозяйствование — это частное присвоение участка земли (или любого другого объекта), которое исключает из пользования им других людей. Иными словами, это «ограда», сооруженная вокруг отделенной собственности. На этой основе вырастает та пирамида процента и сложного процента, которая, по мнению Хайнзона, содействует развитию и с помощью которой некогда Европа, а сегодня Запад опутали весь остальной мир кредитными и процентными долгами.

Как утверждает Хайнзон, стоимость создает не сам труд, а присвоение результатов труда кем-то другим. Согласно его описанию, присвоение, а также экономика могут возникнуть только в случае, когда стоимость предшествует труду. Однако он оставляет без внимания другие возможности присвоения, когда — если посмотреть с исторической точки зрения — ценности создаются благодаря коллективной работе с общественным достоянием — при охоте, осваивании целинных земель, уходу за лесом, строительстве домов, возведении мостов...

В том, что касается деталей, Хайнзон дает совершенно верное описание ситуации, хотя означает она совсем не то, что он в ней видит. Несмотря на точность и актуальность картины, описывающей «забор», а также займ, процент, сложный процент и вытекающую из них модель «общества, основанного на частной собственности», в ней, по сути, нет ничего нового. Автором является ни в коем случае не Хайнзон, а Жан-Жак Руссо, который с помощью этой модели хотел описать зарождение гражданского общества.

В двадцатом веке стали на время проницаемыми заборы, образ которых Хайнзон использует при описании первоначального накопления и которыми «высокопроизводительные», составляющие общество «20:80», отгораживаются от «лишних». В наши дни эти ограды вновь приобрететают все возрастающую общественную реальность. Я говорю о заборах у южных границ Европейского сообщества, о тех заборах, которыми защищают себя метрополии империй, заслоняясь от окружающей их бедности. Вне всякого сомнения, подобная модель экономики и политики развития, основанная на обособлении частных собственников, не снизит, а еще более увеличит количество «лишних».

Ограничивать ли «трансфертную» рождаемость?

Перейдем теперь к вопросу о том, как эта точка зрения отражается в тезисах Саррацина.

Он предупреждает о последствиях, которые, по его мнению, вызовет в Германии сочетание нескольких факторов — падения рождаемости, роста «нижних слоев» населения и иммиграции из преимущественно мусульманских стран. «Современное социальное государство, — пишет Саррацин, ссылаясь на Чарльза Дарвина, Френсиса Гальтона, Гуннара Мюрдаля и прочие имена представителей евгенической традиции, — отменило действовавший с самого начала человеческой истории механизм селекции, исключив смертность из материального статуса, — и правильно поступило. <...> Однако современное социальное государство особой немецкой штамповки делает еще кое-что дополнительно для того, чтобы менее квалифицированные и менее толковые размножались активнее, чем дельные и квалифицированные: с них полностью снимается материальная забота о детях. На каждого ребенка родители получают 322 евро ежемесячно в качестве гарантированного государством социального прожиточного минимума. Это весомая причина для того, чтобы нижний слой рожал заметно больше детей, чем средний и верхний слои. За большей частью этих детей неудачливость закрепляется уже с самого рождения: 1) они наследуют в соответствии с законами Менделя интеллектуальные возможности своих родителей и 2) будут обделены по причине их необразованности и общей основной диспозиции».

Если кто-то полагает, что пером автора водило социальное сочувствие к тем, кто ущемлен от рождения, то приведенная ниже цитата полностью раскрывает позицию Саррацина. Он отвечает на заданный им самим вопрос: что можно было бы изменить? По его мнению, «в принципе» есть три пути:

«1. понизить уровень основного обеспечения, чтобы создать больше стимулов к работе;

2. создать больше стимулов к работе путем измененных предписаний по зачетам;

3. трудоспособные люди, не достигшие законной границы старости, должны получать пособия основного обеспечения только за обязательные ответные услуги».

Если у кого-то осталось сомнения, стоит прочесть еще одно высказывание Саррацина: «Не дети производят бедность, а получатели трансферта производят детей».

Не будем далее углубляться в подробности. Сказанного достаточно, все выражено весьма отчетливо.

Если Саррацин в своих тезисах недвусмысленно вступает в область евгеники, не упоминая о ней открыто, и предвещает не более и не менее, чем угрозу «дисевгенического» упадка Германии, которую можно предотвратить повышением заработной платы «высокопроизводительным» и ограничением социальной помощи «малообразованным» и «малопроизводительным», то Хайнзон с его теорией «молодежного взрыва», якобы представляющего смертельную угрозу для Европы, дает научное обоснование и одновременно практическую программу укрепления «демографической стабильности» Германии, захлестнутой волнами иммиграции.

После публикации книги Саррацина в печатных немецких СМИ и Интернете распространилось множество публикаций Хайнзона, в которых он, с одной стороны, предостерегает об угрозе «молодежного перенаселения», а с другой — предлагает меры, направленные против «иммиграции людей без специальностей в страны, где действуют системы трансферта».

Так, к примеру, в интернет-газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» в статье под шапкой «Щедрость социального государства не сдерживает роста нижних слоев

населения. Количество матерей, получающих социальную помощь, растет. Америка показывает, какие реформы могут помочь в решении проблемы» он требует ограничить срок выплаты социальной помощи пятью годами.

Тем, кто хочет глубже познакомиться с этим образом мыслей, рекомендую прочитать работу того же Хайнзона «Сыновья и мировое господство: роль террора в подъеме и падении наций». Нравится она или нет, эта книга имеет, без сомнения, ключевое значение для понимания складывающейся в настоящее время идеологии «защиты» европейской, или, говоря шире, христианской западноевропейской культуры, а еще точнее — культуры «специалистов», которых Хайнзон в согласии с Саррацином называет опорами «общества, основанного на собственности», — защиты от того мира,что некогда был колонизирован Европой, а ныне сбросил ее социальные и колониальные оковы. С этой же проблемой столкнулась и Россия с ее сокращающейся славяно-русской частью населения. Впрочем, здесь лишь напомню о понятии трудовые ресурсы», которое появлялось в социалистических кругах в начале двадцатого века[1] и также делило людей на мало- и высокопроизводительных.

Умственное помрачение

Масштабы умственного помрачения, о котором здесь идет речь, становятся понятными из резких комментариев самого известного сегодня в Германии философа Петера Слотердайка, который в дебатах о Саррацине встал на сторону Хайнзона.

На бурю негодования, вызванную публикацией книги «Германия: самоликвидация», Слотердайк отреагировал статьей под заголовком: «Восстание созидателей»[2], в которой порицает «покорную» и «трусливую», по его мнению, общественность:

«Вспомним об обличительном процессе, — писал он в ноябре 2009 в журнале «Cicero», — который недавно устроили над бывшим сенатором по финансам Тило Саррацином, чтобы наказать его за несколько заостренных формулировок. Он был столь неосторожен, что указал на бесспорный факт — определенная часть живущих в Берлине турков и арабов с опаской относятся к интеграции, и вся рать немецких профессиональных обличителей двинулась на баррикады, чтобы втолковать ему: подобная резкость недопустима. Можно подумать, что сцена немецких властителей дум превратилась в клетку, полную трусов, которые травят каждого, кто отклоняется от стандартов этой клетки. Не успеет из соседней клетки для глупцов прозвучать резкое слово, как тотчас же начинается групповая возня. Стараются так, словно необходимо выиграть соревнование по изображению возмущения и превзойти конкурентов в усердии и криках с пеной у рта. Когда видишь, как механизмы тривиальной морали непрерывно раскручиваются по восходящей спирали, достигая вершин «общества», то испытываешь некоторое замешательство. В Берлинском отделении СДПГ воют волками, требуя исключить Саррацина из партии. Поистине, в будущем наказанием станет высшая мера — лишение жизни».

Солидарность философа с Саррацином и Хайнзоном не удивительна. Уже в 2006 году Слотердайк не гнушался следовать за Хайнзоном в характеристике ситуации, созданной развалом Советского Союза, и напрямую, без прикрас говорить о «лишних».

---

[1] Впервые его сформулировал в 1922 г. академик С.Г. Струмилин, советский экономист, один из авторов планов индустриализации СССР. (*Прим. ред.*).

[2] «Aufbruch der Leistungstrager». Значение слова *Leistungstrager* зависит от контекста, здесь оно означает ключевой персонал производства — высококвалифицированных специалистов и руководителей производства — и переведено почти дословно как *«созидатели».* (*Прим. пер.*).

«Новые исключительные обстоятельства[1] проявляются в двух формах, — писал он в книге «Гнев и время». — В странах либеральной демократии — это постдемократическая политика формирования экономического порядка, при которой политика инволюционирует в полицию и политики превращаются в агентов по защите потребителей; в потерпевших крах государствах — это гражданские войны, в которых взаимно сокращают свое количество армии лишних».

И далее: «Между тем виной тому не только противоречия в собственной системе, которые препятствуют политической культуре в «окраинных цивилизациях на Востоке и Юге в посткоммунистической ситуации», но это еще и «новые движения массы недовольных и энергичных лишних, готовых к бою; это бурное объединение обездоленных, подспудное распространение саботажа и тяга к разрушению, которая проступает из-за повторения исторических ужасов и соответствующих надежд».

Показательна оценка, которую Слотердайк дает книге Хайнзона «Сыновья и мировое господство», вышедшей в свет в 2006 году незадолго до его собственной работы «Гнев и время». Философ ставит ее на одну ступень с марксовым «Капиталом» и утверждает, что «демографический материализм» объясняет проблемы двадцать первого столетия подобно тому, как исторический материализм Карла Маркса объяснил феномены девятнадцатого.

Призывая к «восстанию созидателей», Слотердайк превозносит Хайнзона в качестве нового теоретического светила. Как он это обосновывает, я процитирую ниже и, несмотря на утомительные словесные каскады в этом тексте, приведу достаточно большой фрагмент.

«Рикардо и Маркс создали роковую путаницу, — писал Слотердайк в 2009 году в журнале «Cicero», — утверждая, что создание прибавочной стоимости сводится в конечном счете исключительно к фактору «труда». В истории идей нет, вероятно, второго такого случая, когда теоретическая ошибка повлекла бы за собой столь огромные практические последствия. На этой ошибке по сей день основывается болезнетворная система дискредитации созидателей, которая более двухсот лет бытует у идеологов, начиная от ранних социалистов и кончая посткоммунистами. Настало, кажется, время вбить наконец кол достаточно глубоко в землю, чтобы эти решающее научные выводы никогда больше не выплывали на свет, ибо в окончательном итоге в современной государственной и общественной действительности, которая объективно является социал-демократической, созидатели стали дающей, а не отнимающей стороной. Их считают богачами люди с противоположной стороны, так как сами они остаются без должного вознаграждения за свой труд. Разумеется, при этом происходили и происходят эксцессы — в XXI веке точно так же, как в XIX столетии, — которые направлены на то, чтобы исправить положение. Однако тот, кто безответственно кричит о «капитализме», лишь показывает, что он ничего не понял. Вместо экономических полумыслей мы нуждаемся в новой и до конца продуманной модели связи между собственностью, процентами и деньгами. Говоря открытым текстом, пришло время читать Гуннара Хайнзона».

Но к чему слова! Действительно, нельзя отрицать, что в реакции на тезисы Саррацина звучит определенная доля истерии. Нельзя оспаривать и того, что Хайнзон в самом деле указывает на реальные проблемы. Однако что скрывается за такими выражениями Слотердайка, как «восстание созидателей», «заостренные формулировки», «неосторожность», «отклонение от стандартов клетки»? Он ничего не

[1] «*Исключительные обстоятельства*» (Ernstfall) — понятие, впервые введенное известным немецким юристом Карлом Шмиттом. Это ситуация, когда принимается политическое решение в положении, которое не может более быть регламентированной обычными юридическими нормами. (*Прим. ред.*)

говорит о своем отношении к евгенике. На его позицию указывает лишь заголовок статьи, сигнализирующей, что автор стоит на позициях Саррацина.

Стоит приглядеться и к другим текстам тройки Саррацин—Хайнзон—Слотердайк. Хотя речь у них идет о выработке абсолютно свободного мышления, но предназначено оно отнюдь не для всех, как пытается убедить Слотердайк. Циничные образцы элитарной мысли, которые они демонстрируют, способствуют скорее отравлению общественного мнения, нежели его освобождению. Именно таковы высказывания Саррацина о том, что проблему «нижних слоев населения» следует превратить в вопрос сокращения «рождаемости в нижних слоях». Таковы и бессердечные формулировки «выпуск чистой продукции в виде детей»; «нижний слой», который беспрепятственно растет за счет «трансфертных младенцев»; «дети, от рождения неспособные к учебе»; «маломощность зарубежных стран»; «вымирание специалистов»; «пожизненное назначение на чиновные должности», которыми оперирует Хайнзон.

В полной мере это относится и к Слотердайку, который соединяет язык Саррацина и Хайнзона в провокационных жестах, разрушающих общественные табу. Его формулировки: «дающие средства к существованию» в противоположность «берущим»; «общность созидателей»; «активные плательщики налогов» в противоположность «неплательщикам налогов, чьи доходы состоят преимущественно из социальных выплат» и тому подобные — поддерживают и повторяют образ мыслей Хайнзона и Саррацина.

Эти параллели не случайны. «Речь идет о том, — недвусмысленно объясняет Слотердайк, — чтобы создать новую семантику, которая сможет оправдать созидателей. И эта семантика предполагает устранение несправедливости». Несправедливость, как поясняет философ в другом месте, — это ситуация в обществе потребления, когда люди, на которых держится производство, эксплуатируются, чтобы содержать «малопроизводительных». Такому положению он противопоставляет американскую систему, которая не знает ни гарантированных социальных пособий, ни гарантированного здравоохранения даже на государственном уровне.

Михаил Румер-Зараев

Другая жизнь и берег дальний

Литературный дневник

Блажен, кому судьба уготовила ровное и непрерывное течение жизни в своей стране, своем городе, своей среде и культуре на протяжении всего отпущенного ему срока бытия. Но в наше глобалистское время, в обстоятельствах бурной российской истории все больше становится тех, кому суждены сломы не только семейные, профессиональные, а подчас и географические. Им словно бы удается обрести не одну, а две-три жизни. Для миллионов живущих сейчас в Германии русских (не обязательно этнических русских, а по принадлежности к культуре, языку, ментальности) их обитание в этой европейской стране — особая другая жизнь, куда они привнесли свое прошлое и где обрели совсем иное, чем там, где они родились, настоящее. Одни пытаются отрясти прах прошлого со своих ног и скорее стать немцами, другие ощущают себя своего рода мостом между ушедшей жизнью и будущим своих детей. Едем дас зайне — каждому свое — как с инфернальной философичностью было написано на воротах Бухенвальда. У меня годы жизни в Германии вызвали сложный букет противоречивых чувств, которые отразились в новеллах предлагаемого читателю «ДН» литературного дневника.

I. Ностальгия

Музыка на вокзале. В шесть часов ледяного ноябрьского утра с грудой чемоданов стоим на перроне ганноверского вокзала. Люди обтекают нас, спеша на ранние пригородные поезда, — утренняя невыспавшаяся Европа.

Жена и сын уходят искать такси, а я остаюсь сторожить чемоданы. Стою, прикрыв глаза, впитывая запахи и голоса вокзального мира — сигаретный дым, сладкую вонь дезодоранта, кашель, шарканье ног, обрывки слов. И вдруг в эту мешанину звуков сначала чуть слышно, а потом явственнее пробивается старый российский вальсок. Снится мне, что ли? Но нет, потом идет «Катюша», потом еще что-то забытое из репертуара шестидесятых.

Лет сорок назад мой друг, ныне уже покойный, опубликовал в «Юности» рассказ «Музыка на вокзале». Парень уезжает в Среднюю Азию, обретая тем самым свою мечту, а его девушка и друг остаются в Москве и мечту свою не обретают. Действие происходит на вокзале, там громко звучит музыка и заглушает последние слова отъезжающего мечтателя. Рассказ был навеян нашими непрерывными отъездами, провожаниями, письмами, романами. Музыка тогда звучала сверху, из репродукторов, громко и настойчиво. Здесь она робко пробивается через вокзальный шум откуда-то из подземного перехода, и, сделав несколько шагов к его устью, я вижу щуплого парня в распахнутой куртке, раздвигающего меха аккордеона. На полу валяется шапка со скудной горстью мелочи. Вот она, музыка моей старости.

И потом уже в пространстве новой своей жизни я узнаю, как монополизировали мои российские соотечественники профессию уличного музыканта, как приезжают

они на полгода, а то и больше со своими аккордеонами, гитарами, саксофонами и вливаются в это бродячее племя, узнавая его законы и порядки — в каком городском ведомстве почем покупать разрешение, где можно легально петь, а где нельзя, какие места хлебные, а где почти не подают, не кидают монету в открытый футляр от инструмента или в пластиковый стаканчик, с которым ты обходишь пассажиров. И звучит, звучит в берлинском метро, в мюнхенской подземке, под вокзальными сводами разных городов или на уличных перекрестках «Смуглянка-молдаванка» или «Школьный вальс».

Старый песенник. Но не только на улице это поется. Знаю одну берлинскую компанию «из наших», которая, собираясь в застолье, поет под гитару старые советские песни.

Если б сказали этим людям — журналисту, телеоператору, переводчику, ученому — в их прежнем московском бытии, что когда-нибудь они будут вот так вот хором после рюмки распевать «песни советских композиторов» — ни за что не поверили бы. Они всегда были люди компанейские, открытые для общения, и уж о чем только не переговорено было на московских кухнях — о политике и литературе, о том, когда она — эта самая Софья Власьевна — отправится в тартарары и какое ж тогда счастливое время наступит, о Солженицыне и Пастернаке, и самиздатом обменивались «на одну ночь», и рюмки осушались не как теперь — по одной, символически, — а куда больше, но чтоб хором петь «Где ж вы, где ж вы, где ж вы очи карие…»

Люди российские конечно же пели на праздники, на народных гулянках, в деревнях, в городских дворах, допьяна напившись, разинув слюнявые рты, «Шумел камыш…» Только не эти. Этим-то — с какой стати петь. Окуджаву послушать, Галича — другое дело. Но — «Что ты Вася приуныл, голову повесил…»? Это невероятно.

Вероятно, очень даже вероятно.

Открываю книжку, случайно попавшую в мой берлинский дом, — «Русские советские песни», Москва, 1952 год — и прямо уносит вальсовая волна — «С берез неслышен невесом, слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист».

А другое — «Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирала виноград…»

Сидим компанией, все на седьмом десятке. Какие тебе смуглянки-молдаванки. Жены рядом, с которыми жизнь прожита, но, боже мой, как зажигает, как заводит, с каким молодым задором и молодой пленительностью это поется: «Я смущенный и влюбленный пред тобой». Как живет в человеке до самого смертного часа память о первой любви и как сердечным сжатием откликается в мелодии — «Я влюбленный пред тобой».

А «Эх, дороги…» — просто гениальная, на мой взгляд, самая совершенная русская песня, которую я когда-либо слышал. Мелодия А. Новикова, словно облагородившая и гармонизировавшая заунывность народных похоронных плачей, вобравшая в себя печаль и муку расставания с миром, прекрасным даже в трагедии войны. И вместе с тем чувство непрерывности существования: «А дорога дальше мчится, пылится, клубится. А кругом земля дымится, чужая земля». В чем сила воздействия этих простых слов: «Выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит». «Неживой», не мертвый, а именно неживой, так и надо было сказать. И что же все-таки заложено в человеке, если Лев Ошанин, этот советский конформист, славивший Сталина, партию, написавший «Гимн демократической молодежи», мог написать такое? Многое ему простится за слова этой песни.

Напомню, что книга издана в 52-м и, стало быть, все это песни сталинского времени, наполненного войнами, террором, голодом, страхом. Но ничего этого как бы не было в советской песенной культуре. Была, конечно, война. Гремел грозный призыв «Вставай страна огромная», тосковал солдат по дому («Горит свечи огарочек…»), звучали марши, любовные романсы — люди страдали, тосковали, любили, ненавидели и умирали. Но печаль была мудра, ненависть заострена на враге, любовь освящена высоким чувством семьи, и вся грязь, кровь, все низменное страшное, что свойственно всякой войне, оказывалось за бортом песенного корабля, вне поля

видения и мышления поэтов и композиторов. А другие проявления жизни — и сельской, и городской, — те вообще были напоены таким романтическим настоем, такой радостью бытия, что мелодии просто улетали в солнечную синеву, растворяясь в прекрасном Едином. «Весны своей огни навеки в душе сохрани. Пускай они светятся, если вдруг встретятся облачные дни».

Мы словно знать не знаем и помнить не хотим тягостную, а подчас трагическую реальность времени, в котором жили всю предшествовавшую переезду жизнь и теперь вот откликаемся на эти романтические тексты, на звучащие в нашей душе мелодии, с таким упоением поем их в нашей германской глухомани…

Ни одно последующее поколение в российской истории не понимает, как могло существовать предыдущее, как оно вообще выжило и сохранило себя. Перелистывая газеты тридцатых годов с их людоедскими лозунгами типа «Раздавить гадину!», то есть уничтожить тех, кого еще вчера те же газеты называли вождями, я спрашивал отца — журналиста тех лет: «Как можно было работать и вообще жить в такой атмосфере?» Но и молодые коллеги, нынешние наши современники спрашивают меня, начавшего свою профессиональную жизнь в шестидесятые годы: «Как можно было работать в ту эпоху всеобщего тоталитаризма?» Не забудем: и в тридцатые, и в шестидесятые годы при всей противоестественности политического строя люди работали, жили, любили, воспитывали детей. И как бы ни тягостна была жизнь страны, отдельное человеческое существование теперь представляется проникнутым многим светлым и радостным, о котором мы храним воспоминания.

Эти воспоминания, воплощенные в мелодиях, в словах, пусть и нехитрых, но живых, народных, сейчас трогают наши души. Ностальгия по прошлому может существовать, как бы ни ужасно было это прошлое в общественном смысле. В личном плане оно все равно освещается светом жизни.

Дописал эти строки, включил русское телевидение, а там поет-разливается под руководством тогдашнего министра культуры Швыдкого конкурс «Песня XX века». Та же ностальгия. Только во всероссийском масштабе. Но нас ведь и не отделишь от метрополии. Мы часть той культуры, той советской цивилизации. И память одна, общая, и песни.

В поисках Кондафорда. В Ганновере мы жили как в деревне. Городская окраина — зелено, тихо, пустынно. Оторвавшись от рукописи, сижу на балконе с каким-нибудь старым зачитанным романом для отдохновения души. Однажды попался «Конец главы» Голсуорси.

Голсуорси в пятидесятые был кумиром московских интеллигентных домов. Все запоем читали «Сагу о Форсайтах». «Конец главы» — продолжение «Саги» — я купил по случаю в конце семидесятых в каком-то деревенском магазине на пути из Себежа в Псков и сам удивился той поглощенности, с которой стал читать в междугородном автобусе.

Замок Кондафорд, его обитатели — провинциальные английские аристократы, чувствующие себя неотделимыми от примыкающей к поместью деревни, девушка Динни с васильковыми глазами, конфликты из-за нарушения супружеской верности, из-за перехода в ислам под дулом пистолета (вынужденная смена религии — бесчестье для англичанина). Старая добрая Англия, которую автор нежно любит и которая в его изображении, в сущности, не изменилась ни с диккенсовских, ни с викторианских времен.

Я так проникся этой жизнью столь бесконечно далекой от нашего жестокого и грязного существования, что в сцене, когда благородный священник обещает умирающей девочке кино на том свете, заплакал. Я не плакал, когда у меня на руках умирал мой собственный отец, проживший жизнь полную таких ужасов, которые герои Голсуорси даже вообразить не могли. А тут, когда священник, держа холодеющую руку ребенка, подумал: «Ну, а теперь, Господи, если ты существуешь, покажи ей кино!», почувствовал, что у меня текут слезы.

Перечитывая эту книгу на балконе в Ганновере, я задумался о том, чем же меня привлекает этот слабый сентиментальный роман? Конец родовых дворянских гнезд — это ведь и бунинский сюжет. «Скажи поклоны князю и княжне…» И Толстой в

своей Ясной Поляне, и Бунин, выросший в елецком поместье отца, знали деревню великолепно и, как хозяева Кондафорда, чувствовали себя неотделимыми от нее. Но в рассказах Бунина появляются страшные, необычайно выпукло изображенные люмпенизированные мужики, которые в своем бессмысленном и беспощадном бунте вышибли последних обитателей этих российских кондафордов из страны, пустив их скитаться по свету.

Голсуорси между тем даже и не думает изображать кондафордских селян, они просто фон, как предметы мебели в замке. Они не нужны ему, не интересны. Рабочие, фермеры — знаковые фигуры и у Диккенса. Ни судеб, ни тонкости чувств им не приписывается. Это ж у нас так колоритны Платоны Каратаевы да Захары Воробьевы. Они действующие лица Истории, превратившей страну в плавильный котел, сорвавшей с места людей разного звания, лишившей их корней, среды, воспоминаний, постоянного места обитания.

В семидесятые годы у нас в редакции аграрной газеты стали давать садовые участки в Подмосковье. И как же эти крестьянские дети, которых немало носило по России, по ее областным и районным весям, ухватились за землю, с какой страстью стали обустраивать ее, строить дома, с каким наслаждением жили там, пахали и сеяли, даже умерших стариков хоронили на близлежащем деревенском кладбище — пустить бы корни, осесть, зацепиться за якорь своего миниатюрного Кондафорда.

Я тоже взял участок, и дом построил, но не пахал, не сеял, а просто отдыхал, писал там иногда, за что и было мне от сослуживцев прозвище добродушно-презрительное — «дачник». Они полагали, что природа у меня другая — еврейская. А всякий еврей — вечный жид. Что их скитания в сравнении с моими! Они на протяжении одного-двух поколений перебрались из русской деревни в город, испытав шукшинский слом сознания. Мой же род каждые полвека меняет не просто города и страны — культуру, цивилизацию.

После нескольких лет германской жизни приехал в Москву. От дома, где прожил последние тридцать лет, остались одни стены. Вся начинка выбита, говорят, будет здесь престижное — не чета нашему прежнему — жилье. В пустых бойницах окон третьего этажа виднелось пятно уцелевшей штукатурки с клочком зеленых обоев. Там была комната сына.

Влекомый ностальгическим комплексом, поехал на восточную окраину города, где родился и прожил первые двадцать лет жизни. Дом, построенный в двадцатые годы и казавшийся тогда со своими четырьмя этажами огромным, стоит. Притулился в тени блочно-панельных гигантов. Еле-еле отыскал свою школу. Все перепланировано, перестроено, кажется, и улиц моего детства нет. Все заплыло, заволокло водой времени.

Где мой Кондафорд? Ау! Не замок — дом, улица, страна? Где мне бросать якорь, ждать внуков? Здесь, в Ганновере, на Гофман фон Фаллерслебенштрассе, где так мирно сидится на балконе со старым романом в руках? Между прочим, этот самый Гофман фон Фаллерслебен — романтический поэт девятнадцатого века — некогда написал германский гимн «Дойчланд, дойчланд юбер аллес!» — «Германия, Германия, превыше всего!»

II. Мы в Германии

Общежитие имени экономиста Карла Маркса. Получив постоянный вид на жительство, мы были обязаны пройти полугодовые языковые курсы. Наши курсы назывались «Inlinqua». И все здесь было по-немецки основательно и благонамеренно — от выбитой на здании надписи «Verein fur Forbildung», что можно перевести как «общество повышения квалификации», до портретов президентов ферайна, начиная с самого первого — из девятнадцатого века — с горделивой осанкой, закрученными усами и стоячим воротничком.

Но в нашей классной комнате плещется век нынешний. Кого только нет среди 24-х человек, заполнивших класс! Немцы из Казахстана, Узбекистана и Сибири, евреи из Украины, Москвы и Петербурга, курды из Ирака, персы из Ирана, азербайд-

жанцы из Баку. Все вместе мы зубрим немецкие глаголы, болтаем на причудливой языковой смеси на переменках, пьем вино на совместных застольях, поочередно устраиваемых в дни рождения здесь же, в классной комнате за сдвинутыми столами. Это временное интернациональное сообщество подвигло меня по ассоциации с ильфовским общежитием имени монаха Бертольда Шварца на название — общежитие имени экономиста Карла Маркса.

Месяц в этом общежитии идет за месяцем. Меняются громкоголосые фрау, преподающие нам языковую премудрость, взвивается вверх на вертикальных рельсах исписанная мелом доска. Мы погружаемся в жизнь то герра Флика, который застал свою жену целующейся с его деловым партнером, то герра Беккера, который торгует обувью, в полдень обедает, а вечером добродетельно сидит у телевизора. Мы с муками разбираем заметки в ганноверской «Вечерке», радостно сообщающей о наступившей жаре и купанье на Машзее. Мы дремлем, когда на уроке скучно, и бродим в обеденный перерыв по тенистым аллеям огромного парка, заселенного нашими соотечественниками, жующими, острящими и грустящими на скамейках под сенью старых развесистых деревьев. Мы пытаемся понять и освоить мир, в который попали.

Иностранцев в стране около 8 миллионов. Более двух миллионов турок, миллион выходцев из Югославии, еще миллион — из различных европейских стран. Сюда не входят русские немцы, которые иностранцами, естественно, не считаются, но тоже проходят процесс интеграции, несут русский язык и культуру. Их — более двух миллионов. Выходит, что у каждого десятого жителя Германии родной язык ненемецкий.

Гитлер с его мечтой о расово чистой Германии в гробу перевернулся бы, если бы увидел улицы немецких городов, заполненные смуглыми, черными, желтыми людьми. И именно они, эти смуглые люди, восстанавливали разоренную войной страну, создавая базу для «экономического чуда». В середине пятидесятых годов ФРГ заключала договора о наборе неквалифицированной рабочей силы с Италией, Испанией, Грецией, а затем, когда трудовые ресурсы этих стран исчерпались, — с Турцией, Марокко, Тунисом.

Молодые немцы учились в университетах, становясь учителями, врачами, учеными, старики уходили на пенсию, а «черную работу» делали «черные». И все труднее становилось отправлять их после истечения договора домой, все чаще они пользовались всевозможными ухищрениями, лазейками в законах, чтобы остаться в сытой благоденствующей стране, превращая ее общество в мультикультурное — «мультикульти».

Эта мультикультурность ощущается и в нашем «общежитии» в характерах его обитателей, в их реакции на предлагаемые на занятиях тесты. Вот, скажем, такое упражнение. Картинка 1. Человек читает газету. Собака лает на дверь. Картинка 2. Человек идет к двери. Собака лает. Картинка 3. За дверью никого. Задание: придумайте, что может быть на картинке 4, которой нет. Харьковчанин Захар придумывает: человек возвращается, а собака сидит в кресле и читает газету. Перс Мухаммед, инженер из Тегерана, возмущается. Человек есть человек, а животное есть животное. Нельзя так фантазировать. Он человек строгих правил, четких представлений о жизни, где каждый занимает свое место.

Или обсуждаем текст об эмансипации. Мужчина остался без работы, ведет хозяйство, а жена работает — ситуация в Германии нередкая. Наша преподавательница Клаудиа — молодая немка с аристократической фамилией с приставкой фон — говорит об уравнении прав, о том, что у нее муж все делает по дому. Перс сказал, что не может понять, как это женщина не хочет готовить. Это не укладывается в его сознании.

Кстати о готовке. Чтобы оживить занятие Клаудиа предложила написать на доске рецепт приготовления украинского борща. Как встрепенулись все, как оживились! Со страстью обсуждали, какое мясо класть. Захар утверждал, что обязательно куриное: настоящий украинский борщ только с курицей. Ему ли, харьковчанину, не знать? Эмма настаивала на говядине и чтоб обязательно с косточкой. У них в Казахстане делали только так. Ее поддержали. И пошло — капуста, паприка, красная свекла...

— Про чесночок, про чесночок не забудьте, — стонал упитанный часовщик из Петербурга.

— Редиска нужна, — утверждал администратор бакинского ресторана Физули.

— Зачем тебе редиска?

— Рядом положить.

— Эх, зря об еде, — вздыхал бакинец Адам, не дурак выпить и закусить. — И так есть хочется. — А под конец наставительно вставил в общий ор. — Чтоб мясо обязательно жирное было.

Все записали, затихли, устали, успокоились. И только отдельными вспышками слышалось: «Кетчуп бы туда».

И уже под занавес Клаудиа, писавшая все это с материнской иронией, когда ей сказали, что перед едой надо обязательно положить в борщ сметану — «шмант», сладострастно зажмурилась и повторила: «Шмант, йа».

Но не только кулинарные барьеры и пристрастия разделяли нас. Как-то Клаудиа увидела на моем столе русский журнал с изображением Ленина в мавзолее. Она оживилась и стала спрашивать, что мы думаем о том, лежать ли ему там, видимо, и до нее дошли отголоски спора, который был популярен в то время. Вся русскоязычная часть класса возбудилась: кричали, перебивали друг друга — надо выносить мумию из мавзолея, не надо выносить, где хоронить... Крик продолжался довольно долго, пока курд Ахмед не спросил: «А кто такой Ленин?» В классе наступила тишина. И в это тишине раздался голос перса Мухаммеда: «Мы десять минут обсуждаем, где лежать Ленину. А где он лежит и кто он такой?» Взрыв хохота. «Не знаешь и лучше тебе не знать», — кричали русские.

На перемене Мухаммед расспрашивал меня о Ленине — когда он жил, можно ли его сравнивать с Гитлером или с Хомейни?

На другой перемене разговорился с пожилым татарином, много лет проработавшим в Средней Азии на урановых рудниках и приехавшим сюда вместе с женой — русской немкой. Я упомянул о ельцинских реформах, и он вдруг вспыхнул: «Да что вы мне говорите... Россия была ядерной державой, а сейчас что? Президент, который расстреливал из танков парламент... Что вспоминать об очередях за колбасой! А сейчас лучше?» Махнул рукой, отошел. И такая была в его голосе надсадная ярость, такая тоска по загубленной жизни, по несвершившемуся покою на старости лет, такое неприятие всего того, что бросило его доживать жизнь на чужбине, которая хоть и сытая, и спокойная, а все — чужбина, что жутко стало.

Где они все эти люди, с которыми я провел полгода в школьном здании на тихой улице с императорским династическим названием Гогенцоллернштрассе? Кто поучился еще на профессиональных курсах и, получив новую специальность, работает, кто устроился по старой профессии. Старики сидят с внуками, которые, став полноценными немцами, и знать не хотят о российском прошлом их дедов, о том, как они там жили в далекой диковинной стране, и как приезжали обживаться в Германию. Что ж, и нам, и внукам — каждому свое.

Истории успеха. Повторю: где они все эти люди? Как складываются судьбы моих соотечественников, прибывших в лоно Германии не в старости (с этими все понятно — пенсия, если ты немец, социальное пособие, оплаченное жилье, бесплатная медицинская страховка — если еврей), а в трудоспособном возрасте — молодом ли, зрелом ли? Ох, много по этому поводу по русской Германии всяких историй, легенд, соображений ходит. Я же по своему довольно многочисленному окружению, по многолетнему редактированию русскоязычной газеты, дающему широкое поле общения, полагаю так: кто действительно хочет работать обязательно найдет себе применение, а по своей старой профессии или освоив новую — это уж вопрос другой.

Как происходит обретение работы в чужой стране, каких усилий и какой целеустремленности требует — тема особая, и я столкнулся с ней несколько лет назад, когда мне предложили составить и отредактировать сборник историй успеха под названием «Мы в Германии». В нем было сорок биографических рассказов выходцев из постсоветского пространства, которые, как предполагалось, с достаточной мерой искренности рассказали, как они нашли в Германии способ существования, через

какие препоны прошли на пути к этой цели. Некоторые из них писали о себе сами, другие открывали душу «беседчикам», одним из которых был и я. Врачи и инженеры, ремесленники и предприниматели, музыканты и компьютерщики — сорок автопортретов. Я перелистываю страницы сборника, всматриваюсь в фотоснимки его героев, многих из которых я знаю, и словно бы вхожу в жизнь каждого из них, наполненную поисками и надеждами, разочарованиями и всплесками энергии.

Вот Игорь Жуков летним воскресным утром идет по улице Потсдама, ведущей к озеру от его дома, неся байдарку и весло на плече. Наверное, и у себя в Питере он шел бы точно так же, ибо и там этот спорт, как и строительство байдарок были его любимыми занятиями. Он из тех рукастых, умелых и гармоничных людей, которые принимают жизнь такой, как она есть, и всегда находят в ней свое место. Сейчас ему под шестьдесят, а когда он приехал в Германию, ему было чуть за сорок. К тому времени он двенадцать лет, имея инженерный диплом, проработал испытателем авиадвигателей, а когда завод «перестроился» настолько, что люди остались без работы, организовал с друзьями-туристами кооператив по строительству байдарок. Дело шло, но в конце концов ему, по собственным его словам, «надоело видеть рожи бандитов и коррупцию чиновников».

В Потсдаме он пошел учиться на столяра, так как полагал, что в Германии после войны было запрещено развивать авиационную промышленность и, стало быть, работа по специальности ему не светила. А когда узнал от случайного знакомого, бывшего гэдээровского летчика, что под Берлином есть завод «Роллс-Ройс», который делает авиадвигатели, удивился, но все же с помощью того же летчика написал туда письмо. А дальше начался спектакль, с неожиданными поворотами сюжета, которые обязательно присутствуют в рассказах почти всех, кто излагал свою историю успеха. Игорю предложили инженерную работу в бюро, хотя он просился на должность сборщика двигателей. В бюро требовалось совершенное знание не только немецкого, но и английского языка, и к тому же начинать инженерную карьеру в его возрасте ему показалось сложно. Он испугался, вызвав удивление своего собеседника, который тем не менее послал за начальником сборочного цеха. Пока Игорь сидел один в ожидании главного сборщика, он обратил внимание на висящий на стене плакат двигателя в разрезе. Делать было нечего, и он весь этот двигатель вызубрил наизусть. А когда начальник таки пришел, выложив ту же самую схему, и попросил рассказать, что он на ней видит, Жуков поразил его своей эрудицией, умолчав, что плакат-то висит у них за спиной. Его взяли, сначала на временный, а потом и на постоянный контракт. Он так и работает на этом предприятии, которому принадлежит сорок процентов мирового производства двигателей для гражданской авиации, миновав кризисы, чреватые сокращениями рабочей силы. Мир его гармоничен, отношения с людьми естественны и не сложны.

«С немцами общаюсь с удовольствием, — говорит он. — Кстати, меня всегда удивляет, когда кто-то говорит, что здесь не любят иностранцев. Почему кто-то вообще должен любить незнакомого человека? Когда люди видят, что человек работает так же, как и они, нормально реагирует на все происходящее, какие могут быть основания питать неприязнь к такому человеку? Мне нравится эта страна и эти люди. Их есть за что уважать. Ведь после войны Германия была разрушена настолько, что сравнить это можно только с разрушениями в Советском Союзе. В нее американцы вложили колоссальные деньги. А немцы, вместо того чтобы эти деньги разворовать, восстановили страну. И не просто восстановили, а сделали ведущей экономической державой Европы. И тем самым похоронили идею реванша. Ведь фашизм родился из нищеты».

Вот такая вот политическая философия этого урожденного ленинградца, а ныне потсдамского жителя. В его автобиографическом рассказе мне видятся некие прототипические сюжеты и рассуждения, характерные и для других героев сборника «Мы в Германии» и, прежде всего, уважительное и объективное отношение к этой самой Германии, свойственное оптимистическому мироощущению человека, добившегося здесь успеха. Никаких тебе — да ну их этих немцев, все равно им умом Россию не понять и вообще Восток есть Восток, а Запад есть Запад. Вот диалог сына моего

московского приятеля Льва Мадорского, сорокалетнего брауншвейгского судьи Саши Мадорского с собственным отцом.

Отец: А как воспринимают ответчики и истцы судью-иностранца? Ведь они, наверное, догадываются по акценту, что ты не коренной немец. Знакомый врач-хирург, прекрасный специалист, сделавший в Москве более тысячи операций, рассказывал, что были случаи, когда пациенты, которых он должен был оперировать, узнав о его российском происхождении, отказывались ложиться на стол. Да что там хирург — даже у зубного врача, приехавшего из Советского Союза, порой бывают проблемы с пациентами. Многим еще всюду мерещится русская мафия и купленные дипломы. Ты не сталкивался с подобными настроениями?

Сын: Скажу честно, не сталкивался. Ни разу! Иногда даже сам удивляюсь. Пару раз случалось, что истец или ответчик писали на меня жалобы начальству, так как не были удовлетворены приговором. Причем подчас в резких тонах. Но никогда в жалобах даже косвенно не делался намек на то, что судья не коренной немец. Никогда! О чем это говорит? Не только об уважении к самому институту суда, но и том, что жалобщики понимали: на иностранное происхождение судьи ни коим образом не усилит суть жалобы. А скорее, наоборот, вызовет негативную реакцию.

Другой нередко повторяющийся сюжет рассказов касается того, как они нашли работу, получили постоянный контракт. Сделать это совсем непросто, твой инженерный или какой-либо другой советский диплом здесь мало кого интересует. Ты должен показать себя, доказать, что ты лучше других, Бога за бороду поймать. И воспоминание об этом греет душу рассказчиков, дает все основания для самоутверждения. Вот шестидесятилетний инженер из Кировограда Дмитрий Улановский. Двадцать лет назад он приехал с женой в Дортмунд. Позади обычный вполне достойный путь: институт, завод, НИИ сельхозмашиностроения, кандидатская. Но сколько их таких технарей-кандидатов приехало в Германию, кто из них «бумажный» специалист, а кто настоящий? У Улановского, как и у других, все начиналось с курсов — сначала языковых, потом технического черчения, которые дали ему представление о немецких машиностроительных нормах и стандартах. Но получать диплом техника-чертежника ему не хотелось, дальше будут воспринимать его только в таком качестве. Он лихорадочно ищет работу. В конце концов выходит на фирму, которая производит узлы для автомобильных двигателей. У нее сложности с качеством изготовления некоторых деталей, и у Улановского спрашивают, как он видит решение проблемы? Подумав, он не только предложил конструктивные решения некоторых приспособлений, но и обещал сам провести их наладку и запуск в работу, что в общем-то не соответствовало немецкому инженерному менталитету. Конструкторы здесь делают свое дело, а производственники — свое, между ними разрыв. Он же заявил, что считает свою работу законченной только после проверки изделия в работе, что в данном случае оказалось важным. Его взяли на работу, но впереди была борьба за постоянный контракт, который с ним заключили по истечении года.

— Если бы жили в прежнем Союзе, — сказал ему интервьюер, — я бы наклонился к вам и на ушко спросил бы, не дали ли вы взятку начальнику отдела кадров?

— А я ответил бы, что дал, — улыбнулся Улановский и назвал бы точную цифру взятки — 38 тысяч марок. — Дело в том, что у нас решалась задача специальной упаковки одного очень хрупкого и точного изделия. Заказ стоимостью в 40 тысяч марок был выдан одной солидной немецкой фирме, но разработанный ею механизм был очень капризен в работе. Я предложил другое более надежное устройство, которое стоило всего две тысячи. Вот вам и взятка, которую я дал фирме.

Как стать богатым. Но что я это все об инженерах да инженерах, словно бы говорит во мне моя юность, когда это была главная и наиболее престижная интеллигентная профессия, которая, правда, впоследствии так девальвировалась, что кругом все стали инженеры. Расскажу-ка я о сценаристе, который здесь, в Германии, стал предпринимателем, хозяином транспортной фирмы, а потом снова стал писать сценарии, не бросая своего бизнесменского занятия. Такая вот причудливая судьба.

Мы сидели в маленьком кафе на шестом этаже знаменитого берлинского магазина KaDeWe и хотя встретились здесь случайно, место это для разговора на тему,

как стать богатым, оказалось многозначительным, ибо все, что нас окружало, говорило о том, как хорошо быть богатым. Неподалеку господа хорошие ели устрицы, запивая их шабли. За стеклом прилавков розовели нежные балыки, переливались разными цветами изысканные продукты — от невиданных копченостей до коллекционных чаев редкостного вкуса и аромата. Ну, а как же иначе, ведь мы находились в Kaufhof des Westen — Торговом доме Запада — витринном и самом известном предприятии немецкой торговли.

Попивая кофе в этом храме роскоши и изобилия, мы вспоминали с Ильей Цофиным 35-летнего советского интеллигента, двадцать лет назад переломившего свою жизнь надвое и ставшего беженцем в берлинском предместье Марцан.

«Я был обыкновенный советский человек, если можно так сказать, интеллигентского сословия. Родился в Ульяновске. Учился в школе в Запорожье, где родители инженерили на заводе. Кончил экономический факультет Донецкого университета и какое-то время работал экономистом на заводе. Но это было недолго. Ушел на телевидение, в кино. Поступил во ВГИК, на сценарный факультет. Учился заочно и работал в Запорожье на телевидении режиссером и сценаристом. За свое вгиковское время я написал десяток сценариев — это была учеба. Один из них напечатал «Советский экран». Но через год после окончания института, в 90-м я уехал в Германию. Почему?

Было полное ощущение, что перестройка закончится возвратом к советизму, ловушка захлопнется, и никуда не уедешь, так как коммунисты вернутся к власти. Ощущение приближающейся беды висело над головой и подгоняло за кордон. Я взял туристскую путевку в ГДР и остался в Берлине. Нас таких оказалось несколько десятков. Жили мы в общежитии, гуляли по лесу, строили планы. Постепенно, пройдя через всякие бюрократические перипетии я получил статус, паспорт, снял квартиру, поселился и ... начал писать сценарий. Мы это делали вдвоем с моим сокурсником, к тому времени также перебравшимся из Москвы в Берлин. У нас там в этом сценарии в России происходил переворот, военные свергали Ельцина — сложный сюжет. Нам дали так называемую европейскую поддержку. Есть такой фонд, который материально поддерживает перспективных сценаристов. Мы даже деньги оттуда получили. И знай себе работали — первый вариант, второй вариант... А когда закончили, режиссера-постановщика не нашлось.

Два с половиной года я угрохал на этот сценарий, получив за это время из фонда европейской поддержки восемь тысяч марок. И тогда я сказал себе: надо искать себя в каком-то другом деле.

Это был 92-й год. Все, кто имел хоть какие-нибудь связи с Россией, на торговле с ней делали себе состояния. И вот я нахожу приятеля, давно живущего в Германии и отлично знающего немецкий язык, мы объединили наши усилия и начали торговать с Россией. Я поехал туда, навел мосты и в Москве, и на Украине, и в Белоруссии. И мы стали торговать, чем попало: от бронированных автомобилей до куриных окорочков. Чего только не поставляли мы в Россию — то партию подержанных «вольво», то новогодние подарки для детей... Создавали первоначальный капитал. А потом решили закупить крупную партию металлолома в Калининграде. И на этом наш бизнес кончился. Вместо металлолома приехали четверо каких-то криминальных типов. Отбиться мы от них отбились. А вот деньги потеряли. Так я разорился в первый раз.

Моего компаньона это сломало. Он больше не вернулся в бизнес. А я был моложе, может быть, агрессивнее и сделал для себе очень важный вывод: ничего нельзя сделать в один день, нельзя проснуться миллионером. Надо осваивать профессию, каждый день ходить на работу, рано вставать и пахать до позднего вечера.

У меня был один партнер в России, в Набережных Челнах, хозяин небольшой транспортной фирмы, у которого имелся представитель в Германии. И вот этому представителю не продлили визу, и срочно понадобился человек на его место. Мне пообещали «огромную» зарплату — 800 марок в месяц, правда, через полгода ее утроили. Я с таким напором взялся за дело, что результаты были очевидны.

Фирма находилась в Набережных Челнах. Это тридцать большегрузных КамАЗов, которые возили в Германию литье. Приехал шофер, ему нужно разгрузиться и обратно не пустым же ехать. Ему надо помочь, ведь немецкого он не знает, мало

ли что — в полицию попал, авария, наконец, а самое главное — найти обратный груз. Вокруг этого всегда вьются и кормятся разные посредники. Я же стал напрямую выходить на немецкие экспедиции, предлагать им машины, начал завязывать связи. Автомобили стали быстрее оборачиваться, не стоять неделями в ожидании обратного груза, фирма сразу же ощутила плоды моей работы на своей экономике.

КамАЗ продавал в Германию литье, а мы возили его. Я находил обратный груз, давал деньги водителям, по буквам диктовал им, как проехать, заботился о ремонте, если машина сломалась, объяснялся с полицией, если водитель напился... Много чего приходилось делать. Бизнес развивался, и я рос вместе с ним — оптимизировал расходы, искал новые стоянки, покупал топливо. Мотался с утра до ночи — с восьми утра до десяти вечера. Это и было освоение профессии.

Все вроде шло хорошо, у нас появилось имя, нас знали крупные немецкие экспедиторы. Но надо было переходить с КамАЗов на немецкие автомобили. КамАЗы слабосильны, ненадежны, каждая поломка — это катастрофа, была под Берлином всего одна фирма, которая торговала запчастями к ним. Я не говорю уже о высоком расходе топлива. Но пересесть на «вольво», «мерседесы» и другие западные грузовики, можно было, лишь получив кредиты под их покупку. Вот этим-то я и занимался полгода, преодолевая предубеждение, которое немецкие банки имели против российских фирм. Вслед за первой кредитной линией, позволившей нам приобрести десять западных машин, последовала вторая. В конце концов я стал совладельцем фирмы. И тут — дефолт 1998 года. В один день фирма потеряла миллион марок. Представляете? Ведь нам платили в рублях, а мы их меняли на валюту. И вот за рубль стали давать в пять раз меньше, чем раньше. А у нас кредиты невыплаченные за купленные машины. Банк, конечно, понимает: форс-мажорные обстоятельства, государство объявило себя банкротом. Но месяц идет за месяцем, и наши кредиторы начинают волноваться. А у нас в фирме еще и отношения осложнились. Знаете, когда все хорошо, все друг друга любят, а пришла беда — хочется найти виноватого. К тому же у нас с моим партнером оказались разные взгляды на то, как надо выходить из этой ситуации. Я считал, что надо искать новые рынки, а он, что следует ужаться, уволить всех, кого можно, и за счет такой экономии отдавать кредиты. Словом, разошлись мы с ним подобру-поздорову. Я забрал свою часть собственности — десяток машин, обремененных долгами, и двинулся в Казахстан, так как его кризис не зацепил. Нашел в Алма-Ате партнеров, которые дали денег, и я, таким образом, смог в течение года вернуть банку долги, зарегистрировал в Германии новую транспортную фирму. Но это так легко говорится сейчас. А тогда, помню, как сидел перед казахстанским предпринимателем, который смотрел на меня оценивающим взглядом, и я около часа развивал свою программу, убеждал в перспективности и выгодности проекта, в который предлагал войти ему в качестве компаньона. Убедил. Построили мы в Алма-Ате гараж, создали бюро, нашли там водителей, заказчиков и начали возить грузы, развиваться мало-помалу, увеличивать парк машин (сейчас их у нас тридцать), оборот грузов. Словом, дело опять пошло. Но все это так легко говорится, а на деле сколько нервов, сколько риску было...

Как всякий разумный бизнесмен, я плачу себе приличную зарплату, а остальное вкладываю в развитие дела. Вообще жить надо достойно, не отказывая себе в радостях и удовольствиях. В этой стране так много соблазнов. Хочется жить в хорошей квартире, ходить в ресторан, купить жене красивое платье, отдыхать на морском курорте. Это нормально. И надо заработать право на такую жизнь. Я вообще считаю: энергичный и способный человек нигде не пропадет, он обязательно найдет себя не в одном так в другом деле. Поскольку мир несправедлив изначально, ты получаешь только ту справедливость, которую ты сам для себя отвоевал, отбил, получаешь тот мир, который ты сам себе создал».

В конце нашего разговора я спросил, как это получилось, что он опять начал писать сценарии для российского телевидения и как будто бы небезуспешно. Но он не стал развивать эту тему, видимо, полагая, что здесь особая история, о которой еще рано говорить.

Что говорит рабочий класс. И снова застолье. Только на сей раз в Ганновере, в хорошем семейном доме. Селедка была не маринованная, как здесь принято, а привычного пряного посола. Картошка разваристо лежала на блюде, исходя паром. Соленые огурцы, винегрет — все в жанре гастрономической ностальгии. За бутылочным стеклом прозрачно стоял «Кристалл», специально привезенный из Питера к недавно прошедшему юбилею хозяина дома. Юбилейная дата была круглая и немалая, совсем не вязавшаяся с обликом этого еще бравого человека, всю жизнь прослужившего в российском флоте.

К третьей рюмке подошел сын хозяев — 28-летний инженер, налитой силой, накачанный в спортивном зале, где он занимался бодибилдингом, пригубил с нами рюмку и принялся за котлету.

— Давай за детей наших выпьем, — сказал хозяин. — За то, что бы они жили не тужили и водочку не пили. Твой ведь, кажется, тоже не принимает.

— Говорит: нет потребности.

— И у моего нет потребности. А вот в спортзал ходить есть потребность. Говорит, если не качается, плохо себя чувствует.

Выпили по третьей. Сын улыбнулся и подмигнул мне. Был он, вопреки сложившемуся в России образу качка, характера добрейшего — славный интеллигентный питерский парень. Не найдя работы по своей кораблестроительной специальности (незадолго перед отъездом был получен инженерный диплом), он устроился на «Фольксваген» на сборочный конвейер. Некогда, как раз в его возрасте, я тоже работал на автозаводе, выпускавшем «Москвичи», правда, не на конвейере, а в заводской многотиражке. Но все же кое-какое представление о его нынешней профессии у меня имелось, что и обусловило начало нашего разговора.

Я: Ну, как там рабочий класс?

Он: А почему вы спрашиваете?

Я: Мой покойный отец, когда я, будучи в твоем возрасте, приходил с завода, обычно спрашивал: «Ну, что там говорит рабочий класс?» Он у меня был человек, воспитанный еще в тридцатые годы. И ему, понимаешь ли, хотелось припасть к мнению рабочего класса, как к источнику мудрости.

Он: И о чем у вас говорил рабочий класс.

Я: Да для меня такого понятия не было. Были просто люди и говорили они о разном, житейском. Кое с кем из своих сверстников я дружил. Но они смотрели на свою работу как на переходный этап жизни. Надо учиться, но не у всех это получалось. Во всяком случае, сборку автомобилей они не считали занятием на всю жизнь, хотя в конце концов кое-кто работал на конвейере долгие годы.

Он: О, здесь все по-другому. Если уж человек попал на «Фольксваген» и получил постоянный контракт, он считает себя устроившимся на всю жизнь. Это вполне престижное и уважаемое положение. И получают они вполне приличную зарплату, так что можно содержать семью, иметь нормальное жилье.

Я: Квартиру?

Он: Нередко дом.

Я: А их дети к чему себя готовят?

Он: Как правило, они кончают профессиональные школы, имеют рабочие профессии.

Я: Пьют?

Он: Пиво и помногу. А если водку, то малыми дозами. Вот эдак, граммов по пятьдесят.

Я: Да разве это называется пить. У нас на заводе один работяга говорил, что меньше двухсот он принять не может, глотка, дескать губчатая, все впитывается по пути.

Он: Недаром здесь считают русских пьяницами.

Я: Помню, как-то на вокзале немец-бомж выклянчил у меня монету и спросил, откуда я. Сказал, что из руссланд. Он подмигнул, сказал: «Ельцин» — и щелкнул себя по горлу. Ну, ты подумай, у какого-то несчастного немецкого бомжа Россия ассоциируется прежде всего с пьяницей-президентом! Но тебя-то они как воспринимают с твоей трезвенностью? Удивляются, наверное?

Он: Их во мне многое удивляет. И не только трезвость. Они несказанно удивились, узнав, что я инженер. Инженер в их представлении — это солидный высокооплачиваемый человек, недаром столько лет потративший на учебу.

Я: А как они вообще относятся к иностранцам?

Он: Плохо. Не все, конечно, но человек пять в бригаде не любят иностранцев и не хотят, чтобы они здесь жили.

Я: А они говорят на эту тему?

Он: Еще как. Могут сказать: «Вонючий русский».

Я: А ты им можешь сказать: «Вонючий немец»?

Он: Вообще-то могу. Но я так не думаю.

Я: А у нас на заводе такой разговор непременно кончился бы мордобоем.

Он: Нет, они законопослушны. Мордобоя быть не может. Да и потом, я посильнее их, они это видят и силу уважают.

Я: Вы что же боретесь?

Он: Бороться не боремся, это ж цех, а не спортивный зал. Но иногда руку друг другу отжимаем.

Я: И ты всегда побеждаешь.

Он: И я всегда побеждаю.

Я: Но все же, если бы ты был маленьким и тщедушным, могли бы дать в рыло?

Он: Нет, это исключено. Я же сказал: они законопослушны.

Я: За что же все-таки они не любят иностранцев? Конкуренция на фоне безработицы?

Он: Возможно и это. Но, понимаете, ауслендеры работают хуже.

Я: Что значит хуже? Не довернул гайку?

Он: Не довернул гайку. Стремится попасть на более легкую операцию. А они работают здорово. Четко, старательно, добросовестно. Похоже, что у них это впитано с молоком матери.

Я: Постой, постой, мало ли здесь товаров плохого качества. То новый утюг откажет, то подошва у ботинка треснет. Может, это просто школа «Фольксвагена»?

Он: Возможно. Но факт остается фактом. У нас в бригаде работают здорово.

Я: А бригада это сколько человек?

Он: Пятнадцать, из них четверо иностранцев.

Я: Стало быть, и ты хуже работаешь?

Он: Я нет. За то и уважают.

Я: А о чем они говорят? Что их интересует? Политика, экономика, международные дела?

Он: Ни в коей мере. Плевать им на политику. Спорт — об этом говорят. Сами не прочь сходить в кегельбан, да чтоб пивка выпить несколько бутылочек. Они не забивают себе голову политикой.

Я: Разговоры-то общие не о работе бывают. Скажем в столовой.

Он: Там нет столовой.

Я: Как нет? Да у нас на заводе в каждом цехе столовая была и неплохая по тем временам.

Он: Здесь каждые два часа перерывы по десять-двадцать минут, а обеденный — полчаса. Есть комната, где мы едим принесенные из дома бутерброды. Имеется буфет, где можно купить напитки. Раз в неделю дается часовой перерыв как бы для общения бригады, обсуждения всяких дел. Тогда заказываем обед в ресторане, нам его приносят оттуда и действительно идут разговоры.

Я: О чем?

Он: Я ж говорю: спорт, всякие бытовые темы, отдых (у нас отпуска бывают часто), машины — у всех они, конечно, есть. Если «фольксваген» покупаешь, то скидка.

Я: Но дружишь ты не с ними?

Он: Дружу я с российскими ребятами.

Я: Ну, а можно там расти по работе, скажем мастером стать?

Он: В принципе можно. У нас один грек несколько лет учился вечерами после

работы и стал мастером. Но это исключение, остальные довольны своим положением и ни о какой учебе или карьере не думают.

Я: А ты?

Он: А мне надо сначала получить постоянный контракт, у меня ж только временный. Который раз уж продлевают — и все на полгода. При постоянном контракте тебя практически не могу уволить, разве что нечто особенное выкинешь...

Я: А работа вообще трудная?

Он: Первое время физически очень трудно. Потом привыкаешь, делаешь все автоматически, так что голова свободна и думаешь о чем-нибудь своем.

Я: Знаешь, много лет назад так же, как я тебя о «Фольксвагене», расспрашивал меня о российском автомобильном заводе, на котором я тогда работал, один интересный человек. Звали его Вадим Андреев. Это был сын писателя Леонида Андреева, эмигрировавший году в двадцатом, проживший жизнь в Европе и приехавший тогда в начале шестидесятых годов в Россию вместе с женой, которая кстати была дочерью знаменитого эсеровского лидера и председателя Учредительного собрания Виктора Чернова. Я познакомился с ним в гостях у Бориса Абрамовича Слуцкого. Был такой поэт, может, ты слышал...

Он: Как же, как же...

Я: Так вот этот самый Вадим Андреев приехал из Женевы, где он работал переводчиком в каких-то международных организациях, и все ему в Москве было внове и интересно. Уж казалось, что интересного было в моей работе сотрудника заводской многотиражки, а он обрадовался. «Я тоже в молодости работал на заводе "Рено" фрэзерщиком» Я поправил его: «У нас говорят "фрезеровщиком"». Вот так вот: он — представитель первой волны эмиграции — работал «фрэзерщиком» на «Рено» во Франции, ты — представитель бог знает какой по счету волны, сборщиком на «Фольксвагене» в Германии.

Он: Усматриваете аналогию?

Я: Да что толку в аналогиях. Давай-ка лучше мы с твоим отцом выпьем за твою молодость, за твое будущее, за то, чтобы оно не было исчерпано знакомством с немецким рабочим классом и ждало тебя нечто более интересное.

Выпили и пошли смотреть по русскому ТВ очередную политическую передачу. Благо, в России идет вечное политическое гульянье.

Быт и нравы за рубежом. «Мой друг Самед Вургун, Баку покинув, прибыл в Лондон...» Крутится в памяти с детства запавшее туда начало симоновского стихотворения. Давно нет ни Симонова, ни Самеда Вургуна, ни той страны, которую они олицетворяли, а строка живет в памяти, как свет погасшей звезды, пронесшийся через космос. «А помнишь продолжение этой строфы? — спросил мой друг. — "Бывает так — большевику вдруг надо съездить к лордам"»...

Мы сидели в берлинской кнайпе, сиречь — пивной за кружкой пильзенского, наслаждаясь обществом друг друга. Дело было в середине нулевых годов. Мы расстались в Москве десять лет назад. Он уехал в Штаты, а я — в Германию. И вот теперь он приехал ко мне в гости.

— Давай поговорим о Германии, — предложил он. — Только знаешь, обойдемся без политики, без наследия нацизма и прочих набивших оскомину тем. Газеты я и у себя в Штатах читаю. Поговорим о том, как живут люди, о быте, обыкновенных человеческих заботах.

— Как писали у нас раньше, «быт и нравы за рубежом». Только и ты уж о своей Америке тоже без политических дрязг и президентских программ рассказывай. И давай в нашем разговоре тебя обозначим американцем «А», а меня немцем «Н».

Это обозначение развеселило нас, и я начал с такой истории.

Н.: В одном большом немецком городе хайм (убежище) для переселенцев представлял собой четырехподъездный многоэтажный дом. В трех подъездах временно обитали русские немцы, а в одном — евреи. Как водится, дети, играя во дворе, подрались. Вышли сначала матери, потом — отцы. И началось: «Ах, ты жидовская морда!» — «Ах, ты фашистский ублюдок!» Все в лучших российских традициях. Еле растащили. Потом поуспокоились, разговорились. Оказалось, оба русские. Один же-

нат на русской немке, другой — на еврейке. Кончилось все, разумеется, совместно распитой бутылкой.

А.: Это ты к вопросу о дружбе народов?

Н.: Да нет, скорее об обществе «мульти-культи».

А.: Ну, знаешь, у нас этого «мульти-культи» хоть отбавляй. Вообще мне кажется, что скоро весь западный мир превратится в плавильный котел наций. Между прочим, мы, когда шли к вам, зашли в цветочный магазин, облюбовали букет роз, который решили преподнести твоей жене, и вдруг появляется какой-то восточный человек — уж не знаю, турок, курд или перс — схватил этот букет, кинул деньги продавцу и ушел. У нас такое невозможно. Правило очереди соблюдается свято.

Н.: Да, пожалуй, и здесь такое нечасто. Но это же Берлин, чего здесь только не бывает.

А.: «Огни большого города»? Перебирайся в малый, как я. В моем городке всего семьдесят тысяч жителей.

Н.: Хочешь сказать, что у вас ни преступности, ни проституции, ни наркотиков нет.

А.: Что касается преступности, то о серьезных ее проявлениях у нас я не слыхал, так по мелочи. Проституция, конечно, есть.

Н.: Кстати, о птичках. Я живу в центре Берлина, в Тиргартене. На днях в субботу вечером пошел погулять, дошел до улицы 17 июня. Это такая магистраль со скоростным движением. Представь себе осенние сумерки, накрапывает, пусто, а вдоль обочины, через каждые триста метров стоят здоровые такие кобылицы, одетые, как в униформу, — юбчонка до середины попки, а ниже — чулки на резинках. Так что станок, обтянутый прозрачными колготками, открыт. Стоят, беседуют. Время от времени притормаживает машина, высовывается клиент, короткий разговор, дверца приоткрывается — готово дело.

А.: Ну, в нашем городе все не так открыто. Газеты пишут о рейдах полиции. То женщина-офицер изображает проститутку и ловит клиента на живца, а потом волочет в полицию, то мужик-офицер, изобразив из себя покупателя, ловит «ночную бабочку»... Все своим чередом. Первая древнейшая профессия. Товар — деньги — товар.

Н.: Что касается товаров, то их качество — одно из главных наших разочарований. Чего только не ломалось у нас после покупки. Утюг меняли дважды, благо система рекламаций действует. Раскладушки, шкаф. Вот на днях купили плафон для ванной и конечно же комплект крепежных винтов не полон — одного не хватает.

А.: Где же она, хваленая немецкая аккуратность?

Н.: Вот именно, где? За годы, что мы здесь, многое, как нам кажется, стало хуже. Чаще опаздывают поезда, время от времени исчезают из продажи полюбившиеся продукты питания. Да и грязнее стало на улицах, во дворах мусорные контейнеры нередко переполнены.

А.: Чистота моего городка — следствие его малых размеров. В Нью-Йорке грязи тоже хватает. Думаю, что и здесь в небольших городах не в пример чище.

Н.: О, да. Мы недолго жили в нижнесаксонском Бад-Пюрмонте — чудном курортном месте — воплощении немецкой аккуратности и порядка. Помню, как нас поразила специальная машина, которая подъехала к выброшенному на улицу старому дивану и в момент схрумкала его, перемолола. В Берлине же переезд на новую квартиру сразу же вызывает проблему старой мебели. Куда ее девать? Если размеры не больше одного кубометра, а это довольно большой диван — вези его на своей машине в специальное перерабатывающее заведение. А если больше — целое дело, договариваемся с другим заведением за особую и немалую плату.

А.: Ну, ты уж разворчался. И то тебе не так и это. Небось и медициной недоволен — коммерционализирована, операцию сделают мгновенно, а чтоб лечить, да чтобы диагноз трудный, нестандартный... Да ведь это и у нас так. Зато у вас социальное обеспечение лучше.

Н.: Социальное пособие — примерно 330 евро на человека. Оплаченная квартира, если она, конечно, соответствует установленной норме, бесплатная медицинская страховка.

А.: У нас так называемый «вэлфер», примерно 220 долларов на человека. Да

треть этой суммы надо отдать за социальную квартиру в субсидированном доме. Попробуй-ка прожить на оставшиеся 140 долларов. Правда, по достижении 65 лет на тебя распространяется Suplementar Security Income в просторечье «эсэсай» — это 520 долларов, если ты один, и 780, если вас с женой двое. Треть этой суммы уйдет за социальную квартиру. Но здесь уже у супружеской пары останется 520 долларов.

Н.: Но ты ведь еще работаешь.

А.: Лаборантом на щебеночном карьере. Ведро, лопата, огромное решето, на котором трясется проба щебня. Встаю в пять, в семь на работе. Часа в три-четыре свободен. И скажи спасибо, что еще нашел такую работу. Считай, повезло.

Н.: Это с твоей-то кандидатской, а по-западному — докторской степенью.

А.: А об этом лучше не говорить. Написал скромно, что кончил химический колледж. И этого было много. Могли бы и не взять. Доктор — иди в университет. А кому я в университете нужен в моем-то возрасте да с моим английским?

Н.: Все это знакомо. Но уходить-то скоро тебе, наверное, придется. Возраст.

А.: Еще с годик потяну, а там на «эсэсай». Я вдобавок к нему на своем карьере выработал крохотную пенсию.

Н.: Ишь ты, какую ты карьеру в своем карьере сделал.

А.: Не говори.

Н.: Может, со временем снова выберешься в Европу?

А.: Не исключено. Если перефразировать Симонова, с которого мы начали наш разговор: «бывает так — американцу вдруг надо съездить к немцу».

Н.: Какие мы с тобой американцы да немцы? Так, обыкновенные россияне московского розлива.

III. Старики

Фриц — Фридрих — Федор Федорович. Под балконом моего второго этажа на уровне первого или, как здесь говорят, эрдгешосса — земляного этажа — копается в земле сосед — пожилой худощавый русский немец.

— Не очень низко вам там живется, Фриц?

— Да нет, мы привыкли: всю жизнь на селе.

Как-то решили обменяться визитами. Сначала поужинали у нас. Фриц пришел со своей Катей, типичной пожилой крестьянкой, молчаливой, с умным взглядом, за которым угадывалась трудно прожитая жизнь. Потом пошли к ним на пельмени, вареники с картошкой, на собственного квашения капусту и малосольные огурчики, которые в Германии почему-то не делают.

Мужчины выпили «беленькой», женщины — «красенького». Все как водится или, вернее, водилось в той прошлой деревенской жизни, в которой хозяин дома был сначала Фрицем, потом Фридрихом, а потом Федором Федоровичем. И были у него не одна, а три жизни, так что здесь в Германии, идет четвертая и уже, наверное, последняя.

Первая — довоенное детство и юность в селе под Одессой, которое видится сейчас потерянным раем — земля была тучной, климат теплым, в погребах стояли бочки с домашним вином и висели окорока. Жили все вместе — немцы, русские, украинцы, евреи. И бегал он вместе с еврейскими детьми — Фрицик и Ицик, и обихаживали их немецкая и еврейская матери.

Дома говорили по-немецки, и в школу он ходил немецкую, где наряду с Пушкиным учили Гете, Шиллера, так что некоторые строки он и сейчас, на старости лет, помнит.

Только недолгим был этот рай. Потом началась казахская степь, снежные бураны, когда дома заносило по самую трубу, тяжкий подневольный труд.

Но его доля была еще горше. Пятнадцать лет лагерей строгого режима, из них девять месяцев — в камере смертников. Я понимал, что бессмысленно спрашивать: за что? Сажали за слово, за анекдот, по доносу недруга, за то, что был немцем. А мог просто попасть под разнарядку, спускаемую сверху органам безопасности.

Конечно, играла роль и случайность. Когда после девяти месяцев содержания в

камере смертников, переполненной так, что не только лежать — сидеть приходилось по очереди, его, ослабевшего от дизентерии, с трудом передвигающегося, привели ночью в огромный кабинет (он был уверен: ведут на расстрел) и объявили, что смертная казнь заменена пятнадцатью годами, он также не понимал, за что эта милость, как не знал, за что ему присудили вышку. Где-то там наверху действовал бездушный механизм, определявший, кого казнить, кого миловать. Этот механизм поглотил его двадцатилетним и выплюнул, выкинул на свободу 35-летним.

И тогда началась третья жизнь. Он вышел на свободу, пройдя все круги гулаговского ада, в том числе знаменитое восстание в карагандинских лагерях, здоровым, полным жажды жизни, владеющим едва ли не десятком строительных профессий. Поработав в геологической партии, купил себе машину, женился, начал вить гнездо в селе под Алма-Атой. Городские базары были неподалеку и смотаться туда с картошкой, салом и сметаной выходило совсем недолго. Хозяйство же свое усадебное они с Катей завели отменное — и коров, и свиней, и овец держали, и огород был полон всякими овощами — не хуже того, какое виделось ему в детстве под Одессой, разве что виноград здесь не рос, и вместо вина водочка шла.

Когда подросли трое их сыновей, Федор Федорович (так звали его в округе) собственноручно отстроил им дома. И пошли свадьбы да крестины, провожания да встречи. К старости он приближался патриархом, окруженным родичами, детьми, внуками.

— Так надо ли было ехать? Кто-то теперь живет в ваших домах?

— В домах живут казахи. И пусть себе на здоровье живут. А ехать было надо.

Он поехал первым, потом перебрались сыновья. Все работают — двое на заводе, один шофером. Купили себе дома под Ганновером, у всех машины. И снова пошли семейные сборища, дни рождения да юбилеи, а скоро и свадьбы внуков подоспеют, совсем уже немецких внуков, только смутно знающих и почти совсем не помнящих ту несуществующую страну со странным именем СССР, где жили и страдали их «опа» и «ома».

Воля к сопротивлению. За долгие мои германские годы мне в силу своей журналистской профессии пришлось выслушать немало исповедей старых немцев, пытающихся осмыслить, что же произошло с их народом в двадцатом веке. Я вспоминаю старую женщину из приморского города Вильгельмсхафена. Вот она сидит в своей одинокой квартире и пишет, пишет пока позволяют ей больные глаза. Она пишет историю своей семьи. Читать ее невозможно без сердечного сжатия, без мысли о том, как невероятно стоек бывает человек, сколько он может вынести и остаться тем не менее человеком.

Отец Натальи Шнайдер Андреас, родившийся в 1876 году представляется мне образцовым земледельцем, каких было немало среди русских немцев. У него было целое имение в Поволжье, в нынешней Саратовской области — большая плантация, земельные угодья, сады, верблюды и другой скот, птица, а главное — маслобойное предприятие — основной источник его богатства. Обслуживалось это имение семьей в 11 человек. Сам Андреас был не только необычайно трудолюбивым, умелым, но и интеллигентным человеком. Дожив до старости, он надеялся передать дело в руки старшего сына, а сам «уединиться в своей библиотеке, в рабочем кабинете и заниматься своим любимым делом — читать, писать, проектировать, музицировать». Знать бы ему, когда произносились эти слова, какой на самом деле будет его старость — зэковская, ссыльная, голодная, страшная, как дантов ад.

Его раскулачивали в тридцатом и все, что было до этого рубежа Наталье Андреевне Шнайдер, как и моему соседу Фридриху его детство, представляется потерянным раем. Просторный дом, окруженный хозяйственными службами, семейные праздники, веселые добрые, любящие друг друга люди, верблюжата, с которыми она играла во дворе.

Все это кончилось мгновенно и страшно. Пришли какие-то люди (так это виделось пятилетнему ребенку), долго рылись в бумагах, а потом отец собрал семью и сказал, что больше у них ничего нет — ни имения, ни скота, ни земли и даже дома. Впоследствии дочь вспомнит рассказ старших о том, как отец в период революции

говорил, что он не может допустить, чтобы Ленин санкционировал отъем частной собственности: «Ведь он дворянин и его дворянская честь выше этого преступления».

В тот день, когда все было отобрано и семья стала нищей, а отец уже понимал, что их всех ждет, он сел за рояль и все стали петь молитву.

Вскоре отца и старшего брата посадили в тюрьму, затем отправили в лагерь в Архангельскую область, а мать с оставшимися детьми вместе с другой такой же разоренной семьей оказалось в крохотной степной землянке в пятнадцати километрах от их бывшего дома.

Так начинался их крестный путь, растянувшийся на десятилетия. Чего только не было на этом пути — голод и холод, многодневные бураны, заносившие землянку снегом по самую крышу, вой голодных волков, пытавшихся раскопать снег и добраться до людей, милостыня, собираемая по дворам, бесконечные по месяцу-два переезды в забитых до отказа душных, вонючих скотских вагонах сначала с Запада на Восток — в казахстанскую ссылку, а потом с Востока на Запад в трудармию и снова назад в Казахстан.

Ей суждено было детство, проведенное в ссылке, юность — в трудармии и молодость снова в ссылке, без права отлучиться, с отметками в спецкомендатуре. Относительно свободная жизнь, если только можно было назвать свободной советскую жизнь, началась, когда ей было уже тридцать. Но к этому времени от всей многодетной семьи остались только она и мать.

Первые уроки социальной педагогики Наташа получила в детстве. Не только она, но и мать, к тому времени прожившая немалую жизнь, никак не могла понять, откуда взялись эти «активисты» — горластые, наглые люди, грабившие их добро? Собственно, и мать приглашали в эту компанию. Надо было развестись с сидящим в тюрьме мужем, вступить в партию и вместе с другими отбирать кулацкое добро, участвовать в бессудных расправах. За это можно получить жилье в одном из отобранных у кулаков домов, дети пойдут в школу, а маленькие — в детский сад, будет хлеб, работа, защита... Мать с негодованием отказалась, и судьба семьи была предопределена. Они стали частицей огромного потока переселенцев, захлестнувшего страну. Более двух миллионов людей в 1931–32 годах перегонялись из родных мест в Сибирь, на Урал, на Север. Как говорил один из героев Платонова: «На оседлости коммунизм никак не состоится: нет ему ни врага, ни радости».

На их долю выпал Казахстан. В местах, куда их привезли, беспрестанно дули горячие пустынные ветры, растительность кругом была высохшая, бурая лишь кое-где росли зеленые кустики колючей верблюжьей травы. Позже они узнали, что местные казахи называют эту траву «караганник». От этого слова и пошло название города, который вырастет здесь — Караганда. Начинался он с зоны — колючей проволоки, охраны с собаками, бараков для спецпереселенцев и с чудовищного, нечеловеческого труда этих переселенцев, волоком на санках тащивших по узкому штреку уголь, добываемый ими киркой, вручную. И долгие годы Наталья Андреевна, слыша по радио победные рапорты вроде такого, например: «700 тысяч тонн угля добыли в 1932 году шахтеры Караганды», будет думать об оплативших своей жизнью этот уголь шахтерах, погибших в обвалах, умерших от перенапряжения и голода.

И теперь, на старости лет в благополучной спокойной жизни в приморском Вильгельмсхафене ее мучают воспоминания детства, наполненные смертью. Вот она, вернувшись из школы, продышав глазок на заледеневшем оконном стекле, выглядывает на улицу. И весь день по дороге на кладбище, куда выходит окно их лачуги, на санках или просто на тряпках люди тянут на кладбище покойников, умерших от голода или брюшного тифа. Или в поселок въезжает «черный ворон» — черная лошадь, запряженная в большую черную безрессорную и оттого зловеще громыхающую повозку. Она подъезжает к одному из домов, и вот уже милиционеры выводя бледного человека с заломленными назад руками в сопровождении рыдающей жены. А вот они с мамой едут за вещами умершего от голода и непосильного труда старшего брата. Едут и идут, долго блуждают то полем, то проселком и в конце концов приходят в селение, состоящее из бараков. В каждом во всю длину стоят тысячи вешалок, где связанные в узелок, с деревянным номером висят вещи покойного. Это город мерт-

вых. Они расписываются в какой-то огромной книге и долго плачут над старыми грязными тряпками, оставшимися от их веселого доброго мальчика.

В 43-м ее забрали в трудармию. И поволок ее теплушечный эшелон через всю страну из карагандинской степи в вятские леса на лесоповал. Здесь, как и в Караганде, был свой лагерный мир, целый континент под названием Вятлаг с безраздельной властью людей в погонах над тысячами жизней, с полной оторванностью от всей остальной жизни лагпунктов, затерянных среди тайги и болот. Как удалось выжить этой хрупкой 18-летней девочке, одному Богу известно. И замерзала, и опухала от голода и цинги, и убегала от зэков, для которых раздавить ее, что муху прихлопнуть. Но ведь выжила и вспоминает не только злодеев, но и добрых людей, что встречались на ее пути и спасали ей жизнь.

Так было в жизни ее семьи не раз. Когда, казалось бы, все кончено, ложись да помирай, находится кто-то протягивающий руку помощи.

Когда в 30-м отца арестовали, а мать с детьми выселили в степную хибарку, от них отвернулась вся огромная родня, те с кем дружили, праздновали, радовались и печалились. Боялись, наверное. Страх висел над всеми как черная туча. И нашелся один-единственный человек, который смог преодолеть этот страх и, рискуя собственным положением (он какую-то должность занимал), привозил голодающей семье продукты, предупреждал об опасностях, проводил их в ссылку. Так и здесь в Вятлаге находился раздатчик, давший лишнюю пайку хлеба, или начальница отдела кадров, забравшая ее с лесоповала, старый бухгалтер, подкармливавший ее в столовой. Она помнит этих людей всю жизнь.

Вернувшись в Караганду, Наташа вышла замуж за такого же «трудармейца» родила ребенка. Начался новый этап ее жизни, который можно назвать борьбой за образование.

Среди всего того, что советские немцы пережили в 40-е–50-е годы был и негласный запрет на учебу в вузах. В сущности, речь шла о попытке лишить народ интеллигенции. В Карагандинском горном институте Наталье Шнайдер так и сказали: «Немцев мы не берем».

Она жила с матерью, мужем и детьми в лачуге в старом городе, этом скопище «шанхаев», выросших там, куда ее привезли 15 лет назад, ездила на работу в институт «Гипрошахтпроект», куда устроилась оператором счетной машины. Очереди за продуктами, невыносимый быт, скудное существование с постоянными отметками в спецкомендатуре — где там учиться. Но надо было знать ее характер.

Когда стало ясно, что ни в один вуз ее не примут, она написала письмо Сталину: так мол и так, дорогой Иосиф Виссарионович, у нас есть Конституция, в ней записано право на образование, а меня как немку ни в один институт не принимают. Сочинила такое послание, отправила оказией в Москву (по почте оно бы не дошло), но в ожидании ответа рук не опустила, а послала свои документы в Свердловский заочный индустриальный институт. И там ее, то ли не разобравшись, с кем имеют дело, то ли по счастливой случайности, приняли, начали присылать контрольные работы. Сидя ночами над книгами, она все выполняла исправно, но пришлось ехать на сессию. И это и было самое страшное, не отметившись в комендатуре, в сущности, нелегально (в случае проверки документов ей грозил срок), она отправилась в Свердловск. Дважды ей приходилось совершать этот «смертельный номер», пока вскоре после смерти Сталина пришел ответ на письмо с резолюцией Маленкова: «Снять ограничение и дать возможность учиться». И она училась со страстью, с великим напряжением всех сил теперь уже в заочном Московском энергетическом, доведя себя до такой степени физического изнеможения, что в момент защиты дипломного проекта ее поразила временная слепота. Так и защищала вслепую с помощью подруги, читавшей ей штампы на чертежах.

В жизни Натальи Шнайдер с трагической полнотой запечатлелась судьба народа, к которому она принадлежит. Власть, политическая система, казалось бы, делала все, чтобы раздавить эту женщину, а она сопротивлялась, стремясь сохраниться как человек, личность. И дальше судьба не миловала ее. Уже будучи высококвалифицированным специалистом, занимая серьезные инженерные должности, Наталья Андреевна вынуждена была, спасая семью от радиоактивного заражения уезжать из

Джезказгана, с его лежащими почти на поверхности залежами урана. И смерть не обходила стороной семью. Мать, муж, старший сын остались в земле, которая так сложно теперь обозначается — постсоветское пространство.

И вот Вильгельмсхафен, устроенные и внедрившиеся в германскую действительность дети, внуки... Можно писать, вспоминать, думать. И она думает и пишет. Книжка, в которой она рассказывает о своей жизни, называется «Todlicher Ausgang» — «Смертельный исход».

Русская рулетка. Нам кажется, что все переживаемое нами — преодоление языкового барьера, поиск работы, вхождение в иную действительность, приобщение к немецкой ментальности — беспрецедентно, внове. Но нет, старожилы говорят, что тот же процесс адаптации в послевоенные годы проходили польские евреи, разве что их прошлое было куда более трагично, чем наше. Чудом уцелевшие в польских гетто и на сибирском лесоповале, они попадали в Германию, словно не веря тому, что живы. Для многих из них Германия была перевалочным пунктом, этапом в дальнейших скитаниях, конечной точкой которых должны были стать Палестина или США. Но некоторые, особенно молодые, оставались в немецких городах, осваивая язык и профессию, становясь предпринимателями, учеными, врачами. Они-то в значительной мере и формировали еврейские общины Германии 50-х–60-х годов. Теперь в этих общинах активно действуют уже их дети, но сохранилось еще и поколение отцов.

Мне не раз приходилось встречаться с Александром Бреннером, председателем Берлинской общины в середине нулевых годов. Мы беседовали обычно по-русски (мой собеседник мог бы говорить кроме немецкого еще и на идиш, иврите, польском, по-английски, но мне-то уж куда такое многоязычье...).

Разговоры наши насыщены воспоминаниями об общих московских и израильских знакомых, но когда разматывается нить беседы о времени, жизни, его собственной судьбе я каждый раз удивляюсь сколь поразительны извивы этой судьбы, бросавшей его из польского местечка в сибирскую тайгу, а затем в Западный Берлин, в Москву, в Тель-Авив, в лоно дипломатических особняков и правительственных канцелярий.

Колесо Истории катилось по биографии этого человека столь причудливо и жестко, что порой казалось колесом рулетки, определявшей жить ему или не жить. Впрочем, то была отчаянная русская рулетка.

При подписании секретного протокола Молотова—Риббентропа властительный карандаш прошел по Бугу, разделив польские земли на советскую и германскую зоны. Где были Молотов и Риббентроп и где был польский городок Томашов, в сущности, еврейское местечко с его обитателями и в том числе семьей скромного продавца газет Моисея Бреннера, но тот карандашный прочерк спас семье жизнь, отнеся Томашов в советскую зону. Конечно, евреи Томашова не могли знать этого, как не знали, не понимали того, что отправляя их в товарных вагонах год спустя после начала Второй мировой войны из родного местечка в сибирскую тайгу им второй раз спасают жизнь. Но кто тогда мог это понимать? Месяц они ехали через всю огромную страну, чтобы очутиться на поселении в Алтайском крае.

До сих пор Александр помнит норму выработки на лесоповале — 3,5 кубометра в день. Повалить, обрубить ветки и сучья, тогда получишь 400 граммов хлеба. Помнит и номер поселка, где жил, название района — Быстроистокский. Много лет спустя, живя в Москве, он познакомился с артистом театра на Таганке Валерием Золотухиным. Они оказались «земляками». Валерий родился в Быстроистокском районе. И они долго вспоминали свое алтайское таежное детство — немецкий дипломат и русский артист.

А колесо рулетки все вращалось. В Москву приехал руководитель эмигрантского польского правительства генерал Сикорский. В переговорах со Сталиным он поставил условие — освободить польских граждан. И комендант Пашков — бог и царь спецпоселенцев — пришел в барак и сказал: «Вы свободны». Бреннеры отправились в ближайший город — Бийск, где Александр и закончил школу с золотой медалью. Вот сидит на фото с ребятами выпуска 45-го года, ниже седоусого учителя. Потом десятилетия спустя он будет приезжать в Бийск, отыскивать дом, где жили, сверстников,

учителей, а молоденькая учительница, ставшая к тому времени старой женщиной, будет отыскивать в облике современного европейца черты того мальчика, которому она преподавала немецкий язык.

В 46-м — снова товарные вагоны, обратный путь в Польшу, только не в родной Томашов, испепеленный войной и Холокостом, а на новые земли — в Щецин. И сразу же после пересечения польской границы — антисемитские выклики, камни бросаемые в окна и весть о еврейском погроме в Кельцах. Нет, здесь нельзя было жить. И тогда для них вступила в силу операция «Бриха». Это слово в переводе с иврита означало «Побег». Так называлась подпольная организация молодых сионистов, созданная в конце войны для переправки евреев из Восточной Европы в Палестину. Бреннеры ехали через Чехословакию в Австрию с тем, чтобы осесть на какое-то время в Баварии в лагере для перемещенных лиц.

Но Александр хотел учиться. Молодое честолюбие, молодая страсть к знаниям не давали ему покоя. И он оказывается сначала в Эрлангенском, а затем в Западноберлинском техническом университете. Семья уезжает в Израиль (уже в Израиль, а не в Палестину), а он остается в Германии. Завершает образование, защищает докторскую диссертацию, становится преуспевающим ученым, специалистом в области радиационной химии, руководит лабораторией в одном из НИИ. Он каждый год ездит в Израиль — там могила родителей, семья сестры, родственники, но вместе с тем работа, карьера, жизнь — в Германии.

В 70-м после недолгой работы в Министерстве науки его назначают советником по науке в посольство ФРГ в Москве. Пришлось вспоминать русский язык, соприкасаться не только с русской наукой и культурой, но и с российским еврейством: бывать в домах у ученых-отказников, плясать у синагоги на улице Архипова хору и петь Хаванагилу. Это было время разрядки международных отношений — детанта, визитов Вилли Брандта, а потом Гельмута Шмидта в Москву и Брежнева в ФРГ. Вот он дипломат Бреннер стоит в 75-м на снимке на втором плане правее от канцлера Шмидта. Ровно 30 лет разделяют два снимка, на одном из которых — выпускник Бийской средней школы, а на другом — немецкий дипломат на почетной церемонии.

Он еще раз вернется в Москву, уже в 93-м, где будет создавать Международный научно-технический центр, организованный для того, чтобы предотвратить утечку мозгов из России в Ирак, Северную Корею, Ливию, заинтересованных в создании ядерного, химического и бактериологического оружия. Вот такая деликатная миссия, характерная уже для нашей новейшей истории.

А в промежутке будет Израиль, где Бреннер восемь лет проработает также советником по науке посольства ФРГ. На снимке 1986 года он сидит рядом с тогдашним премьер-министром Шимоном Пересом.

В 97-м он выходит на пенсию, а четыре года спустя его избирают председателем Берлинской общины. Потом его сменили более молодые лидеры, но он много лет остается в общинном парламенте, как один из наиболее уважаемых и порядочных членов руководства. Мы время от времени встречаемся в нашем излюбленном кафе напротив общинного дома — попить кофе, поболтать, обменяться новостями. Его ум остер, память свежа и рассказы открывают мне многое в германской и, в частности, еврейской жизни. Вот один из его монологов, отражающих менталитет этого человека.

«Берлинская община самая большая по численности в Германии. Она насчитывает сейчас около 12 тысяч человек, причем 70 процентов из них — выходцы из бывшего СССР. Между тем после войны, в начале 1946 года в Берлине было около 2,5 тысячи евреев. Это были люди, которым удавалось скрываться здесь во времена нацизма и те, кто вышли из концентрационных лагерей — представители восточноевропейского еврейства, чудом уцелевшие в нацистской мясорубке.

В конце 80-х — начале 90-х годов началась эмиграция евреев из Советского Союза, которые теперь и составляют большинство членов общин. Это люди, которые жили в условиях советской цивилизации и в течение 70 лет, на протяжении жизни трех поколений утеряли связи с еврейской культурой и религией. Они обладают высоким образовательным и культурным уровнем. Они знают, кто такой Пушкин и Лермонтов, Гете и Шиллер, Шекспир и Золя, но о еврейской истории и культуре, а также и религии, которая у евреев включает в себя и язык, и историю, и литературу, имеют

довольно слабое представление. И мы стремимся восстановить эти разрушенные связи. Для детей, для молодого поколения у нас есть еврейская школа, еврейская гимназия. Для людей старшего возраста имеются курсы иврита, как и немецкого языка. Есть своя фольксхохшуле — народный университет. Имеется также дом для престарелых, где большое количество выходцев из бывшего Советского Союза.

Меня нередко спрашивают, какова роль еврейской общины в политической жизни Германии? Конечно же ее политический вес не связан с ее численностью. Это результат трагического прошлого. Для каждого германского правительства существование еврейской общины после Холокоста является политическим приоритетом, критерием демократического обновления страны. И потому все, что связано с еврейством получает большой резонанс в средствах массовой информации. Важно помнить и другое. У каждого еврея было, есть и будет особое отношение к Израилю. И странно, если бы это было иначе. Одна из главных наших задач состоит в облегчении политического, экономического и духовного положения еврейского государства. Это, пожалуй, единственный вопрос, по которому в общине имеется полное единство мнений. Независимо от нашего отношения к политике того или иного германского правительства, мы всегда будем очень чувствительны к антиизраилизму, который дает возможность легального выхода сохранившихся антисемитских чувств. Это ощущается в одностороннем подходе к израильско-палестинскому конфликту, в заголовках статей некоторых германских газет и других ситуациях».

IV. В пространстве истории

«Моральная дубина Освенцима». Эти «другие ситуации» периодически повторяются на германской общественной сцене, вызывая кипение страстей. Вот весной 2012-го мы обсуждаем с Бреннером очередной «горячий блин», испеченный на общественной кухне, — напечатанное в «Зюддойче цайтунг» стихотворение Гюнтера Грасса, в котором он обвиняет Израиль в стремлении «стереть с лица земли иранский народ». В ответ с резкой отповедью в «Ди Вельт» выступает писатель и журналист еврейского происхождения Хенрик Бродер, для которого Грасс являет собой «прототипом высококультурного антисемита».

Бреннер хорошо знает Бродера, следит за этой полемикой, понимает, каковы корни этого противостояния, и мы тут же вспоминаем события десятилетней давности, когда в такой же июньский день в Берлине под окнами штаб-квартиры Свободной демократической партии проходила организованная еврейской общиной демонстрация против попыток заместителя председателя этой партии Юргена Меллемана «превратить антисемитизм в политический инструмент». Будучи тогда председателем общины, Бреннер заявил в газете «Тагесшпигель», что цель этой демонстрации — пробудить немецкое общество, указав на то, чем может грозить попытка вновь оживить антисемитские настроения в Германии.

А незадолго перед тем разыгрывается другой акт в спектакле этого противостояния. Известный немецкий писатель Мартин Вальзер передает рукопись своего нового романа под названием «Смерть критика» в редакцию газеты «Франкфуртер альгемайне» на предмет публикации. Казалось бы, дело обычное. Но издатель газеты Франк Ширрмахер, прочитав роман, пришел в ужас настолько, что опубликовал 29 мая в своей газете открытое письмо писателю, которое прозвучало в обществе как разорвавшаяся бомба.

Ширрмахер назвал роман документом ненависти. Речь идет об убийстве критика-еврея, и книга, по мнению издателя, полна антисемитских клише и нацистских аллюзий. Критику грозят словами Гитлера, произнесенными по радио накануне начала Второй мировой войны: «С ноля часов мы наносим ответный удар». Критик жив, убийство не состоялось. Но объявление войны словами Гитлера персонажу, за которым угадывается Марсель Райх-Раницкий, один из немногих выживших обитателей Варшавского гетто, представляется Ширрмахеру кощунственным.

Но тут надо знать, кто такие Мартин Вальзер и Марсель Райх-Раницкий, какую роль они играют в общественной жизни Германии.

Вальзер давно уже стал классиком. Его произведения изучают в школах, его пьесы с успехом идут в театрах, а герои романов заняли прочное место в истории немецкой литературы. Он человек с определенным общественным темпераментом и часто с нонконформистской политической позицией. Много лет добивался объединения Германии, в то же время резко выступал против войны во Вьетнаме, против выдворения из Германии балканских беженцев.

В 1998 году он стал героем политического скандала, в ходе которого в прямой или скрытой форме получал упреки в антисемитизме. В речи по поводу присуждения ему премии немецкой организации книжной торговли Вальзер назвал Освенцим «моральной дубиной». Так и вошло с его легкой руки это выражение в политический обиход, как символ прекращения покаяния и «нормализации» германского общества. Четыре года спустя, в мае 2002 года, вызвав Вальзера на диспут в день освобождения Германии от нацизма, тогдашний канцлер Шредер, подчеркивая свойственную писателю «тоску по нормальности», сказал: «Мы стали другими потому, что нас заставили стать другими».

А тогда, в 1998-м главный оппонент Вальзера председатель Центрального совета евреев Германии Игнац Бубис заявил, что, требуя прекратить напоминания об исторической ответственности немцев за Холокост, писатель разжигает в стране новый антисемитизм.

Райх-Раницкий представляет собой фигуру, пожалуй, даже более колоритную, чем Вальзер. В свое время его автобиографическая книга стала бестселлером, что неудивительно, ибо жизнь этого человека представляет собой потрясающий авантюрный роман. Польский еврей по рождению он воспитывался в Берлине у родственников, а затем перед Второй мировой войной был выслан из Германии в Польшу. Работая переводчиком в Варшавском юденрате, он, чудом уцелев в период массовой депортации, помог еврейским боевикам «гробануть кассу» юденрата и скрылся на арийской стороне.

Просидев вместе с женой полтора года в убежище, предоставленном ему польской семьей, он после освобождения Варшавы вступает в компартию, делает карьеру в польской разведке, выполняет ее поручения в Лондоне. Исключенный в период очередных гонений на евреев из партии, бежит в Западную Германию, где вскоре становится ведущим критиком, законодателем литературных мод. Его телевизионная передача «Квартет» создавала и разрушала писательские репутации, формировала тиражи книг. Вел он ее жестко и даже, пожалуй, агрессивно, подавляя своим авторитетом остальных участников.

Вот таков человек, выведенный Вальзером в своем романе под именем Андре Эрл-Кенига. Собственно, романа кроме Ширрмахера тогда никто не читал, но его открытое письмо писателю вызвало бурю страстей, массу откликов в СМИ.

Эта литературная история наложилась в том же году на другой скандал — чисто политического свойства. Героем его стал 45-летний германский гражданин арабского происхождения Джамал Карсли. Он выдвинулся на общественную арену в земле Северный Рейн-Вестфалия как представитель интересов иммигрантов и в партии «зеленых» этой земли отвечал за политику в области миграции, став, в конце концов, депутатом местного парламента.

Карсли распространил сообщение для прессы, в котором обвинил Израиль в применении «нацистских методов» в борьбе с палестинцами и сообщил о существовании в Германии «сионистского лобби», перед которым немецкие СМИ испытывают страх. В ответ на критику товарищей по партии этот борец с «израильским нацизмом» сообщил, что уходит вместе со своим депутатским мандатом к свободным демократам, так как их земельный лидер и зам. председателя всей партии Юрген Меллеман придерживается тех же взглядов на политику Израиля в отношении Палестины.

Меллеман взял Карсли под свое крыло, и скандал приобрел общенациональное звучание. С одной стороны, в ход пошли рассуждения о «всемирном еврейском заговоре», с другой — угрозы подать в суд. Тогдашний заместитель председателя Центрального совета евреев Михаэль Фридман сказал о «коричневом оттенке» выступлений Меллемана и Карсли. Меллеман в свою очередь заявляет, что Фридман «своей агрессивной наглостью способствует появлению новых антисемитов». Словом, впору вспоминать дебаты в рейхстаге и речи на митингах в начале тридцатых годов.

Германское прошлое, зловещей тенью встающее над всеми этими политическими играми, для некоторых еврейских оппонентов Меллемана и Вальзера имело личную подоплеку. Райх-Раницкий и Игнац Бубис были чудом уцелевшими после Холокоста узниками польских гетто. Родителей Фридмана спас от уничтожения Шиндлер. Так что для них рассуждения Вальзера о «моральной дубине» Освенцима, о необходимости предать забвению прошлое носят отнюдь не отвлеченный характер, они как бы родом из Освенцима.

Некоторые участники этих скандалов минувших дней давно сошли с общественной сцены по чисто физическим причинам. Погиб, прыгая с парашютом, Меллеман, умер Бубис, тихо доживает свой век 92-летний Райх-Раницкий. Но конфликтные ситуации подобного типа повторяются, как это произошло с полемикой вокруг стихотворения Грасса, раздирая общество, пробуждая тлеющие страсти, за которым стоит трагическое прошлое.

В начале было слово... «А знаете, кто спроектировал эти двойные фонари, стоящие по всей Кайзердамм? — спросил меня архитектор Дмитрий Хмельницкий, когда мы стояли на редакционном балконе, нависавшем над оживленной берлинской магистралью. — Альберт Шпеер, любимец Гитлера и министр вооружений, в пору когда он был берлинским архитектором».

Эта реплика сразу же поместила нас в пространство истории.

Мы впитываем в себя Германию, облик ее улиц, быт, нравы и, конечно, прежде всего, язык, оказываясь на стыке культур, времен, эпох. Архитектура — летопись эпохи. Ну, а язык?

«В начале было слово...»

«Что вы читаете, мой принц? — Слова, слова, слова...»

Как многослойно слово, как многообразны и глубоки его смыслы.

Первое время в Германии я вздрагивал при слове «гешефтсфюрер». Презрительный для моего российского уха смысл первой половины этого существительного накладывался на трагический — второй части. Современное обозначение безобидной профессии (что-то вроде — «коммерческий директор») как бы заслонялось ощущениями, продиктованные иной исторической ментальностью.

Советский военный следователь отправил в 45-м в концлагерь обыкновенного водителя трамвая, его должность называлась «баннфюрер».

Переводчик с русского на немецкий моей книги о жизни и гибели Варшавского гетто спросил меня, в каком смысле я употребляю термин «мировое еврейство». Я сказал, что в самом прямом: евреев в мире 13 миллионов, и они представляют собой некую национальную общность. Но оказалось, что это был любимый термин Геббельса, носивший негативный смысл всемирного еврейского заговора, и подобный смысл так и остался в немецком языке.

В годы, когда я приехал в Германию, там была очень популярна фигура профессора Виктора Клемперера. О нем писали почти все средства массовой информации. Дневники, которые вел он, еврей, чудом уцелевший в годы нацизма (спасли сначала брак с немкой, а затем бегство из разбомбленного Дрездена перед самым концом войны), стали бестселлером десятилетия спустя после смерти автора.

Его книги издают, на их основе был снят документальный фильм, им присуждали литературные премии. Но его книга «Язык Третьего рейха» с подзаголовком «Записная книжка филолога» стоит в этом обширном литературном наследии особняком многозначностью и многомерностью своего содержания. Перед нами биографии немецких слов, их послужной список, открывающий психологию германского национал-социализма и дающий представление об отличии и общности с советским интернационал-социализмом.

Филологическое творчество нацизма заключалось не только в заимствовании из других языков, но и в изменении значения слов, частоты их употребления, приписывании им особого смысла, использовании терминов, которые раньше принадлежали отдельным группам населения, пропитывании целых фраз идеологическим ядом.

Вот два примера, которые особенно понятны человеку, выросшему в условиях советского тоталитаризма. Слово «народ». Им сдабриваются все речи нацистских лидеров, все статьи, как еда солью. Всенародный праздник, народное единство,

выходец из народа, близкий к народу, чуждый народу... Напомню, что и в советском идеологическом обиходе сталинского периода был распространен термин «враг народа». Им обозначались все обитатели Гулага, попавшие туда по политической статье. Стало быть, и я, сын репрессированного отца, считался «сыном врага народа».

Или слова «битва за урожай», как часто ими пестрели советские газеты. Не менее часто они употреблялись в нацистской печати. Клемперер с его филологической эрудицией отмечает, что в данном случае копируется «battaglia del grano» итальянских фашистов. Выходит, что в этих словах три тоталитарные системы — итальянская, германская и российско-советская — протягивали друг другу руки, демонстрируя общность идеологического мышления.

Концлагерь — это слово Клемперер впервые услышал мальчиком, в начале века. Во время англо-бурской войны много говорили о «компаундах» — концентрационных лагерях, в которых англичане держали пленных буров. Потом он совершенно исчезло из немецкоязычного обихода и вынырнуло в эпоху нацизма, обозначившее теперь уже немецкое учреждение, направленное против немцев. Интересно, что в России подобного рода учреждения называли исправительно-трудовыми лагерями. Здесь большая доза лицемерия: не просто концентрируем врагов режима и уголовных преступников, а перевоспитываем их, исправляем трудом.

Слово «исторический». Его применяют, где ни попадя, придавая эмоциональную приподнятость самым разным проявлениям жизни. Победа немецкого гоночного автомобиля — историческая, так же как и ввод новой автострады. А уж всякая речь фюрера, всякая встреча с дуче конечно же исторические.

Суперлативные свойства (суперлатив — в грамматике — превосходная степень) приписываются самым разным понятиям с целью таким простейшим способом воздействовать на воображение обывателя. Прежде всего используются цифры. Скажем, в сообщениях о расцвете германской прессы говорится, что если сложить в стопку все газеты ежедневного тиража, то она вознесется на 20 километров в стратосферу, а во время визита Муссолини в Берлин сообщалось, что на полотнища и транспаранты для украшения улиц ушло 40 тысяч метров ткани.

Отсюда же пристрастие к словам «тотальный», «стопроцентный», «уникальный». А понятие «тысячелетний рейх», а фраза «мир слушает фюрера»... Все это из того же ряда, что и «величие ленинских идей», «всенародная победа», «светлое будущее» и т.д и т.п.

Во время многолетнего мучительного пребывания в «еврейском доме» в Дрездене, наполненном ожиданием высылки в Освенцим или Терезиенштадт, в скитаниях последних месяцев по разоренной войной Германии, Клемперер пропускает через свое сознание филолога, гуманиста, европейца весь тот кошмар, который его окружает, фиксируя изменения в массовом менталитете, неизбежно происходящие под влиянием нацизма.

Язык Третьего рейха проникает повсюду, на нем говорят не только с трибуны, в газетной статье, он входит в обиход.

Скрываясь в доме своего друга-аптекаря, Клемперер читает безобиднейшую брошюру о целебных травах. Казалось бы, что может быть дальше от политики, чем это издание союза аптекарей? Но оцените только одну такую фразу: «Применение целебных трав в лечебных целях подтверждает то, что было известно нашим предкам, успешно использовавшим их целебные свойства в седой древности. Мысль о связи крови и почвы подкрепляет доверие, которое мы питаем к травам нашей родины».

Эта политизированность всех проявлений жизни знакома и россиянам. Только вместо слова «раса» использовался термин «класс».

Вообще рассуждения о крови, почве, провидении — типично немецкие. Немецкое и переосмысление некоторых слов.

Так слово «фанатизм», ранее имевшее негативное значение, приобретает позитивный смысл особенно по мере приближения конца войны: «фанатичная преданность фюреру».

В языке Третьего рейха происходит причудливое смешение проявлений общетоталитарного мышления с его чисто национальными реалиями.

Трансформацию приобретают собственные имена — назад к германским национальным истокам, а, стало быть, газеты полны объявлениями о том, что те или иные лица берут себе имена Дитер, Детлев, Уве, Магрит, Ингрид, Ута. В этом контек-

сте вспоминается, что палач Варшавского гетто, эсэсовский генерал Юрген Штроп, в молодости был Йозефом. Юрген считалось как-то патриотичнее.

Особый смысл приобретает местоимение «наш». «Наш доктор» — это о Геббельсе, «наш философ» — о Розенберге.

Важную роль приобретает энергия фразы, приспособленность ее для хоровой декламации: «Германия, пробудись! Жид, издохни! Фюрер приказывай!»

Чтение книги «Язык Третьего рейха» дает ощущение бездны, в которую падают национальная культура, здравый смысл народа, нравственные традиции. Это судьба нации, увиденная через призму языка. Взялся бы кто-нибудь показать тоже через «магический кристалл» языка, как народ поднимался из этой бездны, что представляет собой нынешний немецкий язык и как он отражает нынешнюю реальность.

Вот была бы книга!

Двое из Черновцов. Как-то, будучи в бундестаге, я обратил внимание на то, что один из внутренних двориков этого парламентского комплекса носит имя Поля Целана. Это все равно как в российской Государственной думе имелся бы зал или внутренний двор, носящий имя, скажем, Пастернака. Впрочем, и депутаты бундестага, я полагаю, не очень-то задумываются над тем, чье имя носит этот дворик, когда они пробегают по нему, погруженные в свои политические игры.

Между тем, не живя в Германии, трудно себе представить, насколько имя Поля Целана, так же как и другого великого немецкого лирика Розы Ауслендер, вошло в культурный и общественный обиход страны, какое место эти имена занимают в иерархии исторических и культурных ценностей общества. Самое знаменитое стихотворение Целана «Фуга смерти», которое называли стихотворением века, было зачитано в бундестаге в день пятидесятилетия Хрустальной ночи.

Частью обряда стало и имя Розы Ауслендер, признанной самым популярным немецким лириком нашего времени. Общие тиражи ее книг превышали 800 тысяч экземпляров. Когда ей была присуждена высшая награда ФРГ — Большой крест за заслуги, вручать его в дом престарелых еврейской общины Дюссельдорфа, где жила Ауслендер, приехал тогдашний премьер-министр земли Северный Рейн–Вестфалия Йоханнес Рау.

Между тем трудно себе представить людей, более далеких от всего того, что связано с понятиями «государство», «политика», «народ», чем эти люди. Восприятие их поэзии — изощренной, изысканной, пронизанной экстатическим напряжением, со сложной метафорикой — требует определенного уровня художественного мышления, которое отнюдь не свойственно массовому сознанию. Что они для немецкой культуры? Задаваясь этим вопросом, я осознаю, что высокую и трагическую музыку такой поэзии, как, впрочем, и всякой поэзии, нельзя донести до читателя иноязычного. И потому я ищу аналогии в своей русской культуре. Может быть, они для немцев то же, что для нас великая четверка — Пастернак, Мандельштам, Ахматова и Цветаева? А может, в восприятии творчества Ауслендер и Целана сказывается комплекс немецкой вины за Холокост, своего рода политкорректность? Но ведь для этих поэтов единственным языком, на котором они могли писать и выразить страсти, раздиравшие их души, был немецкий.

Целан даже к Мартину Буберу пришел со своими сомнениями, можно ли еврею писать на «языке убийц», и обиделся на 80-летнего философа, который спокойно и равнодушно посоветовал ему простить и продолжать издаваться. Да он и не мог не писать, такова была его судьба.

Без знания судеб этих людей невозможно осмыслить их творчество.

Роза Ауслендер и Поль Целан родились в Черновцах (до 1944 года — Черновицы), и то обстоятельство, что этот провинциальный прикарпатский город на реке Прут дал миру двух великих немецких поэтов, было бы достойно удивления, если не знать, какой густой культурный настой, какое поразительное многоязычье («каждая дворничиха — полиглот») царили в этом тихом углу Восточной Европы.

Перебрасываемая по своей принадлежности из одной империи в другую, будучи то частью Османской Молдавии, то Австрии, то Румынии, то, наконец, Советской Украины, Буковина (земля буков, так же как Бухенвальд — буковый лес, ассоциативная связь, используемая в целановских стихах) была, по словам того же Целана, «землей людей и книг», наполненной в межвоенный период цветением немецкой

поэзии. А Черновцы, называемые «маленькой Веной», с каштанами, старинным университетом, театром, кафе, где местные интеллектуалы толковали о Марксе и Фрейде, о Гельдерлине и Рильке, о Томасе Манне и Бертольде Брехте, оставались и для Целана, и для Розы Ауслендер всю их последующую жизнь «потерянным раем». Недаром одна из книг Ауслендер называется «Всегда назад, на Прут».

Эта мечта — назад, на Прут, в страну счастливого детства в обеспеченной еврейской семье, где музицировали и молились, где отец Зигмунд Шерцер (фамилию Ауслендер поэтесса взяла после недолгого брака), последователь знаменитого садагорского цадика, читал детям хасидские легенды, а мать — немецкую классику, так и осталась мечтой. «Мое отечество мертво/ они похоронили его/ в огне/ Моя родина/ материнское слово/ в нем я теперь живу», — напишет она впоследствии.

Для нее, родившейся в первый год века — в 1901-м, со времени, когда пришел «не календарный, настоящий двадцатый век», началась полоса скитаний. В военном 16-м семья бежала в Вену, а потом, по возвращении после нескольких лет учебы в Черновицком университете, после смерти отца молодой девушке пришлось отправиться в США, зарабатывать на жизнь.

Из Нью-Йорка обратно в Черновцы, где болела мать. В 40-м, когда Буковину захватила Красная армия, она на несколько месяцев попала в тюрьму НКВД по подозрению в шпионаже. Как-то обошлось, выпустили. А год спустя с приходом немецких и румынских войск началось гетто. Из каждых десяти черновицких евреев выжил только один — 5 тысяч живых на 55 тысяч погибших. Роза оказалась среди живых.

Десять послевоенных лет она, живя в Нью-Йорке и зарабатывая на хлеб тяжким канцелярским трудом (работала переводчиком в какой-то фирме), пишет стихи по-английски. Возврат к немецкому языку после пережитого казался невозможным. И тем не менее он произошел. В 65-м она переезжает в Дюссельдорф, будучи никому не известным поэтом (единственная книжка ее стихов вышла в 39-м тиражом в 400 экземпляров), и здесь к ней приходит слава.

За 23 дюссельдорфских года, пятнадцать из которых она вынуждена была из-за перелома бедра прожить в доме для престарелых, ею было выпущено тридцать поэтических сборников. Она работала до последнего дня, долгие годы не вставая с постели. Последнее ее стихотворение под названием «Прекращай» содержит всего шесть слов: «Мечта/доживет/мою жизнь/до конца».

Целан же родился в 20-м когда Роза Ауслендер изучала философию в Черновицком университете, где он 19 лет спустя будет осваивать романистику и русскую культуру. Его звали тогда Пауль Анчел. Полем Целаном он станет позже, переставив для псевдонима слоги фамилии. Он был единственным сыном черновицкого торговца лесом, стремившегося дать сыну ортодоксальное еврейское воспитание, в то время как мать приобщала к немецкой культуре, столь распространенной среди черновицких евреев. В результате дома говорили на двух языках — иврите и немецком.

Сразу же после оккупации Черновиц он был мобилизован на принудительные работы сначала в городе, а потом в течение двух лет — в румынском трудовом лагере в южной Молдавии, где он работал на строительстве дорог. Когда впоследствии его спрашивал, что он там делал, он отвечал одним словом: «Рыл». В эти годы погибают его родители: отец от тифа, мать убивают выстрелом в затылок. И комплекс вины перед матерью, которую он не смог спасти, остается у Целана на всю жизнь.

Так же как и Роза Ауслендер, он уехал после войны в Бухарест, затем в Вену и, наконец, бежал в Париж, где жил до того самого весеннего дня 1970 года, когда парижские полицейские выловили из Сены утопленника, нашли в кармане его плаща вид на жительство и установили по картотеке: Пауль Анчел, гражданин Австрии, национальность — еврей, профессия — литератор.

В Париже он заканчивает Сорбонну, преподает немецкую литературу в педагогическом институте, много переводит. В 32 года, сразу же после выпуска сборника «Мак и память» к нему приходит слава. Казалось бы, его можно причислить к породе удачников. Он красив, женат на красивой женщине благородного французского происхождения, материально обеспечен, знаменит, находится в центре литературной жизни Европы, являясь одним из наиболее ярких ее представителей.

Но все это внешне. Апокалиптический ужас пережитого, увиденного живет в

нем, обрекает его на одиночество, на сложную внутреннюю жизнь, наполненную попытками выразить невыразимое, достучаться до самого себя, в собственной душе найти опору. Ему не дано забвение, груз пережитого делает его жизнь своего рода «отложенным геноцидом», отравляет его трупным ядом эпохи. В стихах, становящихся все более сложными, все менее доступными для понимания и от того рождающими множество интерпретаций, он ведет непрестанный диалог с самыми разными собеседниками. Среди них мать, Бог, Марина Цветаева и Осип Мандельштам, которых он так много переводил, жена, сын и даже дерево, цветок или камень.

Возможно, что он не страдал психическим расстройством, и его самоубийство можно было объяснить тем, что он не находил больше сил для выражения того, что переполняло его душу. «Разве Поль Целан, Тадеуш Боровский, Нелли Закс и другие, рожденные поэтами, — говорит Эли Визель, — не погибли из-за невыразимости того, что произошло в Освенциме, и чему еще предстоит как-то быть выраженным человеческим языком».

В его знаменитой «Фуге смерти», названной поэтической Герникой XX века, евреи, копают коллективную могилу под присмотром немца интеллектуала, смотрящего на них из окна. Вот последние строки этого стихотворения в переводе Людмилы Локштановой:

Черное молоко рассвета мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень смерть это мастер немецкий
мы пьем тебя вечером утром мы пьем тебя пьем
смерть это мастер немецкий глаз у него голубой
разит тебя пулей свинцовой разит тебя твердой рукой
в доме живет человек волос твоих золото Маргарете
он свору спускает на нас он дарит нам в небе могилу
он играет со змеями грезит смерть это мастер немецкий
волос твоих золото Маргарете
волос твоих пепел Суламифь

Все здесь — немецкий мастер, потерявший границу между добром и злом, фаустовская Маргарита и библейская Суламифь, могила в небе, о которой выше говорится, что она в облаках и лежать там будет нетесно, и главное этот гениальный образ — «черное молоко рассвета» — ведет диалог, расширяет привычные границы слова, раскрывает его многозначность, включает сознание в многослойный ассоциативный ряд.

Это стихотворение словно припоминание и вопль в пустые небеса. Такое же припоминание и вопль, как у Ахматовой с ее памятью о неизжитом, невыраженном до конца ужасе ГУЛАГа.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных «марусь»,
Забыть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы струится, подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Притом что каждый из этих двух поэтов обладал своеобразной творческой манерой, художественной неповторимостью, они ощущали внутреннюю связь, свое духовное родство. Роза Ауслендер, знавшая Целана еще по Черновцам, встречалась с ним в Париже в 1957 году во время своей поездки по Европе. Эта встреча была важна для нее. Целан был уже знаменит, а Ауслендер после десятилетнего перерыва возвращалась в немецкий язык, отказываясь вместе с тем от канонов традиционного стихосложения. Можно только воображать, как они встречались в Париже, о чем говорили — два выходца из одной среды, из одного бесконечно далекого от Парижа провинциального города, два поэта переживших Катастрофу, которая стала главным нервом их творчества.

Гасан Гусейнов

Россия и Германия: встречные культурные ожидания

Беседу ведет Ирина Доронина

И.Д.: Однажды, несколько лет назад[1], у меня вызвала протест ваша мысль о том, что познание чужого может происходить и в форме насилия. Тогда речь шла о кавказских проблемах — сначала советских, потом российских — и в центре оказались два агрессивных образа «другого»: условного «палача Кавказа» Ермолова и условного абрека-сепаратиста, который «точит свой кинжал». С немецкой культурой и Германией Россию связывают такие же, если не более сложные отношения. С одной стороны — Кант, который никогда не выезжал за пределы будущих СССР и РСФСР…

Г.Г.: …и нынешней Калининградской области!

И.Д.: …а с другой — неонацистские группировки, не по немецкому ли образцу растущие по завершении эры коммунизма и интернационализма как в России, так и у ее соседей на дрожжах расовой теории и религиозного, а лучше сказать, парарелигиозного мракобесия? За этим тоже тянется культурный «немецкий след» — через романтиков или Вагнера, вообще через «правую» музыкальную и философскую культуру, как считают многие? Давайте поговорим и о том мрачном, что объединяет культуры двух стран, и о свете, который, быть может, виден в конце туннеля. О культурно-исторических контрастах, если угодно.

Г.Г.: Если позволите, я буду говорить не вообще о том, что больше всего меня поразило, когда я в тридцатисемилетнем возрасте впервые оказался в Германии с советским опытом за плечами, а только о том, что мне стало чуть-чуть понятнее за прошедшие с тех пор двадцать два года.

И.Д.: Прекрасно, нет ничего ценней и убедительней личных впечатлений. Считайте, что мы проводим сеанс «культурной психотерапии».

Г.Г.: Немного запоздалый сеанс. За прошедшие годы загадочного стало намного больше — включая, увы, и то, что касается культурного диалога между Германией и Россией.

И.Д.: Чем вы это объясняете?

Г.Г.: Прежде всего кардинальным культурно-историческим различием. На месте бывшего СССР и исторической России возникло нескольких непохожих и отчасти враждебно настроенных друг к другу государств. В Германии же, изначально очень пестрой и разнородной, прилагаются колоссальные усилия и для европейской интеграции, и для интеграции неожиданных крупных постсоветских анклавов.

Гасан Чингизович Гусейнов (род. в 1953 г. в Баку) — доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ им. Ломоносова, директор Центра гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы, преподавал в университетах Дании, Германии, США, приват-доцент Боннского университета, автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе.

[1] См.: *Гусейнов Г.* Феномен Большого Кавказа. «ДН», 2009, № 4.

И.Д.: На собственной территории? Вы имеете в виду бывшую ГДР?

Г.Г.: Конечно. Но далеко не только ее, а и несколько миллионов переселенцев из бывшего СССР, с Балкан, из Турции. Германия — модель сосредоточивающейся Европы. Россия — одна из стран, в которых продолжаются процессы, разъевшие СССР. На объединенной Германии держится Евросоюз. На части территории России фактически продолжается гражданское противостояние. Не знаю, подсчитывает ли какая-нибудь служба в России, сколько и каких специалистов в разных областях знаний, художников, музыкантов, вообще людей из так называемого креативного класса переехало в Германию, как раньше говорили, «жить и работать».

И.Д.: Да, это объективные показатели контекста. А каково его культурное измерение? В чем оно состоит? Насколько, по-вашему, существенно, что именно в Германии поселились, например, такие выдающиеся люди, как Майя Плисецкая или София Губайдулина? Может быть, это просто вопрос житейского удобства, а не культурного контекста? Или все-таки в этом явлении есть нечто субстанциальное, что отражается на встречных культурных ожиданиях?

Г.Г.: Тут заметны два измерения. Одно — это как раз оживление, если воспользоваться вашим эпитетом, *встречных* стереотипов. Если смотреть на политическую карту Европы в масштабе минувшего и первых десяти лет нынешнего века, то культурно-экономическая доминантность единой Германии в составе Европы возрождает в представлении многих постсоветских людей старинные стереотипы о «германской машине», «сумрачном германском гении» и тому подобные.

Со стороны немцев — молодых и взрослых — такие «встречные стереотипы» существенно слабее.

И.Д.: Почему?

Г.Г.: Потому что культ перестроечного СССР, культ Михаила Горбачева, давшего согласие на разрушение Берлинской стены, существовали на всем протяжении девяностых годов. Культ Горбачева пошел на спад только вследствие войны в Чечне и в дальнейшем, я бы сказал, вследствие отката от правового государства в каком-то ином направлении. Старые немецкие представления о России как стране иррациональной, опасной и в своем бессилии, и в своем могуществе, ныне оживают и подпитываются в общественном сознании литературой, телевидением, кино.

И.Д.: Неужели существует некое культурное, или масскультурное, среднее арифметическое?

Г.Г.: Конечно. Во-первых, это собственный образ, творимый российскими политиками как «художниками» своей страны. Эстетика Волги-жестокости и Оки-человечности. Кроме того, это несколько изолированная среда перебравшихся в Германию трех-четырех миллионов бывших советских всякого рода и племени, они тоже принесли с собой стойкие культурные навыки. Они не хуже и не лучше, но они — другие, и со временем вырабатывается новый стереотип. Из России в Германию экспортируется искусство, повествующее «о России». Художественная документация «русской души». Это может быть отличная литература: Людмила Улицкая, Владимир Сорокин, Виктор Пелевин, Михаил Шишкин…

И.Д.: Шишкин скорее русско-швейцарский писатель.

Г.Г.: Ну, сейчас это особого значения не имеет. Важно, что современная русская литература гротеска идеально вписывается в новостную картинку дня. Только вот в отличие от «достоевщины» это уже не потемки общечеловеческой души, а открытое заголение современного травмированного общества.

И.Д.: И чем выше мастерство, тем больше макабра?

Г.Г.: Да, такое ощущение есть. При этом другие культурные рецепторы, настроенные на Россию, аппроприируют ее непосредственно и глубоко интегрируют в международный, европейский и мировой, контекст. Живущие в Германии крупные композиторы или художники из России, вписавшись в этот контекст, стараются, пожалуй, не ассоциироваться со своей исторической родиной. Есть, конечно, и такие, кто вынужден цепляться за некое перестроечное прошлое или недавние художественные скандалы в России. Но в целом…

И.Д.: Можете ли вы назвать какие-то имена?

Г.Г.: Да, конечно. Не без надежды, что они сами об этом не прочтут, поскольку сужу я тут по косвенным признакам. Из художников я бы назвал Игоря Ганиковского —

еврейский художник-философ, абсолютно космополитичен, представляет собой, с моей точки зрения, некий пандан к музыке Софии Губайдуллиной, только в сфере живописи.

И.Д.: Вы считаете, что этот художественный мир ушел из России?

Г.Г.: Сейчас мне кажется — да. Не в том смысле, что люди в России лишены возможности видеть и слышать его. А в том, что искусство подобного масштаба и типа не востребовано даже очень тонкой культурной средой на родине и в мире существует вне контекста русской культуры. Это, возможно, не очень справедливо, но, как мне кажется, названные художники и многие другие нашли другой дом для вдохновения.

И.Д.: А Кельнская художественная «колония»?

Г.Г.: Кельнская колония русских художников существует. Это большая тема — и не моя. Вот мне кажется, что Григорий Берштейн самоопределяется через личную историю, тематически у него очень много «России», но в немецком контексте она уже воспринимается как своя, если хотите, региональная кельнская единица.

И.Д.: Каковы культурные механизмы такого «присвоения»? Ведь один из стереотипов немецкой культуры в России состоит в ее некоторой отстраненности от чужого.

Г.Г.: Это было верно когда-то, в чем-то верно и сейчас. И здесь действует несколько разнозаряженных процессов. С одной стороны, есть определенные правила функционирования художника на рынке и у публики. Если ты не вписываешься в систему, тебя просто не увидят или увидят не те, для кого ты работаешь. Распространенное в России представление о «самородках», которые чудом возносятся на вершины славы и успеха, не имеет ничего общего с действительностью. Но основной нерв проблемы в нашем с вами контексте — это привязка в общественном сознании художника, музыканта, писателя к его стране.

И.Д.: А есть ли художники из России, которые, как это было в конце 1980-х годов, несли бы свое искусство вовне, как это делали концептуалисты тридцатилетней давности?

Г.Г.: Думаю, узнаваемых сейчас нет. Хорошей иллюстрацией к происходящему я бы назвал судьбу двух культурфилософских фигур, представлявших в Германии Россию как страну не очень строгих, но умных и занятных мыслителей по вопросам культуры. В конце 1980-х и в 1990-е это был Борис Гройс — наследник русской авангардистской эстетики. Но Гройс уехал в Америку, и сейчас его имагологическая функция в культурном сообществе Германии перешла к Михаилу Рыклину, который вместо ответа на вопрос «как нам понимать Россию» заколотил окно из Европы большим «черным квадратом». На эмоциональном уровне хорошо его понимаю, да и рациональных оснований для ужаса хватает, но философское содержание образа страны, который складывается из этого ужаса, помноженного на ужас, мало что прибавляет к познанию России. Это, в представлении Рыклина, безвыходный, беспролазный макабр авторитарного режима.

И.Д.: И эта картина вписывается в некую сумму «российских» ожиданий немецкого общества? А какая тут может быть альтернатива? Точнее, культурная альтернатива?

Г.Г.: Здесь есть определенный культурный парадокс. Физическое присутствие России в Германии намного объемнее, чем присутствие Германии в России. А главное — у этих культурных сущностей нет соответствующих параллелей. В первом случае, например, — это советская субкультура тюрьмы, которая озадачила всю пенитенциарную систему Германии. Несколько лет назад мы с одним коллегой даже провели несколько семинаров на эту тему — именно культурологических семинаров! — для работников министерства юстиции, которые сталкивались с загадкой русской (русско-еврейской, переселенческой, поволжско-немецкой, узбекско-таджикской и т.д.) души в узких рамках германских исправительных учреждений.

И.Д.: Под культурой в данном случае понимается…

Г.Г.: …да, советская телесность, язык заключенных, татуировки, половое насилие, отношение к государству, к семье, гендерные роли — все то, что делает современную Германию и Европу в целом такими не похожими на постсоветское пространство.

И.Д.: А культура предпринимательства?

Г.Г.: Здесь как раз у России есть свои «новые немцы», на всех этажах государственной машины — от бывшего федерального канцлера Шредера до «зеленых» и других активистов. Они пытаются пробить официально-неофициальный лед, в котором спит наше сумрачное общество с его фобиями — от чудовищной гомофобии до политических страхов перед Западом, который якобы хочет навязать россиянам какие-то мнимые ценности, отобрав что-то исконно-посконное. С одной стороны — сверхлояльные службисты, которых в России-то, судя по СМИ, не осталось, а с другой — иногда вполне анархистская академическая и полуакадемическая тусовка.

И.Д.: А не возникает ли взаимной несовместимости от такого неравновесного взаимоопыления?

Г.Г.: Именно что возникает. У Германии есть прекрасный источник знаний о недавней России и бывшем СССР — в виде ее культурных анклавов, со своими газетами, со своим бытом, своими странными КВНами, концертами российской или украинской попсы. Но это кажется скучным и неинтересным, потому что это под боком и уже не очень аутентичное. А если что-то приходит непосредственно из России или с Украины, оно должно быть «с мороза», должно быть крутым, абсурдным, иррациональным.

И.Д.: Вы заговорили об Украине в контексте российско-немецкого культурного взаимодействия. Неужели в Германии так уж отличают друг от друга культуры этих постсоветских стран?

Г.Г.: Этот вопрос весьма актуален и для самовосприятия пишущих по-русски авторов, где бы те ни жили. Но в восточно-европейском многоугольнике, образовавшемся после роспуска СССР, культурные границы не совпадают, или, во всяком случае, далеко не всегда совпадают с государственными. Например, писателя Андрея Куркова воспринимают как русского писателя с Украины. В России его, по-моему, игнорируют, а немецкие издатели в своем поиске аутентичных украинских писателей находят в нем симпатичную легкость, отсутствие того великорусского макабра, стеба и надрыва, которым славятся позднесоветские и раннепостсоветские мастера.

Идеальный пример удовлетворения немецких издательских ожиданий новой литературной фигуры — Юрий Андрухович. В России есть свои весьма тонкие исследования молодой украинской литературы, и их очень интересно сопоставлять с тем, как на ту же тему пишут в Европе, где существует культурно-политический заказ-ожидание на идентичность. Это было, кстати сказать, и в самой Германии после включения бывшей ГДР в состав ФРГ, когда образовались пять новых федеральных земель, границы которых не совпадали с прежними округами, и надо было формировать новую земельную идентичность. Если судить по исследованиям Екатерины Дайс, Юрий Андрухович еще совсем молодым человеком перешел с русского языка на украинский и быстро стал для немецкой и австрийской читающей публики выразителем старо-новой «галицийской» идентичности. Тут очень много языковой игры, тонкостей, в полной мере доступных только двуязычным читателям, но в талантливую пестроту, выходящую из-под пера Андруховича, его немецкими читателями и издателями вчитывается культурный контур уже не советско-российской империи, а как бы возрожденного местного, центрально-восточно-европейского, как говорят в Европе, мира. И уже после такого позиционирования на литературно-публицистической сцене Центральной Европы автор становится интересен российским издателям. При этом может выясниться, что настоящий его контекст — вовсе не «галицийский» и не «европейский», а как раз вполне российский.

И.Д.: Получается, что такое понимание достигается через немецкое посредничество?

Г.Г.: Абсолютно верно! Нельзя сказать, что это такая уж универсальная отмычка, потому что есть и другие примеры. Скажем, Владимир Каминер, ставший в Германии беллетристическим пресс-секретарем русской диаспоры, в России не вызывает почти никакого интереса. А для Германии, для массового, так сказать, читателя и телезрителя, его книги и выступления в СМИ полезны и удобны как раз для создания нового положительного клише «страшненьких, иногда нелепых, но не грозных и даже чем-то симпатичных чуваков».

И.Д.: Чужаков?

Г.Г.: Ну да, и чужаков, и чуваков, то есть людей, которых не обязательно воспринимать всерьез, потому что они присутствуют в твоей жизни не как трехмерные, а как двухмерные сущности — всего лишь книга, всего лишь изображение на экране. А повседневность у них такая же, как и у всех «понаехавших». Россия light, не претендующая на внимание.

И.Д.: Вырисовывается, мягко говоря, не очень приятная картина. Чего-то «второсортного». Вам не кажется?

Г.Г.: Нет, это совсем не так. А может быть, даже наоборот. Массовый спрос на произведения популярной культуры не может быть организован. Его надо угадать, а потом суметь практически воспользоваться угаданным. Это требует и интуиции, и мастерства, и таланта. Проблема не в создателе определенного круга произведений, а в структуре общественного спроса. А этот спрос объясняется неготовностью немецкого общества смотреть на соседей с Востока как на источник какого бы то ни было нового знания о мире и о себе самих. Вот и получается, что русская сложность создается из антикварных фантазий (вроде «европейской Галиции» Андруховича), а простота — из бедных родственников диаспоры в стиле Каминера. Зато из самой России поступает мощный заряд гротеска и макабра в диапазоне от переписки Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским до эпических полотен Владимира Сорокина. Разумеется, я вынужденно несколько утрирую, но картину во всей полноте видят только очень узкие специалисты в соответствующих областях.

И.Д.: Вы говорите, что «нового знания» из России в Германии не ждут. А откуда ждут? И что это вообще за феномен — ожидание нового знания? Каков его обратный вектор? Какого нового знания ждут в России от Германии?

Г.Г.: Об этом горько говорить, но в России сейчас вообще ни от кого никакого нового знания не ждут и слышать о нем не хотят. Тем более от немцев. У нас основной модус обращения за знанием — календарь, тяга к культовым именам. Она сочетается со склонностью к эзотерике и теориям заговора, снятию покровов с политических и космологических тайн. Поэтому, несмотря на значительные успехи небольшого круга издателей, переводчиков и авторов — Ирины Прохоровой, Валерия Анашвили, Николая Плотникова, Игоря Чубарова, Михаила Маяцкого, Сергея Сумленного — из страны философов в русский философский контекст плохо вписывается рационализм Хабермаса. А вот иррационализм Хайдеггера всасывается, здесь вообще работает странный и очень прихотливый механизм, который восходит к стародавним временам.

И.Д.: Ну, у нас, надо сказать, из Германии вечно везли не то, что нужно.

Г.Г.: Вы имеете в виду марксизм?

И.Д.: В том числе.

Г.Г.: Мне кажется, марксизм был бы очень кстати, если бы воспринимался так, как о нем говорили вслух. Но ведь марксизм не воспринимался как рациональное историко-философское направление мысли, а вбивался как эзотерическое учение. Результат оказался безумным. В позднесоветские годы люди со склонностью к философии опыляли цветочки студенчества как раз почти оккультной философской литературой, делая вид, будто это — все та же философская традиция, которая идет от Гегеля через Гуссерля в наши дни.

И.Д.: Ну, это-то совсем не массовая культура. Хотя важна, конечно, и она. Потому что это, наверное, и есть тот волшебный кристалл, который дает в конечном счете стереоскопическую картину массовой культуры. Но какие конкретно явления здесь имеются в виду? Что, скажем, в восприятии немецких философов — от Гуссерля до Хабермаса — наиболее важно в российском культурном контексте?

Г.Г.: На этот вопрос подробно должны ответить специалисты. Мне бы хотелось остановиться только на одном знаковом сюжете, как раз на той точке, в которой политическая история Германии сходится с философской. Это феноменолог Гуссерль и его ученик Хайдеггер, который во времена национал-социализма сам пришел к нацизму из своего внутреннего интимного почвенничества и не случайно не пускал своего учителя в университетскую библиотеку. Именно этот коричневатый Хайдеггер и нравится многим его российским адептам. А Гуссерль, как и весь рационализм

немецкой философской традиции, уходит в тень мистического опыта, почвенничества, культа некоего реинкарнируемого романтического оккультизма. Когда он был в подполье, когда он считался синонимом интеллектуальной реакции на советскую марксистскую квазирелигиозную индоктринацию, он был понятен и производил богатый культурный продукт в виде изданий, над которыми работали А.В. Михайлов, С.С. Аверинцев, В.В. Бибихин. Но как только вся эта продукция вышла на свет божий по миновании официальной идеологии, художественная листва осыпалась, и стали видны сучья и стволы. Те самые хайдеггеровские Holzwege, от которых социально-философская мысль Германии и Запада в целом ушла уже очень далеко. Россию же накрыла вторая волна иррационализма. Она, разумеется, вовсе не вся из Германии, в основном — домашнего приготовления. Но немецкая нота в мракобесном оркестре современной России слышна.

И.Д.: Понятно. Ее внешнее и площадное выражение — это «попса» вокруг неожиданно ставшей приемлемой для какой-то части молодежи нацистской символики, какое-то странное примирение с национал-социализмом и даже гитлеризмом. То и дело слышны удивленные голоса: мол, как же это возможно в стране, победившей нацизм? Парадокс.

Г.Г.: А загадки здесь большой нет: десятилетия переживания войны с немцами как главного, всеподавляющего события двадцатого века не просто оставили в коллективной памяти очень глубокие следы. Это как раз было бы нормально. Не нормально то, что вместо анализа исторического опыта происходит «военная игра», исход которой, по правилам этой игры, как бы еще и не предопределен. Владимир Сорокин передал это парадоксальное чувство в своей, по-моему, недооцененной в России пьесе «Месяц в Дахау».

И.Д.: А что вы скажете о тех людях, которые воссоздают Германию и Россию друг для друга в литературе, — о переводчиках, литературоведах, историках. Есть ли здесь какое-то «равновесие»?

Г.Г.: Взаимное экспертное знание, на котором может или могла бы строиться, например, совместная образовательная программа, конечно, прирастает. И его вот так, в одном разговоре, не описать.

И.Д.: Ну, хотя бы пунктиром.

Г.Г.: Прежде всего, есть некое братство, а лучше сказать — сестринство и братство переводчиков. Недооценка этого цеха в литературной среде драматична. Только когда уходит такой человек, как Соломон Константинович Апт, становится ясно, какую роль он играл в формировании образа Германии в России. Есть и менее известные имена. Например, Евгения Александровна Кацева. Старшина военно-морского флота в годы войны, вполне официальный советский литератор, даже литературный функционер. Но те, кто хорошо знал советскую литературно-издательскую кухню, представляют себе, каких усилий требовало появление на русском языке переводов немецких писателей, коему во многом мы обязаны и ей. С другой стороны, никому в Советской России не было позволено стать таким «почетным консулом», каким с конца 1970-х годов стал для Германии Лев Зиновьевич Копелев.

И.Д.: Вы считаете, что можно говорить о литераторе, даже литературоведе как о фигуре национального масштаба?

Г.Г.: Да, в случае Копелева это не будет ошибкой. Копелев стал никем не навязанным радетелем за дело культурного, общественного, политического примирения. Тут сыграли свою роль три принципиальных фактора. Во-первых, склонность немцев к известной упорядоченности большой картины мира. Там должно быть место и для дружественной России. Его обеспечивает либо политический класс (как это сделали несколько десятилетий назад Хрущев и Аденауэр), либо, когда политики не в состоянии сделать ничего подобного, — человек культуры. Копелев оказался идеальным посредником. Он был советским офицером-антифашистом и евреем, попавшим в лагерь за выступление против мародерства собственных однополчан. А после освобождения — германистом и писателем, другом Генриха Белля. Скажем так: личный моральный капитал и безоговорочная готовность к миру, безусловная жажда демократических преобразований для своей страны вытолкнули Копелева на медийную авансцену.

И.Д.: Это один фактор, а два других?

Г.Г.: Второй фактор — продолжение первого: в медийном ландшафте, формируемом общественным консенсусом, а не официозом, страшно ценится личность, которая может в силу присущей ей устойчивости выдержать годы пребывания на безжалостно освещаемой площадке. И по пути не «испортиться», но и не прискучить, и не заскучать, не начать действовать как автомат. Копелев был именно такой личностью. Он задел очень важный нерв немецкого общества — формировал взгляд на Россию и русских не как на жестоких и мстительных победителей в недавней страшной войне, а как на человечных и жаждущих примирения людей. И третий фактор — стремление пробудить в миллионах людей искреннее, никем конъюнктурно не навязанное желание помочь.

И.Д.: Трудно поверить, что его мог пробудить один человек.

Г.Г.: Понимаю ваше недоверие к моим словам. Мне и самому многое было удивительно в Копелеве. Но я уверен, что в истории германо-российского взаимодействия конца восьмидесятых — начала девяностых годов Копелев сыграл не меньшую роль, чем тогдашние министры иностранных дел. И это был не просто политический акт, но событие культурное, причем глубинное, а не поверхностное. Даже некоторое внешнее сходство с Толстым играло тут определенную положительную роль.

И.Д.: Интересно, что эти ваши слова о Копелеве, с одной стороны, подчеркивают, так сказать, «роль личности в истории», а с другой — помещают нас в какую-то опасную близость ко всяким теориям заговора. Мы то и дело слышим, причем с разных сторон и по разным поводам, что такие-то и такие-то силы ответственны то за войну, то за расхищение богатств страны…

Г.Г.: Теории заговора даже и обсуждать не хочется. А вот о роли личности в истории приходится думать все время. Потому что эта роль часто не зависит от таких показателей, как занимаемый человеком пост, административный вес и тому подобное. Многое определяют люди, воспитывающие будущих специалистов по твоей стране.

И.Д.: А вы знаете или знали таких в Германии? Тех, кто готовил кадры для «познания России»?

Г.Г.: Конечно. Зачастую это люди, которым мы можем, мягко выражаясь, не симпатизировать, а то и быть прямо враждебными с ними по убеждениям. Но они, быть может, вопреки собственным убеждениям, сделали что-то чрезвычайно важное для взаимопонимания наших стран. Во Фрайбурге жила переводчица Светлана Гайер. Когда-то, по моим впечатлениям от двух-трех разговоров с нею, она была вполне себе симпатизанткой нацистов, не угнанной в Германию во время войны, а вполне осознанно ушедшей туда с отступающими немецкими частями. Очутившись в Германии, она запрятала свои убеждения в очень прихотливый кокон — в Достоевского. Она переводила не только романиста Достоевского, но и автора «Дневника писателя». Все то, что в Достоевском стараются по большей части позабыть, Светлане Гайер, судя по всему, страшно нравилось. Она была такой вот консервативной русской патриоткой в духе мечтателей о захвате Константинополя и проливов, о дружбе тевтонского леса и русского поля.

И.Д.: Вы прямо какого-то Александра Дугина в юбке описываете.

Г.Г.: А она и была почти такой. Но я не об этом, а о том, что новый перевод Достоевского на немецкий Светлана Гайер таки сделала. Может быть, кто-то скажет, что надо современную литературу больше переводить или десятки вышедших недавно мемуарных книг. Конечно, это тоже очень важно.

И.Д.: Вы думаете, что новые переводы русских классиков выходят в Германии чаще, чем немецких — в России?

Г.Г.: Думаю, что да. Книжная культура в целом в Германии высока. Конечно, и в России есть несколько издательств-атлантов. Но в том, что касается учебников, мемуарной, научной литературы, российская книжная культура значительно уступает.

И.Д.: По каким признакам это видно?

Г.Г.: Достаточно зайти в любой большой книжный магазин. В России, за редчайшими исключениями вроде «Фаланстера», «Билингвы» и нескольких других, разделы «История» или «Философия» отдают свои полки эзотерике и шарлатанству вроде «новой хронологии». Немецкий же книжник честно поставит все это в отдельный «шкап», на котором будет написано, что это «Фэнтези» или «Эзотерика». А какие-то книги и просто не возьмет в свой ассортимент.

И.Д.: Возвращаясь к тем, кто определяет образ другой страны у следующих поколений, вы считаете, что в Германии эта экспертная группа держит более высокую планку?

Г.Г.: Так огульно тоже нельзя сказать. Просто потому, что в последние двадцать лет очень многое делается общими усилиями. Например, Ириной Щербаковой и ее немецкими коллегами из Фонда Белля. Следует упомянуть и совместные проекты журналов «Восточная Европа» и «Новое литературное обозрение» — это очень крупные образовательные проекты. Пусть у них пока не очень много читателей, но именно эти читатели лет через десять будут иметь общий бэкграунд и в силу высокого качества образования, возможно, займут ключевые позиции.

И.Д.: И они-то будут свободны от теорий заговора? Это немножко похоже на маниловщину, но хотелось бы верить в лучшее.

Г.Г.: Почему на маниловщину? Тут я не соглашусь. Просто из России часто не видна и, главное, не ценится работа, которую делают в Германии многие наши соотечественники. Один такой преподаватель, как писатель и филолог Михаил Бездродный в Гейдельберге, способен подготовить людей, которые оплодотворят потом целое поколение филологов нового качества. Вот при институте философии в Бохуме Николай Плотников основал исследовательский центр «Русская философия». Институционально все это существует пока почти что на птичьих правах, иначе говоря, центр существует, пока есть средства на какой-то проект. Но проекты-то важнейшие, темы ключевые, по которым между Германией и Россией как раз меньше всего взаимопонимания. Один проект, в котором участвовали поровну люди из Германии и из России, был посвящен «личности», «персональности», другой — «справедливости». Умная образовательная политика подсказала бы верный путь — учредить этот исследовательский центр как совместный германо-российский, выросший из живого дела. Немцы как раз не боятся «иностранных агентов», когда речь идет о явном приращении общего знания. Но опыта такого взаимодействия нет, а нефтегазовая держава чихать хотела на то, что вырастает само по себе, из чистой потребности (само)познания.

И.Д.: А почему немецкая сторона не вложится по полной программе в этот проект, если он такой ценный?

Г.Г.: Тут много причин. Знаете, немецкие чиновники в целом, как класс, не могут уважать своих российских партнеров.

И.Д.: Тоже как класс?

Г.Г.: Боюсь, что да.

И.Д.: Почему?

Г.Г.: Этого нам с вами открыто никогда не скажут. Просто из вежливости. В целом немецкое государство следит за тем, чтобы его чиновники оставались неподкупными. Коррупция, конечно, случается везде. И плагиат бывает. И злоупотребление служебным положением. Но это все — эксцессы. А у нас — наоборот. У нас эксцесс — вуз, из которого можно вылететь за реальную неуспеваемость. Стоит один раз внимательно послушать спор думских депутатов или прочесть отчет о «нецелевом использовании» средств, отпущенных на школы или университеты, чтобы стало ясно: если в этой системе что-то все-таки функционирует, то только вопреки действующим правилам.

И.Д.: И здесь траектории движения снова расходятся?

Г.Г.: Пока да. Есть такая обидная формула, которую одна эстонская старушка, вздохнув, вывела о наших соотечественниках: русский человек не видит работы. Немцы это чувствуют не менее остро, чем эстонцы. Странное сочетание презрения к государственному порядку, к государственной машине и покорности этой же плохо функционирующей государственной машине остается в Германии главной культурной загадкой России.

Юрий Андрухович

Немецкий лексикон

Из книги «Лексикон інтимних міст»[1]

С украинского. Перевод Андрея Пустогарова

Берлин, 1993—2009

Берлин кажется мне дневником. В него хочется записывать. Мои дни в Берлине всегда сочтены, даже если их 365, и это тоже подталкивает к ведению дневника. 365 дневниковых записей могут неожиданно оказаться романом — если повезет. Но, если и не повезет, стоит попробовать. С Берлином стоит попробовать все, что угодно, он — город для проб.

Эти записи должны пропитаться любовью и благодарностью, потому что в Берлине мне по-особенному хорошо. Я замечаю за Берлином то, чего мне не удается заметить за всеми остальными моими городами — он растительный и с внутренними пустотами, в нем оставлены огромные пробелы, которые всегда можно чем-нибудь заполнить, но лучше не заполнять ничем, кроме литературы. Я наблюдаю, как Берлин заполняется писателями. Они прибывают со всего света, некоторые, чуть ли не случайно приземлившись на три дня, остаются здесь навсегда. В этом, вообще говоря, некрасивом городе, где, несмотря на всю его неуклюжесть, даже слишком много воды и деревьев, вдруг хочется поверить, что это и есть твое настоящее место.

Я никогда не вел дневника. В Берлине не вел его точно так же, как во Львове, Москве или Франике[2]. Но из того, что я до сих пор писал о Берлине, все равно получается дневник. Даты его размыты, поскольку несущественны. Из-за этой размытости дат приходится смешивать времена в произвольной последовательности.

Вот некоторые обрывки этих перепутавшихся вокруг Берлина часовых поясов.

Андрухович Юрий Игоревич — украинский прозаик, эссеист, поэт, переводчик. Родился в 1960 г. в городе Ивано-Франковске. Окончил Львовский полиграфический институт и Высшие курсы при Литературном институте в Москве. В конце 80—90-х гг. входил в известную поэтическую группу «Бу-Ба-Бу». Автор пяти романов, трех сборников эссе, пяти поэтических книг. Лауреат премии им. Гердера (2001 г.), а также других международных литературных премий. Произведения переведены на многие европейские языки.

Пустогаров Андрей Александрович родился в 1961 г. в г. Львове, окончил МФТИ. Автор трех книг стихов и короткой прозы. Переводчик и составитель нескольких антологий современной украинской поэзии и прозы. Также переводил с украинского произведения Б.-И. Антонича и В. Домонтовича. Опубликованы переводы с польского, английского и других европейских языков. Член союза «Мастера литературного перевода». Живет в Москве.

[1] Переводится как «Лексикон интимных городов», но на украинском практически совпадает по звучанию с фразой «Лексикон интимных мест». (*Прим. пер.*)

[2] *Франик* — Ивано-Франковск. (*Прим. пер.*)

1. (...кажется, сентябрь 2005...)

Из моих окон почти насквозь просматривается кафе «Доллингер». Например, сейчас, когда я пишу эти строки, а на улице уже окончательно стемнело, оно сдержанно светится изнутри и я могу наблюдать за его посетителями, тяжеловатым скольжением официанток, мерцанием свечей на столиках. Отдельным сюжетом моих подглядываний могли бы стать поцелуи. У людей, которые назначают свидания в кафе, есть привычка целоваться — при встрече и при расставании. Они целуются по-западному, то есть дважды и крест-накрест. Когда я говорю «по-западному», то это без учета швейцарцев — они, как и славяне, целуются трижды. Кто объяснит, отчего? Швейцарцы, как поцелуйные славяне Запада? Но я сейчас не о них.

Я живу на втором этаже, поэтому гляжу на «Доллингер» немного свысока. Если вообразить, что это не кафе, а театр, то я зритель из первого балконного яруса. Так оно, наверное, и есть. И кафе не кафе, и я не вуайерист.

Я живу в Шарлоттенбурге — некогда богемном районе Западного Берлина. Кафе «Доллингер» — первое в цепи заведений подобного рода: «Доллингер», «Оранж», «Леонгардт», «Лентц» (последнее отчего-то самое культовое, говорят, в нем культ абсолютной тишины), а за ним недавно открывшееся заведение итальянца, что на самом деле подразумевает албанца или афганца.

В 60-е этот уголок Запада никогда не спал. Вышеупомянутые кафе были открыты круглые сутки, рядом с круглосуточным кинотеатром. В три ночи можно было сходить на новый фильм, к примеру, на Антониони, а после снова вернуться в кафе. Сегодня это уже легенда — за последние тридцать-сорок лет Шарлоттенбург, а с ним и Штутти, то есть Штутгартерплац, где я и нахожусь, не только постарел, но и заметно обуржуазился, и никто теперь не сидит до утра в его кофейнях — дай бог, чтоб до полуночи. Как единственный пережиток революционных обычаев 1968 года, осталась традиция подавать завтраки до шести вечера — университетские леваки, изнуренные всеночными дионисийскими дискуссиями о единственно верном устройстве мира, традиционно отсыпались до позднего послеполудня.

Я ни разу не видел хозяина квартиры, в которой живу. Говорят, он в Африке. Если не ошибаюсь, он ученый-экономист, причем — тут я уж точно не ошибаюсь — марксистского толка. В его домашней библиотеке не только произведения отцов-основателей в 43 томах, но и несколько изданий «Капитала» на других, почему-то непременно романских, языках (французском, испанском, португальском), несколько биографий Маркса (Франц Меринг, Рихард Фриденталь и др.), произведения Бебеля, Бухарина, Лукача, «Введение в изучение Маркса, Энгельса и Ленина», «История Коминтерна», другая мало что говорящая мне политэкономическая ересь, а также шеститомник Мао Цзэдуна и Коран — и то и другое в переводе на немецкий. Интересно, как Мао относился к Корану? А Пророк к Мао?

Всего же — сотни книг, альбомов, атласов (последние меня просто осчастливили, особенно «Новый исторический атлас мира» с его 600 цветными картами и указателем из более чем 20 000 наименований).

Хозяин квартиры (а может, его предшественник), несомненно, «человек 68-го года». «Черный обелиск» Ремарка у него не просто зачитан — весь в закладках и карандашных пометках. Да, именно «Черный обелиск». Для немцев он значил столько же, сколько для советских людей — «Три товарища». Жорж Амаду на языке оригинала у него отчего-то разбросан — все четыре тома на разных полках. Концепция? Кроме того, он однозначно влюблен в социологию и культурную антропологию — стоят «Средиземноморье» Фернана Броделя в трех томах и «История частной жизни» в пяти. Странно, но нет ни одной книги, которую написал бы он сам. Хотя я все равно убежден, что книги он пишет — по теории катастроф, к примеру. Ясное дело, экономических.

Его фонотека состоит из нескольких сотен виниловых пластинок, но их не на чем слушать. В такой фонотеке не может не быть Баха, Стравинского и Прокофьева. Само собой, в ней есть Дженис Джоплин, несколько первых альбомов «Роллинг стоунз». Нет «Битлз», зато много Джона Леннона — конечно же есть «Imagine». Есть и

двойной альбом Виктора Хара, чилийского коммунистического барда, замученного людьми Пиночета. Все складывается в одно целое, как и должно складываться.

Кроме того, в его жилище много африканской живописи. Изображенные на картинах уличные сцены указывают на франкофонно-негритянско-мусульманский мир, что-то вроде Нигера или Мали. А в одной из комнат стоит деревянный жираф — уменьшенное изображение, метра полтора в высоту, хотя под такими высокими потолками мог бы поместиться и настоящий. Только зачем мне здесь живой жираф?

Иногда я не знаю, что делать с этим нечеловечески огромным простором и начинаю ездить по нему на велосипеде — все четыре комнаты расположены длинной анфиладой, есть где разогнаться.

Иногда я часами наблюдаю за кафе «Доллингер» — пока в нем не задуют последнюю свечу. То есть не перестанут целоваться.

2. (...примерно в декабре 1993...)

Мы сошли с киевского поезда на вокзале Берлин Лихтенберг, с десяток людей украинской породы, так называемых гостей столицы. Я не слишком люблю делегации, особенно такие до неуклюжего большие, но в то время у меня просто не было другого выхода: путешествие в Берлин светило только в составе, я согласился. Причем этот состав выглядел до неприличия гетерогенно: пара бывших политзаключенных, пара функционеров эспеу[1], пара молодых. К последним принадлежал и я.

Итак, мы вышли из поезда, и нас сразу окружили панки с огненными ирокезами и кудлатыми псами. Нас было человек десять — и все украинские поэты. Некоторые в кроличьих шапках — а в чем же еще поэту ходить в декабре? Словом, мы привлекали к себе внимание. Сам я в отдельности не привлекал бы, а вот в составе делегации даже я привлекал.

Словом, мы и так попали в самый эпицентр, а тут еще поэт Мыкола Самийленко, ветеран УПА, закурил в подземном переходе нашу партизанскую цыгарку. И панки рванули к нему — на запах. Они хотели, чтобы он подарил им пачку, этот опупенно классный чувак в тулупе и каракулевой шапке. Они совали ему свои папироски — предлагали обмен. А он только беспомощно хлопал глазами — старый человек, боевой поэт и пропагандист, герой сопротивления, сам сплошное сопротивление. Особенно, когда их пес передними лапами вспрыгнул ему на грудь, и хвостяра его едва не оторвалась от радостного размахивания. А у пана Мыколы было свое личное, исторически обусловленное отношение к немецким собакам, особенно такой породы. Поэтому этот знак собачьей любви его сильно напряг. Тут я пришел к нему на помощь и вместе мы прорвались сквозь их заслон — ценой всего лишь какого-то десятка сигарет.

А дальше нами уже занялись немецкие организаторы. Они встречали нас аж вчетвером — двое господ постарше, одна дама и один молодой человек. Много лет спустя я напишу стихотворение про «хотя бы одну даму», вернее, про то, что мужские попойки оканчиваются преимущественно плохо и «должна быть хоть одна дама», чтобы спасти ситуацию. Но это будет стихотворение о совсем другом случае. В нашем же случае дама не только не спасла ситуацию — именно она ее и изгадила.

В отельчике на Савиньиплац (он уже не существует, теперь там обувной магазин или что-то в этом роде) наши открытые украинские души, функционеры эспеу, пригласили немцев в номера — попробовать горилки и сальца. Они же десятки лет возили горилку и сальце в Москву, и за это порой русские, закрыв глаза на художественную ценность, печатали их в переводах. Но, как формулирует мой приятель In, упаси нас боже от украинской открытости и русской духовности! Здесь, в Берлине, в отельчике с милым бюргерским названием «Альпенлянд», весь апробированный водочно-сальный ритуал потек совершенно в непредсказуемом направлении.

Приняв на грудь пару-тройку рюмок, присутствующая берлинская дама выразила твердое желание, чтобы мы говорили об истории вслух и признали украинскую вину за Освенцим (она говорила «Аушвиц», и наши совсем ничего не понимали, лишь

[1] *Эспеу* — Социалистическая партия Украины. (*Прим. пер.*)

поглядывали на меня). Ее немецкие коллеги едва затушили пожар, время от времени выкрикивая ей в лицо решительное «Quatsch!». Именно тем вечером я впервые услышал это энергичное слово. Им удалось успокоить свою приятельницу, но настроение уже было испорчено, и осадок, само собой, остался. Под конец пан Мыкола угостил хозяев яблоками из собственного сада — зимний сорт, красные, хрустящие, с дерева, которое сам посадил, когда вернулся из ГУЛАГа.

Немцы ели яблоки и благодарно улыбались.

Помню еще, как в двухэтажных автобусах на Ку-Дим берлинские тетки восхищенно повторяли «Russische Delegation!», тыкая пальцами нам вслед.

И как в субботу пополудни в окрестностях Цоо проехал целый кортеж автомобилей, которые бешено клаксонили. «Турецкая свадьба», — объяснил я остальным украинцам. Проходившая мимо бабуля в шляпке, глянув в нашу сторону, подтвердила по-сербски: «Turske veselje»[1].

И, конечно, помню статных шарлоттенбургских проституток в ботфортах и с кнутами в руках.

Мне захотелось бывать в Берлине снова и снова. Так все и началось.

3. (...на стыке октября и ноября 2005...)

А как красиво все начиналось!

Всего лишь 15 лет тому назад, на изломе десятилетий, которое немного погодя ошибочно и самоуверенно назвали «концом истории».

Мы никак не могли нарадоваться близкой победе капитализма. Наши СМИ, которые по мановению волшебной палочки Горби становились все более свободными, рассказывали нам о капитализме все больше позитивного. Ужасное чудовище вдруг оказалось красавцем-королевичем. С пламенной преданностью неофитов мы увлеклись всеми его рыночными аттракционами. Мы превратились в слегка отсталых детей, что, как загипнотизированные, под звуки шарманки шагают вереницей в ярмарочное шапито. «Рынок, рынок и только рынок!» — повторяли, словно заклинание, все — экономисты, философы и поэты, хотя никто из них (и прежде всего экономисты) толком не понимал значения этого слова.

Некоторые из нас — те, что попали на Запад первыми, рассказывали о бесконечных сортах еды и питья и прочих чудесах консумации.

«Представляешь, там тебя благодарят за покупку!» — взволнованно, со слезой в голосе сообщали они.

Что и говорить — капитализм был чудесным.

Это уже потом, попозже, началось его беспомощное приживление к отечественному грунту: шок без терапии, захват собственности, обнуление сбережений, открытая и скрытая безработица, социальная деградация с люмпенизацией — и, как антитеза, появление первых жирных котов, впоследствие вежливо названных олигархами.

У нас и в самом деле наступил капитализм (причем тот еще — дикий), а у них, как оказалось, все было более красиво — либерально-постиндустриальное (да еще и социально ориентированное) общество. Так по крайней мере это называется.

Стоит только приглядеться к пейзажам — и все становится очевидным.

Я не ищу пейзажи — они сами находят меня.

Вчера, отправившись из Шарлоттенбурга к друзьям в Панков, я сделал паузу на Александерплац. Несколько утомили бомжи в эс-бане, с каждой остановкой их набивалось все больше и больше, на Фридрихштрассе сели еще трое, некоторые были с большими собаками и понуждали пассажиров к милостыне. С собакой можно успешней нищенствовать — люди склонны подавать «на животных». «Надо всегда носить в кармане мелочь», — зарубил я себе на носу. Именно в кармане, а не в кошельке. Както неловко доставать перед бомжами кошелек и рыться в нем.

По Алексу гулял ветер, было грязно и пусто. Впрочем, нет — с того момента, как я был здесь в последний раз, появились заборы строителей, началось нечто, похожее

[1] *Turske veselje* — турецкая гулянка (*серб.*).

на очередной ремонт, строительные руины окружили гигантоманскую «Галерею Кауфгоф», этот, как считается, символ перемен в бывшей гедеэр. Я шел сквозь это запустение мимо низкорослых панков (наверное, это уже внуки тех первых), мимо их пива, сигарет и — опять-таки — беспородных псов, мимо растерянных экскурсионных школьниц из какого-нибудь Биттерфельда, подозрительно смуглых продавцов левого серебра, румынских цыганок с их *do you speak English*? А еще мне на каждом шагу попадались сумасшедшие или инвалиды в колясках. И наконец до меня дошло, что это распад.

Да, мне кажется, что это очередной декаданс. На наших глазах уходит под воду еще одна утопия Оксидента — надежда на то, что убрав противостояние систем, можно раз и навсегда обрести безопасность, уверенность и — главное — стабильно высокий жизненный стандарт.

Но жизнь не может, не хочет, да и не должна укладываться ни в какие стандарты, какими бы высокими они не казались тем, кто считает себя конструкторами этой жизни. Лицо человека предназначено не только для скольжения по нему поверхностных и отчужденных улыбок. Ему присущи морщины, порезы, гримасы отчаянья и спазмы страдания.

В связи с чем вышеописанный пейзаж с бомжами, панками, псами и сумасшедшими может считаться полностью оправданным и в целом оптимистичным.

4. (...возвращаясь в тот 1993...)

Я писал про Мыколу Самийленка и его краснобокие яблоки после ГУЛАГа — и решил вдруг узнать в Интернете, сколько же он оттрубил в тюрьмах и лагерях. Интернет выдал следующее:

«Выдающийся поэт Мыкола Омельянович Самийленко воевал в УПА на родной Днепропетровщине. Мучился в ГУЛАГах и ссылках. Читал свои стихи с закрытыми глазами — так он привык сочинять их, отключаясь от страшной лагерной действительности. Умер, ненужный народу, за который страдал всю свою жизнь, 11 мая 2001 года». И все. А еще там, где должен быть его портрет, надпись: «Фото отсутствует».

И при чем тут Берлин? Да ни при чем. Считайте, что это интермедия на тему родины.

5. (...несомненно декабрь 2005...)

Как-то вечером несколько дней тому назад я, словно придирчивый ворчун-генерал, сделал последний предпраздничный обход района. Все это одна внешность, бутафория и блестящая суета сует, думал я. А также маниакальная распродажа более или менее дорогих материальных объектов, которые почему-то принято называть подарками. И обвал цен плюс ажиотажный спрос на все, что не удалось толкнуть в остальное время года. Какое отношение ко всему этому имеют Путеводная звезда, Пастухи, Ягнята, Вифлеемский вертеп и Рождество? Если на Рождество не выпадает снег, это значит, что никому уже не нужны доказательства существования Бога. Это значит, что в очередной раз победил атеизм.

От таких мыслей делалось веселей — ведь это не совсем мои мысли. Это я мысленно пародировал мысли других.

Неподалеку от Савиньиплац я напоролся на МС, ирландского поэта. Как все ирландцы, он был уже хорошо под газом и сразу же потянул меня пить пиво. «Мэн, — размахивал руками МС, — ты даже не представляешь, как я тебе благодарен!» Два месяца назад он пожаловался, что никак не может посмотреть последний фильм Джармуша, потому что в Берлине его демонстрируют лишь на немецком. Я порекомендовал ему кинотеатр в Кройцберге, где в оригинале крутили «Сломанные цветы». И вот теперь МС рассыпался в благодарностях. «Мэн, — снова и снова повторял он, — ты даже не представляешь, кто для меня Джармуш! Во всем мире у меня только два героя — Джармуш и Том Уэйтс. Том Уэйтс и Джармуш!» Я согласился, что оба они просто супер. Мы солидарно жали друг другу руки и трясли головами, словно гуцулы, что танцуют свой аркан. Помимо этого, мы снова и снова заказывали.

Через час-полтора МС таинственно заулыбался и, приглушив голос, сообщил: «У меня для тебя рождественский сюрприз, мэн». «Да?» — без особых признаков радости промямлил я. «Сейчас мы увидим Джармуша, — еще тише, почти шепотом, сказал МС. Пользуясь моим онемением, он продолжал: — Я знаю, где он. Я знаю, где он сейчас. Он в Берлине. Он в Берлине в моей квартире». Он говорил это как старый русский актер Мартинсон в «Собаке Баскервилей»: «Я! Знаю! Кто! Ему! Носит! Еду!» (каждое слово с новой строки).

Был второй час ночи, мы подходили к его дому на Шторквинкеле. Нас вело предвкушение чуда, которое вот-вот должно было произойти. Нас вела звезда в высоком берлинском небе, нас вели ангелы, чьи звонкие лютеранские голоса раздались в это мгновение с видимых и невидимых высот мира. Нас вели три царя, что в то же мгновение превратились в трех бомжей: в кельта, перса и негра.

В такую ночь все делается возможным. Дорогой Джим, ты знаешь, как мы все тебя ждем. В воздухе ощутимо запахло снегом. Мы шли почти на цыпочках. Только бы не спугнуть Джармуша, думал я, только бы не спугнуть.

6. (...абсолютно точно: июль 2000...)

А еще в Берлине, в самом его сердце, со мной случилось вот что (цитирую по своей книге «Тайна», хотя и неточно, с вариациями слишком уж хрупкое воспоминание):

...вскоре наши ватные ноги ступили на Вайдендамский мост, под нами, как текила, текла Шпрее, солнце било нам в глаза, мы ни на мгновение не сбавляли ход и ни на шаг не приближались к железнодорожному мосту над Фридрихштрассе. Мы шагали невыносимо долго, решительно рассекая воздух взмахами рук, мы давно уже должны были оказаться в своем отеле, но этот Вайдендамский мост никак не мог закончиться, собственно, он и начаться-то как следует не мог — из-за того, что расстояние между ним и перпендикулярным ему железнодородным никак не уменьшалось и, судя по всему, уменьшиться и не могло. Тут только я понял, в чем дело, и прерывающимся голосом сказал: «Слушайте, мы же топчемся на месте». Эта догадка по крайней мере кое-что объясняла — скажем, то, почему нас так пронзительно со всех сторон обсигналивали водители.

Так вот — это было небо вечности. Именно в тот раз нам удалось на краткое мгновение оказаться в вечности. Мы выпрыгнули из времени. Железнодорожный мост не приближался ни на шаг, вода в Шпрее больше не текла, солнце застыло в зените, времени не было. Если бы эти козлы в машинах так не сигналили, мы бы не провалились в него назад. А с другой стороны, именно они нас и спасли, ведь вечность кошмарна, и они вытянули нас из нее своими пронзительными клаксонами типа «Turske veselje», они просто вырвали нас из ее холодных объятий. Возможно, это и есть способ: как только кто-то надумает помирать, сразу изо всех сил клаксонить ему прямо в ухо.

7. (...2008 — осень, да даже и поздняя...)

Новую книгу хорошо начинать на новом месте — в другом городе, в другой стране, немного даже в другой жизни. Я специально пишу «другой», а не «чужой». Ведь Берлин мне давно не чужой. Я люблю его прежде всего за особенное чувство легкости и открытости, благодаря которым мне в Берлине удается абсолютно все. Извините, загнул: не абсолютно все, а кое-что — получить ключ, к примеру. В Берлине мне дают ключ от квартиры, а он оказывается ключом от города. А иногда и от всего мира.

Кроме того, я люблю его за неуравновешенность. Дело даже не в том, что этот раздвоенный город так и не может окончательно срастись, несмотря на отсутствие раз и навсегда разрушенной Стены. Дело прежде всего в городских пейзажах — некоторые поражают чуть ли не швейцарской зажиточностью, другие — типичным посткоммунистическим упадком. Что может соединить в одном организме Цюрих и Тирану? А Марцан и Далем? Иногда кажется, что существуют десятки берлинов и в каждом свой пейзаж. В одном из таких только что очутился я. Это не Далем, хоть и совсем рядом — Грюневальд.

Каждая моя книга очень сильно зависит от пейзажа за окном. Несколько лет назад этим пейзажем было кафе «Доллингер» на углу Леонгардшрассе и Штуттгартерплац. На этот раз мои окна выходят на озеро Герта, поэтому я теперь знаю, откуда взялось название западноберлинского футбольного клуба, за который играет, кажется, Воронин. Я сразу полюбил мой новый заоконный мир — и столетние деревья, и канал, соединяющий Гартазее с Кенигзее — особенно его иссиня-черные воды, способные навеять прямо-таки мифологические ассоциации.

В один из первых дней я совершил излюбленный ритуал, который называю *опробованием местности*. Оказалось, что Грюневальд одинаково хорош как для пеших прогулок-медитаций, так и для велосипедных вылазок. В нем есть что-то от заповедника, и время здесь, если и не остановилось полностью, то сильно притормозило.

Грюневальд до сих пор погружен в свои истоки — *прекрасную эпоху* рубежа столетий, называемую еще fin de siecle, что так неожиданно (для кого — для нынешних историков?) была оборвана Первой мировой войной. Груневальд и есть та прекрасная эпоха — искусственный и изолированный от эпохи реальной, идеальный и элитарный, с виллами и усадьбами, застывший, по-буржуазному старомодный. В конце 20-х здесь мог прогуливаться молодой Набоков — в шортах и панаме, с сачком в руках. Тут ему удалось бы наловить бабочек для своей коллекции. Грюневальд — территория бабочек: озера, каналы, луга, деревья, усадьбы, парки. Хорошо, что я буду жить здесь всю весну, а потом захвачу еще и добрую часть лета.

Накануне лета тут непременно появятся русские, это сейчас их нет, это сейчас мне повсюду видится только один русский — Набоков. А в мае другие, ненабоковские русские решительно заполонят собой все самые дорогие здешние рестораны, в клочки разорвут своими резкими голосами бюргерскую атмосферу и станут требовать от жизни все большего и большего. В мае они обычно возвращаются в свою грюневальдскую недвижимость, купленную по случаю за свои неучтенные и полностью избавленные от запаха деньги. Послужил отечеству, дорос до полковника — поживи теперь на пенсии в нормальной стране.

Русские в Берлине даже не как дома, они просто дома. Русского языка вокруг уже больше, чем во Франике, еще немного — и станет больше, чем в Киеве.

И еще я заметил — пассажиры эс-банов и метро бросают монеты лишь за русскую музыку. Сыграешь «Подмосковные вечера» или «Катюшу» — и уноси полную шапку денег. История про штурм и капитуляцию еще не пришла к завершению. Иногда просто режут глаз белые флаги по всему городу.

8. (...начало мая 2006...)

С приближением лета число их растет. Они повсюду — в подземных переходах и на станциях метро, а еще на площадях, в парках и скверах, особенно вблизи стоящих на свежем воздухе столиков кафе и ресторанов, да и просто за любым углом. Берлин тут как раз не исключение, а один из типичных примеров. Знакомый журналист даже собирается написать монографию о берлинских уличных музыкантах. Тем более что он безработный и у него есть на это время.

Он решил начать с классификации, и сумел насчитать пять основных категорий. Первая — профессионалы, окончившие высшие музыкальные заведения и по разным причинам не нашедшие себя в филармонической рутине. Вторая — чудаки-одиночки, остатки странствующих менестрелей и рокеров, склонные к тяжелой наркоте падшие ангелы андеграунда (это их больше всего в подземных переходах, так как они уже не переносят солнечный свет).

Третья — новаторы и изобретатели, виртуозы ни на что не похожих инструментов и целых оркестров, например, из разных по размеру и форме склянок, наполненных водой (а может, слюной?). Четвертая — абсолютные халтурщики: смуглые дядьки албано-румынского типа, все в золотых зубах и черных очках. Они всегда ходят по трое, преимущественно в составе саксофон, гитара, аккордеон (вариант: тамбурин). Играют они, как я уже сказал, бессовестно плохо, что совсем не мешает им с хитрованской наглостью и хорошо артикулированными ругательствами на могучем в этом

отношении балканском языке прочесывать метро, собирая денежные пожертвования. Эти ребята до сих пор паразитируют на золотых временах Кустурицы и Бреговича.

Пятой категорией мой приятель считает русскоязычных выходцев из бывшего эсэсэр, как правило, невероятно профессиональных. Мне кажется, мой приятель допускает тут распространенную логическую ошибку — все представители пятой группы могут одновременно принадлежать и к первой. Все они настоящие музыканты, другие мне не попадались — воплощенная основательность советских музучилищ.

В январе-феврале 2004-го я жил над озером Ваннзее, на самом краешке берлинского юго-запада, поэтому в центр чаще всего ездил по линии S1, так как более быстрая S7 была в то время разорвана ремонтными работами между Шарлоттенбургом и Цоо. И как бы часто я не ездил, они каждый раз появлялись между Шонебергом и Йоркштрассе. Относительно молодая пара, он и она, оба около тридцати, он с гитарой, она с мандолиной. У нее — то, что здешние службы знакомств называют «славянским типом красоты». У него — скорее нет. То есть и не красота, и не славянская.

Они начинали играть — это всегда были «Memories» Ллойда Веббера. Они исполняли их вполне пристойно и, поскольку перегон между станциями превышал по длительности эту композицию, играли еще одну. Тут сразу отпадали сомнения в том, что они, как это красиво называется, мои бывшие соотечественники, Это была песенка Остапа Бендера из телевизионных «Двенадцати стульев» — та, где «белеет мой парус, такой одинокий».

Так вот, я ездил по этой линии десятки раз, и каждый раз они появлялись и играли то же самое в той же последовательности — сначала Ллойд Веббер, «Memories», а затем «…но я не плачу и не рыдаю». И мне пришло в голову, что если бы действительно существовал ад для музыкантов, то это вот именно он: вечно, изо дня в день, без выходных и праздников, ежечасно и ежеминутно ходить по составу из вагона вагон и играть только две мелодии, всякий раз те же самые две мелодии.

Потом я уехал из Берлина, а год назад снова вернулся в него, но больше они мне ни разу не встретились. И только в прошлую пятницу (впервые за целый год!) внезапно вынырнули — только не на линии S1, а на линии U2, приблизительно между Виттенбергплац и Бюловштрассе. Вашу мать, пробормотал я. И, закрыв глаза, мысленно объявил: «Ллойд Веббер. «Memories». И они начали играть — именно то, что я объявил. Как всегда — технично, правильно и чисто. В миллионный раз. Когда они доиграли до конца, я сказал Пат: «А теперь песенка Остапа Бендера».

Но тут случилось чудо. Они заиграли совсем другое — «Чаттанугу». Это было похоже на бунт. Это было сверхчеловеческое усилие — они прорвались из ада в чистилище. Их встретили аплодисментами и свистом на станции Чаттануга, штат Теннеси. И когда этот чувак с гитарой пошел собирать по вагону деньги, я впервые отсыпал ему несколько монет.

9. (…та самая осень — 2008…)

РТ, экстравертный и эксцентричный коллега из коллегиума как-то спросил меня: *Do you know a German word Leichenhalle*[1]? Он имел в виду сверхизбыточный покой Грюневальда, его особенную тишину, буржуазную скуку, пустопорожнюю предсказуемость пригорода. Но это прозвучало как намек на ужасы истории. Бывает, скажешь что-то полностью нейтральное, например, Gleis 17, путь номер такой-то — а оно вдруг отзовется эхом как «Холокост».

Тот стародавний идеальный Грюневальд был колонией обеспеченных и чрезвычайно обспеченных людей, элитарным островком успеха и благополучия. Его обитатели управляли финансами и заводами, издавали эзотерические журналы, публиковали философско-политические эссе, заседали в рейхстаге, декламировали русские и французские стихотворения в салонах и беседках, субсидировали театры, футбольные клубы и левые политические движения, писали картины в стиле кубизма,

[1] Ты знаешь немецкое слово Leichenhalle? (*англ.*). Leichenhalle (*нем.*) — морг.

закладывали фундамент химической и кинопромышленности, производили немые фильмы, содержали любовниц из оперетты и любовников из балета, устраивали обеды и вечеринки с участием членов правительства, дипломатов, актрис и писателей, сами становились членами правительства, дипломатами, актрисами и писателями, ездили на пикники, дискутировали об антропософии, экспериментировали с архитектурой, танцами, сексом — словом, были более чем самодостаточными людьми, едва ли не каждый из них мог сказать: жизнь удалась по-настоящему.

Все, что случилось с ними потом, после 1933 года, можно назвать постепенным, но все более резким и болезненным свертыванием. В один прекрасный день они начали понимать, что становятся объектом все более острой ненависти, что ненависть эта, как пожар, охватывает все бо́льшие массы людей, еще немного — и массы потребуют расправы. Сворачивалось бытие как таковое — от сокращения возможностей до тотальной невозможности всего. Свертывание началось с мельчайшего дискомфорта, с запрета на выгул собак в общественных местах, а закончилось отправкой в лагеря смерти с 17 пути железнодорожной станции Берлин-Грюневальд.

Ужас, который постепенно концентрировался и сгущался внутри этих вилл на протяжении 1930-х годов невозможно измерить никаким физическим прибором. Но, если бы такой прибор существовал, он бы до сих пор зашкаливал. Да он просто взбесился бы, этот прибор.

10. (...еще одна весна — 2009, хотя какая разница...)

Петер Ц., с которым в греческом «Терцо Мондо» на Грольманштрассе мы обмывали его фильм, внезапно — возможно, от выпитого коньяка — сказал: «Ты должен написать роман о Берлине. О нем не было романов со времен Деблина. Вот возьми и напиши».

Но как тут напишешь роман, если Берлин — это дневник? И вместо наложения историй, сюжетной метафизики и большого романного нарратива — сплошные пропуски и пробелы? Ни один раздел не тянет на часть целого, ни один абзац не дописан, ни одно предложение не доведено до ума. И вместо разделов, абзацев и предложений — отдельные слова, вот как, к примеру, Rosinenbomber[1].

Все, на что меня могло бы хватить — на составление реестра таких слов, хоть и на это мне понадобилось бы столько же времени, сколько Джойсу для «Улисса». Чтоб были и чекпойнты, и кофейни, и псы породы лабрадор, и эс-бан, и денер, и русские, и фрики, и церковь Сломанного Зуба, и тот же Rosinenbomber.

Я годами составлял бы простой перечень берлинских слов. Может, кому-либо они бы и понадобились — чтобы сшить их все вместе нитью какой-нибудь истории.

11. (...между 18 и 21 августа 2006...)

Дорогу на Чертову гору мне показал Алик Данцигер — бывший киевлянин, а ныне берлинец. Кстати, его фамилия действительо Данцигер и живет он на Данцигерштрассе. В Берлине такое случается.

Это было в начале июня, погода вполне успешно соответствовала метеорологическому прогнозу «переменная облачность с прояснениями, местами кратковременные осадки». Поэтому пока мы шли от станции Грюневальд по лесу в сторону шоссе, а затем через территорию школы — к Чертовому озеру, нас основательно промочило и снова высушило. На озере мне очень понравилось.

На сей же раз мы свернули на шоссе и, пойдя влево вверх по асфальтированной дорожке, направились к конечной цели нашего путешествия — к наивысшей точке Берлина, к отданной на растерзание всем ветрам, заброшенной американской радарной станции. Сначала мы оказались на небольшом плато, с которого одинокие

---

[1] *Rosinenbomber* — изюмный бомбардировшик (*нем.*). С 24 июня 1948 г. до 12 мая 1949-го продолжалась советская блокада Западного Берлина. Западные союзники, в первую очередь американцы, спасали население города от голода и холода, сбрасывая на парашютах с самолетов еду и топливные брикеты (так называемый Luftbrucke — Воздушный мост). Самолеты-спасители получили название Rosinenbomber.

заклинатели запускали в небо воздушных змеев. Далеко внизу лежал северо-западный кусок города со Шпандау и его ратушей. Нам стало так хорошо, что Алик достал из своего ягдташа бутылку виски.

Потом, когда мы шли вдоль стены радарного комплекса, виски уже начало действовать, и Алик поведал, что диверсионная группа из двадцати человек преодолевает преграду вроде этой стены менее чем за 10 секунд. Один подсаживает другого, третий влезает на плечи четвертому, ну и так далее. Так берут крепости и принуждают к капитуляции правительственные резиденции. Но в эту минуту нас было всего двое. Я поклялся себе, что буду приходить сюда чаще. Возможно, даже с диверсионной группой — чтобы все-таки проникнуть на *территорию.*

С тех пор я уже как минимум трижды побывал на Чертовой горе. Как-то я привел туда АД и АД. Так уж случилось, что у этих польских подружек одинаковые инициалы. (Черт побери, до меня только сейчас дошло — они еще те же самые, что и у Алика! Это похоже на знак. Но только знак чего?)

Стояла первая половина октября, но было жарко, как летом. Мимо нас промаршировала большая группа детей, семи-, самое большее, восьмилетних, во главе с несколькими молодыми педагогами. Они перемещались вдоль запретной стены хорошо организованной колонной и столь же организованно стали пара за парой спускаться вниз по крутой тропинке, очень серьезные и оттого повзрослевшие, вооруженные походными посохами. Я сделал глубокомысленный вывод о коренных различиях в ментальности: наши славянские дети никогда бы не стали спускаться так собранно и дисциплинированно. Они обязательно рванули бы с горы наперегонки, сбились бы в шумную экзальтированную толпу и кто-то непременно съездил бы соседа по шее, к примеру, тем же посохом — по крайней мере разок-другой. АД и АД заметили, что в этом нет ничего плохого. Я думал точно так же, речь шла не о добре и зле, а только об отличиях. Я всегда веду речь только о них. О добре и зле я даже слышать не хочу.

Позже из писем АД и АД выяснилось, что главного-то я и не знал — эта Чертова гора на самом деле насыпная. Это засыпанные землей остатки 400 тысяч берлинских домов. Тепер моя любовь к руинам получила еще один стимул. В следующий раз, в конце марта, я был там один и с дневником. В него я записал: «Эти руины так и лезут из-под земли. Что выталкивает их на поверхность, почему эти куски кирпичей все еще шевелятся? Словно куски только что разделанного мяса».

Не знаю, зачем я сегодня снова ходил туда. Неужели в Берлине нет ничего более привлекательного? Неужели этот заваленный мегатоннами грунта Подземный город, Welthauptstadt Germania, важнее для меня, чем все живые площади и дома, все мосты, перекрестки, все берлинские кофейни с их десятками тысяч посетителей и перекрестных поцелуев? Чем все берлинские собаки? Мне захотелось сосредоточенно полежать где-нибудь в пожелтевшей траве, лицом к небу, но я так и не решился. Казалось, эти беспрерывные стоны из-под земли могут раз и навсегда утянуть к себе, на самое дно.

The Penny ballad for N.

Из книги «Пісні для Мертвого Півня»

Свою мочу, доставленную самолетом
из Берлина
я наконец отдал небытию
на вокзале в Мюнхене.

Поезд отправлялся через полчаса.
На пороге весны, 25 февраля,
жизнь опять кажется прекрасной,
особенно, если впереди Альпы.

Остается добавить
снег, солнце и этот чудовищно богатый
немецкий Юг
с его рвущими душу католическими
пейзажами.

За день до этого
она похоронила отца.
Как она чувствовала себя в тот день?
На пороге весны
жизнь не кажется доброй —
то есть смерть, а не жизнь,
то есть то и другое, то есть все сразу.

А меня ждал полностью неуместный праздник.
То есть я опять отправился той же дорогой —
через Пазинг и Гаутинг на Тутцинг.
Там все было *наше*,
и оно напоминало,
и на каждом метре — только она
и ничего больше, ее присутствие,
вчерашние похороны, снег и солнце,
как и тогда, два года назад,
и вдруг Starnberger See[1] слева
с теми же самыми пирсами, чайками
(не хватало только какого-нибудь, курва,
Альбинони за кадром,
чтоб захлебнуться!) —
а после, а после —
справа —

ах, всего лишь Penny Markt,
красно-желтый супермаркет,
несчастный банальный супермаркет,
по-прежнему тот самый Penny Markt!

Он тоже был *наш* —
одно из тысячи кратковременных мест
на земле,
куда мы ходили
за едой и вином,
и нам было хорошо,
и в это краткое время никто не умирал,
словно никто больше и не умрет.
Словно такого вообще не бывает.

[1] *Starnberger See* — Штарнбергское озеро (*нем*.).

Сергей Жадан

Immigrant Song

С украинского. Перевод Андрея Пустогарова

1

Представления о мире, заложенные в детстве, оказываются, как правило, наиболее стойкими и позитивными. Детям присуще некритическое доверие к родителям и ничем не оправданное восхищение поведением взрослых. Детское сознание, не обремененное ни условностями, ни этикой, выхватывает из реальности краски без оттенков, проводя резкую границу между желанным и отталкивающим. Потом, когда подрастаешь, граница исчезает, краски смазываются, остается игра света и тени, воспоминания о детской беззаботности, обрывки давно услышанных историй, в которых мир был цельным и упорядоченным, а жизнь — бесконечной и лишенной малейшей несправедливости.

Детская погруженность в ландшафт и географию, в запахи и линии, в солнечный свет и горячую полутень, формирует уютный неизменный пейзаж, в центре которого — ты сам, а все остальное, что может тебе понадобиться, совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Но все имеет свойство исчезать. И в первую очередь — иллюзии. Способность сохранить их, сберечь среди всех искушений и опасностей, и есть самое ценное. Мы храним остатки детских представлений о взрослом мире, как самое дорогое, поскольку, по большому счету, у нас ничего кроме и нет. Есть еще, правда, опыт, за которым стоят потери и поступки, компромиссы и никому не нужный трезвый взгляд на вещи.

Что я знаю об этом мире? Он безграничен и несовершенен, причем несовершенство его безгранично, а безграничность — вовсе не совершенна. Все мои знания относятся скорее не к опыту, а к памяти. Мне всегда казалось, да и теперь кажется, что главное — это уметь все вспомнить. А если что-то вспомнить не можешь — по крайней мере придумать.

2

В нашей семейной мифологии особое место занимали истории, связанные со Второй мировой войной. Истории эти в первую очередь касались моих бабушек, которые приняли в указанной войне активное участие. Они не воевали в танке, не летали на бомбардировщике и не закрывали грудью вражескую амбразуру (хотя в моем детском сознании долгое время жил образ двух старушек, геройски скачущих в кавалерийскую атаку, но он, конечно, был продуктом пропагандистской машины с ее

Жадан Сергей Викторович родился в 1974 году в г. Старобельске Луганской области. Окончил филфак Харьковского пед. университета. Кандидат филологич. наук. Поэт, прозаик, драматург, эссеист, переводчик с английского, немецкого, белорусского и русского языков. Пишет на украинском. Произведения С.Жадана переведены на английский, немецкий и многие славянские языки. Лауреат национальных и международных премий. Постоянный автор “Дружбы народов». Живет в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Западной Европы — в том числе в сопровождении украинских музыкантов (в частности, группы «Собаки в космосе»).

общей милитаристской направленностью). Так вот о бабушках. Обе они были медработницами, то есть участия в боевых действиях, по большому счету, не принимали, что меня в свое время сильно разочаровало. Бабушка по маминой линии прошла вместе с советскими войсками через Варшаву и навсегда сохранила не самые лучшие воспоминания о поляках, которые отчего-то не проявляли большого гостеприимства и восхищения новой властью. Бабушка же по линии отца прошла Венгрию и добралась до Австрии, и точно так же некомплиментарно высказывалась по поводу целой вереницы центральноевропейских народов, а именно венгров, румынов, австрийцев, чехов со словаками, ну и всех балканцев вместе взятых. Именно с этой, так сказать, австро-венгерской бабушкой связана одна из самых больших загадок в истории нашей семьи. Согласно преданиям, во время военных действий в Венгрии (мое детское воображение подсказывало, что это случилось во время кавалерийской атаки) бабушка познакомилась с участником движения сопротивления, который воевал на нашей стороне. Относительно его национальности существовало несколько версий. Иногда говорили, что он был венгерским цыганом, иногда — наоборот, румынским сербом, в другой раз рассказывали, что он происходил непосредственно с Балкан (то есть хорват или черногорец, ну, максимум, албанец), хотя время от времени проскакивало, что был он разведчиком из Саратова, а какой национальности — сказать трудно, потому что их там в Саратове вообще трудно разобрать, какой они национальности. И вот этот саратовский цыган с венгерско-албанскими корнями и стал моим дедом по отцовской линии. Вроде бы что же тут сложного — запомнить его имя, найти после войны и обняться в семейном кругу. Но, оказалось, все не так просто. Семейные предания сообщали, что, когда в 1945 году, уже после войны, моя бабушка возвращалась домой (на боевом коне, думал я, с простреленным красным знаменем), во время пересадки на московском вокзале (и в самом деле, как же возвращаться на Украину из Австрии, как не через московский вокзал?) у нее украли чемодан со всеми личными вещами и, главное, с адресом и именем сербско-саратовского дедушки. Одним словом, папа мой рос без отца, а все его контакты с исторической родиной ограничились посещениями социалистической Болгарии и не менее социалистической Югославии в конце семидесятых — начале восьмидесятых в качестве передовика социалистического опять же соревнования. А семейные тайны покрыла мгла, центральноевропейские корни мало кого интересовали, все списали на войну и бабушкину врожденную легкомысленность. Меня же, наоборот, эта история все время будоражила. Прошлое всегда норовит выглядеть лучше, чем оно есть, особенно когда дело касается чужого прошлого. Кем он был, думал я, этот мой героический дедушка по папиной линии? Где родился, чем жил? За что полюбил мою героическую бабушку? Может, за героизм? И как все могло бы сложиться, если бы он не исчез в вихре безжалостной истории? Это, выходит, я бы мог быть румыном? Или сербом? Или вообще родиться где-то в Саратове? Саратов я сразу же отмел — он мне никогда не нравился, я и теперь плохо представляю, где это и чем там население занимается в мирное время. А вот венгерско-балканский вариант манил своими степенями свободы. Ах, думал я, если бы я был венгром! Я бы жил в старом-добром Будапеште, мои родители были бы нормальными либералами, вели бы свой мелкий бизнес, дали бы мне нормальное университетское образование, я бы выучился на нормального инженера, с хорошим дипломом, с нормальными перспективами, закончил бы обучение, рассчитался с долгами, и с чистой совестью свалил куда-нибудь в Берлин продавать пиццу. Красивая жизнь, безграничные возможности. Но все сложилось бы совсем по-другому, будь я румыном. Мои родители были бы коммунистами, но вовремя вступили бы в ряды какой-нибудь либеральной партии, я окончил бы сельскохозяйственную школу и готовился бы стать агрономом, чтобы поднимать аграрный сектор, и родители поддерживали бы меня, как могли, то есть морально, и у меня были бы незаурядные возможности для реализации своих сельскохозяйственных амбиций, пока в один прекрасный день мою родину не приняли бы в великую семью европейских народов, и я уже с чистой совестью свалил бы в тот же самый Берлин продавать свою любимую пиццу. Но лучше всего было бы родиться в Албании. О Албания, королевство согласия и благополучия, страна солнца и возрождения! Твои мудрые монархи сдерживают азиатские нашествия и контролируют европейские офшоры, твоя мудрость уравновешивает северную натовскую стервозность с примесью южных мародерских наклонностей, твои волосы омываются волнами трех океанов, а твое мускулистое сердце, словно горячую кровь, гонит сквозь себя российскую нефть. Одним словом, у каждого из вариантов были свои преимущества. Но прихотливая судьба распорядилась по-другому.

3

Прихотливая судьба подарила нам привилегию родиться в лучшей из стран. Тогда, в семидесятых, весь мир заключался для меня в папином чемодане, в котором он привез нам с братом подарки из социалистической Югославии, и я, конечно, не думал ни про какие Балканы, тем более — ни про какую Венгрию. Жизнь в основном ориентировалась по улице, на которой я рос, солнце обжигающим золотом сияло над моей стриженой головой, синева небес текла в сторону черноморских портов, а железный занавес поблескивал в свежем летнем воздухе, сиял никелем и аллюминием, создавая чувство уюта и стабильности. Детские годы вспоминаются с нежностью и ностальгией как раз потому, что в детстве мы плохо знали географию. Это потом мы выросли из своей страны, как из старой школьной формы, пережили падение стен и развал империй, стали свидетелями исторических переломов и экономических катастроф. Прихотливая судьба дала нам возможность вволю побултыхаться в холодном мутном времени, среди финансового коллапса, геополитических сдвигов, ледникового периода, мы видели рождение фантасмагорических утопий, создание нового Вавилона, избиение младенцев и великое переселение народов. Но экономические реформы, делая человека злым, не делают его наблюдательным. Время текло, как песок меж пальцев, жизнь менялась, как погода, и единственной константой, единственным подтверждением взрослости нашей жизни была постоянная, повсеместная, массовая эмиграция, которая началась еще в конце восьмидесятых, и не прекращалась, похоже, никогда. Порой мне кажется, что эмигрировали все и всегда. Эмигрировали друзья и одноклассники. Эмигрировали коммунисты и диссиденты. Эмигрировали учителя и безработные, эмигрировали мужчины и женщины, увозя с собой в дальние края лишь самое дорогое — фотографии детей и фотоаппараты на продажу. Даже моя бывшая школьная директриса и та эмигрировала. Теперь воспитывает детей в Италии. И, зная ее методы воспитания, об итальянских детях я не тревожусь. Волны эмиграции, словно волны Черного моря, взбивали белую пену на государственных границах республики, легко и ненавязчиво исчезая в пограничном песке, оставляя лишь привкус радости и горечи. Волны эти отличались одна от другой оттенком, содержанием соленых слез и яркого прибрежного песка. Не знаю, действительно ли свободный мир требует такого многолюдного и неконтролируемого перемещения странствующих толп, что срываются с насиженных мест и бродят по старым беззащитным городам в поисках высшей справедливости и дешевого ночлега. Миллионы добровольных изгнанников пересекают символические европейские границы, пытаясь любой ценой добраться до сладких объединенных вавилонских предместий, стирают все из памяти, отказываются от прошлого, меняют биографию, подписывают контракты и уезжают подальше от неприветливого солнца своей безнадежной родины.

Эта свежая, горячая кровь новой европейской эмиграции! Эти веселые, полные энтузиазма соседи, что селятся на вашей улице, избавляя от тишины и спокойствия! Мы — одна семья, прихотливая судьба предоставила нам возможность сделать попытку ужиться друг с другом, и если вам не нравится восточная музыка, которую я слушаю, я всегда могу привести контраргументы относительно общего культурного наследия. Новые европейские эмигранты вызывают если и не любовь, то по крайней мере уважение — где еще найдешь столько последовательности и упорства в демонстрации своего скепсиса и нежелания учить иностранные языки. Молодые эмигранты, что ступают на пероны Вены, Берлина или Гамбурга, волоча за собой воспоминания о Стамбуле, Минске или даже Саратове, всем своим видом демонстрируют, насколько условно и эфемерно само понятие национальных границ. Вырвавшись из своего щемящего тоталитарного прошлого и благополучно влившись в дружную семью европейских народов, они всегда оставляют за собой незакрытые двери. Сидя в интернет-кафе с дешевым трафиком, или в национальных фаст-фудах, или просто в парках среди своих, они сыплют проклятия на головы западных демократий, которые вытащили их сюда — на просторы объединенной Европы. Западные демократии виновны во всем — в развале СССР и досрочном прекращении холодной войны, которая так удачно для нас складывалась, в нарушении геополитического баланса и навязывании невыносимой для нас политкорректности, которая лишает нас чувства неполноценности и самодовольства, но главная их вина — это немецкая грамматика, все эти бесконечные прошедшие времена, в которых просто невозможно разобраться, которые невозможно выучить. Остается жить настоящим временем, которое

непрерывно и бесповоротно делает нас другими, отдаляя от нас наше прошлое — с его сладкой верой и горькими разочарованиями.

4

У нас — детей, которые учили немецкий язык в советской школе, было свое специфическое представление о Германии. Создавалось оно нашей учительницей немецкого — женщиной строгой, но, следует отдать ей должное, справедливой и несгибаемой. Именно с ее легкой подачи и тяжелой руки сформировался в нашем сознании образ ГДР — республики мира и согласия, населенной добропорядочными, хоть и немного простоватыми, гражданами. Граждане эти были иностранцами, нисколько не походили на нашего брата-интернационалиста и жить могли исключительно в Дрездене или Веймаре, а не в Минске или Одессе. Не говоря уже о Саратове. Картинки в школьных учебниках изображали граждан ГДР если и не беззаботными мужчинами в пижонских клетчатых пиджаках, то улыбающимися женщинами с легкомысленными прическами. В учебниках также содержались изображения бесчисленных школьников, но почти отсутствовали люди пожилого возраста, очевидно, по той причине, что в ГДР никто не старел, навсегда сохраняя бодрость духа и упругость тела. Как эльфы. Или зомби. Учительница пыталась объяснить нам, что ГДР такая же страна, как и наша, и у них есть небольшие проблемы с Западным Берлином и сложная грамматика, хотя все равно там гораздо лучше, чем в какой-нибудь Венгрии, где про грамматику лучше и не вспоминать. Впрочем, все эти попытки советской системы образования показать нам братский социалистический народ во всей его естественной привлекательности, пусть с многочисленными, но необременительными слабостями, особого успеха не имели — мы так и не выучились воспринимать далекое немецкое общество как соседей и товарищей по несчастью. Возможно, виновата в этом вся та же официальная пропаганда с ее нездоровым антифашистским пафосом. Нас, детей империи, разрывали, таща в разные стороны, два информационных маховика — преподавательница немецкого учила, что интернационализм сделает из нас людей и вправит наши недоделанные мозги, а наши отцы клеили в кабины грузовиков портреты генералиссимуса Сталина, и, выбирая между ФДЙотом[1] и Сталиным, мы поневоле выбирали именно усатого генералиссимуса, возможно оттого, что он как-никак был грузином, а грузинов в Советском Союзе традиционно уважали. Почти как албанцев на Балканах.

— Как тебя зовут? — разыгрывали мы диалоги на уроках немецкого.
— Меня зовут Ганс.
— Где ты живешь?
— Я живу в Дрездене.
— Чем ты интересуешься?
— Я интересуюсь спортом. А как тебя зовут?
— Меня зовут Марта, — отвечала одноклассница.
— Где ты живешь?
— Я живу в Дрездене.
— Чем ты интересуешься?
— Я тоже интересуюсь спортом.

Это явно был разговор собеседников, которые сильно не доверяют друг другу.

Была середина восьмидесятых — время, когда чаши весов еще не стронулись и стрелка на часах нашей старой доброй империи зла еще не успела остановиться. Еще исправно работали все механизмы, еще солнце размеренно плыло по нашим небесам, ежевечерне закатываясь в холодные волны Атлантики. Никаких сведений о геополитике, никаких намеков на будущие проблемы, никаких оснований для отчаяния и разочарования.

Вот такая она, моя ГДР — тенистая прохладная Унтер ден Линден, величественная телевышка на Александерплац, задумчивые солидные Гете с Шиллером, и эти

[1] ФДЙот — пионерская организация ГДР. (*Прим. пер.*)

бесконечные клетчатые пиджаки, которые в Саратове нельзя было найти даже за большие деньги. Опереточная, чисто прибранная страна с вежливым населением и дружескими намерениями, страна, что легко умещалась на страницах школьных учебников, воплощая собой фонетическую роскошь и грамматическую выправку. Хотелось учить язык этой страны, чтобы однажды попасть в этот их Дрезден и, встретив самую красивую дрезденскую девушку, легко подкатить к ней со словами: *Привет, подруга! Меня зовут Коля. Я живу в Саратове. Не поверишь, но я интересуюсь спортом!*

Через пару лет я прочел Ницше и понял, что учительница была права и у братского немецкого народа тоже есть свои проблемы.

5

Но чем реальность отличается от наших детских представлений о ней? Реальность выгодно отличается своей неисчерпаемостью. Все хрупкие детские представления об Унтер ден Линден тускнели и гасли в сравнении с той бездной возможностей и неожиданностей, которые демонстрировала жизнь. Если тебе посчастливилось оказаться в самом сердце дефолта, если слово молодость ассоциируется у тебя со словом инфляция, если тебе довелось впритык созерцать шрамы на потертой шкуре отчизны, ты будешь до последнего держаться за эту жизнь, будешь цепляться за нее изо всех сил, как безбилетные пассажиры цепляются за контролеров, которые хотят их высадить. Потому что некоторые вещи впечатываются в нас до конца наших дней, неотвратимо этот конец приближая.

В середине девяностых нам стукнуло по двадцать. Поколение, у которого были проблемы с финансами и самооценкой. Стояло удивительное время безумных финансовых манипуляций и убийственных судеб. Время металлических киосков с алкоголем, которые ночью волокли куда-то на другое место, чтоб не платить за аренду. Время паленого польского спирта, от которого слабые умирали, а сильные крепли духом. Эпоха всесильной дойчмарки, которая распахивала двери всех пивбаров нашей республики. Один мой знакомый, помню, провел международный поэтический фестиваль с бюджетом в десять долларов. Что мы тогда знали о великой семье европейских народов, о новой европейской идентичности, которая рождалась в борьбе идей и концепций? Ничего мы не знали. В те далекие сладкие времена на советских просторах и речи еще не было ни о каком евроатлантизме. Речь была о плановых отключениях электричества. Евроатлантизм в таких условиях воспринимался несколько абстрактно. А западные демократии привлекали прежде всего как рынки бытовой техники. Что касается меня и моих друзей, то речи не было даже об эмиграции. Мы остались дома, в опустевших депрессивных городах-миллионниках, чтоб наблюдать за великим упадком и ждать великое возрождение. И то, что мы увидели и запомнили, стоит всех экспериментов с демократией.

Но Запад по-прежнему манил бесконечными возможностями. Он соблазнял и затягивал. Можно было стать перевозчиком утюгов и вести нормальный бизнес с Польшей. Это означало хорошие дивиденды, но серьезные проблемы со здоровьем. При удачном стечении обстоятельств можно было стать бандитом и грабить перевозчиков утюгов. Это означало не менее хорошие дивиденды, а проблемы со здоровьем в этом случае решались быстро и надолго. Были еше варианты устроиться проституткой в Чехии или уборщицей в Португалии, но мы с друзьями никогда их всерьез не рассматривали. Так или иначе далекие западные города тускло светились в черных сумерках, озаряя своим отблеском наш черный, как костюм покойника, воздух. Наши старшие братья, что приезжали из Польши и Австрии со шрамами на голове и дойчмарками в кармане, говорили, что жить нужно там. Хотя заработанные деньги лучше тратить здесь, дома.

Мне всегда хватало скепсиса и оптимизма, чтоб не мечтать о бегстве и пересечении границы. Я чувствовал себя хоть и неуверенно, зато полностью комфортно, здесь, дома, между мертвой промышленностью и молодой демократией. Знакомство с западным искусством, которое должно было поражать и угнетать, не так угнетало, как возбуждало. Помню, как одной необычайно холодной бесконечной зимой, в промежутке между отключением электроэнергии и очередным взлетом инфляции, к нам

в гости приехал старый поэт-диссидент, ярый фанат социал-демократии и литературы, уже, к сожалению, покойный, дружище Вальтер. С собой он привез два больших кожаных чемодана. По дороге из Германии его автобус дважды грабили украинские бандиты. Но чемоданы Вальтера почему-то не тронули. Он ходил по нашим морозным улицам, читал свои стихи, угощал паленым польским спиртом. Всех интересовало, что же Вальтер привез в своих кожаных чемоданах. Очевидно, утюги. Или тостеры. Ну не сборники же стихов, в самом-то деле! Все встало на свои места лишь перед его отъездом. Моя знакомая, у которой он остановился, пряча глаза, сказала мне: Знаешь, я утром вошла к нему в комнату. А там эти его чемоданы. Открытые, понимаешь? Знаешь, что у него там? — Утюги? — предположил я. Какие утюги? — не поняла знакомая. — У него там кальсоны! Два чемодана кальсонов! Представляешь? — Ну что ж, — сказал я, — вот она, западная демократия: их писатель может себе позволить иметь два чемодана кальсонов.

6

Весной 2009 года мы с друзьями-музыкантами (есть такая прекрасная харьковская группа «Собаки в космосе») получили шенгенские визы, и приехали на украинско-польскую границу. Ехали мы в специально для такой оказии купленном старом полуразвалившемся фургоне «рено». Из него щедро лилось масло, что мы долгое время объясняли принципиальным несовершенством французского машиностроения. Мы пересекли польскую границу и оказались на территории объединенной Европы. На польской стороне к нам подсел один нелегальный пассажир и мы весело покатили вперед. Я, как старый конъюнктурщик, учил «собак» правилам поведения за границей. Главное, говорил я, помнить о политкорректности и покупать билеты в общественном транспорте.

И если таможенники на украинской границе являются носителями традиционной отечественной ненависти тех, кто остается, к тем, кто уезжает, то польско-немецкий кордон, как эфемерная условность на теле шенгенской зоны, обещал стать незаметным и легкопреодолимым. Но опять-таки жизнь оказалась более интересной и непредсказуемой, чем все наши клише и стереотипы. В первый раз нас остановили еще на польской стороне. Поляки внимательно и недоверчиво осмотрели все наши барабаны и, не найдя на них следов кокаина, отпустили нас, переложив ответственность на сильные плечи своих немецких коллег. На немецкой стороне нас останавливали дважды. Сначала долго проверяли паспорта. И вот когда лучезарный шенген, казалось, уже открылся во всем своем золотом блеске, нас тормознула еще одна патрульная машина. Увидев барабаны, полицаи оживились. Музыканты? — спросили они. Музыканты, — ответили мы, тщательно выбирая слова. Панки? — еще шире заулыбались патрульные. Да, — согласились мы, старательно окружив залитый маслом «рено». Наркотики есть? — доверительно поинтересовался один из патрульных. Нет, — хором ответили мы. Как это? — удивился патрульный. — Вы же панки? Панки, — повторили мы. Ну, значит, секс, драгз и так далее, — настаивал он. Спасибо, нет, — стояли мы на своем. Да нет же, — горячился патрульный, — у всех панков есть наркотики. Он говорил так убедительно, что в какой-то момент мне показалось, что сейчас он предложит что-нибудь у него купить. Но он лишь разочарованно посмотрел на барабаны, на наш несчастный «рено» и, пожелав творческих успехов, растворился в дождливой приграничной неизвестности. Но ведь никто и не обещал, что нам тут будут рады.

Спустя несколько дней, после всех выступлений и переездов, после вечеринок на корабле и знакомства с гамбургскими проститутками, после посещения клуба любителей танго и еще целого ряда сомнительных заведений мы с Сашей сидели в Берлине и отчаянно пытались найти хоть какой-нибудь фургон, чтоб добраться на родину. Наш «рено» благополучно захлебнулся собственным маслом и неподвижно гнил на гамбургской трассе, не оставляя никаких надежд на возвращение домой. Саша убеждал меня, что Берлин — огромный город, и найти здесь дешевый фургон — дело несложное. Главное, знать, к кому обратиться. Проблема была в том, что ни один из наших знакомых фургонами не торговал. Мы даже купили русскую газету объявлений, нашли в ней свое фото, но вот про фургоны речь там не шла, речь шла в основном о проблемах ассимиляции и сбережения русского культурного наследия. В разделе объявлений свои услуги предлагали в основном проститутки или сантехни-

ки, еще мы, правда, прочли объявление бывшей оперной певицы, которая обещала устроить незабываемый семейный праздник с пением и домашней выпечкой, но ни проститутки, ни сантехники, ни даже, что самое обидное, бывшая оперная певица, ничем нам помочь не могли. Я имею в виду, с фургоном. Оставалось идти к туркам. Саша позвонил бывшему владельцу скончавшегося «рено», и тот радостно подтвердил, что, действительно, надо обратиться к туркам, турки в этой стране — он имел в виду Германию — могут все. Мы пересчитали наши финансы и поехали.

Турки находились в районе Темпельсгофа — бывшего аэродрома, в недавнем прошлом — воздушных ворот Западного Берлина. Теперь здесь было тихо, спокойно и депрессивно. Турки построили тут целую улицу складских помещений и огромных автостоянок, заставленных битыми легковушками. Кое-где виднелись фуры с польскими номерами. Вид у машин на стоянках был мятый и подозрительный. Это наш день, подумали мы и пошли торговаться.

Турки окружили нас шумной толпой. Очень сокрушались, что мы не понимаем по-турецки. Хуже всего, что их немецкий мы тоже не понимали. Они стали звонить какому-то Янеку в Польшу, чтобы он объяснился с нами по-русски, но по-русски Янек мог только поздороваться и назвать свое имя. Пришлось договариваться с турками напрямую. Что вам нужно? — спрашивали турки, возбужденно шевеля усами. Нам нужен фургон, — объясняли мы, — чтоб доехать до Украины. Потом мы вам его вернем, — заверяли мы. На Украину? — сообразили наконец турки, — вам нужно на Украину? Ага, — залопотали они все сразу, — им нужно на Украину, им нужно на Украину. Вы можете нам помочь? — уточнил я. Можем, — сказали турки. — Восемьдесят евро за две недели. Сколько? — не поверил я. Восемдесят, — повторили турки. — На две недели. Что так дешево? — удивился я. Может, фургон старый, — предположил Саша. Самый молодой турок сбегал куда-то в контору и вскоре вернулся с коробкой автомобильных номеров. Швырнул коробку на землю: — Выбирайте. Что это? — не поняли мы. Номера, — объяснил турок. — Украинские. Цепляешь и ездишь две недели, — объяснил турок. А потом, — не поняли мы. Потом выбрасываешь. Хотите дольше — двести евро. А фургон? Фургон? — растерялся турок, — фургона у нас нет. У нас только номера. Ну и куда же мы их прикрутим? — спросили мы. Ответ был очевиден.

Что общего у этой улицы, заполоненной турками и бывшей в употреблении автотехникой, с моими школьными представлениями об Александерплаце? Что общего у моих детских представлений со мной самим — человеком без фургона и даже без номеров, без ясного знания и предчувствий, с желанием прорваться через очередную государственную границу, минуя все таможни и все проверки, и ловко провернуть все финансовые операции, конечной целью которых является лишь бесконечное блуждание по территории объединенной Европы, бесцельное преодоление кордонов, беззаботное перемещение из одного города в другой без определенной причины и особенных разочарований. Города Европы отличаются друг от друга только числом эмигрантов и ценами на бензин. Повсюду одни и те же толпы приезжих, та же самая жажда и та же самая тоска, радость молодых мужчин и безнадега немолодых женщин, смешение языков и биографий, многоголосие, что заполняет улицы и торговые центры, аудитории университетов и отделения полиции. С расстояния начинаешь относиться к родине с особой ревностью, особенным восторгом и отвращением, дома всего этого не чувствуешь, из окон твоей квартиры мир кажется бесконечным, а окружающие ландшафты — замусоленными и безнадежными. Лучший способ избавиться от иллюзий — эмигрировать. Не имея никаких шансов на возвращение.

Вечером мы сидели на Александерплац, под телебашней, и дозванивались до бывшей оперной певицы.

7

Такие вещи происходят, когда вдруг оказываешься один посреди чужого города. Ни друзей, ни знакомых, ни определенных занятий — просто выходишь, скажем, из белградского поезда на платформу будапештского вокзала Келети в раннем марте в теплый безветренный день. Выходишь и видишь весь этот Келети с его цыганами, которые продают комиксы, и русскими, которые продают наручные часы, чтобы

купить билет домой; выходишь из здания вокзала на улицу, под серое небо старого Будапешта, смотришь на низкие тучи, что ползут с Дуная, на остатки снега, что сходит с улиц, на неунывающие привокзальные толпы, что направляются на трамвайные остановки, и тоже идешь за ними следом, сворачиваешь в боковые улицы, подальше от магазинов и банков, куда-то вглубь города, туда, где бьется его мартовское сердце.

Выйдя в тот день из Келети в привокзальный квартал, я наткнулся на небольшой рынок, расположенный прямо на перекрестке. В это время дня тут было почти пусто, лишь во дворах таял черный снег и последние продавцы упаковывали свой товар, собираясь домой. Это был странный район — без рекламы, автомобилей, вывесок; старые, требующие ремонта здания, отсыревшие деревья с тонко выписанными на фоне воздуха ветками, овощи на брусчатке, тучи, повисшие над крышами. Я вдруг подумал, что мог бы тут родиться, в этих кварталах, серых и безнадежных, рядом с вокзалом, мог бы по утрам выбегать к железной дороге и провожать веселым свистом мюнхенский и парижский поезда, бродить в воскресенье по местным базарам, вытаскивая кошельки и платки из карманов российских туристов, мог бы ходить в школу за углом, прогуливать уроки, выпрашивая у уличных торговцев шоколад и яблоки. Мог бы глядеть из окон своей квартиры на эти низкие тучи, на темный смертельный снег, мечтая о дальних странах, о сладком изгнании, о бегстве и забвении, о возвращении, в конце концов.

Дунай к тому времени уже вошел в берега, и на каменной набережной стояли целые ряды выловленной обуви, принадлежавшей, очевидно, недавним утопленникам. Ну вот, автоматически подумал я, тут могли бы стоять и мои ботинки. Впрочем, развивать эту тему я не стал. Чтоб утонуть в Дунае совсем не обязательно около него родиться. Это все стереотипы, подумал я и вернулся на вокзал.

8

Почему я заговорил о стереотипах? Возможно, потому что дело приходится иметь в основном с ними. Интерес, который, на твой взгляд, должна вызывать твоя родина и сограждане, на самом деле оборачивается перетасовкой гротескных представлений о той части дикого востока, из которой ты сюда попал. Наши знания о мире ограничиваются обычно стереотипами и клише, которые вбивают в наши беззащитные детские головы первые учителя. Мы совсем ничего не знаем друг о друге, нам хватает анекдотов и художественных фильмов, Гугл не дает почувствовать печаль и восторг, которыми живут далекие города. Да и как узнать хоть что-нибудь о чужой жизни? Нужно вырасти в провинциальном польском городке, где-нибудь на Востоке, поближе к Украине, нужно ходить в старую школу, учить ужасные, никому не нужные точные науки, смотреть каждый день телевизор, бродить по темным пустым вечерним улицам с одним баром и одним кинотеатром, читать прессу и мечтать о том, как уедешь отсюда как можно дальше и на как можно более долгий срок; куда-нибудь, например, в Варшаву, а еще лучше в Берлин, в идеале, конечно, в Базель. И если ты все это не прожил, если не бродил в этих черных улочках, ну про какую новую европейскую идентичность ты можешь вести речь? Про какое добрососедство, про какие связи? Что ты вообще можешь знать об этих людях? То, что услышал от старших друзей-бандитов, которые десять лет назад контролировали тут все автодороги? Но ведь они ничего не знали о тех, с кем приходилось уживаться на одной территории, ведь они видели в них лишь потенциальную угрозу своему бизнесу, непонятных носителей чужого языка, которым повезло гораздо больше, чем всем нам, поскольку им не надо по несколько раз в месяц преодолевать государственную границу, платя пошлину и отстреливаясь от конкурентов. Поэтому все наши знания и представления — это лишь более-менее отцензурированные наборы стереотипов. Которые мы используем для общения, которые мы вытаскиваем наружу всякий раз, когда выпадает случай поговорить о партнерстве и интеграции.

К примеру, что касается интеграции. Каким образом это, вообще, касается меня? Каждый раз все попытки объясниться сводятся к пересказу сумбурных соображений, которые, как мне каждый раз кажется, должны открыть западным цивилизациям глаза на нашу прекрасную республику. Сколько раз приходилось говорить о коррупции в верхних эшелонах украинской власти и об особенностях произношения украинских и русских имен. Скольких австрийских пенсионеров доводилось мне убеж-

дать в том, что демократические процессы в украинском обществе масштабны и необратимы. От скольких швейцарских и немецких библиофилов выслушал я сомнения относительно перспектив рыночной экономики в условиях олигархического перераспределения власти. Больше всего удивляло, почему об этом спрашивают именно меня. Но совсем не отвечать на такие вопросы казалось невежливым. Приходилось рассказывать о реприватизации и проблеме двуязычия. В результате всех этих многочисленных встреч и бесед я понял, что сильнее всего западных читателей интересуют в украинской литературе вопросы коррупции, тоталитаризма и последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. И не могу сказать, что у меня нет ответов на эти вопросы!

9

После концерта в Вене к нам подошел журналист. Выглядел убедительно и компетентно. Отозвал меня в сторону.

— Можно сделать с вами интервью?

— Можно, — ответил я. — А вы были на нашем концерте?

— Был, — сказал журналист. — Но речь не об этом. Нам нужно интервью о тоталитаризме.

— А о концерте?

— Нет. — Он твердо стоял на своем. — О тоталитаризме.

— Может, давайте так, — я попробовал поторговаться, — сначала о тоталитаризме, а потом немного о концерте.

— Нет-нет, — не согласился он. — Давайте просто о тоталитаризме. Вот у вас кто-нибудь пострадал от тоталитаризма?

— У меня? — переспросил я.

— У вас.

— Несомненно, — заверил его я. — Дедушка по папиной линии.

— Чудесно, — обрадовался он. — Вы нам об этом расскажете?

— Расскажу, — согласился я.

— А сможете рассказать на немецком? — Журналист усложнил задачу.

— На немецком? На немецком вряд ли — у меня небольшой словарный запас, мало деепричастий. С таким запасом деепричастий трудно рассказать о тоталитаризме что-либо интересное. Давайте лучше на украинском.

— Нет-нет, — он продолжал настаивать, — у нас уже много записей на украинском. Надо, чтобы о тоталитаризме было сказано еще и на немецком.

— Ну хорошо, — согласился я.

— А ваши коллеги, — он повернулся к музыкантам, — могут что-либо рассказать на эту тему? Может, у них тоже кто-то пострадал от тоталитаризма? — с надеждой спросил он.

Я посмотрел на музыкантов, которые допивали второй ящик пива, пока я разглагольствовал о тяжелом тоталитарном прошлом.

— Нет, — ответил я, — у них никто не пострадал.

— Хорошо, — разочарованно сказал журналист. — Так что вы можете рассказать? Когда вы впервые узнали о тоталитаризме?

— В детстве, — ответил я, немного подумав.

— В детстве? — удивился он. — Вы уже в детстве знали о тоталитаризме?

— Да.

— И от кого вы об этом узнали?

— От дедушки, — честно признался я. — С маминой стороны.

— Он видел это собственными глазами?

— Да.

— И что?

— Ничего. Он сталинист.

— Кто?

— Сталинист, — объяснил я. — Фанат Сталина.

Журналист посмотрел на меня, как на человека, который наговаривает на собственного дедушку.

— Как это, — не понял он, — человек пережил тоталитаризм и остался фанатом Сталина?

— Да, — стал убеждать его я.

— А мы можем сделать интервью с вашим дедушкой? — неожиданно спросил журналист.

— Ну это вряд ли, — испугался я.

— Мы могли бы к нему приехать, — заверил меня журналист.

— Не надо, — попросил я.

— Почему?

— Он совсем глухой, — объяснил я.

Журналист понимающе кивал головой, в глазах у него читалось: ясно, что глухой, раз жертва тоталитаризма.

— Так что он все равно вас не услышит, — продолжил я. — Давайте лучше я с его слов...

На Западе очень легко сделать карьеру, если правильно отвечать на поставленные вопросы. Главное, потом не возвращаться домой.

10

Что же у нас остается? Наша память и наш опыт. Память избавляет нас от иллюзий, опыт дает надежду. Города, в которых мы родились и выросли, сменяются городами, в которых мы останавливаемся и в которых обустраиваемся на долгое время. Страны, которые мы открываем, — словно старые книги, обитатели чужих мегаполисов — словно киногерои, мы не слишком-то понимаем мотивы их действий, но с интересом за ними наблюдаем. Границы, которые мы преодолеваем бесконечное число раз, на самом деле не столько разделяют, сколько дают возможность взглянуть друг на друга с большого расстояния. Я далек от того, чтоб выступать против границ. Границы не касаются моей памяти, точно так же, как ее не касаются тоталитаризм или коррупция. Ее касаются низкие тучи над крышами Будапешта, серые дунайские волны, которые тащат за собой утопленников, почерневших от влаги мужчин без сердец и ботинок, без наручных часов и надежды вернуться домой. Ее касаются старые шахматы, в которые турки играли в Темпельгофе, ее касаются корабли в Гамбурге, трюмы которых светились, как рождественские апельсины. Все остальное меня мало касается, во всем остальном я плохо ориентируюсь, поэтому стараюсь обо всем этом не говорить. Мне больше нравится говорить о сомнительных вещах, потому что при таких разговорах всегда появляется легкость. И что мне делать с моей семейной мифологией? Пересказывать странные истории минувшего тысячелетия, как нечто сокровенное и анекдотическое, лишенное смысла и спасенное от тлена и забвения? Моя память не нуждается в точности, она нуждается в страсти и в огне, который вспыхивает между планетами над маленькими городками Восточной Европы, освещая изнутри наши сновидения, делая их яркими и драгоценными. Главное — твои сновидения, все остальное можно и выдумать.

Я сидел в гостинице в Восточном Берлине свежим сентябрьским утром. Вещи собрал еще с вечера. Пора было отсюда выбираться. В окне виднелась телебашня на Александерплац. За плечом стояли привидения друзей, попавших под пули в предместьях Варшавы. Они были в клетчатых пиджаках и пижонских шляпах. Озабоченно приглядывались к моей сумке.

— Нет, — говорил один, — не пропустят. Найдут.

— Не парься, — не соглашался второй. — Провезет. Главное не паниковать.

— Не провезет, — убеждал первый. — Докопаются. Вот увидишь.

— Не докопаются, — нервничал второй. — А докопаются — в чем проблема? Откупится.

И они весело рассмеялись. Стояло теплое раннее утро. Небо нагрело красные крыши и пустынные берлинские улочки. Воздух запах осенним инеем. Солнце двинулось мне навстречу. То есть на Запад.

Харьков, 2010

иммигрант зонг

прочней ничего нет чем эти вещи
родней ничего нет чем эти муки
на выезде из города снег ляжет на плечи
коснувшись лица как женские руки

по ветке по перегону катится поезд с востока
плачут губные гармошки женскими голосами
отвоевавшая плачь же европа это тебе упреки
мужские тесные бары с грустными беглецами

он даже если захочет уже не вернется назад
вода океанов смывает ему глаза
что с него взять ребята
среди блаженной памяти красных пятидесятых

кроме готики заученной прописи
кроме гранаты листовки птицы и пломбы
память заботится копит делает описи
в ту же реку дважды не падает бомба

смирение входит в тело вбивается между лопаток
содрогаются пальцы посуда ноздри
когда застигает смерть когда выпадает осадок
когда выдыхаешь с последним именем воздух

смерть десна облепит как сахар-песок
терпенье дается спускается свыше
и все затихает внезапно и в срок
да так что и сердце свое не услышишь

(2001)

Элке Менерт

Окно в Германию и Россию

Поздне- и постсоветская повседневность в русско-немецком культурном восприятии

С немецкого. Перевод Александры Бассель

Он умер в каждом из нас, но оставшееся в каждом из нас много ли живее умершего?

В этой фразе из гротескного рассказа Сергея Носова речь идет о забальзамированном трупе Ленина, который похитили из мавзолея уголовники, чтобы сбыть подороже. И вот покойник стоимостью в пару бутылок портвейна лежит на кухонном столе запущенной петербургской квартиры.

Носов — петербуржец, точнее, ленинградец, он родился в 1957 году. Подавляющее большинство молодых писателей, представленных в антологии Галины Дурстхофф «Россия. 21 новый рассказчик», еще новички в литературе. Представление о «новой России» у авторов антологии на первый взгляд довольно наивно. И эта наивность сознательно обыгрывается уже в названии антологии. Любой, кто хотя бы немного знаком с историей литературы, наверняка вспомнит другую книгу, опубликованную Виландом Херцфельде в издательстве Malik-Verlag в 1931 году — «Тринадцать рассказчиков из новой России». Сборник имел успех. Он появился в то время, когда не только немецкие левые, но и многие представители буржуазной интеллигенции видели в новой России страну неограниченных возможностей, которая обещала стать благодатной почвой для развития новых художественных концепций и социальных идей. (Поэтому неудивительно, что немецкие архитекторы из «Баухауса»[1] оказались в Советском Союзе.)

Еще в 1960-е годы «Новый мир» рисовал утопические картины коммунизма, создавая образы идеальных «коммунальных дворцов» на две — две с половиной тысячи человек: под крышей одного многоэтажного дома объединялись детские сады, дома престарелых, молодежные турбазы и квартиры.

На сегодняшний день «новая Россия» Виланда Херцфельде 1931 года устарела так же, как и «новая Россия» 1960-х годов: теперь труп вождя лежит на столе питерской кухни, и алкаши-уголовники выставляют его на продажу за «свободно конвертируемую валюту», на которую в России, кажется, можно купить все, что угодно.

Почему же в Москве никто не заметил кражи? А потому, что теперь в стеклянном саркофаге на Красной площади лежит кукла, и нет больше очередей к реликвии раннесоветской эпохи.

«Но оставшееся в каждом из нас много ли живее умершего?» Именно Умерш*ее*, а не Умерш*ий*. Мертв не только Ленин — фигура, символизирующая начало новой

Элке Менерт (р. 1940 г.) — профессор филологического факультета Технического университета в Хемнице. Сфера научных интересов: новейшая немецкая литература (после 1945 г.), имагология — раздел культурологии, занимающийся изучением образа «чужого» (чужой страны, чужого народа) в общественном, культурном и литературном сознании той или иной страны или эпохи — и немецко-славянские литературные связи.

[1] Высшая школа строительства и художественного конструирования в Германии, существовавшая с 1919 по 1933 г. (*здесь и далее*. — *Прим. пер.*).

эпохи в истории человечества (как нас когда-то учили), мертва Советская империя; победители обернулись побежденными. У Советского Союза (или лучше сказать, государств, борющихся за национальную идентичность и этническую самобытность на постсоветском пространстве) больше никто не хочет «учиться побеждать»[1]: ни в Чешской республике, ни в новых федеральных землях Германии, ни в других государствах, входивших некогда в «социалистический лагерь».

Вот как пишет об этом Карл Шлегель: «У нас нет недостатка в теориях трансформационных процессов, так как на демократическом Западе задолго до наступления «гласности» и «перестройки» ученые-востоковеды изучали и описывали политическую систему Советского Союза, разбирали политику коммунистической партии, анализировали экономическую систему и выявляли причины ее неэффективности. Они прекрасно знали сильные и слабые стороны восточного блока и, основываясь на этом, развивали свою гонку вооружений, которая подорвала не только советскую экономику, но и социалистическую систему, а вслед за ней — и воплощавшее ее государство».

В одночасье Россия лишилась своего статуса сверхдержавы и фактически стала одной из стран третьего мира, какое-то время существовавшей на подачки с Запада. Самолюбие победителей Сталинграда, получавших материальную помощь из Германии, было по меньшей мере задето.

Еще в начале 1990-х немецкие политологи прогнозировали скорую смену политических систем в странах СНГ. Это должно было привести к установлению плюрализма и демократии и переходу к дееспособной рыночной экономике. Хотя в той же старой ФРГ не было недостатка в так называемых «восточных исследованиях» и в изучении социалистических стран, вскоре эйфория от развала восточного блока сменилась отрезвлением. Появление постсоциалистических «гражданских обществ» заставило себя ждать. Несомненным препятствием для их развития стало то, что демократию могут создать только демократы, а два диктаторских режима в Центральной и Восточной Европе благополучно от них избавились. Далека от завершения в современной России и «поведенческая перестройка», ведь демократия появляется только тогда, «когда ведущие политики стараются действовать в рамках демократических законов» — вновь цитирую Карла Шлегеля: «Тезис о крахе гражданского общества — так же, как и все разговоры об успехе «перестройки» и «демократического реформирования» — основываются на представлении о единых правилах и нормах, представлении, безусловно, ложном. Это старое гегельянское столкновение нереализуемого идеала с действительностью, а значит — тем хуже для действительности!»

В словаре «Международная политика» 2002 года перестройка характеризуется как «переход от одной национальной политической/экономической системы к другой». На практике дело обстоит гораздо сложнее, так как обязательным условием этого перехода является длительный промежуток времени.

Что же препятствует быстрой смене систем?

Совершенно очевидно, что препоной являются свойства прежнего общества, которые проявляются в манере мыслить и действовать. Это — пережитки державшегося в Восточной Европе на протяжении шестидесяти лет реального социализма (или «коммунизма», как говорили партийные идеологи), укоренившиеся в обыденном сознании и манере поведения. Это и распад прежней культуры. Это «жизненный мир», в котором, к примеру, вековой спор западников и славянофилов продолжился на новой почве. Остались люди, так или иначе исповедующие марксизм-ленинизм или, по меньшей мере, когда-то служившие его делу. Сейчас они являют собой новых «бывших» или даже «отживших свое» людей.

Российская Федерация представляет собой большую часть бывшего СССР, и ей не чужды проблемы огромной страны, отраженные в поговорке, которая была актуальна и в советское время — «До Бога высоко, до царя далеко».

Неискоренимым кажется наследие прошлого, «заложником» которого, возможно, является вся страна — алкоголизм. Усилия «минерального секретаря» Горбачева, который ввел «сухой закон», оказались тщетны. А социалистическая бюрократия и теперь жива в бюрократах, стоящих на страже своих бумажных бастионов с тем же

[1] Один из главных лозунгов ГДР гласил: «Учиться у СССР — значит учиться побеждать».

упорством, с каким по-прежнему самоутверждаются неуслужливые продавщицы, официанты и другие представители сферы услуг: «Обращающимся за справкой, помощью или разрешением грубят автоматически, рефлексивно, не чувствуя ответственности за свою грубость», — пишет известный журналист К. Шмидт-Хойер и характеризует положение вещей в советской производственной сфере как «договор двойных зарплат»: «...государство гарантирует отсутствие безработицы — поэтому только дополнительное вознаграждение может заставить работников выполнять их служебные обязанности». Эти наблюдения Шмидта-Хойера основываются на многолетнем опыте работы иностранным корреспондентом в СССР. Их могут подтвердить десятки иностранцев, побывавших в Советском Союзе. Неудовлетворенный тем, что в корреспонденциях из Советского Союза слишком много говорят о мировой политике и слишком мало о будничной жизни, Шмидт-Хойер написал в 1980 году книгу о своих повседневных наблюдениях «Русские — какими я их узнал».

Сведения о повседневной жизни Советского Союза отсутствовали не только в немецких СМИ, но и в исследованиях ученых-политологов с их теориями трансформационных процессов. По замечанию Шлегеля, эти сведения обнажили бы «сущность цивилизации»: раскрыли бы истинное лицо повседневности в обход «причесанных» теорий.

Почему же об этом было настолько мало известно?

Не так-то легко погрузиться в повседневность, если путешествуешь по путевке с комфортабельным отелем, располагая валютой для покупок в магазинах «Березка», да и посещаешь одни лишь туристические места. Частные же поездки в СССР предпринимались очень редко.

На наш вопрос можно дать и иной ответ. В социалистических странах социология была «неугодной» наукой: ведь она могла бы предоставить данные, противоречившие официальной радужной статистике.

Хотя формально марксистская теория и не препятствовала развитию социологии, последняя не нашла для себя подходящей институциональной базы и не смогла обрести статус науки, потому как, по словам Рене Альберга, «в социологических исследованиях обходили стороной все проблемные сферы советского общества».

Лишь в 1988 году в Москве был основан Институт социологии Российской академии наук.

Еще одна причина незнания или неполного знания заключается в политизации «немецкого образа» России в XX веке. Историк Вольфрам Ветте отмечает, что после 1900 года с Россией «в первую очередь ассоциировались не ученые, писатели, коммерсанты и дипломаты», а «представители политической элиты. Под давлением систематической политизации наших представлений о России формировался вполне определенный образ России XX века».

И наконец мой последний ответ на поставленный вопрос. В «старой» ФРГ существенно недооценивали, как много сведений о жизни в СССР можно почерпнуть из советской художественной литературы. И на то имелись свои причины. В условиях холодной войны не было резона знакомить читающую публику с новостями культуры, образом мысли и жизни в СССР. В этом случае представление о Советском Союзе не было бы столь односторонним — только как об оплоте зла, стране ГУЛАГа, отсталости и вечного дефицита. В нем увидели бы и положительные стороны: поведение людей, величественный ландшафт, разнообразие старинной самобытной культуры — обо всем этом можно было прочесть в советской литературе. Но на Западе публиковались только политические агитки, а позднее советские книги и вовсе исчезли с немецких прилавков. Таким образом, значительное количество по-настоящему глубоких художественных текстов не дошло до западного читателя. Такие авторы, как Айтматов, Тендряков, Распутин и многие другие размышляли вместе со своими читателями над тем, что должна представлять собой жизнь в будущем. Они считали, что священные идеалы коммунизма так и не нашли своего воплощения. Я глубоко убеждена, что именно советская литература 1980-х годов проложила путь «гласности» и «перестройке». Эта литература была радикальна — в том смысле, который вкладывала Анна Зегерс в эпиграф к своему рассказу 1938 года «Прекраснейшая легенда о разбойнике Войноке», где она постулирует возможность литературы влиять на рассудок и чувства людей: «Не снятся ли вам сны, дикие и нежные, ночью между двумя тяжелыми днями? Возможно, вам известно, почему временами старая

сказка, короткая песня или даже лишь такт песни без труда проникает в сердце, о которое мы разбиваем наши кулаки в кровь? Да, без труда отзывается свист птицы в глубине сердца, а значит, и в людских поступках».

Анна Зегерс понимала, что «искусство сопротивления» немецких пролетарских революционных писателей не достигло своей цели: оно не подействовало на эмоции читателей и не смогло предотвратить приход Гитлера к власти. В рассказах А. Зегерс чувствуется ее политическая пристрастность, осознанное стремление достучаться не до абстрактного «человечества», а до конкретного человека, наставить его на путь истинный, затронуть его разум, душу, сердце... Это под силу только настоящему произведению искусства — не сколоченному на литературной фабрике марксизма-ленинизма, а взращенному непосредственно самой жизнью, в трехактовом творческом процессе (чему Зегерс научилась у Толстого). Позднесоветская литература богата такими текстами, но они редко появлялись на полках немецких книжных магазинов.

Все это вместе и привело к тому, что образ Советского Союза у жителей «старой» ФРГ был крайне односторонним.

Здесь велико искушение углубиться в основные положения марксистской «теории отражения», которые уж слишком хорошо знакомы каждому литературоведу, работавшему в социалистической стране. Но я ограничусь кратким определением, лишенным идеологической окраски. Это определение Штефана Нойбауса, которое он дает в статье «Социальная история литературы», опубликованной в 2003 году в его университетском учебнике «Введение в литературоведение»: «Мы исходим из того, что литературный текст возникает в определенном историческом и социальном контексте. Это означает, с одной стороны, что этот контекст отражается и преображается в тексте, а с другой — что литературный текст, в свою очередь, оказывает влияние на исторический и социальный контекст».

Каждый решает сам для себя, привлекать ли к этим рассуждениям инаугурационную речь Яусса[1] 1967 года или «теорию о трех мирах» Поппера, или письма Маркса к Минне Каутской и к Маргарите Гаркнесс. Так или иначе, все эти авторитетные ученые характеризуют литературу как социальный феномен. Проникая в сущность своего героя, представляя не только путь становления его личности, но и перспективы ее развития, писатель может изобразить его жизнь более точно. Ученых-политологов еще можно себе представить в роли читателей художественной литературы, теоретиков перестройки в роли «учеников» писателей — уже не очень. Хотя есть и такие примеры. Мне еще помнится, как однажды экономист-марксист Юрген Кучинский во время работы над своей тридцатитомной «Историей повседневности» признался, что об этой самой повседневности он узнал гораздо больше из художественной литературы, нежели из трудов историков. Также и историк Герд Кенен, говоря о Веймарской Республике, отмечает, что «советские романы» читали как романы неонатуралистические, социально-бытовые. И они так же, как новая «революционная» архитектура и изобразительное искусство, отозвались в немецком обществе эхом чужого захватывающе интересного мира.

По-видимому, тогда, как и сейчас, русская литература была для европейцев особенному притягательна. Она принадлежала миру, который казался им одновременно и чуждым, и достаточно близким, чтобы попытаться его понять. Российский филолог-классик и культуролог Гасан Гусейнов назвал это «вестями из Евразии».

После распада Советского Союза не было недостатка в сведениях, получаемых от иностранных корреспондентов, работавших в России. Таких как Герд Руге, Клаус Беднарц, Бюзеер или Габриэле Кроне-Шмальц. Но даже если они хорошо владели русским языком и имели представление о России, даже если цели их командировок вызывали у общественности интерес, их сообщения о происходившем были менее информативны, чем художественные произведения. К примеру, такие, как упомянутый рассказ Носова, или рассказ «Хиросима» Владимира Сорокина (который также включен в антологию «Россия. 21 новый рассказчик»).

Текст состоит из пяти отдельных эпизодов, действие которых разворачивается одновременно (ровно в 22.48 одного и того же дня) в разных местах: в ресторане, в

[1] *Ханс-Роберт Яусс* (1921—1997) — немецкий историк и теоретик литературы.

детском саду, в доме, подготовленном к сносу, в деревенской избе и в обычной квартире. Двое людей убивают друг друга: «(Они) взяли друг друга за шеи. И начали душить».

Идентичность концовок всех пяти эпизодов обнажает их связь со сказочной традицией. Кроме того, добрая часть сорокинских героев в момент клинической смерти преодолевает границы между разными мирами. Отличает же рассказ от народной сказки финальная сцена, открывающаяся описанием апокалиптического пейзажа: среди руин, умирающих и умерших людей идет обнаженная женщина. Она видит издыхающую суку и помогает ей ощениться.

«Мокрые черные щенки вяло шевелились, тычась мордочками в серый пепел. Женщина взяла их на руки, приложила к своей груди. И слепые щенки стали пить ее молоко».

При описании этой антиутопии Сорокин работает — в русле постмодернизма — с цитатой из сказания о Ромуле и Реме. Только у Сорокина не животное кормит молоком основателей «высокой культуры», а напротив: основатель высокой культуры, человек — кормит животное. Во времена заката высокой культуры шанс выжить имеют только потомки волков: в новом мире нет места ни для людей, ни для утопий. Сорокин, как уже сказано, представляет современную повседневность в пяти эпизодах: успешные бизнесмены не могут найти иного применения своим деньгам, кроме как их проесть и пропить. Парочка гомосексуалистов в состоянии наркотического опьянения совершает двойное (само)убийство. Вешаются две благочестивые старушки в деревне — совершенно обедневшие и забытые своими детьми. Для двух бомжей в подготовленной к сносу пятиэтажке на улице Новаторов смысл жизни заключается в выклянчивании денег на водку. Теперь, правда, их мытарствам пришел конец: «Да заткнись ты, гад!» — прорычал Петюх и схватил его за горло. Валера крякнул и вцепился ответно. Они стали душить друг друга». А две девочки в детском саду? Они пытаются повторить те объятия, сладострастные звуки которых доносятся ночью из соседней комнаты, в которой уединились нянечка и сторож. «(они) Взяли друг друга за шеи. И начали душить». И все эти события происходят одновременно: за двенадцать минут до полуночи, в то время, когда приходят призраки.

Бригитта Хельбинг считает тексты Сорокина «социальной сатирой», я же называю их гротескными рассказами, в которых постсоветская действительность подвергается беспощадной критике. Для Сорокина не существует запретных средств (он не брезгует и порнографическими сценами).

В антологии постсоветская действительность представлена с разных сторон. Конечно же не все рассказы так пессимистичны, как сорокинский. Интересно проследить, как современность видится «извне» — из Германии. В качестве эксперта в этой области я выбрала Инго Шульце с его нашумевшим дебютным сборником «33 момента счастья», изданным в 1995 году.

Шульце родился в Дрездене в 1962 году, изучал классическую филологию и до 1990 года был драматургом в одном из провинциальных театров. После воссоединения Западной и Восточной Германии у него появился опыт работы газетным верстальщиком — опыт, который стал не только частью биографии одного из его героев, но и послужил толчком к созданию всего сборника в целом. В 1993 году в течение полугода Шульце работал журналистом в Петербурге, получив возможность основательно изучить будничную жизнь этого города. Рассуждая о разнообразных, часто фантастических сюжетных линиях шульцевских «романов в стенограмме», повседневность нужно понимать так, как она понимается в новейшей энциклопедии Брокгауза. Там объясняется, что история как наука уже с 1970-х годов сосредоточена на «истории повседневности», то есть на «истории низов», и что «повседневность» — это работа, свободное время, досуг, общение и уличное искусство.

«Где только он не бывал, — пишет немецкий литературный критик Вайдерманн, — с сапожниками в грязи, на зловонных помойках, стоял среди каких-то людей с потерянными лицами на могиле их матери, не брезговал докладами шлюх о русских классиках в гостиничном баре, он был там, где царила нищета и чувствовалось дыхание смерти вперемешку с мгновениями взаимопонимания и счастья».

Кто же этот «он»? По мнению критика, здесь имеется в виду сам Шульце. На самом деле, мне кажется, все не так просто. В традиции постмодернизма автор играет со своими читателями и литературными предшественниками, в число которых

в данном случае прежде всего входит Е.Т.А. Гофман. Бросается в глаза сходство имен знаменитого писателя и спутника рассказчицы, которое интересно в виду якобы отправленного 25.6.1994 «И.Ш.» письма с рассказами Гофмана и просьбой их опубликовать.

Отправитель письма не может сказать ничего конкретного ни об авторе, ни о подлинности текстов. Гофман называет их «ежедневными зарисовками», работу над которыми он окончил в Петербурге. Причем он «все больше и больше старался заменять реальность вымыслом». В виду таких нарративных изысков сложно поверить, что речь идет о дебютном произведении Шульце. Уже в самом названии «33 мгновения счастья» заложено игровое начало: оно отсылает к киноэпопее «17 мгновений весны», советской версии фильмов о Джеймсе Бонде 70-х годов, с «эсесовцем» в главной роли. «Истинный ариец. Характер — нордический, твердый». Личное дело штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица безупречно. Нацисты еще не знают, что в действительности Штирлица зовут Максим Исаев и что он состоит на службе Кремля. Ни один советский фильм не пользовался такой популярностью, как вышедший 30 лет назад двенадцатисерийный фильм «17 мгновений весны», в котором рассказывается о приключениях агента Штирлица.

Повествовательные ходы Шульце изощреннее, чем кажется. Действительно ли на самом деле все так, как он пытается это представить? Нет ли здесь двойного дна?

Подобные сомнения не оставляют читателя при чтении большинства рассказов из книги «33 мгновения счастья». На первый взгляд они кажутся довольно банальными. К примеру, в третьей истории речь идет о том, как немец сумел открыть редакцию газеты в самом престижном месте Петербурга — на Невском проспекте. Стремясь улучшить качество работы, он пытается создать уютную для сотрудников атмосферу, позволяет им по-домашнему обустроить офис, готовить в нем обеды, покупать во время рабочего дня продукты и даже иногда оставаться на ночь, если они задерживаются допоздна на работе. Служащие охотно пользуются плодами такого либерализма. В редакцию стали захаживать их родственники, а одна из бабушек как-то чуть не преставилась прямо в гостиной. Но вскоре в шефе просыпается истинный немец — деловой, аккуратный и дисциплинированный. Он понимает, что его карьера держится на честном слове, и ожидает звонка сверху. Но по телефону ему сообщают, что он получит новую квартиру взамен прежней, которую должен оставить своим сотрудницам под жилье, — в целом же «дела у газеты идут неплохо». Этот постсоветский мир неоднозначен: советский человек умеет как-то подчинять себе царящий вокруг хаос, но время все равно тратится впустую — на походы по магазинам и бессмысленный треп за столом, а до важных дел руки не доходят. Такое бесполезное времяпрепровождение неприемлемо для европейцев. Свободное время, развлечения, досуг ценятся западным человеком очень высоко, поэтому он не может представить себе, что можно добровольно растягивать свой рабочий день на 24 часа. Офисным работникам, кочующим с одного места службы на другое, трудно вообразить себе офис с кухней, ванной и личными полками для косметики и обуви. Еще сложнее им терпеть постоянную близость коллег и их родственников, особенно при отсутствии опыта жизни в коммуналке и советского воспитания. Вышеописанное разворачивается в некогда роскошном доме, который теперь представляет собой довольно печальное зрелище: запущенные квартиры, вонючие грязные лестничные клетки. Сотрудники коллективно ремонтируют квартиру, взятую под офис — воспоминание об ушедших в прошлое субботниках, — и украшают ее самодельными шторами а ля Belle Epoque.

Неожиданный финал (с нотками романтической иронии) и множество деталей, напоминающих об эпохе «реального социализма», усиливают комический эффект и подводят к сути проблем перестройки: требование иного отношения к работе и ко времени, иного представления о поведении в коллективе.

Гротеск и глумление над стереотипами чувствуются и в рассказе о вдове Антонине Верековской и ее трех дочерях. Мужа Антонины убили, когда он работал на газопроводе, а ее сын, только-только сняв траур, навсегда ушел из семьи, бросив мать и сестер. Хотя Антонина Антоновна и работает посудомойкой, денег на обеспечение дочерей не хватает. В надежде найти кормильца «Антонина Антоновна вешалась на шею едва ли не каждому, кто не слыл пьяницей и имел твердый заработок. Ее репутация была быстро погублена». В этом безотрадном существовании имелось лишь малое хрестоматийное утешение: русская литература, квартира, горячая вода,

холодильник, телевизор и телефон (советский минимум). Но и это казалось роскошью.

Чтение книг наталкивает Антонину Антоновну на мысль послать своих дочерей на панель (по следам Сони Мармеладовой из «Преступления и наказания»). Но когда дело доходит до исполнения этого плана, на работе у Антонины Антоновны всем повышают зарплату. Однако, узнав, насколько мизерно это повышение, героиня падает в обморок, а очнувшись, видит перед собой американца — директора фирмы, который помогает ей подняться и отвозит домой, где в кровати мирно спят ее дочки. Американец дарит им наполненные золотом матрешки. Антонина приглашает благодетеля заходить в гости. «Он появился уже вечером. Радости и удивлению не было предела». Американец женится на старшей, Вере. После ее смерти — на Аннушке, а после смерти Аннушки — на Тамаре. «Антонина Антоновна на каждой свадьбе лила слезы. Как долго она жила так счастливо, я не могу сказать». Хочется добавить: так живет она и по сей день, если еще не умерла. В восходящей к «бородатому» анекдоту сказке о счастливой Антонине Антоновне и американском принце читается наивное «типично русское» представление о том, что счастье неожиданно сваливается на голову. На роль принца подходят не только американцы, но и европейцы. Принц может быть также шефом. Но он непременно должен быть богат и щедр и обязательно дарить дорогие подарки.

В сюжете другого рассказа обыграны именно эти добродетели, якобы присущие европейцам. Иностранец-рассказчик жалеет нищенку и дарит ей крупную сумму. Благодарны иностранцу не только грязная старуха, которая крестит и целует его, но и другие посетители рынка. Они одаривают его кто чем может и даже раздевают его, чтобы на его голом теле записать номера своих телефонов. Его приглашают на дачи, на Байкал, на Ледовитый океан. Богачу стоит большого труда уйти от благодарящих, чтобы успеть к поезду. «От такого гостеприимства он чувствовал себя неловко: ведь он знал, как мало у них самих оставалось на жизнь». Если бы в рассказе были выделены только такие качества, как «бедность и гостеприимство» русских и «жалостливость и щедрость» немцев, текст воспринимался бы как стереотипное изображение русских и немцев. Но в начале рассказа Россия представлена совершенно иначе: «В России невозможно оставаться... Такое ощущение, словно все люди здесь приехали из далеких деревень и не научились еще ходить по улицам. Везде стучат ногами, кричат, толкаются, ругаются, плюют...»

Везде стоит вонь, продукты несъедобны, все вокруг «покосившееся, покореженное, грязное, будто со свалки». Итог этому бескультурью подводит следующее умозаключение: «Царское безумие — вот единственная культура, которая у них осталась». Но при этом они говорят о Пушкине, судьбе и Волге. Помимо этого, русские апатичны, злы, угрюмы. В общем, иностранец может здесь думать только о том, как бы поскорее уехать: «Еще никогда, ни в какой другой стране я не чувствовал себя так беззащитно». Здесь собраны черты, свойственные России с точки зрения иностранцев: варварская отсталость, недостаток цивилизованности, деревенская неотесанность. И все это подано в явном контрасте с высокой культурой, которой любят хвалиться русские. Правда, после такого вступления сюжет развивается в довольно неожиданном для читателя ключе. В тот момент, когда иностранец преодолевает свои предрассудки и спускается с небес культурного и материального благополучия на землю нищенки, он начинает воспринимать Россию и русских совершенно иначе. Он видит в них сердечность, открытость в отношении к «чужому», заботливость, великодушие, гостеприимство. И он обещает вскоре вернуться в страну, где — как сказано в зачине рассказа — «невозможно оставаться».

Таким образом, Шульце обнажает амбивалентность немецкого представления о России (равно как и противоречия самовосприятия в самой России). В оценке русских, хочет он сказать, нельзя быть категоричным и плоским. В русской душе есть и темные, и светлые стороны. Все зависит от ваших предубеждений и от того конкретного человека, который вам встретится.

Анализ остальных трех десятков «мгновений счастья» может завести нас слишком далеко. Я хочу остановиться еще только на одном эпизоде — на визите Алеши к своему прежнему преподавателю марксизма-ленинизма Семену. Итак, бывший ученик заходит навестить своего учителя, а тот, неряшливо одетый, лежит в апатии на диване. За три года, что они не виделись, интерьер кабинета стал заметно беднее.

Нет больше бесчисленных книг и журналов, покрывавших раньше стулья и пол. «Раньше он извлекал из книг вложенные в них конспекты, выписки, статьи, доклады, чтобы потом тайком засунуть их обратно. Сейчас же остались только настольная лампа и пресс-папье, будто бы Семен куда-то переехал из этой меблированной комнаты». Старый профессор сдался: он чувствует себя обманутым, лежит в подпитии на диване и жалуется на судьбу: «С меня хватит… Все, во имя чего мы жили, разрушено. Пыль, грязь! Неужели этого мало? Хватило трех лет, даже меньше! Мне противно!»

Разговор между учителем и учеником не клеится, и тогда они садятся играть в шахматы. Оба играют неумело и невнимательно, потому что — как видно из короткого диалога — каждый погружен в свои мысли о прошлой жизни и рухнувших идеалах. «Когда я слушал тебя в университете и потом, — говорит юноша, — мне казалось все в мире понятным, и я думал, что знаю, как нужно жить». — «Ты все забыл. Это наша судьба, тут ничего не поделаешь», — возражает старик. Положение кажется ему безнадежным: «Это застой. Одни только жертвы и спекулянты».

Не дождавшись ухода гостя, старик заваливается спать, пьяно бормоча какую-то бессмыслицу.

В новом мире Семен, профессор марксизма-ленинизма, стал «лишним человеком» (тип, укорененный в традиции русской литературы). Что же может выйти из этого разочарованного, деклассированного пораженца перестройки? Когда Гасан Гусейнов в 1995 году в одном из своих докладов сказал: «Мы все еще советские люди. Советский Союз ликвидирован политически, но духовно он еще здесь», речь шла точно о том же, о чем говорит жена Семена бывшему студенту своего мужа: «Приходите почаще. Ваша поддержка ему на пользу. — Она вцепилась в его правую руку. — Когда-нибудь количество перейдет в качество[1] и тогда…— Вера Андреевна заплакала: — Тогда у нас впереди будет еще пара хороших лет».

Она сама не верит своим словам. Но ни в чем, кроме этой механически сказанной фразы, не может найти утешения. «Если бы я хоть чуть-чуть верила, тогда могла бы попросить Бога немного унять мою тревогу», — сказала мне как-то в похожей ситуации моя бывшая преподавательница истории КПСС.

В отличие от советских текстов, в постсоветских редко повествуется о человеческом счастье или об устройстве будущего общества. Кого оно волнует? Кто должен его формировать? Одни персонажи «новой литературы» полностью оставили надежду приспособиться к сегодняшней жизни, им остается разве что уныло перебирать воспоминания. Другие тратят все свои силы на то, чтобы достичь материального благополучия: приобретение желанных западных товаров требует денег, и немалых. В результате этого в обществе укореняются такие явления, как проституция, контрабандная торговля оружием, азартные игры и даже убийства. Третьи же, юродивые, — пожалуй, единственные, кто может подарить народу мгновения счастья. Они — все равно что докторша из еще одного рассказа Шульце, посвятившая себя спасению нищего. Встречаемая криками ликующей толпы: «Господь с тобой, святая! Ты спасешь Россию!», она машет в знак приветствия ликующему народу, расточает воздушные поцелуи и растопыривает пальцы в знак победы, прежде чем раствориться в «глубоких, серо-голубых облаках, застилающих город. На северо-западе зажигается резкий желто-зеленый свет, прямо над адмиралтейством, чей вонзившийся в небо шпиль указывает нам путь». Так она и исчезает в воздушной дали.

Вот такие увлекательные сюжеты немцы увозят из Петербурга — замечательного города Петра Великого, который стал на рубеже XVII и XVIII веков тем «окном в Европу», через которое в Россию хлынули западные идеи. Немало русских сейчас считает правление Петра I грехопадением с разрушительными последствиями для самосознания русского народа, который до сих пор испытывает трудности с самоидентификацией.

Узнать об этом из книг русских и немецких писателей по-прежнему легче, чем из научных трудов политологов о перестройке. Важно только читать их с удвоенным вниманием, и только тогда — снова сошлюсь на Анну Зегерс — станет ясно, о чем в них говорится.

---

[1] Пародируется один из законов марксистской диалектики (переход количественных изменений в качественные), изучавшийся в советских вузах всеми студентами независимо от специальности.

Александр Мелихов

Куда несет нас рок событий?

Название первой главы книги живущего в Германии потомка российских эмигрантов, немецкого политолога, эксперта по России и СНГ Александра Рара «Насколько важна Россия?» тут же сменяется подглавкой «Почему нам нужна Россия?», — подглавкой, немедленно порождающей новый вопрос: «Кому нам?» Если «нам» означает «русским», ответ ясен: потому что у русских больше нет ни одного института, связывающего их с вечностью, осуществляющего преемственность поколений и тем дающего хотя бы слабую иллюзию бессмертия. Если же «нам» означает западного читателя, то книга и впрямь старается, как это бывает в русских сказках, убедить охотника словами дичи: «Не убивай меня, я тебе еще пригожусь». Беда только в том, что в отношениях России с Западом каждая сторона ощущает себя дичью...

Зато учителем уже несколько десятилетий себя ощущает исключительно Запад, и именно к этим, учительским его амбициям обращена первая фраза книги: «Учить Россию демократии — безнадежная затея. Эта страна слишком горда, чтобы смирно сидеть за партой». И это совершенно справедливо — с тем важным уточнением, что негордых стран просто не бывает, Бог не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию. Если какой-то народ и впрямь обрел смирение, это означает, что речь идет о посмертном его существовании, поскольку прежде всего гордость, стремление участвовать в Большой Игре истории и объединяет людей в государство. Если даже и не всех, то уж во всяком случае пассионарную верхушку, которая не позволит играть роль чьих-то шестерок властной элите, состоящей, впрочем, тоже из людей далеко не самых скромных.

Поэтому ни одна культура никогда не сможет быть учителем другой, но разве только примером для добровольного подражания, да и то лишь до тех пор, пока она не проявит наклонностей к какому-то реальному доминированию, не попытается конвертировать платоническую любовь в какие-то материальные выгоды.

Эта любовная драма и составляет главный сюжет постперестроечных отношений России с Западом и прежде всего с Америкой. Но, как и всякая порядочная драма, она распадается на множество острых эпизодов, рассмотрению которых главным образом и посвящена книга «Куда пойдет Путин?». Часть эпизодов средним россиянином, вроде автора этих строк, уже полузабыта, а часть осталась и вовсе незамеченной, так что книга читается с большим интересом и оказывается очень даже познавательной для тех счастливцев, а может быть, и несчастливцев, кто в состоянии запомнить всех этих бесчисленных «акторов», которых переводчик совершенно напрасно именует актерами. Погружаясь в мотивы Америки и России, Японии и Китая, Украины и Германии, Ирана и Среднеазиатских республик, и впрямь начинаешь лучше разбираться в сложных перипетиях Большой Игры, где ставками оказываются и идеи, и зоны влияния, и ресурсы, и безопасность.

Давайте пробежимся хотя бы по первым главам.

«Является ли Россия нарушителем миропорядка?» Россия, отвечает Рар, желает жить в мире с Западом, понимая, что «ее модернизация осуществима только в европейском контексте. Но Россия является ярой сторонницей идеи многополярного миропорядка, так как, по мнению Москвы, только он может осуществить "справедливое" политическое равновесие в мировой политике». При этом

Александр Рар. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой. — М.: «Олма Медиа Групп», 2012.

«Путин закрыл российские военные базы на Кубе и во Вьетнаме и дал согласие на развертывание военных баз США в Центральной Азии... Однако в США российская помощь была воспринята как само собой разумеющееся и не предполагающее взаимности». Более того, «аргумент Запада, что соперничество за зоны влияния осталось в прошлом, оказался сплошным лицемерием». «Зачем Западу менять комфортную безопасность на новое сосуществование с Россией, чей глобально-политический вес резко убавился?»

Подобная политика в свое время казалась западным демократиям разумной и по отношению к Веймарской Германии: чем она слабее, тем нам спокойнее. Однако Рар, похоже, понимает, что Россия никогда не сделается настолько слабой, чтобы ее можно было вовсе не бояться, и все же для Запада была бы предпочтительнее Россия сильная и прозападная, чем несколько более слабая и антизападная. «Чтобы во всеоружии встретить новый мир с различными центрами силы, Запад и Россия должны свести к минимуму конфликтный потенциал между ними». «Барак Обама прав: зачем Западу направлять свои силы на то, чтобы подавлять Россию, когда будущая линия фронта пролегает не между Востоком и Западом, а между Севером и Югом». «Вся Европа, от Лиссабона до Владивостока, сформирована под влиянием христианства и связана общей историей. Вместе с Россией европейский внутренний рынок охватил бы 750 миллионов человек» — что позволило бы такой объединенной Европе (почти уже Евразии) выстоять в экономической конкуренции с Азией. «Российское правительство состоит из убежденных европейцев, в чем я лично мог убедиться на ужине с Путиным в Кремле», — так заканчивается глава «Является ли Россия стабилизатором миропорядка?».

Но — следующая глава — «Правильно ли Запад относится к России?». Ответ: «В 90-е Запад проявлял интерес к посткоммунистической России. Сейчас он от нее устал. В то же время, он должен был задаться вопросом, не лежит ли и на нем часть вины за негативное развитие событий». Не знаю, посильную ли ношу возлагает Александр Рар на учителя, предлагая ему задуматься о причинах нерадивости ученика.

Далее А. Рар вспоминает и «грабительскую приватизацию», альтернативой которой мог оказаться коммунистический переворот, и разгул преступности, и обрушившуюся на непривычную массу внезапная бедность, и национальное унижение русского населения хотя бы на одних только «национальных окраинах» и прочее нагромождение факторов, толкающих к радикализации, не говоря уже о Кавказских войнах и терроризме, — на этом фоне неустанные требования европейских хороших манер выглядят в лучшем случае наивностью, а в худшем — лицемерием.

Западный демократ, пишет А.Рар, не может себе представить недемократическую Россию союзницей Запада. И совершенно зря: если уж Гитлер сумел объединить западных демократов с Россией сталинской...

Столь страшного общего врага у России с Западом, благодарение Богу, сегодня пока еще нет, но ведь и расхождения по части демократических норм несопоставимо уменьшились. Тогда как общие угрозы сделались только многообразнее — А.Рар рассыпает их перед читателем щедрой рукой. Это нужно читать, пересказывать было бы слишком долго.

И если во всем этом клубке временных коалиций и контркоалиций искать хоть какой-то закономерности, то, пожалуй, можно сказать, что политика ценностей неуклонно вытесняется политикой интересов: мнимости вытесняются реальностями. Экономическими и военными. Которые, к сожалению, до сих пор тоже базируются на мнимостях, то есть ценностях времен Очакова и покоренья Крыма.

Тогда как никаких рациональных оснований для войн у великих держав — держательниц ядерного оружия давно уже нет: все, что можно завоевать, сегодня гораздо дешевле купить. Сегодня ни территория, ни ресурсы (пресловутая «нефть», из скромного энергоносителя превратившаяся в символ) не определяют богатства народов. Поскольку главным его источником уже давно сделался человеческий капитал, — косвенным свидетельством чего является высокая ценность жизни в общественном мнении развитых стран: потери, по поводу которых Наполеон лишь обронил: «Одна ночь Парижа их покроет», — сегодня бы низвергли любое правительство.

Западное, разумеется.

Поэтому главной целью развитых стран сегодня безопасность. И это было бы чудесно, если бы высокая ценность человеческой жизни сделалась пацифистским тормозом для всех государств разом. Но поскольку в мире остается удручающе большое и едва ли не увеличивающееся число режимов, не ставящих человеческую жизнь ни в грош в сравнении с великими идеологическими и государственными целями, то угроза вожделенной безопасности исходит именно от них. А потому в сегодняшнем мире главная линия

борьбы пролегает между рациональностью и иррациональностью, и с этой точки зрения Россия и Запад должны быть союзниками, ибо при всех пороках обеих сторон наши общества все же в огромной степени являются человекоцентрическими, а не идеоцентрическими.

И все-таки на радость своим истинным врагам они позволяют втянуть себя в холодную войну из-за фантомов, из-за ценностей времен Древнего Рима и Карфагена. Хотя сегодняшние ценности требуют ровно обратного, они требуют *сильных и рациональных объединяться против слабых и иррациональных, ибо агрессия исходит от слабых*. Однако пока что мы наблюдаем обратное: похоже, рациональность сама впала в мессианство, обратившись, таким образом, в свою противоположность, да еще и вообразила, что может поставить иррациональность себе на службу, вербуя из ее рядов надежных марионеток. Которые на деле способны работать лишь на самих себя, из года в год натягивая нос своим создателям: иррациональные Давиды — от Кастро до Бен Ладена (о тех, что слишком близко, мы лучше помолчим) — десятилетиями использовали квазирациональных Голиафов в своих сверхчеловеческих амбициях и даже ухитрялись в глазах простаков выглядеть жертвами.

В итоге борьба за безопасность сегодня сделалась главным источником опасности.

Тем не менее ставить вопрос «Кто виноват?» — вернейший способ превратить любой межнациональный конфликт в безысходный. Там, где сталкиваются две разных морали, моральный подход абсолютно аморален. Не мораль, но лишь целесообразность дает какие-то шансы на примирение. Но для этого квазирациональный мир должен вспомнить, что его высшая цель — реальная безопасность, а не такие фикции, как нефть или контроль над теми или иными территориями. Ибо если дойдет до большой драки, все равно никто ничего проконтролировать не сможет (много ли наконтролировали американцы в Ираке или мы в Афганистане?), а добывать нефть ценой безопасности в сегодняшнем мире означает питаться кусками собственного тела.

Ибо никакие ракеты и радары, никакое введение новых членов в старые мехи и союзы никого ни от чего не спасет: как друзья вы ни садитесь, ядерная зима накроет всех, и живые будут завидовать мертвым. Это никакая не Большая Игра, но всего лишь мелкая коммунальная склока, кого куда подвинуть и кого за кем усадить, какой собственной мелкой пакостью ответить на чужую мелкую пакость: ах, вы плеснули нам керосина в суп, так мы ошпарим вашу кошку! Вся эта дребедень, именуемая международной политикой, ни в малейшей степени никого не защитит от гибели, а приблизить ее очень даже может.

И если еще недавно главной причиной войн был избыток страха народов друг перед другом, то сегодня причиной мировой войны может сделаться его недостаток. Цивилизованный мир так долго не участвовал в глобальных войнах, что перестал верить в их реальную возможность. И совершенно напрасно!

Книга Александра Рара помогает лучше понять, что у России и Запада слишком много серьезных общих врагов, чтобы им петушиться друг перед другом по поводу того, чей стол где поставить на не такой уж и тесной коммунальной кухне.

Но как же книга отвечает на вопрос, вынесенный в заглавие: «Куда пойдет Путин?». Александр Рар заканчивает свою книгу антиутопической утопией, в которой в Октябрьской революции 2017 года после череды катаклизмов восставший народ снова отвоевывает свободу, вдохновленный явлением на танке восьмидесятишестилетнего Горбачева.

Такое решение для кого-то, может быть, и увлекательно, однако лично для меня оно является скорее уходом от ответа.

Поэтому я попытаюсь дать ответ менее двусмысленный. Кто, спрошу я, после рапалльского договора между странами-изгоями Советской Россией и Германией, заключенного против победоносной Антанты, мог бы предсказать, что менее чем через двадцать лет Россия будет сражаться с Германией на стороне Антанты?

Сталин наверняка был более идеологически запрограммирован, чем Путин, и все-таки его идеологичность шаг за шагом отступала под давлением жестокой геополитики, за что упертые коммунисты честили его империалистом и изменником пролетарскому делу. Поэтому на вопрос, куда пойдет Путин, самым правильным ответом, мне кажется, будет такой: Путин пойдет туда, куда его выдавят соединенные усилия всех участников Большой Игры. Почти независимо от его сегодняшних намерений и планов.

История так всегда и творится — непредсказуемым образом. Каждый делает локально разумный вроде бы шажочек, и все вместе приходят к чему-то безумному.

Как бы снова нам не пойти путями предков...

Ольга Лебёдушкина

«Ирония судьбы», RAF и немецкие грабли

Подзаголовок книги Сергея Сумленного — «Как устроена Германия» — сначала располагает к приятному и легкому чтению в жанре туристического путеводителя — как живут немцы, как воспитывают детей, что едят на обед, сколько стоит бензин и гостиница. Все это и еще массу других бытовых и культурных подробностей в книге действительно можно найти. Сергей Сумленный, собственный корреспондент журнала «Эксперт», несколько лет живет в Германии и на собственном опыте изучает ее жизнь.

Однако читатель, поддавшийся на эту уловку, достаточно быстро поймет, что легкого чтения не будет и перед ним не популярный страноведческий очерк, а попытка серьезного исследования.

Сумленный пишет о национальном самосознании немцев, о мифах, фобиях и реальных исторических травмах. Темы часто поднимаются болезненные, иногда — почти табуированные: например, насилие против немецкого населения стран Восточной Европы в послевоенные годы или левый терроризм и история RAF. В целом же складывается образ современной Германии, который в равной степени далек и от идеалистических либеральных штампов, и от модных ныне антизападных предубеждений. Образ этот нельзя назвать полным и абсолютно объективным. И вряд ли здесь абсолютная объективность возможна: у каждого, кто бывал, а в особенности — жил в стране более-менее продолжительное время, «своя» Германия, сложившаяся из собственных впечатлений и наблюдений. Этот индивидуальный опыт переживания волей-неволей заставляет спрашивать себя по ходу чтения: почему автор достаточно подробно пишет об одних вещах и почти ничего — о других. Точнее — каковы критерии отбора тем?

Рискну высказать догадку (подчеркиваю, исключительно субъективную и не претендующую на возможное совпадение с авторским замыслом): книга Сергея Сумленного — не только о Германии, но и о России. И о том, что общественное устройство, так мучительно складывающееся на наших глазах, — это и есть несовершенный, иногда откровенно уродливый, но все же своего рода аналог *немецкой системы*. То есть, если использовать популярные блогерские мемы, Россия вовсе не катится в «православный Иран» и «новое средневековье». Она, действительно, тяжело и медленно движется в прошлое, но не свое, а чужое, подбираясь к тому уровню развития, который европейские страны прошли около сорока лет назад, и в чем-то Германия 1960-х-1970-х годов — это наше настоящее и ближайшее будущее. Разумеется, при всех «но» и скидках на национальное своеобразие и «особый путь». С заимствованием, конечно, кое-каких новшеств и упорным наступанием не только на свои, но и на немецкие грабли.

Аналогии здесь, конечно, весьма приблизительны, но при чтении первой части книги — «История немецкого вопроса», некоторые из них представляются возможными. В качестве примера можно привести один из сюжетов книги.

Германский опыт по преодолению нацистского прошлого неизбежно упоминался в отечественных дискуссиях об отношении к тоталитарному наследию. Германия, прошедшая через осознание общенациональной вины за преступления нацизма, традиционно противопоставлялась и противопоставляется постсоветской России, в которой исторического покаяния не произошло и вина всего общества в многомиллионных жертвах сталинского режима так и не была обществом признана. Так постепенно был создан миф об исключительном и очень быстром успехе денацификации.

«Одним из самых распространенных в России мифов о послевоенной ФРГ является миф о немедленной послевоенной

Сергей Сумленный. Немецкая система. Как устроена Германия. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: Издательский Дом «Дело» РАНХиГС, 2012.

денацификации Германии — то есть о якобы имевшем место отстранении от власти чиновников, запятнавших себя связями с нацистами, — пишет Сумленный. — На деле все обстояло прямо противоположным образом: чиновнический аппарат послевоенной Западной Германии, а также ее судебная и образовательная системы в значительной степени были сформированы из тех же самых людей, которые исполняли функции чиновников, судей или учителей в нацистском государстве. Чиновнический аппарат послевоенной ФРГ до самых верхних уровней был заполнен бывшими офицерами СС, СД и гестапо, а также просто нацистскими идеологами, юристами, генералами вермахта. Так, все время канцлерства Конрада Аденауэра, с 1949 по 1963 год, его ближайшим юридическим советником был Ханс Глобке — комментатор нюренбергских расовых законов, на основании которых в лагеря смерти были отправлены миллионы человек. Однако если люди вроде Глобке все же составляли в администрации канцлера меньшинство (причиной тому было желание сохранить хотя бы минимальное приличие), то спецслужбы новой Германии стали настоящим санаторием для высокопоставленных сотрудников нацистского аппарата насилия».

Имен, фактов и свидетельств в книге приводится множество. Особенно много бывших «наци» оказалось в службе внешней разведки послевоенной ФРГ и криминальной полиции (BKA), которая в 1970-е годы оказалась на переднем крае борьбы государства с левыми террористами из группировки RAF.

Этот контекст конфликта RAF с государством, как правило, остается в тени. Левое молодежное движение конца шестидесятых—начала семидесятых годов в Европе и США было бунтом «детей»-революционеров против консервативных «отцов», но немецкий 1968 год и его продолжение получили четкую антифашистскую окраску. «Борьба с нацистским прошлым отцов стала одним из важнейших мотивов левого немецкого движения 1960–1970 годов. Именно восприятие немецкими левыми полицейского и чиновничьего аппарата ФРГ как прямого наследника нацистской системы насилия, а самой ФРГ — как «фашистского государства» давало левым идеологический карт-бланш на самые крайние методы насильственной борьбы, включавшие в себя покушения, поджоги, взрывы. Члены RAF убивали судей и прокуроров, бизнесменов и полицейских, американских солдат и консервативных журналистов. Государство платило террористам той же монетой, без колебаний убивая членов RAF при задержании, легализовав пытки и выбросив на помойку понятия о справедливом судебном разбирательстве».

Исторический парадокс RAF состоит в том, что леворадикальный террор прекратился вовсе не потому, что государство победило в этой войне на уничтожение, избирательно применяя, а часто — прямо нарушая закон. Несмотря на странные смерти лидеров группировки в заключении, RAF прекратила свое существование только в 1990-х, то есть тогда, когда изменилось само государство, поколение «отцов»-консерваторов окончательно ушло, и «дети 1968-го» достаточно прочно утвердились во власти. Например, министром иностранных дел стал Йошка Фишер, руководивший боевыми операциями во Франкфурте, а главный адвокат RAF Отто Шили получил пост министра внутренних дел. Сама власть значительно «полевела» за счет появления в ней социалистов и «зеленых». При этом никакой революции не произошло. Наоборот, Германия превратилась в ту современную Германию, которую весь мир знает, как мощное социальное государство.

Тридцать лет существования RAF показали, что постоянное «закручивание гаек», подавление уличных акций протеста и жесткие полицейские меры — идеальная питательная среда для радикальных идей и радикальной политической борьбы. Так что единственное, что может сделать власть для того, чтобы победить протест, это — измениться.

Многие другие сюжеты книги также прочитываются как ответ на актуальные вопросы, волнующие российское общество сегодня.

Роль церкви в общественном устройстве Германии рассматривается явно с оглядкой на происходящее в России. «Несомненно, — отмечает Сумленный, — Германия — светское государство в том смысле, что верующие христиане не имеют здесь никаких дополнительных прав или привилегий. Членство в церковной общине не является в Германии ни необходимым, ни желательным условием для получения какой-либо работы, для успешной карьеры и т. д. Вопросы веры в большинстве своем остаются вопросами личного характера, демонстрация своей религиозности на работе или в общественном месте не характерна для немцев.

Но невозможно не заметить того факта, что католическая и протестантская церкви, к которым принадлежит примерно по 25 % населения страны, обладают

в Германии огромными привилегиями. Церкви владеют собственными детскими садами, школами и больницами, получающими государственные субсидии. Католическая церковь остается крупнейшим владельцем виноградников в стране. В государственных школах ведется преподавание религии — поскольку право учеников на изучение религии в государственной школе закреплено в конституции страны (раздельно — для школьников-протестантов и школьников-католиков, а с недавних пор и в некоторых школах еще и для мусульман).

Каждое воскресенье центральные полугосударственные немецкие каналы, чье существование поддерживается собираемыми со всех владельцев телевизоров налогами, транслируют католические и протестантские церковные службы. Первый канал немецкого телевидения каждую субботу в прайм-тайм транслирует пятиминутную католическую проповедь. Католические монахини преподают в школах светские предметы — математику или немецкий язык... Светская государственная налоговая служба по поручению церквей собирает с верующих специальный церковный налог, ставка которого рассчитывается как доля от уплачиваемого налога на доходы физического лица и составляет обычно около 8 % от суммы этого налога (то есть если некий немец платит в месяц 1000 евро налога на доход, то еще 80 евро налога он заплатит церкви)».

По идее здесь, кажется, перечислено все, к чему сегодня так активно стремится РПЦ. Правда, стоит отметить, что церковный налог в Германии — предмет постоянных конфликтов и судебных разбирательств. Попытки отказаться от его уплаты со стороны верующих предпринимаются постоянно, и, как известно, недавно католическая церковь Германии по благословению Ватикана получила право отлучать неплательщиков от причастия. При этом церковный налог остается одной из неплохих возможностей подсчитать реальное количество верующих, а также — динамику выхода из церкви, которая чаще всего напрямую связана с тем или иным околоцерковным скандалом. В России таких механизмов, помимо социологических опросов, просто нет, и вряд ли РПЦ на это пойдет, поскольку простая налоговая статистика легко покажет число плательщиков налога, то есть число прихожан в каждом из приходов.

В качестве главного примера вмешательства церкви в жизнь всех граждан Германии, независимо от вероисповедания и убеждений, в книге выступает полный запрет на работу всех магазинов (в том числе и продуктовых) со второй половины дня в субботу до утра понедельника. С этой особенностью повседневной жизни, действительно, сталкивается каждый, кто приезжает в Германию: если ты не успел запастись едой в субботу утром, до понедельника придется питаться в кафе и ресторанах или ехать за пакетом молока на вокзал (на автозаправках, вокзалах и в аэропортах торговля в выходные разрешена). Согласно версии Сергея Сумленного, именно католическая церковь остается главным лоббистом федерального закона о статусе воскресенья как «особо защищенного дня». Хотя сами немцы чаще всего отвечают на вопрос о неработающих магазинах совершенно подругому: «это все профсоюзы...» Действительно, немецкие профсоюзы следят за правом трудящихся на отдых в выходные куда более бдительно, чем католическая церковь — за обязанностью прихожан присутствовать на мессе. В этом отношении влияние профсоюзов на жизнь других людей, не имеющих к ним отношения, в Германии куда более ощутимо, чем власть церковных традиций. Например, в ряде федеральных земель, помимо официальных выходных в конце недели для представителей некоторых профессий есть еще и учрежденный профсоюзом выходной, совпадающий с одним из рабочих дней. И горе тому, у кого, например, заболел зуб в Эссене в среду — ни один дантист в городе в этот день не работает.

Еще один (совсем новый для России) пример сближения российской и немецкой систем — меры по защите несовершеннолетних от вредной информации. По сравнению с тем, к чему давно привыкли немцы, российские дебаты о том, нужно ли запрещать «Ну, погоди!» и Буратино, покажутся цветочками: «Культовый фильм «Терминатор» в версии «от 16 лет» не содержит сцен убийства первых двух Сар Коннор, сцены разгрома полицейского участка, сцены вырезания Терминатором пуль из своего тела и т. д. — и даже в такой версии считается опасным для психики 15-летних подростков. Рейтинг «от 16» имеет вполне невинный сериал «Доктор Хаус», режиссерская версия трилогии «Властелин колец», все фильмы серии «Чужой», а совершенно комиксовый «Чужой против Хищника — 2» получил даже рейтинг «от 18 лет».

Думается, все это у нас еще впереди. Вообще, если присмотреться, у нас с немцами очень много общего. Даже своя обязательная «Ирония судьбы» под Новый год у них есть — англоязычный телеспектакль Dinner for One, который обязательно крутят по телевизору 31 декабря...

Ольга Балла

Проект «Европа»: этика поражения и работа преодоления

Вышедшие недавно в издательстве «Весь мир» книги Юргена Хабермаса писались (и наговаривались, потому что в некоторой своей части они — интервью и речи, произнесенные по разным случаям) их автором отнюдь не как целостные тексты. Все это — сборники; составлены они из высказываний и замечаний разного времени и даже разных жанров, не говоря уже о том, что — как будто на вполне разные темы, от философии и религии до политики. Тем не менее самым правильным было бы читать их вместе, подряд — как единое высказывание. Тогда становится видно, что все эти высказывания и замечания, безусловно, составляют цельную линию. Особенно, если читать их в хронологическом порядке — синхронно с развитием той самой европейской истории, комментированию которой все они так или иначе посвящены. Это — история поражения проекта Европы, история осознания и — рискну сказать уже теперь — преодоления этого поражения, хотя оно не окончательно и по сию минуту, и станет ли окончательным — мы сейчас тоже еще не знаем.

Напомним, автор (р. 1929), знаменитый немецкий философ и социолог — «один из самых видных европейских интеллектуалов» (так он представлен в одной из книг) и даже «самый главный философ Германии»[1] — так, чуть меньше года назад, назвал Хабермаса в журнале «Шпигель» его соотечественник Георг Диц.

Тот же Диц назвал нашего героя и «последним европейцем»[2]: последним, по его мнению, искренним и последовательным защитником проекта европейского единства и того комплекса ценностей, на которых этот проект — «проект его поколения» — основан.

Ну, последний не последний, но, во всяком случае, нельзя не заметить, что этот идеалист (в смысле веры в идеалы), ученик и продолжатель Хоркхаймера и Адорно, крупнейший представитель Франкфуртской школы, бывший идеолог студенческого движения 1960-х и создатель понятия коммуникативного разума, отваживается отстаивать вещи, которые сегодняшнее сознание склонно чувствовать уже как едва ли не архаичные (слово «наивный» в только что процитированной нами статье тоже было). Реликтовая такая фигура. Из исчезающих.

Потому что идеалы, в которые он верит, — как раз те, дискредитация которых (по крайней мере, серьезная их поставленность под трудноотвечаемые вопросы) сегодня не бросается в глаза разве что только совсем невнимательным, — и именно те, которые еще совсем недавно и так уверенно обозначали в наших глазах перспективу европейского (уж не мирового ли?) развития. Это — критичный к собственным основаниям разум и его верный младший брат — здравый смысл. Демократия. Открытость политического пространства (для которой есть специальный хабермасовский термин, оставляемый в русских переводах, точности

Юрген Хабермас. Расколотый Запад / Пер. с нем. – М.: Весь Мир, 2008.

Юрген Хабермас. Между натурализмом и религией: Философские статьи / Пер. с нем. М.Б. Скуратова. – М.: Весь Мир, 2011.

Юрген Хабермас. Ах, Европа: Небольшие политические сочинения. XI / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. – М.: Весь Мир, 2012.

[1] http://www.inosmi.ru/europe/20111128/178621730.html#ixzz28AMkwHH7

[2] http://www.inosmi.ru/europe/20111128/178621730.html#ixzz28AMkwHH7

ради, в его оригинальном облике: Offentlichkeit) и диалог — на равных — всех его участников; «солидарность между гражданами <…> невзирая на границы мировоззрений». Индивидуальная свобода и безусловное уважение к ней в публичном пространстве вне зависимости от статуса и прочих характеристик индивидуума. И, пожалуй, едва ли не главный, скрепляющий все это механизм: способность людей договариваться и их добрая воля к тому, чтобы это делать.

С другой стороны, Хабермас — фигура в своем роде классическая для Запада: публичный интеллектуал, критик и диагност. В книгах, о которых мы говорим, он выступает именно в этом качестве. И речь в них идет — во всех и везде, о чем бы она в каждом из случаев ни шла, об одном: о ценностях. О ценностном основании западной цивилизации и о том, может ли он (а следовательно — и западная цивилизация как проект) сохраняться впредь в прежнем виде.

Разговор Хабермаса с читателями о текущей ситуации начинается с 11 сентября — события настолько знакового в современном и сокультурном нам сознании, что нет нужды даже уточнять, о каких событиях и о сентябре какого именно года идет речь: первое, открывающее книгу «Расколотый Запад» интервью «Фундаментализм и террор», в котором автор говорит о предвидимых им последствиях этого дня, было им дано преподавателю философии в Vassar College Дж. Боррадори в декабре того же 2001 года. (Неудивительно, что о событии, казалось бы, политическом заговорили два философа: то, что событие — символическое и что речь идет о начале глубоких перемен в ценностном самочувствии западного мира, стало ясно сразу.)

В трех (вполне случайно, между прочим, выбранных, — в то же самое время у нас выходили и другие книги Хабермаса[1], — но тем характернее) сборниках его созданным вслед за этим текстов мы можем видеть глазами автора новейшую историю ценностей, по которым 11 сентября — в день, когда мир, в частности — западный, раскололся — был нанесен, как чувствовалось тогда, необратимый удар.

Атака на башни Всемирного торгового центра стала сильнейшим ударом по картине мира — нет, глубже — по самому его чувству: по западному универсализму — уверенному в возможности мыслить о мире в целом поверх границ, этнических, культурных и т.п. специфик; о человеке как таковом — помимо социальных и прочих привязок; по представлению о том, что основные принципы, по которым строится и должна строиться жизнь, — по большому счету едины. Теперь пришлось столкнуться с чем-то даже более серьезным, чем непредсказуемая, способная поразить где угодно, кого угодно и в любую минуту опасность: с тем, что не вписывается ни в какие прежние представления.

Для самого Хабермаса ситуация выглядела тем более катастрофичной, что удар оказался нанесен и по его собственным представлениям о мире: по всей его концепции действий, «ориентированных на здравый смысл и рассудок», развитой им в знаменитой «Теории коммуникативного действия». Так, по крайней мере, считали тогда — о чем и сообщали самому Хабермасу — многие. Сам он, похоже, — нет.

Конфликты, говорил он в интервью Боррадори, вообще возникают «из-за нарушения коммуникации, из-за превратного понимания и непонимания, неискренности и обмана. Спираль насилия начинается со спирали нарушенной коммуникации, что — через спираль взаимного неконтролируемого недоверия — и ведет к краху коммуникации». Так вот, дело, по его разумению, в том, что новообъявившегося врага — еще прежде, чем он таковым стал, а уж тем более после, — и не попытались понять, не то чтобы с ним, допустим, договориться. Ему объявили войну, даже не разобравшись как следует с тем, что он такое. «Я считаю решение Буша о начале "войны против терроризма", — утверждал Хабермас, — серьезной ошибкой — как в нормативном, так и в прагматическом отношении». Поспешно объявив войну совершенно непроясненному противнику — «вряд ли можно вести войну с трудно распознаваемой "сетью", если мы хотим сохранить за словом "война" какой-то определенный смысл», — Америка, по сути, подставила (пост)христианский Запад под будущие непредсказуемые удары — и лишила его внутреннего единства, сделав его тем самым еще более уязвимым.

То была первая линия «раскола Запада»: между Америкой и Европой. Затем, как мы увидим в следующих сборниках, стали проявляться, входить в силу новые линии, все более внутренние: между натуралистическим, сциентистским миро-

[1] Вовлечение другого. Очерки политической теории. — М.: Наука, 2008. — (Слово о сущем); Проблема легитимации позднего капитализма. — М.: Праксис, 2010. (Образ общества.)

пониманием и набирающей влияние религиозной ортодоксией, — и, наконец, между различными народами и регионами самой Европы. Умения и стремления услышать и понять друг друга и договориться становится все меньше и меньше.

Само появление книг Хабермаса — один из многочисленных симптомов кризиса западного универсализма (11 сентября ведь не создало этого кризиса — оно всего лишь, резко и неожиданно, его обострило) и одна из попыток — если не справиться с ним, то по крайней мере его осмыслить. Западный универсализм в лице одного из своих ведущих интеллектуалов пытается понять, почему «не получается» — почему все получается не так, как хотелось, планировалось, виделось возможным еще совсем недавно.

Работа автора, предпринятая им в текстах всех трех сборников — это работа по спасению основного корпуса европейских ценностей, по сохранению их непротиворечивого единства.

Вторая книга — «Между натурализмом и религией» — посвящена «духовной ситуации» времени, характеризующим ее двум, казалось бы, взаимоисключающим тенденциям: это — «распространение натуралистических картин мира и растущее <...> влияние религиозных ортодоксий» (в частности, политическое; но главное — влияние на умы). Фактически, показывает автор, это — проявления одного и того же — смысловой глухоты, прогрессирующей утраты участниками публичной жизни способности и готовности слушать друг друга и считаться друг с другом. Дело еще и в том, что одними «средствами права и политики» вернуть людям эту способность нельзя — либеральное государство не в силах, сколько бы ни старалось, эффективно навязать «своим гражданам кооперативное поведение поверх мировоззренческих границ» — извне. Это — вопрос внутренней работы: соответствующим «когнитивным установкам» «можно лишь обучиться».

«Ах, Европа», — вздыхает Хабермас в названии своего последнего из переведенных у нас сборника, даже не снабдив этой реплики столь напрашивающимся восклицательным знаком[1], — и читателю уже понятно, что речь идет скорее о вздохе сожаления, чем об очаровании и эйфории — сопровождавшими рождение общеевропейского политического союза двадцать лет назад. То, что за два десятка лет оптимизма убавилось, а проблемы, наоборот, стали видны куда отчетливее — в порядке вещей; гораздо интереснее, что думает об этих проблемах человек из числа стоявших, по существу, у истоков проекта.

Произошел — вынужден он признать в 2006 году, — «обратный поворот» массовых симпатий «к национальному государству». «Тема Европы, обесценилась, государства охотнее занимаются внутринациональными проблемами». И не только государства: «на ток-шоу деды и внуки обнимаются в умилении от нового, благонамеренного патриотизма. По их мнению, уверенность в здоровых национальных корнях должна сделать население, "изнеженное" государством всеобщего благосостояния, способным к глобальной "конкуренции за будущее". Такая риторика подходит к нынешнему состоянию социал-дарвинистски расторможенной мировой политики». Мир — в частности, европейский — выказывает все меньше расположенности и к единству, и к диалогу.

В своей последней книге Хабермас разбирается с этими материями лишь отчасти на немецком материале. Такова, например, вошедшая в последний сборник, взывающая «к разуму публичной сферы» речь, как сказано в аннатотации, «в поддержку качественной общенациональной прессы Германии»: «Массмедиа, рынки и потребители — серьезная пресса как спинной хребет политической публичности». Впрочем, и на этом материале он озабочен прежде всего выявлением действия универсальных механизмов — и занят главным образом Европой вообще, Европой как целым[1] (и даже шире — Запада, включая сюда и Америку: сколько бы тот ни был расколот, он все равно, по упорному чувству Хабермаса, пронизан общими закономерностями и общи-

[1] На самом деле это — цитата: так, с восклицательным знаком — «Ах, Европа!» — назывались «путевые заметки» немецкого поэта (кстати, ровесника Хабермаса) Ганса Магнуса Энценсбергера, написанные в 1987 г. — еще до начала реализации общеевропейского проекта. В начале книги Хабермас сам признает, что от прежнего воодушевления «сегодня остается разве что вздох».

[1] Хотя и обращается по преимуществу к немецким адресатам и собеседникам: так, речь «Европа и ее иммигранты» была произнесена им по поводу вручения государственной пермии земли Северный Рейн-Вестфалия в Петерсберге близ Бонна, а «речь в защиту политики постепенной интеграции», где как раз и сказано, что «политика Европы в тупике», легла в основу его беседы с германским министром иностранных дел Франком Вальтером Штайнмайером.

ми смыслами). Из открывающих книгу «портретов» всего один, и не самый большой, посвящен представителю немецкой культуры — Вольфгангу Абендроту[1]. Американцы Ричард Рорти и Рональд Дворкин, француз Жак Деррида занимают его ничуть не меньше. Хотя бы потому, что они — участники и создатели одного и того же, общезападного дискурса (и уже это свидетельствует о том, что все линии разделения, проходящие через западный мир, для него — вторичны).

Так вот, вы не поверите: он и теперь оптимист.

Он до сих пор верит в то, что усилия интеллектуалов[2] (и вообще, правильно организованная общая добрая воля) способны что-то спасти. Ну, например — «дело Европы» или, попросту, общий всем европейцам ценностный фундамент. Не говоря уже о том, что верит он и в самое возможность существования такого фундамента — сегодня это куда труднее, чем двадцать лет назад.

Вообще любопытно, как можно сочетать в себе оптимиста и жесткого диагноста. Оказывается, можно.

А диагност он жесткий — до прямолинейности. Судьбы дорогого ему проекта он оценивает категорично: «Политика Европы в тупике». «Расколотость Запада», в первом сборнике едва обозначенная, ко времени выхода третьего не только не была преодолена — она стала еще отчетливее; выявились новые «конфликты и напряжения, с которыми больше невозможно было справиться в до тех пор принятом стиле» (а нового стиля, однако, не изобрели). Хуже того, для преодоления расколов не были сделаны, обращает внимание Хабермас, даже те шаги, которые, казалось бы, напрашивались. «Запутанная европейская ситуация» так и не была улажена Лиссабонским договором; проект общей конституции потерпел крах. Не говоря уже о том, что Европа до сих пор не смогла найти адекватных ответов на внешние вызовы. Чуть выше Хабермас прямо говорит о «неспособности европейцев выступать сплоченными во внешнем измерении».

Очень коротко говоря, ответ Хабермаса на коренной вопрос о действенности классических западных ценностей таков: да, они по-прежнему хороши, надежны и действенны. Это мы, утверждает он, — сегодняшние европейцы, — им не соответствуем: не стараемся, не умеем соответствовать. Не выстраиваем себя последовательно в их духе и свете и плохо используем те социальные механизмы (например, ту же прессу или Европарламент[1]), которые у нас уже есть — и это притом что возможности их использования лежат, казалось бы, на поверхности[2]. Мы утратили со своими ценностными основаниями постоянный, именно повседневными усилиями возобновляемый контакт, а вместе с тем вследствие этого — и собственную цельность.

«Давайте признаем, — говорил он еще в 2001 году, — что Запад предстает как социум, фактически утративший собственное нормативное ядро» (Расколотый Запад). За миновавшие с тех пор десять с лишним лет, судя по высказываниям самого автора, Запад его так и не обрел — и не слишком похоже на то, что искал.

Чего тут не происходит — это пересмотра и проблематизации самого проекта (критикуется лишь качество его исполнения) и особенно его оснований, проверки их на реалистичность (и постановок вопроса вроде, например, следующей: что в людях, кроме косности, лени и недостатка дисциплины и доброй воли, побуждает их сопротивляться общеевропейским ценностям и диалогу на всех социальных уровнях?). Для Хабермаса они незыблемы, в некотором смысле абсолютны.

Да, проект западного единства в его конкретно-историческом воплощении пришел в состояние, близкое к поражению — но это, по убеждению Хабермаса, не значит, что сам проект дискредитирован и тем более — что он исчерпан. Напротив того, у него есть невостребованные еще ресурсы. Это по-прежнему — как сказал давным-давно тот же Хабермас о Модерне — «незавершенный проект»[3].

Поживем — увидим ли?

---

[1] *Вольфганг Абендрот* (1906—1985) — правовед и политолог, крупная фигура послевоенного левого социализма в Западной Германии (http://www.svom.info/entry/251-levyjne-uklonizm/?c=548).

[2] Об этом прямо свидетельствует речь, произнесенная автором при вручении ему премии имени Бруно Крайского в Венском университете 9 марта 2006 года: «Авангардистское чутье на релевантное. Роль интеллектуала и дело Европы».

[1] «Поскольку общеевропейская публичная сфера отсутствует, граждане избирают Европарламент, имея в виду ложные, то есть национальные, постановки вопросов».

[2] Национальные публичные сферы, сейчас друг от друга изолированные, «могут быть открытыми друг для друга и без глубоких изменений имеющихся инфраструктур» (Ах, Европа. С. 154). Могут — но не оказываются таковыми.

[3] Так называлась его статья, переведенная у нас 20 лет назад: *Хабермас Ю.* Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. — 1992. — № 4. — С. 40–53.

Вадим Щербаков

Уроки демократии

Что слово на театре не главное смыслообразующее средство — истина старая, никем не оспариваемая. История же сценического искусства пишется, конечно, словами. Это тоже аксиома. Однако книга Владимира Колязина, посвященная судьбе берлинского «Шаубюне» того периода, когда им руководил Петер Штайн, решительно не желает считаться с таким положением дел. Она напечатана на толстой глянцевой бумаге и изобилует прекрасными цветными иллюстрациями. Зримые образы спектаклей «Шаубюне», лица собеседников автора книги врываются в сознание читателя со своим сопричастным театру комментарием и обладают собственным мощным голосом. Конечно, любой историк сценического искусства помнит, что театральная книжка без картинок должна считаться халтурой, но на фоне нашей очень скромной театроведческой печатной продукции эта полиграфическая роскошь выглядит ошеломляюще.

Однако основной корпус книги все-таки привычно состоит из слов. Часто несущих серьезный информативный заряд. Иногда — потрясающе точных. А нередко и просто буксующих на одном месте, досадно повторяющих сюжеты и определения. Тут впору бы вспомнить про некстати умерший институт редактуры, но не хочется отвлекаться на грустные материи.

Текст составлен из бесед автора книги с основателями и «первыми сюжетами» «Шаубюне» того легендарного периода, когда он был бесспорно лучшим театром немецкоязычного пространства и одним из самых заметных в Западной Европе. Из ответов на последовательные и подробные (даже дотошные!) вопросы хорошо знающего предмет интервьюера складывается ясная, объемная картина творческого пути этого беспрецедентно долго (для Германии) существовавшего ансамбля ярких индивидуальностей.

Когда-то В.И.Немирович-Данченко, размышляя о возникновении МХТ, сравнил его с рождением чуда. Действительно, можно выявить и проанализировать все предпосылки, объяснить подоплеку стечения многообразных обстоятельств, но до конца постичь природу импульса, который заставляет очень разных художников соединить свои голоса в гармонизованную симфонию, невозможно. Участники дела предлагают свои «правды», историк выдвигает версии, а категория чудесного, необъяснимого все равно просится на язык!

Итак, в тихом пролетарском районе Западного Берлина — Кройцберге, в мало подходящем для театра неприглядном здании родилось в 1970 году чудо. Помимо метафизики, впрочем, осуществлению идеи нового театра поспособствовал ряд вполне умопостигаемых факторов. Непременно стоит назвать их, ведь этот перечень содержит код, программу такого рода явлений. Я бы даже сказал — полный набор необходимых условий для рождения чуда.

В «Шаубюне» собрались «рассерженные» молодые люди — протестное поколение, которое взрослело в конце 1960-х. По сравнению с другими европейцами им было легче избегать радикальных эксцессов — их отцы потерпели поражение и не имели достаточной моральной силы для противостояния. Да, их изгнали из политизированного Мюнхена и спокойного бюргерского Цюриха за поддержку Вьетконга — на представлениях поставленного Штайном «Дискурса о Вьетнаме» был организован сбор средств на покупку оружия для борьбы с американским империализмом в Индокитае. Но ведь не посадили, не запретили работать в театре, выходить к публике! Первым спектаклем «Шаубюне» стала брехтовская пьеса по роману Горького «Мать», в которую автором вставлен патетический «Гимн коммунизму». И власти Западного Берлина не посмели ничего с этим поделать. Наоборот, мастерски использовали как демонстрацию истинной свободы творчества при демократии — в назидание гэдээровцам прежде всего.

Владимир Колязин. Петер Штайн. Судьба одного театра: В 2 кн. — М.: Дорошев: РОССПЭН, 2012.

То есть совпали время (смена поколений, активизация общественного протеста) и место — витрина капиталистической демократии посреди советской оккупационной зоны. Конечно, это отчасти уникальное стечение обстоятельств, но параллель, скажем, с рождением и первыми годами существования МХТ явно просматривается. Наш великий театр тоже возник не в чиновной столице, поддерживался вполне фрондерским капиталом и склонен был если не к открытому политическому протесту, то уж к защите угнетенных совершенно отчетливо.

Не то важно, что создатели «Шаубюне» отдали дань левацким загибам. Их увлечение политикой выросло из стремления к наиболее полнокровной свободе. Им казалось, что власти и пресса замалчивают правду о войне во Вьетнаме — они впускали ее в свое искусство. Эти ребята были (и судя по книге Колязина, остались до сих пор) настоящими демократами. Может быть, поэтому им удалось успешно реализовать самую коллективистскую модель театра, какую только можно себе представить.

«Шаубюне» существовал на основе принципа «соопределения». Это означало, что все вопросы жизни театра решались голосованием общего собрания. С учетом энтузиазма, свойственного молодости, легко понять, как приходили к демократическому консенсусу относительно усредненной и равной для всего творческого состава зарплаты. С некоторым скрипом понимаешь, что и по поводу того, что ставить в следующем сезоне, голосование может быть дельным. Но представить себе актеров, вотирующих распределение ролей я лично никак не могу! Видимо, художественное руководство «Шаубюне» действительно умело и не ленилось убеждать, а его лицедеи оказались способны переживать не только за себя, но и сознательно участвовать в общем деле...

Идеал демократии (самым естественным образом!) оказался для труппы «Шаубюне» почти полностью слитен с их ощущением природы сценического искусства. Демократия по Штайну — это доверие к жизни и способность не бояться видеть ситуацию объемно, в единстве всех ее противоречивых крайностей. И только потом — ответственность.

Непривычность формулировки разъясняется в сопоставлении с концепцией идеального театра, который должен рождаться из столкновения одновременно присутствующих в пространстве спектакля разнообразных точек зрения. По мере творческого роста «Шаубюне» все менее стремился занять единственную позицию, указать зрителю на окончательную правду. Убеждения героев его сценических творений пребывали в непредвзятой соревновательности, вовлекая зрителя в диалог с ними, предлагая ему самостоятельно размышлять и делать выбор.

Теперь Штайн говорит об этом так: «Мне нравится, когда на сцене в неком состязании дружбы-вражды, любви-ненависти сходятся две позиции, ни одна из которых не имеет монополии на правду. А потом из их противостояния возникает нечто третье, верное, что несет на себе отсвет истины. На пути понимания — даже если ты человек большого ума и горячего сердца — нельзя не войти в лабиринт сомнений и смятения. И когда все это есть в театре, театр сам по себе становится важным инструментом познания. Если же мне на выбор преподносится на блюдечке два или три уже готовых, пусть даже остроумно обоснованных утверждения, — это жвачка, интеллектуальный попкорн. Уж лучше я улягусь дома на диван и уставлюсь в телевизор».

Новый театр никогда не рождается в существующих институциях. Отрицая практику наличествующего искусства, он создает иную организационную модель. «Шаубюне» не мог возникнуть внутри системы немецких государственных театров, хотя она вовсе неплоха. Его создателям потребовались иные темпы работы над спектаклем — не месяц, а год или даже больше, если материал того требует. Именно поэтому они сотворили такой странный гибрид частно-государственного партнерства, в котором собственник обладает равным с остальными правом голоса, власти же и вовсе ни во что не вмешиваются, исправно снабжая при этом театр дотациями. Тут опять-таки сыграла свою роль уникальность ситуации Западного Берлина. Однако такого рода факторы почему-то всегда находятся. Разве не уникальной была ситуация Гротовского, который спокойно мог заниматься в никому не нужном Театре 13 рядов чем хотел, откупаясь от властей наличием в коллективе первичной партийной организации?

Общественный протест и активная неудовлетворенность положением дел в современном искусстве чрезвычайно важны для движения вперед. Новый театр делали люди, которые отдавали себе отчет, что их творчество не сможет исправить мир, но твердо верили в способность театра менять к лучшему свою публику. Постоянно совершенствуясь сами, они стремились заставить зрителя прочувствовать основные противоречия своей

жизни, включиться в плодотворные размышления о парадоксах человеческого бытия.

Чтобы добиться этого — мало было одного протеста. Основу продолжительного успеха «Шаубюне» составила вера его создателей в могучую силу театральной традиции — национальной и мировой. Сценическое искусство приобретает объем, когда современность вступает в диалог с историей, с вековым опытом поиска художественной правды. С удовольствием процитирую по этому поводу слова Петера Штайна из рецензируемой книги: «Осмысление собственной традиции, генетическая память о ней — вот что делает театр интересным».

История двадцатилетнего существования «Шаубюне» под звездою Штайна, слегка затронутая мною в этом конспективном анализе, в книге Владимира Колязина явлена в полноте и во многих забавных и поучительных подробностях. Весьма нетипичный для Запада опыт длительного существования единого творческого ансамбля, который убежденно сохраняет верность своему *credo*, своим методам работы, не замыкаясь в то же время на одном режиссерском почерке, определенно заслуживает внимания любознательного читателя.

У этой книги два взаимодополняющих и раскрывающих друг друга героя — театр и его кормчий, «Шаубюне» и Петер Штайн. Сей колючий господин частенько вполне «докторально» поучает своего русского собеседника, воспитанного тоталитарным обществом. А заодно, разумеется, и нас. Читать некоторые его сентенции порой обидно. Однако горечь этих моментов с лихвой искупается содержательностью большей части слов в семи диалогах Колязина со Штайном.

Прежде всего хочется выделить подход режиссера к постановке классики. Называя себя интерпретатором, а не «творцом миров», Штайн утверждает, что его вдохновляет полнота классического произведения. Он вчитывается в словесную ткань пьесы, разбирает авторскую конструкцию развертывания действия, изучает исторический контекст создания драмы. Во времена «Шаубюне» в этот процесс активно втягивались актеры. Они готовили рефераты, делали доклады на темы, связанные с эпохой, ее искусством и культурой, борьбой идей, в которую был вовлечен драматург. Из этих знаний, полагает Штайн, создавалась питательная среда для творчества, первый слой понимания произведения.

А дальше включался принцип чтения сегодняшними глазами.

Как убедительны слова Штайна о том, что современность старой истории достигается в театре вовсе не модернизацией антуража! Персонажи Эсхила или Чехова могут выйти на подмостки в нынешней военной форме, питаться гамбургерами и пить кока-колу, а со сцены будет все равно веять протухшей мертвечиной. А «почему бы сегодня не взять классические пьесы и не поставить их так, — задает такому театру свой вопрос Штайн, — как будто они только что написаны?».

То есть дело вовсе не в переносе действия классического произведения в современность, а в желании и умении понять, почувствовать живой смысл давно написанных слов. Увидеть, что эти диалоги и ситуации открывают нам — сегодняшним — в существе переживаемых сейчас идей и противоречий!

Некстати, по аналогии помянутый в книге мейерхольдовский «Лес» представляется мне в таком контексте очень убедительным примером. В обыденном театральном сознании спектакль этот стал манифестом режиссерского своеволия, непочтительного обращения с автором. На его опыт часто ссылаются нынешние «борцы с рутиной» в наших Палестинах. Между тем он был как раз очень яркой попыткой чтения текста Островского из 1924 года. Мейерхольд не менял время действия, быт поместья «Пеньки» принадлежал XIX веку. Но молодежь эпохи НЭПа легко принимала превращение бесполезной воспитанницы-приживалки Аксюши в домашнюю работницу, которой именно труд давал право на бунт против «самодержавия» барыни Гурмыжской. Так же рождались и многие другие открытия этого вольнолюбивого представления — или, по определению Павла Маркова, «шекспирова театра российской современности».

Впрочем, текст Островского Мейерхольд все-таки перемонтировал в новую динамичную драматургическую структуру из 33 эпизодов. Сейчас от такого вмешательства в ткань пьесы Штайн, кажется, далек. Но среди художественных побед «Шаубюне» были и урезанный ибсеновский «Пер Гюнт», и переписанные вместе с Бото Штраусом горьковские «Дачники». В 1970-е годы Штайн прибегал к подобным усекновениям ради выявления главных смыслов драмы, сейчас же он склонен добиваться современности звучания, по возможности ничего не меняя в структуре текста.

Особая тема в творческой судьбе Штайна (а значит, и в книге) — Россия, русские авторы, наши актеры, история и нынешнее состояние русской сцены. Военный ребенок естественно не испытывал ни-

какой симпатии к «варварам с Востока». Юный протестант не мог выбрать верного политического пути между ленинизмом и маоизмом. Повзрослевший демократ пришел в ужас от устройства жизни в Советском Союзе. Он начал тогда репетировать «Дачников», расценивая этот опыт как первые подступы к драматургии Чехова. И решил познакомиться с русским пейзажем. Кроме такового, ему, пожалуй, мало что понравилось во время той туристической поездки.

В 1989 году состоялись триумфальные гастроли «Шаубюне» в Москве — на сцене Художественного театра сыграли штайновских «Трех сестер».

Режиссер вспоминает: «...спектакль закончился, а люди в зале сидят молча и не аплодируют... Я не знал, что делать... и через пару минут дал команду открывать занавес. Занавес открыли, мы молча стояли на сцене, а зрители молча сидели в зале... я попросил дать в зал свет. И тогда увидел, что люди в зале потрясены увиденным. Многие плакали. Мы опять закрыли занавес, а когда открыли, разразилась буря аплодисментов, которая продолжалась очень-очень долго».

В этом спектакле действительно произошло чудо соединения опыта первой постановки пьесы с открытиями современного театра. Штайн тщательно изучил переписку Чехова со Станиславским, проштудировал режиссерский экземпляр, принял и почти буквально воспроизвел его пространственные решения, сохранил многие ключевые мизансцены. И сыграл по этой партитуре свою собственную вариацию, которая оказалась более жесткой, менее бытовой, порой уходящей в символ и даже в абстракцию.

Читая в книге Колязина места, посвященные Чехову, трудно удержаться от разочарования. Штайн прямо повторяет Немировича-Данченко — смысл «Трех сестер» составляет «тоска по лучшей жизни»; справедливое замечание о важности для сценического воплощения Чехова сосуществующих пространств, в которых жизнь течет одновременно на разных планах, — тоже оказывается трактовкой открытий Станиславского и мейерхольдовской постановки «Вишневого сада»... Следует, видимо, признать, что тут слова Штайна оказываются мельче его режиссерской работы.

Впрочем, отечественным театральным критикам, переутомленным Чеховым и требующим ввести на несколько лет мораторий на его постановки, стоило бы прочесть кое-что из этой книги. Ну например: «...в немецком театре существует твердое убеждение, — рассказывает Штайн, — что каждый режиссер, профессионально занимающийся драматическим искусством, в какой-то момент должен обязательно поставить Чехова. Чеховские постановки для серьезного театра — мерило качества. Чехова нужно ставить регулярно, каждые пять-шесть лет, хотя бы по соображениям нравственного здоровья».

После тех гастролей начались «русские проекты» Штайна — «Орестея» (1994), «Гамлет» (1998). Он и сейчас готов ставить в России, ценит работу с нашими актерами, которые способны от спектакля к спектаклю наращивать силу своих творений.

Буквально выдавленный критикой из немецкоязычного театра режиссер живет теперь в Италии. В Риме у него квартира, в Умбрии — поместье, где производится оливковое масло. То есть ничего похожего на российские реалии. Тем удивительнее мне было обнаружить на страницах книги, что Штайн буквально снимает у меня с языка одну из тем, на которую я размышлял в последнее время.

Современное искусство на наших глазах все больше и все стремительнее превращается в дизайн. По Штайну, это происходит в результате забвения традиции, утраты повседневной заботы о прочности связующей времена нити. Так «...размывается само понятие культуры, — утверждает режиссер. — Оно подменяется понятием “дизайн”, “стиль”, что само по себе должно вызывать беспокойство. Люди искусства перестают заниматься собственно культурой. Они становятся ремесленниками и производят продукты “дизайна”, в то время как “дизайн” — это всего лишь “упаковка”. “Стильная” или “дизайнерская” вещь — это ни в коем случае не продукт духовности. Искусство без духовности, без поисков смысла жизни, без попытки разрешения экзистенциальных проблем человеческого бытия, не имеет абсолютно никакого смысла. Если нет стремления дать новые формулировки парадоксов нашего существования, осознать трагичность этих парадоксов и противоречий, нет и искусства».

Действительно так! И следует быть благодарным Владимиру Колязину, который скакал с диктофоном за неприступным, ненавидящим интервью Штайном по всей Европе!

Есть ли на Земле страна, где слушают своих пророков? Коли сыщутся таковые, то среди их прозваний точно не встретится имени Руси. С другой стороны — отечество наше очень уважает иностранцев. Сии посконные «парадоксы» внушают надежду, что книга о «Шаубюне» способна принести нам немалую пользу.

Михаил Тарбовский

Философия любви

Герой романа Александра Нежного «Nimbus» — «святой доктор» Фридрих Йозеф Гааз, немец и католик, процесс беатификации (приобщения к лику блаженных) которого католической церковью, начатый более десяти лет в Германии, сейчас продолжается в России, где проходила его деятельность. Трудность отображения такой личности в романной форме состоит прежде всего в отыскании драматического противоречия характера, которое служит пружиной действия. Светящийся добротой и состраданием к людям образ, казалось бы, не дает красок для сюжета, и всего необходимого для контрапункта. Но автор справляется с этой задачей, показывая одиночество праведника, его противостояние миру, которому чужды идеи подлинного христианства.

Вот один из ключевых эпизодов романа, когда доктор на заседании тюремного комитета кричит в отчаянии:

«— Но он же невиновен! (речь об одном из главных героев произведения. — *М.Т.*)

Его высокопреосвященство положил очки в футляр, поднялся и холодными очами взглянул на Гааза.

— Подвергнут каре — значит, виновен.

Федор Петрович вскочил столь поспешно и нервно, что отброшенный им стул с грохотом повалился на пол. Новый, раздирающий крик вырвался из его груди:

— Да вы о Христе позабыли...!!

Он схватился за сердце, согнулся и тихо прибавил:

— владыко...»

Этот эпизод важен для понимания всего творчества Нежного, так или иначе посвященного едва ли не главному вопросу жизни и литературы — отношению человека к его Создателю. На этот вопрос пытается найти ответ юноша — герой первого романа писателя «Смертный час» (высоко оцененного Владимиром Тендряковым и Юрием Давыдовым), он составляет предмет размышления лирического героя в художественно-документальной повести «Бумажное дело». Поиск истины, стремление к ней, приводящее главного героя к гибели — таково, в двух словах, содержание вышедшего в 2010 году двухтомного романа «Там, где престол сатаны». Этот роман — сага о российской жизни в XX веке и вместе с тем, если хотите, вопль отчаяния, который вырвался из груди человека, осознавшего, что Русская православная церковь стала институтом сервильных услуг государству — в том числе, сотрудничая с тайной полицией. И вот — новая книга писателя, посвященная великому христианскому подвижнику XIX века. Его образ, его служение людям занимают писателя многие годы.

Я вспоминаю, как десять лет назад, теплым весенним днем 2002 года в Овальном зале библиотеки иностранной литературы, ставшей в последнее время одним из центров интеллектуальной жизни Москвы, собрались около сотни людей столь разного возраста, занятий, вероисповедания и даже гражданства, что трудно себе вообразить, какое событие могло их объединить. Здесь были католический архиепископ и православный игумен, советник посольства ФРГ и представитель тюремного ведомства России, известный московский педагог и редактор старообрядческого журнала. Я перечислил только часть тех, кто выступил в тот день. Их слушали литераторы и студенты, философы и религиозные деятели, представители интеллектуальной элиты России. И казалось, что в зале витает тень еще одного, давно умершего человека — Федора Петровича Гааза. Презентации сборника «Врата милосердия», посвященного житию этого человека и составленного и прокомментированного Александром Нежным, и было посвящено собрание, при всей хронологической отдаленности предмета обсужде-

---

Александр Нежный. Nimbus: Роман. — М.: «Центр книги Рудомино», 2012.

ния превратившееся в разговор о жгучих нравственных проблемах современности.

Кто только не писал о нем за эти полтора века. О Федоре Петровиче размышлял Достоевский, в «Былом и думах» о нем говорил Герцен. Прекрасный биографический очерк о Гаазе принадлежит перу выдающегося русского юриста и знатока отечественной словесности Анатолия Федоровича Кони. В последние десятилетия жизни и судьбе Гааза были посвящены повести Льва Копелева, Михаила Вострышева, Вардвана Варжапетяна и других литераторов, историков и медиков. Многие из них полностью или частично вошли в сборник «Врата милосердия».

Мне тогда запомнилось выступление Нежного, в котором, как теперь кажется, был предопределен замысел будущего романа. «В каждом человеке, — говорил писатель, — доктор Гааз видел лик Божий. Но как мало мы усвоили из его уроков. Мы по-прежнему безжалостны. По-прежнему власть смотрит на человека мертвыми глазами гоголевского Вия».

Роман Александра Нежного — если сравнивать его с другими произведениями, посвященными «святому доктору», — отличается от них сочетанием исторической точности, просматривающейся в мелочах, подробностях, деталях вроде фонтана на Лубянской площади, будки стражника на углу Покровки и Чистых прудов с курами в ее дворе и развешенным на веревке бельем, свадебного старичка-генерала, в сильном подпитии борющегося с дремотой в проезжающей по Тверской коляске, и вымысла, ни в коей мере не прегрешающего против достоверности былого, но придающего сюжету остроту, занимательность и художественную глубину.

Одна из самых трудных задач литературы — образ во всех отношениях положительного героя. Александр Нежный рисует Гааза. Перед нами — живой, глубоко мыслящий, страдающий и со-страдающий человек, обреченный на экзистенциальное одиночество, — как обречен этому одиночеству святой человек в нашем жестоком и несправедливом мире. "Мое личное мнение таково, — с печалью произнес Гааз, — что всякий истязуемый в некотором смысле есть Христос". Говорил он нечто подобное? Нет? Но какое, в самом деле, это имеет значение, если вложенные писателем в его уста слова как нельзя более отвечают высокому смыслу всего, во что он верил и чему служил? Здесь перед нами — с блеском написанное Нежным заседание Московского попечительного о тюрьмах комитета, где наряду с его председателем, митрополитом Филаретом (Дроздовым), изображенным автором с несомненной теплотой и чуть заметной усмешкой, уверенной рукой выведены другие действующие в заседании лица: лицемер и казнокрад Валентин Михайлович Золотников, обладатель ледяного сердца Карл Иванович Розенкирх, присланный генерал-губернатором полковник, ростом, выправкой, голубыми навыкат глазами весьма напоминающий Николая I, секретарь комитета Алексей Григорьевич Померанский, молодой и, надо признать, весьма легкомысленный человек, который, однако, слушая и наблюдая Гааза, мало-помалу приходит к размышлениям и о смысле жизни, и об участи посланного в этот мир праведника. «Но сейчас, глядя на Федора Петровича, который был ужасно, непередаваемо одинок в этой зале, одинок не одиночеством чужестранца, человека вдали от Отечества, немца среди русских — вовсе нет! немец Розенкирх среди наших русаков, как рыба в воде, а Гааз и в Германии был бы одинок; отчего? — он испытал какое-то непонятное, неведомое прежде стеснение сердца. Ничего бы он так не желал в сей миг, как возможности подойти к Федору Петровичу, пожать ему руку, ту руку, которая бесстрашно поднялась в защиту растоптанного человека, и промолвить как лучшему из друзей: "Не печальтесь! Мир всегда гнал святых"».

«Nimbus» охватывает несколько последних дней Федора Петровича и всю — или почти всю — его жизнь. Напряженность сюжету придает история студента, девятнадцатилетнего Сергея Гаврилова, идущего по этапу на каторгу из-за ложного обвинения в убийстве, оставленного доктором Гаазом в больнице пересыльного замка на Воробьевых горах и в грозу едва не утонувшего при побеге в Москва-реке. Он любит и любим — и страдает от невозможности быть с любимой, от невозможности добиться правды... Это, само собой, вымысел — но настолько соприродный тому, что действительно было, есть и — увы — наверное, и будет, что в контексте судьбы России и жизни Гааза воспринимается как нечто, несомненно бывшее. Гавриловым роман начинается — он, едва живой, приходит с этапом в пересыльный замок, видит полные сострадания и боли глаза склонившегося над ним доктора и его глаза, «с переполнявшим их выражением великого сострадания и боли», — и завершается. Уже свободный — во многом благодаря усилиям Гааза — вместе со своей невестой он приходит на Немецкое кладбище, где

опускают в могилу гроб с телом праведника. Немца, любившего Россию и служившего ее народу. В романе Федор Петрович говорит любознательному и наблюдательному французскому путешественнику, в котором угадывается маркиз де Кюстин: «Мне кажется, нет другого народа, который бы так страдал... Я родился перевязать его раны».

С легкой руки Кони жизнь Фридриха Йозефа Гааза известна нам достаточно хорошо. Молодым медиком он приехал в Москву, обзавелся практикой, разбогател — и в 1853 году, семидесяти трех лет от роду скончался и был похоронен на казенный счет. Бесконечное милосердие поглотило все его состояние.

В современной ему России на законном основании помещик мог отправить в ссылку не угодившего ему крепостного. Жена уходила вслед за мужем, но их детей владелец крепостных душ волен был оставить себе. В романе Гааз приезжает к одному такому помещику, являющему собой тип человека, у которого чувство национального достоинства выродилось в отвратительный национализм, православие — в религию исключительного превосходства, уважение к «древним камням» Европы — во враждебно-пренебрежительное отношение к ней. Минуло с тех пор полтора века — но какие до боли знакомые нам черты! Или это неистребимо в нас — «Третий Рим», народ-богоносец, свет миру и вся прочая дребедень, не имеющая ничего общего с христианством и сколько уже времени лишь мешающая нам устроить в России достойную жизнь? Федор Петрович в буквальном смысле *выкупает* у Воронцова двух дочерей и сына осужденного крепостного — с тем, чтобы они могли уйти в ссылку вместе с отцом и матерью. Воронцов торгуется, нахваливает красоту девочек и сообразительность мальчика, набивает им цену — но, в конце концов, одолеваемый жадностью принимает предложенные Гаазом деньги. «О, как бы Федор Петрович желал бы высказать этому господину все, что за многие годы он передумал о России, ее судьбе и горестной участи ее народа! Он чувствовал за собой это право, ибо давно уже стал частью России, ее сыном, родным пусть не по плоти, но уж совершенно точно — по духу, что гораздо важнее. Ибо вот он — природный русский, господин Воронцов. Полюбуйтесь этим маленьким лживым извергом! Мучитель своих рабов, сеятель плевел, напыщенный гордец — не в нем ли, не в таких ли, как он, заключено несчастье этого страдающего и многотерпеливого народа?»

Неустанное сражение Федора Петровича с корыстными владельцами душ и российской бюрократией — это сражение за человеческое достоинство, за милость к падшим, за признание равного для всех права на жизнь. Объявленная им и затянувшаяся на десятилетия война за отмену «прута» — длинного железного стержня, к которому попарно приковываются арестанты и ссыльные во время долгого пути в Сибирь, который неразрывно и беспощадно соединяет стариков и молодых, мужчин и женщин, преступников и невинно осужденных, лишая их и минуты на уединение во сне и наяву, даже при отправлении естественных нужд, — эта война, где он выступал один против многих, если не всех, не заставила его разочароваться в деятельной силе милосердия и добра. Умоляя о смягчении участи заключенных, о больных бедняках, которых со всей Москвы свозили в основанную им Полицейскую или, как называли ее в народе, Гаазовскую больницу, он вставал на колени перед Николаем I (в романе эта сцена в Бутырском тюремном замке написана с впечатляющей силой), перед генерал-губернатором, он призывал под свое знамя добра благотворителей, указывал на бесчеловечное обращение с арестантами, уже наказанными лишением свободы, он бил во все колокола, пробуждая общество к действительному выполнению христианских заповедей. Он изо всех сил *спешил делать добро* и призывал к этому других. Удалась ему его миссия? В самом деле — что может сделать один человек против обстоятельств, среды? «И один в поле воин», — отвечает доктор Гааз всем своим бытием. «Все минется, одна правда останется». Миновались его оппоненты и противники, все эти генералы, чиновники, церковные иерархи, а он, Гааз, остался в памяти людской, в своих делах и словах.

Роман в полной мере дает нам возможность не только ощутить философию христианской любви, но и тот накал чувств, который иногда порождает в нашем грешном мире праведников.

Художник и зритель — соучастники в искусстве и в жизни

Споры и дискуссии вокруг искусства в странах с преобладанием европейского типа культуры идут без малого полтора века. И споры эти вовсе не схоластические или умозрительные, мол, появляются на нашей планете инопланетяне или нет. Основания для столкновения взглядов дают сами художники, точнее те из них, кто создает такие произведения, которые решительно меняют еще вчера казавшиеся незыблемыми и неизменными принципы их создания и восприятия. И если импрессионисты, с котЁорых, условно говоря, и началась эпоха новаторств в европейском искусстве, покусились лишь на выбор тем и средства выразительности (то есть технику живописного письма), работая все теми же кистями и красками на тех же, что их предшественники, холстах, то уже спустя недолгое время инструментарий художников пополнился необычайно, вобрав в себя какие угодно предметы и способы их предъявления публике.

Немецкое искусство почти весь минувший век было, пожалуй, в авангарде художественных поисков — новых идей, форм, способов выразительности. Именно в Германии в 20-е годы прошлого века возникает самый, наверное, яркий вариант экспрессионизма — направления, концентрировавшего человеческие страсти и втягивавшего в них зрителей до полного самозабвения. Там же и тогда же возник и своеобразный антидот — Бертольд Брехт, попытавшийся научить зрителей не только сопереживать, но и обдумывать тут же происходящее на сцене, подразумевая, что на подмостках — некий слепок реальной жизни.

В немецкой культуре, несомненно, ярче, чем у соседей по планете, проявлялась внутренняя конфликтность, открытое противопоставление позиций, порождающее парадоксы, но и дающее возможность рефлексии, как основы саморазвития. Один из таких парадоксов выразился в том, что в Германии по замыслу фашистских идеологов в 1937 году была организована по принципу «от противного» выставка «Дегенеративное искусство» (нем. Entartete Kunst), призванная оттенить главную официозную «Большую немецкую художественную выставку». Замысел не только провалился, но дал противоположные результаты — выставку до апреля 1941 года посетило 3 миллиона жителей 12 городов Германии, а имена ее авторов оказались вовсе не прокляты или высмеяны, а вписаны в золотой фонд мирового искусства.

Принципы нестандартных художественных решений присущи и нынешним молодым немецким художникам. В год Германии в России вполне уместно познакомить читателей «Дружбы народов» с творчеством молодого немецкого художника Кима Асендорфа (Kim Asendorf).

Направление, к которому относит себя этот художник, именуется generative art и содержит в своей основе принцип самопорождения. Он сопоставим с генератором случайных чисел, только в роли чисел выступают создаваемые художником искусственные ситуации, которые разрешаются людьми, ставшими их случайными и вольными/невольными участниками по-разному — соответствуя заданному алгоритму или нарушая его.

Стоит заметить, что идея зрительского соучастия в создании художественного произведения трансформировалась в современном искусстве самым причудливым образом, порождая различные формы интерактивности и выбора тактики участия/неучастия. Художник же своими действиями берет на себя нередко роль провокатора.

Сам Ким Асендорф признает созвучным своему творческому статусу такое речение австралийского ученого Алана Снайдера (Prof. Allan Snyder): «Творчество это акт бунта по определению. Ты должен быть откровенным диверсантом, чтобы нарушать правила и противостоять общепринятой точке зрения, не так ли? И если каждый принимает то, что ты делаешь тогда, когда ты это делаешь, — то ты безусловно не на передовой и делаешь что-то, находящееся в рамках системы воззрений. Если каждый принимает, то, что я делаю, это значит, что я на ложном пути».

В представленной на вкладке инсталляции «The Societywedge» («Клин, расщепляющий общество») столб, грани которого помечены словами «Opfer» (Жертва) и «Tater» (Преступник), словно клин (wedge) разрезает людские потоки. Каждый идущий может либо просто не заметить этот столб и не прочитать нанесенные на него надписи и пройти мимо одной из его граней случайно, либо так или иначе изменить траекторию своего движения, отнеся себя к той или иной категории.

Затем движущийся поток вновь смыкается. Но возникавшая ситуация пусть на несколько мгновений «намагничивает» людской поток и, таким образом, «работает», достигая целей, поставленных перед собой художником.

Эту инсталляцию могли видеть в этом году посетители московской «Random Gallery» среди работ других представителей generative art.

Идея вариативности развития, когда каждый следующий шаг и этап обусловлены действиями разных участников движения, созвучна девизу Года Германии в России: «Германия и Россия: вместе строим будущее», в рамках которого в пятидесяти города России проводятся около тысячи мероприятий по шести центральным темам: жизнь в Германии; современная культура; город и окружающая среда; общество, экономика, политика; образование и наука; общая история.

Юрий ПОДПОРЕНКО

Ким Асендорф

1981 — родился в местечке Ахим возле Бремена.

1999 — получил образование электрика в концерне «Даймлер». Затем учился 4 семестра по информатике в Техническом университете Бремена.

2006–2011 — учеба в Школе искусства и дизайна в г. Кассель.

С 2008 г. участник многочисленных выставок современного искусства в Цюрихе, Касселе, Москве, Лондоне, Амстердаме, Чикаго и других городах.



Ким Асендорф

КЛИН, РАСЩЕПЛЯЮЩИЙ ОБЩЕСТВО



Ким Асендорф КЛИН, РАСЩЕПЛЯЮЩИЙ ОБЩЕСТВО



Ким Асендорф КЛИН, РАСЩЕПЛЯЮЩИЙ ОБЩЕСТВО



Ким Асендорф

КЛИН, РАСЩЕПЛЯЮЩИЙ ОБЩЕСТВО

Как по-немецки «офигеть»?

Рубрику ведет Лев Аннинский

Кажется, в немецком сознании из всех возможных символов сейчас превалируют два: Стена и Башня.

Башня — символ тысячелетний. «Это синоним организованного отступления, сопротивления, особой позиции, но также и синоним смешения языков, подобного тому, что произошло при строительстве Вавилонской башни. Ведь ГДР была, помимо прочего, и Вавилоном: государством, в котором люди перестали понимать друг друга».

Это определение я беру из романа Уве Телькампа «Башня» — главы опубликованы в журнале «Иностранная литература» в №10 за 2009 год. А весь номер журнала посвящен двадцатилетию падения Стены, этого символа расколотого германского государства (и народа) со времени, когда расколотость ознаменовала итоги Второй мировой войны, — и до конца 80-х, когда слом Стены обозначил воссоединение германского государства (и народа) при начале совершенно нового (неведомого еще?) этапа истории. Не только истории Германии, но, учитывая ее вес, — истории всей Европы. А учитывая вес Европы — то всего мира.

Так что Стена — далеко не частная деталь мироздания в XX веке.

Вот как, оборачиваясь на это исчезнувшее 20 лет назад повторение Вавилонского чудища, описывает его Райгхард Йиргль, прозаик, родившийся в год смерти Сталина, за семь лет до того, как Стена при Хрущеве окаменела, то есть реализовалась в камне.

«Строительство в Берлине охраняемой, сооруженной в виде стены границы — прообраз блокады и селекции в этнополитическом смысле — неизбежно должно было свершиться после Второй мировой войны, и отнюдь не только по причине непосредственно столкнувшихся здесь политических систем. Этот город, можно сказать, окончательно созрел для такого рода конструкта (который образует точку пересечения между прошлым и будущим), когда Берлин, представитель продуктивности и функциональности немецкого фашизма, застыл после военного поражения оного в суперзнак своей собственной истории».

Фашизм застыл как знак совершившейся истории. Теперь, кажется, и коммунизм застыл? Значит, дело уже не в политическом, военном и послевоенном противостоянии, а в селекции какого-то нового типа, и селекция эта имеет свои причины?

«Что же касается реальных критериев экономики, политики и военной мощи, то в этом смысле Берлинская стена была абсолютно бесполезной, т.е. бессмысленной. Вследствие Второй мировой войны, во время так называемой "холодной" войны, Третьей мировой войны (Бодрийяр), уже после того, как был утрачен Другой — т. е. настоящий враг, — ее единственная роль состояла в формировании и сохранении особого рода удвоенности (рассматриваемой с точки зрения как капиталистического, так и социалистического операционного поля): двойственной реальности обеих систем».

А эта удвоенность — не возникает ли после крушения Стены и всей воздвигшей ее реальности: как черта новой реальности с ее новыми законами? Тогда в чем она?

«Берлинская стена стала первым проявлением нового, позднеевропейского демонтажа всех общественных отношений и, кроме того, всякой политической экономии — ведь в тени Стены по обе стороны процветали зависимые друг от друга знаковые системы, власть которых, соответственно, состояла в усилении дискурсивного моделирования специально придуманных потребностей. Причем всегда за счет

другого, что нельзя назвать пропагандой, но что создало на основе двусторонней зависимости симптоматических групп абстрактный образ: третью Германию».

Насчет придуманных потребностей — в другой раз, а вот третья Германия — это как раз то, о чем задумываешься, читая Йиргля. А что, только немцы почувствовали приход «третьей» модели? Только ли Германия расчленилась в послевоенную эпоху, когда воевавшие армии укрылись от призрака атомной войны? А нынешняя Россия — не «третья» ли страна, которую мы пытаемся собрать на обломках развалившегося Советского Союза, собравшегося перед тем на обломках развалившейся царской империи?

Так может, и вариантов освещения этого вопроса должно быть не два (свет — тьма), а больше?

Поиск чего-то третьего между черным и белым уводит в серый, в сопротивление серому цвету, отжимающему все другие цвета.

Вот как выражает это поэт Дурс Грюнбайн, родившийся одновременно со Стеной (стихотворение называется «Советская зона оккупации», перевод Алексея Прокопьева):

> ...Таковы просторы в сжатом пространстве. По утрам все серо.
> И в мозг от сетчатки — мыслей туманные пенки.
> Родиться? Скорее, укрыться от страшной химеры.
> Кто хочет во льдах жить? Ну, чукчи, быть может, эвенки?

Чукчи и эвенки — это мы?

Из нашей оккупационной серятины пейзаж Западного Берлина кажется сказочно ярким, особенно при пересечении границы, то есть при проникновении сквозь Стену. Вот ощущение одного такого транс-путника, тем более острое, что он, Леонид Гиршович, вырвался на свет из такого темно-серого царства, как СССР:

«По дороге я сделал маленькое открытие, которое отстаивать не имеет смысла, если с ним кто-то не согласится. Чем западный город отличается от своего несчастного собрата по ту стороны Берлинской стены (и далее) — если темно и все кошки все равно серы? В этом не отдаешь себе отчета, но отличается он отблеском полировки на машинах: марки автомобилей в темноте не так бросаются в глаза, только повсеместное мерцание — иное, чем на Востоке».

На Востоке все темно или серо, на Западе все сверкает или, по крайней мере мерцает. Наверное, поэтому всем должно туда хотеться...

Народ отвечает на это анекдотом. Эрих Хонеккер возвращается из поездки в Бонн; Берлин пуст, хотя необычно ярко освещен, видимо, в пику мерцающему Западу. По яркому пустынному Восточному Берлину Хонеккер доезжает до Стены, видит пролом и записку: «Мы все ушли, ты последний. Уходя, выключи свет». Приведено у Томаса Розенлехера в эссе «Почему я проспал 9 ноября» (в этот день нынешняя Германия празднует слом Стены).

Между прочим, Йиргль в 1989 году тоже чуть не «проспал» событие: был занят как театральный осветитель на спектакле «Три сестры», который давала гастролировавшая в ГДР труппа МХАТа. Во время антракта в буфет не пошел: надо было что-то поправить с софитами. И тут в аппаратную заходит... Иван.

Что за Иван, я из очерка не понял, наверное, сотрудник советской труппы, но с удовольствием цитирую великолепное описание, к котором сохраняю стилистику:

«В аппаратную заходит Иван, тяжело опускает мне руку на плечо и говорит на ломаном немецком что-то вроде: — Вишь: щас можешь и ты <...!> на-Запад. — Что эту-новость <...!> мне сначала сообщил русский, в этом я и по сей день вижу особый юмор».

Юмор юмором, но ситуация-то была небезопасна.

Возвращаюсь к воспоминаниям Розенлехера, который отнюдь не проспал событий 1998 года, а участвовал в шествиях под видом конформиста, бормочущего под нос: «Офигеть...» Чем это могло обернуться? Как должна была вести себя тоталитарная система, если это в самом деле тоталитарная система? У всех в близкой памяти Пекин, где протестное шествие подавили танками. Могло быть такое и в Берлине.

«По дороге в город мы проезжали мимо подчеркнуто незаметных, спрятанных в кустах машин цвета хаки. И разумеется, потребовалось бы всего несколько танков, чтобы смести нас с улицы».

Не потребовалось: остались танки в кустах.

Очнувшаяся демократия выходит из кустов и начинает самоосуществляться.

Для начала — встречными курсами. Демонстранты перекаются друг с другом, выстраиваясь «стенка на стенку».

Стена созерцает эти орущие стенки с железобетонным спокойствием.

После первых пререканий (продолжает Розенлехер) между демонстрантами, скандирующими «Мы-хотим-прочь-отсюда!», и пришедшими сюда же другими митингующими (уже под лозунгом «Мы-остаемся-здесь!») обе группы вырабатывают нечто вроде общей позиции: «Держитесь-от-нас-подальше!».

Сначала подальше, а потом и поближе, под общим лозунгом: «Пусть только попробуют нас задержать!».

Задерживать — пришлось, но не этих восточных берлинцев, едва выработавших свой животрепещущий консенсус. Задерживать пришлось берлинцев западных, неожиданно хлынувших на поле боя.

Цитирую опять Йиргля, сохраняя особенности его авангардной грамматики:

«Проезжая часть и тротуары без различия заполнены потоками людей, по краям магазинчики фруктов&овощей: со своими тележками&лотками как бы проросшими сквозь асфальт, будто бы они=все-вместе, в полном=оснащении, с абсолютной уверенностью — как верующие во второе пришествие Мессии — с давних пор ждавшие Этого-часа "Ч", чтобы щедро о=даривать поток наводнивших улицы жителей Восточного Берлина бананами апельсинами вино=градом (киви, эти незнакомцы, лежат нетронутыми). И каждый зеленщик — дож, который в своей Венеции на праздник свадьбы-с-морем ритуально приносит в жертву волнам драгоценное кольцо, дабы те пощадили город. ?И чем же мы=восточнкики должны были оплачивать фрукты: райские кущи начинаются там, где заканчиваются деньги».

Да ничем! Если непонятно, что происходит, объясняю: западные берлинцы бросились к восточным, чтобы их накормить. Наверное, в уверенности, что восточные изголодались. Кто знает, может, те и вправду обессилели в ходе взаимных диспутов.

Возвращаюсь к Розенлехеру: он все происходящее считает чудом.

«Вдруг Запад в одночасье понял, что он тоже интересуется Востоком... И для Востока, и для Запада случилось — наконец — невозможное. И уже сама невозможность хотя бы просто перечислить, что сделало невозможное возможным, позволяет считать это событие чудом. Что такое битва в Тевтобургском лесу по сравнению с падением Берлинской стены? Что такое тевтонская резня 9 года против слов "Обнимаем вас, миллионы!" почти две тысячи лет спустя? И, напротив, в ходе немецко-немецких объятий не стала чудом внезапная утрата дара речи. Утрата, которая все же была общенемецкой. Так что мы, немцы, вновь обрели общий язык именно в форме молчания. Язык Шиллера и Гете свернулся в одно-единственное слово. Я имею в виду слово "Офигеть!"»

Ну, вот. Найти бы переводчика этого текста Андрея Чистякова (родившегося как раз в пору, когда Томас Розенлехер превратился из «деревенского тихони» в бесстрашного автора книги стихов «Снежное пиво» и прокричал полицейским: «Только попробуйте нас задержать!»), — вот и спросить бы, как это по-немецки... нет, не «Снежное пиво». А офи... прошу прощения у строгих читателей.

Ну, хорошо, со Стеной покончено. А как с Башней? Это ж символ не только соединения разных начал, но и их возможного смешения, столкновения, распада.

Никому не удалось задержать движение к единству стран и народов, располосованных мировыми войнами. Но единство все-таки проблема.

Единство Германии — необходимое условие единства Европы. Немцы — уникальный по работоспособности и организованности народ Европы, да и всего мира. Что даст миру и что потребует от мира немецкий характер? И прежде всего — что сулит он Европе, в базис единства которой ложится? А миру что сулит? Разве не немцы в истекший век дважды начинали мировые войны? И разве не превращена была Европа после Тевтобурга в поле бесконечных битв и тяжб, в ходе которых римляне отступили перед варварами, а эти последние имя перехватили: Священная Римская Империя, — добавив, что отныне она — империя германской нации? Куда денется эта неукротимая воинственность в новом тысячелетии?

Ответ на этот вопрос поразил меня своей простотой, когда я услышал его от проницательного и любимого мной публициста Сергея Караганова:

— Да ведь надоело!

Так просто, что не верится...

— Не будет Европа больше воевать! — пояснил Караганов в «Российской газете» — Не может и не собирается.

Я не могу поверить:

— Но ведь надо столько характеров переделать! И прежде всего — железного тевтона...

— А он уже переделывается, — замечает Караганов. — Создается новая Европа — Европа европейцев. Эти люди живут в разных странах, но по единым весьма удобным для человека правилам.

При словах «весьма удобным» во мне что-то комфортно замирает, но я продолжаю мысленный диалог с Карагановым, тем более, что он, по взятому им однажды правилу, напоминает о проблемах и кризисах, которые запросто могут сорвать этот интеграционно-удобный проект. Так что оптимистом Караганова можно назвать с большими оговорками.

Но мне ужасно хочется стать оптимистом. И я продолжаю донимать воображаемого собеседника вопросами на грани провокационных.

— Но ведь в прошлом — величие! Его куда деть?

— Европейцы устали от своего величия. За него заплачено поколениями, уничтоженными в войнах.

— Но ведь этими великими усилиями добывалась возможность жить лучше соседей, — не унимаюсь я. — Богатство завоевывалось.

— Это прежде так было. А в будущем Европа станет хоть и менее богатой, но конкурентоспособной.

— В каком смысле?

— У нее гигантские, не сравнимые ни с кем преимущества.

— Какие же?

— Это континент, практически справившийся с экологическими проблемами, доставшимися от прошлых столетий. И еще — огромный культурный слой, чистая природа и удивительная восстанавливающая материальная красота...

— Красота спасет мир, — пытаюсь я юркнуть в мою русскую всеотзывчивость. — Ну, и чем станет Европа, если ей удастся перестроить человеческую психологию по законам красоты?

— Она станет музеем...

— Как-как?

— ...Огромным музеем, домом отдыха для души и тела сотен миллионов людей из других регионов мира. В том числе и для россиян. Примером сверхгуманного человеческого и межгосударственного порядка. Она вся превратится в большую Венецию...

Тут что-то всплывает у меня из ближайшей памяти... Ах, да, восторг Йиргля при виде западных берлинцев, бросившихся кормить восточных берлинцев овощами и фруктами: «Каждый зеленщик — дож, который в своей Венеции...»

— Так здесь будет — Венеция?

Эксперт авторитетно подтверждает:

— Да. Европа превратится в большую Венецию.

«Офигеть!»

Summary

Russia — Germany: the New Identification.

This issue is dedicated to the Year of Germany in Russia.

Practically the whole world history of the XX century was determined by the complicated and contradictory relationships between two our countries. As a result not only the world was being changed but the self-consciousness of Russians and Germans as well. We were interested first of all in the processes which were taking place in the end of the XX — beginning of the XXI centuries and connected with the Reunification of Germany, its role in the Eurounion — and the disintegration of the USSR and attempts to create a new association of the states at the post-Soviet territory. Among the authors of this issue there are politologists, sociologists, philosophers, culturologists and surely prosaists and poets from both our countries.

German poetry of the second half of the XX century is presented by Paul Celan, Hans Magnus Enzensberger, Benedict Dirlich, Klaus Merz and others.

In the section of prose we chose to present some authors from Germany and Russia either still little known or unknown to the general public, but undoubtedly interesting. The novel «Ira, or The Paradise» by THOMAS WIEDLING is still being prepared for publishing in Germany. Russian authors DMITRIJ SUCHKOV and RAVSHAN SALLETDIN belong to different generations and realize the German theme differently.

The long short story in 9 monologues «Ghostly Voices» by FERIDUN ZAIMOGLU and GUNTER SENKEL depicts the life of migrants from different countries in Germany.

The German publicist KAI ELERS and Russian writer ALEXANDER MELIKHOV discuss the book by Thilo Sarrazin «Germany. Selfliquidation» which caused a sensation in Germany.

MIKHAIL RUMER-ZARAEV in his essay depicts the experience of adoption of the German mentality by our ex-compatriots migrated to Germany.

Professor of the Moscow State University and privat-docent of the Bonn University GASAN GUSEINOV in his interview to «DN» tries to find the answers to the questions: what and who are forming today's images of «the other country» for Germans and Russians; what are our «meeting stereotypes» of interperception?

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2012 - 2013 годах
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2.
Телефон (многоканальный): 8-499-519-02-12. Юридическая поддержка: Congress Consulting.

E-mail: dn52@mail.ru, http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Сдано в набор 20.09.12. Подписано в печать 20.10.12. Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1. Уч.-изд. л. 23. Тираж 2000 экз. Заказ 1010. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Можайский полиграфический комбинат», 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93; тел.: (496)20-685; (495)745-84-28; факс: (49638)21-682; www.oaompk.ru, e-mail: oaompk@oaompk.ru